

63.3(2)6-8 Ленинград

Ж 71

ЖИЗНЬ
ЛЕНИНА

ЖИЗНЬ ЛЕНИНА

ТОМ 6

*Избранные
страницы
Прозы
и поэзии*



БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНИКА

ЖИЗНЬ ЛЕНИНА

ИЗБРАННЫЕ
СТРАНИЦЫ
ПРОЗЫ
И ПОЭЗИИ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ 6

Ж71
ББК 13.5

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ БИБЛИОТЕКИ ШКОЛЬНИКА
«ЖИЗНЬ ЛЕНИНА»

С. В. Михалков
(председатель),
А. А. Виноградов, Б. А. Дехтерев,
Н. В. Свиридов

Оформление
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

О Владимире Ильиче Ленине написано много художественных произведений. Нет, пожалуй, ни одной стороны этой великой жизни, которой не были бы посвящены романы, повести, рассказы, очерки, кинофильмы... И это стремление художников слова снова и снова обратиться к жизни Ленина не иссякает и не иссякнет никогда. И происходит это потому, что каждый писатель, изображая любимый образ, как бы привносит в него свое, личное. Свое чувство Ленина, свое отношение к нему, его окружению, его деятельности.

Это свое, талантливое и новое, отличает и произведения известной советской детской писательницы Марии Павловны Прилежаевой, которые публикуются в настоящем томе Библиотеки школьника «Жизнь Ленина».

Повесть «Удивительный год» посвящена жизни Влади-

мира Ильича и Надежды Константиновны Крупской в сибирской деревне, куда они были высланы после ареста и тюрьмы. Со словами «арест», «тюрьма», «ссылка» связаны понятия об очень тяжелом, зачастую трагическом. Да так и было в дореволюционной России, когда передовых людей — революционеров по произволу царских сатрапов лишали свободы, насильно отрывали от главного дела их жизни, от близких, подвергали страданиям, загоняли в далекую сибирскую глухомань. Так было и в жизни Владимира Ильича и Надежды Константиновны, и это отражено в повести «Удивительный год».

Но в годах сибирской ссылки Ленина и Крупской писательница увидела и другое. Она увидела счастье молодых людей, которых объединяет любовь, непоколебимая вера в революционное дело, истинная дружба. В селе Шушенском живут Владимир Ильич и Надежда Константиновна, в других селах, разбросанных вокруг на много верст, живут их близкие друзья-единомышленники, тоже ссыльные — Кржижановский, Курнатовский, Лепешинский, Старков, Ванеев — все они братья по борьбе, люди, о которых впоследствии Владимир Ильич скажет: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами...»

Вот это ощущение счастья революционной борьбы, счастья революционного товарищества пронизывает все произведения писательницы о Ленине. Повесть «Три недели покоя» написана о времени, когда Ленин, окончив срок ссылки, собирается в эмиграцию, для того чтобы там издавать революционную газету, создавать революционную партию. Слово «покой» может звучать лишь иронически, если попытаться охарактеризовать все то, что осуществил Ленин в эти «недели покоя». Но в титанической, самоотверженной, неуемной деятельности Владимира Ильича писательница увидела душевный покой великого стратега

революции, гениального мыслителя, вождя, твердо и ясно знающего путь, по которому надо идти.

Друзья Владимира Ильича звали его «Старик». Это имя было дано вовсе не потому, что он был старше других... Стариком его звали потому, что среди своих товарищей-соратников он выделялся такими интеллектуальными качествами, которые делали его общепризнанным авторитетом в революционной среде. Старик — Ленин был молод физически, душевно, он оставался молодым всю свою жизнь, он пронес чувство молодости человека будущего через невероятные тяготы эмиграции, революции, гражданской войны, создания первого в мире государства трудящихся.

Именно таким предстает Владимир Ильич в эпопее «Жизнь Ленина», публикуемой здесь. В этом произведении, адресованном детскому читателю, писательница впервые в советской детской литературе создала единое повествование о всей жизни Владимира Ильича. Начиная с рождения в глухую пору царизма в России и завершая рассказами о жизни и деятельности нашего любимого вождя, рассказами о том времени, когда он стоял во главе партии и первого в мире Советского государства и предначертал те великие преобразования, которые осуществлены и осуществляются у нас в стране сегодня.

«Жизнь Ленина» — волнующий, живой рассказ о необыкновенной жизни необыкновенного человека. В рассказе, который ведет автор этой книги, облик Владимира Ильича Ленина раскрывается не только во всей своей человечности, величии ума, глубокой душевности, в жизни, полной прекрасных деяний, но и в той скромности и обаянии, которыми он привлекал и будет вечно привлекать сердца людей.

Внимательный читатель заметит в этой повести еще одну особенность творчества писательницы. О всех местах, где жил Владимир Ильич, она пишет так, словно сама была там в ту пору и своим внимательным глазом видела многочисленные подробности и детали, которые

даны в повествовании. И в известном смысле это так. Писательница прошла — и не один раз — по всем местам, связанным с жизнью Владимира Ильича.

У настоящего, большого писателя работа его напоминает айсберг. Глазу и сердцу читателя открывается лишь то, что стало конечным результатом работы, — художественное произведение. Но мы знаем, что пять шестых айсберга не видны — они находятся под водой. Это «подводное основание» — огромная подготовительная работа писателя. Автор этих произведений провела много дней в архивах и читальных залах, беседовала с людьми, которые имели счастье работать с Владимиром Ильичем, объехала множество городов и деревень, где он жил или бывал... Горы исписанных блокнотов и тетрадей легли на стол писательницы, прежде чем была написана первая строчка «Жизни Ленина».

Выпуская том «Жизни Ленина», составленный из произведений Марии Павловны Прилежаевой, хотелось бы, чтобы наши читатели знали, какой большой, высокий и благородный труд стоит за ними, и, прочитав их, еще ближе подошли к пониманию великого Ленинского образа.

Лев Разгон

МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА

УДИВИТЕЛЬНЫЙ
ГОД

•

ТРИ НЕДЕЛИ
ПОКОЯ

•

ЖИЗНЬ
ЛЕНИНА

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОД

ПОВЕСТЬ

РИСУНКИ О. БОГАЕВСКОЙ



1

Редко встретишь человека, вполне довольного своей судьбой. Одному денег не хватает для счастья, все-то он беднее других, все кажется ему: у других и квартира лучше, и солиднее обстановка, оттого и в обществе те, другие, держатся увереннее и легче достигают успехов. Тот несчастлив в семье: жена нехороша, транжира или, напротив, скупая мещанка. У третьего плохо со службой, не угадал призвания и тянет лямку всю жизнь.

А вот Прошка был доволен всем, хотя не было у него ни жены, ни квартиры, ни денег. До жены по молодости

еще не скоро, а богатства у Прошки, наверное, никогда и не будет, о богатстве он не думал. Единственно, что не нравилось Прошке в своей судьбе,— имя. Особенно столичному жителю не подходит такое дурацкое имя.

— Как тебя зовут?

— Прошка.

— Эй ты, Прошка, топай своей дорожкой!

Или:

— Эй ты, Прошка, глазищи как плоски.

Глазищи действительно у него были большие, серые, чуть подсиненные, и всегда стояло в них любопытство, будто постоянно им открывается новое. Он был любознательным парнем, как бы специально созданным для своей редкой работы. Поищите такую работу!

«Типолитография А. Лейферта. При скромной администрации, принимает по крайне дешевым ценам заказы, как-то: книги, брошюры, отчеты, журналы и всевозможные конторские бланки». Такая вывеска красовалась на Большой Морской у входа в полуподвал с маленькими закопченными оконцами. Сырые стены там от воды и химических растворов еще более сырели, по углам ползла склизкая плесень, воздух стоял тяжкий, смрадный, к концу дня ныла грудь, как простуженная, но Прошка своей работой был горд. Его работа — печатание книг. Правда, он не постоянно печатал на станке, потому что ходил еще в учениках и иной раз целый день занят был на побегушках. Прошка, туда! Прошка, сюда! Возьми, принеси! Его звали Прошкой оттого, что по виду он казался моложе своих семнадцати лет, был невысок и сложения довольно некрепкого. Плечи узкие, шея длинная. Вообще вид он имел не очень рабочий. Скорее, смахивал на бедного студента. Тем более, что редко его увидишь без книги: если не на работе, так с книгой. Книги он любил страстно. Всякие, с иллюстрациями и без иллюстраций, о животных и людях, о путешествиях, чужих странах, о России, о политике. Все ему подходило!

Отсюда понятно, как повезло Прошке с работой, на

которую с немалым трудом его устроила бабушка через знакомого мастера Фрола Евсеевича. Печатание книг в типографии до сих пор представлялось Прошке таинственным делом, похожим на чудо. Не было книги — и вот появляется. Как она появляется? Сейчас, например, в типографии Лейферта печатается книга Владимира Ильина. Ее долго будут печатать, весь март. Где-то какой-то ученый человек пишет свои мысли, высказывает знания о том, как устроена жизнь. Одна тетрадка, вторая, третья тетрадка исписаны. А книги нет. Книга будет, когда тетрадки Владимира Ильина попадут в типографию, наборщики наберут, и Прошка и другие рабочие отпечатают их на станках. Две тысячи четыреста штук разойдутся по белому свету!

Конечно, если печатается новая книга, Прошка обязательно постарается узнать, о чем она. Приятно взять в руки едва сошедший с машины лист, еще влажный, тяжелый, впиваться глазами. Никто не читал только-только отпечатанные строчки, ни один человек на свете, ты первый. Но книгу Владимира Ильина «Развитие капитализма в России» мудрено было Прошке читать. На начальном листе и застрял бы, да мастер Фрол Евсеевич, сам не ведая того, раззадорил.

— Бро-ось, не для твоего ума произведение это, — сказал однажды, заметив уткнувшегося в свежий лист Прошку.

«Не для моего? Для чьего же? Э! Если так, осилю «Развитие капитализма в России!»»

Нет, не осилил. Трудно. Но отдельные листы прочитал, ухватил кое-что.

Удивительно подробно писатель описывал разные русские губернии и уезды. Будто пешком всю Россию обошел. Вот пишет о посевах конопли на Орловщине. А вот о кружевных промыслах в Московской губернии. Вот один мужик похитрее сообразил: зачем мне землю пахать, дай-ка буду скупать кружева да продавать с прибылью. И появляется в деревне торговец, капиталист. Или попалось

Прошке на одном листе описание подгородных овощных хозяйств. А Прошка знает, в его родном городишке тоже огородники гряд по двести капусты для продажи насаживают. Или читает Прошка, что в России все больше изготавливается сельскохозяйственных машин и орудий. И ведь дотошный какой автор Владимир Ильин: докопался, что в городе Сапожок Рязанской губернии и в окрестных селах сельские капиталисты нажили хорошие денежки на производстве молотилок и веялок!

И странно, именно про город Сапожок Рязанской губернии прочитав, Прошка вроде и понял про капитализм, что входит в Россию.

А для чего знать надо об этом?

— Для правды, — объяснил Фрол Евсеевич.

Фрол Евсеевич — главный в их типографском цехе. Задает наборщикам уроки, назначает рабочим, что и сколько на день печатать, наблюдает, красивы ли и чисты сходят с машины листы. Фрол Евсеевич ездит на извозчике в издательство за рукописями, а наборщики и печатники переводят те рукописи в книги.

Когда Прошка еще дома, за сотни верст от Санкт-Петербурга, бегал в церковноприходскую школу, у них был учитель. Сухопарый, лысоватый, в очках с золотыми ободочками. Поблескивали сквозь стекла глаза, когда он говорил перед классом, торжественно поднимая в обеих руках книги:

— Они наша совесть. Достояние наше!

Прошке особенно нравилось, что они — достояние наше. Это похоже было на колокольный пасхальный звон, когда над городком и окрестными полями весь день висит медный гул, а по реке, вздувшейся от весенней воды, шурша плывут льдины, толкаются и вылезают на берег...

Фрол Евсеевич напоминал Прошке учителя. Очки у него были тоже в тоненькой золотой оправе. И говорил он не много и не зря.

— Капитализму больше в России да больше, а бедно-

му люду хуже да хуже,—так коротко объяснил Прошке книгу.

И строже:

— Больно-то не шуми! Допечатать надо да выпустить книгу.

— Фьють! — сообразил Прошка.

— Но-но, рассветился, щегол! Мальчишество свое наружу все так и выказываешь. Идем, поручение есть.

Он кивнул, зовя Прошку следовать за собой в тесную каморку возле типографского цеха. Здесь хранились рукописи и прочие важные бумаги и, как в цехе, углы цвели зеленью, а на стене висел Пушкин художника Кипренского, со сложенными в глубокой задумчивости руками.

Фрол Евсеевич сказал:

— Поручение касается печатания книги. Отнесешь одной особе листы на корректуру, или, проще говоря, на проверку, нет ли ошибок в печатании. Особу зовут Анной Ильиничной. Она в обмен вернет другие листы, проверенные. Те проверенные листы привезешь в типографию.

Фрол Евсеевич опустил очки на нос, внимательно поглядел вверх очков:

— Уразумел?

— Уразумел. А писатель Владимир Ильин той особе знаком?

Фрол Евсеевич не спеша поднял с носа очки, будто прикрывая глаза.

— Чего не знаю, того не знаю.

«Знает! — подумал Прошка. — Видно, тут какой-то секрет».

— Что Анна Ильинична сама сочинительница, это известно, — сказал Фрол Евсеевич. — Сочиняет стихи. А то, может, приходилось читать итальянского писателя Амичиса «Школьные товарищи» книжку? Ее перевод с итальянского. Занятная книжица, для ребят. Ну, лети.

Прошка полетел. Он всегда-то был быстр, а тут вы-

скочил из подвала как из пушки. А за воротами стал. За воротами, мягко покачиваясь на рессорах, по Большой Морской улице катил экипаж. Экипаж был Прошке знаком. Каждый день в тот же час крупный чин департамента полиции подъезжал в нем к дому № 61 по Большой Морской улице. В этом доме с зеркальными окнами, пальмами, ковровыми лестницами и швейцаром в подъезде была канцелярия Горемыкина, министра внутренних дел, ведавшего полицией, жандармерией, ссылками, цензурой, политическим сыском, — все это было под властью министра. Полицейский чин следовал к управлению горемыкинской канцелярии с ежедневным докладом.

Стоял редкий для петербургского марта ясный, солнечный день. Из-под колес брызгали лужи, воробьи разлетались с громким чириканьем в стороны. Полицейский жмурился от солнца, углубленный в мысли, должно быть, приятные. Его холеное, с аккуратной бородкой лицо было довольно, он даже негромко напевал какой-то мотивчик.

Лошадиные копыта: «Цок-цок».

— Тир-ри-ри, — долетало до Прошки чиновничье пение. Экипаж проследовал мимо типолитографии Лейферта. — Тири-ри-ри.

А печатные станки стучали да стучали в типографском цехе типолитографии Лейферта, и с машин сходила лист за листом, являясь в свет, книга неизвестного автора Владимира Ильина «Развитие капитализма в России».

...Прошка свистнул по-щеглиному и понесся к конке, придерживая ладонью под курткой листы.

Книги Прошка печатал, а живого писателя в глаза не видал. Интересный получается сегодня денек. Вечером пойдет в один особенный дом, увидит особых людей. А тут неожиданно писательница...

Анна Ильинична представлялась Прошке важной пожилой дамой с лорнетом, с пышной прической и кольцами на белых пальцах. Таких дам видывал он на иллюстрациях в «Ниве», и такой подсказывало воображение писа-

тельницу Анну Ильиничну. А она оказалась совсем не такой.

Прошка дернул у дверей колокольчик. Отворила довольно молодая невысокая женщина, стройная, складная, в сером платье. Темные волосы курчавились надо лбом и у висков, и темные-темные глаза глядели пытливо из-под бровей, узеньких и будто чуть сломленных. Она настороженно остановилась у порога.

— Из типолитографии Лейферта,— сказал Прошка.

— А я жду!— воскликнула Анна Ильинична.— Входите. Входите. Как вас зовут? Прош... И давно вы там, в типографии? В учениках? Входите, Прохор. Давайте, я жду.

Она нетерпеливо наблюдала, как он расстегивал пальто и куртку, вытаскивал из-под куртки пачку листов.

— Спасибо, прекрасно! Молодец, и не смял. Спасибо большущее!— сказала она и прижала всю пачку к груди сложенными крест-накрест руками.

Прошка по лицу ее понял, как она довольна, что листы будущей книги в сохранности, здесь, у нее. Она даже с облегчением вздохнула.

— Вам ничего, Прохор, не велели?

— Велели. Проверенные листы в обмен привезти.

— Правда. Сейчас.

Она вышла из комнаты, унеся пачку с собой. Он огляделся. Комната низкая, небольшая, с овальным столом посреди и плетеными стульями. У стены комод. И ничего больше. А он думал, писатели богато живут. Ну, не богато, так особенно как-то, не похоже на обыкновенных людей.

— Я думал, писатели необыкновенно живут,— сказал он, когда Анна Ильинична вернулась, неся проверенные листы.

Сказал, чтобы как-то вступить в разговор, потому что не хотел уходить, не поговорив. Ни за что он так не уйдет!

— Какие писатели?— удивилась она.

— Да хоть бы вы.

— Ах я? Батюшки мои, ведь верно. Вот он каких писателей имеет в виду!

Она рассмеялась. Глядя на нее, и он засмеялся, так весело она расхохоталась.

— Да, правда, пишу немного... А вы что же, читали что-нибудь?

— Пока не пришлось.

— Милый вы чудак, Прохор! — улыбнулась она. — А у вас неплохая работа, печатником?

— Очень подходящая даже! Анна Ильинична, а как писатели пишут? Владимир Ильин, к примеру, как пишет?

Вдруг она стала другой, какая-то сдержанность появилась в лице.

— К сожалению, не знаю. Пожалуйста, Проша, спрячьте листы вот так, под куртку, как бы не выпали! Передайте, что все отлично, скажите Фролу Евсеевичу...

Прошке ужасно не хотелось уходить так скоро от Анны Ильиничны.

— Я отчего спрашиваю, — пряча под куртку листы и нарочно медленно застегивая пуговицы, рассуждал он. — Книгу печатаешь, знать охота, про что она, как. Мне один знакомый человек объяснил, что в этой книге про Россию вся правда написана. Капитализму прибывает в России, а рабочему народу не лучше.

— Он правильно вам объяснил, — ответила Анна Ильинична с улыбкой.

А Прошке все больше она нравилась. Хотелось говорить с ней откровенно о чем-то важном и душевном.

— Научная книга «Развитие капитализма», а политическая. Я хоть и мало листов прочитал, а что политическая, это я понял.

— Да? — вопросительно сказала она. — Может быть. Может быть. Но не будем обсуждать.

— Ясно. Допечатать надо успеть, пока жандармы не доискались.

— Что?! — тихонько ахнула Анна Ильинична и кончиком пальцев приложилась к щекам. Щеки у нее разгорелись, на взгляд видно — горячие. — Сейчас надо меньше об этом говорить.

— Понял. Я почему про жандармов вспомнил. Иду к вам с листами от книги, а он мимо в коляске. Он каждый день мимо нас ездит. Важный, по сторонам не глядит. А не чувствует, какую мы книжку о России печатаем. Она хоть и разрешенная, а все-таки, если вникнуть... Анна Ильинична, вы Владимира Ильина знаете?

Наступило молчание. Несколько секунд было молчание. Длинных несколько секунд. Зачем ты спрашиваешь, Прошка? Ведь со всех сторон намекают тебе: пока помолчим. Прошка видел милое темноглазое и немного встревоженное лицо Анны Ильиничны. «Надо на другое перевести разговор!»

— Анна Ильинична, я вашу книгу «Школьные товарищи» в библиотеке возьму.

— Это не моя книга, Проша. Я ее с итальянского перевела.

— Во-о, с итальянского! Во какая вы образованная! Зависть берет!

Она рассмеялась. Как хорошо она смеется!

— Вы тоже можете образованным стать. Надо захотеть. Вы умеете хотеть? Вы много читаете, Проша?

— Читаю. С малых лет. А вы?

— И я с малых лет. У нас дома все книгочеи. В юности я в деревне жила. Каждое лето. В деревне Казанской губернии. Домик у нас старенький был, запущенный сад, обрыв над речушкой. У меня любимая аллея, березовая, в ясные ночи вся лунным светом расписана... А в безлунные сад темный, сад старый, глухой, а мы — на крылечке под лампой, все с книгами.

— Анна Ильинична, мне один знакомый человек говорил, вы стихи сочиняете.

— Какой у вас знакомый всеведущий! Сочиняла, когда ваших лет была.

— Скажите свой стих, Анна Ильинична, а?
— Вот чудак! Далеко это все.
— Все равно скажите, пожалуйста!
— Право, чудак... Ну вот... «Ночь давно уж, все-то дремлет, все кругом молчит. Мрак ночной поля объемлет, и деревня спит... В хуторке лишь, на крылечке, светит огонек, и за чтением серьезный собрался кружок...» Незатейливые мои стихи.

— «И за чтением серьезный собрался кружок...» Это ваши сестры, братья? Хорошая у вас, видно, семья?

— Правда, хорошая, в этом я счастлива. Пора вам в типографию, Проша. Листы не выроните? Нет? Надежно? И знаете, что я вам посоветую? Будьте осторожны в разговорах с чужими. Особенно о политике.

А он только собирался рассказать ей о сегодняшнем особенном вечере! Так и подмывало его поделиться с Анной Ильиничной. Теперь, после предупреждения, он не решился. Скажет, болтун.

И ушел, не поделившись.

Анна Ильинична, заперев дверь, подошла к окну. В окно видно, как Прошка, перебежав улицу, бодрым шагом направился к конке. Узкоплечий, в драповом коротком пальто до колен.

«Славный мальчишка. Совсем мальчишка еще. А неглупый. И славный,— думала Анна Ильинична.— Значит, политическая книга? Что же, верно знакомый человек ему объяснил. Володе было бы радостно знать, что рабочие самую суть в книге улавливают».

Анна Ильинична постояла, пока Прошка вскочил в подошедшую конку, и ушла в соседнюю, совсем уж крохотную, комнатку с железной кроватью под белым пикейным одеялом и с небольшим письменным столиком. Накинула на плечи теплый шарф— в комнатенке прохладно— и развернула отпечатанные вчерне листы. Теперь она будет их читать много часов, проверять каждое слово и цифру. Пропустит обед и очнется от работы, лишь когда стукнет за окном, оборвавшись с карниза, мартовская

певучая льдинка. Ночь. Спит каменный Петербург. Пора спать. «Еще немного. Несколько листов еще прочитаю. Все хорошо, Володя! Дело идет».

2

После работы надо было идти в тот «особенный» дом, но сначала Прошка побежал в библиотеку. Что за книга? Название, правда, ребяческое, но хотя Прошка чаще читает научные, политические и вообще серьезные книги, однако и «Школьные товарищи» итальянского писателя Эдмондо Амичиса не прочь почитать. Тем более в переводе Анны Ильиничны.

Именно оттого особенно хотелось Прошке поскорее взять в библиотеке книжку, что ее перевод! Какое-то приподнятое чувство осталось у него от встречи с Анной Ильиничной. А спросите, что такого в ней исключительного,— не ответит. Не знает. Только чувствует, поговорила, приоткрыла что-то важное, а еще многое неоткрытым осталось!

Прошку тянуло и звало к тем людям, о которых Анна Ильинична сочинила стихи:

И за чтением серьезный
Собрался кружок.

У Прошки кружка не было. Ходил в одиночку. Не с кем поделиться сокровенными мыслями. Вот только, может, сегодня... На сегодняшний вечер у Прошки были большие надежды!

С такими мечтами он шагал по знакомой дороге к Публичной библиотеке, не так далеко от типолитографии Лейферта. Библиотекарша, стриженная, требовательная барышня в черной юбке и белой кофточке, застегнутой на много маленьких пуговичек до самого горла, любила идейных читателей и молодым ребятам, вроде Прошки, старалась давать деревенские очерки Глеба Успенского, или статьи о рабочем классе Шелгунова, или другие

содержательные произведения о беспросветной жизни народа.

Поэтому, услышав: «Мне «Школьные товарищи» итальянского писателя Амичиса»,— она в удивлении подняла круглые, как дужки, брови.

— Верно, для младшего брата? — спросила она.

— Нет у меня брата. Для себя самого.

— Для себя самого?

Круглые дужки на маленьком лобике поехали выше, а две курсистки в бархатных шапочках, как по сигналу, обернулись от каталогов у стены, где копались. Две пары глаз изучающе и чуть свысока поглядели на Прошку.

— Ведь это детская книга, вы знаете? — сказала библиотекарьша.

Прошка чувствовал, его авторитет как идейного читателя падает, но не хотел отступить, и вообще надоело ему читать по указке.

— Детскую мне и надо.

— Детскую? Хм!

Минуты три библиотекарьши не было, она разыскивала в библиотечных помещениях «Школьных товарищей», а Прошка стоял с равнодушным видом, не оглядываясь на курсисток.

— Классическая повесть для читателей младшего возраста,— сказала библиотекарьша, принеся Прошке не особенно большую книгу в пестреньком переплете с коричневыми наугольниками.

— Классическая? Мне такую и надо.

Прошка взял книгу. Все-таки у него радостно стукнуло сердце при виде пестренького переплета: «Школьные товарищи. Из дневника ученика городской школы. Сочинение Эдмондо д'Амичиса. Перевод с итальянского А. Ульяновой».

Он сунул за пазуху повесть д'Амичиса.

Курсистки в бархатных шапочках сочувственно переглянулись, что, мол, парень рабочий, в университетах не учился, пускай себе читает.

«Эх вы, знали бы, какие я книжечки читывал!»

Он мог бы познакомиться с ними. В библиотеке нередко знакомства завязываются у каталогов, где постоянно толкуются читатели, ищут названия нужных книг и обмениваются мнениями, будто в каком-нибудь клубе.

Именно здесь, в библиотеке возле каталогов, Прошка познакомился с Петром Белогорским. Он был студентом, лобастым, растрепанным.

«Из горного института»,— определил Прошка по петлицам и пуговицам тужурки. Выбрали книги, вышли из библиотеки вместе. Разговорились. В первый же вечер Белогорский спросил:

— Ты слышал, как мы, студенты, бастовали против правительства?

Прошка слышал, но не очень. Смутно слышал. Петр Белогорский рассказал Прошке, как смело бастовали студенты, требуя от правительства свободы слова и сходов, а министр внутренних дел Горемыкин выпустил на студентов отряд конной полиции с плетками.

— Горемыкин подлец и палач!— сказал Белогорский, оглянувшись, не слышит ли кто.

За разговорами они весь вечер проходили по улицам. Вечера три так ходили, и Белогорский говорил о студенческих сходах и стачках, о светлых личностях— Карле Марксе и Энгельсе, о блестящем талантливом публицисте Михайловском, но другого направления, чем Маркс. Потом Белогорский спросил:

— Желал бы ты встретиться с политиками?

Прошка так весь и замер. Все в нем так и запело.

И вот он идет на эту необыкновенную встречу, и неизвестно, что там его ожидает и чем все это кончится. Но какой, однако, неорганизованный он человек! Зачем его понесло в библиотеку? Неужели нельзя было потерпеть до завтра? Теперь на целый час опоздал из-за книжки Амчиса.

Твердя про себя адрес и имя, кого надо спрашивать, он одним махом взбежал на третий этаж и остановился от-

дышаться. На двери, обитой для тепла коричневой кожей, табличка. На табличке полное имя и фамилия: «Екатерина Дмитриевна Кускова». Открыто так и написано. А у нее сегодня собирается тайный кружок! Но так как с тайными кружками Прошка до сих пор не знавался, то, недолго раздумывая, нажал кнопку звонка.

В прихожую выбежал Петр Белогорский, разгоряченный, в студенческой тужурке нараспашку.

— Явился? Молодчина! А я беспокоюсь, отчего его нет, струсил мой пролетарий?

И потащил Прошку в комнату с пестрым ковром во весь пол, роялем и камином, где в жарком ворохе углей вспыхивали и ползли синие змейки.

— Господа! — прокричал Белогорский, вводя Прошку. — Знакомьтесь, мыслящий представитель русского рабочего класса! Екатерина Дмитриевна!

Он подвел Прошку к Кусковой. Она была молодой статной дамой, черноволосой, в черном шелковом платье. Стояла, окруженная молодыми мужчинами в студенческих тужурках и пиджаках с манишками, и курила тоненькую папироску, стряхивая пепел прямо на ковер.

— Покажите мне его! — звучным голосом сказала Екатерина Дмитриевна. — Вы Прохор? Слышала, говорил о вас Белогорский. Господа! Какое имя, глубинное, русское! Из типографских рабочих? Господа! Как раз для типографских рабочих типично тянуться к нашему движению. Наиболее думающая публика среди русского рабочего класса. Здравствуйте, Прохор! Я Кускова. Будем знакомы. Идите к нам. Мы вам рады. Товарищи, кто-нибудь дайте ему чаю.

Кто-то из студентов вышел в соседнюю комнату, принес стакан черного чая. Прошка побоялся оставить свою библиотечную книгу в прихожей, ему неудобно и непривычно было пить чай стоя да еще с книжкой под мышкой и стеснительно от взглядов незнакомых людей.

— Не будем его смущать, — сказала Кускова. — Пейте чай, Прохор. Осваивайтесь. Господа, не смущайте его.

После он расскажет нам, что, по его мнению, нужно рабочему, к чему стремится рабочий.

Но она не стала ждать Прошкиных мнений и сама принялась говорить:

— Господа! Рабочего не интересуется политика.

«Вот так так!» — удивился Прошка. Как раз его интересовала политика. Из-за политики он сюда и пришел.

— Да! Да! — восклицала Кускова, читая на его лице несогласие. — Я говорю о массе, я не имею в виду исключения. Господа! — сверкая глазами, призывала она. — Наша священная цель добиться лучшей жизни для рабочего класса! Наш рабочий темный, забитый...

Прошку кольнуло: «темный». Может, и темный, но его кольнуло. Он поставил стакан с чаем на стол, пригладил волосы на затылке. «Вот сейчас я отвечу». Но Кускова на всех парах неслась дальше. Она говорила, как тяжело, жестоко живет рабочему классу в России. Что русский рабочий неграмотен, что в первую очередь надо добиваться для рабочего человеческой жизни. Чей долг бороться за человеческую жизнь пролетария? Наш долг. Стыдно нам, интеллигенции, что наш рабочий не досыта ест, не умеет имя свое написать. При таком положении мечтать о политической партии, о завоевании власти? Наивно, наивно. Грамоте надо сначала рабочего научить, да чтобы не вповалку спали. Разве не правда?

Она ходила по комнате, шурша шелковым платьем, то курила, то, бросив папироску, прижимала руки к высокой груди, обтянутой шелком.

— Мы, интеллигенты, мыслящий класс, должны взять на себя...

— Но позвольте. Михайловский показал, что в России не рабочий, а деревенский мужик, — тонким голосом возразил студент, румяный, как барышня.

— Какой Михайловский? Вы безбожно отстали со своим Михайловским. Народился пролетариат.

— Россия — это деревня, мужик! Будущее России в мужике и деревне, — упрямылся румяный студент.

Петр Белогорский, напротив, поддакивал Кусковой:

— Да! Пролетариат. Мы решаем судьбу! — И на ухо Прошке: — Она всю Европу объездила. Ей все титаны мысли знакомы. О Бернштейне слышал?

— Друзья! — призывала Кускова, закинув руки на затылок, будто в каком-то порыве. — Не жить нам тихой, мирной жизнью, не по натуре она нам! Хочется дела, живого, бодрящего. Где это дело?

Вокруг зашумели.

— Вы читаете в душе интеллигенции. Интеллигенция жаждет!..

— Чего она жаждет? — услышал Прошка сердитый голос. — Наш гимназический инспектор, например, жаждет повышения в чине.

— Стыдитесь! — закричал Петр Белогорский. И Прошке тихо: — Ну, как? Слышишь, стычки какие, а? А она? Уловил темперамент? Вот кто может зажечь, повести...

— Для пропаганды надо хотя бы набросок взглядов, программу применительно к русскому обществу, — требовал кто-то.

— Безусловно, необходима программа.

— Господа! Господа! — воскликнула Кускова, беря с рояля тетрадку и вырывая страницы. — Господа! Давайте сочиним сообща, пусть это будет наше совместное. Мы с Прокоповичем думали... Итак...

— Прежде всего надо заявить, что мы против всех и всяких революций! — резко выступил чей-то бас.

— Разумеется. Но...

— Никаких «но». Мы за постепенное развитие общества. Революция — гибель.

— Пойдите, господа! — ворвался подвизгивающий от возбуждения голос Петра Белогорского. — Я предлагаю...

Но его перебили. Кто-то произносил ученую речь об отчаянном положении русского рабочего класса. Кто-то убеждал, что образованному классу буржуазии история

предназначила роль спасителя родины. Кто-то, перебивая, кричал:

— Агитировать рабочих к созданию партии — значит толкать в пропасть, в пропасть!

Все жалели рабочих. Были шум, беспорядок, споры, и Прошка ничего уже не мог понять; только что госпожа Кускова и ее гости беспокоятся за участь рабочих, но не совсем твердо знают, как надо рабочих спасать.

— Господа! — возвысился голос Кусковой. — Начать следует с оценки рабочего движения Запада. Мы — лишь слабое повторение Запада.

— Надо начать с того, что революция не для России. России рано. Нам, русским социал-демократам, помалкивать надо про революцию, — басил, как в бочку, все тот же неуступчивый бас.

— Нет, господа, главное и в первую очередь...

У Прошки сумбур в голове. А на бумаге не получалось изложения взглядов.

— Господа, — сказала Кускова. — Оставим, господа. Я подумаю после. Оставим до следующей встречи.

Она бросила на рояль исписанные и перечеркнутые накрест странички. Все как будто с облегчением вздохнули.

— Верно, верно, нельзя с налету. Такие вещи на ходу не делаются.

— Господа, к следующему разу я набросаю...

Кускова зажгла новую папироску и, пустив колечко, приблизилась к Прошке.

— Вы согласны, что рабочему в первую очередь, самую первую, надо досыта еды, жилье и... культура?

Конечно! Каждый скажет, что надо. Убедительно она говорит. Но про рабочую партию и революцию Прошка не мог сразу сказать свое мнение. Убедительно она говорит, а что-то в сознании Прошки смутно шевелится против.

— Что за книга? — увидела Кускова. — Ну-ка, что вы читаете? Амичис? — И дальше Прошка услышал: — О!

Постойте... Перевод А. Ульяновой? Так и есть. Господа! С Анной Ульяновой я за границей встречалась. Это она. Ее перевод. Господа, вы слышали об Ульяновых?

— Убедился, что Кускова со всеми на свете знакома? — восторженно шепнул Белогорский.

— Как? Вы не знаете? Господа! Неужели не знаете? У Анны Ильиничны был брат Александр, тот самый, которого казнили повешеньем за покушение на царя.

Студенты задвигались, загудели басами:

— Тот самый? Не может быть!

— Почему не может? Именно тот! Александр Ульянов, кажется, с Волги...

А у Прошки сердце заныло. Про покушение однажды в откровенную минуту ему рассказывал Фрол Евсевич, но что среди казненных революционеров был брат Анны Ильиничны, Александр Ульянов — родной брат улыбчивой и ласковой Анны Ильиничны... Этого Прошка не знал.

— Господа! А о втором брате слышали, о марксисте Ульянове? Вот кто поспорил бы с нами!

— Отчего?

— Мы практики, он — фантазер. В нашей темной России мечтать о марксистской партии разве не фантазия?

— Знаю о Владимире Ульянове, слышала, — задумчиво говорила Кускова. — Опасный был спорщик.

— Почему был?

Она развела руками:

— В ссылке. А интересно бы поспорить, Владимир Ильич!

«Владимир Ильич. Владимир Ильин, — мелькнуло у Прошки. — Владимир Ильин. «Развитие капитализма в России». Анна Ильинична. Владимир Ильин...»

— Вы новичок среди нас, — сказала Кускова, уловив его замешательство. — Вам надо расти и выбрать свой путь. Мы зовем вас к реальной борьбе за улучшение жизни рабочих. А есть политики...

— ...которые соблазняют фантазиями, как Владимир Ульянов,— говорил Белогорский.

«Владимир Ульянов, Владимир Ильин. Это он, брат Анны Ильиничны! «Развитие капитализма в России». Где там фантазия?»

Но Прошка молчал. Ни слова не сказал, что в типографии Лейферта печатают книгу Владимира Ильина. «Владимир Ильин. Владимир Ильич!»

— Семья Ульяновых сошла с политической сцены,— пуская из папироски дым, говорила Кускова.— Сестра переводит детские повести. Брат в далекой Сибири без дела.

«Без дела? А книга?»

Но Прошка молчал. Чутье подсказало ему, что про Анну Ильиничну, которая в этот час, может быть, проверяет листы из книги Владимира Ильина, надо молчать. И про книгу надо молчать, хотя Петр Белогорский, Кускова и все здесь целый вечер обсуждают вопрос, как лучше бороться за рабочую долю. Кускова понравилась Прошке. Понравилась ее красота и решительный вид.

— Мы сила!— говорила Кускова.— Мы поведем рабочий класс за собой, нашей дорогой.

— Браво!— кричали студенты.

«Владимир Ильин. Владимир Ильич. Анна Ильинична. У них другая от этих дорогах? А у меня?»

Конечно, он против капиталистов, против царя Николая Второго, против министра Горемыкина, приказавшего полицейским стегать студентов плетками. Но не так-то легко разобраться, кто прав, Кускова или Владимир Ильин. Вроде и она за рабочих, и он за рабочих...

— Приходите еще!— позвала на прощание Кускова.— Надо нам держаться вместе. Господа! Больше привлекайте рабочих.

— Типичная Жанна д'Арк! А? Ты не находишь? Камень способна зажечь, лед растопить, столько страсти, огня!— полушепотом восклицал Петр Белогорский, когда

они с Прошкой поздно вечером шли от Кусковой.— Ну как? Задался вечерок? Содержателен, а?

Голова Прошки была полна впечатлениями и самыми противоречивыми мыслями. Студенты из кружка Кусковой и она сама были умны и речисты и так заботились о нуждах рабочих, просто диво! Прошка завидовал их образованности. Эх, образования бы ему! А студенты учены, учены. Пока слушал на кружке, Прошка соглашался со всеми их доводами. Убедительно они рассуждают! И все же...

3

Корректурa окончена. Тексты и таблицы книги проверены, отосланы в типографию. Больше делать в Петербурге нечего. Анна Ильинична расплатилась с квартирной хозяйкой, взяла свой маленький саквояжик и оставила дом. Просидев почти безвыходно все дни за работой в низеньких комнатках, она с радостью вдохнула свежий воздух на улицах. Чутьочку закружилась голова, так неожиданно остро, волнуяще пахнет весной!

До поезда оставалось почти полдня и еще целый вечер. Надо побывать у Александры Михайловны Калмыковой в ее книжном складе на Литейном проспекте. Но прежде побродить по петербургским улицам, досыта находиться по дорогим местам. Мест дорогих, счастливых, горьких, мучительных было много во всех концах Петербурга. Дорогим местом был Васильевский остров! Приезжая в Петербург, Анна Ильинична уж непременно хоть ненадолго забегала сюда. Или приезжала на конке. Конка все так же кряхтит и трясется, словно сейчас грозит развалиться, так же надтреснуто звонит на остановках колокол. Даже пузатые лошаденки, усердно тянущие конку по рельсам, Анне Ильиничне кажутся прежними. Будто и не пролетело двенадцати лет! Анна Ильинична была тогда курсисткой, брат Александр студентом университета. Марк Елизаров тоже студент. Были они



*Мест дорогих, счастливых, горьких, мучительных было много во всех
концах Петербурга.*

совсем молодыми. Читали, учились. Без конца читали, учились.

...Вдоль Университетской набережной на Васильевском острове розовато-желтое университетское здание с балкончиками, с художественной лепкой балконных перил. Здесь проходила Сашина петербургская юность. А невдалеке приземистые, словно приплюснутые корпуса солдатских казарм. Весь день на казарменном плацу маршировали солдаты.

— Ать-два, ать! — хрипло надрывался офицер.

От хриплого офицерского «ать» холодело сердце. Громада Зимнего дворца тревожаще-брусничного цвета виднелась на том берегу Невы. Высился Александровский столп, на вершине его ангел вскинул крест, то ли благословляя людей, то ли страша. Стены, шпили, колонны. Все каменно, твердо, громадно. Незыблемо.

Раньше Анна Ильинична не могла сдержать слез, когда приходила к университетскому зданию на Васильевском острове. Она любила брата Сашу любовью, полной восторга. Он был самым умным, даровитым, чистым, не сравнимым ни с кем! Все, что в ней самой было лучшего — поэтичность, мечтательность, — вплеталось в ее любовь к брату Саше. Он был талантлив. Все профессора говорили, Александр был талантлив. Каким благородным он был человеком! Смелым! «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Тогда ей пришли на память эти стихи. Теперь Анна Ильинична не плачет, когда думает о своем брате Александре, на душе у нее печально и будто поют торжественные хоры. «Вознесся выше он главою непокорной...»

Вот Бестужевские женские курсы на Васильевском острове. Тогда она здесь училась. Вот сквер. В сквере под старыми липами, где глубокая, тихая тень, они часто встречались с Марком Елизаровым. Марк стеснительно брал ее руку в мужицкую ладонь с жесткими буграми мозолей, они садились на скамейку под этими липами и говорили. Лучшим существом на земле, безупречным и

возвышенным, для них обоих был Саша. Они говорили о нем, о своей дружбе с ним.

Шпалерная. Угол Шпалерной и Литейного. Мучительное место. Знаете ли вы, что это за дом на углу Шпалерной улицы, угрюмый и закрытый, где в глухих, будто ослепших окнах никогда не мелькнет живое лицо? Дом предварительного заключения.

Ее заключили сюда 1 марта 1887 года. Был весенний день, солнечный, с бурными ручьями на улицах. Она помнит его весь. Она напрасно прождала в тот день Александра и вечером в беспокойстве сама пошла к брату. В окнах увидела свет. Обрадовалась: значит, ты дома, Саша!

А там была полиция.

— Анна Ульянова? Курсистка? Сестра Александра Ульянова?

Только в тюрьме она узнала о том, что случилось. Она не имела понятия о замыслах Саши, за что его взяли. Ужас ее охватил. Что его ждет? В одиночной камере, запертая ото всех людей, она припоминала день за днем до его ареста первого марта. Каким в это время был Саша? Можно ли было что-то заметить? Как она пропустила беду? Они встречались постоянно. Он был обычным. Нет, если бы хоть отдаленно она представляла, что он готовится убить царя, могла бы заметить... Погруженный в себя, какой-то особенный, скорбный и значительный взгляд. На мгновение. Потом все рассеивалось. Отрешенность и строгость в выражении лица, словно человек отходит от родного порога, направляясь куда-то далеко-далеко... Нет, это было редко. Он был обычным.

Она могла бы заметить в самые последние дни внезапность и нервность его приходов к ней и уходов. Она не знала ничего. Ее забрали у него на квартире как сестру студента Александра Ульянова, покушавшегося на священную особу государя.

«Мамочка! Наша удивительная мама, ты навещала нас обоих в тюрьме. Брата Сашу. И меня. Я не знала

того, что ты знала, что он приговорен к казни. Он утешал тебя на свиданиях, обнимал твои колени, говорил, что любит тебя, любит нас, но долг его перед родиной... Брат мой Саша! Когда Сашу казнили, мама, ты пришла ко мне в камеру. Ты пришла потрясенная, и даже тогда не сказала мне, что его казнили. Пожалела меня, мама родная».

Анна Ильинична, как ни крепилась, не выдержала. Рыдания поднялись в ней, душили горло. Она быстро пошла по Литейному.

«Не плакать. Не плакать. Это было давно».

Ах, как бы ни было это давно, никогда не уляжется ужас.

Но постепенно взрыв боли утих в ней, и она вернулась обратно, к Шпалерной. Еще раз пройти мимо этого жестокого места.

Через восемь лет после Сашиной казни здесь был заключен брат Володя. Они приехали с мамой в Питер в смертельной тревоге. Они не знали, чем это кончится. Надо было действовать и скрывать страх и беспокойство от мамы. Но, мама милая, ты снова всех ободряла! Шла на свидание с Володей в Дом предварительного заключения. Здесь последний раз перед казнью ты видела Сашу. Теперь шла к Володе. Спокойная. Улыбалась. Мама, ты улыбалась! Только взгляд потухший как будто не хотел отвечать жизни.

Но что это? Стемнело? Уже зажглись фонари? Анна Ильинична и не заметила, как кончился день.

Литейный проспект принял вечерний праздничный вид. Появились франтоватые пешеходы, спешащие провести время в каком-нибудь избранном или неизбранном обществе. Слышался цокот копыт. Потянулись экипажи, везя в театры и концертные залы образованную и богатую петербургскую публику.

Надо до поезда успеть к Калмыковой. Александра

Михайловна Калмыкова жила на Литейном проспекте у Невского. Там был ее книжный склад, откуда снабжались книгами уездные и деревенские школы на самых дальних окраинах. При складе была книжная лавка. Продавцами в лавке служили опрятные и скромные женщины, помощниками у них были тоже скромные, смысленные мальчики, аккуратно одетые в одинаковые курточки. Все это было необычно, привлекательно и, как небо от земли, отличало лавку и книжный склад Калмыковой от других петербургских магазинов и складов.

Она жила при складе в квартире из нескольких комнат.

«Разузнаю о книжных новинках и политических новостях,— думала Анна Ильинична, спеша к Калмыковой.— Вообразите, вдова сенатора, важная светская дама, а с рабочим движением как прочно дружит и с Володей очень близка! Странно? А не придумано, правда».

Анна Ильинична любила столовую комнату в квартире Калмыковой, с плотными занавесками на окнах и тяжелыми портьерами на двери, чтобы заглушать голоса, с круглым столом, за которым охотно и часто собирались молодые марксисты. Какие шумели здесь споры, какие громы гремели, пока в ночь на 9 декабря 1895 года не забрали почти всех друзей Калмыковой.

— Сколько лет, сколько зим! — говорила Калмыкова, идя навстречу Анне Ильиничне.

Она была легка и подвижна, черты лица у нее были неправильные, но живость и ум придавали ей прелесть. Всегда деятельная, чем-то всегда занятая: учительством в вечерней школе рабочих, книжным складом, связями с марксистской партией.

— Какая вы молодая! — улыбнулась Анна Ильинична.

— Как же! Полвека позади. Пятьдесят годиков пройдено.

— Не верю, не верю!

— Сама не верю.

Это были не слова. Действительно, она не придавала значения своим пятидесяти годам. Годы не отражались на ней. Первый верный признак нестарения души — интерес к жизни и людям, а это у Калмыковой не переводилось. Не сосчитать дружб с молодыми и старыми, учеными и рабочими, марксистами и немарксистами, разными людьми, но непременно наделенными живинкой.

С Владимиром Ильичем была давняя, очень дорогая ей дружба. Давняя? Постойте, а в каком году Владимир Ильич приехал сюда, в Петербург?

Встречаясь с кем-нибудь из милого ее сердцу семейства Ульяновых, последнее время чаще с Анной Ильичичной, Калмыкова любила «попраздновать».

— Попразднуем? — говорила она.

И усаживалась с гостьей за большой круглый стол у самовара, и начинались разговоры. Не о делах. Это потом. Вечерняя школа за Невской заставой, журнальные статьи, явочные адреса и политические связи, печатание книги — это потом.

Сначала повспоминаем, «попразднуем».

Владимир Ильич приехал в Петербург в 1893 году. Русский капитализм набирал силу, шел к расцвету, полный надежд. Дом Романовых царствовал под охраной бесчисленной армии жандармов, полицейских, чиновников. Гранитный, чиновный, дворянский Санкт-Петербург на берегах величественной холодной Невы.

И приезжает с Волги молодой человек. Ему всего двадцать три года. Здесь, в Петербурге, казнили его брата за то, что он хотел убить царя. Саша! Если бы ты даже убил, на престол встал бы следующий, мстительный, от страха еще более жестокий новый царь из дома Романовых.

Нет, марксисты ставят другие задачи: соединить марксизм с рабочим движением, вооружить рабочих революционной теорией. И что же? Не прошло и двух лет после приезда Владимира Ильича, сильное рабочее марксистское движение поднялось в Петербурге.

Анна Ильинична улыбалась, глядя на смуглое, полное энергии лицо Калмыковой, и слушала. Они любили это Володино время, его петербургскую молодость, когда он приехал сюда начинать. Потом они припомнили Володиных друзей и товарищей.

— Помните Глеба Кржижановского? Какой-то он сейчас, в ссылке? Володя пишет, все тот же. Очень живой, глазки как черные смородинки, кудрявый. Он начитан, по знаниям рядом с Володей первый марксист.

— А Ванеева Анатолия помните?

— Тоже волжанин, из Нижнего. Можно бы целое землячество в Питере из нижегородцев составить: Ванеев, Сильвин, сестры Невзоровы... Из Шушенского пишут, болеет, бедный Ванеев... Какой-то ведь одухотворенный...

— Михаил Сильвин, тот другой.

— Сильвин? Почему? Ну, разумеется, другой. Больше земной, вы хотите сказать?

— Более, пожалуй, жизнеспособен, а тоже надежный.

— У Володи много надежных друзей,— сказала Анна Ильинична.

— Каков поп, таков и приход,— ответила Калмыкова.— Владимир Ильич умеет собирать возле себя умы и таланты. Разве не так?

— Так,— согласилась Анна Ильинична.

Она об этом не думала, но сейчас, припоминая товарищей Володи по «Союзу борьбы», подумала: «Так».

Известно, чем меньше времени, тем оно быстрее летит, и Анна Ильинична, взглянув на часы, убедилась, что до отхода поезда осталось недолго.

Пора поговорить о деле. О пересылке книг в Шушенское. Владимир Ильич пишет, что совестно даже, все забирает да забирает книги из калмыковского склада, все в долг.

— Свои люди — сочтемся,— сказала Калмыкова.

Поговорили о последних журнальных статьях, печатании рукописи в типолитографии Лейферта, письмах из Шушенского.

— Работают оба, Владимир Ильич и Надя, всюду! Владимир Ильич книгу закончил, статья на очереди. Оба переводят с английского. А Новый год встречали у Кржижановских в Минусе, повеселились. А каким охотником, представьте, заделался Владимир Ильич! Читают уйму. Сколько ни шли им, еще и еще требуют книг. Требуют, елико возможно, держать в курсе политических новостей...

Тут Калмыкова вспомнила:

— Стойте! Есть новость. Кускова из странствий вернулась.

— Ну уж важная новость! — возразила Анна Ильинична.

Она знала Кускову. Не близко, но знала. Красивая, бойкая дама. Служила переписчицей бумаг у известного адвоката Плевако, научилась от Плевако ораторствовать. Любит заниматься политикой, поскольку в наше время модно рассуждать о политике.

Вместе с теперешним своим мужем Прокоповичем изъездили почти все европейские страны, занимались пропагандой... только чего?

— А вот стойте, что я вам покажу.

Калмыкова вышла и через минуту вернулась, неся несколько отпечатанных на ремингтоне листков.

— Читайте их пропаганду. Студент один передал. Кусковой взгляды. Ее да Прокоповича сочинение. Не одни они. Группа их, да, может, немалая.

Анна Ильинична пробежала начало листка. Нахмурилась. Стала читать.

— Что такое? Странные тут вещи написаны. Рабочим недоступна политика? Рабочие не способны к борьбе? Надо ладить с хозяином? Вот так их кредо!

— Как? Как вы назвали?

— Кредо.

— Их верование. Их пропаганда. Такая, что совсем прочь от марксизма ведет. Может, следует известить Владимира Ильича?

— Как же не следует? Разумеется, следует. Ну-ну, куда они тащат рабочих. В болото!

Анна Ильинична спрятала листы в ридикюль. Пора уже ей на вокзал.

— Меня шпики кругом сторожат,— говорила Калмыкова.— Во дворе под окошком один, против ворот на Литейном другой, на углу Литейного и Невского третий. Я их по мерзейшим физиономиям узнаю. Наверно, уж углядели, что гостя у меня. Ничего, в крайнем случае один из троих дураков до вокзала проводит. До свидания, милая Анна Ильинична! Всем Ульяновым низкий поклон.

Анна Ильинична не стала разглядывать на улице шпики, пусть провожают до поезда.

Мартовский день с капелью и солнцем внезапно сменился студеным, совсем не весенним вечером. Резкий ветер подул с моря, мча темные, с седыми краями, клубящиеся, как дым, облака. Невский быстро пустел. Стало холодно. Прощай, Петербург, до будущей встречи!

Она пришла на вокзал за пятнадцать минут до отхода поезда. Прозябла, устала. Мечталось занять скорее местечко в купе, согреться, уснуть под стук колес, а завтра проснуться в Москве. Она заторопилась к вагону. На платформе обычная суতোлка. Носильщики в белых фартуках, с бляхами, по чемодану под мышками, по чемодану в руках. Восклицанья, прощания. Среди суতোлки мелькнула чем-то знакомая худощавая фигурка парнишки в коротком пальто. Длинная шея. В большущих глазах вопросительный знак.

— Анна Ильинична! — гаркнул он на всю платформу.

Проша! Из типографии Лейферта.

Он орал во все горло: «Анна Ильинична!», без церемонии расталкивая народ возле поезда и протискиваясь к ней.

А если шпик провожает ее от дома Калмыковой? Ничего за ней нет, к чему могли бы придраться чины из министерства внутренних дел Горемыкина, но зачем

все же орать во все горло? Что за дурачина! Зачем он привлекает внимание? Глупый Прошка! Или?.. Ведь она совсем не знает его...

4

После того вечера у Кусковой Прошка поздно вернулся домой. Очень хотелось тут же начать читать книгу «Школьные товарищи», он ее в ночь прочитал бы! Но Прошке редко удавалось читать по ночам, хотя это самое счастливое чтение! Тихо, будто ты один во всем свете не спишь. Разворачивается чья-то жизнь перед тобой, будто живые люди пришли, окружили тебя, интересно с ними, печально и радостно.

Но бабка не давала жечь ночью лампу. Десять часов пробило — гаси. Прошка приехал к бабушке в Питер три года назад, когда умерла его мать. После мамы отец скоро привел мачеху. Может, встречаются где неплохие мачехи, Прошкина же точь-в-точь как в сказке рассказывают: молодая, губы подобраны в нитку, глаза глядят жадно, а тебя словно не видят, словно тебя нет. Мачеха забрала над отцом полную власть. Потерял отец волю. Пишет в Питер, так и так, остались мы с сыночком без мамы родной...

Пришел от бабушки ответ: «Сама в сиротстве живу, а внучонка не кину, пускай приезжает, приставлю к матерству, а он старость мою будет беречь».

Беречь бабкину старость пока нужды не было, бабка была здоровехонька. Ходила по людям мыть полы, постирать, выстаивала воскресеньями в приходской церкви обедню, знала все происшествия в доме и осуждала Прошкино чтение. Каждая книжка для Прошки все равно что бастион, взятый с бою.

«...Но и не для одних детей, мне кажется, хороша эта книга: она хороша и для нас, взрослых друзей их», — прочитал Прошка в предисловии к «Школьным товарищам», сладко вздохнул, от удовольствия причмокнул губами и переселился в Италию. Там синьоры и дамы, рабо-

чие и бедные женщины, разные ребята, душевный и грустный учитель. Прошка весь ушел в их жизнь, не заметив, как пронеслось время и послышалось неумолимое:

— Поздно, лампу гаси.

— Бабушка, миленькая, Христа ради, дай почитать!

Он не очень-то к ласковым словам был способен, а тут, глядите, пожалуйста, миленькой у него бабка стала. И «Христа ради» и «миленькая».

— Ладно, читай уж, — растрогалась бабка.

Эта книга про добрых людей. Хоть в Италии, хоть в России худая жизнь без добрых людей!

Прошка начал читать не подряд. Знаете, какая это любопытная книга? Идет-идет рассказ о школьных товарищах, вдруг оборвался. Вставная история. Про героев-мальчишек.

Прошке пошел восемнадцатый год, давно уж он работает типографским подручным, печатает «Развитие капитализма в России» и суть понимает. Значит, человек с головой, а между тем любит читать о героях-мальчишках!

Одну вставную историю в книге «Школьные товарищи» сочинила сама А. Ульянова. Прошка начал с нее.

«Карузо». Так в Сицилии называли мальчишек, которые работают в серных копях.

Прошка читал этот трогательный рассказ, и из мыслей его не уходила Анна Ильинична. Прошка чувствовал, как она жалеет итальянских рабочих-мальчишек, любит их товарищество, плачет над смертью бедного маленького Паоло, ненавидит хозяина копей! И Прошка вместе с ней и жалел, и любил.

После рассказа «Карузо», после всего что узнал на кружке у Кусковой, Прошка захотел еще раз повидаться с Анной Ильиничной. Проверять листы Фролу Евсеевичу больше не требовалось. Прошка решил идти сам по себе. Не таким уж был он смельчаком, чтобы ходить в гости незванным, но непременно надо ее повидать, и однажды

после работы он отправился по знакомому адресу. Работа в этот день, как на грех, кончилась поздно. Был вечер, когда он пришел. Позвонил, как тогда. Открыла не Анна Ильинична, а строгая прямая старуха в темном капоте.

— Мне Анну Ильиничну.

— Съехала сегодня с квартиры.

— Как съехала? Куда?

Старуха строго поглядела на Прошку:

— Не знаю. Вероятно, домой. Комнаты сдаются с сегодняшнего дня.

— А-а,— сказал Прошка.— Прощайте.

И выбежал на улицу по своей привычке всегда спешить и лететь. Но куда? Значит, она не питерская. Значит, надо ее искать на вокзале. Может, поезд еще не ушел. Поезда уходят из Питера поздно.

Прошка пошагал к Николаевскому вокзалу, откуда поезда идут на Москву. А может, ей не в Москву? Прошке не явились эти сомнения, и оттого он бодро шагал, а частью бежал — не было денег на конку. Все нужнее было Прошке видеть Анну Ильиничну! Дело в том, что в его голове, незаметная для него, шла работа, и вдруг он понял: «Мне не нравится в кружке у Кусковой. Не нравится? Почему? Не знаю. Что-то не то, что-то неверно. Если бы Анне Ильиничне не уезжать! Если бы такой человек был в кружке, как Анна Ильинична! Успеть бы с ней повидаться!»

На вокзале была суета, носильщики с бляхами тащили к поезду вещи, паровоз шумно фыркал, толчками пуская вверх белый пар, у подножек вагонов прощались. Прошка увидел Анну Ильиничну. Подскочил. И сразу заметил в ней перемену. Сразу у него дух упал, и он понес, что не надо.

— Анна Ильинична, я вашу фамилию знаю. В книжке прочел. Еще, что он вам родной брат...

— Зачем вы пришли? — оборвала Анна Ильинична. Коротко, сухо.

У Прошки похолодело в груди. Совсем не та — незна-

комая, неласковая Анна Ильинична. А как презрительно сдвинулись брови, как все в ней будто заперлось на замок, а он не мог сообразить, что так чуждо ее изменило. Он не мог вымолвить слова, все забыл, что хотел ей сказать, и даже не понимал, зачем очутился здесь, на вокзале.

— С этого вокзала на Подольск уезжают,— сказал он.

— Мне пора,— ответила Анна Ильинична и торопливо пошла к вагону. Ушла, не кивнув.

Паровоз тонко свистнул. Скоро тронется поезд.

«Что это значит? Что это значит? — думала Анна Ильинична, войдя в купе и тихо сев в уголок у окна.— Зачем он прибежал? Намекнул о Воло... Зачем он сказал о Подольске? Что это значит?»

Она сидела в уголке с бесстрастным лицом, а кровь пугливо стучала в виски: «Зачем он прибежал? Что это значит?»

Поезд тронулся. Она поглядела в окно. Прошка стояла на платформе. Узкоплечий, с длинной шеей.

«Какие большие у него уши, мальчишеские»,— заметила Анна Ильинична.

Было холодно. Дул резкий ветер. Прошка жался в своем коротком драповом пальтишке. Анна Ильинична успела увидеть его озябшие руки, которые он старался засунуть в узенькие обшлага рукавов.

Вагон прокатил мимо. Громче, быстрее, громче, быстрее застучали колеса. Прошка теперь уже далеко на платформе.

«Боже мой, а вдруг я ошиблась? — подумала Анна Ильинична.— Зачем я с ним так обошлась?»

5

— Снегу-то, снегу! Чистый, нехоженный, весь в искрах! Снегу-то, по пояс лес завалило! А вон заячья тропка, петляет, юрк в кусты! Эй, зайчишка, ау! Небось дрожит под кустом. Не дрожи, мы не тронем. Леопольд, не палí в него, если выскочит. А тут что? Скорлупок под

елкой насыпано, словно в базар. Белка тут орешками щелкает. Наверно, у нее склад на елке в дупле. Старая елка, рада небось, что беличье семейство приютила до лета, все-таки польза. А что, скучно без пользы жить? Если ни для кого от тебя радости нет? Скучно? А белкам приволье у нас. Зимы на три в запас орехов накапливают, живи-поживай без заботы. Щелкай скорлупки, сколько душа пожелает. Ой, гляди, солнце низко. Не забранились бы хозяйки, боюсь. Ушла до вечера, а работать кому?

— Не все же работать,— сказал Леопольд.

— Работы-то хватит, да я спорая. Елизавета Васильевна хвалит меня не нахвалится. А я взяла ушла в лес до вечера. Ты увел. Поглядеть захотелось, как ты охотничась, а ты и не стрельнул ни разочку. Умеешь ли? Может, зря ружье носишь, для виду?

— Ах, для виду?

Леопольд скинул с плеча ружье.

— Вон та сосенка, заметь, как срежу макушку.

Пли! Сосенка закачала ветвями, осыпая снежную пыль, а макушки как не было. Леопольд повесил ружье на плечо. Пошли дальше.

— Не забранились бы дома,— вздохнула Паша.

— Разве твои хозяйки бранятся? И не похожи они на хозяек, хозяйки строжат, приказывают, а твои? — сказал Леопольд.

— На всем свете других таких не найти, как мои! Чем бы к делу с первых дней приучать, а они грамоту мне объясняют. Диковинно даже.

— Про меня ничего не говорили, что я у вас каждый день? — спросил Леопольд.

— Ой, что ты! Что ты! Они страсть как любят тебя! А ты не упускай, ты ходи, ты разуму у нас навек наберешься.

— Я не затем только хожу, чтобы разуму у вас набираться,— сказал Леопольд. И вдруг покраснел, вся кровь хлынула в лицо.

И Паша вспыхнула, отвернулась и закричала радостным голосом:

— Гляди, солнце багровое! Оно к ветру такое! Ветер завтра с Енисея задует. Ой, домой поторапливаться надо. Наши ужину скоро запросят. Пишут, пишут свои книги, да и проголодаются.

— Паша! — позвал Леопольд.

— А? — негромко уронила она.

Они стали отчего-то посредине дороги. Молчание. Шумно и радостно билось сердце у Паши.

— Знаешь, как matka моя тебя называет? Старшего сына нашего ясна панёнка, — сказал Леопольд.

— Еще чего? Смеешься? Смеется твоя мать. Придумываешь все ты!

Паша зашагала вперед, в смущении дергая и теребя на груди косу и нетерпеливо ожидая, чтобы он еще говорил, еще называл ее ясной паненкой.

— Не придумываю, — идя рядом с ней, говорил Леопольд. — Matka тебя зовет ясной паненкой. Плохо?

— Неплохо. Да ко мне не пристало. Ты книжки читаешь, а я что?

— Что ты? Тебя выучили грамоте, и ты читай.

— Ну, стану читать, а дальше? Читай не читай, чего мне здесь ждать-то?

В цветном полушалке, с переброшенной на грудь пшеничного цвета косой, синеглазая, сердитая, она требовательно спрашивала:

— Чего мне здесь ждать? У вас рано ли поздно кончатся сроки, а мне чего ждать?

— Как чего? Ты не веришь, что это настанет?

Они шли лесом, поредевшим — в просветы между деревьями уже виднелись поля до самого Шушенского, — шли молчаливым, пустым зимним лесом, никто не мог их услышать, но слово «это» Леопольд сказал тихо.

— Ты ему веришь? — еще тише спросил Леопольд.

— А он мне про это не говорил ничего. Он со мной не говорил.

— Я тебе говорю. Умеешь молчать?

— Вот те крест!

— Не крестись. Ведь знаешь, что бога нет! Бога нет, креста нет, того света нет!

— Ну, ладно, ладно. Ты о том говори.

— О том? Могу поклясться, что это будет. Может быть, осталось недолго. Царь падет, жандармы, купцы, ксендзы, попы — мы прогоним всех.

— И нашего батюшку?

— Опять зовешь батюшкой? Зови попом. И ваших шушенских богатеев прогоним. Чего ждать? Новой жизни. Тогда все будет ново. Если захочешь, поезжай учиться в Красноярск или даже в Петербург, куда душа пожелает.

— Так меня и пустили! Деревенскую-то девчонку разве пустят?

— Тогда не будет разницы, деревенский ты или городской человек, дворянин ты или крестьянин, русский или поляк...

Он умолк. Оборвал. Словно туча нашла. Нахмурились брови. У него упрямые брови. Все в нем упрямое.

Давно уже дядя Ян Проминский с семьей живут в Шушенском ссыльными, а у Леопольда Проминского все городской гордый вид. Лицо светлое. К нему и загар не пристает, он и летом все светлый. Шушенские девки завидуют: нас бы так на жнитве солнышко миновало. Тонкий, высокий. И странный, однако.

— Леопольд, что ты уж больно о Польше своей уби-ваешься? Наши ребята ни в жизнь не скажут про сторону свою, что родимая, у нас засмеют...

— Потому что вы... они... ведь вы не в ссылке. И я, когда жил дома, в Лодзи...

Леопольда послушать, нет города лучше, чем Лодзь. Вот отчего он ходит за ней, думается Паше. Она слушает Леопольдовы рассказы о Польше. Вовсе не оттого, что Паша «ясна паненка», ходит за ней Леопольд, а оттого, что тоскует о Польше.

— Нет у нас Польши!

Он зло подшвырнул носком снег. Когда Леопольд сердится, у него бледнеет лицо, сдвигаются над переносицей брови. Паше боязно и жалко его.

— Ладно, Леопольд.

— Что ладно? Нет у нас Польши! Нас разорвали на части. Немцы нас захватили. Русский царь захватил. Испытала бы ты... как это, если бы тебе приказали: забудь, что ты русская. Я поляк и не хочу забывать!

— Ладно, Леопольд.

— Когда-нибудь мы добьемся свободы. Когда в Лодзи была забастовка, мой отец показал им. Недаром его сюда, в Сибирь, упекли. Мой отец революционер.

При этих словах Леопольд вскинул голову. Как он вскидывает голову — неприступно, будто какой королевич! Будто не старенькая на нем козья дошонка, не стоптанные ичиги на ногах. На нем незаметна одежда, даже в старой дохе похож на королевича.

— Мой отец революционер. Владимир Ильич моего отца уважает.

— Владимир Ильич хороших людей уважает.

— Отец не просто хороший. Революционер и марксист.

Паша промолчала. Она плохо разбиралась в марксизме. Между тем солнце спряталось за деревьями. Февральское солнце, потому что этот поход Леопольда и Паши в шушенский лес случился раньше описанных в первых главах петербургских событий.

Они вышли из лесу. Вдали величественно поднимались снеговые громады. Тяжелые, вечные. Подставили небу плечи-хребты. Небо прилегло на хребты. Край вершин был еще светел, а по склону стекали синеватые тени, густели в складках расщелин, сбиваясь темнее и глуше у подножия громад. Саяны. Все стало иным, торжественным, важным. Могучим спокойствием наполнилось все.

Красный, слегка затуманенный шар спускался к зака-

ту. Над горизонтом разлился розовый свет. Вечернее солнце не слало на землю лучей, сверкание снега утихло, снег медленно голубел. Хмурели Саяны, затягиваясь фиолетовыми сумерками. Солнце ушло. Заря быстро остыла. Наступил вечер.

— Леопольд, почитай,— сказала Паша.

Она знала, чем его рассеять. Когда на него внезапно налетала тоска, утешать его надо Мицкевичем.

Три у Будрыса сына, как и он, три литвина.
Он пришел толковать с молодцами.

Паша знала эти стихи наизусть. Леопольд то и дело читал: «Три у Будрыса сына...»

Одного посылает отец за добычей, второго посылает отец за добычей, а у третьего в Польшу дорога. Не за добычей дорога.

Сыновья с ним простились и в дорогу пустились.
Снег на землю валится, сын дорогою мчится,
И под буркою ноша большая.
«Чем тебя наделили? Что там? Ге! Не рубли ли?»
«Нет, отец мой, полячка младая».
Снег пушистый валится, всадник с ношею мчится,
Черной буркой ее покрывая.
«Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?»
«Нет, отец мой, полячка младая».
Снег на землю валится, третий с ношею мчится,
Черной буркой ее прикрывает.
Старый Будрыс хлопочет и спросить уж не хочет,
А гостей на три свадьбы сзывает.

Паша любит слушать, как Леопольд читает стихи Мицкевича про молодых полячек. Отчего-то грустно ей от этих стихов.

— Леопольд! Кончится у отца ссылка, уедете в Польшу, и забудешь про Шушенское.

— Татусь вторую зиму бьет зайцев, братьям-сестрам шубы шить из заячьих шкур. Сколько нас у отца, посчитай. Шестеро. Подготовиться в дорогу дальнюю надо, одеться. Непросто.



Паша любит слушать, как Леопольд читает стихи Мицкевича.

— Уедете, и забудешь про Шушенское,— повторила Паша.

— Не забуду.

— Не зарекайся, забудешь. Ой, поздно, наши небось хватились меня.

И она быстро-быстро побежала вперед, похрустывая на снегу новыми валеночками. Кажется, во всю жизнь лучших не было, вот что значит своим трудом заработать валенки! Необыкновенные все-таки ссыльные люди, к которым, на счастье, привела Пашу бедность. Не была бы бедной семья, не отдала бы мать Пашу помогать по хозяйству к Ульяновым и не узнала бы Паша этих людей, Владимира Ильича, Надежду Константиновну, Елизавету Васильевну. И с Леопольдом, может, не встретишься бы.

На сенокосах траву не косит, на гумне не молотит, безземельные они, безлошадные, бескоровные, где встретиться? Еще загвоздка, из ссыльных он. На ссыльных у нас осторожно поглядывают. Чужаки, пришлые.

6

Незаметно они дошли до села. За спиной у них непроглядная темень полей. В Шушенском неярко желтели огоньками окошки, зажгли в избах камельки и лампы. Со двора доносился скрип журавлей колодцев. Поили скотину.

Но вот позади слышался звон колокольцев, ближе, звонче, и пара седых от изморози коней, запряженных в кошеву, догнала их у въезда в село.

— Стой!

Заиндевшая лошадиная морда едва не легла на плечо Леопольду, дохнула теплом в ухо.

— Гей, охотник! — натянув вожжи, сипло крикнул ямщик.— Как тут проехать...

— ...к ссыльному Владимиру Ильичу Ульянову,— договорил другой голос.

Леопольд увидел барашковую шапку, из лисьего воротника глянуло лицо, молодое, широкое, с наведенными инеем белыми усами и бородой.

— Что ты молчишь? Как проехать к Ульянову?

Леопольд молчал, поправляя на плече ружье.

— Что за чудак, молчит! Ямщик, трогай. На селе спросим, скачи! — нетерпеливо торопил приезжий в кошеве.

— Прямо поезжайте, — как подтолкнутый, живо сказал Леопольд. — Все прямо, на край села поезжайте.

Ямщик дернул вожжи — кони помчали кошеву.

— Ой, Леопольд! Зачем ты не туда их послал?

— Надо. Бежим!

Они пустились бежать по селу.

— Скорей беги, Паша!

— Бегу.

Шушенское — большое волостное село. Больше версты тянется главная улица. Нерушимо стоит на главной улице кирпичная церковь. От церкви отступив — питейные заведения, полные пьяным народом и гамом, дальше купеческие лавки с товарами, заезжий двор, из ворот несет теплым навозным запахом, слышится лошадиное ржание. Вдоль главной улицы бревенчатые кулацкие избы, каждая — двести лет простоит. Заборы высокие, калитки на запорах. А то рядом с хоротами горбатится вросшая в землю избенка. Впрочем, такие захудалые избенки ютятся больше в проулках да на задворках. Веснами и от осенних дождей грязи в Шушенском ни пройти, ни проехать!

Есть в селе Шушенском маленькая аккуратная улочка, прямо ведет к реке Шуше. Над рекой Шушей есть дом.

Паша с Леопольдом прибежали сюда. А кошевы не видно.

— Ой, что там у нас, ой, батюшки-матушки! — шепнула Паша, потихоньку от Леопольда крестясь мелким крестом.

Тревога Леопольда передалась ей. Уж не жандармы ли с обыском? Или иной лихой человек? А где же кошева? Ой, да ведь Леопольд на край села ямщика отослал. Сейчас прискачет обратно ямщик, злющий, что дорогу неверно сказали. наших скорее предупредить.

Они вошли в сени. Непонятный звук мерно и часто доносился из кухни.

— Ой, бабушки-матушки, что там?

А там Елизавета Васильевна присела на корточках у печки и тукает косарем, смолевые чурочки колет. Рыжая Женька сидит рядом, с хитрой мордой поколачивает об пол хвостом.

— Елизавета Васильевна! Да что вы? — кинулась Паша. — Да у меня их за печкой на всю зиму запасено, да я в минуту, ступайте из кухни, я в минуту самовар вздую, гости, что ли, у нас?

— Петербургский товарищ Михаил Александрович Сильвин. В село Ермаковское ссыльным едет, по дороге к нам завернул, — поднимаясь с корточек, сказала Елизавета Васильевна.

— А мы у околицы встретили их, испугались с Леопольдом, не жандармы ли скажут. Ан это гость. Рады наши-то?

— Как же не рады! Паша, деточка, пельменей из кладовки достань. Угостим гостя сибирским кушаньем.

Сказано — сделано. Закипела работа. Зашумел под трубой самовар. На шестке разложили огонь — варить ступающие, как камушки, с морозу пельмени. Постелили на столе чистую скатерть, расставили тарелки.

— Елизавета Васильевна, однако, готово. Зовите.

— Уже и готово? Быстрая, умница! Зову сейчас. За стеной, где у Владимира Ильича рабочая комната, задвигали стульями. Встали, идут.

Паша навстречу из кухни с глиняной миской, полной пельменей. Из миски валил вкусный пар, и вся торжественность момента отражена была на сияющем лице Паши.

— Михаил Александрович, пожалуйста к ужину! — приглашал Владимир Ильич.

— Удивительно, что вы делаете, Владимир Ильич! В условиях ссылки такое исследование, в глуши, в Сибири, вся обстановка ваша такая творческая, поразительно!

Гость говорил, говорил. Разводил руками, размахивал. Вскидывал плечи.

— Что касается будущего, Владимир Ильич...

Он стоял у порога, загородив ход к столу, все говорил. Владимир Ильич тоже стоял. Слушал и шурился. Видно было, гость ему близок. Но случайно повел взглядом на Пашу, увидел миску с пельменями и сейчас догадался, как она волнуется, бедная, что остынут пельмени.

— Этот человек, — кивнув на Пашу и улыбаясь, сказал Владимир Ильич, — это Паша Мезина, наша помощница, от нее зависит, закончим мы с Надей в срок нашу работу или нет.

Паша смутилась, и Надежда Константиновна вся покраснела от его слов и стала румяной, хорошенькой, ах как Паша любила свою молодую хозяйку!

— Ты пишешь книгу, Володя, я негромкая сила, всего переписчица, — сказала Надежда Константиновна. И, от застенчивости торопясь перевести разговор на другое, захлопала в ладоши: — За стол, товарищи! Пашенька, умница, ставь пельмени.

Все уселись за стол и без лишних проволочек принялись за пельмени, похваливая:

— Ай да Паша! Ай да стряпуха!

Пашу звали за стол, но она ни за что не соглашалась садиться, не до еды ей, какая еда! От переживаний она лишилась аппетита, да и бегать надо за добавкой на кухню, хлопот по горло!

Леопольд тоже отказывался, но его усадили.

— Этот товарищ интересуется вопросами социализма и уже порядочно знает, — сказал Владимир Ильич.

Леопольд чуть не подавился пельменем. Он любил

слушать, ловить, замечать жизнь и речи в доме Ульяновых, но когда его самого замечали, стеснялся мучительно. Трудно представить, до чего он был самолюбив и застенчив с людьми, которых считал выше себя. Из самолюбия он прятался в тень. Где его смелый и заносчивый вид?

Он не ответил Владимиру Ильичу, не подыскал слов для ответа, а гость взглянул на Леопольда внимательнее и вдруг узнал их с Пашей.

— Позвольте, ведь это вас мы нагнали у села? Вы были с ружьем, да, это были вы. Вы не туда показали ямщику дорогу. Почему?

Несколько секунд Леопольд сидел онемевший.

— Просто мы... пошутили.

Вот так нашелся, умник-разумник!

— Ой! — выскочило у Паши. Она зажала ладонью рот.

Владимир Ильич положил вилку и пристально на нее поглядел. На Леопольда. Еще на нее. И ничего не сказал. Только доброта и задумчивость прошли по лицу.

«Ничего мимо не пропустит. Обо всем угадает. Ровно колдун», — подумала Паша.

— Гм! Хорошенькие шутки, — усмехнулся Сильвин.

Михаилу Александровичу Сильвину не терпелось вернуться к разговору. От Владимира Ильича он ждал ответа на все вопросы. Наши планы на будущее. Наша деятельность. Не вечно же ссылка! Что дальше? Как дальше?

Паша носила на кухню посуду, притащила самовар, расставила чашки для чая, убежала, вбежала и ловила разговор хозяев с гостем урывками, а Леопольд весь ушел в слух. Приличие требовало встать из-за стола, сказать хозяйкам спасибо. Но он словно к месту прирос. Страсти разгорались. Говорил Владимир Ильич.

— Именно сейчас, пока мы здесь как будто в бездействии, необходимо продумать каждый шаг, точно наметить путь, а когда время настанет, без колебаний при-

ступить к выполнению плана. На многие годы. На многие, многие годы!

Он не сказал слово «партия». Но говорил о партии. Все понимали, о чем он говорил. Партия раздроблена, расшатана, ее, в сущности, нет, ее надо создавать снова. Весь вечер он говорил об этом.

Леопольд слушал, не спуская с Владимира Ильича взгляда.

«Сейчас выйдет из-за стола, будет ходить». Так и есть, встал, начал ходить. Леопольд знал все его привычки. Всегда волновался, слушая его. Владимир Ильич говорил прямо ему, только ему, чтобы он, Леопольд, знал, понимал, делил с ним его долю и дело, не боялся тюрьмы и жандармов, не боялся страха и верил: революция будет! Они сделают революцию. Они должны сделать, они! Владимир Ильич говорил это ему, Леопольду.

Вошла в комнату Паша. И, дернув плечами, с недобрым в глазах огоньком:

— Там проверка к нам.

Елизавета Васильевна чиркнула спичку, закурила, медленно пустила сизый дым.

— А сердиться незачем, детка. Бесплезно сердиться.

— Мамочка, ты наш Ушинский! — засмеялась Надежда Константиновна.

Дверь запищала, приоткрылась. Как-то боком, словно нарочно стараясь войти неудобнее, протиснулся в щель неказистый мужик с реденькой, как из мочала, бороденкой. Надзиратель Заусаев, исполнявший слежку за ссыльными. Оглядел людей за столом. Приметил чужого. Вытащил из-за пазухи тетрадь в переплете. Выпятил для важности грудь.

— Политический ссыльный Владимир Ильич Ульянов на месте?

Он приходил сюда каждый день, два раза в день, утром и вечером, проверять, на месте ли ссыльные. Обычно обходилось без казенных вопросов — подсунет тетрадь-

ку Владимиру Ильичу, Надежде Константиновне — и дальше. Надо всех ссыльных на селе обойти, а еще и своя есть по хозяйству работа. Своя рубашка ближе к телу, не упустить бы свое. Но сейчас в доме была неизвестная, посторонняя личность. Надзиратель считал, перед посторонней личностью надо себя показать, кто он таков, какие его права и обязанности.

— Политический ссыльный Ульянов на месте?

Заусаев оторопел от такого ответа, не понял.

— Нет на месте Ульянова.

— Ка-ак? А-а... это кто такой тут?

— Вы не видите, кто?

Надзиратель услышал за столом смех. Правда, негромкий. Надежда Константиновна и Елизавета Васильевна усмехались обидно, но не громко. Громко, нахально смеялся мальчишка с упрямыми и злыми бровями и таращил глаза. Этого мальчишку надзиратель не терпел за его дерзкий взгляд, в котором таился вызов. Избил бы за смех. Но... смолчал. Не посмел. Ссыльного Ульянова Владимира Ильича устыдился. Нет у Владимира Ильича Ульянова над ним власти, наоборот, он, Заусаев, вроде как над Ульяновым власть. А робеет Ульянова. Отчего? Какая-то сила в нем. Держит тебя его сила, не дает воли. Не только ударить — замахнуться не дает на мальчишку!

«А что Владимир Ильич посмеялся над тобой, так за дело, не кочевряжься, простой ты сибирский мужик и должен правильному человеку сочувствовать».

Надзиратель переступил ногами, помялся:

— Владимир Ильич, распишись. Требуют. Что ты будешь делать, начальство велит.

Владимир Ильич взял тетрадь, расписался. Молча. Без шутки. Молча расписалась Надежда Константиновна. Сильвин вынул из кармана свидетельство, утверждающее его личность и маршрут до села Ермаковского. Надзиратель повертел бумажку так и сяк и вернул.

— До свиданья, однако.

Когда в кухне захлопнулась входная дверь, Надежда Константиновна сказала:

— Он неплохой, по существу, человек. Почти неграмотный он.

Никто не ответил. Елизавета Васильевна объявила, что пора стелить постели на ночь.

Гость остался ночевать. Надежда Константиновна с Пашей стали готовить гостю белье.

Леопольд простился, взял в углу кухни ружье и вышел из дому. Огромное небо мерцало звездами над селом. Горло Леопольда сжимали счастливые слезы. Кому-то он был благодарен. Кого-то любил. Предчувствие чего-то большого и высокого, как это небо над Шушенским, поднялось в нем. Жадно дышала грудь. Дул ветер. Паша угадала, красный закат к ветру. Ветер поднялся, летел и спешил и нес к Шушенскому чуть внятный запах еще не близкой весны.

7

«Найти бы предлог, для чего к ним закатиться»,— думал на другой день Леопольд.

Дом Ульяновых он навещал каждый день. Известно, в Варшаве и Петербурге есть университеты, где юноши учатся избранным наукам, слушают лекции. Леопольд ходил к Ульяновым как в университет. Но не с утра же. Нынче стал собираться с утра, боясь пропустить случай: наверное, за чаем Владимир Ильич опять разговаривает с товарищем Сильвиным до отъезда его в село Ермаковское. А! Вот и предлог вполне уважительный — «Господа Головлевы», сочинение М. Е. Салтыкова-Щедрина. Книжку за ремень под дохой — и к двери.

Голос от окошка:

— Куда?

У окошка тощий, высокий отец сутулился над заячьей шкуркой, шьет заказчику шапку. В Лодзи отец был шляпочником, валял и выкраивал разные модные шляпы,

шапки, фуражки, цилиндры, кепи. Отец был мастером в Лодзи. Здесь, в Шушенском, редко перепадали заказы. Перепадет — отец старался подучить Леопольда: хоть какое дать в руки дело на будущее.

— Татусь, можно я потом тебе помогу? Очень мне надо идти.

Отец поднял от работы медленный взгляд.

— Надо — иди.

Отец неразговорчив. Болит у отца душа за семью: шестерых детей обуи, одень, накорми. А в будущем что? Но оханья и ругани в доме не слышно. Отец не жалуется на свою несправедливую жизнь. Мама иногда ворчит.

Леопольд пришел к Ульяновым, как всегда, в радостном ожидании нового. У них не бывает скучно и буднично. Всегда у них интересные разговоры.

Возле порога лежала Женька, вытянув морду на лапы, и зорко глядела. У Женьки бурно-активный характер. Охотник и сторож живут в ней рядом. Неизвестно, кто держит верх. Когда Леопольдов отец и Оскар Энгберг заходят за Владимиром Ильичем с ружьями, Женька вмиг соображает, куда они собрались, охотничий инстинкт мощно в ней поднимается. Нестерпимое волнение охватывает Женьку. Она егозит, подскуливает, виляет хвостом, скребется в дверь, с надеждой заглядывает в глаза Владимиру Ильичу, тычется мордой в колени, молит: возьмите меня на охоту, возьмите!

Как счастлива, когда Владимир Ильич свистнет:

— Дженни! Идем.

А когда надо сторожить — сторожит серьезно и рьяно.

Завтрак у Ульяновых кончили, но все оставались за столом. Елизавета Васильевна с папироской над остывшей чашкой чаю. Владимир Ильич неторопливо прохаживался по комнате. Говорили о товарище Анатолии Ваневе. Многих товарищей Владимира Ильича Леопольд знал по рассказам. Особенно Анатолия Ванеева. Владимир Ильич особенно его любил. Его и Глеба Кржижановского.

Кржижановский здоров и не так далеко от Шушенского, а Ванеев далеко и болен. Опасно, кажется, болен.

— Нужно что-то предпринять! Необходимо вытащить его, нельзя его там оставлять, у черта на куличках в холодном ледяном Енисейске! — говорил Владимир Ильич. И прохаживался медленными шагами по комнате. — Поразительно цельный человек! — сказал Владимир Ильич, остановившись возле деревянного дивана с высокой спинкой, где сидел Сильвин. — О ком, однако, я вам рассказываю! О земляке, нижегородце, ведь вы в Питере все студенчество в одной комнате с Ванеевым прожили, да?

— С Ванеевым можно жить, — согласился Сильвин.

— Случилась мне позарез нужда в некоторых статистических сборниках, — рассказывал Владимир Ильич, — это когда еще мы в Петербурге в предварилке сидели, так Ванеев узнал, из тюрьмы в Нижний знакомым писал, чтобы достали. И отсюда, из Сибири, заказывал книги, когда была надобность. Я ему напишу, он в Нижний напишет. Вот человек активного добра и истинный товарищ, а, Леопольд? — неожиданно быстро обернулся Владимир Ильич.

Как всегда, Леопольд не нашелся ответить. Нахмурил брови, будто обдумывая трудноразрешимый вопрос. Уж эта его стеснительность, или попросту трусость, беда его!

— Умная книжица? А? — увидел Владимир Ильич у Леопольда за ремнем Салтыкова. — Принес поменять? Что на этот раз тебе выбрать? Снова Салтыкова? Нет? Что же? Политику? Прекрасно! — Он вышел, разыскал на полке у себя книгу Энгельса «Развитие научного социализма». — Получай. Смотри осторожнее с этой книгой. Со-циа-лизм! Они от одного слова «социализм» в набат бить готовы. Читай не спеша. Это произведение нельзя торопливо читать.

— Михаил Александрович, — обратился он к Сильвину, — что мне в голову пришло: там, в Ермаковском, куда

вам лежит дорога, у меня есть знакомый доктор Арканов Семен Михеевич, напишу-ка я ему письмецо о вас.

— Спасибо, Владимир Ильич, может, не стоит?

— Отчего же не стоит? Очень даже стоит! Мало ли какие по приезду затруднения встретятся! Он там всех местных жителей знает. С квартирой может вам посоветовать. Сейчас и напишу.

И дверь затворилась за ним в его комнату. Женька поднялась от порога, не спеша перебралась к закрывшейся двери, там затихла.

— Как у вас хорошо! — внезапно воскликнул Сильвин. — Как вы счастливы, что у вас семья!

— Михаил Александрович!

— Милый Михаил Александрович! — в один голос ответили мать и дочь. — А вас что останавливает, Михаил Александрович?

Паша не понесла посуду на кухню, поставила на край стола и сама с загоревшимися глазами приткнулась на кончик дивана.

— Что держит? Признаться? — колебался Сильвин. — Держит любовь! Слишком сильная любовь, может быть, — признавался он с пафосом. — Держит боязнь доставить ей неудобства и трудности. Страх за нее. Ведь ломается жизнь, привычки, быт — все! Слишком я люблю ее, чтобы принимать ее жертвы, не хочу подвергать ее превратностям судьбы, какие могут выпасть на долю жены политического ссыльного в неизвестном сибирском...

Он не договорил, споткнувшись о взгляд Надежды Константиновны, немного грустный, немного насмешливый.

— Непонятная у вас любовь.

— А не у нее ли любовь непонятная? — спросила мать.

— Мамочка! Может быть, она не уверена... может быть, ждет, чтобы он... чтобы вы, Михаил Александрович, открылись. Вы не уважаете ее, Михаил Александрович.

— Что вы говорите! — оскорбленно воскликнул Сильвин. Вскочил. Сел. Опрокинул недопитый стакан.

— Ой! — вырвалось у Паши. Но не побежала за тряпкой.

— Разве уважение это, если вы думаете, что она боится кинуть город, привычки, устроенный быт? Любовь — и привычки? Разве это сравнимо? А делить судьбу мужа, политического ссыльного? Разве не гордость и счастье для женщины делить такую судьбу? Быть участницей его планов и замыслов, его дела. Служить вместе делу! Или, может быть, она вас не любит? Скорее, скорее забудьте о ней, она вас не любит.

— Она меня любит.

— Что-то не верится, — усмехнулась Елизавета Васильевна. — Вас в кошеве мчат в село Ермаковское, а она... А вот и лошадь подали.

Правда, под окном завиднелась дуга с нарисованной розовой розой, призывно пробренчал колоколец.

— Она меня любит, — сказал Сильвин. — У меня миллион доказательств.

— Нужно одно — желание делить судьбу мужа.

— При нужде и щи сварить, не все только высокие материи, — вставила Елизавета Васильевна.

— Делить труд, угрозы, опасности. И если смерть...

Мать перебила:

— Не будем о смерти. Это еще что за мрачные мысли?

Дверь из комнаты Владимира Ильича распахнулась, он быстро появился на пороге.

— Получайте письмецо. Вы не с тяжелым сердцем уезжаете, Михаил Александрович?

— Уезжаю с сердцем, полным счастья и безумных надежд! — пылко ответил Сильвин.

Владимир Ильич даже попятился.

— Что тут у вас? Тайна? Знаю, обожаете тайны. Но дудки! Давайте выкладывайте. Ну, ну, давайте, давайте!

Он обвел всех выпытывающим взглядом, задержался на Леопольде.

— К Михаилу Александровичу скоро приедет невеста! — выпалил Леопольд неожиданно для себя самого.

Что началось!

— Bravo, bravo! Отлично, преотлично! — принялся поздравлять Владимир Ильич, хлопая Сильвина по плечу. — Ко всем нашим невесты приехали. Разве ваша хуже других, что оставит вас в одиночестве? Молодец, умница! Милостивый государь, что же вы такую важную новость под конец берегли?

— Как я вам благодарен! — с чувством сказал Сильвин.

Теперь он знал, это решилось. Вчера еще было неизвестно, а сегодня решилось, твердо решилось оттого, что они помогли и подсказали ему, его друзья и товарищи. Один он еще колебался бы, рассуждал бы и взвешивал: как ей будет, да не жертва ли это с ее стороны? А хоть бы и так? Что за любовь, когда боится жертв?

— Всему вашему дому спасибо, Владимир Ильич! И тебе!

Он обнял Леопольда, у того косточки хрустнули, так от избытка чувств его обнял Сильвин.

С улицы долетел колокольчик. Дуга с розовой розой под окном напоминала о необходимой дороге.

Елизавета Васильевна распорядилась перед отъездом присесть. Сели. Леопольд и Паша рядышком на пороге. Женька положила морду Владимиру Ильичу на колени. Он почесал ее за ухом. Женька благодарно стукнула об пол хвостом.

— Когда ваша невеста соберется сюда, попросите, пожалуйста, чтобы, елико возможно, заехала к нашим, — сказал Владимир Ильич.

— Непременно, Владимир Ильич!

«Они уже говорят о ее приезде, как о деле решенном», — удивленно и радостно подумал Сильвин.

Ну, можно вставать. Стали прощаться, что-то приветливо и сумбурно наказывать Сильвину, и он им.

— Не унывайте, не болейте. Устраивайтесь.

— Желаю удачно закончить книгу, Владимир Ильич!

И на крыльце все прощались:

— До свиданья. Хорошо у вас, по-семейному.

— А вы торопите невесту, и у вас по-семейному будет. Пишите, как там, в Ермаковском!

— Ступайте, ступайте в дом. Простудитесь! До свидания.

Женщины ушли, смотрели в окно. Улыбались, кивали, махали, как все всегда при отъездах. Владимир Ильич, накинув шубу на плечи, стоял на крыльце.

— Дом-то какой у вас, Владимир Ильич! Вчера вечером второпях не заметил.

Сильвин занес ногу в кибитку, но не сажился, с любопытством разглядывая дом. Что-то в этом доме отличное, особенная какая-то, поэтический штрих. Два точеных столба, как колонны, поддерживают крышу крыльца. У крыльца нет перил, три длинные ступени. И все. А среди всех — дом особенный.

— Верно, особенный,— подтвердил Владимир Ильич.— Строили по чертежам декабриста Александра Фролова. После каторги в Шушенском жили на поселении два декабриста. Потом польские революционеры ссыльные жили. Теперь мы. Пусть бы на нас и кончились сибирские ссылки, а? Ну, поезжайте. Ермаковское почти рядом, верст пятьдесят. Что для нас, сибиряков!

— И-их, вы, родименькие! — занес кнут ямщик.

— Стой! — крикнул Сильвин.— До свидания, Владимир Ильич! Леопольд, а ты проводи.

Он втащил Леопольда в кошеву. Через минуту кони вымчали ее из проулка и несли по раскатанному следу по улице.

Морозный ветер свистел в ушах, резал лицо. Видно, не близко еще до сибирской весны.

— Декабристы, поляки, мы... — в раздумье перечис-

лил Сильвин.— «Мне грустно и легко. Печаль моя светлая»,— бормотал он стихи.

Но разговора с Леопольдом не получилось. Мешала маячившая перед глазами спина ямщика в бараньем тулупе.

— Пожалуй, до свиданья, дружок,— скоро решил Сильвин.— Ты мне нравишься. А вось еще увидимся. А сочинение это,— он кивнул, подразумевая книгу Энгельса, сунутую Леопольдом за ремень под шубейкой,— весьма для нашего брата полезная штука!

Он сказал: «для нашего брата». Услыхал бы отец, какого о Леопольде мнения профессиональный революционер, товарищ Ульянова! Леопольд во сне и наяву мечтал стать действительно «нашим братом», у которого одна цель в жизни — бороться за волю родной, дорогой Польши! Дрога Польска. Свента Польска!

Он стоял посреди улицы и смотрел вслед кошеве, которая уносилась дальше и дальше, вздымая позади себя белое облако снега. И скрылась. А ямщик не узнал Леопольда. Было бы Леопольду, если б узнал!

Но тут Леопольд заметил, что стоит против волостного правления и что с крыльца его манит писарь в одной жилетке поверх рубахи, с заложенным за ухо пером.

— Эй, ты, подь сюда, ты!

Леопольд подошел, удивляясь, зачем понадобился писарю.

— В контору ступай. Унтер требует.

После сегодняшнего тихого светлого утра в доме Ульяновых Леопольд словно в болото свалился, очутившись в замусоренной конторе, где в углу брошен был обшарпанный голик, горький дым стоял от махорки, на стене висел загаженный еще прошлогодними мухами портрет царя и царицы в коронах, а под царским портретом, расставив ноги, сидел жандармский унтер-офицер с шашкой, курносый, с рыжими глазами. Золотистые прямые усы перечертили его отвислые щеки. Он еще их прямил и расправлял пальцами то один, то другой ус.

— Государственного преступника провожать ездил? — спросил унтер, слегка громыхнув шашкой об пол.

Леопольд смешался. Он не мог сообразить, надо или нельзя спорить против того, что Михаила Александровича Сильвина называли преступником. Не знал, как на этот вопрос отвечать.

— Брови супишь? — строже громыхнула шашка. — Засажу в кутузку, чтобы знал, как противу начальства хмуриться.

Леопольд снова смолчал. Леопольд ужаснулся. Если они его засадят в кутузку, не скрывать, что у него за ремнем. За ремнем у него книга Энгельса «Развитие научного социализма». Чья? Откуда? Нетрудно отгадать. А Владимир Ильич предупредил: «Они от одного слова «социализм» в набат бить готовы».

Леопольду показалось, книжка сползает у него из-под ремня. Ползет, ползет, сейчас шлепнется на пол. Он стоял ни жив ни мертв.

— «Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети», — сипло промурлыкал унтер, прямя за кончики усы. — О чем между ссыльным Ульяновым и проезжим Сильвиным был разговор? — спросил он грозным голосом, от которого у Леопольда прошел по коже мороз, спросил тихо, ибо они не одни были в конторе: писарь, вынув из-за уха ручку с пером, старательно что-то писал, а на краешке лавки бочком ютился шушенский учитель, человек с толстым, как картофелина, носом, разрисованным лиловыми жилками. — О чем был разговор? Отвечай без утайки.

— Об охоте.

— Несущественно. Дальше?

— О климате.

— О чем? О чем?

— О шушенском климате.

— То для отвода глаз. Дальше.

— О пельменях говорили. Как в Сибири на всю зиму пельмени морозят.

— Врешь! — выходя из себя, гаркнул унтер.

«Вру. И буду врать. И ни крошки правды не узнаешь, ори не ори», — думал Леопольд, глядя на унтера светлым, дерзким взглядом.

— Имя! — Унтер стукнул кулаком по лавке. — Имя, фамилие спрашиваю!

— Леопольд Проминский.

— Леопольд! Что за кличка такая собачья?

— Поляки! Отец за недозволенность политического поведения выслан. Из таковских, — угодливо подсказал учитель, весь вытягиваясь в сторону унтера.

— Из шельм, стало быть, хе!

— Отец працовити работник, здольни, одважни! — бешено закричал Леопольд.

Он терял голову. Он на него бросится. Надаёт по морде унтеру.

Вдруг Леопольд почувствовал, книжка едет из-под ремня. В самом деле едет, он почувствовал. Это его спасло. Он не успел броситься на унтера. От одной мысли, что книжка Владимира Ильича попадет им в руки, внезапная бледность разлилась у него по лицу, он обессилел, у него задрожали ноги от слабости.

«Струсил», — понял унтер.

И, сознавая неограниченность своей силы и власти, сказал почти милостиво:

— Ты на собачьем своем языке не лопочи, когда начальство с тобой разговаривает. На русской земле русский хлеб ешь. Позабудь про свое лопотание.

Что они сделали с Леопольдом! Как ему быть? Куда деваться? Подскажите, люди, товарищи, как ему быть?

Молчи, молчи. Пересиль себя. Они только и ловят, чтобы ты сплоховал. Не сделай ошибки! Им только и надо. Не попадайся им в яму. Они волки. Они тебя слопают.

— У меня не собачий язык, мой язык польский, — прыгающими губами сказал Леопольд. — Когда нашего великого Адама Мицкевича выслали из Польши в Россию, он не продал польский язык.

— Догрубишься, что отцу срок ссылки набавят. Мицкевича приплел. Адама какого-то. Тоже, чай, был... Ступай, брысь покамест. Да помни.

Леопольд вышел из конторы. У него были сухие, холодные, как льдины, глаза, но внутри он плакал навзрыд, когда шел из конторы. Если б можно было заплакать! Если бы можно прибежать к Владимиру Ильичу, рассказать, как унизили его! Бежать к Владимиру Ильичу? Книжка здесь, за ремнем. Бежать? Рассказать? Посоветоваться? Спокойно, Леопольд. Рассудим спокойно. Он работает, пишет книгу «Развитие капитализма в России». Лишнего часа нынче утром с товарищем не позволил себе посидеть. Беги. Выбивай его на целый день из работы. А если не стерпит, сцепится с унтером? Набавят в наказание срок ссылки. Нельзя. Татусь! Милый татусь, и тебе не скажу. Никому не скажу. Леопольд быстрым шагом шагал по улице, тонкий, как прут, высокий и прямой. Крупная соленая слеза поползла по щеке. Он вытер vareжкой щеку. Прикусил губу. Слез больше не было.

А Михаил Александрович Сильвин тем временем ехал да ехал в кибитке по направлению к селу Ермаковскому. После шушенских встреч на душе Сильвина было бодро и смело, так всегда на него действовали разговоры с Владимиром Ильичем. В то же время было одиноко и грустно. Грустней, чем всегда.

«Они любят друг друга! — думал Сильвин о Владимире Ильиче и Надежде Константиновне. — Им интересно и нескучно вдвоем, хорошо, что они вместе, благородный, прекрасный союз!»

Так думал Сильвин, а перед глазами у него была его Оля. Маленькая, хрупкая.

«Разве это любовь, если человек не может ради любимого человека отказаться от удобств, не от чего-нибудь, а всего лишь от привычки к удобствам?» — вспомнились ему недоумение и насмешка Надежды Константиновны.

«Вы правы, Надежда Константиновна, вы правы. Но это любовь».

«Я люблю тебя, Оля! — мысленно сочинял Сильвин к ней письмо.— Если бы на тебя упали испытания, я сделал бы все, чтобы облегчить твою жизнь. И мне совсем было бы это нетрудно. Потому что без тебя нет мне счастья. А ты любишь меня, Оля?»

Он сочинял ей письмо. Кошева летела. Снег брызгал из-под копыт, комья снега обжигали лицо. Ямщик молчал. Велено немного разговаривать с ссыльными. Темнее, суровее подступала к дороге со стороны хребтов Саянских тайга, и когда кони поднесли кошеву к селу, приподнятому на обширном пустом плоскогорье, у Сильвина сжалось сердце, такой холодный и жесткий был облик у села Ермаковского, где предстояло ему поселиться.

«Ольгуша, родная моя!..»

8

«Ольгуша, родная моя! Пишу из нового места, из села Ермаковского. Большое хмурое село! Поодаль тайга, возможно, не первого класса тайга, но близко к тому. Во всяком случае, забираться вглубь без ружья не советуют: рискуешь повстречаться с топтыгиным. Говорят, зимами в село забегают волки. В тихие ночи слышен их вой, выходят в поле и воют.

В первые дни в честь моего появления в Ермаковском разыгралась пурга. Проснулся утром, в окне мутная, белая мгла, несет, крутит, воет, свистит. Из сеней не открыть двери, намело гору снега, и все метет и метет, валит и валит! А в душе похоронный колокол: отрезан навек, навсегда от мира, от любимых людей, от тебя. Не сердись, что я ною и жалуясь. Ты знаешь, я оптимистичный и земной человек, но иногда на меня нападает хандра, и я не могу с собой совладать, надо высказать, вылиться, а кому? Конечно, тебе! Ты умеешь так ласково слушать, представляю твои чуткие глазки в гус-

тых, темных-темных ресницах, глубокие, как два лесных озера.

Оля, делаю тебе предложение: будь моей женой, смилуйся, согласишься, не отказывай. Олюшка! Ольга Папперек, будь моей женой, другом и спутником на всю жизнь. Я бродяга по натуре, милая Ольга Папперек, нет у меня ни кола ни двора, но в селе Ермаковском я нашел на время избу довольно сносную, без тараканов, с широкими отмытыми добела половицами, лучшее украшение моей (нашей) новой квартиры — чистейший, белейший пол! Из хозяйства у меня, признаюсь, одна пепельница. Симпатичная пепельница, стоит себе посредине стола и всей избе придает интеллигентность. Можешь не беспокоиться, цветок, для окурков посудина есть, окурки не будут тыкаться в чайное блюдо или в угол подоконника, обещаю соблюдать идеальный порядок! Если моя маленькая Олюшка не захочет нюхать табачный дым — отводятся для курения сени. Подписываю договор: курить только в сенях. Еще строже: только на улице!

Шутки в сторону, Оля, я тебя люблю. Ты знаешь мои убеждения, взгляды и планы на жизнь. Согласна? Не боишься связать свою юность с моей рискованной жизнью, полной лишений и трудностей?

Не то я говорю! Ты отважная. Тихая. Тихая отвага не дрогнет. А спрашивать тебя нужно: любишь ли? Вот о чем надо спрашивать, потому что я не уверен. Любишь? Если любишь...

Оленька, село Ермаковское неприветливо. Во всем селе ни сада. Ни вишни, ни яблони. Каково придется тебе после твоего утопающего в сиренях русского городишка Егорьевска? После твоей реки Гуслинки. Название-то какое: Гуслинка! Жалко расставаться с Гуслинкой.

В общем-то, в Ермаковском жить можно. Здесь есть доктор Семен Михеевич Арканов. У него сын двенадцати лет. Мне предложили готовить сына в гимназию. Как-никак, заработок, и довольно приличный по здешним краям. Ты тоже могла бы давать уроки сыну Арканова...»

На этой строке письма Ольга Александровна прервала чтение и стала смеяться. Смеялась, смеялась чуть слышно, пока вдруг не всхлипнула и, выхватив из-за корсажа платочек, не закусила кружевную оборку.

«Не много ли учителей для одного сына доктора Арканова?»

На этом месте Ольга Александровна всегда прерывала чтение. Он придумывает ей эти уроки. Утешает ее. Может, и доктора Арканова на свете вовсе нет, все он придумывает, добрый Сильвин, одинокий Сильвин в селе Ермаковском! Почему-то на этом именно месте, когда она дочитывала до уроков, становилось невыносимо печально. Все могло бы быть по-другому. Могла быть обыкновенная счастливая жизнь. Ведь она совсем не героиня, Ольга Александровна Папперек, совсем ordinaria девушка.

И все же она ответила «да». Она давно получила от Сильвина это письмо и ответила «да». Не жалко Гуслинку. Милый Сильвин! Знаешь, какая Гуслинка? Самая простая речонка, невзрачная, по берегам вся уставлена фабриками. Не искупаешься из-за фабрик, надо идти за город. Ничего хорошего нет в Гуслинке. А леса в Егорьевске близки, леса хороши. И их не жалко, пускай остаются. Не жалко лиловых сиреней в палисаднике. Только девочек жалко.

Ольга Александровна убрала письмо в комод, заперла ящик на ключ. Только девочек жалко...

В соседней хозяйской комнате низким голосом важно пробили стенные часы. Девять утра.

— Прощай, сад,— сказала Ольга Александровна, вернувшись к раскрытому окну.— Теперь совсем уже скоро прощай!

Под окном цвела сирень, сильно, празднично; росистые гроздья тянулись на подоконник, нежный запах плыл в комнату, вились над цветами пчелы; в кустах и деревьях свистели и вспархивали птицы. Было чудесное майское утро.

«Прощайте!» — подумала Ольга Александровна.

Постояла перед зеркалом, внимательно себя оглядела, поправила воланчик на кофточке. Она была одета в юбку из легкой черной шерсти и белую кофточку с кружевными воланами. Это была неофициальная форма в их прогимназии для праздничных вечеров или утренников. Сегодня утренник для выпускниц, ее девочек. Прощайте, прощайте.

Ольга Александровна вышла из дому пораньше, чтобы не встретить хозяйку. Хозяйка все выспрашивает, вздыхает:

— Вы из приличной семьи. У вашего папеньки в Саратове хорошее место. Ваш братец Георгий Александрович...

Все так. Ольга Александровна Папперек из приличной семьи.

«Родная моя Ольгуша, не обещаю богатств, не обещаю удобств, ни даже спокойствия, ничего не обещаю, только любовь».

Она знала письмо Сильвина наизусть и мысленно все время читала.

Оставалось недалеко до прогимназии на берегу Гуслинки, отгороженной забором, чтобы девочки не удирали в перемены на речку. Прогимназия в два этажа — низ белокаменный, верх деревянный, покрашенный в желтое, у высокого крыльца кусты жимолости, сирень, тополя с грачиными гнездами. Грачи орут и галдят. На том берегу Гуслинки шумит бумагопрядильная фабрика Хлудовых. Башенные часы отбивают время.

Учительница Ольга Александровна, тебе дорого это? Ты привязалась к своей прогимназии рядом с тюрьмой? Одна-единственная в городе Егорьевске прогимназия для обучения девочек. Отцы города выбрали место. Возле тюрьмы.

Оставался квартал до прогимназии, когда от забора отделилась фигура и загородила ей путь. Филипп Иоганнович, помощник механика с фабрики Хлудовых. Негромкий, почтительный, из обрусевших англичан — когда-

то дед его приехал из Манчестера на Егорьевскую прядильную фабрику мастером.

«Погоди, он еще будет главным инженером на фабрике,— говорил отец, когда, приезжая в Егорьевск, познакомился с ним и облюбывал в женихи Ольге.— Через пять—десять лет у него будет особняк и собственный выезд. А смекалка и порядочность и сейчас при нем».

— Доброе утро,— сказал Филипп Иоганнович.— Умоляю вас,— настойчиво говорил он, идя рядом с ней.— Пока не поздно, умоляю вас, не уезжайте в Сибирь! Я готов упасть на колени. Не уезжайте. Не губите себя.

— Не падайте на колени, Филипп Иоганнович, пыльно, поберегите костюм.

— Вы всегда подшучиваете надо мной, а у меня рывается сердце при мысли...

— Напрасно, Филипп Иоганнович.

Ольга Александровна старалась идти быстрее, но стайка девочек в белых передниках и пелеринах обогнала их. Оглянувшись, щебеча, побежали вперед, к площади, где возле тюрьмы среди грачиных гнезд стоит бело-желтый дом с просторными окнами. Со всех сторон сюда сходились группки веселеньких девочек в накрахмаленных пелеринках.

— Вот она! Вот она! Вот она, видите? — услышала Ольга Александровна.

— На вас почти показывают пальцем,— дрожащим голосом сказал Филипп Иоганнович.— Между тем ваш отец управляющий. Ваш брат учитель гимназии. И вы сами...

— Нам никогда не понять друг друга, Филипп Иоганнович!

Она быстро пошла через заросшую мелким просвирником площадь по тропке к крыльцу. Коридоры пусты. Девочки ожидали по классам, когда классные дамы поведут их парами на молебен и утренник.

Ольга Александровна не заглянула к своим выпускникам. Кто знает, что могло бы получиться из этого. Как они отнесутся...

В учительской при ее входе смолкли. Замешательство воцарилось в учительской. Одна учительница, пожилая и всегда добрая к Ольге, громко простучала каблуками мимо нее, отвернувшись, и хлопнула дверью.

«Глупа, как все,—подумала Ольга Александровна. Но что-то оборвалось и зануло внутри.—Ты пишешь, что я отважная. Я не отважная. Мне ужасно среди них то-скливо».

— Это верно? —спросила другая.

— Что?

— Говорят, вы уезжаете в Сибирь? Что ваш жених политический ссыльный?

— Хотя бы так!

— О-о!

И эта улизнала. Подозрительно скоро учительская опустела. Лысый, страдающий одышкой учитель рисования, кряхтя, поднялся с глубокого дивана и, колыхая толстым животом, подошел.

— Голубушка моя, зачем вы? Ведь самого Бардыгина ожидают. Ведь я намекал. Марья Петровна приказали, уф-пуф, чтобы я... Вам намекали...

— Не люблю намеков.

— Голубушка моя, пуф-пуф, зачем осложнять? Начальница тактичный человек...

Он жалко моргнул. Ольга Александровна знала, учитель рисования мечтает дотянуть до пенсии. Пожалейте его! Поглядите на его толстый живот!

— Вы передали, благодарю, я все поняла, никто не в ответе, что я здесь, я сама...

Ольга Александровна скорее ушла из учительской, от учителя рисования с его животом и одышкой.

Значит, ожидают Бардыгина, миллионера-фабриканта, всесильного Никифора Михайловича, в длинном сюртуке, с цепью городского головы на всю грудь, в белых перчатках, как обычно появляется он в торжественных случаях.

Бардыгин не прибыл. Супруга городского головы ока-

зала честь прогимназии. Окруженная приседаниями, поклонами, расшаркиваниями, супруга, затянута в корсет, с жемчугами на шее, проследовала в переднюю часть зала, где для почетной гостьи и начальницы были приготовлены кресла. Девочки уже заполнили зал, построены, как полагается, в четыре ряда по классам: первый класс, второй, третий. И четвертый, выпускной, ее класс. Возле каждого класса навтыяжку классная дама. Никто не подошел к Ольге Александровне. Изредка она ловила на себе любопытные, пугливые взгляды.

Может, не надо было приходиться на сегодняшний выпускной утренник? Ведь ей намекнули: не надо. Но неужели уехать, не повидав в последний раз своих девочек? Когда нас связывает столько светлых часов, столько важных разговоров, мыслей, так много связывает! Уехать? Не повидать на прощание?

В зале от пелеринок было бело. Священник в золоченой ризе, размахивая кадиллом, возглашал строгие и пышные слова молитв. Хор из тонких девичьих голосов сопровождал молитвы священника. Солнце било в окна, мешая горячие лучи с синим чадом ладана и посылая сияние на склоненные русые, светлые, каштановые, курчавые и гладенькие головы девочек.

Ольга Александровна стояла сзади одна. Все тяжелее ей становилось. Одна. Будто не прожито вместе с этими девочками много дней, много месяцев, будто не встречалась с этими учителями ежедневно в учительской.

— Слышали, говорят, к нам опять из Москвы собирается Собинов?

— Неужели? Ах, душка Собинов. Опять вам на весь город красоваться, Ольга Александровна?

— Почему, почему?

— Да ведь в прошлый раз Ольга Александровна аккомпанировала Собинову. С того раза к нашей Олюшке и повалили поклонники.

— А вы книжку Надсона видели, в магазин наш прислали?

— Какие там Надсоны, у меня голова десятичными дробями забита.

— Фи, Павел Максимович, разве можно так узко существовать!

— А супруге директора бардыгинской фабрики, слышали, из Петербурга получено платье, прелесть, чистый Париж!

— Многая лета! Многая лета! Мно-о-огая лета-а!

Молебен кончился. После молебна произносила речь Марья Петровна. Две девочки под руки ввели ее на подмостки, сооружавшиеся всякий раз заново по случаю редких празднеств. Маленькая, с болезненно-желтым лицом, в синем шелковом платье, начальница говорила, обращаясь к супруге городского головы. Супруга с жемчугами на шее кивала из кресла.

В середине речи начальница подняла к глазам лорнет. Что такое? Кто там, в конце зала? Бывшая учительница Ольга Папперек! Как она смеет! По тишине, наступившей в зале, Ольга Александровна поняла, что девочки знают, что она тут. Начальница взяла себя в руки. Не опуская лорнета, устремив ледящий взор в конец зала, продолжала свою речь.

Теперь она говорила не о щедрости отцов города, благодеяниями которых существует вверенная ей прогимназия, а об отверженных обществом, преступивших закон, о неизбежной каре, которая не минует тех, кто оскорбил отчий дом ослушанием...

Шорох прошел среди пелеринок. Но никто не оглянулся. Классные дамы стояли на страже, каждая возле своего класса.

— Mesdemoiselles! — окончив речь, бесстрастно сказала начальница. — Вы услышите сейчас небольшой концерт, исполненный своими усилиями, вечером же, по обычаю, выпускницам будет дан бал.

— Merci! — раздалось из колонны выпускниц. Белые

пелеринки по знаку классной дамы опустились в плавном реверансе.

Ольга Александровна смотрела на все это уже откуда-то издали, расставалась и не грустила. А отданы лучшие силы и волнения души! Неужели напрасно? Неужели сегодняшним балом с музыкой и кавалерами-гимназистами все и окончится?

Концерт открылся вальсом Шопена. Розовая пышная дочка одного из текстильных тузов города села к роялю. Ученица Ольги Александровны. Многих дочек в городе Егорьевске учила музыке Ольга Александровна, а мало радости доставалось ей от этих уроков. «Господи! Что она вытворяет из Шопена, эта сдобная булка! Полно, не уйти ли мне?»

Но уже представлялся следующий номер. Две сестрицы, незатейливые и простенькие, обучавшиеся на попечительский счет дочки старого сторожа бардыгинской фабрики, пели из «Пиковой дамы»:

Мой миленький дружок,
Любезный пастушок...

«Вы мои славные,— думала Ольга Александровна, растроганно слушая,— ваше будущее, я знаю, ясное, как ваше пение. Уедете обе в уезд учить в сельскую школу и не позабудете наши книги, наши клятвы».

— Стихи Майкова «Весна»,— объявила на смену певицам кокетливая девочка в локончиках.

«И твое будущее знаю,— думала Ольга Александровна о девочке в локончиках.— Довольно скоро Филипп Иоганнович или другой помощник механика сделает тебе предложение...»

А на подмостках стояла исполнительница Майкова. Темноволосая, бледнолицая, с упавшими вдоль тела руками и каким-то сумрачным светом в глазах. В зале среди пелеринок возникло движение. Ольга Александровна увидела: девочки торопливо и бегло оборачиваются к ней, посылают ей взгляды, и она схватывала в их взглядах

участие и смятение и что-то, что любила и лелеяла в них.

— Я не буду читать Майкова,— громко, отчетливо слышалось со сцены.— Я буду читать про Ольгу Александровну, нашу учительницу.

...Прости, прости!
Благослови родную дочь
И с миром отпусти!
Бог весть, увидимся ли вновь,
Увы, надежды нет.
Прости и знай: твою любовь,
Последний твой завет
Я буду помнить глубоко
В далекой стороне...
Не плачу я, но не легко
С тобой расстаться мне!
О, видит бог!.. Но долг другой
И выше и трудней
Меня зовет... Прости, родной!
Напрасных слез не лей!
Далек мой путь, тяжел мой путь,
Страшна судьба моя.
Но сталью я одела грудь...
Гордись — я дочь твоя!
Прости и ты, мой край родной.
Прости, несчастный край!
И ты... о город роковой,
Гнездо царей...

— Молчать! — Начальница вскочила с кресла, где сидела возле супруги городского головы. Взмахнула лорнетом, вся трясясь и топая.— Молчать! Не смей! Вон со сцены! И вы, вы, вон сейчас же! — Она тыкала издали в сторону Ольги Александровны лорнетом.— Вон сейчас же, чтобы духу вашего не было в учебном заведении, вверенном мне! А ты! — кричала начальница, замахиваясь лорнетом на девочку на сцене.— Негодница! Кто тебя подучил? — И супруге: — Ради бога! Умоляю, не придавайте значения!

Среди пелеринок поднялся шум, вскрики. Классные дамы метались между рядами.

— Не сметь! Прекратить! Не сметь! Становитесь в пары!

Вызванный кем-то появившийся швейцар в позумен-тах, как в набат зазвонил в колокольчик.

Бледная, страшно бледная девочка все стояла на под-мостках, уронив руки вдоль тела.

Ольга Александровна выбежала из зала. Набросила в учительской тальму на плечи, вырвалась на улицу, за-дыхаясь от счастья и любви к своим девочкам. Она едва удерживалась, чтобы не бежать по городу.

«Спасибо вам, девочки! Теперь я знаю, не зря здесь прожито время. Я счастлива, я ничего не боюсь, я мо-лода, я верю: доброе не пропадет. Теперь спокойно в до-рогу, скорее в дорогу!»

9

Но лишь в середине июля Михаил Александрович Сильвин встретил в городе Минусинске невесту и привез к себе в село Ермаковское.

Отъезд в Сибирь задержался. Перед отъездом надо было побывать в Подольске у матери товарища Михаила по Питеру, теперь соседа по ссылке. Кто сосед Михаила, почему его мать в Подольске — родина ее там или при-вели обстоятельства, — этого Ольга Александровна не знала. Сильвин чуть не в каждом письме писал: обяза-тельно, всенепременно надо заехать! Ехать в Подольск надо было через Москву.

В те времена от Егорьевска до Москвы ехали через Воскресенск. До Воскресенска двадцать пять верст. Из Воскресенска в Коломну, а тогда уже в Москву. Одним ранним утром Ольга Александровна тронулась в путь. Паровоз свистел, выплевывая клубы белого пара, изо всех сил сновал поршнями, но вагончики тащились; плюх-плюх. Навек оставался позади уездный город Егорьевск, оста-вались соломенные деревеньки Лаптево, Комариха, Ог-рызково, Глуховское, где жили ткачи и прядильщики с егорьевских фабрик.

Железнодорожная ветка шла лесом. Хорошо ехать, глядеть по сторонам, прощаться со знакомыми местами. Вон растрепанные березки на белых ногах качают ветками, провожают. И она им в ответ: «Уезжаю, оставайтесь, живите здесь без меня». Или к самой дороге выступят дремучие ели, нагонят тень, сыростью, неуютом повеет из леса. Вдруг пестрая от ромашек поляна, а на ней стал в кружок кудрявый орешник. «Как я любила осенью ходить по орехи, лазить в чаще, хрупать зелененькие, еще не очень твердые ядрышки!»

Ей вспомнился школьный концерт и ученица на сцене, с сумрачным светом в глазах. Это была нелюдимая, редко открывавшаяся девочка; казалось, какой-то огонь тайно сжигает ее и необычайная, драматическая ожидает судьба. Такие страстные и скрытные натуры, не дрогнув, идут за убеждения в тюрьму, на казнь.

...Но долг другой
И выше и трудней
Меня зовет...

«Ведь это она о себе говорила, о своей, может быть, доле,— думала Ольга Александровна.— А я обыкновенная, еду в Сибирь, потому что люблю его, вот и все».

Ей представлялась тайга, глухая и темная, куда темнее и глуше дремучего ельника, мимо которого они проезжали железной дорогой из Егорьевска. Она воображала Саяны и неведомое село Ермаковское, и как они будут там жить с Михаилом и с крыльца их избы видны будут хмурые отроги Саян.

«Только не требуй от меня, милый, никаких особых поступков и подвигов. Я обыкновенная, люблю тебя, вот и все...»

Хорошо ехать в летний день и видеть из окна вагона то темный глубокий лес, то полосы ржи с синеющими васильковыми глазками и всем своим существом предчувствовать любовь, улыбаться втихомолку, ждать, мечтать.

Из Москвы в Подольск она поехала на другое утро.

С весны из Подольска присылали один адрес. Летом адрес стал другой. «Городской парк, дача номер три». Ольга Александровна повторяла: «Городской парк, дача три. Городской парк...»

Она любила узнавать людей, но сейчас душа ее была поглощена ожиданием нового, так необыкновенно и круто изменившего всю ее жизнь, и она не думала об Ульяновых, к которым ехала, а думала о себе и о том, что через три дня — всего через три! — уезжает в Сибирь.

Поезд остановился. Подольск. Со своими мечтами она не заметила, много ли прошло времени. Вокзал кирпичного цвета, длинный и низкий, глядел множеством полукруглых окон через рельсы прямо в лес. По другую сторону вокзала зеленой деревянной улицей начинался Подольск. Три извозчика стояли на привокзальной маленькой площади. Все трое, завидев приехавшую с поездом даму, хлестнули лошадемок и резво подали экипажи к подъезду. Ольга Александровна села на первую попавшуюся пролетку. Пролетка затряслась сначала по булыжному площади, потом мягко покатила немощеной улицей. Сразу было видно, это другой город, совсем не Егорьевск. Нет фабричных труб, не слышно фабричных гудков, не движутся толпы рабочих к воротам, за которыми безостановочно стучат станки.

Бревенчатые одноэтажные домики с деревянными кружевами наличников аккуратно выстроились вдоль улицы, где Ольга Александровна проезжала в пролетке. Позади домиков огороды, овсяные и ржаные поля, неистовая зелень лугов. Где же центр? Центр дальше. Там по Большой Серпуховской улице днем и ночью идут обозы из Москвы на юг и с юга в Москву. Скачут тройки с купцами. Трубят, расчищая путь, на козлах трубачи. На Большой Серпуховской постоянные дворы с сотнями лошадей, трактиры, чайные, лавки, базары — вот где центр! Центр нам не нужен. Нам нужен Городской парк, дача три.

— Не извольте беспокоиться, доставлю! — бойко от-

ветил извозчик в ватной шапке, несмотря на жару. Повернул своего рысака в боковую, кривую и пыльную улочку под громким названием Дворянская, пересекли крутой овраг с заросшими кустарником склонами, за оврагом на высоком берегу извилистой Пахры лес, тенистый, полный певчих птиц, белок, дятлов, кузнечиков, муравьиных куч и голубых колокольчиков.

— Городской парк, дача три. Прикажете ждать?

Извозчик оказался разбитным и бывалым. Про Ульяновых слышал.

— У нас не скроешься. Велик ли городишко, вся жизнь на глазах. Опять же, к Ульяновым жандармы заходят. Как посмотришь, жандармы-то больше над хорошими людьми наблюдение ведут.

— А прямая причина? — спросила Ольга Александровна, начиная догадываться, отчего в Подольске живет Мария Александровна Ульянова. Так и есть. Студент Дмитрий Ульянов выслан в Подольск. Вот отчего!

— Мамаша ихняя — сударыня обходительная, нешумливая, а люди говорят, все дети у ней по тюрьмам да ссылкам. Что ты будешь делать, какая судьба материнская, а?

Ольга Александровна не стала поддерживать рассуждений извозчика, расплатилась, назначила час, когда приехать, чтобы успеть к вечернему московскому поезду, и через садик посыпанной желтым песочком дорожкой, мимо клумб и кустов жасмина прошла на террасу дачи номер три. Пусто, никого не слышать. Дверь в комнату открыта. Она перешагнула порог.

Теперь в доме Ульяновых все любопытно было ей, особенно было ей любопытно. Один сын в сибирской ссылке, другой...

В комнате скромно и чисто, ни одной лишней вещи. Обеденный стол под накрахмаленной, слепящей белизны скатертью. Висячая лампа над столом. Стенные часы с важным медленным маятником. Пейзаж, изображающий волны в северном море, где-то у чужих берегов. И пиани-

но. Обычное. У нее в Егорьевске такое пианино. Нет, у нее не такое пианино. На этом барельеф Моцарта в профиль. С высоким покатым лбом глядящий вдаль Моцарт.

«Как славно!» — подумала Ольга.

И увидела входящую в комнату женщину, пожилую, строго одетую в темное, с кружевной наколкой на белых волосах.

— Мы получили телеграмму и ждем вас. Здравствуй-те, Оля!

— Здравствуйте,— ответила Ольга Александровна, глядя на нее, удивительно чем-то прикованная. Что в этой хрупкой, маленькой женщине так притягивает с первого взгляда? В этой старой женщине. Разве она старая? Не знаю, нет, может быть. Красивая? Да, наверное, была очень красивой. Не сутулая, прямая, изящная. Тонкое лицо. Все в ней изящно. Но не это же, не изящество ее поражает! Что же? Вдруг Ольга схватила — вот что! Волосы. Белые, как только выпавший снег. И тихие, с глубоко запрятанной печалью глаза. Что-то значительное и тревожащее было в облике матери.

— Садитесь, пожалуйста,— сказала она.— Анюта скоро выйдет. Анюта готовит посылку Володе. Моя посылка готова, а она собирает книги Владимиру Ильичу. Скоро три, в три часа мы обедаем. И Митя придет из больницы. Дмитрий Ильич. Садитесь.

Они сели к столу, друг против друга. Мать положила на край стола узкие руки и, поглаживая чистую, без морщинки скатерть, говорила:

— Владимир Ильич пишет, вы едете к Сильвину. Мы знаем его. Когда Володю арестовали в Петербурге в декабре тысяча восемьсот девяносто пятого, мы жили в Москве. Сильвин приехал к нам рассказать. Раньше приехала Надя, а за ней он. Не очень легко приезжать с печальной вестью, приятнее с радостной. Он много важного тогда нам сообщил. Мне кажется, он мужественный и добрый человек, берегите его.



— *Вы не волнуйтесь, его мать вас полюбит,*— сказала
Мария Александровна.

У Ольги Александровны защемило в горле. Она кашлянула в платочек. Удивительно белые волосы, как только выпавший снег. И глаза. Улыбаются, тихие, а горькое в них не проходит...

— Сильвина арестовали позднее,— ровным голосом говорила мать.— Тогда же, одновременно с ним, схватили очень многих рабочих. И нашу Надю арестовали тогда. Надежду Константиновну.

— Вы ее любите? — внезапно спросила Ольга Папперек. «Как нетактично, нелепо! — спохватилась она.— Эх ты, учительница!»

Но мать не удивилась.

— Мы все любим Володину жену. Вы увидите, как они подходят друг к другу. Как бы вам о Наде сказать... небудничная она. Не то чтобы празднична или эффектно, нет, не то. Пожалуй, незаметная даже, не сразу заметная, но в ней ничего нет обыденного и мелкого... вы понимаете?

— Да, да!

— Таковую и надо Володе жену. Он ведь сам человек совсем нешаблонный. Они очень сошлись и сдружились. Она и друг ему, и жена, и помощник. Володя очень ценит ее образованность. Действительно, такая умница, знающая. Взгляды у них общие. Я ей так благодарна, что она там, с Володей.

Мария Александровна задумалась, неторопливо разглаживая скатерть по краю стола. Ольга тоже молчала. «Что со мной будет? Что меня ждет?»

— Вы не волнуйтесь, его мать вас полюбит,— сказала Мария Александровна.

— Как вы поняли! — вся вспыхнула и смутилась Ольга Папперек.

— Родная моя, оттого, что вы едете туда и увидите наших Володю и Надю, я уже всем сердцем чувствую вас как родную. Сердце понятно. Понимаю, что все мысли ваши там, возле него... А я ясно так помню: входит Сильвин с той несчастливой вестью, тискает шапку в ру-

ке, не может начать говорить, большой такой, добрый! Он мешковато скроен, а душа у него щедрая...

Мать неторопливо поглаживала скатерть и говорила не о сыне Володе, а о Сильвине, его жизнерадостном и добром характере. Ольге Александровне хотелось вскочить, обнять ее, поцеловать ее узкие руки с длинными пальцами! Отчего у нее такие глаза?

— Скоро три,— сказала мать, поглядев на стенные часы.— К обеду они оба придут. Что-то Аня замешкалась.

Анна Ильинична между тем торопилась вовсю. Посылка, то есть книги и новые журналы для отправки Владимиру Ильичу, была собрана и давно готова, задерживало другое. Анна Ильинична писала в Шушенское письмо, не простое, а секретным способом. Это было кропотливым занятием. Хотя еще во время сидения брата в тюрьме она в совершенстве обучилась писанию писем таким способом, все-таки получалось канителью и долго. Анна Ильинична писала о кредо. О том самом кредо, которое ей передала Калмыкова, когда Анна Ильинична приезжала в Петербург держать корректуру и проверять издание книги «Развитие капитализма в России». В тот приезд в Петербург она познакомилась с молодым печатником Прошкой. Совсем мало видела Прошку, но отчего-то запомнился. Пытливый, нетронутый. Для рабочего, пожалуй, слишком ребячливый. Правда, молодой еще совсем. Что-то в нем располагающее. Зря она оттолкнула его тогда на вокзале. Определенно она ошиблась. Что делать? Теперь не исправишь.

Кредо (она сама и дала листкам Кусковой наименование «кредо») Анна Ильинична перечитала внимательно, когда вернулась домой.

Чем внимательнее вчитывалась Анна Ильинична в отпечатанные на ремингтоне листочки, тем беспокойнее и хуже становилось у нее на душе. Какое ничтожество мысли и трусость взглядов! Какая низость, ведь это измена!

Она помнила Кускову. Когда-то она казалась Анне Ильиничне неглупой и честной. Когда-то... Должно быть, с тех пор растеряно все. А было ли что и терять? Скорее, и не было ни убеждений, ни честности. Были поза, игра.

«Милый Володя,— писала в секретном письме Анна Ильинична,— сообщи мне, когда получишь кредо Кусковой. Послала его тебе, чтобы ты сам разобрался, так ли оно опасно для дела рабочего класса, как мне представляется. Говорят, оно ходит среди молодежи. Но ведь оно внушает, что не надо бороться! И никто с ним не спорит. Не знаю, надо спорить или, может быть, нет! Послала тебе это кредо потому, что стараюсь, Володя, передать тебе все, что знаю о политической жизни...»

Она дописала. Да, да, важно, чтобы он об этом узнал! Важно, чтобы был в курсе всех крупных и мелких политических новостей!

А как же она написала это письмо? Выбрала самую незаметную по содержанию и заглавию книгу. Какие-то экономические очерки. Разрешено цензурой. Если даже книжка попадет в дороге жандармам, кто обратит внимание на разрешенные цензурой экономические очерки? Когда едешь в Сибирь, к тому же невестой политического ссыльного, всякое может случиться, все может быть. Ни с того ни с сего тебя приглашают в жандармское управление, делают обыск, перетряхивают в чемодане каждую рубашку и кофточку, перелистывают каждую книжку. Экономические очерки? Дозволено цензурой? В сторону. Непосвященный не заметит значок на заглавном листе. Малюсенький знак. Владимир Ильич заметит. Значит, здесь, в этой книге, что-то надо искать. Второй значок скажет, на какой странице искать. Черточки-точки. Крошечные точки и черточки в буквах, и слово за словом Владимир Ильич там, в Шушенском, прочитает письмо.

— Ох, и нудное это занятие! — потягиваясь, сказала Анна Ильинична, окончив наконец черточки-точки, черточки-точки.

Мезонинчик, где она писала письмо, был жаркий от раскалившейся крыши, низкий. Человек даже среднего роста стукнулся бы о потолок, если бы забыл пригнать голову.

Дмитрий Ильич был выше среднего роста и, входя в кабинет, как назывался у них мезонинчик с письменным столом, стулом и узкой кушеткой, здорово должен был нагибаться и потому старался сразу присесть на кушетку.

Больше всех похожий на мать, Дмитрий Ильич был красив. В свои двадцать пять лет он казался юношей задумчивым и мечтательным, мало приспособленным к практической жизни. Когда его арестовали за участие в московском «Союзе борьбы», мать не сразу поверила. «Ведь он еще мальчик!»

Саша еще был моложе. Но Саша рано уехал из дому, жил в Петербурге самостоятельной жизнью, а Митя все дома, все с мамой. Деликатный, домашний. И вдруг!.. Таганская тюрьма. «Государственный преступник» — написано было на двери камеры Дмитрия Ульянова.

Снова пришла нужда носить передачи в тюрьму. Носила мать передачи Александру, Анюте, Володе. Теперь младшему, Мите... После тюрьмы выслали в Подольск под гласный надзор. И мать переселилась в Подольск. Невеселой была зима 1898 года. Володя и Надя в Сибири. Марк, Анютин муж, опора семьи, любимый Марией Александровной как сын, на службе в Москве, занят по горло. Она с Митей в Подольске.

Постоялые дворы, трактиры, купеческие тройки, круглые сутки скачущие по Большой Серпуховской. Огороды, базары — как все чуждо в Подольске. Не привыкнуть. Они с Митей одни. И Анюта. Если матери трудно, всегда рядом Анюта...

— Готово. Можешь упаковывать, Митя, и тащить вниз, — сказала Анна Ильинична, с довольным видом показывая основательную охапку книг на полу.

— Письмо посылаешь? — любопытствовал брат. Он спрашивал, потому что знал: с оказией письмо посылается особенное.

— А найди,— засмеялась Анна Ильинична.

— Найду.

Дмитрий Ильич взялся рыться в книгах.

— Не стоит. Прощешь, пожалуй,— остановила сестра, давая ему экономические очерки.

Некоторое время он вглядывался в строчки.

— Для посторонних незаметно мое письмо? — спросила Анна Ильинична.

— Что ты! Идеальная конспирация.

Он опустил на колени упаковывать и завязывать книги шпагатом. Анна Ильинична присела возле на корточки.

— Мамочка с утра волновалась. И ночь, мне кажется, плохо спала,— сказала Анна Ильинична.

— О Володе скучает.

— Готовит им печенье, изюм, всякие сладости, а у самой такая горечь в лице. Мы привыкли, что мама сильная, а как трудно достается ей ее сила! Если бы можно было взять на себя хоть половину...

— Анята! — строго остановил младший брат, услышав ее сдавленный голос.

— Ничего. Не беспокойся.

Анна Ильинична поднялась и ушла на балкончик, узкий и маленький, даже стул не поставить. Можно только войти, протянуть руку и тронуть ветку клена, который растет рядом с домом. Анна Ильинична протянула руку и, не отрывая, обмахнула кленовой веткой лицо. Жалко маму. Всю жизнь то передачи в тюрьму, то посылки...

Скоро они спускались с Митей по крутой лестнице вниз, неся посылку, и с боем часов, ровно в три, явились в столовую. Стол был накрыт. Мария Александровна, стоя возле своего места, ожидала детей к обеду.

— Дочь, Анна Ильинична. Сын, Дмитрий Ильич,— представила мать.

Села, приглашая всех сесть.

«В этом доме чистота, точность, порядок»,— мелькнуло у Ольги.

«Здесь душевные люди, интересные, умные!» — думала она позже.

За обедом шел разговор о Сибири, о далекой дороге, предстоящей Ольге Папперек. Ульяновых не удивлял отъезд Ольги к жениху в Сибирь. Как же иначе? В порядке вещей. Брат и сестра наперебой говорили о Владимире Ильиче, которого Ольга Александровна узнает в Сибири.

— Помнишь, Анюта?..

— Помнишь, Митя, когда тебя засадили в тюрьму, Володя в каждом письме из Шушенского диктовал, как надо тебе там жить.

— Как же, как же! Надо работать! Чем-то регулярно заниматься, не просто так читать, а по системе читать. Просто так читать — мало проку.

— Верно! Мамочка, а помнишь: соблюдает ли Митя диету в тюрьме? Занимается ли Митя гимнастикой? Помнишь, Митя, целую инструкцию Володя прислал, как делать гимнастику, бить земные поклоны, по пятидесяти поклонов, не меньше, да чтобы ног не сгибая, да чтоб рукой пол доставать... Володя замечательно выработал в себе дисциплину ума, тела, быта, работы! Мамочка, это у него от тебя.

Мать молчала. Сидела после обеда в качалке, протянув на колени руки, сомкнув губы, и молчала.

На прощание обняла Ольгу.

— Поезжайте, родная. Обнимите их там за меня.

Дмитрий Ильич отправился с Ольгой Александровной к поезду посадить гостью в вагон. После вокзала снова на службу, вести счетоводство у земского санитарного врача Вячеслава Александровича Левицкого.

Отъезжая, Ольга Александровна оглянулась, увидела мать. Она стояла в калитке, освещенная заходящим солнцем, грустной улыбкой провожала ее.

Было первое августа. Скоро задует северный ветер, закружат над Саянами бури, ударят заморозки, дохнет холодом осень. Сейчас еще лето, последние летние дни. В лесу на некошенных лугах еще можно изредка встретить заблудившиеся с лета золотые жарки или похожие на кошелечки сиреневые и розовые кукушкины сапожки. А марьин корень не встретишь. Почти в половину человеческого роста, бордовый, с желтой, как солнце, сердцевиной роскошный сибирский цветок. Марьин корень зацветает во время половодья, когда идет коренная вода. Первое половодье на Енисее бывает весной. Летом, когда в горах тает снег, бурно, с бешеной скоростью помчится вниз снеговая — коренная вода, сильнее, чем весной, разольются от воды Енисей и притоки. В это второе половодье и зацветет марьин корень. Цветет пышно, долго. Но в августе уже не встретишь марьин корень.

...Признаки близкой осени все же улавливаются. Не тот лес. Поредел. Шумят под ногами упавшие раньше срока листья. Молнией перелетают с ветки на ветку бельчата-детеныши, руля рыжим хвостом. Студенее утренние туманы над Шушей. Реже цветы. В зеленой путанице березовых листьев вдруг увидишь желтую прядь...

На огороде Проминских с весны почти до самого снега работа. Огородом Проминские кормятся. Капуста своя, огурцы свои, картошка своя, лук свой. За лето насолят, засушат грибов. Отец с Леопольдом настреляют дичи. Ведь восемь человек садятся за стол. До ссылки Проминский не имел огородного опыта. Заядлый горожанин, свое мастерство знал отлично, а землю не знал. Огородное дело Иван Лукич стал осваивать в Шушенском, изучая пособие, которые выписал Владимир Ильич из книжного склада Калмыковой, близкой по Петербургу приятельницы. В пособии все расписано, когда какую справлять огородную работу. Сегодня полив репчатого лука и рыхление почвы. Леопольд с утра перетаскал на гряды ведер

сорок воды, губы соленые стали от пота! Теперь вдвоем с отцом рыхлили почву. Леопольд в шляпе из лопухов, искусно прошитой ивовыми прутиками,— передался, должно быть, отцовский талант шляпника!

Отец был сегодня особенно как-то угрюм. И вчера. И давно уже замечает Леопольд, что-то с ним неладное творится. Заболел? Только не это. Чем старше Леопольд, больше читает книг, которые надо нести от Владимира Ильича под рубахой, прячась от приезжего унтера, тем дороже и ближе Леопольду отец. Мама, устав от стирки, стряпни и всяких бессменных работ по огороду и дому, корила отца:

— Жили бы в Лодзи! Несладко, а дома. Забастовки твои до чего довели! Вся семья в ссылке.

— По своей охоте семью в Сибирь привезла. Уж очень ты у меня ревнивая, женка!

— Что? Что? Иисусе Христе, матка боска! Что этот человек говорит! Как язык на такие слова поворачивается! А лучший мастер был в Лодзи по шляпам.

В общем-то, мать, хоть и ворчала, гордилась отцом. Не только тем, что мастер по шляпам.

Вот был случай в тюрьме. Революционеров-поляков перегоняли из Варшавы на поселение в разные северные местности. В Москве в пересыльной Бутырской тюрьме отец попал в одну камеру с молодыми марксистами из петербургского «Союза борьбы». Тоже гнали в Сибирь. Один, по происхождению полуполяк, умный, красивый, Глеб Кржижановский, был весельчаком, вся камера показывалась со смеху, когда он заводил свои шутки. Но когда Ян Проминский начинал петь польские песни, Кржижановский смолкал. Сядет на койку, обхватит колено руками и слушает, покачиваясь из стороны в сторону. Однажды схватил карандаш.

— Пойте, Ян, пойте!

Отец Леопольда пел, уносясь сердцем в ненаглядную горькую Польшу, а Глеб Кржижановский писал, ерошил черные кудри, морщил улыбкой губы, нахмуривал лоб

и писал. Переводил на русский язык польские революционные песни.

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Не шутки: отец в тюрьме на своем языке пел эти песни, а теперь русские революционеры на воле по-русски поют:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

И мать хоть и жаловалась перед иконой Иисусу Христу на трудную жизнь, а любила отца. Каков есть, таким и любила. «На бой кровавый, святой и правый...»

Отец воткнул тяпку в землю, разогнулся.

— Леопольд, куда думой залетел, хоть из пушки пали?

Леопольд тоже воткнул тяпку в землю и стал.

— Гляди, татусь, сколько луку обрыхлили! Теперь еще толще нальются луковки.

— Так-то так...

У отца коричневое от солнца и ветра лицо. Узкое, бритое, с длинными усами. Морщины на бритых щеках видны глубже и резче.

— Так-то так...— Помолчал и еще: — Так-то так.

— Татусь, о чем ты все думаешь?

— Осенью кончится ссылка, сынок. Можно бы домой подыматься. Луку в плетушки навязали бы, пригодился бы дома.

Они редко говорили об этом. Боялись верить, что осенью кончается ссылка. Что скоро домой.

— Татусь, о чем ты словно горюешь? Ведь недолго осталось.

— Э-э! — сказал отец.

Поплевал на ладони и принялся рыхлить землю. Темный, лопатки торчат. Отчего он придавленный, будто гиря на нем?

А из проулка звонко неслось:

— Дядя Ян! Тетенька Текла! Леопольд, Леопольд!

По проулку бежала Паша. В голубом сарафане, в платке с голубыми каемками, бежала, едва касаясь ногами земли, придерживая на груди перекинутую через плечо косу пшеничного цвета.

— Дядя Ян! Леопольд! Угадайте, кто к нам в гости приехал?

На ней сарафан до травы. Девичья фигурка робко рисуется под голубым сарафаном. Леопольд видит Пашу каждый день, синеглазую, загорелую, с пшеничной косой. И сердце ухает, как во сне, когда летишь высоко-высоко...

— Незабудочка паненка Паша,— улыбнулся отец.

Отец редко бывает ласков, татусь, хороший мой человек!

— Незабудочка! — Паша фыркнула в рукав. — Уж и скажете, дядя Ян. А я рук от картошки никак не отмою. Ну, про гостей угадали? Не угадать нипочем. Владимир Ильич посылку схватил да как бегом к себе в кабинет! Затворился. Что уж в письмах там ему написали? Выходит из кабинета довольный, ладони потирает, на что-то вроде сердит, а вроде и рад. Надежде Константиновне подмаргивает, что, мол, новости важные привезли из России. К Владимиру Ильичу товарищ приехал, к Надежде Константиновне подруга. Ничего себе, аккуратненькая. А наша видней. Наша, как глянет, всю тебя насквозь и увидела. Улыбка у нашей больно приятная. А еще гостинцев нам привезли. Посылку из Подольска, от бабушки. Слыхали, в Подольске у нас еще бабушка есть, его мать, заботливая, обо всех позаботилась, никого не забыла и ваших ребятишек, дяденька Ян, не забыла. Меня за вами прислали. В гости зовут. А еще, дядя Ян, Владимир Ильич велел сказать, что по делу.

— По делу? Какому же? Общее или... Сейчас, сей момент!

Отец воткнул в борозду тяпку и крупным шагом заторопился в избу вымыть под рукомойником руки.

— Беспокойный какой-то он,— заметила Паша.

Беспокойный. Наверное, все об осени думает. Паша не знает, что осенью кончится ссылка. У Леопольда впервые мелькнуло: «Паша! Ведь, может быть, скоро...»

Эта мысль оглушила его.

— Ты так, как есть, пойдем, Леопольд. И так хорошо. В Шуше от огорода отмоешься,— болтала Паша.— Ай нет. Лучше дома умойся да ту рубаху надень, для гостей.

«Та» рубаха полотняная, воротник у «той» рубахи вышит красным и черным крестом—Пашина вышивка в зимние вечера, когда нечего делать. Леопольд в «той» рубахе светлый, праздничный, брови разгладились, не упрямые. И вид не гордый. Паша болтала:

— Я и домой уж сбегала, от Марии Александровны из Подольска своим конфеты к чаю снесла. Еще к дяде Оскару зайдем, кликнуть велели. Не ушел бы на охоту, незадача-то будет! Что ему не уйти, того и гляди, что уйдет. Холостой. Холостому-то много ли надо? Картошку на зиму запас и гуляй.

От ее болтовни Леопольд делался беззаботным и легким. Все на свете понятно и просто. Знаете что! Пока он, конечно, ничего ей не скажет, но... Татусь добрый человек. Татусь, ты добрый? И matka. И если мы отсюда уедем... татусь, все равно у нас большая семья...

Тут он увидел вдали человека. Человек был в клетчатом пиджаке и шел по улице шаткой походкой, видимо, не очень был трезв.

«Учитель!»— узнал Леопольд. На душе у него потемнело. Учитель не любил Леопольда. Леопольд презирал его и боялся. Боялся, не сдержится, наделает вреда. И всячески старался избегать этого невзрачного и щеголеватого мужчину, у которого толстый нос разрисован лиловыми жилками.

Свернуть бы с дороги, да некуда. Загребая сапогами пыль, учитель в клетчатом пиджаке шел серединой улицы прямо на них.

— Чего не здороваешься?

— Здравствуйте.

Леопольд не сдержался. Вложил в свое «здравствуйте» насмешку, надменность, все свое презрение к учителю.

— Поздоровался! А волчонок волчонком. Православные крестьяне в поте лица... а эти, как вас, социалисты, вы кто? Богопротивники вы! Ваша проповедь, чтоб все по команде, под одну крышу всех согнать, чтобы равенство то есть. А человек создан разное, неравно...

— Ничего вы не знаете про социализм. Слушать стыдно!

— Ты того стыдишься, что социалисты душу народную губят. А все полячишки мутят. Эй, ты, полячишка, по-тише. Лишку вас здесь у нас развелось.

У Паши все внутри застонало от помертвелого лица Леопольда. Ой, он без рассудка сейчас. Беды бы не сделалось!

— Пойдем, пойдем! — заторопила Паша.

Она схватила его руку и тащила, лепеча что-то без толку, лишь бы не дать говорить учителю. Учителя от водки качнуло.

— Леопольдушка, видишь, он пьяный!

Паша почувствовала, какой тяжелой стала у Леопольда рука, шершавая от огородной работы.

— Леопольд, не убивайся. Позабудь про него!

Он выдернул руку. Отвернулся.

«Справлюсь сам. Справлюсь. Сейчас. Погодите». Он научился в одиночку сносить оскорбления. «Эй, ты, полячишка!» Нет, нет, нет! Никогда не забуду! Но он научился терпеть и скрывать. Жалел отца. Щадил самолюбие отца. Отец не знал, как над ним издевается учитель. Или приезжий унтер. Им смешно, что у него прыгают губы. Он не может с собой совладать, у него прыгают губы...

— Паша, ты знаешь, кто был муж у Елизаветы Васильевны?

— Ой, да к чему ты о нем?

Она испугалась. С ума своротил? К чему он о нем? К тому, Паша, что Леопольду надо вспомнить — и скорее, скорее! — поручика Константина Игнатьевича Крупского.

Представить, что поручик Крупский живой. Представить, что поручик Крупский приезжает в Польшу служить. Его не насильно туда послали. Он сам, когда окончил Военно-юридическую академию, захотел, чтобы его послали туда. Тогда русскому офицеру нетрудно было выслужиться в Польше: не так давно расстреляли польское восстание против императора, самодержца, царя польского, великого князя Финляндского и прочая и прочая... Ого, как взнуздали после восстания Польшу! Некоторые думали, поручик Константин Игнатьевич Крупский приехал в Польшу делать карьеру, дослужиться до генеральского чина.

...Из семьи Ульяновых Леопольд долго влюблен был в одного Владимира Ильича. Вся хорошая семья, но влюблен он был в одного. Он вспыхивал, когда Владимир Ильич обращался к нему с самым обычным вопросом. Мечтал быть умным, блестящим, чтобы Владимир Ильич удивился: вот каков Леопольд Проминский! Показать безумную храбрость, чтобы Владимир Ильич знал, что Леопольд Проминский надежен. Он мечтал когда-нибудь каким-нибудь образом спасти Владимира Ильича от опасности. Могли прискакать из уезда жандармы. Был в мае обыск? Еще может быть. С полки пошвыряны книги. Валяются на полу раскрытые книги.

Никто не слышит, шуршит тальник над Шушей. Владимир Ильич сует Леопольду секретные рукописи. Надо закопать. Леопольд крадется. Что так страшно стучит в висках, будто маятник взбесился и колотит, колотит?.. Это кровь бьет в висках. А это что? Бегут. Топот сапог. Кто-то ломится сквозь тальник. Шашка жикнула

над головой. Она жикает, когда ее заносят. «Не надо! Не рубите меня. Я не хочу умирать!» — «Тогда признавайся!» — «Ни за что!»

...Раньше Леопольд посвящал свои фантазии Владимиру Ильичу. Теперь делил между ним и Елизаветой Васильевной. Совсем недавно он опасался ее насмешливого языка, готовый на каждую насмешку обидеться. Совсем недавно. Теперь... Его мальчишеская преданность началась с того, что однажды она рассказала ему о себе молодой. И о поручике Крупском.

У них была крохотная дочка Надя, когда он приехал служить начальником в один польский уезд. Что касается Нади, девчонка не много соображала тогда. А жена, Елизавета Васильевна, положила руки на плечи мужу и, спокойно глядя в лицо, сказала:

— Знай, что я всегда вместе с тобой.

Он снял с плеча ее руку, поцеловал и поклонился церемонным поклоном.

— Скажите пожалуйста, — засмеялась она, — я не знала, что вышла замуж за рыцаря из романов Сенкевича.

— У твоего рыцаря немного другие взгляды, — ответил он.

В городе, куда его прислали служить, подлые дела устраивали царские правители. Время от времени рано утром на городской площади раздавался барабанный бой, резкий, жесткий, поспешный. Люди бежали на площадь. Мужчины, женщины, дети, лавочники, служители костела — все бежали, несмотря на раннее утро. На площадь приводили старых евреев. Они упирались. Их ташили, вязали за спины руки. Барабаны били... Под барабанный бой у евреев остригали пейсы.

Однажды в разгар процедуры на площадь прискакал начальник уезда поручик Крупский. Выхватив на скаку револьвер, выпалил в воздух.

— Барабаны, молчать! Кру-гом марш! Долой с площади! И чтоб никогда!..

Может быть, это происходило не так. Может быть, он

не стрелял. Леопольду хотелось, чтобы стрелял. Леопольду нравилось, что в гневе он был бешен и крут и прискакал на коне. Конь кружил под ним, вставал на дыбы, мел булыжник площади длинным хвостом.

Не много попадалось таких справедливых начальников в царской Польше. Он без пощады выгонял взятчиков из контор и присутственных мест. Не терпел, когда царские чиновники унижали поляков. Однажды чиновники распорядились не огораживать польские кладбища. Свиньи стадами бродили по ним и разрывали могилы.

Старики слали проклятия на головы обидчиков, женщины плакали. Начальство — никакого внимания. Тут-то поручик Крупский и вмешался: прекратить безобразие, огородить кладбища!

Поляки заговорили: какой-то особенный этот русский начальник, не как другие, справедливый! Нас, поляков, за людей считает, не дает в обиду.

Но правительство судило иначе...

Много грехов против русского правительства накопилось у поручика Крупского.

Чиновники говорили: «Не обязательно знать польский язык. Пусть они знают русский». «Если ты приехал в Польшу служить, обязательно!» — отвечал Крупский.

Константин Игнатьевич знал польский язык превосходно. Велел учить польскому дочь. А как танцевал мазурку! Лучше поляков.

В этом месте рассказа Владимир Ильич вставил:

— Лишку хватили, Елизавета Васильевна, ей-ей! Не хуже поляков, и то хорошо.

Елизавета Васильевна и не подумала уступить:

— Мне ли не знать, как он мазурку танцевал! Дама-то кто была у него?

Тут, конечно, Владимиру Ильичу пришлось сдаться. Против такого аргумента не поспоришь.

Недолго позволили Крупскому служить в Польше. Обвинили: ведет вредную для русского правительства ли-

нию. Крупского отдали под суд. Несколько лет разбирались в суде его преступления. Незадолго до смерти только был оправдан сенатом...

Между тем Паша, забежавшая по дороге за Энгбергом, которого Владимир Ильич велел кликнуть, уже тараторила снова:

— Леопольд, Леопольд, дядя Оскар бреется, галстук налаживает, ждать не велел, сам, однако, придет. Ладно, что дома! Утро охотился, полную сумку уток набил, хвалится, хвалится, а мне не в диковинку, я и лебедей видывала. А кто к нам приехал, Леопольд, и не спросишь, больно уж гордый, слова не вымолвишь лишнего. Сильвин к нам приехал, вот кто!

— Сильвин? Что же ты молчишь!

И они задами помчались к улочке, где над Шушей был дом с двумя колоннами. На крыльчке Женька встретила их радостным лаем. Еще Минька дожидался их на крыльце, соседского поселенца мальчонка лет шести, бескровный и хиленький, как увядающий цветок, которому недолго оставалось качаться от ветра на тоненьком стебле, недолго. Облизывал вяземский пряник, жалея куснуть.

— Опоздали! Все гостинцы раздарены. Мне пряник дали да карандаши разноцветные, а вам шиш.

— Врешь, однако,—хладнокровно ответила Паша.

Они ввалились в кухню. Из кухни—в столовую комнату. И там Леопольд очутился в крепких объятиях Сильвина.

— Здравствуй, здравствуй, дружок! Ба! Да ты вырос, на пол-аршина прибавился. А мускулы где? А с Энгельсом справился? Владимир Ильич в тот раз снабдил тебя Энгельсом, осилил? А мускулов мало. Мало.

И одновременно хорошенькой своей, любопытной ко всему и смущенной жене:

— Заметь, Ольгуша, этот юноша в нашу первую

встречу при всем честном народе объявил, что ты ко мне приезжаешь. Интуиция ему подсказала, а мне что оставалось? Срочно слать тебе объяснение.

— Я и не подозревала, однако, что вы сыграли такую важную роль в моей судьбе,— улыбнулась она.

— Слушайте! Слушайте! — завопил Сильвин. — Она уже «однако» усвоила. Она уже сибирячкой успела заделаться!

— Пока сибирской зимы не понюхала, до тех пор не признаем сибирячкой, — заявил Владимир Ильич. — Вот и Иван Лукич!

Вошел отец, Леопольд удивился: никого не заметив, отец шагнул к Владимиру Ильичу:

— Владимир Ильич, не ответ ли прислали?

Боязнь и надежда были во взгляде отца. Владимир Ильич смешался:

— Дьявольская медленность почты! Или начальство медлит. Так или иначе, вопрос этот вырешится, потерпите, елико возможно, Иван Лукич, а? Они ответят на письмо так или иначе. Непременно ответят!

Отец виновато улыбнулся и весь сразу потух. Увидел Сильвиных. Поклонился. Погладил ладонью макушку.

— Важное дело, Владимир Ильич?

— Чрезвычайно важное дело! До крайности важное. А что касается того, подождем еще немного, Иван Лукич...

Они ушли к нему в комнату: отец, Сильвин и Надежда Константиновна.

— А мы, непартийная публика, идемте на лоно природы, — позвала Елизавета Васильевна, уводя гостью в огород показывать гряды.

Леопольд стоял у окна, глядел на зеленый лужок. Сюда, в проулок, мало заезжало телег и возов, невытоптаный лужок зеленел. Что за письмо? О чем? Куда они его посылали? Чего отец ждет? Ждет и боится. Почему дома молчит о письме? Даже с ним, старшим сыном, не делится. Хмурый, что у него на душе?

Наверное, Леопольд долго простоял бы так у окна, раздумывая о неизвестном письме, если бы не Оскар Энгберг.

Энгберг явился слегка смущенный опозданием, но тщательно выбритый, в наглаженной чистой рубашке и галстук. Все у него аккуратно. И одежда и внешность аккуратная. Светло-русые волосы с левым пробором, будто линейкой вымеренным. Ровные усики. Выбранный крутой подбородок.

И тут же из комнаты появился Владимир Ильич:

— Куда вы пропали, Оскар? Мы ждем-ждемся.

— Ну и охота сегодня, Владимир Ильич! Перово озеро все живое от птицы...— принялся расписывать Энгберг, но, заметив сдержанность Владимира Ильича, догадался, что сейчас не до уток, смолк и отчего-то на цыпочках прошел в кабинет.

— Леопольд,— внимательно на него поглядев, сказал Владимир Ильич,— и тебе сугубо полезно это узнать. Давайте не волыннить, товарищи!

Леопольд самому себе не решался признаться, что, стоя у окошка и рассматривая знакомую-презнакомую лужайку, думал не только о письме. Гнал прочь обиду, а она комом застряла в горле. Перед носом захлопнули дверь! Разве он, Леопольд, так уж совсем «непартийная публика»? А кто, скажите, недавно весь «Коммунистический Манифест» прочитал? Насквозь, от корки до корки! Выучил почти наизусть. Кто раньше «Манифест» прочитал, я или Энгберг?

Ладно, он был рабочим, путиловцем, так я еще не успел стать рабочим, еще буду. Разве только он, Энгберг, хочет быть революционером? Я тоже хочу... Не мальчишка я!

Леопольд вспыхнул как спичка от слов Владимира Ильича: «...тебе сугубо полезно». Вмиг в нем ожил мальчишка. Он вошел не на цыпочках, как Оскар Энгберг,

желавший показать, что раскаивается, что ухлопал целое утро на уток; нет, Леопольд вошел не так; он вскочил в комнату, будто спасаясь от погони, и шмыг, и спрятался за книжкую полку, в глубине души трусая, как бы Владимир Ильич не опомнился: «Стой, стой, любезный, рано тебе!»

Надежда Константиновна улыбнулась его суматошности:

— Правильно Леопольда позвали. В Петербурге в рабочих кружках у нас еще моложе товарищи были.

— Когда я на Путиловском работал...— начал Энгберг.

Он постоянно по всякому поводу любил похвастать, как работал в Петербурге на Путиловском заводе и Владимир Ильич под именем Николая Петровича приходил на Нарвскую заставу объяснять им политику и как его уважали рабочие. А теперь судьба свела в Шушенском. Энгберга позже Владимира Ильича привезли в ссылку. Потом уже через год они и Надежду Константиновну в Шушенском дождались, и Оскар Энгберг выковал из медных пятак по кольцу для венчания. Об этом Энгберг мог рассказывать сколько хотите, но сегодня с рассказами ему не везло.

— Товарищи, к делу!— прервал Владимир Ильич, приближаясь к деревянной конторке, за которой обычно стоя писал.

Нигде не видывал Леопольд такой конторки с покатой, как у парты, крышкой, обнесенной по спинке перильцами. К перильцам поставлена лампа. Эту лампу с зеленым абажуром Надежда Константиновна привезла из Москвы Владимиру Ильичу в подарок, когда приехала в ссылку. В вагоне везла, парходом везла, пятьдесят с лишним верст тряслась на телеге от Минусинска до Шушенского, держа в руках лампу. Уберегла, не разбила. Зимними вечерами рано гаснут в Шушенском окна, только светит до поздней ночи зеленый огонек у Ульяновых.

В комнате Владимира Ильича Леопольда особенно привлекала книжная полка. Правда, свободного доступа к ней ему нет, но попросишь что надо — пожалуйста. Иногда Владимир Ильич сам выберет книгу и даст: «Сугубо важно прочесть. Советую».

Из бокового окна видно Шушу. Сделав излучину, она протекает возле самого дома. За Шушей — луга, давно убранные и снова зеленые и яркие от осенней отавы. За лугами Енисей и синие ленты проток. Вдалеке величавые громады Саян. Наползет фиолетово-сизая туча, накроет крышей хребет, раскинет рваные лохмотья по склонам, нагонит сумрак; вдруг примчится ветер, закружит, поднимет тучу, понесет, свалит по ту сторону гор, и белый-белый снег сверкнет на вершине, брызнет светом, — и все вокруг станет радостно, чисто, и солнце веселее за светит.

«Когда уедем домой, буду помнить всегда эту комнату, конторку, книги, буду помнить окно Владимира Ильича, боковое окно, из которого видны Саяны. И Шушу, и остров... Но что это я, вот так дурак, пропустил, о чем говорит Владимир Ильич!»

Он ничего не пропустил. Владимир Ильич только успел вынуть из конторки книгу и, листая в ней страницы, сказал:

— Товарищи, очень хорошо, что мы собрались. Я воспользовался приездом Михаила Александровича и позвал вас обсудить одно дело. Весьма важное дело! В этом послании содержатся чрезвычайно интересные для нас вещи и сведения.

«В послании? Где же оно?» — удивился Леопольд, но, конечно, не стал спрашивать, а внимательно сдвинул брови и усердно стал слушать.

— Я не успел точно набросать на бумагу содержание присланного, изложу основные мысли, — говорил Владимир Ильич, приводя все больше Леопольда в волнение.

Ясно, здесь была конспирация. Леопольд был захвачен. Он не старался сейчас казаться Владимиру Ильичу

умным и вдумчивым, совершенно об этом забыл, так странно было то, что он узнавал, о чем говорил Владимир Ильич.

То, что Леопольд узнавал, было кредо, привезенное Анной Ильиничной из Петербурга в Подольск, а потом присланное в химическом письме из Подольска в Шушенское.

— Подведем итоги. Они против рабочей политической партии. Они против борьбы за политическую свободу рабочего класса. Они не верят в революцию. Не верят, что пролетариат способен взять власть в свои руки. Не верят в социалистическое общество. Итак?

Владимир Ильич захлопнул книжку, которую держал раскрытой, пока излагал содержание кредо. Положил на конторку. Поднял плечи. Всунул руки в карманы. Остро и холодно блеснули глаза. Леопольд никогда не видел Владимира Ильича таким: ледяным, сдержанным, гневным.

Все сильнее забирало Леопольда волнение, но он не мог сообразить, что делать, как «им» отвечать. «Они» на свободе, а мы в ссылке. Леопольд в беспокойстве ожидал, что скажут другие. Как решат? Кто заговорит первым? Заговорил бы отец! Нет, отец молчаливый и, наверное, тоже не знает, как об этом судить.

Но отец-то и знал. Сказал кратко. Он всегда говорил понятно и кратко.

— На нет хотят рабочее движение свести,— сказал отец.

— Вот именно! — воскликнул Владимир Ильич. Кажется, он ждал услышать эти слова, но не был уверен и теперь, услышав, ободрился: — Вот именно! Чего им надо? Им надо отнять у рабочего движения революционную цель.

— Черта лысого! — сказал Оскар Энгберг. — Извиняюсь, конечно.

Энгберг был по рождению финн и не так уж досконально усвоил русский язык, что же касается крепких

словечек, Энгберг знал их и по-фински и по-русски достаточно.

«Извиняюсь, конечно!» — слышалось довольно часто, пока Энгберг рассказывал, как полиция разгоняла на Путиловском тайные сходки; мастера рыскали по цехам, вынюхивали, нет ли где разговоров про политику; одного такого сыщика-доброхота путиловцы сунули в холодный ушат остудиться, за то и полетел Оскар Энгберг в Сибирь.

— А все равно, черта лысого, никто не выколотит из нас революционную цель!

— А они как раз и выколачивают, — говорил Владимир Ильич. — И начисто. Чтобы ничего не осталось, ни капли революционной идеи. Идите на поклон к буржуазии. Господа капиталисты, смилуйтесь, подсобите елико возможно рабочему классу! Вот они чего добиваются: чтобы рабочие забыли о политике и революционной борьбе. Нет, мы не согласны! Мы не хотим, не можем, не будем молчать, нет и нет! Не будем, хотя мы и в ссылке.

Владимир Ильич сердито говорил, прохаживаясь по комнате взад и вперед.

«Сейчас придумает, что надо делать, — мелькнуло у Леопольда. — Зашагал, значит, скоро придумает».

Никто не велел Леопольду молчать, о чем был разговор в комнате Владимира Ильича. Он узнал тайну. Тайну надо хранить, понятно без слов. Ужасно хотелось хоть чуть намекнуть Паше о кредо, в котором «они» (Леопольд так до конца и не понял, какие это «они») призывают рабочих не бороться, а ладить с капиталистами. Но нельзя ничего открывать, даже намекнуть нельзя.

Потом был обед, и Паша с Елизаветой Васильевной кормили всю честную компанию молочной лапшой, свежим картофелем и малосольными огурцами, такими крепенькими, вкусными, только хруст стоял за столом. Блюдо вмиг опустело, и Елизавета Васильевна сказала:

— Голубчики мои, можно подумать, вы с молотьбы. Паша, не сходить ли за добавлением в погреб?

— Да здравствует гостеприимство Елизаветы Васильевны, известное нам с петербургских времен! — громгласно объявил Сильвин.

— Да уж и там, бывало, договоритесь до голоду.

А Владимир Ильич с задорной искрой в глазах:

— Уважаемые гости, предлагаю после обеда совершить прогулку на луг.

— Вам гулять, а мне с посудой управляться, — сказала Паша, таща со стола ворох тарелок на кухню.

— Ну уж нет! Ну уж нет! — в один голос постановили Надежда Константиновна с Ольгой Александровной. Надели фартуки, Леопольд подвязался тряпкой, Оскар Энгберг засучил рукава выглаженной парадной рубашки — в полчаса убрали, посуда чистехонька стояла на полке.

— Миром-то хорошо, — сказала Паша.

И все со спокойной совестью отправились по мосту через Шушу на луг.

Елизавета Васильевна одна осталась дома с рассказами Чехова, которые читала со вкусом, не торопясь, а растягивая удовольствие.

— Бабушка, я с тобой нынче не буду, я с ними на луг пойду, — сказал Минька, зажав в кулаке обмусоленный вяземский пряник.

— Ступай, детка.

— Завтра опять к вам приду.

— Приходи.

«Голубенькая моя травинка», — грустно подумала Елизавета Васильевна, глядя на его прозрачное личико и рахитичный живот.

Луг зеленый, просторный.

— Сюда, сюда, сю-у-у-да-а! — кричал Владимир Ильич, раньше всех очутившийся в глубине луга у огром-

ных зародов, узких и длинных кладей свежего сена, выложенных поверху ветками вроде крыши от ветра. Запах здесь, у зародов, стоит сенной, крепкий, кружащий голову, глазам небесная открывается ширь, а Саяны кажутся близкими, сияют снегами.— Сю-у-да! — звал Владимир Ильич.

Если Владимир Ильич веселился, так уж веселился вовсю, всех заражал своим смехом и радостью. Чинных праздников Ульяновы не признавали. Праздник — значит прогулки верст за десять в леса или на луга, где можно нарвать охапки цветов, или игра в городки, когда чешутся руки одним ударом выбить из города фигуры, или катание на лодке, или пение песен и полная, полная радость, чтоб никто в стороне не остался, чтобы всех захватило, закружило, несло.

Паша и Леопольд примчались первыми на зов. Крупными скачками подбежал длинноногий Оскар Энгберг и встал, любопытно оглядываясь и приглаживая вздыбленные волосы. Последним притрусил Минька.

Владимир Ильич, без пиджака (пиджак брошен в траву), с отлетевшим на плечо галстуком, поднял сухую ветку:

— Будем петь. Ян, дирижирую. Товарищ Ян, будем петь!

Иван Лукич откашлялся. Оттянул на шее воротник и запел. Невеселую песню запел:

Слезами залит мир безбрежный,—

выводил глуховатый, низкий голос Проминского-отца.

Вся наша жизнь — тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный,
Неумолимо грозный суд!

Паша вытянулась, зажала на груди косу в руке, жадно ловила слова, шевеля губами. Наверное, сердце колотится у нее под рукой. Леопольд чувствовал, что заплачет

от этой песни на лугу, где они одни возле темных молчаливых зародов да Саяны, громадные, вечные, в снеговых ярких шапках.

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром наше знамя реет...

Леопольд гордился и любил отца, который все пел, пел и вел за собой хор и эти огненные грозовые слова:

Скорей, друзья! Идем все вместе,
Рука с рукой, и мысль одна!..

«Буду революционером,— думал Леопольд.— С сегодняшнего дня, навсегда! Владимир Ильич, татусь, обещаю!»

Песня спелась. Стало тихо. Маленькая Ольга Александровна Сильвина, держа мужа за рукав, глядя на него снизу вверх, возбужденно говорила:

— Спасибо, что я приехала к вам сюда! Какие вы... Не думала я, что вы такие.

— Товарищи, споем еще!— звал Владимир Ильич. Он был весел и счастлив, у него горели глаза.— Товарищи, поглядите, как мы собрались. Проминские — поляки. Оскар — финн. Мы — русские. Вы — украинка, Ольга Александровна.

— А я? — спросил Минька.

— А ты — латыш, наш маленький товарищ Минька. Настоящий интернационал у нас здесь собрался. Давайте петь еще! — Он первым начал:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе...

Все с какой-то особой охотой подхватили зовущую песню:

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

«Товарищ» Минька тоже пел, топая и маршируя на месте, размахивая руками в такт песни, выводил, отставал, торопился:

Гру-у-дью про-оло-жим...

Уехали Сильвины поздно. Давно вернулось стадо. Не слышно дзиньканья подойников в хлевах и бабьих голов у колодцев, по дворам угомонилась скотина. Остыла оранжевая заря.

Потемнели и дальше отодвинулись горы. Пополз от проток молочный туман, встал стеной, загородил от Шушенского луг.

— Итак,— прощаясь с Сильвиным, сказал Владимир Ильич,— в назначенное время у вас в Ермаковском празднуем день рождения Оленьки Лепешинской. Пусть пекут именинный пирог.

Ямщик перебрал в руках вожжи. Жеребец выгнул шею. Бубенчики колыхнулись под дугой и зазвенели громко и дружно и, уходя дальше и дальше, где-то на окраине Шушенского постепенно утихли.

— Совсем ночь,— сказала Надежда Константиновна.

Они остались вдвоем, сидели в беседке. Владимир Ильич соорудил эту беседку из прутьев, недалеко от крыльца, во дворе. Надежда Константиновна с матерью насадили хмель. Хмель разросся, увил беседку. Днем здесь было прохладно и зелено, как на дне морском, а сейчас, ночью, сквозь кудрявые ветви смотрели звезды. Полно звезд августовское небо!

— Видишь Большую Медведицу? — сказала Надежда Константиновна.— Ковш из семи звезд. Когда я была маленькой, отец спросил: видишь Большую Медведицу? У отца была сказка про Большую Медведицу. Она мать, а все остальные звезды — дети. Мать пошлет какую-нибудь свою звездочку проведать Землю. Как там живут на Земле, не очень ли скверно живут на Земле? Видишь, летит проведать.

— Неважно пока живут на Земле,— усмехнулся Владимир Ильич.

— Еще звезда пролетела,— сказала Надежда Константиновна,— августовские звезды падучие.

— Мне запомнился в детстве один звездопад,— сказал Владимир Ильич,— наверное, тоже было в августе. Отчего-то мы поздно всей семьей были на Волге. Возвращались с парохода, очевидно, с прогулки. Отец нес меня на руках. И мама шла возле. Я обнимал отца за шею и глядел на Волгу, огромную, ночную, черную, как разлитые чернила. Вдруг сестра Аня кричит: «Ловите звезды!» И я вижу, все звезды падают, все небо движется, осыпается, идет звездный дождь. Изумительное зрелище! Но странно, никто не помнит, кроме меня.

— Наверное, это был твой детский сон,— сказала Надежда Константиновна.— А знаешь, ведь мы одно время были с тобой земляками, задолго до Петербурга, когда вы жили в Симбирске, а мы одно время в Угличе, тоже были волжанами. После Польши отец служил там на бумажной фабрике Варгунина, на другом берегу, против Углича. Как-то мы поехали в Углич. На пароме переехали Волгу и пришли с отцом к церкви царевича Дмитрия. Отец рассказал, там опальный был колокол. В него били в набат, он звал народ к бунту. За это у него вырвали язык и отбили ухо, а сам колокол надолго сослали в Сибирь. Я была совсем поражена этой историей. Как я сочувствовала бунтовщику-колоколу! Я его как живого любила! Что-то мы, Володя, сегодня развоспоминались о детском...

— Хорошо мне с тобой,— сказал Владимир Ильич.

— Я счастливая,— ответила она.— Самые мои любимые люди, ты и мама, рядом. Тебе труднее, твои далеко.

— Мои далеко.

Они замолчали. Темное небо, полное звезд, глядело в беседку сквозь крышу из хмеля. В тишине с берегов Шуши доносилось лягушиное кваканье.

— Мои далеко,— задумчиво повторил Владимир Иль-

ич.— Что сегодня у них? Где они? Может быть, собрались у мамы в Подольске, у маминого старого пианино. Мама играет...

Так и было. Он угадал. В этот вечер на подольской даче Марии Александровны собрались все. Анна Ильинична вообще жила с матерью. Приехали из Москвы Маняша и Марк Тимофеевич, они работали в Управлении Московско-Курской железной дороги. Дмитрий Ильич привел к вечернему чаю санитарного врача Левицкого, у которого во время подольской высылки служил счетоводом.

Чаепитие затянулось. Было оживленно. Разговоры перекидывались с одного на другое. Говорили о книгах и журнальных новинках, о недавней жизни и учении Маняши в Брюсселе. Левицкий рассказывал истории из быта подольских купцов, которых по службе обязан был навещать — наблюдать за санитарным состоянием лавок и складов.

Конечно, вспомнили Шушенское. Как-то там наши, Володя и Надя? Мария Александровна отвернула кран самовара и наливала чашку, не отрываясь следя за струей.

Всегда казался самым любимым тот, кто всех дальше. Кому труднее живется. Кому угрожают опасности. Кого сейчас нельзя приласкать. «Володя, стосковалась я о тебе! Когда ты был маленьким, у тебя были мягкие шелковистые волосы... Вспоминаю ваше детство, мои милые дети, и улыбаюсь от счастья...»

Она налила чашку. Лишнюю, потому что все уже напилось.

— Уф! Спасибо, настоящий летний чай с клубничным вареньем, роскошная жизнь! — сказал Марк Тимофеевич. — Позвольте встать из-за стола, Мария Александровна?

Он встал, большой, бородатый, и пошел на террасу покурить.

— Вечер,— сказала Анна Ильинична.— Лампу пора зажигать. Поиграй нам, мамочка. Митя, унеси самовар.

Общими силами быстро убрали со стола. В комнате должно быть чисто и прибрано, ни морщинки на скатерти, ни забытой чашки, ни брошенной книги, ни в чем нигде беспорядка. Тогда мама сядет к пианино. Не надо зажигать лампу. Не надо свечей. Она играет по памяти. Сидит за пианино, сухонькая, прямая, красивая, и играет по памяти Грига.

«Солнышко наше»,— думает Анна Ильинична о матери. На душе у нее чисто, вольно, душа полна сил и нежности, и это все— музыка, с детства мамина музыка.

Дверь на террасу открыта, Анна Ильинична стоит у двери. Она не видит, но знает: Маняша, закинув руки за голову, неподвижно полулежит в качалке, наслаждается музыкой и текущим из сада ароматом цветов; опершись на крышку пианино, в задумчивости стоит возле матери Митя. Мужа своего, Марка Тимофеевича, Анна Ильинична видит. Он присел на перила террасы и курит. «Крестьянский сын» — зовет мужа Анна Ильинична. Верно, крестьянский сын и университетский Сашин товарищ. Он легко и естественно вошел в их семью и стал для всех необходимым и дорогим человеком! Мамин советчик. Мой деловитый, разумный, добрый Марк. Наш чемпион по шахматам! Не шутите. Володя уж какой шахматист заядлый и то пишет, что теперь страшно, пожалуй, с Марком сражаться, когда он самого Ласкера победил. И знаменитого Чигорина Марк обыграл, об этом даже в «Русских ведомостях» писали.

«Ах, расхвасталась мужем!» — засмеялась про себя Анна Ильинична.

Тут она увидела: светлячок папиросы угас, Марк встал с перил, бесшумно шагнул к лестнице и, пригнувшись, всматривался в глубину темного, почти уже ночью

го сада, откуда наплывали пряные и густые запахи флоксов.

— Марк, что ты там наблюдаешь? — тихонько подойдя, спросила она шепотом.

— Смотри. Вон, за калиткой. Видишь?

— Не вижу.

— Смотри внимательно. Видишь?

— Ничего абсолютно. А! Вот, кажется, вижу. Нет, ничего... А! Вижу, да.

Глаза пригладелись к темноте и различили шатры лип в саду, узенькую дорожку от террасы между кустами, клумбу с флоксами, калитку, за калиткой силуэт человека. Он прислонился к забору, наполовину укрытый разросшимся возле калитки шиповником.

— Этот тип давно тут торчит, — проворчал Марк Тимофеевич.

— Пусть торчит. Разве ты не привык к наблюдателям?

— Привык, да ах чешутся руки отвадить! Погоди меня здесь, Аня.

Он живо спустился с террасы и неслышно подкрался к калитке. Анна Ильинична осталась. Но что-то толкнуло ее, и она тоже торопливо сошла в сад.

«Ты у нас горячка, Марк, а руки у тебя увесистые, как у Васьки Буслаева», — думала Анна Ильинична, следуя за мужем.

Он вырос у калитки как из-под земли, рывком отворил, рывкнул:

— Вам что тут угодно?

Кто-то метнулся в сторону. Анна Ильинична поймала взгляд, сверкнувший дико и злобно, увидела перекошенное страхом лицо, и человек бросился прочь.

— Не убегай! Не уходи! Стой, стой, стой!.. — отчаянно закричала Анна Ильинична и побежала за ним, спотыкаясь, едва не падая в темноте. — Стой, пожалуйста, Прощка!

Он остановился. Слышно было, как прерывисто дышит.

Анна Ильинична подбежала, придерживая путающуюся в ногах длинную юбку. Подошел Марк Тимофеевич.

— Кто? Говори! Кто ты? Ну?

— Не надо, Марк, милый. Я его знаю. Прощка, ведь я здесь живу. Ты знал? Ты ко мне приходил?

— Нет.

Что с ним стало? Худ, как скелет. Скрытный, недоверчивый взгляд. Злая усмешка на губах. Его подменили. Полно. Прощка ли это?

— Ты меня узнаешь?

— Как же! Писательница А. Ульянова, хе!

«Никто не ответил бы, что писательница, только он. Как жалко у него получилось его защитное «хе»! Верить ему? Откуда ты знаешь, что ему можно верить?» — колебалась Анна Ильинична.

Он стоял и глядел исподлобья. Одичалый какой-то, затравленный. Ведь почти мальчишка еще! Несчастен, это видно. Ему надо помочь. Анна Ильинична перестала колебаться. Взяла за локоть и повелительным тоном:

— Идем.

Боже, какой худой локоть! Можно уколоться о его локоть. Что с ним случилось? Зачем он здесь? Что ему надо?

— Как ты хочешь, ни за что не отпущу тебя, Прощка, пока не поговорим. Тогда на вокзале нескладно получилось...

Он промолчал. Но шел рядом с ней по дорожке сада. Навстречу им лилась нежная, немного грустная музыка. Прощке казалось, страшно грустная, такая грустная, что заломило сердце. Зажегся свет в комнате. Выхватил из темноты грядку с настурциями перед террасой. А сад стал еще чернее и тише.

Марк Тимофеевич, ничего не понимая, шел сзади.

Музыка оборвалась, когда они появились. Мария Александровна встала навстречу приведенному дочерью юноше. Его худоба и угрюмый взгляд удивили ее, но она ни о чем не спросила, доверяя Анюте.

— Здравствуйте.

Он не ответил. Во все глаза глядел на нее. На ее черное платье и белые волосы.

— Садитесь, пожалуйста,— приветливо сказала Мария Александровна.

Станный, нелепый парень! Но что-то в нем вызывало у нее приязнь и участие.

— Мамочка, сейчас ты узнаешь кое-что интересное о нашем госте,— сказала Анна Ильинична.— Сейчас, друзья, я вам представляю его, моего старого петербургского знакомого.

Она подошла к самодельной книжной полочке, висевшей у стены на длинных шнурах, достала толстый том.

«Зачем ей понадобилась Володина книга?» — в удивлении подумала мать.

Эта книга по-особенному была ей дорога. Она начиналась у нее на глазах. Володю арестовали. Они с Анютой переехали в Петербург, поселились вблизи от тюрьмы. Каждую передачу Анюта тащила кипы литературы для брата. Уйму справочников и всякого рода научных материалов прочитывал он от передачи до передачи. Володя в тюрьме готовился писать эту книгу. Писал он ее и в ссылке. В письмах Володина книга называлась у них «рынками».

«Теперь Володя ушел уже решительно и окончательно в свои рынки, жадничает на время страшно...» — писала Надя из Шушенского.

«...Володя торопится с рынками», — в другом письме писала она. И в другом, и в другом.

Затем пошло от Володи.

«Я кончил четыре главы, и сегодня даже переписка их набело заканчивается, так что на днях посылаю вам еще III и IV главы», — в декабре 1898 года писал он из Шушенского Анюте и Марку.

Через неделю:

«Посылаю сегодня же на мамино имя заказной бандеролью 3-ю и 4-ю главы рынков».

Через три недели:

«Шестая глава моей книги кончена (еще не переписана); надеюсь недели через четыре кончить все».

Через две недели:

«Посылаю с этой почтой заказной бандеролью на твое имя еще две тетради своей книги (главы V и VI) [и отдельный листок оглавление]: в этих двух главах около 200 тыс. букв+еще приблизительно столько же будет в двух последних главах. Интересно бы знать, начали ли печатать начало...»

Через две с половиной недели:

«Посылаю тебе сегодня, дорогая мамочка, остальные две тетради своих рынков, главы VII и VIII, затем два приложения (II и III) и оглавление двух последних глав. Наконец-то покончил я с работой, которая одно время грозила затянуться до бесконечности».

Через четыре дня:

«Посылаю сегодня еще небольшую бандероль (заказную) на твое имя, дорогая мамочка... Со следующей почтой пошлю еще маленькое добавленье к VII-ой главе».

Книга писалась за тысячи верст, а мать знала о появлении каждой главы. Она первой держала в руках каждую главу, вчитывалась в быстрый, бисерный почерк.

— Узнаешь? — протянула Анна Ильинична Прошка.— «Развитие капитализма в России». Владимир Ильин.

У него посветлело лицо, на миг стало прежним, ребяческим.

— Мамочка! Он ее печатал в Петербурге в типолитографии Лейферта. Тогда мы и познакомились. Прошка, помнишь, ты приносил мне на корректуру листы? Ты еще говорил, что здесь все правда, в этой книге, написана, ты еще тогда политической ее называл.

Внезапно он омрачился, рывком шагнул к двери, схватил скобку.

— Прощайте. Я пойду. Мне пора.

Он улизнул бы, если бы широкая ладонь Марка Тимофеевича не накрыла на дверной скобе его руку:

— Постой, парень. Успеешь уйти.

Мать приблизилась:

— Отпустите мальчика, Марк Тимофеевич.

Он отпустил.

— Вы уйдете, у нас не держат насильно,— произнесла мать с достоинством.— Но сначала мне хочется угостить вас чаем и домашней булкой. Такой у нас обычай— обязательно угостить гостя.

Она указала на стол, покрытый скатертью. Посредине стола в вазочке стояли оранжевые и красные астры. Вдруг они покачнулись, наклонились набок и бешено закружились, сто красных и оранжевых солнц раскололись вдребезги и усыпали осколками стол. Марк Тимофеевич успел подхватить Прошку.

— Что с тобой, парень?

— Сядьте! Пусть он сядет! Пусть сядет! — слышались голоса.

В комнате было много людей, но Прошка узнавал только мать с белыми волосами и слышал ее голос:

— Вам плохо? Надо выпить кофе и непременно что-нибудь съесть.

Но он боялся их ослепительной скатерти.

— Не хочу я, некогда мне. Прощайте, отпустите меня,— просил он хриплым голосом. И озирался исподлобья. Что за люди? Куда он попал? Как во сне. Давно, в Петербурге, приснился Прошке сон про Анну Ильиничну...

— Мамочка, мне надо побыть с ним вдвоем,— что-то надумав, решительно сказала Анна Ильинична.

Мать поглядела на Прошку.

— Не бойтесь, Проша.

Анна Ильинична повела его низеньким коридорчиком, мимо маленьких комнат с желтыми полами. На окнах тюлевые занавески, в горшках цветы, на шнурках подвешены книжные полки. Анна Ильинична привела его в кухню. Зажгла керосиновую лампу. Осветились плита, деревянная лавка, дощатый чисто вымытый стол. В кухне не было никого.

— Сядь,— велела Анна Ильинична.— Дам сейчас тебе есть. Давно не ел?

Прошка не ответил. Он не ел двое суток. От голода у него ломило живот, в глазах стреляли искры. Забыла Анна Ильинична оставить или нарочно не оставила книгу в комнате, принесла в кухню, положила на край стола и быстро принялась хозяйничать. Достала из шкафа кусок мяса, масло, молоко, початый пшеничный каравай, ноздреватый, пышный, с коричневой коркой. Прошка глядел на каравай, не мог скрыть волчью жадность.

— Ты поешь, а я скоро вернусь,— сказала Анна Ильинична. И ушла.

Прошка огляделся, вмиг оценил обстановку. Окно низко, не заперто ставней. Хлеб и мясо за пазуху и — поминай как звали! Он схватил каравай. Пышный, легкий каравай смялся в руке. Нечаянно взгляд упал на оставленную Анной Ильиничной книгу. «Развитие капитализма в России». Владимир Ильин. Лицо Прошки, желтое и некрасивое от худобы, сморщилось, стало старым грибом. А, не побежит он в окно вором с добычей! Сел на лавку.

«Не надо мне вашей еды, больно мне надо!»

Но голод был сильнее самолюбия, и он торопливо, жадно принялся есть, отрывая зубами куски хлеба и мяса, давась. Наелся. Хотел спрятать остаток каравая в карман, почему-то не спрятал. «Теперь убегу». Подошел к окну, потрогал раму. «Нет, не побегу. Все равно».

Тут вернулась Анна Ильинична.

— Поговорим, Проша?

Он угрюмо глядел на нее. О чем говорить?

— Почему ты в Подольске? Что ты делал у нашего дома?

Прошка молчал.

Анна Ильинична придвинула книгу «Развитие капитализма в России».

— В ней есть и твой труд. Спасибо тебе. Эта книга нас связывает.

Он вздрогнул, ошеломленно уставился на нее.

— Ты заметил, у мамы белые волосы? — спросила Анна Ильинична. — Знаешь, когда это с ней стало? Ее старшего сына, Сашу, Александра Ульянова, революционера, царь осудил к повешению. В то утро она поседела. С того рассвета, когда... Ну, Прошка... что случилось с тобой?

И он рассказал.

...Помните вечер на петербургском вокзале, когда поезд тронулся, покатались вагоны, проплыло в окне потерянное, что-то спрашивающее лицо Анны Ильиничны и Прошка остался один? Проводил поезд и пошел домой.

Все холоднее задувал с севера ветер. Раскачал Неву. Длинные волны с ревом бились о гранитную набережную, вскидывая фонтаны ржавой пены и брызг. Неуютно на улицах. И дома некуда деться. Прошка, как обычно, направился в библиотеку. Кстати, книгу Амичиса «Школьные товарищи» сдать. На этом и кончится все. Что? Он сам не понимал. Но что-то оборвалось и кончится...

В библиотеке был Петр Белогорский. Ничего в этом особого не было. Белогорский, как обычно, рылся в каталогах. Обрадовался Прошке, затряс шевелюрой.

— Хочешь, давай пошатаемся? Хочешь, поговорим, а? Меня к тебе тянет, а? Ты ведь мой крестник, так сказать, я тебя вовлек в наш... Впрочем, не будем об этом. Ты какой-то нетронутый, какой-то князь Мышкин или на Алешу Карамазова смахиваешь, а у меня накопилось, хочется вылиться, не первому встречному, человеку с душой хочется вылиться!

И они очутились на улице, на холоде, на ветру, под петербургским грифельным небом.

— Скажи откровенно, — сразу начал Белогорский, — как тебе показалась Кускова? Как ты ее аттестуешь? Что она, по-твоему, собой представляет?

— Не знаю, — нехотя ответил Прошка.

— Нет, я в тебе ошибся! — яростно вскричал Петр Белогорский. — Оказывается, ты эмоционально не одарен, если она не произвела на тебя впечатления. У тебя слабо развита сфера чувств. Неужели ты не понял, что она выдающаяся женщина нашего времени?

Он в возбуждении принялся говорить о Кусковой. Что она талант и исключительный ум. Что она одна знает верный путь спасения рабочего класса. Она всей Европе известна. Она передовая во всем, как Жорж Санд, за свободу любви, третий раз замужем, гражданским браком, конечно, определила сына на воспитание какой-то из свекровей, а сама живет свободно, ради общественных целей.

— Стой! Хочешь, открою секрет? Давай лапу.

Он взял Прошкину руку, сунул к себе в карман. Рука Прошки наткнулась в кармане на сверток бумаг.

— Листовки, — оглядываясь по сторонам, секретно прошептал Белогорский. — Не наши. Их. Понял? О классовой борьбе и политике, против чего мы и спорим. С риском страшным раздобыл для нее, я для нее на все готов, она просила, нужно ей знать досконально их позиции, чтобы опять положить на лопатки. Так их! На лопатки их! Хочешь прочесть?

Прошка хотел. Очень хотел своим умом разобраться в рабочих листовках, потому что слова Петра Белогорского не совсем ему были ясны. Читать листовки на улице нельзя, таким образом Прошка попал к Петру Белогорскому, который, как оказалось, жил в большом барском доме. Поднялись на третий этаж.

— У нас об этом ни слова, молчок. Папахен мой министерский чиновник, так что ни гугу. Разумеешь? — приложив палец к губам, предупредил Петр Белогорский.

Открыли дверь ключом. Вошли.

— Что это? — отшатнувшись, вскрикнул Петр Белогорский.

Здоровенный жандарм встречал их в прихожей.

— Пожалуйте-с в комнаты, вас ожидают,— обратился жандарм к Петру Белогорскому.

Второй дюжий детина в жандармских погонах стоял у входа в комнаты и тоже:

— Пожалуйте.

Прошка увидел разом посеревшее лицо Петра Белогорского. Прошка сам испугался жандармов.

— Что такое, я не понимаю... чепуха какая-то... вы ошиблись,— бессвязно бормотал Петр Белогорский, незаметно между тем вытаскивая из кармана и, не оглядываясь, тыча за спиной Прошке листовки.

Прошка, не думая, взял, сунул за пазуху.

— Ну, идемте, раз надо, идемте, идемте! — заспешил Белогорский и кинулся в комнаты.

Прошка хотел уйти.

— Никак нет, не дозволено,— вырос перед дверью жандарм.

Второй дюжий жандарм в два шага очутился возле Прошки. Вот так штука!

— Меня-то к чему зацепили? Я сюда и зашел-то случайно,— пытался Прошка уговорить жандармов.

Они сторожили его полчаса или час. Прошка стал нервничать и впадать в нетерпение, когда из комнаты появился жандармский полковник.

— Тек-с,— просвистел он, скользнул небрежным взглядом по Прошке и вытянул в его сторону длинный белый палец с розовым ногтем: — Обыскать.

В мгновение оба жандармских молодца накинулись на Прошку, обшарили, ощупали, нашли за пазухой свернутые в трубку листовки.

— Тэ-эк,— сказал полковник, пробегая глазами одну из листовок, постукивая об пол носком сапога.— Тэ-эк,— с размышляющим видом повторил он.

Листовки оставил себе, Прошку приказал увести.

Прошка не понимал, что с ним происходит. Когда двое жандармов, ухватив за локти, сводили его с лестницы, он не понимал, куда его тащат, зачем. Куда,

зачем везут его в извозчичьей пролетке? И даже когда захлопнулась дверь и зловеще повернулся в замочной скважине ключ, запирая его в камере, он не поверил. Потом на него нашло исступление, и он стал колотить в дверь кулаками, биться, кричать. Скрежетнул в скважине ключ. Просунулась голова надзирателя:

— Тихо! Карцеру захотел?

Прошка утих. Железный откидной стул, железный стол, железная койка. Под потолком решетка оконца. Что они хотят с ним делать? В чем он виноват? За что его судить? Прошка не придавал значения отобранному у него листовкам и думал, что его судить не за что. Он лег на тюремную койку, накрылся с головой тоненьким одеяльцем и, всхлипнув, как кутенок, от одиночества и обиды, уснул.

На следующее утро Прошка ждал, вот вызовут, разберутся, отпустят. Его беспокоило, что прогулял из-за жандармов работу. Но ничего, авось Фрол Евсеевич заступится...

Весь день не вызывали. Прошка истомился от ожидания. Не мог есть, плохо спал ночь, метался.

На другой день с утра начал ждать. Опять не позвали. Еще прошел день. Еще. В первую же тюремную неделю Прошка потерял весь свой прежний доверчивый ребяческий вид. Уже не глядели глаза его открыто и удивленно, жадно ловя впечатления жизни. Взгляд стал неспокоен и скрытен. Скулы обтянулись.

Его вызвали через неделю. Молодой следователь допрашивал вежливо и неумолимо. Это было его первое дело, он старался изо всех способностей, надеясь себя показать.

— Где вы взяли листовки? Кто вас вовлек в организацию? Назовите товарищей.

У Прошки не поворачивался язык сказать, что листовки у него от Петра Белогорского.

— Признавайтесь, что ваша цель возбудить рабочих к борьбе против правительства.

— Нет.

Но в камере, оставшись один, Прошка думал. Вот о чем были листовки. О рабочей борьбе. Прошка вспоминал, что говорилось в кружке у Кусковой. Рабочим не до борьбы. Рабочие к политической борьбе неспособны. Образованный класс буржуазии способен. А листовки, которые Петр Белогорский раздобыл для Кусковой, о рабочей борьбе. Прошка думал, думал.

— Напрасно вы упираетесь, улики против вас,— сказал следователь на втором допросе и дал Прошке познакомиться с показаниями Петра Белогорского.

— Враки! — заорал Прошка.

Они врут на Петра Белогорского! Он не верил, что Петр Белогорский может... Прошка так бесновался, что следователь почел нужным засадить его в карцер. В карцере сыро, темно. Осклизлые от плесени стены. Утром кусок черствого хлеба и кружка воды. Вечером кусок хлеба и кружка воды. Дощатые нары без подстилки. Нечем укрыться, холодно. Сутки, вторые, третьи...

Прошку вызвали на очную ставку.

— Напрасно вы упираетесь,— сказал Прошке следователь, вежливо предлагая стул Петру Белогорскому, тихому, с серым лицом (раньше он не был таким тихим, серым, дрожащим).

— Подтвердите ваши свидетельства, господин Белогорский.

— Подтверждаю...

Ни разу он не посмел взглянуть на Прошку. Нервно откидывая плоские пряди волос (раньше у него не были такие плоские волосы), он повторил показания, что такой-то ученик-наборщик типолитографии Лейферта соблазнял его листовками, призывающими к свержению власти...

— Гад! — с презрением сказал Прошка.— Все вы гады, мерзавцы.

И снова угодил в карцер.

Бедный Прошка! Они сломили его. Через полгода он

вышел из тюрьмы тусклый, погашенный. Ненавидел весь мир. Забыл все хорошее, что было в его жизни. Не было хорошего! Он не верил никому. Ни на кого не надеялся. Никто не поможет.

Нашелся все же человек, который помог. Однажды в тюрьме Прошку вызвали на свидание к дяде.

— Нет у меня дяди. Ловите? Дудки!

Бедный Прошка. Напрасно отказался он от свидания. Под видом дяди приходил Фрол Евсеевич.

Фрол Евсеевич и выхлопотал разрешение Прошке перед высылкой заехать на родину на три дня для прощания с отцом. После чего надлежало Прошке заарестоваться в Москве в Бутырской тюрьме и этапом в Сибирь. Фрол Евсеевич купил Прошке билет до Подольска. Бабушка навязала «арестантику» пышек в косынку, покрестила поминальной за здоровье просвиркой, велела каяться, чтобы бог простил грехи, и Прошка поехал к отцу в город Подольск.

Сердце горько и сладко заныло, когда он вступил на свою «детскую» деревянную улицу с зелеными огородами и белыми овсами на задворках. Все стало меньше, чем было. Дома низенькие, мизерные. А отцовский дом стал новее. Крыша покрашена, рамы побелены, в окнах герань.

Было воскресенье, отец с мачехой пили чай, когда он вошел. И их ребеночек, девочка лет четырех русоволосая, кругленькая, смирно ела что-то деревянной ложкой из миски.

Прошка остановился у порога, снял картуз. «Как нищий»,— мелькнуло у него. Он бурно покраснел и стал неловок, и голос у него охрип.

— Здравствуйте.

Как ни странно, первой узнала его мачеха.

— Глянь-ка, сын твой объявился.

Отец охнул, взмахнул рукавами праздничной сатиновой рубашки, засеменял к порогу, вытер усатый рот, стал целовать Прошку в щеки— все суетливо, мелкими, каки-

ми-то пугливыми движениями. А она сидела молча, с тяжелыми плечами и пышной, как подушка, грудью.

— Ты что стоишь-то, ты садись, чай давай будем пить, у нас вон лепешки из печки, теплые еще,— по-бабьи суетился отец, усаживая Прошку за стол.— Наружность-то как твоя изменилась, тощей да нехороший, из тюрьмы будто.

— Из тюрьмы и есть,— хрипло ответил Прошка.

Отец осекся, разинув рот. А мачеха, повернув к отцу налитое, молочной белизны лицо с подрисованными бровями, сказала, не удивляясь, не гневаясь, ровно и твердо:

— Чтоб каторжного в моем доме не было. Откель пришел, пушай туда и идет.

Прошка встал из-за стола, не успев откусить теплой лепешки. Русоволосая девчонка не взглянула на Прошку, продолжала, как заведенная, есть деревянной ложкой из миски. Отец семеня проводил его до калитки. Там всхлипнул, вцепился в него.

— Ты не серчай. Она уж таковская. Ты уж смиришь. Ты пошатайся до обеда по городу, а я ее уломаю. В тюрьму-то за что тебя упекли? Политический? Ох, беда! Ты обедать-то приходи. До смерти не прощу, ежели не придешь. Ты отца уважать должен, приходи, слышь?

Прошка пришел, потому что забыл в отцовском доме свою одежду в деревянном сундучке. Они уже отобедали. Мачеха сидела у окошка, глядела на улицу и щелкала семечки. Русоволосая девчонка неслышно нянчила в углу куклу. Отец ухватом достал из печки чугунок с похлебкой. Руки у отца тряслись, он едва не расплескал похлебку. У Прошки ком стоял в горле. От жалости и неуважения к отцу. От страха перед жизнью.

— Ну вот что,— сказала мачеха, когда он покончил с похлебкой,— больше не приходи. Каторжные нам не надобны. А то в полицию заявлю. Прощай. Иди с богом.

Опять отец проводил до калитки. Маялся, вздыхал. От него пахло водкой. Вышли со двора. Отец прикрыл калит-

ку и, озираясь, вытащил из-под рубашки серенькие варежки из овечьего пуха, с вывязанными по серому белыми звездочками, славные варежки, будто игрушечные.

— На! Материны, мамочки нашей покойной. Сберег. Возьми памятное, жадина-то наша все в укладку себе, одни только их утаить и сумел. Мамка была у тебя, Прохор! Что имеем, не храним, потерявши, плачем.

И ушел, пьяно спотыкаясь и всхлипывая.

Прошка засовал в деревянный сундучок мамину память. Куда идти с сундуком? Третий год, как Прошка из Подольска уехал. Где искать товарищей? Где они? Нет, не в том причина, что растерялись товарищи. Стыдно под чужой крышей приюта искать. Спросят, что же тебя дома не приняли?

За отца стыдно. Тятка, как скрутили тебя.

К одному товарищу все-таки он постучался. Сдал сундучок на хранение.

Бабушкины подорожные съедены, в кармане ни копейки. Первую ночь ночевал в городском парке. Вторую под лодкой на реке, как читал недавно в рассказе у Максима Горького.

Целый день искал, где бы заработать на хлеб. Никому его рабочие руки не нужны. Он хотел есть. К концу второго дня начал подумывать, где бы украсть. Булку, селедку, круг колбасы — что-нибудь! Он мечтал о колбасе. В хорошие времена в получку они покупали, и, если был день не постный, они с бабушкой ели колбасу, нарезав тонкими ломтиками. Вот была жизнь! Под конец отпуска, с таким трудом выхлопотанного для него Фролом Евсевичем, Прошка ни о чем не мог думать, кроме еды. Украл бы что хотите, да не сумел, слишком уж был простофиля. Да и вид у него подозрительный. Прошку гнали отовсюду из-за вида.

Оставалось сесть безбилетником в поезд и раньше срока заарестоваться в московской Бутырской тюрьме, откуда его по этапу погонят в ссылку. Нет, он не хотел идти в тюрьму раньше срока! Он еще спорил со своей злой судьбой. Еще

гневался, где-то на самом донышке души в нем жила еще гордость.

А потом упал духом. «Кому я нужен? А мне чего нужно?»

Черное, неотвязное зашевелилось в мозгу: «Чего мне нужно?» Он ждал ночи. Ночью решил выйти на железнодорожную насыпь за городом, подстеречь скорый ночной и... прощай, жизнь лихая!

В последний раз сходил поглядеть мост через Пахру. Интересный мост, крытый. Серединой едут обозы, скачут коляски, по бокам проходы для пешеходов. Даже в Питере нет такого моста, как наш подольский, под тесовой крышей...

И в Питере никто не заплачет о Прощке. Никого нет у Прощки, ни единого родного человека на всем земном шаре.

Он шел берегом Пахры, смотрел на ее крутые извивы, в последний раз смотрел на заходящее солнце. Вскарабкался на высокую гору. Побрел городским парком. Над крутизной вдоль Пахры, посреди лип и берез и сиреневых кустов стояли дачи. Из одной дачи слышалась музыка...

13

— Ты как хочешь, Пантелеймон, без твоей помощи я пропадаю в полном смысле; как хочешь: или помогай, или я пропадаю,— говорила мужу Ольга Борисовна Лепешинская. Стриженная, в пенсне, с продолговатым лицом, она была решительной и деятельной женщиной.

Окончила в Петербурге фельдшерские курсы. А еще раньше начала работать в нелегальных марксистских кружках, была образованной и страстной марксисткой. Но в Сибирь приехала не ссыльной, а женой ссыльного, готовой хоть на край света следовать за мужем, и уже здесь, в Сибири, навсегда определила свой жизненный путь. А в то же время была семьянинкой, беспокойной и нежно забот-

ливой матерью. Во всем сказывался ее бурный и живой темперамент. Вот и сейчас.

— Пантелеймон, помогай, или я пропадаю!

— Сохрани бог, не пропадай, милочка, лучше я помогу. Что требуется? Воды принести?

— Какое воды! Взгляни, оно лезет и лезет, никак его не уймешь.

— Действительно лезет,— согласился Пантелеймон Николаевич.

Они в смущении стояли над квашней, полной пузырчатого теста, которое поднималось все выше и действительно начинало вылезать через край.

— А ей хоть бы что! — ласково кивнула Ольга Борисовна на розовенькую дочку, спящую в белых простынках в самодельной кроватке из корзины.

— Едва дожить до полугода и уже участвовать, пусть косвенно, в политической деятельности,— пошутил Лепшинский.

— Никакой политической деятельности! Празднуем непразднованное рождение нашей дочурки, нашей первенькой! Лучше поздно, чем никогда. А вот и тезка моя идет, Сильвина. Спасибо, Пантелеймон, не требуется твоей помощи. Воображаю, каких мы налепили бы с тобой пирожков!

В дверь постучалась Ольга Александровна Сильвина. Невелика ермаковская колония политических ссыльных, а подите ж — две Ольги есть. Сильвина Ольга Александровна, правда, тоже не ссыльная, она здесь добровольно, как и Ольга Борисовна. Уже второй месяц. Перезнакомилась и подружилась со всеми, весела и счастлива. Вот и судите, что это — счастье? В чем оно? Какое оно?

Угрюмо подтаежное село Ермаковское. Пустыня широкая улица. Избы сложены из лиственничных, темных от времени бревен — двести лет простоят, хоть бы что! На окнах ставни с железными болтами. Заборы высокие, прочные. Ворота под навесами. На ночь запрутся, что там за заборами, за ставнями — не видать, не слышать. Близо

к селу Ермаковскому подступила тайга. В осенние ночи страшно в тайге от глубокого векового гула, скрипа стволов, похоронного завывания ветра. Саяны высят снеговые сверкающие хребты над увалами или укутаются сизыми тучами, и кажется, отгородилось село Ермаковское непроходимой стеной от всего белого света. И жутко приезжому, одиноко.

А Ольге Александровне хорошо. В избе Сильвина с белыми половицами устроила дом. Повесила занавески на окна, прибила к стене фотографию матери и копию Левитана «Над вечным покоем», соорудила из табуретки столик к постели, на столике сочинения Пушкина, всегда за делом, чем-нибудь всегда занята, скучать некогда.

Вот топают ее каблучки на крыльце Лепешинских. Прибежала.

— Не поздно?

— В самый раз. Повезло тебе, Пантелеймон. Ступай к своим книгам. А мы за стряпню.

Две Ольги взялись лепить пирожки и обсуждать насущные житейские и бытовые вопросы. Как животик у девочки? Остерегайтесь августа, последний мушиный месяц. Уж эти мухи, сладу нет! А что в больнице? А ваши уроки как?

Ольга Лепешинская служила в больнице фельдшерницей. Ольга Сильвина готовила докторского сына в гимназию. Доктора Арканова Сильвин не придумал. Доктор Арканов на самом деле был в селе Ермаковском. И сын у доктора был, и Ольге Александровне, к великой ее радости, предложили давать сыну уроки.

Обо всем надо переговорить. А между тем и с обедом поторапливаться надо.

Волостному начальству известно: у Лепешинских сегодня семейный праздник. Съедутся гости, ссыльные из Минусинска, села Тесинского, Шушенского, в пятидесяти, ста верстах от села Ермаковского. Высшими властями уездному и волостному начальству дано указание: строжайше следить, чтобы сосланные социал-демократы не занимались

политикой, и наоборот, семейную жизнь и отвлекающие от политики семейные радости велено поощрять.

Звенят колокольцы по дороге в село Ермаковское. Трясутся на ухабах двуколки и ходки на тонких колесах. Спешат гости.

В то время когда у Лепешинских готовились к встрече гостей, Ваневы тоже были заняты хлопотами. Вернее, была занята Доминика Васильевна. Вместе с хозяйкой они перетаскивали кровать из маленькой комнатухи, называемой кабинетом Ванеева, в большую. Поставили поближе к окну, застелили все чистым, и Доминика Васильевна уложила мужа на свежую постель, на высоко взбитые подушки и вытерла со лба у него обильно выступивший пот.

— Черт возьми, ослабел,— виновато улыбнулся Ванеев.

— Ничего, пустяки, милый.

Живя между отчаянием и надеждой, она научилась управлять собой, когда темнеет в глазах от тоскливых предчувствий.

— Серденько мое,— сказал Ванеев, с любовью глядя на ее потяжелевший стан в свободном платье-капоте.

— Хитрец, по-малороссийски заговорил, чтобы как-нибудь подольститься.

— Малороссияночка моя,— медленно выговорил он, закрывая глаза.

Он слег дней десять назад. Все шло ничего — после разных болезней, не отпускавших от самой тюрьмы, здесь, в Ермаковском, куда недавно их перевели наконец из студеного, с колючими ветрами Енисейска, он немного поправился, ожил, как вдруг ни с того ни с сего хлынула горлом кровь. Доминика испугалась, закричала:

— Спасите! Спасите!

Он тоже испугался. Побежали за доктором. Участковый доктор Семен Михеевич Арканов, человек сердечный и расположенный к ссыльным, немедля пришел. Велел достать из погреба льду. Давал глотать маленькими дольками. Что-то еще делал, чтобы остановить кровотечение. От по-

тери крови Ванеев обессилел, не мог поднять руки. Жизнь уходит, почувствовал он.

— Умираю?

— Еще чего! Больно торопитесь. У внуков на свадьбе отпляшете, тогда и помирайте с богом.

Доктор Арканов был флегматичен и неуязвимо спокоен. Его спокойствие ободряюще действовало. «Не умру,— поверил Ванеев.— Не умру. Справлюсь. Встану».

Он лежал на чистой постели, на высоких подушках, ощущая свою легкость, почти невесомость. Представлялось детство в Нижнем на Волге. Закрыв глаза, и тотчас началось, понесло, и он поплыл в лодке по реке. Лодка резала носом воду, у бортов шумело, волны мерно откатывались к берегу, набегали на песок. Он плыл под высоким ярко-зеленым откосом. Долго-долго. Без конца, без конца...

...Детство. Уездное училище в Нижнем Новгороде, еще в мальчишках работа писцом, книги, друзья, закадычный товарищ Миша Сильвин, споры, дискуссии, снова книги, Карл Маркс. Началась новая жизнь.

По-настоящему она началась в Петербурге, со встречи с Ульяновым. Ульянов его поразил. Всего на два года старше, он был зрелым, когда все они еще оставались юношами. Он ясно знал путь и цель борьбы, что революция неизбежна, что рабочий класс победит. После встречи с Ульяновым Ванеев стал марксистом и революционером не в мечтах, а на деле. Работы по горло! «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Пропаганда марксизма в рабочих кружках, листовки, стачки. Рабочий класс Петербурга был захвачен борьбой. Они жили с сердцами, полными практических забот и огня. Жили прекрасно и трудно.

— ...Толь!

Лодка, в которой он плыл, задела днищем за песчаную отмель, в борт толкнулась вода, лодка стала...

Он открыл глаза. Доминика склонилась над ним, спасительница его Ника, черноглазая малороссиянка его, с охапкой диких причудливых и пестрых цветов.

— Толь, это тебе. Они приехали. Собрали тебе по дороге букетище. Привет друзей и дар тайги. Получай!

Она поставила букетище в кринку с водой. Провела платком по его лбу.

— Тебе лучше, ты меньше потеешь,— сказала она, торопливо пряча влажный платок.

— Все приехали? — спросил Ванеев.

— Все. Завтра соберемся у нас.

— Завтра, у нас?

Он приподнялся на локте. Его глаза почти василькового цвета блестели сухим жарким блеском. Доминика пугалась этого блеска.

— Толь, тебе нужно лежать.

— Ты сказала сама, что мне лучше, я чувствую прилив сил и такой подъем жизни, все во мне всколыхнулось, все жаждет действия, ум мой просит и молит работы, я живу, Ника, я весь нетерпение, я мечтаю, чтобы в этом деле, таком важном, была моя часть и помощь.

Он закашлялся и упал на подушки. Она в ужасе следила, как содрогается его грудь, клокочет в груди. Что делать? Вдруг опять хлынет кровь? Спаси, спаси, боже! Кто-нибудь, прибегите! Товарищи, где вы?

Она опустилась на колени и с болью глядела на него минуту, пять минут, вечность, не зная, чем помочь. Наконец он утих. Обошлось. От напряженного кашля на щеках у него выступили два резких алых пятна. Она встала с колен, осторожно приподняла его голову, на подушке остался мокрый след, она перевернула подушку на другую сторону.

— Отдохни, Толь, мой любимый, родной, единственный!

— Говори.

— ...мой любимый, единственный...

Она вышла на цыпочках, считая, что он уснул. Ванеев с задумчивой улыбкой слушал ее уже умолкнувший, а для него все звучащий голос. Бывает так: в ушах звучит и звучит, не умолкает неслышная другим музыка. Ванеев

повернул голову и стал глядеть в окно. Хочется, чтобы под окном качала ветвями береза с шумными листьями. Чтобы шелестели листья.

Во всем селе Ермаковском ни березы, ни яблони. Ни даже маленького садочка возле чьей-то избы нет в угрюмом подтаежном селе Ермаковском.

Запрокинув голову, Ванеев следил за движением облаков. Они спешили, толпились, еще летние, белые, с яркими краями. «Тучки небесные, вечные странники...» Мы с тобой странники, Ника.

Он вспомнил, как увидел ее впервые...

— На свидание. К невесте! — под звон ключей раздалось возле камеры.

Он знал, оставшиеся на воле товарищи непременно позаботятся о «невесте», чтобы было кому навестить и принести передачу. Пока оставались на воле сестры Невзоровы, землячки из Нижнего. Значит, они и подыскали в «невесты» кого-нибудь из подружек-курсисток. Для какой-то незнакомой девушки это будет важным партийным поручением. И все. После тюрьмы и повидаться, может, не придется с «невестой». И все же, когда его позвали, он заволновался, пригладил волосы, нервно одернул тужурку, заспешил и, пока шел гулким коридором, придумывал первые умные фразы и забыл все в комнате для свиданий, увидев ее.

При его появлении она поднялась со скамьи, довольно высокая, статная, черноглазая, с полным, девически милым лицом. С одного взгляда он почувствовал симпатию и влечение к ней. Она поднялась и... смешалась. На табурете сидел жандарм. Он привык быть свидетелем свиданий, но для них оно было первым, жандарм им ужасно мешал!

Она колебалась всего секунду. Легко подошла.

— Милый! Я так скучаю о тебе! — поцеловала в губы.

Он не помнил, что ей отвечал. Как они сели рядом на

скамью. Как он держал ее руку и глядел на ее лицо, стараясь отгадать, кто она, какая она.

«В ней есть энергия, и задушевность, и детская наивность, и сила, и мягкость, она чудесна, мне ее послала судьба...» Так он думал, оставшись один, опять запертый в камере, восстанавливая слово за словом все их свидание. Их удивительную, долгую и мгновенную встречу. Они успели узнать кое-что друг о друге.

— Я ждал тебя, очень ждал! — сказал Ванеев.

Она ответила:

— Теперь я буду приходить к тебе всегда.

— Как я мог так долго жить без тебя?

— Ты не будешь больше без меня. Я буду приходить.

— Ох! Какая это радость!

Она нахмурилась, что-то соображая, и, просяив через мгновение, сказала:

— Меня не сразу к тебе пустили. А сегодня слышу: Доминика Васильевна Труховская, на свидание!

«Ага. Доминика Труховская, — понял Ванеев. — Необычное имя, как мне нравится ее имя! Умница, как она сообразила, как мне сказать, чтобы не догадался жандарм, что мы никогда не виделись. Доминика. Никогда не встречал женщин с таким именем».

— Я люблю, когда ты зовешь меня Никой, — сказала она.

«Ах, вот что, я зову тебя Никой. Моя Ника. Моя милая Ника. Моя невеста Ника».

— А мне нравится называть тебя Толем.

Никто не называл его так. Она придумала называть его Толем. Изобретательница Ника!

Он мерил шагами камеру. Из угла в угол. От двери к окну. Взад и вперед. «У меня есть Ника. У меня есть Ника».

С этого дня его тюремная жизнь изменилась. Его жизнь наполнилась ожиданиями. Он ждал понедельника. В понедельник разрешалось свидание продолжительностью в тридцать минут. Полчаса. Знаете ли вы, что такое полчаса?

Неделя одиночества, и полчаса, всего полчаса! Так мало, так много! Один миг и — почти бесконечность.

Он ждал четверга. В четверг они виделись через решетку.

— Вчера у нас на Бестужевских была интересная лекция! — кричала она через решетку, всеми пальцами вцепившись в нее.

«Ты курсистка, ты учишься на Бестужевских курсах, умница моя! — Он тряс головой, показывая, что понял. — Все понял, говори дальше».

— Землячки твои шлют привет! — кричала она.

«Так и есть, она их подруга. Моя Ника — подруга моих землячек Невзоровых. Хочется смеяться, шутить, хочется расцеловать кого-нибудь, больше всего тебя, Ника!»

В понедельник и в четверг, как ни коротки встречи, они ухитрялись поговорить о друзьях и товарищах, о воле, о книгах. Они спешили. Скорее, скорее, больше, больше сказать!

— Всю неделю читал Бальзака. Запоем, Ника! Какой своеобразный, поэтический художник! Какие разноречивые отклики будит в душе.

— Да, да! Я тоже восхищаюсь Бальзаком. Меня восхищают его сильные типы.

— Ты сама сильная! — кричал через решетку Ванеев.

Она умолкла. Замкнулась. И даже ему показалось, ушла со свидания чуточку раньше.

Чем ближе к окончанию его тюремного срока, тем сдержаннее становилась она. Замкнутой, суше. Но ведь он уже знает, Ника дала ему знать, что она революционерка, распространяет листовки, связана с рабочими, дружит с Невзоровыми и Крупской, она член «Союза борьбы», она близка им всем по духу, по делу, по целям, его Ника, почему она умолкает, уходит куда-то, оставляет его? Почему?

Внезапно он догадался. «Ты дурачина, Ванеев. Неужели тебе не понятно? Ты мальчишка, ты никогда не любил, ты не знаешь женщин. Ты не разглядел, что она была лас-

кова по долгу. Она равнодушна к тебе, она выполняла партийный долг и теперь, когда твое тюремное заключение кончается, спокойно, с чистой совестью уйдет от тебя. Может быть, там, на воле, у нее есть действительный жених и ей уже тягостно встречаться с тобой. А ты вообразил! Нет у нее к тебе чувства, она не любит тебя».

Ванеев бегал по камере или, сжав виски кулаками, сидел за откидным железным столом, переживая муки разочарования и ревности к кому-то неизвестному, отнимавшему у него Нику.

Новая беда. Ее арестовали. Он был еще в заключении. В эти несколько месяцев, когда они были в разлуке, когда никто не приходил крикнуть через решетку: «Толь! Здравствуй, Толь!», он понял, как она ему нужна, как воздух, как небо.

— Скажи мне всю правду, одну правду,— просил он, когда они снова увиделись перед его ссылкой в Сибирь.

— Я скажу тебе правду, Толь! Ты хороший. Может быть, самый лучший. Я не знаю человека лучше тебя! Но мы из разных миров. Я скрывала от тебя, что я из чуждого класса. Разве ты можешь назвать женой девушку из такого чуждого, непонятного тебе мира, темного и алчного! Мой отец торговец. Он хочет наживать. Нажива — смысл его жизни. Он ненавидит все, во что веришь ты. Ты всегда будешь помнить это. Это всегда будет как бездонный ров между нами. Но там мое детство, мать, я оттуда... Разве можем мы быть вместе, Толь? Нет.

Она ушла.

Ванеев всю ночь писал ей письмо. Рассудительно, трезво, стараясь ее убедить.

«Голубчик мой. Неужели ты думаешь, что сословные предрассудки могут изменить мое отношение к тебе? Ты не могла бороться со своим социальным происхождением. Разве мы отвечаем за него? Я заклеил бы печатью презрения всякого, кто увидел бы в твоём прошлом что-то позорящее тебя. Пройденная тобой школа еще более возвышает тебя в моих глазах. Она ручается мне, что я найду в тебе

лучшего товарища в той беспощадной борьбе, которой я посвятил свою жизнь. Если ты нашла в себе достаточно энергии, чтобы разбить семейные цепи, гнет которых тяготел на тебе с детства, то борьба с рабством общественным не может уже утратить тебя. А это единственное требование, какое я ставлю подруге моей жизни...»

Прошло три года. Она подруга его жизни, жена. Скоро станет матерью. Ванеев вспоминает ту ночь, когда он писал ей и каждая буква в его письме звала и молила ее и он не знал, что она ответит.

...Багряный шар солнца за окном, пересеченный, как стрелой, дымчатым облаком, коснулся горизонта и стал медленно уходить за черту. Последнее время на Ванеева вечерами необъяснимо налетала тоска. Он беспокоился приподнялся на локте. Где Ника? Он не любил вечерами оставаться один. Что-то душное наваливалось на него, что-то грозило, подкрадывалось. В окно уже глядели сумерки... Он хотел крикнуть Нику, но в дверь постучали.

Быстрой, знакомой с Петербурга походкой вошел Владимир Ильич. Внезапно ослабев, Ванеев опустился на подушку. Пока Владимир Ильич шел к нему от порога с выражением встревоженной доброты на лице, Ванеев глядел на него без улыбки, с почти суровой серьезностью.

— Здравствуй, дорогой, дорогой Анатолий! — сказал Владимир Ильич, обеими руками беря его руку и крепко держа.

— Я знал, что ты приедешь, — ответил Ванеев. — Знаю, вы из-за меня сюда приехали все в даль, в Ермаковское.

Надежда Константиновна и Зинаида Павловна Невзорова рано собрались на другое утро к Ванеевым. Доминику они знали еще в те времена, когда все были членами петербургского «Союза борьбы» и учительницами в вечер-

них рабочих школах. Три подруги. У каждой своя и общая у всех трех судьба. Они сами избрали ее. Избрали дорогу, которая привела их в ссылку, в Сибирь, и сулила впереди еще ссылки, тюрьмы, лишения, эмиграцию, жизнь вдали от родины, труд. О, как много нужно труда, чтобы подготовить для родины революцию! Они участвовали в труде для революции. Каждая в меру таланта и сил, молодые, привлекательные женщины, собравшиеся в то августовское утро у Доминики Ванеевой...

Вскоре присоединились две Ольги. Досталось двум Ольгам в эти дни с устройством обедов и ночлегов для гостей! Похозяйничали, можно сказать, до упаду, а теперь, сняв фартуки, выкинули из головы бытовые и домашние мысли. Хотя разговоры пока велись на обыкновенные темы, настроение у всех, чувствовалось, особенное.

Надежда Константиновна в окружении подруг, не радуясь встрече, все чаще поглядывала в сторону Владимира Ильича. Он один стоял у окна, с ушедшим в себя, таким знакомым, чуть прищуренным взглядом. Собирается с мыслями.

«Хороший у нас народец, Володя, понятливый», — подумала Надежда Константиновна.

И он думал об этом. Хороший, верный революционным задачам «народец»! С какой охотой все съехались, только он дал знак, в село Ермаковское! Раз требует дело — они здесь и сейчас вместе решат окончательно, как им отвечать на кусковское кредо. Отвечать ли?

Он любил товарищей глубокой и сильной любовью. Глеб Кржижановский у постели Ванеева рассказывает что-то. Ванеев беззвучно хохочет. Печально живет последнее время наш милый Ванеев, пусть забудет о своей беде, посмеется. Глеб кого хочешь развеселит. Что всего более дорого в Глебе? Талант — вот что в нем особо красиво и дорого! Талантлив! В работе, в шутках, в жизни, в дружбе — во всем. Когда мы победим, революции необходимы будут таланты. Нельзя представить, чтобы революцию делали ограниченные, унылые люди...

Оскар Энгберг. Свой, шушенский. Э! Мы принарядились ради сегодняшнего случая, Оскар Александрович. Мы праздничны, выбриты, как всегда ровенький у нас левый пробор, аккуратные усики и как мы строго настроены в ожидании обсуждения кредо! Мы неразговорчивы, но твердо знаем, на чьей стороне. Не на стороне кредо.

Вон товарищ Оскара Николай Николаевич Панин, рабочий с тонким лицом Гаршина, с гаршинской скорбинкой в глазах, выросший в наше время, с нашим движением. А уж кто безусловно рабочий нового типа — это Шаповалов! Владимир Ильич очень симпатизировал ему, особенно после того, как однажды попал к Шаповалову в гости. Одним прекрасным утром, получив разрешение волостного начальства, они с Надеждой Константиновной сели в двуколку и без долгих сборов покатали в село Тесинское проведать ссыльных товарищей, в первую очередь Ленгника, с которым у Владимира Ильича постоянно велись философские споры. Путь дальний, глухой, через тайгу, но Владимир Ильич, хотя и без опыта, смело правил конем — с дороги не сбились, приехали.

Навестили и петербургского слесаря Александра Сидоровича Шаповалова. Шаповалов был членом петербургского «Союза борьбы», но познакомились они только в ссылке и как обрадовались, увидя в скромной комнатке ссыльного рабочего заваленный книгами стол! Умник Шаповалов! Как читает Маркса. Конспекты, целая гора исписанных тетрадей. Да он весь «Капитал» проштудировал! И стихи. Лермонтов, Некрасов. Любит стихи! А это что? Немецкий словарь. Переводит с немецкого «Коммунистический Манифест», молодчина! Именно такие рабочие, образованные и думающие, как петербургский слесарь Александр Сидорович Шаповалов, нужны нашей партии. Как хорошо, что их все больше...

Владимир Ильич встретился взглядом с Надеждой Константиновной. Она улыбнулась ему глазами, — прочтала его мысли, вместе с ним порадовалась; счастье — понимать друг друга без слов!

С невольной гордостью он подумал, глядя на нее и ее подруг: «Наши жены. Хороши, умны, образованны. Любят искусство, музыку. Отказались от всего для революционного дела. Наши жены и товарищи. Наши декабристки».

Все эти мысли и благодарная любовь к товарищам нахлынули на него в те короткие минуты, когда он один стоял у окна.

— Товарищи, пора, откроем собрание,— сказал между тем Лепешинский.

Лепешинский — ермаковец, хозяин, ему и пристало объявлять начало собрания.

— Кто председатель? Ульянов. Голосуем. Единогласно. Владимир Ильич, займите председательское место.

Лепешинский и Сильвин заранее притащили стол, табуреты, скамьи. Расставили. Сели, чтобы не загораживать кровать Ванеева, чтобы он был прямо против председательского места.

Кредо уже читано и перечитано всеми. Поработала Надежда Константиновна: переписала по числу участников сбора. Все знали кредо. Всем ясно: кредо зовет рабочих прочь от марксизма, уводит рабочий класс от революционных битв и революционных задач. Кто-нибудь из семнадцати политических ссыльных, собравшихся в этот августовский день 1899 года в сибирском селе Ермаковском, соглашается с кредо? Никто. Что же нам обсуждать?

Обсуждение началось еще вчера у Лепешинских. Сегодня, чтобы участвовал наш Анатолий, перебрались к Ванееву. Что кредо — вздорная и злая ложь об европейском и русском рабочем движении, на этом сошлись все.

— Вздор с важничающими фразами! Жалкий набор бессодержательных слов! — говорил Владимир Ильич.

Но если это фразистое сочинение столичной дамы пустая мелочь и вздор, стоит ли внимание на него обращать? Кто-то злобствует. Назовем кого-то Кусковой плюс супруг ее и единомышленник, помещичий сын Сергей Прокопович, плюс два-три дворянских студентика — вот и все создатели



*Обсуждение началось еще вчера у Лепешинских.
Сегодня перебрались к Ваневу.*

кредо. Объявлять бой крошечной группке, которая не имеет и не будет иметь никакого влияния? Зачем?

Примерно такие мысли высказал Фридрих Вильгельмович Ленгник. Они спорили с Владимиром Ильичем о философии каждую встречу. Спорили в письмах. Из села Шушенского в село Тесинское и обратно слались почтой десятки мелко исписанных страниц, полных ума, доказательств, блеска и яда. Немало усилий потратил Владимир Ильич, чтобы обратить в истинную марксистскую веру сурового на вид человека с черной бородой, черными мрачными бровями, из-под которых внимательно взирали на мир угольной черноты глаза.

Владимир Ильич уважал ум, знания, честность Фридриха Ленгника и в спорах о философии неизменно припирал его к стенке. С Ленгником стоило спорить.

— Итак, объявлять ли бой?

Владимир Ильич ухватил пальцами проймы жилета, остро прищурил глаза. Резче прочертились морщинки к вискам.

Он никогда не говорил округло и размеренно.

— Стоит ли объявлять бой? Марксистское рабочее движение в самом начале. И уже народились противники в среде социал-демократов. В Германии опасный противник, критик марксизма Бернштейн, неоригинальный, трусливый. Опаснейший. Чем пошлее и трусливее проповедь, тем легче находит последователей. Проповедь Эдуарда Бернштейна — экономизм, как зараза, ползет по Европе. Проповедь его — оппортунизм, то есть, господа хозяева, давайте нам маленькие реформочки, мы сами удушим свою революцию. Вот что значит оппортунизм! Наша российская Кускова и иже с ней всего лишь позорные повторители экономизма и оппортунизма Бернштейна. Оппортунизм растет. Сбивает рабочих с пути. Вступать ли нам в борьбу? Непременно! При любых обстоятельствах. Если не хотим потерять революцию.

«Так, Володя!» — взглядом подбодрила Надежда Константиновна.

Она привыкла делить его планы, вникать во все его замыслы, и его сегодняшняя речь задолго до ермаковского сбора была ей известна, но все равно она волновалась, горячее чувство любви, благодарности и гордости поднималось в груди.

В ссылке Владимир Ильич стал ей еще ближе. Она узнала его простоту и сердечность. Никогда, никогда он не бывал сухим и равнодушным, никогда ни с кем не был небрежным. Всегда внимательный, добрый, заботливый. Яркий, неожиданный. Бесконечно интересно ей с ним!

Но всякий раз, когда видела и слышала его на революционной трибуне,— пусть эта трибуна дощатый стол в избе Ванеева,— его энергия, сила, предвидение, доводы, его воля и талант заражали, покоряли ее снова!

«Я счастлива, что всегда с тобой,— повторяла про себя Надежда Константиновна.— Счастлива, что у нас одна цель, одно дело, что моя помощь нужна тебе».

— Дайте мне слово,— попросил Ванеев, вытягивая руку, сам весь подаваясь вперед.

Доминика приподняла подушки, чтобы он лег повыше. Он полусидел, у него покраснелось лицо, он был молод и одухотворенно красив!

— Шесть лет назад мы, петербургские студенты, Глеб, Миша Сильвин, Зина Невзорова, ты, Старков,— все мы читали Карла Маркса, запершись для конспирации в собственных комнатах. Приехал Владимир Ульянов. Поставил задачу: не сидеть по комнатам запершись надо, а идти к рабочим, вооружить рабочий класс революционной наукой, марксизмом, и тогда разбудятся непобедимые силы. Что это? Предвидение? Да. Мы должны предвидеть. Кредо опасно. Кредо— первый шаг российского оппортунизма. Если не остановим, будет второй, третий, десятый. Надо остановить. Мы обязаны не дать оппортунистам расшатывать революционные силы! Надо суровее их осудить. Еще суровее...

— Я согласен,— коротко сказал Фридрих Ленгник.

— Кроме того, что важно,— обращаясь к Ванееву, а

говоря всем, снова заговорил Владимир Ильич,— важно заявить, что мы и наше направление, хоть нас и сослали в Сибирь, не умерли и не собираемся умирать, а, наоборот, собираемся жить и действовать...

Говорили Шаповалов, Кржижановский, Лепешинские, каждый хотел высказать свое слово согласия, и Владимир Ильич первым подписал протест против кредо.

Протест начинался так:

«Собрание социал-демократов одной местности (Россия) в числе семнадцати человек приняло единогласно следующую резолюцию и постановило опубликовать ее и передать на обсуждение всем товарищам».

Владимир Ильич подписался первым и, взяв лист и чернильницу, подошел к кровати Ванеева. Ванеев медленно, крупно вывел свою фамилию вслед за Ульяновым.

Когда «семнадцать социал-демократов одной местности» разъедутся по селам и займутся обычными своими делами, Владимир Ильич и Надежда Константиновна однажды вечером, тщательно занавесив окна шушенской комнаты, зажгут лампу с зеленым абажуром и химическим способом несколько раз переписуют протест социал-демократов. Запечатывают в письма. Сельский почтарь перешлет письма с очередной почтой в Туруханск, Вятку и другие места, где есть политические ссыльные, с которыми шушенцы держат связь. Так было решено и постановлено на сборе в селе Ермаковском. На одном из конвертов будет адрес: «Подольск, А. И. Ульяновой-Елизаровой». Обычное письмо с подробным описанием шушенского житья-бытья, с приветами, расспросами: «Как у вас? Здорова ли мама?»

Анна Ильинична прочитает письмо, знакомо подписанное «Надя», и по условным, известным только ей знакам поймет: надо здесь искать «химию». И тоже плотно занавесит окно и проявит «химию». Они сойдутся к вечернему чаю в столовой комнате — она, Митя, Маняша, Марк Тимофеевич, мама. У стены на длинных шнурах подвешена книжная полочка. На полочке книги Владимира Ильича «Экономические этюды» и «Развитие капитализма в Рос-

сии», изданные легально в типолитографии Лейферта. На черном пианино с барельефом Моцарта раскрыты ноты.

Анна Ильинична будет негромко читать: «Собрание социал-демократов одной местности...» Мать будет внимательно слушать, несгорбленная, сдержанная, и только сухонькие узкие руки, теребящие бахрому скатерти, может быть, выдадут ее беспокойство, которому нет конца. Когда Аня кончит читать, мать скажет:

— Как виден Володин стиль!..

Потом протест против кредо отправится среди других писем, посылок, бандеролей в почтовом вагоне за границу и будет издан на русском языке в заграничном издании, в сборнике Г. В. Плеханова. И вернется на родину. И переписанный или тайно отпечатанный на гектографе или в своем заграничном виде разоидется по всем городам, где только есть рабочие и марксистские группы. И рабочие социал-демократы, революционеры поймут: где-то есть центр нашей политической жизни, где-то ярко бьется политическая мысль, зреют революционные планы, поднимаются могучие силы. Где?

Разве мог кто подумать, что этот центр, эти зреющие силы и планы в далекой Сибири, в неведомом никому селе Шушенском?

15

— Оставь меня, пожалуйста, здесь, в этой комнате, — попросил Ванев жену. Он лежал у окна.

После вчерашнего возбуждения он был в страшном упадке сил. Он лежал, закрыв глаза, с бледным лицом, похожим на барельеф из мрамора, если бы не оживляла его улыбка, тихая и какая-то кроткая, от которой подрагивали веки. Доминике хотелось кричать от этой улыбки с закрытыми глазами, но она вспомнила его вчерашнее выступление, очень пришедшее на помощь Ульянову, и, кусая кромку платка, молчала.

«Не боюсь ничего. Никакие невзгоды не сломят. Только бы он жил».

Владимир Ильич так и застал ее на крыльце, с закушенным платком, с резкой складкой возле бровей. Он нарочно сильнее зашаркал ногами по тропке, чтобы вывести ее из задумчивости.

— Вы приводите к нам в дом надежду,— сказала Доминика Васильевна.

Владимир Ильич склонился и поцеловал ей руку. Он никогда никому не целовал руки, только матери.

Ванеев узнал Владимира Ильича по шагам, и, пока он брал табурет, усаживался возле кровати, Ванеев, как в прошлый раз, глядел на него пристальным и внимательным взглядом, но светлым и сияющим.

Легкий ветерок залетел в раскрытое окно. Белые облака плыли в небе. «Тучки небесные, вечные странники...» Дома, в Нижнем, так же плывут над Волгой облака. С высокого откоса видны заволжские луга с раскиданными по ним голубыми озерами. Голубая шестидесятиверстная даль... Голубые леса на горизонте. Неоглядная ширь, плавные линии, тихие, спокойные краски — стоишь очарованный, весь охваченный счастьем. Моя величавая Волга с заливыми лугами, мои деревеньки вдоль берегов, ласточкины гнезда по глинистым обрывам, несравненная родина, любовь моя!..

Ванеев нетерпеливо заговорил, словно боясь, что не успеет вылить все, что есть у него на душе, в чем-то бесконечно важном открыться, а нужно успеть, нельзя уносить с собой... Боже! Что ему лезет в голову, какой мрак туманит глаза. Не позволять себе! Не сметь! Он потому торопится, что Владимир Ильич сейчас уезжает, вон колокольчики слышны, а когда-то теперь случится увидеться, дело к осени, оттого он спешит...

— Мне кажется иногда, что я много-много прожил на свете. И в самом деле, двадцать семь лет — разве мало? Лермонтову и двадцати семи не было. А Чернышевский в эти годы уже создатель смелых исследований в критике. А Маркс! Уже философ, материалист, революционер, взрывающий старье в философии. А ты, Владимир, каким был

в двадцать семь лет! Нет, не останавливай меня, я и не сравниваю, я просто говорю, я, может, после-то и не признаюсь никогда, сколько ты значил для меня, потому что ведь это под настроение только бывает, когда признаешься...

У меня с детства были самые высокие мысли о дружбе. Мечтал! Ночами не мог спать до рассвета, до слез все представлял, какой у меня будет лучший друг и товарищи и как я жизнь за него отдам; я все жизнь отдавал... Ни с какими мечтами не сравнить, что я тогда в Петербурге встретил! Я обыкновенный человек, только твердый, я сам знаю, что я в убеждениях твердый. Но обыкновенный. А жизнь моя сложилась необыкновенно оттого именно, что я в Петербурге вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Вся жизнь моя из-за этого стала особенной.

Вот я думаю, когда нас давно не будет на свете, историки подивятся, как это стать могло, чтоб в огромной казенной столице — против Зимнего дворца Петропавловская крепость, вбок подале для политических Дом предварительного заключения, еще подале Шлиссельбургская крепость, — в этой столице, каменной, полной жандармских и гвардейских мундиров, такое большое и новое рабочее движение поднялось.

— А все оттого... вот ты говоришь, Анатолий... ведь это закон развития, ведь русский рабочий класс созрел...

— Удивятся историки, будут исследовать нашу петербургскую эпоху. За два с половиной года поднялось марксистское рабочее движение. Ужасно как хочется жить! Со вчерашнего дня волна жизни накатила на меня, подняла, понесла и понесет, не кинет на дно... Хочу громадного счастья, громадной работы!

— Будет громадная работа, будет громадное счастье! — заговорил Владимир Ильич тоже нетерпеливо, и тоже слова его вырывались из сердца. — Осталось нам ссылки пять с немногим месяцев. Виден конец. Надо дотянуть. Разумно и расчетливо дожить эти пять с немногим месяцев, чтобы

не прибавили срока, но прибавка не предвидится, кажется. А там... Милый Анатолий, надо тебе выздороветь, напрячь все усилия... Слушай, попробуй пить парное молоко. Как можно больше, от молока толстеют, тебе надо потолстеть, вернемся в Россию, там тебя прочно поднимут на ноги, и тогда... Анатолий, я откровенен. С тобой не надо держаться настороже, ты не болтун. Помню, мы были в Питере квалифицированными конспираторами, ты был Мининым, так вот, милый Минин, какая работа ждет нас, хочешь знать?

— Хочу.

— Партию объявили без нас. Мы были в тюрьмах и ссылках...

— Мы подготовили партию.

— Но мы были в тюрьмах и ссылках, когда в Минске был Первый съезд. Партия не успела встать на ноги, как ее стали губить, налетел ураган: аресты, аресты. С другой стороны разные немецкие бернштейны и русские кусковы. Что делать нам? Бороться за создание партии, истинно пролетарской. Вот что делать нам прежде всего. Мы объявили это вчера в нашем протесте. Анатолий, как нам дальше бороться?

— Ну, говори скорей!

— Как нам бороться? Я думаю целые дни напролет, думаю, думаю, обсуждаю со всех концов и сторон, и, Анатолий, я уверен: путь один. Единственный. Создать газету! Как только мы вернемся из ссылки, тотчас надо создавать газету. Нелегальную, конечно! Мы будем выпускать ее за границей. А здесь, в России, в каждом промышленном центре — в Орехове, Иванове, Ярославле, Баку, Киеве, Нижнем, не говоря уже о Питере и Москве, — у нас будут агенты по распространению нашей газеты, наши тайные корреспонденты, с которыми у нас будет неразрывная связь. Мы будем через нашу газету раскрывать рабочим все, что происходит в России, агитировать и звать всех рабочих, крестьян и передовую интеллигенцию к революционным боям. Мы создадим новую, революционную, пролетар-

скую, партию с помощью нашей газеты. Слушай, Анатолий... Многие, слишком многие погублены проклятым режимом. Декабристы, народовольцы, десятки тысяч лучших рабочих. И у нас были и будут жертвы, но мы победим...

С белых подушек на него глядело лицо. Прекрасное, с глазами василькового цвета, исполненными восторга и жизни. В душе Ванеева вновь толпились надежды. Снова этот человек, его удивительный товарищ, открывал ему путь. Дерзостно смелый, реальный и практический. «Мы еще в ссылке. Но мы уже знаем, что будет дальше. Газета. Партия. Революция. Новое общество. Мы будем строить наше новое общество добрым, благородным, разумным! Если оно не будет разумным и добрым, если подлость и чванство останутся в нем — кто виноват? Вы, будущие жители нового общества, знайте, мы хотим вам добра! Вы, кто будет жить в этом обществе, помните, помните, оно отвоено нашей работой и кровью. Будьте смелыми, будьте добрыми, люди, будущие жители социалистического общества!»

Так думал Ванеев, мечтатель! Теперь он не мог и не хотел быть просто учителем или просто литератором. Он мог быть революционером, революционером прежде всего!

— Необходимо подумать о том, какое название дать нашей газете, — сказал Владимир Ильич. — Важно, чтобы уже в названии заключалась идея. Знаешь, Анатолий, я так много думаю о нашей газете, так много и, чем ближе к концу ссылки, волнуюсь и нервничаю, надо взять себя в руки, ведь весь труд впереди. Я предлагаю назвать «Искра», как ты смотришь?

Он ближе придвинулся к Ванееву, острый огонек блеснул в его взгляде. Владимир Ильич давно обдумал это название. Хорошее название, емкое, с политическим и вместе прелестным поэтическим смыслом, Владимир Ильич был доволен.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...

— Мы с Надей поклонники Пушкина, — говорил Владимир Ильич. — Нет, не то слово. Трудно представить, как жить без Пушкина. Нельзя жить без Пушкина и Бетховена, хотя иногда приходится надевать на себя узду и отодвигать в сторону и Бетховена и Пушкина. Здесь, в Сибири, даже в нашем захолустном Шушенском, чувствуется дух декабристов.

Оковы тяжкие падут.
Темницы рухнут — и свобода...

Я с юности себе представлял: Чита, ураганные ветры, мороз, леденящий дыхание. Частоколы лагеря, декабристы в оковах. И ослепительное послание Пушкина. И ответ...

— И ответ! — перебивая, повторял, торопился Ванеев:

Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя...

— Итак, «Искра», Анатолий! Из искры возгорится пламя. Ну, мчись скорей, время! Но будем расчетливы и благоразумны, осторожно переживем оставшиеся месяцы, пять с немногим, лишь бы не вышло прибавки. Поправляйся, Анатолий, дорогой, умный друг! Не поддавайся болезни. Очень важно не поддаваться. У нас громадный труд впереди. У нас впереди наша «Искра» и партия. Партии нельзя без таких людей, как ты, Анатолий. Ты нужен партии и рабочему классу, милый друг Анатолий!

Он пожал ему руку. Поправил на нем одеяло. Отвел со лба у него тяжелую, влажную прядь.

...Опять поплыла лодка. Последнее время, едва он закрывал глаза, его качало и уносило в лодке вдоль крутого берега Волги. Суетливо снуют вокруг лодочки; медлительный, важный паром отчаливает от пристани, направляясь на ту сторону с десятком телег и стаей баб в разноцветных платках, приезжавших в город торговать лесной малиной и грибами; белый пароход фирмы «Кавказ и Меркурий»

идет снизу, бархатный звук гудка задумчиво виснет над Волгой. Покатится к берегу от парохода волна, и лодка ухнет, падая с гребня...

— Толь, родной мой!

Он открыл глаза. Ника.

— Тебе не плохо было, Толь, милый? Мне показалось... Какая я глупая, ты просто уснул.

— Я не спал. Они уехали? Важные дни были у меня! Я снова понял, Ника, я нужен, а это живительнее всяких лекарств. Вот увидишь, как скоро теперь пойдет у меня на поправку. Я хочу участвовать в наших планах. Скучно, противно жить, только заботясь о себе да о своем здоровье. Верно? Я весь захвачен...

— Давай я посижу с тобой, Толь. Я очень люблю тебя, Толь. Жить без тебя не могу.

Он улыбнулся и, вытянув руку, бережно притронулся к ее животу.

— Скоро наш малыш появится на свет. Нас будет трое. Что я хочу попросить тебя, Ника. Если родится мальчишка...

— Я уже сама давно решила. Если родится мальчик, у меня будет два Толя. Большой Толь и маленький. Так я буду вас звать.

— Хочется услышать его голосок.

— А если он будет орать по ночам?

— Пусть орет. К тому времени я поправлюсь, станем по очереди нести вахту. Ника, Владимир Ильич основательно зарядил меня жизнью! Я люблю, когда ясно и прямо знаешь, куда тебе идти и что делать. Возможно, наш маленький Толь будет жить при других обстоятельствах. Скорее бы он появился.

— Хочешь послушать? — спросила Доминика, беря его руку и положив себе на живот. — Слышишь, как тукает у него сердечко?

Ванеев не слышал, но морщил брови, с радостным видом напрягаясь и стараясь показать, что слышит, как оно тукает. И сразу устал.

— Посиди со мной, Ника. Я чуть отдохну.

Он лежал с открытыми глазами, чтобы не качало, не уносило.

— Слушай-ка, Ника, достань у меня под подушкой...

Она просунула под подушку руку, достала Чехова, сборник «Пьесы, СПб., 1897 г.», присланный недавно из Нижнего.

— Почитай мне то место, там отчеркнуто...

Она открыла заложенную страницу и стала читать:

— «Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут...»

— Ну, довольно. У тебя какой-то стиснутый голос, ты волнуешься, тебе скоро родить, тебе нельзя волноваться, голубка моя. Хочешь, пофантазируем? Я вижу не нынешнее село Ермаковское, где псы за заборами воют да кучи навоза гниют у дворов, веточки во всем селе не найдешь, иди за веткой в тайгу. Вижу другое село Ермаковское. Там большой яблоневый сад. Зацветет, будто на несколько верст разлилось белое море. Пчелиный хор гудит... А осенью выйдешь рано утром, сад весь обрызган росой, за ночь под яблонями нападали румяные яблоки...

Он закашлялся отрывистым кашлем. Темная струйка крови вытекла изо рта и окрасила белую рубашку. Тоска темно поглядела из глаз.

— Мой Толь, мой большой Толь! — лепетала Доминика, вытирая струйку крови у него возле рта. — Ты поправишься, все пройдет, ты поправишься, Толь, ты поправишься!

Она твердила, как заклинание: «Все пройдет, ты поправишься...» Вдруг черная молния ворвалась в раскрытое окно и стремительным зигзагом прочертила из угла в угол комнату. И исчезла.

Доминика вскрикнула и, упав лицом в ладони, зарыдала громко, навзрыд.

— Не пугайся, Ника, голубчик, это стриж залетел. Это, наверное, стриж.

Она не могла унять рыданий, вся тряслась, закрывшись ладонями. Он печально повторял, утешая ее:

— Ника, не плачь. Ника, не плачь.

16

Владимир Ильич стоял у конторки, заложив большие пальцы за проймы жилета, — сентябрь начинался холодом, ветрами. Саяны кутались тучами, обмелевшую за лето Шушу хмурила серая рябь, было зябко, и Владимир Ильич с утра утепился жилетом, намереваясь работать до обеда. Работа до крайности была важная: он обдумывал проект Программы Российской социал-демократической партии, делал наброски. Он был в том состоянии полнейшей сосредоточенности, полнейшего погружения в мысли, когда мог не заметить, если бы вдруг за окном разгремелась гроза.

Но присутствие Надежды Константиновны, которая писала тут же за столом, он все время чувствовал и был рад, что она здесь, в комнате, что милое ее лицо как-то особенно ясно сейчас и задумчиво. Надежда Константиновна писала брошюру о женщине-работнице. Материалы для этой брошюры она собирала еще в Питере, когда ходила по фабрикам, вела пропаганду среди рабочих. Особенно помнилась фабрика Торнтонна на том берегу Невы, за Невской заставой. Как тяжело, невыносимо тяжело было ткачихам на фабрике Торнтонна! Гасла молодость, сохло тело, увядала душа, кажется, еле теплилось само желание жить. Мучительно двенадцатичасовое стояние за станком, без отдыха, в душных, сырых помещениях. Болит от пыли грудь, глаза гноятся. Страшная жизнь! Женщины-работницы! Ничто вас не спасет, ничто, боритесь с проклятым самодержавным строем. Вступайте в борьбу!

Надежда Константиновна хотела написать об этом просто, понятно. Очень понятно, очень убедительно! Именно для работниц она писала свою брошюру. Она видела перед собой их истомленные лица и потухшие, без блеска глаза.

Страдала их болью. Ненавидела эксплуататоров-фабрикантов, о своей ненависти хотелось ей написать жгучими, разящими словами. Слова приходили не сразу. Она переписывала по многу раз каждую страницу, конец был не скор, но она всей душой отдавалась работе. Наверное, книжка ее будет полезна революционному делу, а только об этом она и мечтала. Еще ей было очень приятно, что Владимир Ильич одобрял ее замысел.

Так прошел час, другой в сосредоточенной тишине, только слышалось поскрипывание перьев.

Но вот в дверь негромко постучали. Надежда Константиновна кинула взгляд на Владимира Ильича. Углубленный в мысли, он не услышал стука. Она оставила рукопись и вышла.

— К Владимиру Ильичу за советом, — сказала Елизавета Васильевна.

Пошептались, как быть. Жалко отрывать Владимира Ильича от работы, а что делать? Старик больше тридцати верст прошагал осенней дорогой — не отсылать же обратно. Владимир Ильич не отказывал приходившим в любое время крестьянам. Старика впустили. Он вошел, держа завязанную в кумачовый платок кринку. Поискал икону в углу, не нашел и поспешным крестом закрестился на окно, за которым шатался от ветра осенний жиденький куст и виднелись Саяны, задернутые клубящимся занавесом туч.

— Садитесь, пожалуйста.

Старик пугливо моргнул и опустил сначала на пол у табурета кринку в кумачовой платке. Владимир Ильич стоял возле конторки, всунув пальцы за проймы жилета, и, слегка склонив голову набок, слушал рассказ старика. Он был еще не старик. Если присмотреться внимательнее, оказывалось, что его борода и остриженные скобкой волосы не седы, а выцвели от солнца, что морщины на лице не от лет, а, должно быть, от тяжелого труда и заботы. На нем была холщовая рубаха без пояса и стертый армяк. Его звали Сидором Марковичем.

— Продолжайте, Сидор Маркович,— подбодрил Владимир Ильич.

Сидор Маркович рассказывал долго, моргая и отводя в окно слезящийся взгляд.

— Лошадные мы, не скажу, что кругом бедняки, нынче молотьяба, баба моя с кобыленкой нашей на помочи у брательника, они нам, мы им,— в крестьянстве без помочи нельзя. А я пешочком собрался, мне нипочем, я и полста верст за день отмеряю в летний-то день. По осеннему времени с ночевкой надо рассчитывать, туда-сюда не обернешься до ночи, там, гляди, погода задует, с Саян неурочно понагонит метели, в нашей местности, случалось, под самым двором до смерти заблудятся, а мне семерых мал мала меньше сиротить неохота.

Он никак не мог подобраться к сути вопроса, все кружил около, но Владимир Ильич не торопя выслушал дело мужика. Дело было вот в чем. Старшую дочь Сидора Марковича, девицу Анфису, восемнадцати лет, отец с матерью отпустили в работницы к богатому мужику в их же деревне за двадцать целковых в год. Девка просватана, а приданое плохонькое, сряду захотелось справить кой-какую, сама отпросилась в работницы. Жених подходящий, хозяйство у будущего свекра не так чтобы слишком завидное, однако не бедствуя можно прожить, ежели в будние дни не сидеть на завалинке. Все вроде бы как по маслу шло для Анфисы, уже и свадьбу назначили в воскресенье после покрова дня сыграть, да вдруг неделю назад прибежала от хозяев Анфиска, как холст белая, без лица. Заперлись с матерью в чулане, ревут. Отец вокруг чулана и так и сяк ходит и постучит. Напрасно, однако...

Пастух стадо пригнал, тогда отперлись. Анфиска ужинать не садится, платок на брови спустила, темнее ночи. Захолонуло у отца сердце— беда! До беды не дошло, а рядышком было. Не стало Анфисе проходу от хозяйского парня. Подстерегает по темным углам, она и по-доброму и худым словом отказывается, нет на хозяйского сына управы, только что не насильничает, а грозит... Прибе-

жала девка спастись домой. Месяц оставался до срока, в покров день как раз сровнялся бы год, а она убежала, а они — уговор нарушила, не будем платить. Выходит, одиннадцать месяцев задаром работала девка?

— Да-а-а,— задумчиво сказал Владимир Ильич и медленно прошелся от конторки вдоль комнаты, мимо окна, где Надежда Константиновна прислонилась плечом к раме, слегка откинув голову, оттянутую тяжелой, великопленной косой.

— Что «да»-то? — испугался мужик. — Задаром, значит? На приданое девка старалась. Одного месяца не дотянула. А как и тянуть-то? Дотянешь, пожалуй. Жених-то узнает, он парень честный, они по любви сосватались, он ее дожидается, он, как узнает, изувечить от обиды может охальника, засудят его за увечье, навек себя с Анфиской несчастными сделает. Анфиске перед народом стыдно, и не виновата, а стыдно...

— Господи боже мой, да чего ж ей стыдиться?! — всплескивая руками, воскликнула Надежда Константиновна так горячо и отчаянно, что мужик с удивлением на нее обернулся, а Владимир Ильич перестал шагать. — Ей не стыдиться надо, она уважения заслуживает! Анфиса гордая, чистая девушка. И жених у нее благородный. Надо поддержать в них их чистоту и достоинство, ведь есть же правда на земле? Ты согласен, Володя, нельзя такой случай оставлять, такой возмутительный случай... Тут ее девичья честь, их молодое счастье, их человеческое право, — нельзя же бросить все на поругание и издевательство кулаку, нельзя, нельзя, нельзя! — повторяла она, крутя пуговку на рукаве. Оторвала и смешалась. Застенчивая в выражении чувств, она смутилась своего взрыва и сразу потеряла нить. — Володя, нельзя так оставить...

— Разумеется, нет.

Он подошел, притронулся к ее плечу, мгновение глядел на нее с выражением радостной и удивленной любви.

— Видать, вы люди-то ничего, промеж себя живете по-божески, — будто удивился мужик.

— А вот этого нельзя сказать, что по-божески,— круто повернувшись, с веселой искрой в глазах ответил Владимир Ильич.— Живем по-человечески. Итак...

Он шагнул к конторке, взял перо.

— Обратимся в суд?

Мужик ерзнул на табурете. На его задубелом от ветра лице появилось что-то тупо-испуганное.

— Не то,— сам себе ответил Владимир Ильич.— Обращаться в суд — значит, подвергать испытаниям стыдливость и самолюбие девушки. Почему ушла из батрачек до срока? Потянутся подлые сплетни. Нет, в суд не будем пока обращаться. Но кулаку судом пригрозим... Паша!

Она влетела в знакомую, но чаще всего для нее закрытую комнату, где до потолка поднималась полка с книгами, а передний угол занимала конторка, та конторка, за которой писались сочинения о революционной борьбе, письма, планы, заметки, статьи, протест против кредо, за которой обдумывалась Программа Российской социал-демократической партии.

— Вот что. Я буду диктовать, а ты пиши,— сказал Владимир Ильич.

Она села к столу, взяла ручку с пером и с великой охотой ждала.

— Итак, Сидор Маркович, мы обращаемся в волостное правление и требуем, чтобы хозяина заставили оплатить выполненную работу, требуем защиты прав, да, именно прав...

— Э! — перебил мужик и махнул рукой. «Зря я, видно, пришел, не найти мне для моей Анфиски помощи», — подумал мужик.— Э! — сказал он.— Разве они, в волостном правлении, станут из-за простой девки с богатым ввязаться?

И снова махнул рукой, вовсе пав духом.

— Станут,— невозмутимо возразил Владимир Ильич.— Как еще станут, когда мы судом пугнем. Мы найдем юридическое обоснование подать на них в суд, мы им заявим, что в случае... Но, скорее всего, они не решатся

доводить до суда. Итак, Паша, пиши. Отчего не я сам? Мой почерк им слишком известен. Заявление пишет отец, вернее, подписывает. Конечно, они догадаются, что кто-то, знающий законы, стоит за отцом. Так и нужно, пусть догадаются...

Владимир Ильич продиктовал первую фразу, заглянул Паше через плечо: круглые буквы старательно выстроились в ровную строчку.

— За чистописание ты, Паша, безусловно заслуживаешь пять, даже с плюсом...

Паша зарделась от радости.

А сторожившая, как всегда, у порога Женька подняла морду, наострила охотничьи уши и громко забарабанила об пол хвостом. Владимир Ильич распахнул дверь.

— Так и есть! Соседняя нам держава с дружественным визитом, а?

Леопольд перешагнул порог. Он был необычный, чем-то стесненный, не глядел прямо, прятал глаза.

— Здесь еще не прошло? — участливо усмехаясь, спросил Владимир Ильич, наставив палец прямо ему на сердце.

Леопольд вспыхнул. Он вспыхивал мгновенно, огненно, бурно. И мгновенно бледнел.

— Отец сказал про письмо. Если бы не вы...

— Милостивый государь, речь не о том.

— И о том... в первую очередь.

А о чем во вторую? Никто не знал, что на душе Леопольда. На душе у него лежала обида. Леопольда обидели. Кто? Владимир Ильич. В важный час, когда зывают друзей, Леопольда забыли. Кто? Владимир Ильич!

Когда все поехали в село Ермаковское, Проминский отец не поехал. Укутанный всеми заячьими шубками, нашитыми на зиму ребятишкам для дороги домой, отец трясся в ознобе, мать отпаивала его липовым чаем. Леопольд почти не уснул в эту ночь. Ворочался, надеялся, мучался. Вскочил до рассвета. Но его не позвали. Вдалеке он слышал бубенчики... Владимир Ильич мог бы ска-

зять: «Наш молодой товарищ Леопольд Проминский безусловно будущий член нашей партии. Залезай в телегу, Леопольд, едем в село Ермаковское».

Ведь Леопольд знал, зачем они туда едут: подписывать протест против кредо. И отец подписал. Владимир Ильич вернулся из села Ермаковского, принес отцу протест для подписи. Отец поставил подпись: Проминский... А Леопольда не позвали.

Никому Леопольд не сказал про обиду. Ходил уязвленный и скрытный, пряча глаза. А кажется, Владимир Ильич о чем-то догадывается.

— Ответа отцу еще нет? — спросил Владимир Ильич.

— Еще нет.

— Ну, садись, пиши. Вот что, Паша, голубчик, слишком девичий у тебя почерк для такой серьезной бумаги. Необходимо мужское перо.

Прошение получилось убедительное и ясно доказывало, что закон и правда на стороне убежавшей от насилия кулацкого сына Анфиски. Мужик вывел каракулями под прошением подпись, вспотел от пережитого, сложил вдвое бумагу, спрятал на дно шапки.

Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит.
Донос на гетмана-злодея
Царю Петру от Кочубея,—

прочитала Надежда Константиновна.

Мужик крякнул, поскреб затылок пятерней.

— Люди вы... будто и просты, а мудрены. А ничего не скажешь, душевные. Прими благодарность, хозяйюшка.

Он поднял с пола кринку, завязанную в кумачовый платок.

— Что вы? Что вы? Да как вы надумали?

— А што? Чай, не задаром хозяин твой над бумагой мозги шевелил. Задаром-то кто рази станет стараться?

Владимир Ильич выступил вперед.

— Кто вам бумагу писал, не говорите никому. От-

ветят отказом, приходите еще за советом. Надеюсь, отказа не будет. Кринку свою забирайте, нам не надо, спасибо, несите домой. С ночлегом устроились? Погода неважная, остерегитесь в дорогу пускаться. Завтра уж лучше с утра... До свидания. Желаю удачи.

— Счастья дочке! — вставила Надежда Константиновна.

Озадаченный мужик вышел в соседнюю комнату, неся в узелке кринку да крепко прижимая шапку с бумагой под мышкой. Снова задача. В соседней комнате он увидел у стола на деревянном диванчике пожилую женщину в белой кофточке. Дымя папиросой, женщина читала толстую книгу.

— И-их! Бабы-то рази курят? — не удержался мужик. Она подняла от книги насмешливый взгляд.

— А со своим уставом в чужой монастырь не суются.

— Понагляделся я у вас, наслушался, не разберешься никак.

И, поведя головой на дверь, откуда вышел, опасливым полупшепотом:

— Сын?

— Зять, — ответила Елизавета Васильевна.

— Строгонек зятек. Страху вам, чай, задает?

— Не без этого, когда заслужено. За дары, видно, досталось? — Она кивнула на кумачовый узелок у него в руке.

— Велики ли дары! Маслица коровьего накопили фунта, чай, с три, все и дары. Домой, говорит, относи. А зачем мне его домой относить, ежели оно для другой у нас надобности? Бумага писана? Писана. Должен я его отблагодарить? Мамаша, хоть ты прими, а?

— Не вводи в грех. Он как рассердится, из дому убегай. Я и сама рассердиться могу.

— Что ты скажешь, ни там, ни тут не подступишься! Чудные вы люди, дело-то сделано, вон оно, прошение-то, упрятано в шапке. После дела-то чего бы не принять благодарность-то, а?

— Не примем. И не кланяйся понапрасну. Не ровен час, зять услышит, будет нам с тобой.

— Ну, люди! Ну, спасибо вам, ну чудны, ну чудны! Спасибо. Прощайте покудова.

Надел шапку, приплюснул на затылке и ушел.

У Владимира Ильича все еще разговаривали. Надежда Константиновна стояла у стола. В окно дуло; обхватив себя за плечи, ежась от холода, она говорила:

— Гадкая история, гадкая, с этим кулацким сынком, кулацкой эксплуатацией! А девушка славная. И жених у нее непримиримый, прямой, и меня ужасно трогает его любовь и доверие. Так доверчивы только чистые люди, совсем чистые сердцем.

— Ты услышала больше, чем он рассказал,— заметил Владимир Ильич.

— Нет, Володя, он очень точно это представил, как парень бросится защищать ее честь. И ведь ему, этому парню, даже в мысль не войдет и подозрения не явится, что она в чем-то виновата, вот это и есть прямота, это и есть доверие, а без доверия и прямоты нет любви, нет дружбы.

Владимир Ильич улыбался какой-то особенной, ласкающей и доброй улыбкой. Наступила пауза. Леопольду представилось, все глядят на него. И ждут. А это он сам ждал от себя, хватит у него смелости или нет сказать прямо, что на душе.

— Владимир Ильич, я на вас обиделся,— сказал Леопольд.

И провалился сквозь землю. Зачем бухнул? Все-то он обижается, что ему делать с собой! Что теперь будет? Скажет Владимир Ильич: «Ну и ступай себе подбурпоздорову, если уж такой обидчивый. И дорогу к нам позабудь».

Но Владимир Ильич сказал совсем наоборот:

— Знаю, чем ты задет, Леопольд. Но ведь тогда у нас

было сугубо партийное собрание. Нельзя было тебя звать. Ты должен понять, а не обижаться. У тебя еще все впереди...

— Батюшки светы! А обед-то без пригляду варится! — вскрикнула Паша и кинулась в кухню. Как на пожар. Она на всякую работу кидалась, как на пожар. К колодцу бегом, к печке бегом.

— ...Ты напрасно обиделся, а что не затаил, открыто признался, это ты правильно сделал.

Услышав такие слова Владимира Ильича, Леопольд бормотнул что-то невнятное, вроде «я и сам так думаю», и скорее ушел вслед за Пашей, вернее, сбежал. Надо было ему побыть одному и во всем разобраться. Однако вместо того, чтобы побыть одному, он, проходя мимо печки, где Паша гремела ухватом, снова неожиданно для себя бухнул:

— Паша, выходи за дом к Шуше, буду ждать!

И выскочил на улицу, не опомнясь от того, что сказал. Не ожидал, что назначит свидание!

«Без прямоты и доверия нет любви, нет дружбы». Правда, правда! Как удивительно. А скоро совсем новое наступит для меня. Прощайте, Саяны! Вон вы какие ясные, чистые, ветром развеяло тучи, и вы стоите, облитые снегом и светом громады. А за громадами не конец земли, а воля. Владимир Ильич сказал: «У тебя еще все впереди». Поскорее наступай, мое «впереди»! Вот и осень. Земля твердая стучит под ногами. Трава увяла. Падают листья с деревьев, все голее в природе, холоднее. Только отава зелена, и все равно видно, что осень, и Шуша осенняя, торопится в Енисей, пока не замерзла, рябая от ветра, ветер гонит течение. Шуша, прощай.

Леопольда продувало насквозь, он поднял воротник и шагал по берегу. Вдруг она не придет? Сердце колотилось.

Он никогда не думал о Паше, как сегодня. Он думал сегодня о ней как-то особенно. «Паша, приходи, скорее приходи!»

Она прибежала, когда он совсем закоченел.

— Ну что? Для чего кликал? Секрет, что ли, какой? Да ты весь замороженный. Иззяб? Да ты весь дрожишь, ой, Леопольд!

Она быстро бросала вопросы, и сквозь оживание и свет, брызгавший из ее глаз, прорывалось беспокойство.

— Секрет, что ли, какой?

— Секрет.

Как холодно. Он дрожал от холода.

— Скоро всем станет известен наш секрет. Что мы в Польшу уедем. Татусь сначала скрывал, а теперь не скрывает. Через месяц у нас кончается ссылка. А денег на дорогу нет. Владимир Ильич составил для отца прошение, чтобы нам на дорогу дали денег; теперь недолго ждать, скоро будет ответ. Ты заметила, Владимир Ильич конспиративно об этом сказал, что речь не о том? А речь-то о том как раз, о прошении. Мы домой собираемся. Через месяц уедем в Польшу, домой.

Она молча слушала, оживание на ее лице угасало.

— Я во сне вижу Польшу каждую ночь. Поезд идет по Польше, и я вижу хуторочки, сады, старинные замки, рвы, деревни или маленькие города с черепичными крышами и костелы, высокие башни — это все Польша. Приезжаем в Лодзь. Там целый темный лес труб, целый лес! Красиво, что много труб тянется к небу и над ними лиловая туча, это дым от заводов, и вдруг вырвется красное пламя, и слышно, как стучат станки и... Паша...

Она, всхлипывая, вытирала кулаком щеки, пшеничная коса свесилась с плеча и качалась.

— Паша!

Он схватил ее руки и отвел. На него поглядело опечаленное личико с размазанными по щекам слезами.

— Паша... Татусь и matka тебя, как дочку, будут жалеть. Мы на завод с тобой в Лодзи поступим. Я тебя люблю.

Несколько секунд они стояли, пораженные тем, что он сказал.

— Люблю. Верно, люблю. Очень люблю. Всегда буду тебе доверять. Никому тебя обидеть не дам...

— А сам уезжаешь.

— Паша, ведь я там родился. Я поляк. А ты приедешь к нам в Польшу, к нам, навсегда. Мы работать пойдем. Будем рабочим классом. Революционерами будем.

— Как я своих-то оставляю? Мамку жалко.

— Мы позовем ее в гости к нам в Польшу. А Ульяновым все равно скоро ссылка кончается. Уедем отсюда, устроимся дома, напишем тебе. И вызовем тебя. У нас в Польше не такие крыши, как здесь, у нас черепичные крыши. Поглядишь, при дороге красные маки! А в Лодзи заводы, фабрики. И трубы, помню, как черный лес...

Она закрыла лицо концом платка, колеблясь и мучаясь. Странное видение манило ее: черные трубы, уходящие ввысь, лиловое небо, и толпа людей идет на грозное зарево, и Леопольд впереди толпы, с бледным лбом и пылающим взором, несет красное знамя. Такое видение представилось ей.

— Обещай, Паша.

Она не знала, что ответить. Грозное, странное, новое звало и страшило ее. Неужели Леопольд уедет из Шушенского? Как ей быть без него? Без их встреч, разговоров, его книг и рассказов о Польше? И Ульяновы уедут, ее дорогие хозяева! Нет! Лучше не думать об этом. Еще не скоро, долго еще. Лучше не думать. Не спрашивай меня, Леопольд! Что ты спрашиваешь? Иззяб, беги домой греться на печке, чудной Леопольд, зачем ты спрашиваешь?

Даже для Сибири осень рано наступила в этом году. Из Красноярска вышел вверх последний пароход. Опоздай Прошка немного, и тащиться бы ему в Енисейск или Туруханск или еще подальше на север, где уже сейчас с Ледовитого океана наползают снежные тучи, воя, несется

по тундрам пурга, ночные заморозки до дна вымораживают лужи на дорогах.

Прошке повезло — отбывать ссылку определили ему не в северных краях, на последний пароход кверху успел и в этот хмуренький холодный денек выезжал на подводе с возницей вдвоем из города Минусинска в назначенное ему место. Про село, куда его высылали, Прошка ничего не знал, кроме названия. А что в названии? Все незнакомо Прошке. Плоский одноэтажный город Минусинск с развороченной колесами грязью по колено на улицах и дорога, по которой они ехали, — все незнакомо. Дорога песчаная, сыпучая, и лошаденка, хоть и сытая, тужилась, мотая головой, и везла телегу упорным, нелегким шажком. Проехали сосновый бор, глухой, суровый, затихший, как перед бурей.

— Но, ты! — понукал возница лошаденку.

Лошаденка жила, мотая головой. Спуски да холмы. Широко видно вокруг. Пустынные степи. Черная тайга на горизонте. Ноет у Прошки душа. Чем дальше от дома, тем милее вспоминается прошлое. Дома-то у Прошки нет. Немного, наверное, найдется на свете таких одиноких сирот! Он молодой, будет у него когда-нибудь свое счастье, а сейчас всю дорогу Прошке вспоминается подольская встреча с Ульяновыми.

За долгое последнее время это была его самая сильная и светлая радость. Анна Ильинична его спасла. Что было бы с ним, если бы в тот вечер она не выбежала к калитке? От голода и неправды, которая на него навалилась, он стал ненавидеть весь мир. Оскаливался на людей, как волчонок.

Ульяновы его спасли. Накормили, одели, обули, уложили спать на своей подольской даче на чистой постели. Оттаяли теплом своим ему сердце. Замерзло у него сердце, а они отогрели.

Анна Ильинична поглядела на другое утро его документ с печатью и подписями департамента полиции, посоветовалась с родными. Родные решили:

— Тут у тебя написано число, когда надо под арест являться, а час не написан. Давай-ка отдохни у нас денек, еще насидишься в тюрьме.

Прошка прожил на подольской даче день. Могли на-ползти за ночь тучи, мог хлестать дождь, хлопать ставнями ветер... Не было туч. Не было дождя. Не было ничего, что хоть чуть омрачило бы Прошкин праздник. Было солнечное августовское небо. В саду сильно пахли разогретые солнцем флоксы, выся над клумбой сиреневые и розовые шапки. Слепили сверкающей синью быстрые извивы Пахры под крутыми берегами. Радостная малиновка свистела в кустах.

А в доме в маленьких комнатах с желтыми полами было черное пианино и книжные полки на длинных шнурах, тесно набитые книгами.

— Покопайся в книгах,— сказала Анна Ильинична, перехватив его жадный взгляд.— До обеда мы все заняты, а потом поговорим.

Она поднялась заниматься своими делами наверх. Матери не было видно. Все разъехались и разошлись на службу. Прошка один, неловкий от нетерпения, принялся вытаскивать с полки книги.

Вытащил Бальзака «Отец Горю». «...Пусть наша повесть и не драматична в настоящем смысле слова, но, может быть, кое-кто из читателей, закончив чтение, прольет над ней слезу...» Он проглотил несколько страниц. Отложил со вздохом. Запомнил. «Надо достать, прочитаю».

Вытащил Толстого. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских».

Вытащил Лермонтова.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя:
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса...

На него нахлынула прежняя страсть. Он завидовал этим книжным полочкам на длинных шнурах. Хватал книгу, пробежал страницу, перекидывался от начала к концу. Он забыл сесть и, не присаживаясь, простоял, не помня времени, у книжной полки. Счастливым день!

Послышались шаги. Вошла мать.

Необъяснимо Прошка чувствовал силу и властность в этой маленькой седой женщине. Они сели. Она заговорила без вступлений, неторопливо, негромко о том, что его жизнь началась испытанием, несправедливостью, но не надо все время думать об этом, не надо все время жалеть себя, жалость к себе расслабляет человека, а надо жить мужественно и надо ясно знать основную задачу своей жизни.

Она говорила спокойными словами, как о самых обыкновенных вещах, а Прошка в изумлении думал: «И она, значит, тоже... Но ведь она старая, она музыкантша! Но у нее был сын Александр. У нее сын Владимир Ильич. И Анна Ильинична. И Дмитрий Ильич... Вот какая она мать...»

У Прошки в ушах звучала вчерашняя музыка. Он не смел попросить мать сыграть еще. Черное пианино с барельефом Моцарта было закрыто. Но Прошке все время слышалась музыка, под которую он шел вчера от калитки с Анной Ильиничной через темный сад на свет лампы.

Счастливым день! Прошку любили. Заботились о нем. Давали советы, собирая в тюрьму и сибирскую ссылку.

А солнце двигалось к полудню. Постояло в зените, заливая зноем маленький садик подольской дачи, рисуя яркие квадраты на желтых полах, и стало клониться к западу. Счастливым день шел к концу.

На первое время Прошка вез с собой пять книг, подаренных Анной Ильиничной. На первое время, а там будет видно. Анна Ильинична говорила, прогуливаясь с ним по дорожке их подольского садика:

— Ты должен учиться. Смотри, чтоб из ссылки вер-

нуться образованным и культурным рабочим, смотри у меня.

Она составила ему программу, что читать. Велела выучить иностранный язык.

— Не сможешь? Новости! Все могут, а он нет. Приедешь на место, оглядишься, тогда напиши. Рассказать тебе, каких я знаю рабочих?

Она не называла фамилий, но ее знакомые рабочие много были повыше Прошки по культурному и политическому уровню.

— Не догнать мне их.

— Захочешь — догонишь.

Выползло из-за облака солнце, побежало лучом по полям. Что-то ровное, плоское, как огромное блюдо, блеснуло, засияло голубым и серебряным. Озеро. А вон деревня. Въехали в деревню. Остановились у трактира.

— Отдохнем, однако, часок.

Пока лошади задавали корму, Прошка пошел по деревне размять ноги. Большая деревня, сибирская, с крепкими избами, высокими заборами. «И меня в такую же завезут на три года. А если там ни школы, ни учителя, ни одного политического, ни единой книги?» Ему стало жутко. Пока сидел в Бутырской тюрьме, ожидая этапа, потом в Красноярской пересыльной тюрьме, Прошка узнал политических. С ними было ему интересно. Потом их разлучили. По неизвестным причинам разослали в разные села. Опять он один...

«Не хнычь. Не жалея себя. Нельзя жалеть себя. Жалей других».

Тянется дорога. Мотает головой лошаденка. Снова гора, да высокая, крутая. Прошка в жизни не видывал таких крутых гор!

— Что за гора?

— Думная.

— Отчего ее так назвали?

Возница промолчал, и они пешком пошли в гору, держась за края телеги. Осилили перевал — влезли на телегу, возница щелкнул кнутом.

— Задумаешься, как взбираться на нее, оттого и Думная. Но-о, ты!

После Думной горы вдалеке на горизонте поднялись слева могучие великаны хребты. Вот они, Саяны, в сверкающих ледовых шапках, с ползущими вниз по расселинам лиловыми и синими тенями и резкой белизною снегов. Вот она, Сибирь. Ее великанские горы, неприступная тайга, рыжие осенние степи. Узкая речонка течет в низких берегах. Вдруг... Что это? На развилке дорог верстовой столб. На столбе крупно намалевано черным:

«Село Шушенское, 12 верст».

У Прошки екнуло сердце. Куда им ехать? Мимо по тракту? Или проселочной дорогой на Шушенское? Он зажмурился, у него бухало в ушах и в груди, словно в колокол били.

— Но-о, сытая! — понукал возница.

«Сворачиваем, — почувствовал Прошка. Приоткрыл глаза. — Свернули. Едем в Шушенское».

За Прошкину жизнь случилось с ним два чуда. Первое то, что в Подольске нечаянно набрел на Ульяновых. Второе сейчас: в двенадцати верстах село Шушенское.

Анна Ильинична сказала: «Брат живет в Шушенском. Может, не так далеко тебя ушлют, может, удастся встретиться...»

— В Шушенское нам зачем? — стараясь не выдать душевный переполох, притворно безразличным голосом спросил Прошка возницу.

— Поздно из городу выбрались. Заночевать, однако, придется, — буркнул возница.

«Вот человек, молчун. Может, горе у него, оттого и молчун. Может, жена у него больная, оттого и буркает. Или сибиряки все такие? Природа у них суровая, и они суровые. Зато надеяться можно, не выдадут. На суровых

иной раз вернее надежда, а ласковый иной раз затем и ласков, что двух маток сосет...»

Прошка бросил наблюдать за окрестностями, глядел и не видел, голова его была занята мыслями о том, как бы перехитрить возницу и улизнуть к Владимиру Ильичу, когда они остановятся в Шушенском на ночевку. Может, возница не будет против. А если не пустит? «Не велю, и все». Имеет он право не велеть? Ничего Прошка не знал. Темный, политически необразованный Прошка. Немало перечитано книг, а ничего не смыслит Прошка в практических делах, хоть и рабочий класс, а не смыслит.

Жизнь научит, однако. На то и жизнь, чтоб учить.

— Тпррру! — остановил возница кобылу возле заезжего двора. Кобыла подобрала хвост, повесила морду.

Пока возница распрягал кобылу, предъявлял кому-то Прошкино проходное свидетельство, пока босая толсто-пятая баба в сборчатой юбке вздувала самовар в постоянной избе с широкими лавками и русской печью, живой от тараканов, Прошка томился, не зная, как подступить к молчуну вознице. А вышло все просто.

— Ступай, — по первому слову отпустил Прошку возница. Что не отпустить? Что ему опасаться? Отсюда не убежишь, из села Шушенского, в шестистах верстах от железной дороги, а тем более в осеннее время, когда туманами дымятся Саяны, неприступно гудит и воет тайга, рыщут волки по дорогам. Куда побежишь? Течет речка Шуша вдоль села Шушенского. Дальше Шуши Саяны. Дальше Саян край света. Не убежишь.

— Где тут ссыльный живет? — спросил Прошка на улице первого встречного.

— Какого тебе? У нас они не переводятся. Наша местность для них в самый раз.

— Ульянов Владимир Ильич.

— А-а.

Прошке показали тихий проулочек. В конце проулка, предчувствуя зиму, застывая, мелея, течет река Шуша. Над самой Шушей Прошка увидел дом. И заметил

крылечко с двумя деревянными столбами вроде колонн. И заметил во дворе беседку, увитую коричневой, уже зачахшей от осенних морозов листвой. Прошка не знал, что эту круглую беседку собственноручно сделал Владимир Ильич, но беседка ему понравилась. И даже чем-то смутно напомнила подольскую дачу. А навстречу ему шла девушка с коромыслом, чуть сгибаая плечи под полными ведрами. В одном сарафане, несмотря на холод, в полушалочке, круглощекая, синеглазая, крепенькая. Улыбка сбежала с лица Паши при первом вопросе:

— Здесь Владимир Ильич Ульянов живет?

Паша помнила... Жандармы тогда вломались среди ночи. На плечах у них были погоны, револьверы в черных кобурах у пояса. Паша перепугалась, когда без спросу, грохоча сапогами, полезли они в комнату Владимира Ильича. Женька вздыбила на загорбке шерсть и завывала. Елизавета Васильевна села на деревянный диванчик и, глядя на закрытую к Владимиру Ильичу дверь, молча курила одну за другой папиросы. У Паши стучали зубы: «дз-з-з-з».

— Не трясись,—сердито велела Елизавета Васильевна.

Они обе молчали, прислушивались. Там чем-то грохали, падали книги. Пепел рос горкой перед Елизаветой Васильевной.

— Пронеси, пронеси, господи!—шепотом молилась Паша, больно прижимая к груди кулаки.

Ничего крамольного не нашли тогда жандармы на книжной полке Владимира Ильича. Может, и не было крамольного. А может, и было. Надежда Константиновна сама прибрала после обыска бумаги и книги.

Прошка на жандарма не походил, но Паша все же сухо спросила:

— Зачем тебе Владимир Ильич?

Но она уже догадалась, что этот парень, худущий, с каким-то удивленным и вместе открытым лицом, пришел к ним без камня за пазухой. А во-вторых, она чув-

ствовала, этот парень глядит на нее восхищенно. Конечно, ей нравилось, когда ее красотой восхищались.

— Ну, чего тебе надо? Ты нездешний? — добрее спросила она.

— Ссылный.

— Ой!

Как вы, должно быть, заметили, Пашино «ой!», так часто срывавшееся с ее губ, могло выражать самые различные чувства: изумление, радость, участие, но только не холод. Прошка понял, что в этом доме его ждет доброта.

— Давай я ведро-то снесу. С полными встретил, к удаче.

— Располагай, что к удаче. А донесу сама. Мы привычны. Входи в дом, гостем будешь. Ссылный. А я думала, новый вестовой какой из волости. Как тебя звать?

— Прошка... Прохор,— поправился он. «Сейчас скажет: «Прошка, глазищи как плошки».

— Ой! У нас во всем Шушенском Прохора нет. Откуда ты такой заявился? Прошка. А подходит. Ты Прошка и есть. Как угадал поп имя для тебя припасти, подходящее уж больно.

— А тебя как зовут?

— Пашей зовут. Входи. А Владимира Ильича с Надеждой Константиновной нет. Рано утром уехали. Завтра, может, к вечеру будут.

И не сбылось чудо. А что будет завтра, увидим.

Женька вскочила от порога и, энергично виляя хвостом, твякнула, встречая Прошку добродушным лаем.

— Она у нас безошибочная, хорошего человека от худого зараз отличит,— сказала Паша.— Проходи к столу, садись, гость.

Сама опустила ведра на пол. В ведрах плавало сверху по круглой дощечке, вода не расплескивалась. У печки бушевал и плевался горячим паром самовар под трубой. Маленькое, до голубизны бледное существо складывало

на полу самодельные расписанные красками кубики. Серьезно, недетски поглядело на Прошку.

— Ты прошение пришел к нам писать?

— Нет, это Прошка, высланный к нам. А это Минька. Они латыши, отца к нам на поселение прислали, отец катанщик, а зовут не по-нашему — Кудум. Валенки катает. А пьет! Что заработает, то и пропьет. Владимир Ильич с Надеждой Константиновной Миньку жалеют. Минька, чай сейчас станем пить. Прошка, а ты еще и порядков наших не знаешь. Утром проверка, под вечер опять же проверка, удостовериться, на месте ли ты. А то унтера жандармского из города принесет с объездом, помней тогда надо. Если что есть неразрешенное, прячь.

— Кого ты там обучаешь?

Вошла женщина в белой кофточке, неся в руках шитье и книгу под мышкой, заложенную спичкой на странице, где, видно, читала. Пожилая женщина, гладенько причесанная, с широким белым лбом и смешливым взглядом.

— Откуда гость?

— Он, Елизавета Васильевна, высланный к нам.

— Шутишь! Докатилось начальство — ребятишек ссы-
лать принялось. Чем ты их напугал?

Она посмеивалась, но улыбка у нее была душевная и звала к откровенности. Но Прошке запомнилось: «Не жалей себя. Жалость к себе расслабляет». И он не стал рассказывать, как его предал и засадил в тюрьму почитатель Екатерины Дмитриевны Кусковой Петр Белогорский.

— Если я молодой, так наше главное в будущем, — бодро тряхнул Прошка вихрами.

— Когда так, будем пить чай.

Минька бросил складывать кубики и приковылял на кривых ножках к столу, вытянув тонкую шейку, высматривая, не поставлены ли в сахарнице конфетки.

— Будет тебе конфетка, голубенький, — сказала Елизавета Васильевна.

Прошке она показалась ничем не замечательной старой

женщиной в белой кофточке. Вот разве лишь любит читать! Это Прошка вмиг угадал. Хотя бы потому, как она вошла с книжкой и положила возле себя на столе. А сама принялась шить, пока Паша даст чай. Прошка не знал, как смело и гневно поручик Крупский воевал с бесчинством царских чиновников в Польше и всюду, где ему приходилось служить, и как жена говорила ему: «Что бы ни было, я с тобой».

Сейчас Прошке было не до того, не до Елизаветы Васильевны Крупской. О чем бы ни говорили, он видел Пашу, одну Пашу. Странное что-то творилось с ним! Он был счастлив и несчастлив. Он не загадывал и не думал о будущем. Думал о том, что скоро надо ему с ней расставаться. Грудь его теснило горе, оттого что так быстро и навсегда пролетел этот нечаянный вечер. Безрассудно влюбленный! С первой встречи влюбленный Прошка.

Тем не менее ум его деятельно и хитро работал, измышляя, как бы подольше побыть с Пашей.

— Я от вас до заезжего двора не заблужусь: на селе в первый-то раз?

— Вполне возможно, что и заблудишься,— согласилась Елизавета Васильевна.— Проводи его, Паша.

— И я,— пискнул Минька.

— Ты с бабушкой домовничать останешься, маленький. Сдается мне, хватит ему одной провожатой.

Умная-преумная, понятливая, насмешливая бабушка Елизавета Васильевна! Спасибо, Елизавета Васильевна!

Темные облака неслись в темном небе, неслись холодные звезды над селом Шушенским. Где-то в кулацких дворах, бряцая цепями, гавкали псы. Тускло светили керосиновые лампы в чьих-то оконцах, ветер гулял и шатался вдоль пустых улиц, и было бы жестоко, тоскливо, отчаянно, если бы в первый вечер своей сибирской ссылки, еще не доезжая до места, Прошка не встретил Пашу, синеглазую, с пшеничной косой! Он уже знал, что завтра увидит Владимира Ильича. Сейчас он видел и слышал только Пашу. Одну Пашу.

— Ты не отчаивайся,— говорила она.— Ты духом не падай. Наш народ к ссыльным привычный. У нас зря не обидят. Если ты правильный человек, у нас не обидят. Наш народ такой, он правду за сто верст услышит. Вон Владимир Ильич, знаешь, о нем какой слух по всей Сибири идет? Хороший, однако, говорят, человек. Справедливый. Вот что о нем говорят. Прощка, а что, рано ли поздно скинут царя-то?

Она ставила его в тупик. Он хотел ей сказать, что жить не может без нее. Сегодня утром еще мог. А теперь нет, не может. Прощка решил, что будет приходить к ней из своего села.

— Даль-то! — с недоверием покачала она головой.— Тайга-то!

— Что же тайга! Нипочем мне тайга.

— Ой, не хвались. Как заметет, как завоет, как загудит! А ты, однако, Сибири не бойся. У нас народ неплохой...

Она быстро довела его до заезжего двора, слишком быстро.

Горе сжимало Прошкину грудь. Зачем он ее встретил, если сейчас же расставаться? Зачем?

— Погоди здесь меня, Паша!

Он вбежал в избу. В избе, должно быть дожидаясь его, слабо горела пятилинейная лампа с подвернутым фитилем. Он вошел в сонное царство—изо всех углов, с полатей, с печки и лавок доносились храп и сопенье. Душно. Хоть рукой раздвигай спертый воздух. Прощка вытянул из-под лавки свой деревянный сундучок, отпер ключом, повешенным на шее вместо крестика на бечевке. На дне сундука, под рубахами и книгами и прочим Прошкиным небогатым имуществом, лежали мамины варежки из овечьего пуха, серенькие, с белыми звездочками, белой оборочкой, вывязанной будто кружево. Прошкина мать была кружевницей, искусницей.

Вынес варежки Паше.

— Вот материно наследство, отец на прощание дал

перед ссылкой. Возьми, прошу тебя! Носи. Вспоминай, что живет в селе Ермаковском сосланный Прошка.

— Не надо мне. За кого ты меня принимаешь? Чтоб я от парня чужого взяла? Да ни за что!

— Какой я тебе чужой парень? Я политический ссыльный. Меня за тысячи верст пригнали сюда. Паша, возьми.— Он сунул варежки ей в карман, схватил за руку, притянул и—она не успела опомниться—чмокнул неловко в щеку, близко к виску:—Ты... моя... первая.

Шествие медленно двигалось. Небольшая группа людей, одетых в темное, склонив головы, провожала гроб, плавно плывущий впереди, казалось, по воздуху, ибо Прошка не видел тех, кто его нес. Прошка издалека следил за шествием, оно проследовало широкой улицей и повернуло за село в направлении кладбища. Прошка торопился догнать их, но бегом бежать стеснялся. За гробом разве бегут? У всех ворот вдоль улицы стояли мужчины и женщины. Пока гроб не скрылся из виду, молча, строго стояли. И после не расходились.

Вчера Прошке сказали, что Владимир Ильич и Надежда Константиновна уехали сюда, в Ермаковское, но не сказали зачем. Елизавета Васильевна и Паша не сказали о похоронах. Не хотели омрачать ему настроение. Прекрасный был вечер вчера! С Елизаветой Васильевной они вспоминали Петербург, стараясь затмить друг друга знанием разных памятных мест. Елизавета Васильевна затмила Прошку, поскольку в Питере она в детстве жила и училась и после с Надеждой Константиновной они жили на Старо-Невском проспекте. Лишь под самый конец Прошка свое наверстал, посрамив Елизавету Васильевну типолитографией Лейферта. Елизавета Васильевна не представляла, какая такая типолитография Лейферта на Большой Морской улице, они с Пашей рты раскрыли, узнав, что он таскал листы «Развития капитализма...»

на проверку Анне Ильиничне. Вон кто, оказывается, таскал листы, Прошка. А еще... Теперь не говорите ему, что не бывает любви с первого взгляда. Он стал другим человеком: что-то ликует внутри у него.

Первая любовь! Бескорыстная, застенчивая, великодушная, щедрая, единственная первая любовь, счастлив, кто испытал тебя, даже неразделенную.

Прошка догонял похороны, а из головы его не шла Паша, вся чистенькая, как белый грибок. Изумленное Пашино «ой!» не выходило из его головы. Что делать! Он не знал, кого хоронят. Не мог он плакать об умершем человеке, которого не знал живым. Он торопился увидеть Владимира Ильича. И Надежду Константиновну. Ее мать, разговорчивая и приветливая и в то же время насмешница Елизавета Васильевна, осталась в Прошкиной памяти...

Он пришел на кладбище за селом. Невдалеке начиналась тайга. Тайга не шумела. Было тихое небо над кладбищем, затянутое тучами. Все голо и пусто. Листья с кустов сорваны осенью. Деревянные кресты стояли над печальными холмиками.

Гроб водрузили на какое-то возвышение. Прошке видно было в гробу тонкое лицо с каштановой бородкой, спокойное и нездешнее, увенчанное ржавыми дубовыми листьями. Молодая женщина в черном платке не плача стояла у изголовья гроба.

Кто-то говорил речь. «Прощай, Анатолий!..»

Вдруг тоска нахлынула на Прошку. Вдруг это кладбище, эта голая осень, низкое небо, темная тайга, смутно видимые сквозь тучу и мглу очертания Саян и разбитая, неутешная женщина над гробом, в черном платке — все подняло в Прошке тоску. Что жизнь? Зачем? Для чего она, все равно конец один...

К гробу подошел человек. Прошка узнал его. На подольской даче он видел его фотографии.

— Мы хороним товарища и друга, погубленного царским правительством, — начал Владимир Ильич.

Едва он стал говорить, Прошка понял, что хотя Владимир Ильич в точности такой, как на фотографии, а между тем и совсем не такой: не очень высок, будто обыкновенен совсем, так почему же нельзя взгляда от него оторвать, от его живого, чуть скуластого, непрерывно изменчивого, полного чувств и душевных движений лица? Видно, ничего не было в нем вполонину. Любил так любил. Горевал так горько. Все чувства его были сильны. Он горевал о Ванееве, говорил спасибо Ванееву.

— Спасибо тебе, Ванеев, за твою прямую и честную жизнь. Ты всю ее отдал делу рабочего класса! Спасибо тебе, мы гордимся тобой. У тебя не было других задач, кроме борьбы за дело рабочего класса! Анатолий! Милый товарищ... Верный товарищ...

Владимир Ильич на мгновение умолк. Взялся за горло, и брови его, летящие от переносья к вискам, скорбно сдвинулись.

Медленно, словно в раздумье, полетели редкие сухие снежинки. Кружились, падали на открытый лоб Ванеева и не таяли. Женщина в черном ухватилась за гроб и ненасытно глядела на восковое лицо, которое еще недавно жило, страдало, любило, а теперь было мертво и чуждо всему.

— Тебя нет больше с нами, наш верный товарищ Ванеев,— тихо и медленно снова заговорил Владимир Ильич.— Как ты хотел и мечтал продолжать с нами наше общее дело! Помню, недавно... Клянемся над твоим безвременным гробом, наш друг, клянемся! Нас не испугают ни тюрьмы, ни смерти. Нас мало, но будет все больше. Наши ряды сплочены. Мы тверды. Друг Анатолий, ты был среди первых борцов. Вечная память тебе, наш дорогой Анатолий Ванеев.

Женщина в черном платке провела ладонью по лицу Анатолия, сметая снежинки. Чирикали пестрые синицы в кустах. Поспешно, резко застучали молотки, вбивая гвозди в крышку гроба. Синицы вспохнули и улетели.

Среди деревянных крестов поднялся свежий глиняный холмик. Все кончилось.

Прошка хотел сразу после похорон подойти к Владимиру Ильичу, но Владимира Ильича окружали товарищи. Женщины под руки вели вдову. Она шагала, глядя перед собой расширенными, сухими глазами.

Прошка слышал, Владимира Ильича кто-то звал зайти. У Надежды Константиновны было грустное, больное лицо.

— Боюсь, не расхворалась бы ты у меня. Надо нам домой поторапливаться,— заботливо сказал Владимир Ильич.

Прошка приметил, в какую избу их повели, и со всех ног помчался в волостное правление. Сельский писарь приказал после похорон немедленно явиться. Прошка явился.

Писарь, курносый и большеухий, с маслянистыми волосами, был занят переписыванием в конторскую книгу казенной бумаги. Прошка покашлял, писарь не оторвался от бумаги. Прошка еще нетерпеливо покашлял.

— Не на пожар, обождешь.

Полчаса Прошка ждал. Затем писарь подул на листок в конторской книге, убедился, что чернила просохли, закрыл книгу и принялся наставлять Прошку, как полагается жить ссыльному. Чего можно, чего не положено. Не положено без спросу отлучаться из села. Рассуждать о политике. Читать вредные книги.

— А какие вредные, как в них разберешься?

— Про то известно властям. Не рассуждай, твое дело слушать.

И дальше, и дальше, в том же духе.

«Опоздал повидаться, уедут! Скоро отговоришься, курносый? Чтоб бык тебя забодал!»

— Господин писарь, разрешите сперва стать на квартиру. Я потом к вам приду.

«Господином» он писаря купил и милостиво был отпущен устраиваться на квартиру, назначенную для нового

ссылного волостным правлением. Там опять пошли вопросы, торговля. Старуха хозяйка не решалась прямо так пустить постояльца. «Заранее обговорить надо, после схватишься, а поздно». Они жили со стариком бобылями. Старик хворый, с печки слезает по крайней нужде.

— Вся работа на мне. Ломишь-ломишь работу, да и согнешься на седьмом-то десятке. Без мужика в крестьянстве нельзя. Оттого и постояльца беру. Воду скотине станешь носить, в хлеву убирать, дрова за тобой, все мужичьи дела за тобой.

— Согласен.

Прошка задвинул под лавку сундук и дал ходу вон из избы. Вдогонку неслось:

— Стой, бешеный, стой! На что они мне порченого такого прислали? Я и днем-то с ним побоюсь, я такого и на порог пустить побоюсь!

«Ладно, уломаю, порядимся».

Еще не добежав до избы, куда Владимир Ильич с Надеждой Константиновной зашли к товарищам после похорон, Прошка увидел отъезжавшую со двора двуколку. Владимир Ильич правил сам. Буланный конь с черной гривой и подрезанным черным хвостом, в черных сапожках до колен шел легко, упругим, играющим шагом.

Прошка стрелой пронесся мимо избы, где хозяева, проводив гостей, еще стояли у ворот, в удивлении глядя на бегущего изо всех сил по селу неизвестного парня. Кто-то узнал в нем вновь приехавшего политического ссылного, которого видели сегодня на похоронах.

— Куда вы? — крикнул кто-то вслед.

Прошка, не задерживаясь, пронесся мимо.

Снежок, начавшийся в час похорон, недолго пошел и прекратился слегка присыпав мерзлую землю. Ехать на двуколке, наверное, трудно по скользкому снегу. Прошка нагнал ездовых за околицей. Дальше, мимо туманного поля, дорога вела к тайге. Одинок на осенней невеселой дороге. Прошка запыхался от бега, тяжело дыша, взялся за крыло двуколки и молча шагал рядом. Владимир Иль-

ич, прищурившись, поглядывал на него с любопытством, а сам придерживал коня, чтобы шел тише.

— Здравсте, Владимир Ильич, Надежда Константиновна! — наконец выговорил Прошка.

— Здравствуйте, но я впервые вас вижу, — ответил Владимир Ильич.

— И я впервые. Поклон вам из дому.

— Что? Надя, ты слышишь?

У Владимира Ильича вспыхнули глаза, он перегнулся через крыло двуколки, нетерпеливо и горячо спрашивая:

— Вы были в Подольске? Когда? Кого видели? Марию Александровну видели? Говорили с ней? И что? Что она передала с вами?..

Прошка видел Марию Александровну, Прошка с нею говорил, но поклона Владимиру Ильичу она не передавала. Поклон он придумал. Никто не знал, куда вышлют Прошку. Его отправляли в Красноярскую пересыльную тюрьму, а там как распорядится ведавший всеми сибирскими ссыльными иркутский генерал-губернатор. Счастливый день на подольской даче пролетел, больше Прошка не встречался с Ульяновыми. Анна Ильинична пробовала добиться свидания с ним в Бутырской тюрьме, но не добилась.

— Вы их видели, товарищ... Как вас зовут? Прохор? Пожалуйста, товарищ Прохор, расскажите подробнее, — мягко и просительно настаивал Владимир Ильич.

Надежда Константиновна взяла из его рук вожжи. Владимир Ильич спрыгнул на землю. Прошка заметил, он коренаст, но в движениях ловок и быстр. Вид у него был молодой, легкий, встревоженно-добрый.

— Вы видели маму своими глазами?

— А чьими же?

— Чудесная штука, что вы ее видели! У нас печальный сегодня день. Услышать в этот день весть из дома особенно дорого! Как она выглядит, пожалуйста, опишите елико возможно подробней.

Они стояли возле двуколки близко друг к другу. У Владимира Ильича был нетерпеливый, будто насквозь проникающий взгляд. Грустные складочки около рта. Прошка почувствовал необычайное влечение к нему и, не жалея красок, принялся расписывать подольскую дачу:

— Полы желтые, как зеркало блестят! На столе скатерть с бахромой. В каждой комнате книги на полочках. А ваша мама, Мария Александровна, играла весь вечер на черном пианино такую душевную музыку... не стерпишь — заплачешь!

Четыре года Владимир Ильич не слышал музыки. В детстве и юности каждый вечер в доме была мамина музыка. В Петербурге иногда удавалось послушать концерт. Как недостает ему музыки! Как давно он не видел свою удивительную мать... маму.

— У Марии Александровны белые волосы, белые-белые, а на волосах кружевная наколка...

— Значит, на подольской даче был праздничный вечер, у Марии Александровны все собрались, — заметила Надежда Константиновна.

— Не знаю уж, все ли... Пожалуй, что все, говорят, одного Володи, вас то есть, Владимир Ильич, не хватает. Мария Александровна говорит: «Когда-нибудь увижу я, чтобы все мои дети сели вместе за стол? Доживу, говорит, до такого дня или нет?» Дружные ваши родные. Хорошие люди ваши родные. И про вас вспомнили, Надежда Константиновна!..

— Видно, вы сами хороший человек, товарищ Прохор, — сказал Владимир Ильич.

— Володя, не остаться ли нам переночевать в Ермаковском? Поговорили бы вволю, не торопясь? — спросила Надежда Константиновна.

— Нельзя, Надюша. Ты не очень здорова. И коня только до нынешнего вечера наняли.

Словно услышав, что речь о нем, буланый конь взял с места и бодро пошел.

— Тпру! Тпру-у! Вот что, товарищ Прохор, ска-

жите еще, а Дмитрия Ильича вы видели? Как он? Здоров ли?

— Дмитрий Ильич! Вот он, Дмитрий Ильич! Вот он свой шарф мне подарил на дорогу. Не он, а Мария Александровна дала. Возьмите, говорит, на случай морозов. Мити нашего шарф. Пощупайте, теплый-то, повяжешь на шею, будто в печку влез.

Владимир Ильич пощупал шарф на Прошкиной шее, похвалил: верно, теплый. Значит, ничего, здоров Дмитрий Ильич?

Надежда Константиновна потянулась, тоже пощупала. Надежда Константиновна поинтересовалась сестрой Владимира Ильича Марией Ильиничной. Она ее называла Маняшей.

— Сурьезная Мария Ильинична. Сидит в качалке, весь вечер молчит и молчит. Не знаешь, как и подойти. Изю всех Ульяновых неподступная.

— Что это? — удивился Владимир Ильич.

А Надежда Константиновна сказала:

— Должно быть, забота какая-то была у нее. Маняша необыкновенно сердечный человек и отзывчивый. Сверлит ее, кем в жизни ей быть. Я в ее годы тоже металась. То в сельские учительницы хотела идти, да места не нашлось. То поступила на курсы, то бросила курсы. Смысл жизни искала. У Маняши сейчас та же пора — юность!

Зато о своей спасительнице Анне Ильиничне Прошка рассказал целую поэму. И какой у нее голос веселый и звонкий. И какая простая она. Об уме говорить не приходится. А глаза... будто вся душа из них смотрит.

Владимир Ильич внимательно слушал, улыбаясь. Да ласково так. Был бы брат старший у Прошки, с такой вот улыбкой, наверное, слушал бы.

— Вы наблюдательны, товарищ Прохор, — сказала Надежда Константиновна. — А вы сами откуда?

Отчего-то, из какой-то стеснительности Прошка не стал подробно описывать свою жизнь, таким чудесным и удивительным образом связанную с Владимиром Иль-

ичем и всеми Ульяновыми. Может быть, он не стал подробно рассказывать о печатании книги Владимира Ильича в типолитографии Лейферта, о петербургском знакомстве с Анной Ильиничной, о кружке Екатерины Кусковой, где готовилось ее злое и фальшивое кредо, обо всем, что с ним было, оттого что короток осенний день, хмуро осеннее небо, а дорога далека и стоверстный, глубокий, мощный гул стал докатываться из тайги, где ветер лишь тронул макушки дерев, и они отозвались. Пора Владимиру Ильичу с Надеждой Константиновной ехать.

— Питерский рабочий я, печатник,— только и сказал Прошка.

— Такой молодой и уже печатник! — похвалила Надежда Константиновна.

— Слушайте, товарищ Прохор,— сказал Владимир Ильич.— Сегодня у нас горький день. Мы похоронили товарища, который отдал рабочему классу и делу его всю свою жизнь, очень талантливую. Вы пришли в этот день как будто на смену ему. Очень это серьезно. Нелегко вам будет в ссылке. Но здесь, в Ермаковском, хорошие люди. Главное, времени зря не теряйте, учитесь. Знаете, что я вам посоветую, составьте программу и план на каждый день...

Он тоже советовал Прошке учиться, как Анна Ильинична.

— Приезжайте к нам в Шушенское,— позвала Надежда Константиновна.

Владимир Ильич влез в двуколку, взял вожжи.

— До свидания, товарищ Прохор, бодрее живите. В случае чего, дайте знать. И приезжайте!

Надежда Константиновна махнула на прощание муфтой.

Прошка глядел вслед им, пока было видно.

И вернулся в село. Одна мысль его занимала. На кладбище, кроме Владимира Ильича, Прошка почти никого из людей не запомнил. Но одного все же выделил. Высокого гибкого парня с незагорелым лицом. Тонко выписаны черные брови, на висок упала светлая, с рыжеватинкой прядь.

Нескладно сложилась Прошкина жизнь, не было у него настоящего товарища. Как ни горько признаться, вовсе не было у Прошки товарищей. Где они? В детстве в Подольске дружил с ватагой ребят. Играли в бабки, в лапту, ходили в лес по грибы, слушали в школе учителя. Особенно помнил Прошка одного подольского друга. С ним собирались уехать из Подольска, куда — не решились, но есть же где-то другая жизнь, где не только постоянные дворы и трактиры, пьяные купцы и лихие проезжие тройки? Прошка уехал в Питер один. Тот остался в Подольске, нанялся конюхом на постоянный двор. Когда выгнали Прошку из дому, принес другу на хранение на три дня сундучок.

Не отказал школьный друг. «Оставляй. А никому не разбалтывай. У нас ежели кого в ссылку угоняют, водиться-то с ним не шибко советуем. Учителя нашего помнишь? Угнали тоже».

В Питере в типолитографии Лейферта работали больше пожилые люди, и там сверстников не было. Прошка ли сам виноват или судьба у него такая, что рвется к дружбе, а товарища нет? Оттого и заметил парня, который даже над могилой стоял, не клоня головы.

«Где бы мне разыскать того парня?!»

Прошка торопливо шагал вдоль широкой обезлюдившей из-за осенней хмурости улицы, и вдруг — вон он стоит у калитки. Треух на затылке, руки в карманах. Стоит гордый. Взгляд свысока. Так свысока, что у Прошки захолонуло внутри. Желание знакомства улетучилось. Прошел бы он мимо. Почти и прошел. Но оглянулся. И за-

стал другое лицо. На этом другом лице, которое он достигнул врасплох, были написаны досада и раскаяние. Для себя самого неожиданно, безотчетно Прошка вернулся назад.

— Я Владимира Ильича догонял.

Парень вырвал руки из карманов.

— Догнал?

Любовь с первого взгляда бывает. А дружба? Они еще не начали разговора, но уже что-то их потянуло друг к другу.

У Леопольда ведь тоже настоящего товарища не было. Леопольду тоже хотелось дружить. С парнем. Мужской прочной дружбой. С настоящим товарищем делишься главным. Что у Леопольда главное? Страсть к книгам и политика. Отец настрого запретил громко говорить о политике. Леопольд сам знал: нельзя. Не забывал унтера с золотистыми усами, перечертившими румяные щеки. Из-за этого чертова унтера Леопольд опасался и деревенских ребят. На охоту, на рыбалку ходили, а дальше не шло.

А Прошка с первых слов ухватился за главное.

— Ты Ванеева видел живым? Какая у него революционная работа была?

Леопольд видел Ванеева живым. И о революционной его работе наслышан.

— Знаешь, какая в Петербурге у Ванеева была кличка? Минин. Во всех рабочих кружках Минин свой. А жандармы: что за Минин? Дураки! Ванеев был борцом до последнего. Ну, а теперь давай ты говори.

И начался рассказ о событиях Прошкиной жизни, приведших его в подтаежное село Ермаковское.

— Ну, ну! — изумленно подгонял Леопольд.

Ничто так не разжигает рассказчика, как жадное внимание слушателя. В Прошке разгорелся талант. Кое-что подкрасил в рассказе, поприбавил опасностей, поубавил тюремной тоски, получился портрет храбреца. Отчаянно-го храбреца получился портрет. Плевал он на их шпиков

и карцеры. Ссылкой хотите взять? Не возьмете, плевал он! Так в этот вечер они стали с Леопольдом друзьями. Как добра судьба! Как несправедлива судьба. Пятьдесят верст степной и таежной дороги разделяют села Шушенское и Ермаковское. Разделят их дружбу таежные версты. Устоит?

— Ты Мицкевича читал?

Уж конечно Леопольд не мог обойтись без Мицкевича. Выпала пауза в Прошкином рассказе — Леопольд за Мицкевича.

— Лоб не три, не старайся. Не забыл бы, если б читал. Наш знаменитый польский писатель. Тоже высылали из Польши в Россию. Тут и встретился он с Пушкиным. Ну, а Пушкина знаешь? Как Пушкин Мицкевича на русский язык перевел? «Три у Будрыса сына, как и он, три литвина. Он пришел толковать с молодцами...»

Стихи Прошка одобрил. А вообще-то ему больше нравится проза. «Капитанская дочка», «Былое и думы», Максим Горький нравится.

— Какой еще Максим Горький?

— О Максиме Горьком не слышал? Вот так раз! У нас в Питере наизусть Максима Горького знают. Я привез одну книжку. Зайдем ко мне на квартиру, дам почитать. Уезжаешь завтра? Эх, жалко, так жалко. Ничего, все равно дам, вернешь при случае. Как-нибудь мы с тобой придумаем свидеться. Так ты Максима Горького не знаешь? Вот так да!

— Что в нем такое особое?

— Все особое. За рабочих, за революцию он, вот что! «Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье...»
Читать?

— Читай.

— «Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...» Думаешь, простой это был Сокол? «Я знаю счастье... Я храбро бился...» Вот он какой. Это так говорится, что Сокол, а на самом-то деле...

— Не объясняй. Сам пойму.

— «...Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились...» А то еще «Старуха Изергиль» есть, тоже стоит почитать.

— Пойдем скорее, давай мне Максима Горького. Или погоди... Скажи, ты мог бы жить без цели, просто так, день за днем? Ну, денег заработать побольше, одежду сделать получше, а других целей нет, мог бы?

— Дурь какую ты спрашиваешь! Если я революционер и политический ссыльный, как же мне жить без цели? На черта мне деньги. Моя цель — свержение царя и капитализма и...

— Тише, тсс! Понял. У меня такие же взгляды. Я тоже за это. Когда у нас кончится ссылка, уедем домой, буду тебе постоянно писать. Знаешь, как приятно получать в ссылке письма! Отцу не так часто пишут, а Ульяновым с каждой почтой ворох писем притащит почтарь. Я нарочно хожу поглядеть, как они радуются. Владимир Ильич распечатает конверт, быстро-быстро забегает глазами по строчкам. Сам бородку пощипывает...

— Леопольд, ответь, только полную правду. Какой он человек?

— Не знаю даже, как тебе отвечать. Не знаю, с кем его сравнить. Какой-то он... сказать мало, что хороший. Особенный он.

— Понял. Раньше, когда молодым был, я людей разделял: есть люди обыкновенные, а то редкие есть. Редких-то раз-два и обчелся. А есть...

— Ты «Коммунистический Манифест» читал?

Наступил момент посрамления Прошки. Прошка мог бы соврать. Не захотелось соврать. Слышать слышал о «Коммунистическом Манифесте», а читать — нет, не читал.

— Не читал? — по слогам, в ужасе, преувеличенном ужасе, проговорил Леопольд. — А первый том «Капитала»?

— Не читал.

— А...

— Ладно выпрашивать. Что ты привязался выпрашивать? Откуда мне запрещенную литературу добывать было, когда я за решеткой сидел? До тюрьмы что библиотекаря даст, то и читаю. Теперь примусь навёрстывать.

— Здесь, в Ермаковском, есть ссыльные Сильвин, Лепешинские. Владимир Ильич всегда о них говорит, вот, говорит, замечательно образованные люди! Еще у Владимира Ильича есть один товарищ, Глеб Кржижановский, так тот все на свете знает, о чем ни спроси! Вот слушай, что с польского перевел. Мой отец говорит ему, а он переводит:

Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами,
Грозитесь свирепо тюрьмой, кандалами!
Мы вольны душою, хоть телом поправны.
Позор, позор, позор вам, тираны!

Тише, что это я на улице запел? А то еще Ленгник есть, черный такой, бородатый, шахматист исключительный, суровый, он в Теси живет, село Тесинское отсюда за семьдесят верст. Все товарищи Владимира Ильича. Мой отец говорит, с такими товарищами не пропадешь. Прохор, значит, дружим?

— Да.

— Друзья! Будем делить все — и неудачи и радости. Ничего не утаивать, до конца, что есть на душе. Друзья навек?

— Навек.

— Вот здорово.

Они дошагали до конца села и давно вернулись обратно и снова шагали в конец села и назад. Между тем наступил вечер. Желтенькие огонечки неярко засветились в некоторых окнах. А некоторые окна затворились ставнями, и избы стали немые и темные. Погодите, а Прошкина изба где? Батюшки, не заблудились ли мы? Ночь на дворе. Хозяйка, бабка Степанида, запрется — поди достучись. А стучаться куда? Прошка всего и запомнил, что

изба в два окошка, никаких других примет не запомнил.

— Идем ко мне ночевать, ляжем вместе, поговорим,— позвал Леопольд.

А писарь? Бабка Степанида завтра побежит, нажалуется писарю, чтобы не своевольничал с первой же ночи. Надо свою избу разыскать, вспомнить приметы. Два окна. Тесовая крыша. Дощатый забор. Рябина за забором. Длинная, одна-одинешенька, с необломанными кистями. Бабка Степанида бережет, пока ягоду морозами схватит. А вон... глядит через забор, вон... рябинушка... И изба в два окошка. Тут я и живу. И калитку бабка Степанида не заперла, дожидается Прошку.

Лампы у бабки Степаниды нет, сидит с камельком, зажженным на шесте костериком. Дым от костерика утягивает в печную трубу. Прыгают от камелька тени по стенам, качается бабкина тень, сутулая, косматая, как ведьма. Станным все это кажется Прошке, словно читает книжку про чужую жизнь.

Бабка с укорами:

— Шатун непутевый, с первого дня за шатанье взялся! Мало шатун, он еще и дружка с собою привел. Развеселая пойдет у нас жизнь. Уморишь ты меня с такой жизнью, однако. Не надо мне шатунов, ступай с квартиры долой.

Прошка выхватил из-под лавки сундучок, нашел книжку.

Леопольду:

— Выйдем, дам тебе Максима Горького.

Старухе:

— Бабушка Степанида, не сердчай, я на дворе чуток постою, я сейчас!

А на дворе начался снегопад. Ведь еще только сентябрь, еще и листья не все облетели, а в небесах прорвалась запруда, повалил снег, гуще, гуще, и занавес, мягкий, пушистый, колеблясь, тихо качаясь, струился и опускался на землю.

— Зима,—сказал Леопольд.— Здесь, в Сибири, снег выпал: до весны не растает.

— На, бери Максима Горького,—сказал Прошка.— Да домой пора, слышал, развевалась бабка? Свою избу знаешь?

— Вон через три избы и моя, окна светятся, лампы зажгли. Почитаю. Прошка, а знаешь что, Прошк...

— Что?

— Дали слово, чтоб ничего не таить?

— Ну?

— Есть у меня одна... ну, тайна, что ли, не знаю, как сказать. Не хотел говорить, но... Прошка, ты ведь в Шушенском у Ульяновых познакомился с Пашей?

Молчание. Течет, струится, качается снег. Опускается занавес. Мягкий, пушистый. Ночь посветлела от снега. Молчание.

— Прошка, ты ведь познакомился с Пашей?

— Д-да.

Неужели Леопольд не заметил, как сказал Прошка «д-да»? С запинкой, неуверенно: «Д-да». Словно ком застрял в горле, таким упавшим голосом он сказал это «д-да». Потому что раньше, чем начал Леопольд говорить, Прошка все понял.

Снег течет, устилает землю и крыши. Прошка глядит, как на плечах Леопольда вырастают снежные грядки. Ровненькие снежные грядки вырастают у него на плечах.

— Значит, она тебе обещала? Значит... надеешься, приедет к вам в Польшу?

— Конечно! Не обещала, а я знаю, что да. Здесь у нас ко всем политическим ссыльным приезжают невесты и жены. Моя мать приехала к отцу и нас привезла.

— К политическим ссыльным... А ты? Ты домой едешь. Какой ты ссыльный?

— Я революционером буду!

— И она кинет для тебя родное село?

— Она любит меня больше жизни.

Как гордо он это сказал: «Она любит меня больше

жизни». И голову вскинул. Здорово у него получается. Да, наверно, так и будет: она придет к нему в Польшу. А от Прошки умчалась, как ветер, когда он поцеловал ее вчера на прощанье.

— Ну, я домой. Может, удастся еще почитать,— сказал Леопольд.— Жаль, Прошка, что тебя не в Шушенское выслали! Напишу тебе, когда Максима Горького прочитаю. А у тебя нет невесты?

— Нет, у меня нет невесты.

Бабка Степанида ждала его с полутеплой похлебкой в печке.

— Ешь, оголодал, глаза-то провалились, непутевый. Однако уж не пропойца ли ты на мою голову? Ешь, ешь. Сыт, наелся? Ну, ложись, на лавке постелено. Спи.

«Только подружились, поклялись, а я утаил... Сразу и утаил, трус, трус. Расписал себя храбрецом, а сам трус. Храбрый прямо бы высказался: ты в Польшу уедешь, поезжай, а я ее люблю...»

Утро у бабки Степаниды начиналось по-темному. Прошка натаскал скотине воды, задал корму, настелил свежей соломы в хлеву, тогда и солнце поднялось, заиграло на снегу. Воробьи слетелись во двор клевать на рябине ягоды.

Бабка Степанида накрыла завтракать. Слез с печки дед с дряблой, индюшиной шеей и тусклыми глазками, в которых стояла слеза. Ел жадно, загребая побольше картошки с молоком, давясь горячими сочными. Голова тряслась. Прошку он не заметил.

Бабка Степанида сказала:

— Сотый год идет. Разуму господь на один век отпустил, на второй-то не хватает.

Позавтракали, и пришла молодая румяная женщина в городской шубке и белом пуховом платке. Потопала у порога белыми валенками, сбила голиком снег.

— Товарищ Прохор, я за вами.

Бабка Степанида насупилась, застучала деревянными ложками, собирая после завтрака посуду со стола.

— Я Ольга Александровна Сильвина,— сказала городская женщина.— Леопольд Проминский с отцом рано утром уехали в Шушенское. Леопольд шлет вам привет и спасибо за Максима Горького. А теперь собирайтесь, пойдем.

Бабка Степанида промолчала, отвернулась к окну, там сияло утро, синело высокое уже зимнее небо.

— У нас дружная колония ссыльных,— говорила Ольга Александровна на улице.— Мы не можем оставить вас без внимания, вы у нас новенький, такой молодой паренек, и Леопольд очень просил о вас позаботиться. Итак, что вы собираетесь делать?

Что Прошка собирается делать?

— Да, да, ведь не хотите же вы жить лодырем? Прозябать? Мы решили, что в первую очередь вам, молодому рабочему, надо учиться, поэтому я предлагаю...

Недолго спустя они были у доктора Семена Михевича Арканова, в его доме, деревенском на вид, но погородскому перегородженном внутри на несколько маленьких комнат и обставленном погородскому: стулья с плетеными сиденьями, круглый обеденный стол, книжный шкаф, лампа под белым абажуром.

Ольга Александровна готовила докторского сына в гимназию.

— Спрячем в карман ложный стыд,— говорила она, усаживая Прошку за стол возле тринадцатилетнего шустрого и бойкого докторского сына, который, чуть отвернется учительница, вытаскивал из-под стола «Вокруг света» и впивался в страницы с картинками.— Суть не в годах,— внушала Прошке учительница.— Государственное устройство Соединенных Штатов Америки знаете? Климат Швейцарии? Кто такой Робеспьер? Как сказать по-немецки: «Я хочу прожить свою жизнь разумно и деятельно, с пользой для народа»? Не знаете. Многого и другого не знаете. Начинаем урок.

В селе Ермаковском дивились тому, как живут ссыльные. Ни ссор, ни дрязг. Вот прислали нового, тотчас старые взяли под опеку. Пришлось Прошке заделаться учеником, учить уроки на совесть — стыдно осрамиться перед докторским сыном. А там почитать хочется, книг у ермаковских ссыльных и доктора оказалось вдоволь, только читай. А там за бабкиной скотиной надо ходить, дров наколоть, снег раскидать на дворе.

Была еще у Прошки должность. Сначала он выполнял ее по обязанности, с неохотой, а после с горячим желанием. Над этой Прошкиной должностью сельские ребята, не они одни, и мужики, а особенно бабы, в Ермаковском посмеивались. Бабы липли к окнам, когда Прошка шел по селу и далеко за село (пообжившись, осмелел, распоряджений писаря не так уж точно придерживался) сопроводить на прогулку вдову Ванеева Доминику Васильевну. Доктор приказывал Ванеевой больше ходить по свежему воздуху. Она носила длинную черную шаль, укрывавшую ее до пояса, и осторожно шагала, тяжело и трудно ступая. «Гляньте,— шушукались бабы,— прогуливается. Ей бы последние-то дни с рукодельем дома сидеть, а она об руку с чужим парнем прогуливается! А он-то молоденький и перед народом не совестно с вдовою на сносях ходить? Наши девки теперь ни одна с таким чудачком не согласятся гулять. Засмеют».

Ермаковские ссыльные не оставляли вдову Ванеева одну. Всегда кто-нибудь с нею был. Женщины, две Ольги, Лепешинская и Сильвина, шили вместе с Доминикой распашонки для будущего маленького. Плакали вместе.

Но охотнее всего, как ни удивительно, Ника Ванеева проводила время с Прошкой. Он жадно выпрашивал у нее о Ванееве. Товарищи старались уводить Доминику от разговоров о погибшем муже, думали, что этим оберегают ее, а ей только и надо было о нем говорить. Вспоминать дни и месяцы их общей жизни, такой счастливой, такой недолгой, такой печальной.

— Спрашивайте, товарищ Прохор. Спрашивайте боль-

ше. Как я в первый раз его увидела? Это так было. Пришла в тюрьму на свидание, товарищи меня «невестой» ему назначили. Вошла, поднимается со скамьи человек. Какой он? Красивый? Какое у него лицо? Не знаю. Помню только благодарный взгляд. И полюбила его с первой встречи.

— Значит, бывает любовь с первой встречи? — сказал Прошка, думая о шушенской Паше.

— Только с первой встречи и бывает любовь! Потом гаснет. Или разгорается. Да, любовь разгорается... Он был мечтатель. Все настоящие революционеры реалисты и вместе мечтатели. А знаете ли вы, товарищ Прохор, чем для него была дружба! С детства у него самое высокое представление о дружбе. Дружба — это святое... А знаете, почему Ванеев любил звать меня Никой? Ника — крылатая богиня победы. В самые последние дни он все думал, не верил в смерть, отгонял мысль о смерти, он рисовал: «Когда-нибудь мы добьемся победы, крылатая Ника!» Будем жить в новом обществе. Оно будет добрым и умным, и люди там будут честные, открытые. Там не будет вероломных людей. Как хочется увидеть такое новое общество! Вы верите, Проша? Он верил. А еще он мечтал, что мы с ним когда-нибудь поедem во Францию и увидим в Лувре крылатую Нику Самофракийскую. Знаете, что это? Статуя из мрамора. Древняя статуя. Ее нашли на острове Самофракии на Эгейском море. У нее отбита голова, но она прекрасна. Тело, плечи, грудь, крылья — порыв и стремление вперед! Она — победа. Но только для доброго, понимаете, Проша, победа добра.

Они осторожно и медленно шли по селу. Из окон изглядели бабы.

Иногда она умолкала. Тогда Прошка думал о Паше. О дружбе с Леопольдом. Как ему быть? Как должен поступить революционер и марксист в такой ситуации, в какую попал наш товарищ Прохор? Он хотел дружить с Леопольдом! Забыть во имя дружбы Пашу? Отказаться от Паши?

— А телеграммы из дома нет,—говорила Доминика.—Нет и нет телеграммы.

Каждое утро она просыпалась с вопросом, не принесли ли телеграмму от родителей.

«Наша родная и любимая дочь, горюем с тобой твоим горем, скучаем о тебе, ждем домой тебя, дочка, когда родится твой маленький. И нашего милого бесценного внука ждем и любим! Отец, мать».

Телеграммы от отца и матери не было.

— Они не хотят моего возвращения домой. Они меня прогнали из дому.

— Меня тоже прогнали из дому.

— Товарищ Прохор! Проша... Ты мужчина, у тебя ведь не будет маленького.

— А вы не бойтесь, вы радуйтесь, что у вас будет маленький! Ваше счастье, что будет!..

— Правда, правда! Я радуюсь. Спасибо тебе, Проша. Ничего, что я на «ты» перешла? Так ближе, теплее на «ты»... Ванеев хотел сына. И я хочу сына, но если родится дочка, Ванеев и дочку любил бы... Как ты всегда сердечно скажешь, Проша, спасибо тебе! Ты мне все равно что родной.

Однажды, когда, по обыкновению, они прогуливались вдоль села, Доминика замедлила шаг, к чему-то прислушиваясь, ей одной только слышному. Зеленоватая, болотная бледность медленно полилась по лицу. Глаза стали огромны, застыли.

— Скорей домой! — сорвалось с губ.

Вытянув руку, она шатающимся шагом подошла и со стоном привалилась к забору.

— Скорее Ольгу Борисовну! Лепешинскую! Прошка, Прошка, скорей! — Она крутила и мяла край черной шапки, открывала рот, ловила ртом воздух.

Прошка перепугался, с перепугу потерял соображение. Что делать? Кричать во все горло? На помощь, на помощь, помогите, добрые люди!

А добрые люди, то есть ермаковские бабы, увидев из

окон припавшую к забору Доминику Ванееву, повыскакивали из изб, наспех накинув шубейки сверху кофтенки, подхватили роженицу под руки и повели домой.

— Беги в больницу за фельдшерницей Ольгой Борисовной, чего стоишь, рот разинул, ворона? — закричали на Прошку.

Прошка примчался в больницу.

— Ольга Борисовна, Ольга Борисовна!

— Без паники! — оборвала она. — Все естественно.

Природа знает.

А сама стремглав побежала по селу вместе с Прошкой к Ванеевым, приговаривая:

— Успеть бы! Что там, бог мой, успеть бы!

Там кипел самовар. Из-за перегородки слышались стоны и чей-то жалостливый бабий голос:

— Не стыдись, милая, шибче кричи, с криком-то легче.

Стриженная, в пенсне, Ольга Борисовна Лепешинская энергично вымыла руки, надела белый халат, повязалась белой косынкой и приказала всем выйти из избы.

В этот день появился на свет маленький Толь.

20

Ночью на село Ермаковское налетела буря. Ветер как бешеный кидался в окна, вся изба кряхтела, вой и свист слышались с улицы — скрипели ворота, стонал журавель колодца, рябинка колотилась о забор обледенелыми ветками, металась по селу снежные смерчи, гудело в трубе.

«Батюшки, где я? — в смятении думал Прошка. — В Сибири. Ссылный на три года. Неужто? А в трубе-то что делается, будто волки воют!»

Он спал под хозяйским овчинным полушубком на лавке. Буря его разбудила. Он лежал с открытыми глазами, не шевелясь. Где-то не смолкая стучало: тук-тук-тук-тук. Как на кладбище, когда забивали над Ванеевым крышку

гроба. Ночь тянулась тоскливая, долгая-долгая. До утра билась ставня.

На рассвете заохала старуха. Свесила ноги с печки. Поскребла спину.

— Господи, прости грехи наши. (Зевок.) Малый, вставай. (Длинный зевок.) Слышь, ставню с петли сорвало. Калитку от снега, чай, не открыть.

Вьюга намела за ночь у заборов кривые сугробы, нахлобучила шапки с козырьками на крыши, перепутала дороги, сровняла канавы, наморозила на окнах ледяные цветы и унеслась. Высокое, ясное, встало утреннее небо над селом Ермаковским. Выкатилось из-за горизонта розовое, будто умытое, солнце. Заискрился снег, и ночная тоска унеслась вместе с бурей. Наставал день, полный дел, как мешок, доверху набитый разным добром. Калитку откопать. Ставню на петли навесить. Снег во дворе раскидать. Тогда завтракать. Бабка ставила на стол миску с запеченной в молоке брюквой или картошкой. Прошка приносил из холодных сеней калачи. Калачей бабка напекала десятка три сразу и навешивала на шесты в сенях замораживать. Когда надо, замороженные кинет в горячую печку на под, их жаром охватит, пышные станут, с хрустящими корочками,— такой еды в Питере Прошка не пробовал.

Управившись за утро с бабкиным хозяйством, отзавтракав,— на уроки к Аркановым. Ольга Александровна Сильвина строгая учительница, не давала Прошке поблажек, гнала по всем наукам без отдыха.

— Учись, рабочий класс.

Все ссыльные твердили Прошке: «Учись».

Иногда лекцию докторскому сыну и Прошке приходил читать Михаил Александрович Сильвин. Его уроки не очень похожи были на уроки. Учитель загорался с первой секунды. Вскакивал с места. Терял густейшую шевелюру, бегал по комнате, садился верхом на стул, снова бегал.

— Сегодня у нас по программе...

Через четверть часа забыта программа. Вот рассказывается о Петре Первом, шведском короле Карле XII, Полтавском сражении.

Ура! Мы ломим; гнутся шведы,
О славный час! О славный вид!
Еще напор — и враг бежит.

И вдруг, не уловив перехода, разинувшие от внимания рты докторский сын и «рабочий класс» Прошка видят другие картины. Видят Париж. Огромный город Париж. Узкие пестрые улицы. Дома, как корабли, выплывают на площади носами вперед. Кружевные башни католических храмов вскинулись ввысь. Колокола молчат, онемев. В страхе заперлись на запоры дворцы. В окнах бедных мансард полощутся красные лоскутья. Толпы на улицах. Грохочут колеса. Ржут кони. Ружейная пальба. От громовых раскатов пушек лопаются стекла. Пороховой дым едкой тучей навис над Парижем. Это Великая французская революция. Это народ сбрасывает тысячетную королевскую власть. На площади Людовика XV, в виду королевского Лувра, спешно сколачивают деревянный помост для казни короля Франции...

И... миновало столетие. Тише, люди. Входим на кладбище. Обнесенное каменной стеной парижское кладбище Пер-Лашез. Тесно от памятников. Безмолвные длинные улицы памятников. Серый гранит, безнадежный. Гранитный город мертвых.

В глубине, в сумраке старых деревьев, есть одна стена. Без солнечных лучей, вся в темной зелени моха. Снимите шапки. Склоните головы. Это Стена коммунаров. У этой стены расстреляны последние защитники Парижской коммуны. Короля нет. Правит капитал. Коммунары расстреляны.

И... но о некоторых событиях Михаил Александрович Сильвин говорил только Прошке, когда они шагали вдвоем по селу, возвращаясь из школы в докторском доме. Докторскому сыну Сильвин не рассказывал о Петер-

бурге и «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», в котором и Прошка мог состоять, будь тогда на пять годов старше. Мог участвовать в тайных кружках в Петербурге! Сильвин любил вспоминать, как собирались кружки. Под окнами выставляли дозорных: каждую минуту грозил жандармский налет.

Прошка холодел от волнения, слушая рассказы Сильвина о конспирации и разных отважных случаях из жизни кружковцев.

Вот один случай.

Самым ловким конспиратором, по рассказам Сильвина, выходил Владимир Ильич. Раз под вечер Владимир Ильич собрался на рабочий кружок. Спрыгнул с конки задолго до адреса. Правильно сделал. Видит, субъект один за ним следом прыгает с конки. В котелке, темных очках. Зашагал позади, поглядывает по сторонам с беспечным видом. А вечер холодный, беспечный вид выдавал сыщика: кому захочется в такую стужу и ветер без дела разгуливать, как в белые июньские ночи? Ясно, кто таков субъект в котелке. «Нас не надуешь». Владимир Ильич юрк в переулок. Субъект в котелке за ним. Подтвердилось, что сыщик. Владимир Ильич поднял воротник, нахлобучил шапку и быстро, по-деловому вперед. В ближайший переулок снова — юрк. Сыщик за ним. Охота затягивалась. Как-то надо улепетывать. Со стороны никто не подумал бы, что неторопливый молодой человек в нахлобученной от холода шапке, весь погруженный в себя, свои спокойные мысли, лихорадочно выискивает способ, как укрыться от преследователя. Внезапно свернул в третий раз. Сыщик не рассчитал, промчался вперед. А Владимир Ильич увидел в переулке роскошный подъезд богатого дома. Вот так шутка! Кресло швейцара в подъезде пустое. Мигом вбежал, сел в кресло, схватил со столика газету, уткнулся. Вовремя. Сыщик вскочил в переулок. А переулок пустой. Рысью пробежал сыщик мимо подъезда богатого дома. Владимир Ильич сидит в кресле швейцара, закрывшись газетным листом.

Сквозь стеклянную дверь наблюдает, что дальше. Сыщик мимо подъезда туда-сюда, бешеный, лицо перекосилось от злобы. Еще бы! Почти в руках был улов...

— Не поймал?

— Не поймал.

— Как же в ссылку-то Владимир Ильич угодил?

— Это уж после.

Прошка провожал Сильвина до дома и возвращался обратно, переживая рассказ, придумывая свои к нему подробности.

Фантазия летела, без препятствий строя сюжеты, в которых постепенно главным действующим лицом становился он, Прошка. Все приключения, опасные, дерзкие, были с ним, Прошкой...

За фантазиями ноги незаметно приносили к Ванеевым. У Ванеевых Прошка бывал каждый день. В большой комнате, где недавно происходило совещание семнадцати ссыльных социал-демократов, теперь все по-другому. Здесь живет маленький Толь. Всюду, на столе, табуретках, что-то наставлено, разложено, стопки пеленок, рубашечки, пузырьки, склянки, мази, масла, присыпки. Постелька белая, чистая. К постельке Прошка приближался на цыпочках.

Доминика с радостью встречала его:

— Кто к нам пришел? Дядя Проша пришел. Проша, ты с улицы, согрейся немного. Тише, не топай, не разбуди его. Погляди, он улыбается. Не веришь? Честное слово, уверяю тебя, сейчас улыбнулся во сне. Проша, взгляни, у него бровки наметились, он чернобровый будет, весь в отца. А губки какие хорошенькие, верно? Спи, мой маленький Толь, баю-бай.

Прошка нагибался над постелькой, устроенной в корзине из ивовых прутьев. Маленькому Толю Ванееву корзина перешла в наследство от Оли Лепешинской. Сморщенный, красненький, с пуговичным носиком лежал в ивовой корзине маленький Толь. Бурная жалость поднималась в Прошке. От жалости щипало в носу.

— Правда, мил ненаглядный мой? — шепотом восклицала Доминика, опуская ресницы, прикрывая нежный свет глаз.

Прошка старался быть полезным Ванеевой. Когда она говорила грустным голосом: «Проша, спасибо!» — он отвечал грубовато: «Чего там спасибо!» — и таскал воду для стирки пеленок, вздувал самовар, лазил за картошкой в подпол.

Главная же и незаменимая его польза была в том, что как раньше Доминика без конца рассказывала ему о Ванееве, так теперь изливала Прошке свои заботы и горести. Что им делать с маленьким Толем? Как им жить дальше? Куда им деваться? Нет телеграммы из дому.

— Свет не без добрых людей, Доминика Васильевна.

— Правда, правда, ты мудрец, Проша! Ты рассуждаешь, как настоящий мудрец. Что-нибудь придумается в конце концов. Образуется как-нибудь. Не вешай головы, маленький Толь. Ты еще и держать голову свою не умеешь. Не будем падать духом, маленький Толь. Рассказать тебе об отце? «Хочу громадного счастья, хочу громадной доли!» Ах, как коротка была его жизнь. Как он ждал тебя, маленький Толь!

Она говорила, держась за края колыбели, раскинув руки над сыном, как птица крылья.

Раз под вечер, когда Прошка, чистя у печки на ужин картофель, выслушивал эти протяжные печальные речи, из сеней донеслось:

— Входите! Тулуп-то снимайте.

Хлопотливый голос хозяйки кого-то привечал в сенях.

— Истомились небось, дорога зимняя, вьюжная, без привычки-то растрясешься по сугробам до смерти, здесь они, сиротинки...

— Кто там? — замерла Доминика, покрываясь внезапной, как обморок, бледностью.

В два шага Прошка был у окна. Возле дома, почти упершись в ворота оглоблями, стояла запряженная парой кошева. Ямщик вытаскивал из кошевы узлы и кошелки.



— Спи, мой маленький Толь, баю-бай.

А в избу уже входила маленькая, щуплая, лет пятидесяти женщина, с красными, нажженными морозом щеками. В темные ямы провалились глаза. Стала у двери. Медленно, молча подняла к горлу крест-накрест ладони. Доминика закричала не своим голосом, кинулась к этой женщине, обхватила, целуя лицо ей и руки, несчетное число раз целуя.

Женщина уронила голову ей на плечо. Они стояли, прижавшись, не отпуская друг друга.

Та отстранилась наконец:

— Внука покажи.

Держась за руки, они подошли к корзине. Женщина нагнулась, у нее дрожало лицо.

— Внучок, сиротинка...

Вдруг откинулась и испуганно, шепотом:

— За что он его осиротил?

— Кто, мама? О чем вы?

— За что? За что ты отнял у него отца, господи? Осиротил до рождения? За что?

— Мама, полноте, милая, хорошая вы наша...

Доминика схватила ее морщинистые руки с толстыми жилами, гладила, прижимала к груди, целовала.

— Мама, полноте, мама!

— Как внука назвали? — утихнув, спросила мать.

— Анатолием.

— Я и надеялась. Спасибо. Сильно мучился Толюшко? Правду говори.

— Он тихо умер... Волгу все вспоминал, вас... Он вас любил...

— Рассказывай. Без утайки.

Мать не хотела ни выпить чаю, ни переодеться с дороги. Морозный румянец остывал у нее на щеках, сменяясь желтизной. Неутешная и гневная, она сидела на лавке, горько слушая рассказ Доминики о последних днях сына. Не могла, не хотела она мириться со смертью сына! «За что ты его покарал? Он ли был не хорош? За что же, немилосердный, неправедный бог?!»

Она взбунтовалась против бога, и сердце ее стало бесстрашным. Жена бедного чиновника из Нижнего Новгорода, нигде не бывавшая, кроме, может быть, двух-трех городов по месту службы мужа, не колеблясь собралась в неведомый путь, в чужую сторону, к невестке и внуку. Ни дальнего поезда не побоялась. Ни сотен верст с ямщиком по Сибири. Ни зимы, ни тайги...

На кладбище к Ванееву на другой день пришли все вместе с матерью, вся колония ссыльных. Снегом занесло кладбище. Над могилами поднимались сугробики. Монотонно стояли кресты. Над одним сугробиком креста не было. Лежала чугунная плита.

«Анатолий Александрович Ванеев. Политический ссыльный. Умер 8 сентября 1899 г. 27 лет от роду. Мир праху твоему, товарищ».

Эту чугунную плиту и надпись к ней заказал на Абаканском чугунолитейном заводе Владимир Ильич.

Доминика принесла сына проститься с могилой отца.

«Прощай, Анатолий. Спасибо тебе, что я тебя знала. Обещаю, сына выращу честным. Прощай, мой большой Толь, мой любимый».

Она стала в снег на колени, прижимая к груди теплый сверток. Из пуховых платков и одеялец слабо слышалось тихое дыхание сына. «Простись с отцом, маленький Толь».

Было морозное утро. Снег на кладбище лежал свежий и чистый, искрясь и блистая на солнце.

Спустя несколько дней подъехала к воротам запряженная парой крытая кошева. На заднем сиденье ворох умятого сена. Поверху сена положили одеяла. Усадили на одеяла Доминику со свекровью. Дали в руки Доминике сверток с сыном. Запахнули на отъезжающих потуже тулупы. Подоткнули одеяла. Насовали в ноги узелки с дорожными. «Здоровы будьте, долгой жизни желаем, сына расти, Доминика, не забывай, помни, помни!»

И тройка понесла кибитку, увозя из села Ермаковского маленького Толя Ванеева.

Что будет с ним? Какая судьба ждет его?

О судьбе его можно было бы рассказать долгий рассказ. Это была бы повесть о поколении, которое восемнадцатилетним вступило в Великий Октябрь. Для которого Ленин был знаменем, совестью и вождем революции. Которое отвоевывало от белогвардейцев и интервентов и отвоевало Октябрь. Строило заводы и шахты. Наводило мосты. Прокладывало дороги. Училося. Создавало Советскую страну и во все времена верило Ленину. И было оттого смелым и честным.

Которое в расцвете сил и творчества отбивало от нашествия Гитлера наше Отечество.

Маленький Толь в 1941 году был давно инженером. С первых дней войны надел шинель, стал солдатом. Какая судьба! Анатолию Ванееву выпало защищать Ленинград. Город Ленина, город отца.

Почти полвека назад его отец вместе с Лениным начинали здесь путь к революции.

Под бомбами и артиллерийским огнем, в виду фашистских танков, под зловещим крылом самолета с черной свастикой, Анатолий Ванеев, ты думал: «Город Ленина, город отца...»

Ты вспоминал рассказы матери, как Ленин создавал в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и твой отец был верным помощником Ленина. Город Ленина, город отца.

Осенью 1941 года Анатолий Ванеев погиб под Ленинградом.

На Пискаревском кладбище в Ленинграде на каменной стене высечены слова, посвященные памяти многих тысяч героев. Среди многих тысяч инженер Анатолий Анатольевич Ванеев.

Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.

но повис ржавый замок, охраняя казенные бумаги и волостную печать. До завтра служба закрыта.

«Домой схожу к писарю, не упускать же такую оказию! Подольщусь «господином»...»

Ермаковский ссыльный рабочий Панин, по внешности напоминающий писателя Гаршина, корил Прошку, что слуге царизма на уступку идет. «Зубы сжать надо. И молчать. А ты — господином».

— Слуге царизма на уступки иду? Черта с два! Для своей пользы обдуриваю.

Вот как! Неужели наш простодушный и доверчивый Прошка, книгочей и немного простофиля, у которого в большущих, чуть подсиненных глазах вечно стоит любопытство, словно постоянно им открывается новое, — неужели Прошка научился быть дипломатом?

Научился до некоторой степени. Житейский опыт не совсем прошел даром. Студент Петр Белогорский, тюрьма, молодой, безжалостный от старания выполнить службу следователь, мачеха, каменная глыба с подобранными в нитку губами, отец, расплескивающий под ее непреклонным взором чугунок с похлебкой, испугавшийся пустить на ночевку школьный товарищ — вот Прошкин житейский опыт, после которого больше не думает он, что люди все одного цвета. Люди — братья, как учил в школе поп? Нет, теперь Прошка знает, не все люди братья. Стал различать: здесь друзья, а там... С друзьями один разговор, с писарем из волостного правления — другой.

В жарко натопленной избе семья писаря сидела за вечерним чаем. На столе желтый, как золото, ведерный самовар еще струил из трубы угарный голубоватый дымок. Писарь в расстегнутой рубахе, с волосатой, как войлок, грудью, вытирал концом полотенца сытое, пятнистое от веснушек лицо в кучерявой бороде.

— Господин писарь, дозволейте...

Жена, тоже сытая, потная, проворно опустила на стол блюдо с чаем, обратив к мужу замаслившийся взор.

«А чем не господин? Господин и есть. Вся власть в руках. Поп и тот перед нами шапку ломает».

— Чего тебе в Шушенском надобно?

— Товарищ там... день рождения.

— У людей будни, у них всё дни рождения.

Писарь силился сохранить строгость, но лицо от «господина» расплывалось блином.

Выехали не самым ранним утром, но до обеда задолго. Доктор Арканов захватил свой докторский чемоданчик с инструментами и лекарствами, и они покатали в легком возочке, покрытом на сиденье поверху сена попоной.

— Видите ли, Прохор Артемьевич,— интеллигентным тенором проникновенно говорил доктор Арканов, когда село Ермаковское скрылось позади в волнистых снегах, и возок их легко скользил по накатанному следу лесного пути, и величавые сосны и гигантские осины безмолвными стражами выступали из тайги вдоль дороги.— Видите ли, Прохор Артемьевич, с некоторых пор село Шушенское стало особенно мне интересным благодаря одному человеку. В университетские годы, поверьте, мне выпало счастье общаться с людьми незаурядными, даже блестящими. И тем более ценю я выдающийся интеллект Владимира Ильича! Ученый, философ, политик, юрист! В его книгах, в частности я имею в виду «Экономические этюды» и «Развитие капитализма в России», в них, этих книгах, рассмотрен процесс формирования общественных классов, диалектика развития общества — колоссального значения труд! Но что меня, человека, уже по профессии своей чуткого к нравственным вопросам, волнует особенно, это то, что ученый, живущий в сфере сложнейших умственных и философских проблем, спешит откликнуться на обычные нужды. Возьмем Оскара Энгберга...

Доктору Арканову вспомнился Энгберг. С чего бы? А вот с чего. Вчера получил Семен Михеевич письмо, из-за которого и покатали сегодня навещать своих шу-

шенских пациентов, которых участковому врачу время от времени положено было проводить.

Уважаемый г. доктор!

Если Ваши служебные обязанности позволяют, то не будете ли Вы так добры зайти вечером к моему больному товарищу, Оскару Александровичу Энгбергу (который живет в доме Ивана Сосипатова Ермолаева). Он уже третий день лежит, страдая от сильной боли в животе, рвоты, поноса, так что мы думаем, не отравление ли это?

Примите уверение в искреннем уважении.

Влад. Ульянов.

— Так вот, Оскар Энгберг, довольно рядовой, говоря откровенно, рабочий, а каково отношение к нему Владимира Ильича? Или вспомним Ванеева... У Владимира Ильича дар быть товарищем! Вот что волнует. Разумеется, его исследования, марксистский анализ развития общества...

Доктор вволю потолковал о марксистском анализе, после чего перешел к обсуждению противоположных философских систем, но Прошка уже невнимательно слушал. Кивал, а думал о другом. «У Владимира Ильича дар быть товарищем!» Прошка это и до доктора понял. Тогда, на кладбище, понял...

Прошка рвался увидеть Владимира Ильича. Вспоминал его голос,— такого голоса Прошка ни у кого не слышал!—его искристый взгляд, заботливые советы: «Бодрее живите, учитесь».

Прошке хотелось порассказать о себе, что живет он в селе Ермаковском бодро, времени зря не теряет, учится всюду. Наверное, Владимир Ильич обрадуется. К Владимиру Ильичу у него было такое жаркое чувство, будто бы был он Прошке самым близким и родным человеком.

А что вы думаете, их многое связывало! Подольск связывал, прочитанные Прошкой политические книги, которые ему давал Михаил Александрович Сильвин, мысли о будущем.

Но и другое звало Прошку в Шушенское. Конечно же, Паша! Он не мог забыть, как она тогда убежала. Он сунул ей в карман мамкины варежки, а она вырвалась от него и убежала, топя чирками по окаменелой земле. Мороз сковал дорогу. Прошка слушал, как топают ее чирки вдали. Обиделся, может быть, думаете вы?

Милая, милая! Веселенькая, синеглазая, единственная Прошкина любовь.

«Убежала? А что же? На шею парню с первого раза кидаться? За что и люблю, что неуступчивая, гордая. Не отдам тебя, Паша! Не уедешь ты в Польшу. Не пушу тебя в Польшу. Кончится ссылка, поедешь со мной».

Вот что должен Прошка высказать своему другу и товарищу Леопольду Проминскому. «Почему должен? Не знаю. Должен».

Между тем незаметно возочек их пролетел пятьдесят верст степной и таежной дороги и бойко катил широкой шушенской улицей, подпрыгивая на снежных ухабах. Шушенское занесло, замело озорными первыми вьюгами. Завиваясь на краях, привалились к заборам сугробы. Стало теснее на улицах. Под полозьями визжал звонкий снег. Журавель колодца клонил длинную шею, встречая поклоном приезжих, — баба поднимала из колодца воду в бадье.

Возле одной худенькой, невидной избенки стоял в накинутах на плечи полушубке хозяин Иван Сосипатыч.

— Сюда, во двор, заворачивайте, ставьте кобылу. Мой постоялец-то, уж как его забрало, сердешного, ночью надрожались, не помер бы.

И, торопливо шаркая подшитыми валенками, разводил кривые ворота на двор.

Юркий, тощенький, с легкими волосенками, стоявшими дыбом, образуя надо лбом как бы сияние, Сосипатыч был напуган болезнью постояльца и отчасти тщеславился, что

к его ничем не знаменитой, вовсе плохонькой даже избушке подкатил вон какой щеголеватый возок, вылез господин в лисьей шубе с городским чемоданчиком — вчера только Владимир Ильич письмо написал, а нынче и доктор тут как тут.

Уважают люди политика нашего Владимира Ильича! Башковитый, ничего не скажешь, политик, ума палата.

Оскар Энгберг лежал нечесаный, щеки запали, усики его, всегда холеные, уныло повисли, вид являл он печальный. Из потрескавшихся губ неровно вырывалось дыхание, глаза глядели мутно, не хотели глядеть.

— Николай заступник, святой Пантелеймон! — без смысла бормотала и крестилась хозяйка, пугая бедного Оскара причитаниями и жалостливыми взглядами.

— Хозяюшка! Помолитесь божьим угодникам, ее величество медицина вступает в права, — замысловато объявил доктор, раскрыв руки и тесня ее к печке. Заодно потеснил хозяина и Прошку туда же.

Хозяйка крестилась за занавеской у печки. Хозяин курил, шепотком делясь с Прошкой, как они с постояльцем ходили на Перово озеро стрелять уток. И Владимир Ильич с Женькой своей соберется, бывало, азартный, не оторвешь от ружья! А уж Оскар Александрович вовсе ненасытным охотником был...

«Был! — царапнуло Прошку. — Неужто опять беда?»

Но оттуда, от кровати больного, доносился невозмутимый докторский тенор, назначавший лечение и мудреные, по-латыни, лекарства. Услышав латынь, хозяйка пуще разгоревалась:

— Молоденький, холостой, помрет, схоронят на чужой стороне, а помянуть некому.

Между тем Оскар уже от одного появления доктора стал поправляться. Уже не лежал плашмя в покорной тоске, в глазах трепыхнулась живинка. Расхрабрился, запросил испить кисленького. Кисленького, то есть клюквенного настоя, доктор позволил и долго повторял и внушал, как лечиться, твердил по-латыни названья лекарств.

На душе у всех полегчало: видно, Оскара Энгберга хоронить на чужой стороне не придется, и Прошка, условившись, где и когда встретится с Семеном Михеевичем, чтобы ехать домой, пошел к Леопольду.

— Поклон им навсегда! — наказал Оскар Энгберг.

Почему навсегда? Прошке некогда раздумывать над поклонами Энгберга. Скорей к Леопольду!

Запутанная жизнь. Бежать бы со всех ног в тихую, уютную улочку, где над Шушей стоит дом с двумя колоннами на деревянном крыльце. Там синеглазая Паша. Насмешница Елизавета Васильевна. Владимир Ильич. «Рабочий класс» Прошка, бежать бы тебе к Владимиру Ильичу Ульянову! А он сначала бежал к Леопольду. Зачем? Ведь скоро уедет Леопольд. Долго ехать до Польши из села Шушенского, Минусинского округа, Елисейской губернии. Когда-то доедешь! Когда-то приплетется из Польши письмо до Красноярска по железной дороге, от Красноярска на перекладных, как сто лет назад. Сколько дней, недель, месяцев проползет в ожиданиях, пока Паша кинется в ноги: «Батюшка, матушка, отпустите в город Лодзь!»

А вы верите, что в жизнь свою не выдавшие железной дороги (она всего третий год и идет по Сибири), в жизнь свою не бывавшие дальше Минусинска батюшка с матушкой отпустят дочь Пашу в дымный фабричный город Лодзь? Неведомо куда, в Польшу? Они про Польшу по политическим только и знают.

Прошка, может, схитрить? Утаить? Вот уедет Леопольд... Нет, он шел. В шубейке нараспашку, обмотав шею шарфом (Дмитрия Ильича теплым, в клетку шарфом), шагал. «Не хочу таить, Леопольд, ты уедешь, а я ее люблю».

Шагал по аршину, размахивая руками. Чем дальше — тише. Возле избы вовсе стал, словно чего-то надеясь дождаться. Постоял, не дождался и вошел в сени не очень смелыми шагами. Из избы неслись возгласы. Там спорили голоса. Женский, плачущий:

— Сил нет больше терпеть. Устала я. Матка боска, кеды будет конец?

Мужской, неуверенный, стараясь бодриться:

— Текла, Текла, семья твоя при тебе, дети здоровы, муж не в тюрьме запертой, а нынче и вовсе на воле, не гневи свою матку боску, найдет настоящей беды.

Женский, сердясь, негодуя:

— Это ль не беда? Смеешься, муженек? Смейся над моими слезами.

Мужской:

— Текла, Текла, тебе легче, что плачешь.

Прошка стукнул в дверь и рывком отворил. Что у них! По всей избе валяются вещи, тряпки; наполовину полный одежды, стоит раскрытый сундук, вязки тугих оранжевых луковиц, ящики — пустой и с посудой, переложенной сеном; опрокинутый табурет, печные горшки на полу, приставленный к оконной раме кверху рогами ухват, и посреди этого столпотворения мужчина и женщина. Он с запорожскими усами, как на картине Репина, только очень уж истомленный и сумрачный; она бледнолицая, чернобровая, из глаз так и брызжут гневные искры.—Прошка мгновенно узнал мать Леопольда. По лавкам расселись мальчишки и девчонки разных возрастов (что-то много, показалось Прошке), серьезные, с ломтями посоленного хлеба.

— Дзень добрый. Чего пану тшеба? — спросила мать с вызовом, подперев бок кулаком: «Ну, беспорядок, ну, бедность и ребят орава, ну и что? Мы не жалуемся, а вас не просим жалеть». — Пану тшеба наш старший сын Леопольд? — Повела плечом: — Там.

Прошка шагнул за перегородку в другую половину избы. Леопольд копался там в ворохе книг. Что-то прибитое было в нем. Нервно подрагивали ноздри тонкого носа. Увидел Прошку, опустили руки.

— Несчастье. В Польшу не едем.

Им отказали в пособии. Без пособия не доехать до дому. Насмеялись над ними. Когда мать поднялась из Лод-

зи в Сибирь к отцу со всеми ребятами, начальство сулило, на обратную дорогу будет пособие, закон есть такой. Владимир Ильич писал им прошение. Владимир Ильич знает законы. Их обманули. Разве мать бросила бы дом? Э! В доме ли дело? Что дом? Полуподвал из двух комнатушек. У них Польша была. Вся Польша принадлежала Проминским, родина. Лодзь с фабричными заводскими гудками. По утрам гудки ревели, пели, как трубы. Как оркестр медных труб, у каждой свой голос, то высокий, то низкий, призывный; многоголосо сзывали фабричные гудки народ на работу, улицы заливало рабочими куртками. Леопольд мечтал быть с лодзинским рабочим классом! Там его Польша. Истоптанная чужими солдатскими сапогами, негнущаяся. Домой, домой! Ах, тоска...

— Матка боска, да я ж совсем потерялась с этим нашим добром! — слышалось из той половины избы. — Ян мой милый, скажи хоть ты, брать нам ухват или можно пусть остается?

— Давай книги связывать, — хмуро бросил Леопольд.

У Прошки не повертывался язык спросить, куда они уезжают. Неизвестно отчего, Прошка чувствовал перед Леопольдом вину.

Книг не так было много. Вот эту подарил Владимир Ильич. И эту! Вся душа всколыхнулась у Прошки при виде пестренькой, с коричневыми наугольничками книги, точь-в-точь как та, петербургская, которую когда-то с таким волнением он проглотил в одну ночь! «Школьные товарищи. Сочинение Эдмондо д'Амичиса. Перевод с итальянского...» Вот где он ее снова нашел эту добрую книгу. Сразу встали перед глазами Ульяновы, все, с кем встречался. В душе вспыхнуло то небудничное, чистое, что всегда поднимали в нем встречи с Ульяновыми. Нечастые встречи, а вся Прошкина жизнь просветлена и пронизана ими.

До позднего вечера в избе Проминских была суматоха. Никто не знал толком, что делать, за что браться.

— Матка боска, пропадаю, совсем пропадаю!

Однако с появлением Прошки пани Текле прибавилось энергии. Прошка живо заделался ее главным помощником. Упаковывал, заколачивал, связывал. Пани Текле оставалось командовать.

— Забывайте ящик с посудой, пан Прохор! А ухват возьмем. Что за жизнь без ухвата? И борща не сварить без ухвата. Леопольд, куда ты мою юбку суешь? Матка боска, да это ж та самая юбка, которую я надевала, когда ходила в Лодзи молиться в костел. Ян мой милый, може найдешь еднэ мейсце для моей праздничной юбки? Зося! Броня! Стасик! Тащите от печки чугуна. Как мы его повезем, этот великий чугун! Нет, я умру... Матка боска!

Настали сумерки. В сумерки за Прошкой заехал доктор Арканов.

— Пан Прохор не останется нас проводить? — увидев под окошком возок, огорчилась мать Леопольда.

— Ты не останешься? — надменно и просительно уронил Леопольд.

И Прошка сочинил доктору сказку, что писарь отпустил его в Шушенское на столько дней, сколько душе пожелается.

— Исключительный случай, — удивился доктор, но спорить не стал и уехал один.

— Пан Прохор, зашивайте мешок, — с новым подъемом принялась распорядиться Текла Проминская. — А ты, Леопольд, будто чужой человек, будто чужое тебе наше добро...

— Мама, не надо! — поморщился он.

В последний раз сели Проминские ужинать за шушенский стол. После ужина детей сморил сон, улеглись где попало, по лавкам, на печке.

«Леопольд! Неужели так и не поговорим напоследок?» — молча спрашивал Прошка.

Отец набивал трубку, долго приминая пальцем табак. Давно уже набита трубка, а он все тычет пальцем, все уминает табак, а думает не о трубке, совсем о другом.

Чу! Шаги в сенях. Пришли. Пришли все-таки! А как же ты думал, товарищ Ян Проминский? Неужели ты сомневался?

— Пани Текла! — растроганно восклицала Надежда Константиновна, держа и любовно глядя ее руки. — Пани Текла! Сколько милого с вами уходит, пережитого вместе. Серьезного, печального и радостного. Целая полоса жизни уходит...

Бурно, больно забилося сердце у Прошки. Еще не увидя, он знал: Паша здесь.

Она была в желтом дубленом полушубке, цветной шаля и нестерпимо грустной показалась Прошке в этой яркой одежде. Стала у порога, засунула руки в рукава и стояла без улыбки и слова, пока Надежда Константиновна и Владимир Ильич прощались с Проминскими.

— Итак, завтра навсегда прощай Шушенское, — душевно говорил Владимир Ильич. — Удастся ли встретиться? Удастся или нет, спасибо за дружбу, товарищ Ян. За охоту, за песни, за Первое мая. Помните, как весело, с красными флагами мы встречали Первое мая. За вашу революционную стойкость спасибо.

— Дзенькуе, Владимир Ильич. А что, Владимир Ильич, — потягивая запорожский ус, сказал Ян Проминский, — не по нашему обычаю у нас свидание идет. По нашему обычаю так.

Он тихо запел глуховатым низким голосом:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...

Владимир Ильич подхватил, вполголоса вторя:

В бой роковой мы вступили с врагами...

Почти шепотом Надежда Константиновна:

Нас еще судьбы безвестные ждут.

Леопольд вытянулся, словно давая присягу, и негромко, четко, отрубая слова:

Но мы подыдем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...

Мороз прошел по коже у Прошки от их тихого пения, их слов, похожих на клятву.

— Не забывай, Леопольд! — задумчиво сказал Владимир Ильич, когда кончили петь.

— Никогда!

Владимир Ильич с Надеждой Константиновной простились, ушли. Паша пропустила их из избы. Молча в пояс поклонилась матери и отцу Леопольда. Прошке чуть кивнула откуда-то издали.

Растерянный, смятый, стоял Леопольд, словно ураган над ним пролетел. Опомнился. Загреб в охапку трех, дошку и — вон.

— Яка ясна паненка, — сказала мать с мечтательной улыбкой. — Нашего сына старшого ясна паненка.

Отец промолчал, приминая пальцем в трубке табак.

— Что за люди Ульяновы! — сказала пани Текла. — Не знаю, есть ли еще на свете тацi добжи людзе, нови людзе.

Леопольду и Прошке постелили в той половине избы на полу лоскутное одеяло, бросили под головы чью-то одежонку. Прошка лег. Укрылся шубейкой.

Белая полная луна висела в окне. Лила смутный свет белая от лунного снега беззвучная ночь. Суматошный сегодняшний день колесом вертелся в голове. Высились перед глазами осыпанные снегом сосны тайги, подпирая вершинами утреннее синее небо. Зимний лес, величавый.

Вдруг все сменяется. Духота, теснота, шум, мусор избы. Надрывный зов пани Теклы в ушах: «Пан Прохор, зашивайте мешки!» Паша у порога в желтом дубленом полушубке... «Вихри враждебные веют над нами...» Паша так и простояла без слов. Как долго не идет Леопольд! И с Леопольдом за весь день ни о чем не сказали. Как долго он не возвращается.

Белая луна отодвинулась от окошка. Углы в избе потемнели. Слышно, прокричал петух во дворе.



Леопольд поднялся рывком, сел, обхватив колени руками.

Леопольд вошел на цыпочках, бесшумно, разулся, лег возле Прошки.

Лежали долго, не говоря.

— Прошка, не спишь, я слышу,— наконец прошептал Леопольд.

— Не сплю.

— О чем ты думаешь, Прошка?

— О жизни.

Леопольд поднялся рывком, сел, обхватив колени руками. В белесоватом сумраке ночи Прошка видел его прямой профиль, длинную черную бровь.

— Если бы мы уезжали в Польшу, я надеялся, она к нам приедет. Был уверен, приедет. А сейчас почему-то думаю, нет. Знаю, уверен, что нет. Никогда не увижу ее. Она не приедет. Прошка, как я несчастлив!

— Леопольд, не надо... не горюй так, Леопольд! — растерянно утешал Прошка и не верил, что можно утешить.

— Прошка, скажи ей, всю жизнь буду помнить. Никогда не разлюблю. Скажешь?

— Сам бы сказал.

— Говорил. Завтра передай еще от меня. Передашь?

— Передам.

Леопольд лег на спину, закинул под голову руки, вытянулся и лежал неподвижно. Глядел в потолок: «Я несчастлив. Как я несчастлив».

Желтизна на востоке слабо светлила мглистое небо. Глубоко где-то за мглой встало солнце. Нынче не выбить-ся солнцу из набухших снегами серых туч, низко накрывших просыпавшееся после ночи село Шушенское. Невеселое начиналось утро. Распахнуты ворота во двор. Дверь в избу не прикрыта. Два санных следа ведут со двора. Проминские уехали затемно.

Прошка шел по снегу, придерживая за пазухой книж-

ку «Школьные товарищи», обменял у Леопольда на Максима Горького.

Который раз за свои недолгие годы Прошка расстался! Дорогое, что только-только нашел, обрывалось в его жизни, оставляя на душе пустоту.

Проминские уехали в Красноярск служить на железную дорогу. Кржижановские и Старковы из Минусинска уехали. Все уезжают. Михаила Александровича Сильвина признали годным в солдаты, скоро заберут. Не останется и Прошкина учительница в Сибири без мужа. Кончается срок у Лепешинских. Три последних месяца доживать в ссылке Ульяновым. Все уезжают...

Плохо, Прошка, придется тебе. И за вчерашнее самовольство придется ответить. Какое наказание писарь припишет? Зашлет на край света, на самый Северный полюс. Тут тебе и конец.

Пока что Прошка брел по селу в направлении слепенькой, под снеговой шапкой избенки Сосипатыча проведать больного Оскара.

В избах топили печи, дым из труб стелился над крышами; повизгивали, нагибаясь, журавли колодцев; слышались голоса за заборами, глухо-наглухо отгородившими дворы от улицы; слышно было хруст снега, мычание коров — задавали скотине корм.

На столе у Сосипатыча валил горячий вкусный пар из чугуна с картофелем.

— Садись, парень, гостем будешь, — хлопотал Сосипатыч. — Крепенького нет, за здоровье постояльца нашего с радости-то маленько бы...

Оскар Энгберг, слабый и бледный, лежал, однако, совсем не тот, что вчера. Побритый, с прямым, как линейка, левым пробором, аккуратно подкрученными светлыми усиками. В голове у него уже строились планы на будущее.

— С постели поднимусь, вон инструменты мои дожидаются.

Эти инструменты Надежда Константиновна, когда

ехала в ссылку, привезла из России. Владимир Ильич написал, что, мол, есть у меня в Шушенском товарищ, рабочий Оскар Энгберг, мастер ювелирной работы, тоскует без дела, и на прожитие с теми инструментами заработать бы можно...

Надежда Константиновна по просьбе Владимира Ильича привезла Энгбергу набор инструментов, а они не легонькие, тяжелую корзиночку Надежда Константиновна привезла для Оскара.

...У Прошки за пазухой книжка, перевод А. Ульяновой. Владимир Ильич спрашивал в письме к матери: разве итальянский писатель д'Амичис, которого перевела Аня, пишет для детей? Он не знал, что Аня перевела детскую книжку. Детскую? Отлично! Пришлите, пожалуйста. Непременно пришлите ребятам Проминского!

...Оскар Энгберг выкладывал Прошке планы, что день-другой полежит, как велел доктор, а встанет от болезни, примется изготавливать Надежде Константиновне к отъезду из ссылки подарок. Брошь в виде книжки. Выгравировано будет на книжке: Карл Маркс. На память. Чтобы помнила, как учила Оскара Энгберга понимать «Капитал» Карла Маркса, разбираться в политике. Чтобы помнила, какая пригожая приехала в Шушенское, приятная, тоненькая, будто молодая березка. Улыбнется — окошко в весенний сад распахнулось!

Впрочем... Оскару Энгбергу помнить об этом. А Надежда Константиновна повезет из Шушенского брошь в виде книжки.

...Небо все ниже нависало. Сизое, снеговое. А утро, однако, посветлело немного, и Прошка, пожелав доброго здоровья Оскару и удачной охоты Сосипатычу, пошагал в тихую улочку над рекой Шушей. Реку Шушу и не разглядеть бы под снегом, да убитая валенками тропка вела к проруби, круглому омутцу с зелеными гладкими краями, над которыми тонко дымилась белым паром ледяная вода. Паша ходит к этой проруби полоскать белье.

Она охнула, когда он вошел в дом. Тихо: «Ой!»

И опустилась на лавку, словно без сил. Вчера не заметила Прошку. Ничего не сказала. Даже «здравствуй» не сказала.

Наверное, она тоже не спала эту ночь, глаза ее были без блеска, без искр.

— Глядите, кто к нам пожаловал! — воскликнула Елизавета Васильевна. — К нам питерский печатник пожаловал, товарищ Прохор. Идите садитесь за стол. Пашенька, деточка, чайку бы! А может, он и есть хочет? Может, он голодный? Не стесняйтесь, Проша. Я еще с питерских времен привыкла вашего брата кормить.

Добрая Елизавета Васильевна Крупская! Прошка не знал о поручике Константине Игнатьевиче, который на площади уездного польского городка разгонял из пистолета жандармов и лавочников, издевавшихся над евреями и польским народом во славу российской императорской власти. Прошка не знал о поручике Крупском. Леопольд не успел рассказать. Ведь они всего два раза и виделись с Леопольдом Проминским.

— Так что же, товарищ рабочий-печатник, значит, Дворцовая площадь, Петр Первый на коне?.. — лукаво шурилась Елизавета Васильевна, напоминая, как в ту встречу они состязались, кто лучше знает знаменитые в Петербурге места и памятники.

Тогда был вечер. На столе на круглом подносе фыр-кал и бурлил самовар, Елизавета Васильевна была весела и смешлива, и Прошка даже думать забыл, что его выслали в ссылку. Думал, хорошо жить! Сейчас он опять сидел здесь за чаем. Надежда Константиновна в темном платье, в котором совсем была тоненькой, в легком пуховом платке ходила по комнате маленькими шажками. Иногда оставалась, придерживая платок у подбородка.

Если бы на месте Прошки был Леопольд, удивился бы, что Надежда Константиновна ходит. Ведь это у Владимира Ильича привычка ходить. Прошка не знал их привычек, но беспокойство Надежды Константиновны передавалось ему. Надежда Константиновна была беспокой-

на. Вспомнилась питерская жизнь, вдруг вспомнилась, вспомнилась вся! Увидела товарища Прохора, подручного печатника из типолитографии Лейферта, и поняла, как соскучилась, стосковалась о питерских рабочих кружках и вечерних классах, где была учительницей. Как любила свою должность, которую надо было скрывать от полиции. Как старательно готовилась к лекциям, с подъемом, волнением. Как ее любили и уважали ученики. И как это было все хорошо.

— Когда живешь среди рабочего класса, хоть частью живешь, удивительно чувствуешь силу и значительность жизни. Я не говорю обо всех подряд рабочих, я говорю о рабочем классе, молодом, на который историей возложена миссия... А в то же время интересно, страшно важно и с каждым отдельно рабочим! Живые люди. Не отвлеченные понятия, а живые, очень разные, серьезные люди. Ах, что-то запечалилась я.

— Это отъезд Проминских на тебя подействовал,— сказала мать.

— Конечно, подействовал. Хорошо, когда знаешь, зачем живешь, когда перед тобой большая задача.— Надежда Константиновна подошла к ней, обняла: — Родная моя.

После чугунка с горячим картофелем у Сосипатыча Прошка через силу одолел пышку, подсунутую ему Елизаветой Васильевной. Допил чай. Перевернул чашку вверх дном, как приучила бабка Степанида, блюдя свои строгие правила. Положил на дно чашки огрызок сахара и подумал с грустью, что пора в Ермаковское. Сказал спасибо за чай, сказал, что ермаковские кланяются, здоровья желают, а ему, Прошке, нельзя ли перед уходом Владимира Ильича повидать?

— Важное дело? — спросила Надежда Константиновна.

— Нет, дела важного нет. Просто повидать.

Надежда Константиновна пытливо на него поглядела и, ничего не ответив, ушла в ту комнату, где Прошке быть пока не пришлось. Прошка еще не видел конторку с

перильцами и лампы под зеленым абажуром, всегда на одном месте, у перилец, в левом углу. Владимир Ильич работал каждый день допоздна. Светит в окно ночью зеленая лампа. Тысячи верст вокруг. Все ночь, ночь. Все Сибирь да Сибирь. Все тайга. Одна горит зеленая лампа в окошке...

Владимир Ильич за конторкой писал. Остро отточенный карандаш без остановки бежал по листу. Надежда Константиновна знала его манеру писать. Быстро, быстро, быстро! Она любила его манеру страшно быстро писать. Когда любишь человека, все любишь в нем.

Надежда Константиновна присела к столу. Там ее ждали переводы, рукопись книги «Женщина-работница», которую она с таким увлечением писала. Но сейчас она пришла не затем, чтобы работать. Облокотилась на стол, подперла подбородок ладонями. Так могла она долго молча сидеть, когда Владимир Ильич работал у конторки. Он оторвался от листа.

«Ты вошла, милая, побудь здесь, погоди, надо кончить, не упустить одно важное...» — сказал его мгновенный взгляд, ласковый и тут же ушедший в себя, в свою мысль.

Он снова писал. Надежда Константиновна думала о том, как он много работает. Слишком много! Стал плохо спать. Похудел. Нервным стал. Посреди разговора иногда оборвет нить, умолкнет, молчит. Три месяца осталось жить в Шушенском. Три самых трудных за всю ссылку месяца! Вся его душа, весь его ум, все его существо сосредоточились на ожидании будущего, теперь близкого будущего; чем ближе, тем нетерпеливее рвется Владимир Ильич к практической деятельности, восстановлению и созданию партии!

То, что Владимир Ильич обдумывал сейчас и писал, была статья для «Рабочей газеты», которую год назад на Первом съезде партии в Минске признали официальным партийным органом. Участники Первого съезда почти все арестованы. Полиция преследовала газету. Вышли

только два номера. Окольными путями Владимира Ильича известили, что товарищи пытаются возобновить выпуск «Рабочей газеты». Он писал для нее. Может быть, не удастся опубликовать в «Рабочей газете» эти статьи. Но важно было их написать.

«Мы стоим всецело на почве теории Маркса: она впервые превратила социализм из утопии в науку... Мы все не смотрим на теорию Маркса, как на нечто законченное и неприкосновенное... Мы думаем, что для русских социалистов особенно необходима самостоятельная разработка теории Маркса... В России не только рабочие, но и все граждане лишены политических прав. Россия — монархия самодержавная, неограниченная. Царь один издает законы, назначает чиновников и надзирает за ними».

В эти последние нетерпеливые месяцы ссылки Владимир Ильич обдумывал программу политической борьбы рабочего класса. Борьбы против царя, против бесправия. Полицейщины. Эксплуатации.

За социализм. За новое общество.

Все яснее виделся ему проект Программы революционной рабочей партии.

Надежда Константиновна куталась в пуховый платок — так уютнее думать... В планах и Программе Владимира Ильича нет ничего фантастического. Никакой фразы нет. Все реально, практично, жизненно. И есть сила мечты. Разве идеал — это то, что никогда не сбывается? К чему идут, идут и никогда не приходят? Но убедительность Программы, которую для Российской рабочей партии создавал Владимир Ильич, как раз в том, что она зовет идти к реальному. Нам, людям нашего поколения, идти. Дойдем?..

Владимир Ильич оставил писать за конторкой и подошел к ней.

— Что, Надюша?

— Так, задумалась, — улыбнулась она. — Володя, а знаешь, там Прошка... Товарищ Прохор.

Прошка с первой встречи вызвал у них обоих симпа-

тию. Владимир Ильич чувствовал, парень тянется к ним, к революционному делу. И, наверное, не уйдет с пути, который искал в Питере ошупью, а сейчас все сознательнее.

— Итак, учитесь? — спросил Владимир Ильич, выходя к нему в другую комнату. — Всерьез? Ежедневно? Молодцом! Михаил Александрович Сильвин лекции о французской революции читает? Смотри-ка, Надя, как далеко наш товарищ Прохор шагнул! Вот вы рассказывали, товарищ Прохор, что и о философии на уроках толкуете? А знаете ли вы, какая разница между философами прежних времен и марксистами, философами нашего времени? Какая большущая и принципиальная разница?

Если бы Владимир Ильич думал, что Прошка, окончивший всего лишь четыре класса городской начальной школы в Подольске, предан не тому основному, что направляет жизнь передовых рабочих, а чему-то другому, бытовому, житейскому, он не стал бы с ним так говорить. Но Владимир Ильич чувствовал в Прошке отклик на свои сокровенные, отчаянно смелые мысли. И потому говорил с ним о важном и крупном, самом существенном, что вытекало из его сегодняшней работы за конторкой, что отвечало раздумьям Надежды Константиновны.

Он говорил о том, что философы прежних времен только объясняли мир, а философы наших взглядов, нашего времени хотят переделывать мир. Вот в чем существенная разница.

— Мы поняли мир. Объяснили. И будем переделывать.

— Я думаю, уже наше поколение... — сказала Надежда Константиновна.

— Да! — подхватил Владимир Ильич. — Уже наше поколение, товарищ Прохор, а ваше тем более, дойдет до цели. Добьются намеченного. Потому что мы знаем, чего нам надо: переделать мир. Страшно важно, товарищ Прохор, твердо знать это, уверенно знать! Не колебаться...

Прошка слушал. Понимал. Душой понимал.

Неизвестно, случится ли еще приехать сюда, к Владимиру Ильичу, в село Шушенское. Осталось три месяца до конца их ссылки...

Ну, прощайте! Может быть, не прощайте?..

Наступит 1917 год, и, может быть, еще встретится товарищ Прохор с товарищем Лениным.

Паши в комнате не было. Где она? Куда убежала? Спросить Владимира Ильича о том, что застряло на сердце, точит и ноет? Что ты, Прошка! После всего, что сказал Владимир Ильич, что надо переделывать мир?.. Разве можно! Но напоследок, на самый последок, когда Елизавета Васильевна и Надежда Константиновна, невзирая на то, что товарищ Прохор питерский рабочий класс, расцеловали его крепко-накрепко, как самого простого парнишку, когда и Владимир Ильич уже потряс ему руку, прощаясь, неожиданно Прошка спросил:

— Если два революционера одну девушку любят, как им быть, революционерам-то?

Эх ты, Прошка, глазищи как плоски! Не утерпел все-таки, выпалил.

Владимир Ильич молча щурился.

— Если два революционера...— повторил Прошка жиденьким, замирающим голосом.

— А она? — сказал Владимир Ильич.— Кого из двоих она любит?

...Вот так, наверное, ответил бы Владимир Ильич. Но у Прошки застряли в горле слова. Не спросил. Не решился. А Владимир Ильич, наверное, ответил бы так...

Прошка вышел из дома. Серое тяжелое небо. Сейчас прорвется, завьюжит, заметет. Снег, снег над селом Шушенским. Над Саянами. Над тайгой. Снег, снег...

Во дворе против крыльца — голая, опутанная засохшими ветвями хмелья беседка. Больше не будут Владимир Ильич и Надежда Константиновна сидеть летом в этой беседке под звездным небом Сибири.

— Прощка!

Паша выскочила из дома, простоволосая, в валенках и своем желтом дубленом полушубке.

— Прощка! Стой, Прощка, на, Прощка.

Она выхватила из-за пазухи теплый пушистый комок. Варежки, серенькие с белым, с оборочкой.

— Зачем? — испугался он.

— Разве материну-то память дарят? Беречь надо. Бери. Береги.

Он взял. Она стояла, потупив голову, поникшая, грустная.

— Паша, отчего ты Леопольду ничего не сказала?

— А ты?

— Паша, Леопольд велел передать, что никогда не забудет. Всю жизнь тебя будет любить, — ответил он.

Она молчала, опустив голову.

— Паша, я еще приеду к вам, в Шушенское. Если не ушлют куда далеко. А ушлют, все равно приеду, а, Паша?

Вдруг она вскинула руки ему на плечи.

— Приезжай, приезжай, приезжай! Жалко мне вас. Мают вас, гоняют по ссылкам, воли вам нет, хорошие вы. Жалею я вас.

Она поправляла на нем шарф, укутывала ему шею и, к изумлению, счастьем и горю его, твердила:

— Приезжай, Прощка, приезжай!

Махнула рукой. И убежала. Как тогда.

Серое небо над Шушенским. В последний раз оглянулся Прощка на крылечко с двумя деревянными колоннами.

Надо в волостное правление. Или на постоянный двор. Где-то надо искать оказию в село Ермаковское. Не повернется оказия, пешком, через степь, через лес. Ну и что? Волки не часто людей загрызают. Как-нибудь доберусь.

Что Прошку ждет в селе Ермаковском? Что писарь пропишет?

Что бы ни было, Прошка шел твердый, почти счастливый.

Вихри враждебные веют над нами...

Прошка думал о словах Владимира Ильича, о том, что наша задача не только объяснять, но и переделывать мир. И Паша в желтом полушубке стояла перед глазами. «Воли вам нет, гоняют по ссылкам». Милая Паша, милая Паша.

Вихри враждебные веют над нами...
Но мы подыдем гордо и смело...

ТРИ НЕДЕЛИ ПОКОЯ

ПОВЕСТЬ

РИСУНКИ О. БОГАЕВСКОЙ



1

— Прими сходни. Носовую отдай.

Капитан в белом кителе, с могучими плечами и кирпичного цвета лицом командовал, стоя на мостике, прочно расставив ноги,— настоящий морской волк из повестей Станюковича. Немного странно было, что такой видный капитан с трубным голосом командует таким скромным пароходиком, однопалубным, с двумя десятками, не больше, пассажирских кают, забитой простым людом кормой и мешками заграничного риса в трюме, доставляемого по назначению.

На спасательных кругах по левому и правому борту и на кожухе над колесом парохода видно четко выписанное короткое название: «Ост». Все на пароходе — рулевая рубка, палубы, мебель в каютах и салоне — чисто, ново, свежо.

Совсем недавно спущенный на воду «Ост» отправляется в первый рейс из Нижнего Новгорода.

Трудяга, почти полвека он будет совершать тихие рейсы Казань — Уфа, послушно подчиняясь рулю, затем встанет на прикол где-то на речке Уфимке, надолго затеявшись из памяти людей, пока ветераны-коммунисты Башкирской республики не возьмутся за поиск отслужившего парохода. Поиск будет сложен, долог, но завершится победой. «Ост» найден. Поднимется в городе паром-памятник, славя труд Ленина.

— Прими сходни. Носовую отдай.

Грохоча, поехали сходни на пристань. Борт затворился. Куда-то вдоль палубы побежал матрос. Стекала вода с каната, улегшегося витками у борта, как гигантская кобра.

— Кормовую отдай. Задний тихий.

Пароход прогудел низким басом, у Марии Александровны сжалось сердце.

Этот гудок над Волгой так знаком... Короткий, гулкий, будящий эхо. Она любила слушать его голос: «До свидания. Отплываем».

Под колесами зашлепала вода, и пристань с оживленной, летней толпой провожающих в цветных шарфах и шляпах-канотье, с беспорядочно наваленными ящиками, бочками, от которых резко пахло селедкой, отодвинулась, и стал виден Нижний, и чем дальше на середину Волги, разворачиваясь по течению, отходил пароход, тем отчетливее был виден Нижний на горах, радостная зелень Откоса, высокого, круто идущего вниз. Стены кремля уступами сходят с гор и вновь поднимаются вверх, спокойные и тяжелые. Башни с пустыми глазами бойниц. Коромысловую башню, пожалуй, не видно.

...О Коромысловой башне рассказывали легенду. На Нижний Новгород напали враги. Обложили город вражеские войска — ни входа, ни выхода. Насмерть стояли нижегородцы, не сдавались врагу. Съедены запасы, не осталось воды, погибать стали люди. Одна девушка решилась, взяла коромысло и ведра и до рассвета пошла на речку Почайну за водой. Речка Почайна быстро сбегала тенистым овражком к Волге. Тайным ходом дошла девушка до Почайны, но вражеские дозоры заметили, напали. Стала она коромыслом отбиваться, сносить врагам головы с плеч. Да ударила о сосну и сломала. Тогда лишь одолели враги смелую девушку. Держали совет: «Когда женщины у нижегородцев такие смелые, то каково же нам будет, если мужчины выйдут из города?» И отступили от гордого Нижнего Новгорода. А смелую девушку нижегородцы с великими почестями похоронили под башней и назвали башню Коромысловой.

Тогда они любили приходить к Коромысловой башне. Отсюда открывалась глазам Волга и впадение в Волгу Оки. Они любили долго идти вдоль кремлевской стены, то говорить, то молчать и глядеть на Волгу.

Тридцать лет назад в Нижнем началось ее семейное счастье. Она привязалась к этим местам. Иногда приходила к Волге, как на свидание. Илья Николаевич давал в классах уроки, а она соберется в лавку за провизией или в город по какому-нибудь делу, а сама быстрее туда, на Откос.

Утрами тут пусто, просторно. Внизу под Откосом раскинулась Волга. Величавая, будто не течет, а лежит. А жизнь кипит всюю. Перекликаются пароходы, шустрые лодчонки снуют взад-вперед, на полверсты растянулся караван грузно осевших в воду баржей, и тугой парус, кренясь набок, надуваемый ветром, сам как ветер... Как она любила все это! Она возвращалась домой. На душе свет, в глазах кружатся серебряные зайчики — нагляде-

лась на Волгу, всю в солнечных пятнах. Но она помнила все, что нужно ее дому, и, вернувшись, принималась за работу со свойственной ей аккуратностью. Длинная, из четырех комнат, квартира в первом этаже мужской гимназии чиста безупречно! Ни вещички зря. Ни соринки. Светло. Кисейные занавески. Цветы. И ее душа, ее радость — рояль.

Когда наступало время обеда, она надевала платье к лицу, поправляла прическу. Наверное, сейчас как раз в классах звонок.

Уроки кончились. Выхватив ранцы из парт, сломя голову несутся гимназисты по лестницам. Даже отсюда, из квартиры учителя, слышен топот, словно табун жеребцов скачет.

— До свидания, Илья Николаевич!

— Илья Николаевич, а как вы относитесь...

Минут на пятнадцать кто-то крутолобый, упрямый задержит его своими вопросами. Он возвращается с уроков довольный. Заманчив обеденный стол, покрытый туго накрахмаленной скатертью! Веселящая чистота в их доме, какой-то особенный умный уют. А заметил ли он ее складненькое платье? Увидел. Заметил.

Потом, после обеда, когда он перескажет ей уроки и беседы с учениками, выльет огорчения и радости дня и все мысли, какие родились за день, она сядет за рояль. Любимый час. Свечи на рояле, слабо колышутся желтоватые языки. Колышутся тени, шаря по нотам, трогая клавиши, пробегая по его лицу, наискосок от нее, над роялем. Оперся о рояль. Она любила в те вечера играть Моцарта. Звонкий, светящийся Моцарт подходил к их счастью. Она была сдержанна, тиха, Моцарт за нее говорил.

Как давно была молодость!

А пароходик набирает силу, пыхтит. Долгий бархатный гудок. И два коротких. Приветствие встречному. Здорово! Путь добрый.

Трехпалубный, общества «Кавказ и Меркурий», «Вла-

димир Мономах», весь белый, парадный, выставляя высокую грудь, шел снизу. Длинная волна не спеша накатила от «Владимира Мономаха». «Ост» качнуло.

Нижний уже позади. Зелень Откоса, стены кремля, купы темнолистных лип, опоясавших берег под набережной, прилепленные один к другому, тесные, шумные причалы и толпящиеся у причалов пароходы; огромный паром, от утренней зари до заката прилежно пересекающий Волгу туда-назад, полный телег, лошадей и народу, нарядная яхта и медленный плот — все позади.

Пароходик усердно плюхает плечами, с шумом и брызгами крутится вода под колесами, за кормой бурлит пенистый хвост. Чайки, толпясь, провожают пароход, пересекают острыми крыльями воздух, падают к воде и с криком взмывают в синее сияние неба. Но постепенно редуют, отставая. Берега просторней, безлюдней. Правый берег высок, но уже не той высотой, что в Нижнем.

Когда в давнем 1863 году она приехала в Нижний, вчера еще Машенька Бланк, ныне Мария Александровна Ульянова, жена старшего преподавателя физики, получившего назначение в Нижегородскую гимназию, она вглядывалась в город с благодарным любопытством, благодарила его уже за то, что здесь будет строить свою семью.

Многолюдный, деятельный город. В нем была торжественность древнего кремля, в храмах которого шли пышные и благолепные службы, пели церковные хоры, гудели колокола, гул и звон их растекались по Волге и заречным лугам. Каждый камень кремля и старинных площадей говорил об истории. О сражениях и борьбе за отечество. О вдохновении народном. «Люди посадские, люди торговые, люди ратные! Поднимать надо весь народ. Не за один свой город, не за Нижний Новгород, а за всю землю Русскую».

Был город богатых торговых рядов, битком набитых

отечественными и привозными товарами, город ярмарки, в начале века перекочевавшей сюда из Макарьева. На ярмарку съезжались со всей России и из всех стран купцы торговать, здесь хотелось стать живописцем, чтобы схватить кистью неописуемо пестрый, разноцветный хаос одежд, лиц и красок, красок...

Город пристаней: вверх и вниз от Нижнего шли десятки ярмарочных пристаней, сотни складов товаров. Всюду продавали, покупали, всюду торговля.

Был еще другой Нижний. Там, на окраинах, в Канавине и Сормове, далекий Марии Александровне город заводов и фабрик.

В пору молодости она знала о рабочем классе лишь понаслышке. Придет время, и все ее дети, в первую очередь Владимир Ильич, посвятят жизнь борьбе за свободу и счастье рабочих. Мать станет их другом в этой борьбе.

В ее жизни всегда было сильно духовное. Чистота в доме, определенное раз и навсегда для каждой вещи место, педантическая аккуратность, строгий порядок дня — это форма. А содержанием были любовь, книги, искусство, музыка, труд. Она трудилась не покладая рук, чтобы ее дом был чист и красив. И все же когда-нибудь ее стройный мир стал бы тесен ей. Но родились дети. В городе Нижнем родились первые дети. Анна. И старший сын Саша.

Жизнь наполнилась новым, тревожным, бесценным.

Когда дети подросли, мать водила их на Откос. Было радостно приходиться сюда вместе с ними. Впечатления жизни являлись как бы снова впервые. Она старалась глядеть на мир глазами детей. Как они видят? Видят ли они эту Волгу с шестидесятиверстными лугами на том берегу, синеватым туманом окутанные дали, эти стога, молчаливые и одинокие, что-то зовущее и печальщее в зрелище заволжских стогов; пароход плывет навстречу раскаленному полдню, полыхают пламенем окна на палу-

бе, отражая солнце. Сонный плеск волн о берег, они набегают вкрадчиво и тихо и откатываются, таща песок и ракушки,—это качается Волга, расштанная нескончаемым ходом барж и судов мимо Нижнего.

Вечерами она читала детям знакомые ей с детства книги, но сейчас они опять стали новые, мать наслаждалась их новизной. Играла на рояле. Радовалась, что они слушают, мечтательно и серьезно, как отец. Или играла вместе с ними в разные игры. И следила внимательно, как растут их характеры.

Мария Александровна так задумалась, что совсем позабылась: где она и что вокруг. На пароходике между тем вступала в права обычная жизнь. Слышался звон расставляемой в салоне посуды. Несколько пассажиров появились на палубе.

Проплывают берега. Слева покосы. Веет с лугов запахом свежескошенных трав. Бабы в белых платках шевелят сено. Резвый конь несет по лугу телегу, и парень стойком, в розовой рубашке, вздутой на спине пузырем, крутит в руке конец вожжей, и видно, здоровье и молодость распирают ему грудь.

Встали высокоствольные прямые осокори, загородили луга. Вода под ними темна и прохладна; наверное, ходят в воде непуганные язи и окуни, и на долгие версты безлюдье по берегу. Но берег приподняло, глинистый обрыв упал в воду, изрытый стрижиными гнездами, в глазах зарябило от мелькания черных, узких, как лезвия, стрижиных крыл. И появилась деревня.

Мария Александровна глядит на проплывающую мимо деревню и вспоминает деревню своего детства и юности—Кокушкино, недалеко от Казани. Не детство и юность вспоминаются ей. Не заросший сиренями сад, не березовый и липовый парк позади двухэтажного деревянного дома с колоннами, не веселый в душистых некошенных травах спуск к реке Ушне, где ждет разогретая солнцем лодка. Осокой ошетижилась река у берегов и, как блюда, лежат на воде глянцевитые листья кувшинок.

Не то поэтичное, порывистое и ясное, что зовется детством и юностью. Совсем иное вспоминается.

Илья Николаевич умер. Пришла еще страшнее беда.

Жизнь делилась до 1 марта 1887 года и после 1 марта. Тысяча восемьсот восемьдесят седьмой год в деревне Кокушкине. О, какой год! Зима этого года была вьюжной, морозной. Буранами заносило деревню до окон. Вьюги выли, снежные вихри мутно неслись по полям, кривыми сугробами переметало дороги, трещали в саду надломленные сучья деревьев. В трубах дома стонало, свистело. Как она помнит кокушкинские бессонные ночи!..

Сашу казнили в мае месяце тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года. Они не говорили об этом. Мать видела, как вся истончилась, стала как пруттик, как усохшая былинка Аня. Тенью бродила по низеньким комнаткам флигеля. Или с немым плачем стояла долго, не двигаясь, где застигло отчаяние. «Девочка, ты тоскуешь, ты погибаешь».

Аню выслали под надзор полиции в деревню Кокушкино после Сашиной казни. Володю позднее за студенческую сходку в Казани. Мать хлопотала, подавала прошения. Добилась. Обоим назначили высылку в деревню Кокушкино, где стояла небольшая усадьба покойного отца Марии Александровны.

Может быть, Володин приезд Аню спас. Он тоже тосковал, но в нем не умирала жизнь. Он не сдавался.

Дети! Вы говорили о жизни, о смысле жизни, о перестройке общества. Читали целыми днями, а к вечеру выходили из дому и бродили по саду, протапывали тропку на снегу и говорили, говорили... Та кокушкинская зима навсегда вас сдружила.

Была обыкновенная семья. Интеллигентная, хорошая, дружная, но обыкновенная. Стала семья революционеров.

«А ты? Ты старшая в доме. Отца нет. Ты мать. Они твои дети».

Она уважала их. Любовалась их трудом и упорством.



«Здравствуй, моя Волга, долго мы с тобой не видались».

Уважала их труд. Но был ли хоть день, прожитый спокойно?

...Пароходик шел и шел все дальше, оставляя позади Нижний Новгород. Пестрые, летние, изменчиво шли по бортам берега.

Старая женщина с белыми волосами стояла у борта. Хрупкая, в темном платье из легкой материи, падавшей складками до полу. Что-то благородное было в ее манере очень прямо держаться, не сгибая спины, в ее грустной задумчивости. Нет, она не грустна сегодня.

Мария Александровна вздохнула глубоко, полной грудью. Сладко пахнет покосами. Веет ветерок, вольный, волжский. «Здравствуй, моя Волга, долго мы с тобой не видались. Все мои дети родились и выросли на твоих берегах».

Она оглянулась на детей. «Мне не снится, мы вместе, и много еще дней впереди».

Они сидели на скамье. Она, улыбаясь, к ним подошла. Положила руку на плечо сыну.

— Присядь к нам; как ты себя чувствуешь, мамочка? — спросил Владимир Ильич.

— Все не верю, что мы вместе, ты с нами, — сказала она.

Он молча погладил маленькую руку у себя на плече.

2

Совсем недавно Владимир Ильич жил в Пскове. И то воскресное утро было тоже недавно. Как всегда, началось оно звоном церковей.

Ровно в шесть зазванивал гулкий колокол монастыря по ту сторону реки Великой.

Десятки певучих и плавных, басистых и жиденьких колоколов подхватывали «божий глас» в центре, в луговом Завеличье и высоком Запсковье, изрезанном крутыми горами, где ветшали развалины былых укреплений и башен.

Трезвонила звонница Василия «на горке», колоколили у Николая «со усохи», у Покрова «в углу», у Воскресенья «со стадища» (каких только исконных здесь не хранилось названий!); несчетное множество монастырей и церквей усердствовало друг перед другом в искусстве обрядного звона, и далеко по окрестным полям разливалось тягучее пение меди. Владимир Ильич был на ногах задолго до колоколов, созывающих православный народ к ранней обедне. Солнце, поднявшись над крышами, хлынуло в кисейные занавески окна, наполняя комнату мягким сиянием, и разбудило Владимира Ильича.

Он отдернул занавески. В окно глянуло лазурное небо. Двое суток дождало. Ситничек — маленький дождик — сеял и сеял, нудно, без передышки, а в эту ночь разнесло обложные тучи, и засверкало, блистая омытой зеленью, чистое утро. Город еще не просыпался, только на мостовой ворковали и гулили голуби-сизяки.

Потом зазвонили колокола, но к тому времени Владимир Ильич уже заканчивал письмо. Опасаясь выдать на случай жандармской проверки свою радость, он в сдержанных выражениях сообщал, что, доживая в Пскове последние дни, паки и паки возносит благодарности здешнему, выше всех ожиданий, здоровому климату, но что злосчастный катар требует все же полечиться еще за границей и что псковский полицмейстер дал на отъезд разрешение. Дело в шляпе, можно собирать чемодан!

Владимир Ильич выдвинул ящик стола полюбоваться заграничным паспортом. Он только его получил.

Слишком уж важен этот магический документ, выпустивший его из-под надзора российской охранки! С отъездом за границу связаны планы дальнейшей партийной работы, в подготовке к которой протекла вся шушенская ссылка и почти три месяца в Пскове. Почти три месяца непрерывного труда, знакомств, встреч с социал-демократами, совещаний, обдумываний, в результате которых издание за границей нелегальной газеты «Искра» решено окончательно.

О планах издания «Искры» Владимир Ильич мог бы исписать четыре, пять... десять страниц, но, так как малейший намек грозил непоправимой бедой, пришлось ставить точку. Владимир Ильич заклеил конверт и надписал адрес: «Уфа. Угол Тюремной и Жандармской...»

«Ничего себе, веселенький адресок!» — усмехнулся он, подставляя конверт под солнце, чтобы просохли чернила.

Стол стоял у окна и весь был залит солнечным светом. Владимира Ильича потянуло на воздух, куда-нибудь в поле или на берег реки, где майский ветерок несет из садов запахи цветущих груш и яблонь. Он спрятал письмо в карман и на цыпочках вышел из комнаты, намереваясь улизнуть незамеченным. Хозяева непременно затеяли бы завтрак, а Владимиру Ильичу до страсти хотелось выбежать на волю, пока улицы пусты и листья барбарисовых и жасминных кустов за садовыми изгородями росятся жемчужными каплями вчерашнего дождика.

Предосторожности были напрасны. Квартирохозяева, аптекарь Лурьи с супругой, мирно почивали, поскольку аптека в воскресный день заперта.

Владимир Ильич решил отдохнуть и больше не думать об издании «Искры». Полный отдых!

Ноги сами привычным путем привели его к библиотеке, где он порядком просиживал над всевозможными справочниками, так как для заработка и чтобы не вызывать подозрений полиции служил в Пскове статистиком.

«Да, письмо!» — вспомнил Владимир Ильич и возле библиотеки опустил в почтовый ящик конверт с адресом: «Уфа. Угол Тюремной и Жандармской... Надежде Константиновне...»

Они приехали туда прямо из Шушенского. Владимир Ильич должен был отправиться в Псков, а Надежде Константиновне назначено отбывать в Уфе остающийся год ссылки. И там, в этом городе, полном ссыльных, буквально в первые же часы после поезда, когда с непривычки еще пошатывается под ногами земля, начались поиски необходимых для организации «Искры» людей.

Первостепенно важно собрать стойких марксистов, ах, как важно! Договориться: «В чем сейчас наша цель?»

Люди, с которыми, возвращаясь из Шушенского, Владимир Ильич встречался в Уфе, Москве, Петербурге, наконец в самом Пскове, поразились тому, что этот человек с темным от сибирских ветров загаром так хорошо знает состояние революционного дела в России и с такой бесстрашной трезвостью судит о нем.

«Понять главную черту движения!» — вот о чем размышлял Владимир Ильич долгие месяцы в ссылке.

Когда поезд перевалил Уральский хребет, оставив позади белый столб, извещающий, что Азия кончилась, не за горами страстно ожидаемое дело, теперь совсем уж не за горами, перед умственным взором Владимира Ильича картина революционного развития в России рисовалась резко и живо во всей ее сложности.

...Ничего с собой не поделаешь! Он вышел побродить напоследок по Пскову, но голова продолжала работать. Он думал и думал. О том, что рабочее движение широко и могуче, но раздроблено. А среди интеллигентов разногласия, путаница. Экономизм грозит увести рабочих в болото. Опасно! Не смертельно опасно, но закрывать глаза на шатание мысли нельзя. Трижды нельзя! «В чем же задача? Разойтись с теми, кто мешает движению. И возобновить истинно революционную партию. Это сделает «Искра». И для этого нужно... Стоп! Условлено: отдых, не думать...»

Библиотека давно осталась позади.

Мощенные булыжником улицы вывели Владимира Ильича на берег Псковы.

Колокола умолкли. Некоторое время куда-то вдаль катилось замирающее эхо медного гула, и вдруг Владимира Ильича остановила тишина.

С высокой кручи берега как на ладони открывалось Запсковье. Яркий купол неба над веселой толпой крыш, купающихся в белых озерах цветущих яблонь; золоченые луковки храмов, изящные звонницы, похожие издали на

детские игрушки; темные развалины крепостной стены с взбежавшей на самый верх одинокой березкой.

Владимир Ильич удивленно и радостно обозревал открывшийся взору простор, едва ли не впервые за все эти месяцы увидев весну и неотразимую прелесть старого Пскова.

Внизу, под ногами, спешила к устью Пскова, спотыкаясь о валуны и брызгаясь радужной на солнце пеной. Весь берег над Псковой пылал одуванчиками и тонко звенел.

Сначала, после колоколов, слышно было лишь тишину. Теперь Владимир Ильич различал много звуков: щебет какой-то красногрудой птицы, перелетавшей с ветки на ветку в саду и следившей за ним черными глазками; жужжание пчел над цветами; плеск воды о валун; шелест листьев; казалось, даже вздох лепестка, падающего с яблони.

Владимир Ильич шел мимо садов. Порой садовая изгородь подступала к самому краю обрывистого берега, и тогда, цепляясь за траву или ветки кустарника, он с юношеской ловкостью одолевал преграды.

Красногрудая птица продолжала следить за ним черными бусинками, прыгая в ветках и щебеча.

— Спасибо за компанию! — улыбнулся Владимир Ильич.

Как недостает Нади, особенно в это чудесное утро!
...В шушенской ссылке были две полосы: до приезда Нади и после.

До: работа, чтение, письма из дому, изредка встречи с соседями по ссылке — Кржижановским, Старковым, беседы с крестьянами, снова письменный стол, одиночество и ожидание. После: та же работа и счастье, оттого что рядом она.

Однажды они пошли побродить по окрестностям Шушенского. Выдался жаркий день мая, как сейчас в Пскове. Владимир Ильич прихватил бурнус и платок Надежды Константиновны.

— Эх вы навьючились! Ни тучки на небе,— удивилась Елизавета Васильевна.

Она была смешлива и постоянно подшучивала над Владимиром Ильичем, считая его человеком, не приспособленным к быту.

— Может быть, так. Но, что касается бурнуса, дорогая Елизавета Васильевна, надо знать непостоянство сибирского климата! В полчаса навалится с севера ветер, сам Ледовитый океан подует холодным дыханием,— глядишь, а вместо носа сосулька.

— Ох, уж ваша Сибирь!

Надина мать называла его старожилом села «Шу-шу-шу». Большого волостного села, растянувшегося версты на две по плоской низине. Хибары бедноты и переселенцев отодвинуты в проулки, где не просыхает грязь по колено, а на главной улице выстроились кулацкие избы, срубленные из пихтовых, железной прочности, бревен, каждое в обхват. Заборы дворов как крепостные стены. За заборами стонут журавли колодцев, хрипло гавкают цепные псы. Возле шинков в базарные дни пьяные драки.

А помещения для школы в Шушенском нет.

Владимиру Ильичу казалось: как ни старается Надя храбриться, ее страшит с непривычки угрюмое, глухое село.

Она вышла на улицу в беленькой кофточке, заплетя волосы в тугую толстую косу.

Шушенские бабы, пожалуй, осудят. Замужней женщине не полагается носить девичью косу.

Удивительно, до какой степени Надя равнодушна ко всякого рода условностям! Просто не понимает их. Как дитя!

Владимир Ильич засмеялся.

— Что? — спросила она, улыбнувшись в ответ.

Он вел ее к Шуше — неказистой речонке с низкими берегами, заросшими тальником, где водились дикие утки.

— Симпатичная речуха, ей-ей! — жизнерадостно говорил Владимир Ильич.

В давние времена на юге Енисейской губернии и здесь, при впадении Шуши в приток Енисея, жил народец динлины. Динлины и дали речушке имя «Шу-шу», что означает «слияние двух вод». Не правда ли, славно?

Владимир Ильич без конца вспоминал местные бывальщины, придававшие поэтическую окраску неприветливым сибирским краям, где первое время чувствуешь себя все-таки очень заброшенным, очень!

— Зато зимой, когда все покроет снегами, засеребрится инеем тальник над Шушей...

Она остановилась, побледнев от волнения.

— Пусть рудники, вечная мерзлота, Северный полюс — нигде я не унывала бы вместе!

— В таком случае здесь-то уж и вовсе недурно! — воскликнул Владимир Ильич. — Здесь-то уж совсем хорошо! Особенно когда забредешь на такой необитаемый остров.

В самом деле, они попали на остров. Расшатанные лавы привели их через речонку на продолговатую луговину, вытянутую между «двумя водами» — Енисея и Шуши. Левый берег Енисея приподнялся, как бы обнося остров валом, а за ним, вдалеке, высились Саяны.

Обычно над Саянами клубился туман. Или, перевалившись через горные гребни, вдоль отрогов ползли сивые тучи, роняя по склонам клочья дымящихся облаков. Или стояли недвижно, накрыв вечные ледники тяжелыми шапками.

Сейчас словно раздвинуло занавес, и Саяны открылись от подошвы до вершин, облитых серебряным снегом.

— Как торжественны! — сказала Надя.

А цветы! Зеленый островок весь расцвечен кусточками крупных синевато-лиловых цветов, которые Надя приняла за тюльпаны, удивившись, что они запросто растут на лугу. А это всего-навсего обычные луговые цветы со смешным названием «пикульки». Владимир Ильич положил бурнус в траву и побежал рвать пикульки, что было не так-то легко, потому что их длинные стебли крепки,

как проволока, а корни ушли вглубь, цепко ухватившись за землю. Он нарвал целый ворох пикулек, изрезав руки острыми, как осока, листьями.

Где вы увидите такое празднество красок, эту силу жизни? Здесь в лесах растет волшебный цветок марьян корень, в половину человеческого роста. У него алый венчик с золотой сердцевинкой. Он раскрывается, когда идет коренная вода... Да ведь вы, европейцы, не знаете, что такое коренная вода! Вы не знаете нрава Енисея! Он мчится, как необъезженный конь, падая с круч Саян, и, когда среди лета в горах тают снега, наступает второе половодье, вторая весна...

Надя обеими руками крепко прижимала к груди лиловый ворох пикулек. Владимир Ильич увидел в глазах ее слезы.

— Боюсь больших слов,—сквозь улыбку и слезы заговорила она.— Не умею сказать, что чувствую. Не будем ничего скрывать друг от друга, что ни случись! В нашей жизни все будет правда. Да? В работе, в жизни. Только правда! Во всем!..

...За воспоминаниями Владимир Ильич не заметил, как свернул от Псковы и очутился на тихой Сенной улице. Там в одном доме не раз устраивались тайные встречи с товарищами, обсуждались программа и направление «Искры». Если бы Владимира Ильича заботила только программа! Вся подготовка газеты лежала на нем. Вся организация дела.

Шифр для сношений с русскими агентами «Искры». Связи с корреспондентами. Перевозка газеты из-за границы в Россию. Распространение.

Всю эту гибкую и энергичную жизнь будущей «Искры» надо наладить. И для этого в первую очередь надо создать сеть агентов «Искры».

«Трудно нам врозь, но для дела так важно, что некоторое время Надя побудет в Уфе,—думал Владимир Ильич.— Войдет в связи с рабочими. Надя в Уфе. В Москве сестры и брат. Товарищи есть и в Самаре.

В Екатеринославе Бабушкин. В Петербурге Радченко и «Абсолют», подруга Нади,—Елена Стасова... Надо создать армию агентов!»

У «Искры» есть и будут друзья!

«Мы создадим трибуну для всенародного политического обличения царизма! «Искра» будет этой трибуной!» — думал Владимир Ильич.

Мысли и образы кипели в мозгу. Владимиру Ильичу представлялось: вот каменщики закладывают камни грандиозной, от века не виданной стройки. Тянут нить, чтобы указать направление кладки. Так наша «Искра» даст эту нить, за которую может схватиться каждый революционер.

Владимиру Ильичу представлялись леса вокруг стройки, обозначавшие контуры здания. Так наша «Искра» станет лесами величайшего прекрасного здания — Партии! По лесам «Искры» поднимутся революционеры, рабочие, новые социал-демократические Желябовы! Выпрямятся во весь исполинский свой рост, развернут богатые силы и поведут народ на расправу с позором и проклятием России — царизмом!.. И разгорится всенародный пожар.

3

«Ост» шел и шел. Все последние месяцы после ссылки Владимир Ильич так напряженно был занят, что сейчас как-то даже не верилось: Волга, цветные берега, синева неба, тишь, плывем, уплываем вниз от Нижнего.

Вчера еще только он проводил в Нижнем собрание марксистов. Весьма полезный получился разговор! Обо всем столковались, все вопросы обсудили, условились о связях. Спасибо Софье Невзоровой! Благодаря ей в Нижнем так дружно собрались неизвестные раньше Владимиру Ильичу, необходимо нужные для дела люди.

— Молодец Софья Павловна! — потирая ладони, довольно приговаривал Владимир Ильич.

А ведь это Анюта вспомнила о Софье Невзоровой

и послала телеграмму в уездный городок Бобров Воронежской губернии.

Это было после приезда Владимира Ильича в Подольск. Псковское его житье закончилось. Разрешение на выезд из России получено. Заграничный паспорт в кармане. Владимир Ильич простился с Псковом и приехал к родным в Подольск. Подольская дача Ульяновых этим летом была не в Городском парке, как прошлый год, но также далеко от вокзала, в противоположном конце города и опять на Пахре, но только на другом берегу — уютный домик в мамином вкусе, с веселыми обоями и желтыми полами, где в мезонине ожидала Владимира Ильича специально для него предназначенная комнатка. Все в бревенчатом домике на Пахре ожидало Владимира Ильича и готовилось к встрече! Это лето тем и хорошо и значительно, что он приехал пожить с ними недолго после Шушенской ссылки и Пскова. Недолго пожить с ними перед отъездом за границу.

Между тем работа, которую Владимир Ильич в глубокой конспирации упорно и неутомимо вел, не остановилась и здесь, на подольской даче. Необходимо было до отъезда за границу повидать как можно больше полезных и нужных людей, как можно больше вовлечь в работу агентов, распространителей и корреспондентов «Искры». Они решали судьбу огромного дела. Газета будет выходить за границей, а назначается она для России, читать ее будут главным образом здесь, в России. Русский пролетариат, русская демократическая интеллигенция — вот будущие читатели, агитаторы, помощники «Искры».

О том, как добиваться, чтобы «Искра» попадала к русским читателям, как в Германии или Швейцарии (время покажет) получать от русских корреспондентов информацию о русской общественной жизни и статьи для газеты, — об этом хлопотал Владимир Ильич все четыре месяца в Пскове! И в Подольске. Вызванные конспиративными письмами, в Подольск приезжали товарищи. Искровцы всё прибывали.

Наконец решено: отдых. Полный отдых, полное ничегонеделание. Едем в Нижний. От Нижнего вниз, на пароходе, втроем: мама, он и Аня. Они мечтали об этом плавании на пароходе. Конечно, главная цель — увидеться с Надей. Владимир Ильич молчал, но соскучился страшно!

Но мог ли он допустить, чтобы остановка в Нижнем не была использована для «Искры»? Для встречи с нижегородскими передовыми рабочими и марксистами, пока день или два надо будет доставать в Нижнем билеты и ожидать парохода? В крайнем случае можно и лишней денек пробыть в Нижнем, лишь бы наладить нужные связи, найти необходимых людей. Как? Проездом, в незнакомом городе, где, кроме Пискуновых, Владимир Ильич, пожалуй, никого и не знал? И Пискуновых-то знал мельком.

Раньше в Нижнем были весьма надежные товарищи. Владимир Ильич нижегородцев знал по Петербургу, петербургскому «Союзу борьбы». Был Анатолий Ванеев. Кружки на рабочих заставах, выпуск нелегальной книги «Что такое «друзья народа»...», подготовка стачек, замысел первой партийной газеты (так и не суждено ей было появиться на свет), сибирская ссылка, протест против оппортунистического кредо, обсуждение протеста в селе Ермаковском — все связано с ним. Ванеева нет. Навеки лежит в сибирской земле, на кладбище, в подтаежном селе Ермаковском.

Был в Нижнем надежный товарищ Михаил Сильвин. И его сейчас в Нижнем нет — в Риге, в солдатах. Были сестры Невзоровы, курсистки, бестужевки. Семь лет назад, в 1893 году, когда Владимир Ильич приехал в Петербург с тщательно обдуманной, смелой задачей дать новое направление рабочей борьбе, соединить марксизм с рабочим движением, одна из первых встреч с петербургскими молодыми марксистами произошла в комнате нижегородок — сестер Зинаиды и Софьи Невзоровых на Васильевском острове. Владимир Ильич хорошо помнил эту

встречу. Она была поворотной в жизни петербургских марксистов.

Сестер Невзоровых тоже нет сейчас в Нижнем,— Зинаида с Глебом Кржижановским не вернулись из ссылки (два года еще назначит судьба скитаться им по Сибири), а Софья...

— Пстой, Володя,— сказала Анна Ильинична,— что, если попробовать? Вызвать Софью? Наверное, она может помочь.

Владимир Ильич обрадовался:

— Удачная мысль!

И в Бобров из Подольска полетела телеграмма, спешно вызывающая Софью Невзорову с мужем. Софья Невзорова отсидела тюрьму, теперь в захолустном Боброве Воронежской губернии отживала срок высылки под гласным полицейским надзором; муж, Шестернин, служил в Боброве городским судьей. Простой народ называл Шестернина «наш судья». Случай по тем временам исключительный.

Они прикатили немедленно и два дня прожили в Подольске. Два дня, полных воспоминаний, веселья, дружбы, купаний в извилистой быстрой Пахре и долгих, до ночи, разговоров об «Искре», о возобновлении партии. После этих разговоров Софье Невзоровой поручено было поехать в Нижний раньше Ульяновых, подготовить и собрать нужный народ для встречи с Владимиром Ильичем по поводу «Искры».

— Повезло нам, что вы нижегородка, Софья Павловна, весьма и весьма повезло! — пожимая на прощание ей руку, говорил Владимир Ильич.— До скорого свидания в Нижнем! Будьте осторожны, пожалуйста!

В Нижнем многим был известен собственный дом промышленника, купца I гильдии Феофилакta Семеновича Пятова, двухэтажный, на каменном фундаменте, шитый досками, с дубовыми дверями. Промышленник давно

умер, и зять его Павел Иванович Невзоров, человек строгих и старозаветных взглядов на жизнь, скончался, выросли дети Невзоровы, а дом на Полевой улице все звали по деду пятовским.

Полевая улица уходила одним концом в поле, была просторна и широка, мостовая зарастала травой, позади ухоженных, прочных домов стояли сады. Тихо, сонное царство. Посреди сонного царства дом Пятова выделялся оживлением и людностью. Так повелось, когда в доме выросли дочери Невзоровой — Софья, Зинаида, Ольга и Августа. Вначале соседи объясняли это просто: много молодых людей ходит к Невзоровым — невесты на выданье. Бесприданницы, правда. Когда умер дед, семью постигла финансовая катастрофа, в один день стали Невзоровы из богачей неимущими. Невесты обеднели. Зато хороши. Софья, как королева, с горделивой осанкой и классическим профилем; в русском духе Зинаида — пышная, с дивной косой и затупленным носиком; совсем другая Августа — чернобровая, южная — неизвестно откуда в Нижнем, на Волге и уродилась такая южанка. К таким невестам да чтоб женихи не ходили!

Потом стали замечать: что-то не так ходят к Невзоровым. Как «не так» — объяснить не умели, но не похожая на все существование Полевой улицы шла жизнь у Невзоровых. Неясным, беспокоящим духом исполнен был старый дом купца Пятова, хотя по виду в нем все как у всех: столовая с дубовым буфетом, небольшая зальца с зеркалами и мебелью в чехлах, мамашина спальня с киотом и перинами, комнатки сестер. В этих-то комнатках и пряталась тайна, скрытая от обывателей улицы. То появится среди бела дня человек с чемоданом, видно, тяжелым. А из дому уйдет пустой. Спустя некоторое время одна из двух старших сестер или обе, Софья и Зинаида, выйдут из подъезда в тальмах, по моде тогдашнего времени, спокойные, обычные, и только если уж очень внимательно вглядываться, можно заметить, как тщательно запахнуты тальмы, будто что-то под ними спрятано.

В рабочих районах сестры знают и ждут. Сестры переправляют туда листовки, брошюры. Ведут среди рабочих кружки. Объясняют рабочим «Капитал» Карла Маркса.

Потом сестры уехали в Петербург учиться и лишь в каникулы прибегали на старые явочные квартиры говорить о петербургском «Союзе борьбы», учить рабочих марксизму. Однажды заметили люди чужого человека на улице. Стоит против дома Пятова, глазами входящих обшаривает. «А ведь это сыщика к Невzorовым поставили», — пополз шепоток. Некоторые стали обходить стороной дом Пятова, особенно если сестры на каникулах в Нижнем.

И как гром: в Петербурге арестовали двух старших.

Сюда, в дедовский дом, приехала Софья Невzorова с подольской дачи Ульяновых. Когда добивалась в Боброве у полицейских властей позволения на кратковременный выезд, писала в прошении, что к матери в Нижний. Так и вышло. Вот он, Нижний. Вот дедовский дом на Полевой улице. Постарел. Краска облезла. Окна закрыты. Весь какой-то покинутый.

Одним духом избежала Софья Павловна по черной лестнице. Кухарка вскрикнула, увидев молодых: словно с неба свалились! Софья Павловна впереди мужа торопливо шла по дому, ища мать. Горько ее обидеть: в кои-то веки приехала дочь и в первый же вечер надо убегать из дому. Не в первый вечер, а сразу, едва выпив чаю с домашним калачом, наспех рассказав домашние новости.

— Мама, извини, после наговоримся досыта, а завтра у меня будут проездом друзья, известить надо кое-кого.

И исчезла. И о внучатах почти ничего не успела сказать. «Стало быть, то не оставлено. Не для матери, для своего тайного дела в Нижний приехала. Ни тюрьма не отбила, ни дети».

Мать посидела, сухо сжав губы, с морщинкой на лбу.

Кликнула кухарку и, к великому ее удивлению, отпустила на завтра на полные сутки в деревню к родне.

Софья Павловна в сопровождении мужа обходила по городу знакомых социал-демократов. Человек двадцать знала она верных людей по Нижнему Новгороду, интеллигентов и рабочих. Коротко: завтра в шесть, на Полевой в доме Пятова...

И дальше. Колесила по городу.

А через день приехали в Нижний из Подольска Ульяновы. Устроились в номерах. Привели себя в порядок и отправились прогуляться по городу. С печалью и радостью узнавала Мария Александровна улицы. Много переменялось в Нижнем. Не шутка — больше тридцати годов уткло. Стало шумнее, суетливее. Провели трамвай вместо конки, появилось электричество.

Марии Александровне непременно хотелось показать детям мужскую гимназию на Благовещенской площади. Длинное желтое здание с флюгером на крыше, фонарями у парадного подъезда, — здесь, в этой гимназии, и служил Илья Николаевич, тут и квартира наша была, вон по фасаду окна... Анюта, помнишь ли?

Марии Александровне хотелось постоять на Откосе, высоко, открытом, где всегда ходит ветер, — сюда в молодости прибегала она на свидание с Волгой. Хотелось пошагать, как шагала когда-то с маленькими Аней и Сашей по набережной, — так же длинными вереницами беззвучно тянутся вдоль Волги баржи, без усталости бегают наискосок от Нижнего к селу Бору, попыхивая дымком, небольшое суденышко, идут белые пароходы.

— Покой, — с легким вздохом сказала Мария Александровна, глядя с Откоса на Волгу, на голубеющие дымкой заволжские луга, озерца на лугах. Перед восходом солнца, когда заря заливает небо, эти пойменные луговые озерца становятся розовыми.

— Покой. Три недели покоя. Да, Володя? — сказала Анна Ильинична.

Он кивнул. По его брызжущему оживлением взгляду, мягкой улыбке Анна Ильинична понимала, как ему хорошо, как благодарен он маме за эту поездку.

Но... «Покой нам только снится»,— скажет позднее Блок. Никогда нигде не искал покоя Владимир Ильич. Петербург, Шушенское, Псков, Подольск, Нижний— всюду труд для революции, кипучая деятельность. То же будет в Уфе.

Ровно в шесть Владимир Ильич поднимался по черной лестнице в доме Пятова на Полевой улице. Софья Павловна, возбужденная, встречала у входа.

— Все извещены и пришли. Народ стоящий. И рабочие есть.

Она повела Владимира Ильича в столовую с дубовым буфетом, громким маятником деревянных часов и портретом промышленника Пятова в темной раме.

Народу собралось порядочно. Сидели у стола и на плетеных стульях вдоль стен. Владимир Ильич узнал нижегородца Василия Александровича Ванеева, брата покойного Анатолия, и энергичным шагом направился к нему через комнату, пожал руку. Был еще знакомый по весенней нижегородской встрече проездом из Шушенского— литератор Десницкий. Вот Пискунова что-то не видно. С ним тоже Владимир Ильич познакомился в тот приезд. Владимир Ильич помнил: шатен, с бритым подбородком, небольшими усиками, спорщик, чем-то похожий на Чехова. В прошлый приезд Владимиру Ильичу дали его адрес, часа полтора они тогда говорили.

Нижегородцы знали об Ульянове, что самое тесное имел отношение к петербургскому «Союзу борьбы», что видный марксист, автор нелегальных книг и брошюр и легальной, вышедшей в Петербурге,— «Развитие капитализма в России», где немало метких и точных страниц отдано Нижегородской губернии и развитию в губернии промыслов; что Ульянов недавно из сибирской ссылки; но чего сейчас от него надо ждать, нижегородцы не знали.

Владимир Ильич заметил— при его появлении в ком-

нате смолкли, но не почувствовал стеснения. Дело, которое он затевал, было так существенно важно, что Владимир Ильич откинул от себя все лишнее, внутренне подобрался. Надо было вовлечь этих людей в работу, опасную, каждодневную, трудную. В Москве, Пскове, Петербурге, Риге, Подольске, Смоленске, где после Шушенской ссылки Владимир Ильич легально и нелегально бывал, он разыскивал и собирал необходимых людей, объяснял, призывал, агитировал, распределял поручения, договаривался о подготовке и распространении подпольной противоправительственной партийной газеты. То, чему в Шушенской ссылке было отдано столько дум и бессонных ночей, становилось реальностью. «Искры» еще не было, но условия для ее бытия создавались.

Это было позавчера и вчера. В Нижнем Новгороде. А сегодня они плывут на пароходе. Дальше, дальше уплывают от Нижнего.

Будто и не было города. Встанет крутая гора, карабкается по склонам дубовый лесок. Или на версты протянется луг, повеет сенокосным, кружащим головы запахом. Погудев на всякий случай, прижимаясь к баке-нам, указывающим фарватер, парходик огибает посреди Волги остров с отвесным приверхом. Черемухи едва не метут ветвями борта парходика, буйно разросся тальник, томятся перезрелые травы по пояс. Остров проплыл, за ухвостьем желтой косой длинно легла песчаная отмель. Чайки на отмели.

Владимир Ильич с Анной Ильиничной сидели на палубе, мама прилегла отдохнуть, они были одни; палуба пуста, только ближе к корме стояла у борта совсем юная особа в сиреновом платье с оборочками и соломенной шляпой от солнца да хромой господин с седыми бакенбардами в потертом пиджаке, припадая на левую ногу, шагал по палубе. Когда господин приближался, они умолкали, а потом снова принимались вспоминать, что было в Нижнем, и обмениваться мнениями.

— На Нижний можно рассчитывать, вполне можно, а? — все повторял Владимир Ильич.

И Анна Ильинична, радуясь, как и он, тому, что в Нижнем все удачно сложилось, поддакивала:

— Да, да, Володя! — любя брата и любуясь им.

Близко они подружились в ту жестокую зиму, когда оба были высланы в деревню Кокушкино. После уже не было такой тесной дружбы и близости, больше жили врозь, и ссылка Володина надолго их разлучила, и теперь Анна Ильинична заново узнавала брата, и все в нем было ей дорого.

Она подняла руки, поправляя черные колечки волос.

— Хорошо, Володя, как все складывается хорошо! И отлично как после такой твоей напряженной работы побыть одним, никому мы здесь не знакомы, никто не наблюдает за нами.

4

Она ошибалась. За ними наблюдали. И пристально. Особа в сиреновом платье, стоявшая у борта недалеко от кормы, довольно часто и все настойчивее поглядывала на них из-под полей шляпки. Она была прехорошенькой, эта молодая особа, на вид не старше девятнадцати лет. Волосы того коричневатого цвета, чуть позолоченного, который называют каштановым, искусно опускались на уши, сужая полное личико с ямочками на щеках, прямым носиком, свежим детским ртом и светло-голубыми глазами. Такую внешность обычно называют кукольной, тем самым не предполагая под ней сколько-нибудь значительного содержания. Барышня давно наблюдала за Владимиром Ильичем и Анной Ильиничной, может быть, потому, что никого больше на палубе не было, кто привлек бы внимание. Впрочем, нет, не потому... «О чем они разговаривают целый час с таким увлечением? Никак не наговорятся. Боже мой, майн готт, как им, должно быть, интересно друг с другом!»

Она заметила этих людей еще на пристани. Провожали их красивая дама и мужчина, должно быть, муж дамы. Что такое? Софья Невзорова! Она, боже мой, майн готт! Лизочка Самсонова, когда-то пригостила нижегородского института благородных девиц, прекрасно знала выпускницу Софью Невзорову. Софья Невзорова была хороша, прелестна, пригостишки бегали за ней. Их было четыре сестры. Сестер Невзоровых классные дамы ставили в образец, таких обаятельных, умных и светских. Сестры Невзоровы уехали в Петербург продолжать образование на Бестужевских курсах, как вдруг — страшно, странно — Софью и Зинаиду арестовали и посадили в тюрьму. За что? «Тсс! — шикали классные дамы. — Они опозорили наш институт». Институт благородных девиц был потрясен и шокирован. Наши воспитанницы, сестры Невзоровы! За что их посадили в тюрьму? Говорят, они против царя. Против царя?! О! Какой ужас, чего можно ждать, если даже наши воспитанницы...

Лиза Самсонова пыталась представить: как это, что это? Портрет государя при орденах и ленте, с бахромой эполет на плечах в полный рост нерушимо высился до потолка в институтском актовом зале. А сестры Невзоровы в тюрьме, на соломе, на хлебе с водой, за решеткой. Погублены. Клеймо на всю жизнь: тюрьма, они были в тюрьме. Зачем они погубили себя?

И вот через несколько лет в солнечный день в пестрой толпе провожающих на пристани — Софья Невзорова. Почти все так же стройна и тонка, с улыбающимся лицом. Лиза, окруженная совсем другим обществом, не посмела к ней подойти. «Владимир Ильич! Анна Ильинична!» — услышала Лиза. Это те, кого провожает Софья Невзорова. Значит, брат и сестра.

Теперь понятно, почему Лиза не собиралась выпускать их из поля зрения: разбирало любопытство, что за люди друзья ее институтского кумира, странной и обворожительной Софьи Невзоровой. Что за люди? Сначала она занялась сестрой. Оценила по достоинству платье. Скром-

ное, светло-серое, со вкусом. В институте, который Лиза окончила два года назад, им прививали вкус и умение одеваться без претензий и купеческого шика. Платье одобрено. И сама Анна Ильинична понравилась Лизе.

Они сидели с братом на палубе, говорили, и лицо Анны Ильиничны с длинными черточками черных бровей выражало нетерпеливый интерес и внимание. Черные колечки волос выбивались у висков, мешали глазам, она откидывала волосы легким жестом и снова слушала, и губы дрожали от смеха. «Легкая. Чувствует очень. Веселая,— определила Лиза.— Очень мне нравится!»

Теперь займемся братом. Кем может он быть? Лиза привыкла в Нижнем видеть купцов и промышленников, составлявших, по ее наблюдениям, самую могущественную часть рода людского, но человек этот, немного скуластый, с высоким лбом и удивительно изменчивым взглядом, то прищуренным, то открытым, то смеющимся, то вдруг страшно серьезным, человек этот, которого на пристани называли Владимиром Ильичем, был совсем в другом духе. Не промышленник. Совсем не промышленник. Те тяжелые, важные. Барин? Тоже нет. Слишком просто одет, ничего барского. Кто же? Учитель? Может быть. Да, скорее всего. Итак, определено: учитель. Преподает литературу в нашей нижегородской мужской гимназии, рассказывает о Карамзине и Державине.

Тут Лиза увидела, к ним подошла мать. Маленькая женщина с черным кружевом на белых волосах, и у обоих, особенно у Владимира Ильича, улыбкой осветилось лицо. Он любит мать. Взрослый мужчина и так трогательно любит мать, как хорошо!

Куда они едут? В Казань? Почему они едут в Казань на этом скромном однопалубном пароходике? Ведь ежедневно из Нижнего в Казань отплывают роскошные трехпалубные, с салонами, музыкой и даже электричеством, пароходы общества «Кавказ и Меркурий» или судовладельца Зевеке? Нет, наверное, они едут не в Казань. Куда же?

Вот какое следствие вела молодая особа в сиреневом платье, пока позади нее не раздался внушительный голос:

— Природой любуетесь, Елизавета Юрьевна?

Мужчина лет сорока, полный, розовый, с толстым носом, русой бородой, разделенной на два острых клина, и подстриженными усиками, подходил к ней, одетый пестро и заметно — в клетчатые брюки желтоватого тона, светлый жилет, пиджак цвета горчицы; бриллиантовая булавка держала белый шелковый галстук, два перстня с бриллиантами красовались на волосатых пальцах.

— Природой любуетесь?

— Да. Такие прекрасные виды.

— Виды прекрасные. А я, признаться, вздремнул. Дела собралось перед дорогой. Ночью почти что не спал.

— У вас всегда много дела.

— Такое мне назначение. У каждого свое назначение. Ваше — украшать жизнь.

— Compliments говорите, Петр Афанасьевич, — не потупляя глаз, видно привыкшая к его комплиентам, ответила она.

— Не комплименты, а сущая правда. Сущая правда, и доказывать нечего. А здесь побогаче было надо, жемчуга сюда просят.

Он потянулся пальцем к ее тоненькой шейке с простеньким медальончиком на ленте. Она отстранилась. Невольно кинула взгляд в сторону, где разговаривали брат и сестра. Ушли. Никого не было на палубе.

— Скромница, Елизавета Юрьевна.

— Вы знаете, я не люблю...

— Скромница. И славно. Одобряю. Надоели разные... сами виснут, тьфу! А вы все молчите, — пытливо сказал он.

«Верно, — подумала Елизавета Юрьевна, — молчу. Не знаю, о чем говорить, совершенно не знаю, как дурочка».

Солнце коснулось ее руки. Волга повернула, и солнце пекло теперь эту сторону палубы, накалило обшивку.



Они сидели с братом на палубе.

— Вам не полезно на солнце,— сказал Петр Афанасьевич.

— Почему?

— Вам нехорошо загорать. Надо беленькой там показаться, во всей вашей красе.

Она вспыхнула и нахмурила брови.

— Батюшки мои! Ха-ха-ха! — весело разгремелся он.— Как вам сердать-то к лицу!

— Я думаю, что все это напрасно, эта поездка,— хмурясь, сказала она.

— И совсем не напрасно, Елизавета Юрьевна. Разве вам не нравится прокатиться по Волге?

— Нравится, но...

— А давайте без «но». Боятесь, что встретят плохо?

— Боюсь? Нет. Ведь я с вами,— вскидывая голову, сказала она.

— Вот умница, милая вы моя, ответит-то, как королева.

— С вами не боюсь, но все равно неприятно, будто на выставку еду.

— С вашей красотой никакие выставки не боязны. Хоть каждый день, только славы прибавится. Что же, обедать пойдем, Елизавета Юрьевна? Прошу.

Он подал ей руку. Но палуба была тесна, и, сделав неловко два шага, он вынужден был пустить ее вперед, сам пошел сзади, улыбаясь довольной улыбкой, глядя на ее узкие девичьи плечи, тонкую талию и волны оборок на подоле.

Обед был в разгаре. Места в салоне почти все были заняты. Официант, изгибаясь, проводил Петра Афанасьевича к оставленному для него столику на две персоны возле окна. Не поднимая глаз, Елизавета Юрьевна увидела за соседним столиком Анну Ильиничну с братом и матерью. «Значит, судьба мне с ними познакомиться», — подумала Елизавета Юрьевна. Такая в голову ей засела фантазия. Так как фантазии наши никто не в силах разгадать, мы вольны воображать, что хотим, улететь в под-

небесье, опускаться на дно океанское, любить, кого пожелаем.

«Если бы Анна Ильинична была моей сестрой, такая милая,—фантазировала Елизавета Юрьевна, расправляя сиреневое платье и усаживаясь спина спиной к ней.—Звала бы меня Лизой. Никто на свете не зовет меня Лизой, кроме подруг, а теперь и подруг не осталось. А что, интересно, как бы она посмотрела на мой жребий?»

Она придвинула стул насколько возможно ближе к соседям и наострила уши, намереваясь подслушать, о чем они говорят.

— Балык, икра свежая, салат из дичи,—заказывал Петр Афанасьевич.

Она прислонилась к спинке стула и услышала позади себя немецкую речь. Долетели обрывки фраз. Она не все слышала, но все же различила, что речь идет об оставшихся дома: как жаль, что с ними нет Маняши, Мити и Марка, а то уж совсем было бы все хорошо, и как приятно плыть по Волге, и не будем думать о том, что впереди скоро снова разлука.

— Мамочка,—услышала Лиза мужской голос за тем столиком, быстрый, немного с картавинкой,—буду все это время пользоваться твоим и Аниным обществом, чтобы упражняться в немецком.

— Теперь тебе особенно нужно владеть в совершенстве немецким,—сказала сестра.

— Прошу вас, Елизавета Юрьевна.—Петр Афанасьевич предлагал ей салат, должно быть, довольно давно, глаза его спрятались в щелки и недоуменно глядели, маленькие и темненькие, почему-то напоминая ежа.—Задумались?

— Да, простите.

Она прикоснулась губами к рюмке с вином, взяла немного салата. «Отчего теперь ему особенно важно владеть в совершенстве немецким? Отчего скоро разлука?»

Какая разлука? А ведь они, наверное, не догадываются, что их понимают»,— подумала Лиза, вся вспыхнув.

— Что с вами? — подозрительно насторожился Петр Афанасьевич.

— Нет, что вы, просто так, от вина, — ответила Лиза. «Не буду больше подслушивать, стыдно».

— Не узнаю вас, Елизавета Юрьевна, какая-то рассеянность... словно что потеряли.

— Ах, пустяки!

Петр Афанасьевич выпил коньяку, побарабанил пальцами, глянул в окно.

— Вон селишко какое-то по берегу тянется.

— Да.

— Ни одной крыши под дранкой, солома гнилая одна.

Она промолчала. Почему-то у них не вязался разговор. До нее доносились немецкие слова с того столика. Говорили о какой-то книге, Лиза не уловила названия, но поняла, что Владимир Ильич хвалит книгу за правду, а сестра возражает, что правда книги трудна для простого читателя, автор мудрствует и любитесь своими мудрствованиями.

— А ведь ты права, Анюта, — рассмеялся Владимир Ильич, — пожалуй, верно: любитесь. Этот автор и в жизни любитесь собою. Но все же в книге есть правда.

— Опять вы задумались? — услышала Лиза.

— Простите.

— Я вас спрашиваю, вам угодно уши? — сухо предложил Петр Афанасьевич.

— Да, спасибо. Я люблю стерляжью уху.

— Рад, — холодно бросил он. Должно быть, рассердился.

«Зачем я его сержу, он такой добрый ко мне», — подумала Лиза.

Он выпил коньяку и язвительно:

— Ведь вас воспитывали в институте благородных девиц?

Да, ее воспитывали в институте благородных девиц.

Марининский институт на Верхней Волжской набережной в Нижнем. Трехэтажное унылое здание цвета грязноватой синьки, с крыльями на задний двор, садиком по фасаду. Чахлая акация и жиденские кусты сирени в саду. Вход. Вестибюль. Четыре толстые колонны поддерживают низкие потолки. Сдавленно, скучно. Семь лет прожила она в этом бездушном доме.

— Извините, Петр Афанасьевич, я не расслышала, что вы сказали. О! Какой вы строгий, оказывается.

— Строгий, да, когда вызовут... Дамам к лицу улыбаться.

«Ведь он уже высказывал эти... свои взгляды»,— мелькнуло у Лизы.

К концу обеда он был порядочно пьян и внушительно и долго говорил о своем предприятии и о выгоде, какую получит в итоге. Лиза делала вид, что слушает, но как скучно, неинтересно, уж лучше бы говорил ей любезности, по крайней мере приятно.

— Перед обедом сон золотой, после обеда серебряный,— сказал Петр Афанасьевич, покончив с мороженым.— Воспользуемся и серебряным, а? Но не думайте, что я всегда этаким соня.

— Нет, что вы, я знаю, вы деловой человек, такой деловой человек. А я прогуляюсь.

— Гуляйте, любуйтесь природой. Природа, цветы, соловьи, девичьи мечты! Ну, помечтайте, лапочка моя, помечтайте, есть о чем, а я воспользуюсь счастливой своей способностью: едва на подушку— и сплю, что значит, у делового человека чистая совесть.

Лиза прогуливалась по палубе. Плыли мимо поля, леса. Покажется мыс, высоко встанет над Волгой. На мысу белая церковь с оградой— монастырь, вон и звон слышен. Покой и грусть разливаются по полям вместе со звоном.

С каким волнением ожидала Лиза это путешествие! Татьяна Карловна поздравляла, давала советы. А Лиза гордилась. «Бог послал счастье сиротке»,— говорила Татьяна Карловна.

«Да, бог послал счастье. Не буду больше рассеянной с Петром Афанасьевичем. Он хороший человек, хороший, хороший...»

В двух шагах она увидела Владимира Ильича. Он стоял один у борта, задумчивый и тихий. Лиза последила, куда он глядит. Белый монастырь уже позади, березовая роща на пологом холме. Стройная, будто прибранная — так просторно в ней и чисто. Хочется взбежать на этот холм, в эту стройную рощу. Лиза медленно прошла мимо Владимира Ильича. Владимир Ильич ее не заметил.

Наверное, и она не заметила бы его и не обратила внимания, если бы не провожавшая в Нижнем Софья Невзорова, которая была странной и таинственной загадкой для Лизы.

Она сделала круг по палубе, раздумывая, сказать или нет? «Если обернется, скажу». Она подходила второй раз, он стоял все в той же задумчивой позе, роща уже уплыла назад, новый вид разворачивался по борту парохода: глинистый обрыв с домиком бакенщика и сигнальной мачтой. Позади домика сосновый лес, могучий мачтовый лес — стволы сосен темные снизу, а вверху от солнца раскаленно-желтые.

Внезапно Владимир Ильич обернулся и взглянул на подхотившую Лизу. Она потерялась от неожиданности, хотя только что думала: «Если бы обернулся!» — и, смущаясь, краснея, скоро-скоро:

— Вы говорите по-немецки, может, вы думаете, вас не понимают, но я понимаю, я сижу рядом за столом и все слышу.

Он удивился ее признанию, для него оно тоже было неожиданностью; улыбнулся, как она выпалила без передышки: «Я сижу рядом за столом и все слышу».

— Вот как,— сказал он,— деликатно с вашей стороны, спасибо.

И, возможно, хотел еще что-то Лизе сказать, но от смущения она не задержалась, выпалила и скорее ушла, даже невежливо, как она сразу ушла, закрылась в своей

каюте первого класса и долго сидела, сложив на коленях руки и думая, прилично или нет, что заговорила с чужим женщиной, и что, может быть, надо было спросить о Софье Невзоровой, и что Петру Афанасьевичу не надо обо всем этом знать.

5

Елизавета Васильевна прислушалась у двери — ничего не слышать. Вошла. Ходики с медными гириями постукивали в крошечной столовой, меряя время. На столе ронял лепестки срезанный шиповник в вазе. Через столовую — ход в спальню, как называлась у них отделенная аркой часть комнаты, тесная, с узенькой кроватью у стены, да столик еще стоял у окна.

— Ленивица, вставать пора, день давно на дворе, — с ласковым укором сказала Елизавета Васильевна.

— Полно, мама, вон на ходиках восемь утра, какой еще день! Не хочется вставать, поваляться хочется. Вправду ты сказала, ленивица.

Елизавета Васильевна присела на край кровати, погладила дочь по щеке. Щека теплая, розовая ото сна. Заглянула в глаза — в глубине глаз то застенчивое, тайное, что читала мать последние дни после письма из Москвы.

— Соскучилась?

— А ты разве не соскучилась, мама?

— Ловлю себя, что все в окошко поглядываю, будто увижу: вот идет, как, бывало, в деревне. Тоже, однако, соскучилась.

Надежда Константиновна рассмеялась ее сибирскому словечку «однако», которым мама любила при случае щегольнуть. Откинула одеяло — в самом деле пора вставать.

— Давно бы так, а я кофе сварю. — И Елизавета Васильевна ушла варить кофе.

Надежда Константиновна легко вскочила с постели. Желтый крашенный пол приятно охлаждал босые ноги. А на улице жарко с утра. Окно мезонина выходит на

крышу первого этажа. От крыши душно, пахнет железом и краской. Улицу почти не видно за крышей. Пыльная, скучная улица. Тюремная,— в конце тюрьма, тюремный замок, как здесь называют. Угол Тюремной и Жандармской, ничего себе адресок!

«В Шушенском сбегала бы окунуться в речке»,— подумала Надежда Константиновна. Она все еще вспоминала Шушенское, плохо привыкая к Уфе, где предстояло ей доживать срок ссылки до марта 1901 года, то есть еще девять месяцев, одной, без Владимира Ильича. Никак не привыкнуть к Уфе! Наверное, оттого, что без Володи. «А зачем привыкать? Терпеливо переживу девять месяцев, и все, и не так уж и много, перетерпим авось».

Она оделась.

Елизавета Васильевна внесла кофе и булку. И газету. Елизавета Васильевна первая прочитывала утром газету и делилась, о чем нынче пишут. В газете писали об англо-бургской войне.

Без меры пользуясь восклицательными знаками, поэтесса Бестужева-Рюмина увещевала:

Смирись, Британия! Убойся гнева божья!

Смирись! Смирись, пока еще есть время!
Пока с небес не грянет божий гром!

Льстиво расписывался переезд высочайшего двора на летний сезон в Ливадийский дворец, по случаю чего, ко всеобщему удовольствию, устроено было электрическое освещение ялтинского мола.

И почти ежедневно в газетах— об опустошительных, грозных пожарах. По всей России горели избы, надворные постройки, скот. За час уничтожались деревни. Выгорали города. Пыхали склады в столице.

«Штаты Петербургской пожарной команды давно устарели»,— качнула головой Елизавета Васильевна.

— Бедная наша Россия, грады бьют, засухи сушат, пожары палят,— сказала Надежда Константиновна.— Ну,

мама, хоть и ленивица я, а хочешь не хочешь, надо в поход.

Она взяла ридикюль и зонтик от солнца. Не забыла положить в ридикюль телеграмму. Телеграмму получили вчера.

— С голоду не падай, пообедать приходи,— притворно ворчливо сказала мать.

До урока оставалось полчаса. Идти недалеко. «Прогуляюсь»,— решила Надежда Константиновна. Она старалась больше ходить, особенно в утренние часы, когда жара терпима. Ходьба успокаивала ее, она нервничала последние дни, жила ожиданиями, подгоняла время, а оно еле тащилось и никогда не казалось таким ненужным и тягостно долгим, хотя все было заполнено делом—кружком, книгами, необходимыми встречами и вот этим уроком. Урок был летний, то есть временный, но у нее уже было приглашение на постоянный в семью тоже богатых уфимских купцов,—этот урок ей передавала одна знакомая ссыльная, у которой к осени кончался срок ссылки. И переводы были, так что заработок обещал быть на зиму приличный.

«Завтра, послезавтра, послепослезавтра... Пять дней. Как еще долго. Да нет, что я, совсем недолго, всего пять дней, только пять дней!—повторяла про себя Надежда Константиновна, идя теневой стороной, постукивая зонтиком о тротуар.—Вторник, среда, четверг, пятница... Ну, не буду больше считать. Буду думать о другом. Буду думать об Игнатке».

Игнатка был ее ученик, купеческий сын, гимназист второго класса. Купеческий дом, в двух кварталах ходьбы, был одноэтажный, длинный, многооконный, весь украшенный деревянными кружевами, над каждым окном, будто кокошник из тонкой резьбы, кружевные бордюры под крышей. Богатый купеческий дом!

Парадное крыльцо в будние дни держалось на крюке. Надежда Константиновна вошла через двор. Во дворе, мощеном с прорастающей между булыжником травкой,

стояли конюшня, каретник, погреб, летняя кухня, набитый дровами сарай, поленница дров в человеческий рост выложена по забору — все прочно, крепко, на сто лет. Для занятий с сыном отведена была нежилая, без употребления комната с деревянным диваном у стены и большим квадратным столом посередине.

— По географии я тебе задавала... — начала урок Надежда Константиновна, садясь за квадратный стол против ученика.

Основным предметом у них была грамматика, с которой Игнатка сильно был не в ладах, но заботливые родители просили учительницу и другие науки повторять, чтобы не позабылись за лето. Игнатка, курносый, рыжеватый, весь в веснушках мальчишка, был понятлив и любопытен, однако усердием совсем не отличался. Едва учительница за дверь — учебники в стол, более важные дела и занятия манили Игнатку: на целый день речка, или лес, или до самозабвения лапта на пустыре, тут уж не до уроков.

— Ну что же, Игнатка, я велела тебе выучить о реках Сибири?

— В Сибири есть река Енисей... Надежда Константиновна, а вы сами расскажите, а? Больно вы складно рассказываете.

— В Сибири есть река Енисей. Видел бы ты, Игнатка! — Надежде Константиновне ясно и резко представилось: в верховьях могучий, крутой, неожиданный, вырвется на луга, будто удивится простору, затихнет, течет плавно и ровно, но встанут на пути кручи и скалы, зажмут в коридор, и снова кипит, кидается, мчится. Дикий. Красота его дикая. — Слушай, Игнатка, слушай же, вот какой Енисей...

Она учила его ежедневно три часа. В конце третьего часа в комнату входила Александра, девица лет семнадцати, старшая дочь, толстая и сытая, с пуговичным носиком, тоже рыжая:

— Мамаша спрашивают, может, чаю хотите?

— Нет, спасибо, я спешу.

Случалось, Надежда Константиновна засиживалась дольше срока, когда каким-то рассказом или книжкой завлечет ученика так, что и об удочках и о лапте позабудет. Но сегодня Надежда Константиновна сразу после урока заторопилась уйти.

К кому пойти? К Цюрупе? Александр Дмитриевич Цюрупа жил рядом по этой же улице в неважном и низеньком домике, зато с садом, где розовые мальвы, кусты жасмина, сирени, гул пчел и чирикание птиц и ничто не напоминает о городе.

Веселый кудрявый блондин с яркими глазами, весь яркий, Александр Дмитриевич Цюрупа не был сослан в Уфу. Лишь на время бежал сюда от засад, облав и арестов в родных местах. Восемь лет назад Цюрупа был еще юношей, и тогда уже на родной его Херсонщине была установлена за ним жандармская слежка. Сидел в тюрьме. Был под надзором. Снова тюрьма. Едва выпускали на волю, занимался статистикой, а между тем изучал народную жизнь, организовывал социал-демократические кружки и с дерзкой отвагой неутомимо вел революционную пропаганду среди рабочего класса. Вот какой человек жил в низеньком домике, где под окнами нарядно цвели пышные мальвы. Надежда Константиновна очень ценила этого человека. Но решила все же идти сейчас не к нему, а к Ольге Ивановне Чачиной. Ольга Ивановна Чачина — подруга по Петербургу, по «Союзу борьбы».

Дела какого-нибудь неотложного не было. Можно идти, можно не идти. Она шла, потому что чувство радости, с каким она проснулась сегодня утром, не давало оставаться одной. «С кем-нибудь поделиться!»

Она шла немощеной, неровной улицей, пересеченной оврагом. Исполины осокори, пожелтевшие до времени (должно быть, точили корни черви), уже роняли сухие листья, ветер гнал их, кидая с шорохом под ноги. Старая Уфа на горе, с красными крышами посреди огородов завиделась слева, уютная и приглядная издали. А прямо рисо-

валась одиноко на синем небе мечеть. Старики башкиры шли на молитву к мечети медлительные, с выражением святости на коричневых лицах. Зеленые сапаны — флаг Магомета зеленый, уважаемый мусульманами цвет, цвет тишины и надежды, оттого халаты стариков почти все зеленые, — белые чалмы поверх тюбетеек, ичиги на ногах из козьего хрома, галоши, которые надлежит оставлять у порога мечети. Старики шли молчаливо и, когда здоровались, складывали обе руки, вытягивая в знак приветствия и склоняя смиренные головы.

Здесь, в виду мечети, на перекрестке живет Ольга Ивановна Чачина.

Надежда Константиновна не знала, что у Чачиной гости.

— Знакомьтесь, всего неделю как приехали. Сестра из Нижнего, муж сестры, Александр Иванович Пискунов, статистик Нижегородской управы. Проведать приехали, как я здесь, сосланная, живу под надзором полиции.

Ольга Ивановна Чачина, простенькая, скромная, представляла гостей, кивая в сторону зятя и сестры, а руки держала на весу, красные от малинового сока. Сестры чистили малину на варенье.

— Надежда Константиновна Ульянова, — представила Чачина.

Большелобый шатен, сероглазый, с небольшими усиками, похожий бы на Чехова, да не хватало пенсне, легко поднялся из-за стола, заваленного книгами:

— Этой весной Ульянов был у меня в Нижнем проезде.

— Владимир Ильич Ульянов мой муж, — сказала Надежда Константиновна.

— Так мы же с ним спорили! Сражались!.. О чем? В основном о направлении рабочей борьбы.

И Пискунов принялся высказывать свои мысли о рабочем движении.

«Как это далеко от того, что делает Володя», — подумала Надежда Константиновна. Но не старалась разубеж-

дать Пискунова. Он был молодой, впечатлительный, нервный. У него дергалось левое чуть припухшее веко и руки все время были в движении — откидывали и приглаживали волосы, брали карандаш, крутили. Ольга Ивановна Чачина погрозила зятю пальцем, измазанным малиновым соком:

— Совершенно, совершенно я с тобой не согласна. Путаник ты, Саша. Надя, а у тебя нет ли новостей?

Надежда Константиновна решила, что пора поделиться телеграммой с товарищами, и, достав из ридикюля, дала Чачиной.

— Вон что! — воскликнула Чачина. — Во-он оно что! А она молчит. Что же ты молчишь, Надя? Радость-то! Радуетесь?

Надежда Константиновна кивнула.

— А Петербург как весь вспомнился! — нахлынуло на Ольгу Ивановну. — Верно, вспомнился? Один раз приходит Владимир Ильич: Лалаянца в тюрьму засадили. Я — «ах да ах». А кто такой Лалаянец, не слыхала. Оказалось, самарский социал-демократ, прислали этапом отсидывать в петербургской одиночке, в Крестах, самой угрюмой тюрьме. В Петербурге у Лалаянца родных никого. Владимир Ильич говорит, а я все только киваю, сочувствую. Наконец он: «Да что вы, не понимаете разве, невеста для свиданий нужна!»

Бог ты мой! Меня аж в краску вогнало. Так благодаря Владимиру Ильичу невестой Лалаянца заделалась. После тюрьмы, правда, больше не виделись. Один раз повидались, и все. Я это к тому, — обращаясь к сестре и зятю, закончила Чачина, — чтобы немного нарисовать вам его. Большая в нем душа, к людям внимательная.

— Гм, — сказал Пискунов, — а по Нижнему судя, для него всего прежде политика.

— Зачем политика, если не для людей? — спросила Надежда Константиновна.

— А то вот еще, Надя, однажды, помнишь ли, в Петербурге было... — продолжала Чачина.

Начав вспоминать Петербург, «Союз борьбы», рабочие кружки и стачки, свое участие в них, всю свою тогдашнюю жизнь, молодую и мятежную, полную борьбы, деятельности, сердечных увлечений и волнений ума, они могли бы заговориться до вечера. Но Надежда Константиновна все время держала в голове, что у нее назначена одна необходимая встреча, поглядывала на часики и минута в минуту, как ни жаль уходить от Пискуновых и Чачиной, явилась на Торговую площадь, где условлено было встретиться с Иваном Якутовым.

Гостиные ряды обнесли Торговую площадь, пестрило в глазах от товаров и вывесок:

БУЛОЧНАЯ И КАЛАЧНАЯ. ГОРЯЧИЕ КАЛАЧИ, САЙКИ, ПЫШКИ, БАРАНКИ, КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ. (Покупаю держанные книги дороже всех. Продаю картины, разные рамы.)

ВСЕ ДЛЯ ИЗЯЩНОГО ВКУСА, ДАМСКИЕ НАРЯДЫ.

НОВИНКИ. ПОСЛЕДНИЙ КРИК МОДЫ!

Возле «последнего крика» стоял Иван Якутов. Молодой рабочий, длинный, в круглых очках, отчего глаза казались круглыми, птичьими, коротко остриженный, в кепке.

— Ничего себе, нашел место, конспиратор, возле дамских нарядов,— тихо смеясь, сказала Надежда Константиновна, становясь рядом с ним у витрины, крикливой и пестрой от кисейных и шелковых платьев и кофточек.

— А что, вот эта голубенькая, с прошивочками очень бы Наташе моей подошла.

— Прелесть ваша Наташа! — откликнулась Надежда Константиновна.

— Пока Наташа со мной, ничего меня не страшит. Хоть на Сахалин. Руки моя надежда,— он приподнял руки, широкие рабочие руки, поглядел с любопытством,— руки моя надежда да жена моя Наташа.

— Руки мастеровитые, жена Наташа еще того лучше, а Сахалин ни к чему. Здесь дела хватает. Когда?

Надежда Константиновна имела в виду, когда приходится заниматься с кружком, она вела кружок рабочих железнодорожных мастерских. Иван Якутов был ее учеником и связным.

— А хороша кофточка! Разорюсь-ка я, куплю Наташе, а ей-богу, куплю! — восклицал Якутов.

Надежда Константиновна увидела: двое подгулявших мещан в картузах и жилетах поверх ластиковых рубаш проходили мимо в обнимку.

— Завтра в семь соберемся, — сказал Якутов, пропустив гуляк-мещан.

— Поняла. До свидания.

— Задержитесь чуток. Еще одно дельце есть.

— Что?

— Дельце такое... Приезжий человек тут один, с медеплавильного завода прибыл, тамошние ребята направили. Сознательный, а с другой стороны... — Якутов помедлил, ища слово. — В рассуждениях некоторых... Да вы лучше сама с ним побеседуйте.

— Где он сейчас, этот приезжий человек?

— У меня. Бездомный. Сказал я ему, что придете.

Она поглядела на часики. Увы! Напрасно дожидается мама с обедом. Подогревает на керосинке, кутает кастрюлю в подушки, курит в досаде.

Иван Якутов квартирует в другом конце города, на Заводской улице. Вся из халуп Заводская улица, из жалких домишек с оконцами у самой земли, никаких там наличников с резьбой, ни деревянных узоров, только и радости — огородик на задах, где пышные малины привязаны к палкам, раскидисто стоит куст смородины, да грядки две огурцов, да кудрявятся бороздки картофеля.

Оттуда, от Заводской улицы, недалеко от вокзала, рельсовых путей, железнодорожных мастерских, слышны пароходы на Белой. Тут живет рабочий класс Уфы.

Надежда Константиновна кивнула Якутову, и из осто-

рожности они разошлись. Через всю Уфу она пошла на край города на Заводскую улицу. «Не сердись, мама, родной мой дружок, опять не успеваю обедать. Завтра, послезавтра, послепослезавтра... Пять дней. Как еще долго: пять дней!»

6

Может быть, навеянные петербургскими воспоминаниями Чачиной, всю дорогу воображали Надежде Константиновне картины такого недавнего, такого далекого прошлого.

Она жила с матерью на Знаменской улице в многоэтажном доме с изрядно полинявшим фасадом, крутыми лестницами и обычным каменным петербургским двором, достоинство которого состояло в том, что он был проходным. Именно по этой причине и еще потому, что Надежда Константиновна была «чистой», то есть пока за ней не было установлено слежки, сбор для обсуждения материалов первого номера готовящейся к выпуску нелегальной газеты «Рабочее дело» назначили в крошечной, но сравнительно безопасной квартирке Крупских.

Безопасность ее в значительной степени зависела от того, что старший дворник этого пообтрепанного временем дома к Крупским относился с особым доверием, выделяя их среди пестрого населения десятков квартир как самых обходительных и спокойных жильцов. Относительно барышни Крупской, служившей в управлении железных дорог, у старшего дворника не возникало никаких подозрений, сколько ни пугал его «интеллигентами» околоточный надзиратель, вызывая для инструкций по наблюдению за неблагонадежным элементом столицы. Старшему дворнику внушали: надо глядеть, глядеть и глядеть.

Он глядел. Однако, что касается Крупской, эта барышня не какая-нибудь стриженная курсистка с пахитоской во рту — тиха, стеснительна, знакомства водит приличные. Да и мамаша при ней — подозрительных личностей в дом не допустит.

В этот вечер дворник заметил: к «барышне» поднялся незнакомый ему визитер с букетом цветов. Шел восьмой час, самое время для гостей, визитер с таким ликующим видом нес свой букет, упакованный от мороза в гляцевую бумажную обертку, что сомнений быть не могло: в доме затевается семейное празднество. Уж не женишок ли объявился? Дай бог. Не век ей, бедненькой, по службам бегать. Прошел еще гость, чуть рыжеватый, лобастый господин в каракулевой шапке, из-под которой зорко поблескивали карие глаза. По всей видимости, сослуживец не особо важный.

Никого, кроме этих двоих, старший дворник не видел: пока отгребал снег от парадного, остальные посетители, воспользовавшись проходным двором, поднялись черной лестницей.

Молодой человек, преподнесший Надежде Константиновне букет темных роз, был студент университета Михаил Сильвин, немало всех удививший своей светской галантностью. Надежда Константиновна смешалась, принимая цветы.

— Дорого, пожалуй, они стоят зимой,— заметил кто-то.

— Дороговато, ничего не скажешь,— согласился Сильвин, радуясь, как гимназист, своей выдумке.— Зато отменно изящная конспирация!

Он вытащил из букета сложенный вчетверо лист бумаги — рукопись статьи Ульянова «О чем думают наши министры».

О чем они думают в наступившие против их воли удивительные времена, когда революционной организацией уже охвачены все крупнейшие заводы столицы, создан центр, направляющий работу всех рабочих кружков и районов, и готова к изданию марксистская боевая газета, которая для министров едва ли не опаснее бомбы? А ведь прошло немногим больше двух лет после того вечера на Васильевском острове, когда молодые петербургские марксисты собрались вокруг приехавшего с Волги Ульянова!

Старший дворник угадал: сегодняшняя сходка у Крупской и верно похожа на праздник. Однако не семейный, хотя Елизавета Васильевна, как и дочь ее, подвижная и легкая женщина лет пятидесяти, без сединки в молодых волосах, смастерила пирог с клубничным вареньем, который гости в один миг уплели, после чего занялись важнейшим делом — обсуждением газеты. Разошлись поздно. Владимир Ильич после всех.

— Очень и очень дорога мне в этой газете статья о министрах, Владимир Ильич! В ней самый гвоздь. Пожалуйста только! Нет, вы послушайте!

Надежда Константиновна выбрала из пачки рукописей на столе статью Ульянова и, торопясь, чтобы он не перебил, прочитала почти на память:

— «Министр смотрит на рабочих, как на порох, а на знание и образование, как на искру; министр уверен, что если искра попадет в порох, то взрыв направится прежде всего на правительство». Владимир Ильич! Как точно и верно: взрыв направится на правительство! А убийственная ирония в адрес министра!.. Впрочем, что это я разъясняю вам ваши же мысли?

Она рассмеялась.

В этот вечер они много смеялись, хотя собрались по архисерьезному поводу. Завтра Анатолий Ванев переправит рукописи в лахтинскую подпольную типографию — и первый номер рабочей марксистской газеты выйдет в свет. И сделан еще шаг вперед. Семиверстный шажище!

— Что всего более радостно, — шагая по обыкновению из угла в угол комнаты, говорил Владимир Ильич с тем особенным искристым светом в глазах, который она так любила, — в чем наша сила — это появление рабочего нового типа. Бабушкин! Разве не тип нового рабочего? Умный, знающий, твердый. А Василий Шелгунов? Как рвутся они к революционной работе, преданы делу!

Он сощурился. От глаз к высоким вискам, играя смехом, побежали морщинки.

«Уже и морщинки!» — с лаской подумала Крупская.
— Ванеев — сущее золото! — как бы без перехода и связи продолжал он, листая рукописи на столе. Мысль о трудном и рискованном деле, которое предстоит назавтра Ванееву, заботит его страшно. — Сокровище наш Ванеев! Скромн, тверд, смел. Идеал революционера!

Надежда Константиновна втихомолку улыbnулась. Расхваливать товарищей Владимир Ильич мастер. Удивительный дар у этого человека — откапывать в людях достоинства! Откопает и уж с таким пылом возьмется расписывать, что послушать его — в их кружке каждый на свой лад сокровище.

А разве не так? Надежда Константиновна ужасно, ужасно любит товарищей!

— На редкость хороший у нас подобрался народец! — подхватил Владимир Ильич, как всегда мгновенно улавливая ход ее мыслей.

Его способность отгадывать душевное ее состояние трогала Надежду Константиновну. Он понимал ее, кажется, лучше, чем она сама. Ни с кем не было ей так легко и свободно.

— Однако пора позаботиться о рукописях.

Второй экземпляр газетных статей оставлен у Крупской — так решили сегодня на случай провала Ванеева.

— Нет ли у вас тайничка? — окинув взглядом комнату, спросил Владимир Ильич.

Сгреб рукописи со стола и, присев на корточки, принялся засовывать за буфет.

— Здесь незаметно. Выйдет газета, уничтожим эту улику. Клад для жандармов, не к ночи будь сказано.

Наступала ночь. Город мирно засыпал за окном. Елизаветы Васильевны не слышно: должно быть, тоже уснула. Как всегда, они заговорились.

— Не хочется мне от вас уходить, — сказал Владимир Ильич.

Она вспыхнула, отчего-то смутилась и глядела на него

молча, с открытой и беспомощной нежностью. Он нагнулся к столу над розами. Едва уловимый, тонкий запах шел от них.

— Жалко, что не я вам их принес,— сказал Владимир Ильич.

«Ах, постойте, я сама притащу вам охапку фиалок! — воскликнула она мысленно.— Вот наступит весна. Или нет. Зачем мне дожидаться весны!»

Ничего подобного вслух она не сказала. Проклятая стеснительность всю жизнь губила ее. Держала в цепях. Все слова на запоре.

— До завтра,— сказал Владимир Ильич, думая о том, что с каждым днем ему все труднее разлучаться с нею даже до завтра.— Завтра прибегу к вам сломя голову.

Она молча кивнула. Владимир Ильич медлил, странно серьезно всматриваясь в ее притихшее лицо с плотно сомкнутым ртом и счастливым блеском в глазах. Вдруг, словно испугавшись, что это строгое мгновение уйдет, он потянулся к ней, взял ее руку:

— Вы позволите мне называть вас Надей?

В эту ночь его арестовали. Арестовали весь центр и актив «Союза борьбы». Газета погибла.

И еще один вечер представился ей. Осенний, холодноватый, с хрустальной ясностью воздуха. В Летнем саду кружились, падая, листья. Стройны и тихи мосты над каналами. Владимир Ильич утащил ее побродить над Мойкой.

Взявшись за руки, они перешли Мойку возле царских конюшен. Извилистая, непетербургская набережная. Город с экипажами, огнями, витринами приглушенно шумит вдалеке. Здесь грустновато, пустынно. Где-то здесь умирал застреленный Пушкин. Они не знают, где дом, в котором жил Пушкин. Всякий раз, забредая сюда, они тщетно ищут среди задернутых шелком и кружевом окон

то, из которого он угрюмо следил за утренней прогулкой царя верхом вдоль набережной...

Нас было много на челне:
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны весла...

Надежда Константиновна оборвала стихи. Помнит Владимир Ильич дальше?

...Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец!..

«Нет, нет!» — внутренне похолодела она.

— «Я гимны прежние пою», — договорил Владимир Ильич.

«Он весь в этом сказался», — подумала Надежда Константиновна.

...Однако вот и Заводская улица, дом Ивана Якутова. Приезжий здесь ее ожидает.

7

Четверть века назад появился в городе Уфе человек из другой губернии, по имени Кондратий Прокофьевич. Было ему под сорок, рослый, лобастый, с бородой лопатой и умными, буравящими, как сверла, глазами, желтыми, ястребиными — так насквозь и глядят! Приехал не просто так, а с задачей. В те поры вокруг Уфы еще лежали на сотни верст нетронутые башкирские земли. Кондратий Прокофьевич поселился в Уфе, огляделся не торопясь. По реке Уфимке (как называют местные жители) до самого города стояли леса. Боже мой, какие леса! Дубовые, сосновые, роскошные, царственные. Водились лоси, ходили медведи, а человеческая нога не всюду ступала в этих девственных лесах на башкирских немереных землях.

Кондратий Прокофьевич обжился, огляделся, спустя некоторое время вошел в дружбу с нужным чиновником, неделю поил и между пьянками обстригал при способстве чиновника дельце: приобрел участок леса на реке Уфимке. Небольшой, в двести десятин всего. За бесценок. По восьми копеек за десятину. И тотчас заложил в земельном банке в десять раз дороже против стоимости. В скором времени на этот начальный капитал, приобретенный от выгодной сделки, куплен был новый участок леса, в десять раз больше первого, по той же грошовой цене. И тоже заложен. И еще. И еще. И на вырученные таким способом деньги за каких-нибудь года три Кондратий Прокофьевич почти задаром приобрел сто тысяч десятин строевого превосходного леса. Целая Бельгия могла бы уместиться во владениях Кондратия Прокофьевича.

Со всем пылом удачника, энергией предпринимателя, алчностью собственника занялся новоявленный капиталист промышленной деятельностью. Поставил лесопильный завод, и пошли валить лес! И пошли, пошли вырубать великолепные башкирские липы, могучие дубы, гордые мачтовые сосны. Где только можно сплавать по реке, лес сводили без пощады и жалости. Спешили, как воры. Оставляли на месте бывшего леса-красавца торчать голые пни. Версты и версты — всё пни. Лесные горькие кладбища.

А на Уфимке и Белой появились бесчисленные плоты, беляны и барки купца I гильдии Кондратия Прокофьевича. Гнали брусья, бревна, сплавливали тес. Сплавливали изделия из леса, ложки и плоски. Вовсю кипела торговля!

Уже стал Кондратий Прокофьевич кумом городского судебного следователя и с другими необходимыми чиновниками и промышленниками завел знакомства. И все валил лес. Все валил. Аппетит разгорался. Крылья у фантазий отрастали. Был миллионщиком, но остановиться не мог. Новые миллионы манили.

По берегам Уфимки во владениях Кондратия Прокофьевича леса были сведены, дальше расчета нет ва-

лить, дорого обойдется доставлять лес к реке. Узнал купчина, в одном уезде есть весьма подходящая местность, вся перерезана множеством сплавных речонек и речек. Нетронутые дивные леса хвойных пород покрывают прекрасную местность. «Быть моими лесам»,— задумал купец. Сказано—сделано. Кондратий Прокофьевич принял совершать купчую крепость, рассчитывая вскорости отхватить новый завидный кусок,—застучат топоры, завизжат пилы, встанут пристани на безвестных речонках, поплывут плоты.

Надо было созвать сход башкир, владевших лесами, для подписания договора о продаже. Волостной старшина, с головы до ног купленный ловким купчиной, побоялся сзывать сход—уж очень заметно обманной был договор,—решил поодиночке вызывать башкир в волостное правление. Сколько лесу продается, почем за десятину—врал без стеснения. Башкиры ставили тамгу, уходили. Потом обсуждали, что сделано, горевали, что поддались на обман. Некоторые возвращались требовать подпись обратно: самим нужны леса. Старшина и писарь гнали прочь. Тогдашним разорителям башкирских земель не представлялось, чтобы башкир, темный и дикий—они и за человека его не хотели считать, посмел воспрепятствовать поощряемой властями купеческой деятельности. Вдруг...

Бурунгул Хазбулатов в свой черед вызван был старшиной ставить тамгу на договоре. Пришел. Сам купец был в волостном правлении. Прибыл из города, недовольный, что дело затягивается. Сидел у стола. Ястребиные, желтые со сверканьем глаза так насквозь и сверлили.

— Нет моего согласия продавать лес,—сказал Хазбулатов.

Старшина в удивлении нахмурился, а купец сказал:

— Дурак! Зачем тебе лес, он у вас нечищенный стоит, подлеском заглушенный, сгниет он у вас.

— Дурак, зачем говоришь неразумные речи?—хладнокровно ответил башкир.

Купец вскипел, взъярился:

— Ты, ты, ты... собака башкирская!

Замахнулся кулаком. Башкир на негомахнулся. У купца все лицо перекопилось от злобы — не привык к таким дерзким ответам, давно привык к «что угодно-с». Старшина и писарь кинулись разнимать. Старшина орал, брызгал слюной, пинал Хазбулатова, топал.

Хазбулатов свое:

— Нет моего согласия. В лесах наших наши деды и прадеды бортничали, коней пасли по полям.

— В кутузку его, башкира вонючего! — распорядился волостной старшина.

Связали руки, оттащили, втокнули в кутузку. Была зима, стужа, ветер. Худо одетый, голодный башкир дрожал в нетопленной кутузке полные сутки.

— Одумался? Ставь тамгу, — велел старшина дрожащему, поруганному, ошеломленному своим бесправием башкиру. Купец сидел, поглаживая бороду.

— Не буду ставить.

— Черт с ним, — молвил купец. — Одумается, да поздно. Поплачешь ты у меня!

По округе летел слух. «Обман, подлог, старшину подкупили, писаря подкупили, грабят нас, дедовские леса отнимают». Башкиры не шли ставить тамги на договоре. Дотянули до лета. И случился пожар. Загорелось ночью. Вспыхнуло волостное правление, где хранились бумаги на попку башкирских лесов. Загорелась изба Хазбулатова невдалеке от правления. Поднялся ветер, понес горящие клочья соломы с крыш, пошел огонь мести подряд — в полчаса десятков изб смел. Вой, плач, конское ржание огласили ночь. Хазбулатов с женой спросонок выскочили из полыхающей избы. Юлдашбая, сонного сынишку, вытащили. А девочка обгорела, через два дня умерла. И скотина сгорела. Конь сгорел.

Прискакал стражник из города. Еще не погасили пожара, стражник прискакал. Почему-то опять очутился в деревне купец, примчался на тройке. Хазбулатова схва-

тили, скрутили руки. Связанного допрашивали: «Ты поджег, ты?»

Волостной старшина бил его, связанного, кулаком в скулы.

«Из мести поджег, собака башкирская, на каторжных работах сгною», — сказал купец.

Хазбулатов сплюнул кровь из разбитого рта. Понял — плохи его дела.

Пять лет продержали Хазбулатова в тюрьме за поджог.

Когда выпустили, вернулся домой, не узнал жену — сморщенной старухой стала жена. Сына не узнал. Был веселеньким, ясным мальчишечкой, стал угрюмым волчком. Научился по-русски: «Подайте ради Христа».

Избы у Хазбулатова нет. Хозяйства нет. Коня нет. А леса перешли купцу. Бумаги сгорели в правлении, и башкиры не сумели доказать, что леса их не проданы. Где-то по казенным палатам ходило башкирское прошение с жалобой на самоуправство купца, а купец пока что валял вековые ели и сосны, добавляя сотни десятин лесных кладбищ в Уфимской губернии.

Взял Хазбулатов жену и сына и ушел из родных мест, далеко, за пятьсот верст, на медеплавильный завод в поселке Баймак. Поставили на заводе сторожем. Один сторож с винтовкой сторожит, а Бурунгулу Хазбулатову колотушку дали. Ходи, колоти, отшугивай недобрых людей. Ходил ночами у заводских складов, колотил в колотушку.

Ослабел от тюрьмы, обессилел от бед, руки тряслись, липким потом обливалась спина. Заболел Хазбулатов чахоткой.

На заводе много было башкир. И в окрестностях жили башкиры. Приносили Хазбулатову кумыс. «Пей кумыс, Бурунгул, от кумыса встанешь».

Но и кумыс уже не помог. Не встал Хазбулатов. Перед смертью мучили злые видения, вспыхивало в мозгу прошлое: бил старшина кулаком в подбородок, в ску-

лу, а купец, разглаживая бороду: «Прощайся с конем, Хазбулатов! С жизнью прощайся».

Чу! — слышны топот и ржание коня. Товарищ мой, конь! Где ты, друг мой верный, мой конь?.. Смертной тоской ноет грудь. Вот отчего заболел Бурунгул Хазбулатов чахоткой — от тоски. «Отомсти, Юлдашбай. Не будет тебе счастья, ни радости, ни удачи, ни жизни, — отомсти».

Они сидели в тесной низенькой комнате в избушке Ивана Якутова на Заводской улице. Три окошка выходили на улицу, низкие, почти над землей. Избушка скособочилась, величавый осокорь стоял подле; раскачивая ветвями, мел вершиной синеву небесного свода, весь шумел и волновался от ветра. Слышались свистки паровоза. С тревожным чувством ловила Надежда Константиновна доносящийся тягучий гудок парохода.

Они были вдвоем. Иван Якутов оставил их, побежал к себе в железнодорожные мастерские. Вошла из сеней Наташа, молоденькая жена Якутова, с засученными рукавами — стирала в сенях, — постояла у порога. Юлдашбай замолчал, она ушла. Он говорил резко, отрывисто, упершись в пол глазами, мешая русские слова и башкирские. Смолкал, опять говорил. Кончил. Поставил кулак на стол.

— Что будете делать теперь, Юлдашбай?

— Приехал в Уфу.

— Что будете делать в Уфе?

— Нельзя было мне там оставаться. Наш кружок на заводе накрыли. Трое арестованы, мне товарищи дали знать, взял на заводе расчет и сюда.

— Трудно здесь с работой, ну да авось помогут уфимцы, — сказала Надежда Константиновна.

— У меня не одна цель — работа.

— Кружок?

— И кружок. Якутов сказал, примут в кружок. И другое есть на душе.

— Что же, Юлдашбай?

— Искать купца буду,— тихо ответил он.

— Зачем?

— Выслежу...

Он к ней подался. Неукротимое, дикое — память предков-кочевников — поднялось в глазах, огромных и мрачных, похожих на два черных угля.

— ...Убью.

Надежда Константиновна молчала. Молча разглядывала его. Он весь был из мускулов, руки, должно быть, железные (подкову согнут), поджарый, с широкой грудью, ввалившимся животом, узкой талией. Лицо словно высечено из темного камня, плоское и неподвижное. Вся душевная жизнь его — сила и лютость — были в глазах. Не убьет. Про убийство не говорят, не признаются. Говорит, значит, знает: не будет этого. Искушит себя, измучает бессильной ненавистью.

— Юлдашбай, убьете, что толку?

— Мечь. Отец велел перед смертью.

— Отец был от болезни в бреду.

Юлдашбай, нагнув голову, медленным сумрачным взглядом исподлобья мерял ее. Доверять или нет? Полагаться ли? Кто она? Чего от нее можно ждать?

— Товарищи из завода прислали к Ивану Якутову — верный, говорят, человек, надеяться можно.

— Хорошо, что вас к нему прислали,— верный человек Иван Якутов,— согласилась Надежда Константиновна.

— Иван Якутов сказал, есть женщина, умная. Отвори, говорит, перед ней настезь всю душу, она в тюрьме за рабочих сидела, а сейчас в ссылке. Надежда-апай, я вам все открыл.

— Спасибо за доверие, Юлдашбай. Но ведь и я в ответ должна быть совсем откровенна с вами?

— Правильно говорите, Надежда-апай.

— Так вот что я скажу вам, Юлдашбай: я этого купца знаю.

Он отшатнулся. Смутное, злобное тенью прошло по лицу.

— Я догадывалась, что плохими средствами он добыл богатство,— сказала Надежда Константиновна,— а разве богатства добываются честными средствами? Ведь вы же знаете, богатства всегда от грабежей и злодейства. Напрасно все же вы задумали его убивать. Убьете — зашлют навечно на каторгу...

— Трусить учите? — презрительно просвистел Юлдашбай.

— Юлдашбай, вы позвали меня, чтобы поддакивала? Или чтобы свое говорила?

— Говорите свое.

— Убьешь купца — наследники найдутся, — перешла на «ты» Надежда Константиновна. — Не остановится ни торговля, ни лесной его грабеж. Пущена машина. Да разве ты не знаешь, Юлдашбай! Слышал, царя убивали?

— Ну, слышал.

— Новый царь вступил на престол. Был Александр Второй, стал Александр Третий. И вся разница.

— Чему ты меня учишь, Надежда-апай? — тоже отвечал он на «ты». — Объясни, чему учишь?

— Борьбе. Царя, купцов не поодиночке, всех разом надо прогнать.

— То борьба, а то месть. Отец наказал. Не велишь сердцу: терпи. Отец перед глазами. В могилу его затолкали. Не могу забыть.

Он понурился. Уныние и сумрачность все больше овладевали им.

«Юнец еще, — думала Надежда Константиновна, глядя на его вздрагивающие ноздри и сжатый рот. — Совсем, совсем юнец. Иначе разве стал бы делиться с посторонним человеком своими сумасшедшими планами? Сказали: «Надежде-апай доверься, он и доверился, ах, юнец! Сама судьба, Юлдашбай, зовет тебя к борьбе. Твое несчастье зовет. Но что это, как неверно я рассуждаю! Разве только несчастливые люди вступают на револю-

ционный путь? Я ведь вот счастлива. И подруги мои, Зина и Софья Невзоровы. И все мы вовсе не от бед пошли на борьбу. Надо осторожнее с ним, а то вот такие застенчивые и самолюбивые люди иной раз наперекор и решаются...»

Они сидели и думали каждый свою думу. Неизвестно, о чем думал Хазбулатов, но отчужденно молчал.

— Юлдашбай, ты веришь, что придет время, прогоним царя и купцов?

— Это долго. Сейчас не хочу терпеть. Сердце жжет.

— Как мне тебя убедить, Юлдашбай! Надо жить общей борьбой, общими пролетарскими целями! Ведь ты социал-демократ.

— Уводишь. Мать тоже уводила: смирись, Юлдашбай, перетерпи, пережди.

— Никогда не скажу я «смирись!» — вспылила Надежда Константиновна. — В твоей матери ее материнский страх говорил. Ты не знаешь меня, Юлдашбай. Я не смиренная. Юлдашбай, ты много читаешь? Какие ты книжки читал?

— Много книжек читал. А такую не встретил, где бы про отца было написано, что избу сожгли, сестренку сожгли, коня сожгли, отца в тюрьму заперли, а мать от горя зачахла.

— Стой, стой, Юлдашбай, есть книжки, в которых об этом написано!

— Может, и есть. Я про свою жизнь без книг знаю. Он отвернулся.

— Видно, ты отталкиваешь меня, Юлдашбай, — сказала Надежда Константиновна. — Не хочешь со мной и товарищами нашими дружить.

— Как не хочу! А зачем приехал? Меня из кружка с письмом к Ивану Якутову прислали. Ехал для борьбы! А купец — моя беда, моя доля. Не умею в себе заглушить.

— Юлдашбай, можешь ты мне обещать, что ничего не сделаешь без совета со мной?

Он вперил в нее угольный взгляд, выпытывая и колеблясь. Медленно покачал головой:

— Не знаю.

— Ты прямой человек, Юлдашбай. Но все-таки я тебя прошу: не делай ничего без совета. Юлдашбай, как по-башкирски товарищ?

— Иптэш.

— Иптэш — товарищ, запомню...

8

В Казани они не сошли.

Со счастливой беспечностью своих девятнадцати лет Лиза проспала Казань — и как пароход приставал, как отдавал капитан команду зычным капитанским голосом, как матрос кидал чалку, как кипела пеной под колесами вода, — все проспала. Проснулась — тихо, вода не шлепает о днище, стоим. «Чем мне для начала заняться?» — думала Лиза, сладко потягиваясь после сна на пружинистом диване. «Ага, помню, помню». Она помнила уроки Татьяны Карловны, не оставлявшей и после института над ней попечения. Татьяна Карловна давала Лизе уроки светского тона: в путешествии надо менять туалеты, как требует этикет. «Пять-шесть платьев мало-мальски приличных есть у тебя?»

Пять, пожалуй, найдется. Лиза перебрала и перемеряла все их и для Казани оставила простенькое, из сарпинки, в белые и лиловые полосы. Приделась, поглядела в зеркало, сделала прическу, напустив на уши каштановые с золотинкой волосы, понравилась себе, улыбнулась и вышла на палубу.

Петр Афанасьевич сказал, что, пока стоит пароход, придется ему ехать по делам. «Не беспокойтесь, не ждите, по возможности проводите время приятно».

Палуба была пуста, пароход пуст, все уехали в город за шесть верст от пристани, и Лиза не знала бы, чем занять время, но подошел официант из салона и, почти

тельно нагибаясь, сказал, что «завтрак готов-с, велено пригласить барышню, когда встанут-с».

Лизе нравилась почтительность, какой здесь, на пароходе, ее окружали горничные, официанты и сам капитан с квадратными плечами и лицом кирпичного цвета. Лизе нравилось, что все любили ее.

— Данке! — привычно поблагодарила она по-немецки и прошла в столовый салон, решив заказать на завтрак пирожки с вареньем и кофе.

— Прикажете рыбу? Цыпленка?

— Нет, пирожки с вареньем.

Официант с полусогнутой спиной попятился и почти тельно удалился.

Она путешествовала, как знатная дама из переводных романов, которыми была полна ее голова, и старалась подражать этой выдуманной даме из дешевеньких книжек. «Чем бы заняться теперь? — съев пирожки, задала себе Лиза вопрос. — Сходить разве посмотреть, что за пристань».

Пристань в Казани была бестолкова и сумбурна, набита народом, полна суеты, гвалта, криков. В Казани был не один, а много причалов, наверное не меньше двадцати, поставленных на воде под песчаным обрывом плечом к плечу, заваленных ящиками, кулями; товарные и пассажирские, для пароходов дальнего и местного следования — все вперемешку. На обрыве над пристанью толпились кабаки и лавчонки; на солнцепеке полукольцом выстроились десятки извозчиков, кидавшихся на зов пассажиров, хлеща кнутами смиренных коней, гикая, крича татарски и по-русски, вздымая тучи пыли из-под колес и копыт; крикливые грудастые бабы торговали за деревянными ларями всяческой снедью; и на причалах, между причалами и у самой воды, на бревнах, перевернутых ящиках и прямо на песке сидели, лежали, стояли какие-то до черноты загорелые люди в рваных кацавейках и куртках, засаленных штанах, ватных шапках. Все, как один, белозубые, взгляд у всех колючий и дерзкий,

разбойничий. «Грузчики»,— догадалась Лиза, видя за спинами у некоторых прикрепленные через плечи приспособления для ношения грузов, «подушки», хотя ничего похожего на подушки в них не было.

Непонятное что-то происходило на причале, к которому пришвартовался пароход. Грузчики, их было человек девять, сидели на полу вдоль борта и в проходе, расставив ноги, и курили махорку. Молча. Лица упорные, словно задались целью сидеть и молчать. Впрочем, двое лежали на животах, подложив руки под головы, должно быть спали; у этих двоих (Лиза увидела) на голых пятках углем выведена была цифра «б».

— Не хозяин я, сам подневольный: что прикажут, моя обязанность— выполни. Ежели бы воля моя, отчего не уважить? Я не прочь, я согласен, да надо мной тоже власть,— каким-то неестественным, тонким и в то же время вроде бы внушительным голосом говорил человек в полотняном пиджаке и картузе, подстриженный в кружок, с козлиной бородкой, будто из пакли.

— Что вы молчите? Что? Молчите-то что?

— Наше слово сказал,— ответил старший из грузчиков, татарин, весь измеченный оспинами.— Наше слово сказал, твоя говори.

И раздавил об пол сигарку с махоркой.

— Леший с вами, коли так,— плюнул человек в картузе.— Много чести вам кланяться. Других подражу. Вашего брата на пристани пруд пруди.

Ушел, скрипя сапогами со сборенными голенищами. Всем своим видом показывая: «Коли так, леший с вами!» Никто из грузчиков не шевельнулся поглядеть вслед. Сидели словно каменные.

— Ходи, ищи,— бросил татарин вдогонку.

Лиза стояла, держась за борт, перегнувшись, глядела вниз. Один, молодой, темный, как цыган, с шапкой путаных, круто вьющихся в кольца волос, поднял глаза, обвел ее медленным взглядом и равнодушно отвернулся, будто не живая девушка с белой кожей, в платье из поло-

сатой сарпинки была перед ним, а кукла. Она в досаде прикусила губу. Как он смеет так отворачиваться, грузчик какой-то!

Тот, в картузе, возвратился. Глаза растерянно бегали, и чувствовалась в нем озабоченность.

— Ладно, вставайте, четыре с половиной даю, в убыток себе. Во всей Казани больше не возьмете. Подите суньтесь, дороже нигде не дадут. Четыре с полтиной идет?

Татарин вытащил из голенища обрывок газеты, оторвал клочок, вынул кисет из кармана и не спеша стал крутить сигарку.

— Онемел, сидит, как идол! Слышишь, что ль? Ежели бы я хозяином был!.. Всего-то приказчик, не в своей воле... Отвечай, что молчишь?

— Наше слово сказал.

— «Сказал, сказал»!.. Задолбил, как дятел. Позову других — останетесь с шишом.

— Зови. На чужое место наш не пойдет.

— Со-ли-дар-ные, — дразня, выговорил приказчик. Сорвал картуз, вытер круглую, как блюдечко, лысину и отчаянно: — Леший с вами, вставайте! Пятерку даю на артель. Да бегом, пошевеливайсь, слышь, пароходу расписание есть, ждать нас не будет. Вставай, говорю! Переспорили, черти, ваша взяла, грузы за пятерку!

Татарин молча ткнул пальцем в голую пятку лежащего рядом. Тот зашевелился, повернулся другой щекой на закинутые руки и пустил долгий храп.

— Шесть целковых давай, написано: шесть на артель, — сказал татарин.

Приказчик снова сорвал с головы картуз, шлепнул себя по коленке, нахлобучил картуз, подпер кулаками бока, плюнул, не зная, как еще показать всю степень негодования.

Он ненавидел грузчиков за свое бессилие, за их упорство, за то, что они побеждали; он уже чувствовал: придется ему уступить.

— Что за торговля? Чего не поладили?

С парохода сходил капитан. Грузный, плечистый, нахмуренный.

— Загодя ладить надо, поздно теперь.

Приказчик сам знал, что поздно, знал свою вину, что загодя не уломал старшого в артели — схитрить хотел, перед самой погрузкой выторговать в свой карман, да не вышло.

— Уперлись на своем. Капитана постыдились бы, черти! Вон публика смотрит. Ребята, а ну, вставай за пятерку, а ну, подымайсь!

Уже собиралась толпа вокруг происшествия, любопытные полукольцом окружили сидящих грузчиков и приказчика с капитаном. Лиза увидела в толпе Владимира Ильича. Значит, в Казани они не сошли. Лиза отчего-то обрадовалась. С удивлением читала она какой-то особенный интерес на лице Владимира Ильича. И сочувствие. Кому он сочувствует? Он стоял, откинув полы пиджака, спрятав руки в карманы; взгляд его, острый и внимательный, перебегал с одного на другого, обежал капитана.

— Никудышные людишки! Ты им лучше, а они тебе хуже, — жаловался приказчик, рассчитывая, не вмешается ли капитан своей властью.

— Сам виноват, по глупости своей смутьянство плодишь, — буркнул тот. — Мне через полчаса пароход отправлять, я из-за тебя расписание не стану ломать, улаживайся.

Круто повернувшись, капитан побежал по трапу на пароход, быстро и живо, несмотря на грузность. Казалось, он убежал.

«И капитан отказался», — поняла Лиза.

Она нашла взглядом в толпе Владимира Ильича и ясно прочитала на его лице торжество. Он торжествовал. Он был рад. Он сочувствовал грузчикам.

В глубине души Лиза тоже сочувствовала грузчикам, особенно тому, молодому, который равнодушно от нее отвернулся. Несмотря на дерзость, молодой грузчик

Лизе понравился своей независимостью. И капитан с бычьей шеей и лицом кирпичного цвета сейчас Лизе нравился больше, чем когда услужливо изгибался перед членом правления акционерного общества Петром Афанасьевичем.

— Пользуетесь, а? Пользуетесь? — тыча кулаком в сторону грузчиков, ярился приказчик. — Полиции захотели? Бунтуете? Малый, эй, малый, мчись за полицией! Э-эй, полиция! Я вас, дармоеды, под бунт подведу, я вас упеку...

Раздался первый удар колокола.

По крутой дороге с обрыва по направлению к пристани, кутаясь в облаке пыли, катила коляска. «Тпруу!» — натянул кучер вожжи, лихо подкатив к причалу. Конь гнедой масти с подвязанным хвостом и подрезанной гривой стал, роня комья ржавой пены с удил. Из коляски с лакированными крыльями соскочил Петр Афанасьевич. Увидел Лизу на палубе, махнул перчаткой. На причале все орал проклятья и ругань приказчик, все сидели без слова окаменевшие грузчики.

— Подлый народишка! — входя через минуту к Лизе на палубу, говорил Петр Афанасьевич, разодетый в чесучовый пиджак, красный галстук и светлые брюки, — франт, как всегда. — Бездельники, пользуются случаем сорвать с хозяина, а приказчик, видать, дурак, заварил кашу, а расхлебывать не умеет, — гнать таких надо!

— Им не хочется задешево работать, — полуспрашивая, сказала Лиза.

Он в недоумении на нее поглядел.

— Каждому свое. Не всем ездить в каютах первого класса.

Она покраснела. На что он намекает?

— Ну, ну, ну, сердитенькая моя, не к лицу вам думать о грузчиках. Как спалось, принцесса моя, какие сны виделись?

Внизу на причале надрывался до сипоты голос приказчика:

— Последний раз спрашиваю: совесть есть у вас, океанские, идола? Нет совести, бессовестные. Коли так, леший с вами, уступаю. Клади в гроб живого, грузи за шесть.

Вмиг произошла перемена. Словно ветром подняло грузчиков. Все, как один, на ногах. Двое лежавших вскочили, будто не спали. «Подушки» на спины. Татарин что-то сказал, и не шагом, а рысью, бегом они кинулись на задний борт причала, где лежали мешки, и уже тащили на спинах. Бегом, бегом, бегом. Пригибаясь от тяжести, но молодо, споро.

— Как ловко работают! — невольно вырвалось у Лизы.

— Проучить бунтовщиков надо бы, волю взяли! — с жесткой нотой сказал Петр Афанасьевич. — А вас не должно это интересовать. Не дамское занятие.

Лиза не слышала раньше в его голосе такого холода, не замечала в глазах этого льда.

Она сидела на палубе под вечер, сплетя пальцы, положив на колени руки. Татьяна Карловна выговаривала за привычку сплестать пальцы — дурная привычка!

Пароход вошел в Каму. Темный еловый лес встал по берегам, все сузилось, стало теснее, не было волжской широты и простора.

Мимо, припадая на левую ногу, с толстым томом под мышкой прошагал хромым господин в поношенном пиджаке, тот, что все любил гулять по палубе; и затем начался разговор, который Лиза не старалась услышать, но волей-неволей услышала, потому что происходил он почти рядом. Говорил хромым господином:

— Давеча, в Казани на пристани, мы наблюдали картинку сопротивления рабочих масс эксплуатации, не так ли? Миниатюрную забастовку, не так ли? Да, классический пример забастовки, и вы, сочувствуя ей, нравственно поддержали...

— Я не делился с вами, — перебил в свою очередь сдержанный голос Владимира Ильича.

— Не имеет значения,— перебил хромой господин.—
Всякий порядочный интеллигент в данной ситуации нрав-
ственно поддерживал грузчиков, ибо нам с вами, милости-
вый государь, как интеллигентам, интеллигентному проле-
тарию, скажу про себя, глубоко противно всякое хищ-
ничество в любом его виде...

— Что вы хотите доказать? — спросил кто-то.

— Не доказать, а рассказать. Об одном происшествии из собственного опыта, приведшем к драматическим изменениям всю мою жизнь.

— Тоже забастовка? — услышала Лиза голос небреж-
ный и жесткий.

Петр Афанасьевич тут. Что-то зануло у Лизы внутри.
Зачем он тут? Ведь он держался в стороне, ни с кем не
заходил на пароходе знакомства. Она со страхом ждала,
как он покажет себя в этом обществе.

— Происшествие следующее,— пренебрегая вопросом,
продолжал хромой господин.— Извольте видеть, книга...

Должно быть, он показал собеседникам толстую кни-
гу, которую нес под мышкой.

— Энциклопедия,— сказал Владимир Ильич.

— Правильно заметить изволили. Том пятый; энцик-
лопедия, том пятый, издания тысяча восемьсот девяносто
первого года. Девять лет назад выпущенный, в тысяча
восемьсот девяносто первом году. Брокгауз и Ефрон,
извольте заметить. Уважаемая и солидная фирма, не
так ли?

— И что же? — видимо заинтригованный, спросил
Владимир Ильич.

— Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, для создания
коей существовал и существует поныне аппарат ученых
редакторов, корректоров и прочих литературных деятелей,
а также разных начальствующих лиц. Среди послед-
них в оное время было лицо, ныне по старости лет,
а более из-за невоздержанного образа жизни закончившее
земное поприще; упомянутое лицо все бразды правления
держало в руках, главным образом касательно выплаты

денег. Натерпится, бывало, литературная братия, ибо у этого лица обыкновение было задерживать выплату. Хоть неделю, хоть три дня, а задержит. Нрав такой жадный. «Как, батенька, неужели редакция перед вами в долгу? Неужели в долгу? Ой, запомятовал! Ей-богу, запомятовал!» Будучи по роду своей работы острословной и быстро находчивой, литературная братия дала угнетателю прозвище «беспамятная собака», что быстро облетело редакцию и до адресата дошло, а дабы и потомкам стало известно...

Хромой господин полистал страницы энциклопедии.

— Дабы и потомкам осталось известно... Угодно прочесть?

— Что такое! — изумленно сказал Владимир Ильич. Расхохотался: — Да нет, не может быть, ерунда какая-то!

— Читайте вслух. Что там? — требовал чей-то голос.

— «Беспамятная собака — собака, жадная до азартности», — внятно прочитал хромой господин.

— Что-что? Ха-ха-ха! Но ведь бессмыслица!

— Господа, невероятно! Дайте взглянуть.

— Дайте мне! «Беспамятная собака — собака, жадная до азартности». Так и написано. Господа в энциклопедии, в солидном издании такое дают определение? Чушь.

— Не чушь, а способ борьбы с эксплуатацией, — сказал хромой господин.

На несколько мгновений стихло. И Лиза услышала насмешливое:

— Выдумают тоже. Эксплуатация! Способ борьбы!

«Петр Афанасьевич. Он. Боже мой, зачем он здесь? Что он скажет? Ну, что ты скажешь?»

— Всех этих борцов ваших гнать! — услышала Лиза.

Он, Петр Афанасьевич.

— Выгнали, — ответил хромой господин. — Вашего покорного слугу выгнали. Имел несчастье быть одним из корректоров. Младшим корректором. Младшего в наказание и выгнали.

— Не подпускать на сто верст!

— Не подпускают. Девять лет безработный. Умственный пролетарий. Случайными работенками кое-как перебиваюсь.

— Поделом. Не вольничай.

И твердой походкой мимо Лизы прошел Петр Афанасьевич, в чесучовом пиджаке и красном галстуке.

Должно быть, там наступила неловкость. Постепенно все разошлись. Нет, не все. Лиза услышала голос Владимира Ильича:

— Вы говорите: способ борьбы. Наивно, забавно! Сорвали зло, насладились мстостью, читателей энциклопедии поставили в тупик — читатель-то подоплеки не знает, — а результаты? Нет, грузчики боролись умнее.

— Вот, вот, вот! Я еще в Казани на пристани заметил, что вы...

— Не все надо замечать и не все, что замечено...

— ...доводить до всеобщего сведения, — подхватил хромой господин. — Итак, наша борьба против эксплуататора не нашла у вас одобрения?

— Какая же это борьба! Литературное озорство. Нельзя не засмеяться. А толку?

— Но порыв, благородная нерасчетливость молодости...

Должно быть, Владимир Ильич не поддержал разговор. Немного спустя господин прохромал мимо окна, неся под мышкой энциклопедию; у него было желтое лицо с острым носом, он горбил спину и казался одиноким и старым.

До ночи Лиза просидела одна в каюте, сказавшись больной. На душе было смутно. Неясно и смутно. Стремительно темнело. Со всех сторон надвинулся сумрак, глухой чернотой укутался лес, река вздулась, косые волны откатывались из-под колес, пробежал ветер, поднял рябь на реке. Темно-синяя туча, распутив космы седых облаков, быстро ползла навстречу пароходу, затворяя небо; змеиные молнии чертили тучу, урчал и перекатывался из края в край неба гром, нарастая и близясь. Ту-

ча пришла, нависла, и крупные капли дождя часто запрыгали по воде. Сквозь дымящуюся пелену дождя лесистые кручи камских берегов глядели ненастно и серо.

9

Подплывали к Уфе. Вдоль берега Белой шел из Сибири товарный состав. Обогнал, серое облако дыма еще летело, развеиваясь. Уже видна была пристань, толпа встречающих на пристани, а Уфы не видно. Пристань расположилась под высокой горой, раскиданы сады по горе, цветные крыши глядят из садов — это окраина, а вся Уфа там, за горой, по холмам и увалам, перерезана оврагами, и две реки, Белая и Уфимка, обнимают ее, как в кольцо сплетенные руки.

Капитан в белом кителе, прямя спину и выкатывая могучую грудь, отдает команду на мостике. Пароходик пыхтит, плюхает вода под колесами. Пароходик старается показать себя перед Уфой молодцом.

— Прямо держи! — командует капитан. — Готовь носовую.

Лиза, притихшая, стоит у борта возле Петра Афанасьевича. Пароход подплывает к Уфе, приходит конец Лизиной воле. А была ли воля?

Она взяла под руку Петра Афанасьевича. Во всем свете один Петр Афанасьевич проявляет о Лизе заботу. Он один у нее. Добрый Петр Афанасьевич. Впереди красивая богатая жизнь. Чего ей еще? Чего ей страшиться?

Она поискала глазами Ульяновых. Все трое тоже стояли у борта. Так Лизе и не пришлось познакомиться с ними, только случайно узнала фамилию да кланялась, когда приходилось столкнуться на палубе. Кажется, они избегали знакомства. Из самолюбия Лиза старалась скрыть это от Петра Афанасьевича, но была задета и бросила свои наблюдения. Только сейчас краешком глаза смотрела. Они тоже беспокойны, приближаясь к Уфе. Особенно Владимир Ильич. Лиза видела, он бледнее и молчали-

вей обычного, ожидание чувствовалось в его позе и взгляде. Капитан отдавал последнюю команду. Забурлило, забилось под колесом. Заскрипел борт парохода. Полетела чалка на пристань. Причаливаем.

Лиза заметила: Владимир Ильич преобразился, стал будто моложе и легче, весь подался вперед, и тогда Лиза увидела на пристани молодую женщину. Невысокую, тонкую, в белой кофточке, простенькую и удивительную. Удивительно было выражение лица. Выражение не тающей, открытой, огромной любви. Она была гладко причесана, под маленькой шляпкой коса, уложенная венцом на затылке, тяжелила её голову. Она прижимала руки к груди и смотрела на Владимира Ильича не отрываясь, пристально, строго, серьезно. «Какая она! Какая? Не знаю. Она удивительная».

Впрочем, когда спустили сходни, она, уже обыкновенная женщина, среди первых взбежала на палубу, в белой кофточке, обыкновенная молоденькая женщина, раскрасневшаяся и оживленная.

— Марья Александровна, здравствуйте! — Она целовала и обнимала ее. — Здравствуй, Анюта, загорела-то как, всю речным ветром обдуло. А не изменилась ничуть, все такая же молодая.

— Надя, Надя! — восклицала Анна Ильинична. — Сколько не виделись, три года не виделись, дай на тебя поглядеть, милая, здравствуй, что же ты с Володей-то не здороваешься... где ты, Володя?

— Володя, — сказала та, которую Анна Ильинична называла Надей.

Он ее обнял.

— А вон нас встречают, — громко, на весь пароход, сказал Петр Афанасьевич, — вон, видите, Елизавета Юрьевна, глядите, встречают! — И замахал шляпой, крича: — Кондратий Прокофьевич, папаша крестный. Кондратий Прокофьевич! Ну, Елизавета Юрьевна, красавица Лизанька моя, — сжимая ей локоть, шепотом, щекоча ухо усами, — королева недоступная...

Четырехместный лакированный экипаж, запряженный парой вороных сытых коней, был подан за ними; кучер сидел на козлах в красной рубахе и плисовых штанах, наряженный, будто на представленье в театр, а Лизу Кондратий Прокофьевич, крепкий старик лет шестидесяти, с квадратной бородой и желтыми ястребиными глазами, усадил возле себя на заднем сиденье, подсунув под спину подушку.

— Знакомы будем... крестница, богом данная. С личика ничего, подходяще.

Оглядел с головы до ног, расправил на две стороны бороду и снисходительно:

— Щуплая больно. Мода, что ли, такая?

Петр Афанасьевич, сконфуженный его грубой прямой, начал было о чем-то деловом, но старик оборвал:

— Помолчи. Про дела будем, пообедавши, дома. Дело не волк, в лес не убежит. Выискал себе игрушечку, а? Мы, бывало, брали в жены чтоб поздоровше, барствовать не с чего было, ни с чего начинали. А то еще лучше, чтоб в кубышке у невесты для первого оборота маленько велось. Не до игрушечек было, как в кармане ветер свистел.

— Течение жизни, прогресс,— заметил Петр Афанасьевич.

— Это, что ли, прогресс-то? — Старик ткнул пальцем на его фиолетовый галстук.

— Приходится, дело требует,— вежливо возразил Петр Афанасьевич, с тайным смешком поглядывая на его долгополый старомодный сюртук.

— Тянись, поспевай,— ухмыльнулся старик. И Лизе: — Ты, кралечка, не робей; привезли тебя в дом, на всю Уфу почитаемый, выдадим замуж честь по чести, прогремим со свадьбой на всю губернию — знай наших,— ежели уж крестничек по сиротству своему поклонился, чтоб посаженными родителями быть. В обиду своих не дадим, мы за своих горой, наш род на том держится... Эй, Гаврила, покажи удаль!

Гаврила на козлах гикнул, шевельнул вожжами, зазвенели о булыжник подковы, кони понесли экипаж и скоро подомчали к длинному, с множеством окон, изукрашенному слишком уж даже узорной и богатой резьбой деревянному дому. Распахнулась дверь на парадном крыльце, и, входя в сени, Лиза услышала быстрый топот, восклицания, смешки, ахи и увидела мелькающие за дверьми и над перилами лица.

— Не робей, кралечка,— сказал Кондратий Прокофьевич,— бабье от любопытства с ума пошло.— Захлопал в ладоши: — Бабье, эй, обед подавай!

Сразу с парохода их повели обедать в парадную столовую, с геранями, штофными занавесками, горкой, уставленной хрусталем и фарфором, и богато накрытым столом. От кушаний рябило в глазах. Заливные осетры и поросята, икра, грибы, маринады, кулебяки, расстегаи.

— Кушай, крестничек,— угощала хозяйка с тройным подбородком и пуговичным носиком, в шумящем платье, в браслетах и кольцах.— А вас уж не знаю, как называть.

— Лиза.

— Что же вы так невестой и женихом на пароходе и ехали, рядышком, что ли?

Тоже большая и толстая, с пуговичным, как у мамы, носиком, с веснушками на белой коже, тоже в браслетах и кольцах, дочь, поднеся ко рту кружевной платок, давилась смехом.

— Рядышком ли, нет ли, дело не ваше, цыц! — оборвал Кондратий Прокофьевич.

— Больно уж против обычаю. Чтобы жених-то с невестой да до свадьбы... — не унималась хозяйка.

— Коммерция подвернулась, в Звенижском Затоне механические мастерские проездом посмотреть интерес был, ну и решил, поплывем пароходом,— объяснил Петр Афанасьевич.— Пароходишко-то нашей компании, тоже поглядеть надо было...

— Да ты не объясняй, все грехи свадьбой прикроешь,

запрут языки-то, примолкнут,— успокоил Кондратий Прокофьевич.

Лиза сидела ни жива ни мертва. Где она? Что с ней? Сколько часов они просидят за столом? Кухарка все вносит новые блюда. Хозяйка потчует, Петр Афанасьевич ест, пьет, все едят. У Кондратия Прокофьевича жирные губы, крошки в бороде.

— Кушайте. Или не по вкусу кушанья наши? — сказала хозяйка и поджала губы.

— Злятся,— усмехнулся Кондратий Прокофьевич.— А на что? На то злятся,— обратился он к Лизе,— своя невеста без места — зависть и точит, как ржа железо... Александра, не плачь, набегут на приданое твое женихи.

— Александре нашей года не вышли, не перестарок, плакать-то... От нее не уйдет — чай, не нищая, кого пожелает, того и выберем,— с достоинством возразила хозяйка и поджала губы.

— Про то и речь, что налетят на приданое. Красоты бог не дал, а миллион-то на что? Кому что.

«Господи! — взмолилась Лиза в душе.— Когда это кончится? Эта казнь, унижение! Зачем я здесь. А он почему молчит? Почему он за меня не заступится?»

Петр Афанасьевич ел, пил, со вкусом вытирая после рюмки салфеткой усы, за Лизу не заступался, но все пробовал перевести разговор на другое, вставляя вопросы про Уфу, торговлю, каких-то давних знакомых, какой-то Уфимский завод, владельцем которого он, Петр Афанасьевич, был. Лиза просидела обед, не подняв глаз, едва притронувшись к пище.

— Тихую игрушечку выбрал,— с засалившимся взглядом, пьянея, сказал Кондратий Прокофьевич.

— Не простая игрушечка,— потомственного дворянского звания.

— Нашими капиталами и княжна не побрезгует, а? После обеда Александра проводила Лизу в отведенную для нее комнату в два окна на улицу, с полосатыми половиками, пышной кроватью и зеркальным шкафом.

— Давай помогу наряды развесить,— вызвалась Александра.— И все? — увидев пять Лизиних платьев.— Все и наряды?.. Вот так наряды— смех! А приданое где?

— Приданое...— Лиза запнулась, ища выход, ненавидя эту толстую, с пуговичным носиком.— Приданое в Нижнем. Ведь мы в Нижний после свадьбы вернемся.

— А-а,— поверила Александра.— А подвенечное?

— Подвенечное...

Господи боже мой! У нее нет подвенечного. В чем она будет венчаться? «Петр Афанасьевич сказал— не надо ни о чем беспокоиться, и Татьяна Карловна сказала: «Петр Афанасьевич все берет на себя. Доверься. Он старше. Он...» О! Как трудно, как трудно жить! Где Петр Афанасьевич? Почему он бросил меня с этой толстой и злой? Зачем он привез меня сюда, в эту противную Уфу? Ах, скорее бы свадьба!»

— Подвенечное после пришлют,— через силу промолвила Лиза.

— Как ты его приворожила-то? — продолжала любопытствовать Александра.— Околдовала ты его, богача да красавца, чай, за ним со всего Нижнего невесты гонялись! А как вы на пароходе-то ехали, как чужие или как, а?

— Пока мы невенчаные, он даже Лизой меня не смеет назвать,— вскинув голову, надменно ответила Лиза.

Но мужество изменило ей, лицо удлинилось, рот жалко сложился, сейчас польются слезы.

— Александра! — позвал голос матери.

Александра ушла. К счастью, ушла. А Лиза опустилась на пышную постель с пуховой периной и горой подушек. Сплела пальцы. «Не буду плакать. Ни за что. Слышите, вы, ни за что! Завидуйте мне. Я красивая. Скоро буду богатой. У меня все будет, что захочу. Завидуйте мне. Завидуйте мне!»

Она прикусила губу, чтобы не заплакать. Перед глазами встала молодая женщина в белой кофточке, как ее уви-

дала на пристани, когда подплывал пароход. Лизе врезалось в память выражение ее лица, удивительное выражение не таящейся ясной любви.

Марии Александровне не понравилась Уфа, душная и пыльная, несмотря на сады, с душистыми и пыльными, немощеными улицами. Не понравилась квартира Крупских — крошечные комнатки в мезонине; из столовой и спальни (если можно назвать столовой и спальней тесные клетушки, разделенные аркой) вид на крышу, пышущую жаром и разогретой краской. Лестница такая узкая, что приведись чуть потолще человеку подниматься, застрянет на второй же ступеньке — ни взад, ни вперед. А крутизна! Марию Александровну утомляла эта крутая, извилистая, узкая лестница — годики-то немолодые все же. На пароходе отдохнула, а здесь, хотя с такой заботой и лаской встречена Надей и Елизаветой Васильевной, как-то не могла и не могла приспособиться. И уголка своего нет в этих комнатках-коробочках, а она привыкла, чтобы был свой уголок, быстро устала в чужом месте и на второй день начала собираться домой. Задача у Марии Александровны была: добиться для сына перед отъездом за границу свидания с женой. Власти не давали Владимиру Ильичу разрешения на поездку в Уфу. Мария Александровна ездила в Петербург выхлопывать сыну и себе разрешение. Себе — потому что Владимира Ильича одного в Уфу не пускали.

— Спасибо, Мария Александровна, — сказала Надя.

Другая свекровь, может, осталась бы недовольна, что мало выражено благодарности. «Спасибо». И все. «Спасибо» — а чего стоило Марии Александровне добиться, сколько выдержки и такта в разговорах с чиновниками! Но Мария Александровна понимала свою стеснительную невестку, боящуюся пуще всего громких слов. Не вышло у них и откровенного, по душам разговора. Ждали

встречи, мечтали! Надежда Константиновна после напишет Маняше: «Когда я получила письмо от Володи, что вместе с ним приедут Мария Александровна и Аня, я очень обрадовалась и все думала, как поговорю с Аней и о том, и о другом. Хотелось поговорить о многом. Но когда они приехали, я чего-то совсем растерялась и растеряла все мысли».

Мария Александровна видела, понимала, что растерялась, растеряла все мысли их милая Надя. Слишком, может быть, скромная, если можно скромной быть слишком.

— Идите, иди, Надя, показывай Владимиру Ильичу Уфу,— гнала Елизавета Васильевна, догадываясь, как надо дочери побыть с Владимиром Ильичем вдвоем, как мало им времени, с каждым днем меньше.— Идите, идите.— Она легонько подталкивала Владимира Ильича к двери.

Анна Ильинична тоже ушла. Сказала, что хочет одна посмотреть город. Поброжу пешком по Уфе. Новый город только пешком и узнаешь, и в одиночку надо, чтобы, не отвлекаясь, глядеть.

Две матери остались одни. Елизавета Васильевна взяла было папиросы, но отложила, неуверенная, как посмотрит Мария Александровна на ее куренье, хорошо ли. «Не буду, пожалуй». Они знали друг друга, но редко, едва ли не впервые оставались вдвоем. Елизавета Васильевна позвала гостью вниз, посидеть в саду возле их диковинной березы: растет в два ствола, как две сестрицы-близняшки, почти от самого корня пускают ветви, да такие раскидистые, всегда с какой-то стороны прохладная тень от их двустволой березы, солнце не пробьется сквозь густую листву.

— Посидим, отдохнем.

Мария Александровна поблагодарила, но отказалась. Узкая в три колена из двадцати пяти ступенек лестница была ей трудна.

— Тогда дома посидим,— охотно согласилась Елизавета Васильевна.

«Она живая и умная,—подумала Мария Александровна.— Недаром Володя к ней привязался».

И еще подумала: «Она заменяет Володе меня. И, должно быть, всегда так и будет. Другая мать рядом с ним будет, она».

Эта мысль только теперь так ощутимо и материально явилась ей и почему-то поразила. «В Шушенском жили вместе. И за границу она поедет за ними. И будет там их оберегать и жалеть».

Ей хотелось сказать Елизавете Васильевне что-то приятное и значительное, и она сказала, как довольна Володиной женитьбой, как «все мы ценим Надю и любим».

Елизавета Васильевна от удовольствия засмеялась и не сдержалась — закурила все-таки.

— Свекровина одна похвала ста похвалам равна.

— Ах, да какая же я свекровь,— никакая!

— А я не теща тогда,— заявила Елизавета Васильевна.— Мы нашим детям друзья, вот кто мы.

— Вы правы, вот это вы правы. Вот это самое точное вы нашли определение. Спасибо, что вы чувствуете так же, как я...

Владимир Ильич и Надежда Константиновна, оба ходки, шагали так скоро, словно взяли за полдня исходить всю Уфу. Когда Анна Ильинична заявила, что намерена в одиночку узнавать новый город, Надежда Константиновна промолчала. Она до такой степени не умела фальшивить, что не могла хоть немного солгать даже из любезности: «Анюта, зачем тебе одной идти знакомиться с городом, идем вместе».

Нет, не сказала. А если бы сказала, как удивилась бы Анна Ильинична!

С того первого мига, когда на палубе причаливающего к пристани парохода среди других пассажиров Надежда Константиновна увидела дорогое лицо, чувство острого

счастья охватило ее. И не покидало. Она слышала, что говорят вокруг. Говорила сама. Хлопотала, хозяйничала. Радовалась Анюте и Марии Александровне. А в душе повторялось и пело одно: «Володя, Володя, Володя».

Они ушли вдвоем из дому, почти убежали, пока не явились Цюрупа, Крохмаль, Свицерский. Непременно придут! Владимиру Ильичу до крайности нужно встретиться с ними и, как в Нижнем, Риге, Пскове, других городах, повести необходимейший разговор об «Искре» и партии, но сейчас, взявшись за руки, беспечные и свободные, они быстро шагали вдвоем центральной улицей города, застроенной купеческими особняками. Свернули где-то влево, в кривой переулок, тенистый от садов, душистый от липового цвета. Снова шли прямо, снова свернули. Вон впереди завиднелась мечеть с высокой крышей, изящно и тонко рисуясь на синем занавесе неба.

— Здесь живет Чачина, — сказала Надежда Константиновна, поравнявшись с домом на перекрестке, в виду мечети.

Чачину Владимир Ильич знал с петербургских времен. Простенькая, неуклончивая, хорошая марксистка, хороший товарищ.

— Да, да, она! А у нее гости, сестра с мужем Пискуновым из Нижнего.

— И Пискунова знаю, если это тот, похожий на Чехова, только без пенсне. Если тот, так я его знаю. В Нижнем, когда из Шушенского ехали, встретились.

— Он, именно он, Володя; знаешь, куда я тебя веду? На Случевскую гору. Красивейшее место в Уфе. Необыкновенное место! Володя...

Голос у нее оборвался. Она не умела, совсем не умела говорить большие слова, она их боялась. Владимир Ильич понял, взял ее руку, крепко прижал к щеке.

— Спасибо маме, не видать бы мне без мамы нынче тебя.

— Милая Мария Александровна! — откликнулась Надя.

Немного они постояли и пошли дальше, на Случевскую гору.

Случевская гора — окраина Уфы, противоположная вокзалу и пристани, тоже над Белой, широким полукольцом обнимающей город. Здесь Белая резко вильнула от города в сторону. Гора падает отвесно, с высоты ее видны извилины убегающей Белой, пестрые, желтые, голубые, цветные луга, островки липовых рощ на низком луговом берегу, соломенные кровли слобод, неуклюжий, еле ползущий паром и дорога на Оренбург под шатрами столетних язв екатерининского времени.

Пузатый пароходик с зелеными боками и черной дымной трубой тянул связанный из сосновых стволов плот длиной в полверсты. На плоту построен домик, сушится на веревке белье, баба варит в котелке обед, подкидывая чурки в костерик, разложенный на камнях. Простая, вечная жизнь проплывала внизу под горой. Рыбачьи лодки точечками усеяли реку. Навалом лежали у лесных пристаней на той стороне темные от воды бревна. А там, за пристанями, слободками, цветными лугами и липовыми рощами раскинулись синеющие, затуманенные на горизонте дали.

Отчего дали манят? Отчего тревожат, волнуют и покоят, и что-то торжественное и величавое будят и поднимают в душе?

Надежда Константиновна молчала.

Тишина, свет глаз, звук голоса, каждое движение ее говорили Владимиру Ильичу о том, чего она почти не сказала словами.

— Ты рассказывай, ты, ну, Володя, пожалуйста!

В письмах, даже химических, он не мог все рассказать ей о четырех с половиной месяцах разлуки. Она хотела знать все. Самым подробнейшим образом хотела знать о главном и неглавном. Неглавному не было. «Как ты жил, я хочу знать, где отдыхал, с кем был? Но прежде, конечно, о деле...»

— Нет, сначала скажи, как ты жил. Ну, какая ком-

ната была? Куда выходило окно? Вот ты просыпашься...

— Просыпаюсь и первым долгом: Надя! Каково тебе там в Уфе, на углу Тюремной и Жандармской!

Они смеялись. Все было весело, всякий пустяк смешил. Владимир Ильич заразительно хохотал, и она смеялась в ответ его смеху и радости. Владимир Ильич снял пиджак, постелил на земле, она села на пиджак, он рядом, в траве, и они вдруг затихли после шуток и смеха, и хорошо было тихо молчать и глядеть на цветные роскошные дали за Белой.

Но было не только счастье. Было беспокойство.

— Надюша, а что?.. Что говорит доктор? Как идет лечение?

Она была нездорова. Приехав из Шушенского, лечилась, лечение было затяжное и нудное, ей не хотелось говорить о таких скучных материях. Но он настойчиво спрашивал с ласковой бережностью.

— Ничего, Володя, все идет своим чередом, немного подлечиваюсь, все нормально идет. Ну, честное слово. Давай же, Володя, о Пскове.

И то, что Владимир Ильич почти в первый же день рассказывал ей о Пскове и своей работе там, именно ей, как никому, рассказывал с охотой, волнением, боясь упустить всякую мелочь, это и значило, как велика была их близость и связь.

...Псков — Плескова по-древнему — на мысу, образованном реками Великой и Псковой, когда-то воинственный, теперь провинциальный городок, хотя и губернский. Церквей уйма, а заводов и фабрик, когда приехал Владимир Ильич, раз-два — и обчелся. Оттого что рабочего класса в Пскове немного, власти не опасались высылать сюда неблагонадежных лиц после тюремного срока. Высылались под особый негласный и гласный полицейский надзор за противоправительственную деятельность. На год, на два или на несколько месяцев.

Много неблагонадежных лиц служило статистиками в

губернской земской управе. Владимира Ильича знали, читали написанную в Шушенском книгу «Развитие капитализма в России». Она стала марксистским учебником для социал-демократов, эта книга. Автора книги встретили хорошо, с интересом. Об этом Владимир Ильич рассказывал скупно.

Сразу в Пскове отыскиались товарищи. Старый товарищ по петербургскому «Союзу борьбы» Любовь Николаевна Радченко с двумя малолетними дочками жила высланной в Пскове. Приехали товарищи по сибирской ссылке — муж и жена Лепешинские. Приехали специально встретиться и поговорить о деле старые друзья по «Союзу борьбы», отбывавшие ссылку в разных местах, — Юлий Мартов, Александр Потресов, Исаак Лалаянц. Новые друзья появились. И, наконец, на квартире Любви Николаевны Радченко, в низеньком кирпичном домике, — совещание. Реальная, практическая подготовка «Искры». В полном смысле практическая. Созданы искровские группы. И даже деньги на первое время на создание «Искры» добыты.

— В один прекрасный, как говорится в беллетристике, день... — весело говорил Владимир Ильич. — В одно воскресное утро...

Интересная личность Александра Михайловна Калмыкова! Вдова сенатора, учительница, владелица книжного склада в Петербурге на Литейном проспекте, издательница марксистской литературы. Годы не трогают ее. Разве прибавились морщинки у глаз да седые нити на висках чуть побелили темные волосы. А улыбка все та же, молодая и умная, тот же пронизательный взор, та же легкая поступь, и душа отзывчивая на все новое и смелое.

Вечером в субботу, закрыв книжный склад и отпустив служащих, Александра Михайловна отправляется на еженедельное совещание Вольного экономического общества. Там идет оживленное обсуждение научных проблем, ученые прения. Александра Михайловна выступает, как всегда, деловито. А к концу заседания незаметно исчезнет.

Варшавский вокзал. И ночной скорый поезд уносит Калмыкову из столицы.

Важная, в элегантном пальто, в шляпе с вуалеткой появляется она в Пскове. Станционный жандарм вытягивается перед важною дамой, прибывшей в купе первого класса скорого поезда.

Несколько минут она в задумчивости слушает колокола, дивясь искусству обрядного звона. Затем, поманив пальцем извозчика, куда-то едет с вокзала.

— Узнаю Александру Михайловну! — тихонько воскликнула Надежда Константиновна. — Характер крупный, сложный, своеобразный.

...Один раз, другой, третий приезжала Калмыкова в Псков. Все с ночным поездом, по субботам, прямо с заседания Вольного экономического общества. Прямо к Владимиру Ильичу.

Обсуждают издание «Искры». Калмыкова соглашается субсидировать «Искру».

«Искра» будет. Все ближе. Все вероятнее.

Владимир Ильич замолчал. Сощурившись, глядел в бесконечные дали за Белой, цветные и солнечные.

Надежда Константиновна любила это душевное его состояние, когда он удовлетворен и доволен сделанным, тем, что достигнуто. И уже видит дальше.

Не умеет останавливаться. Не умеет. Не может. Видит дальше и дальше. Идет дальше и дальше.

Лиза не знала, кто и когда распорядился, — впрочем, зачем хитрить, кто мог распорядиться, как не Петр Афанасьевич? Но через день в доме появилась портниха с помощницами. Посыльные из магазинов принесли куски материи: шелка, поплина, кружев, прошивок, и зала, скучно и холодно обставленная комната, с пальмами в

кадках по углам и обитой синим бархатом мебелью, превратилась в портняжную мастерскую. Застучали швейные машины, обрезки материи усыпали пол. Лизе шили подвенечное платье и подюжины послесвадебных, визитных и для приема гостей. Назначили свадьбу. Петр Афанасьевич пожелал, чтобы все было богато, достойно красоты невесты и миллионного состояния жениха. Жениха своего Лиза теперь почти не видала. Он поселился в меблированных номерах, найдя такое устройство приличным и удобным. Здесь, в Уфе, у него были важные коммерческие дела — продавал Кондратию Прокофьевичу оставленный отцом в наследство уфимский лесопильный завод, небольшой, но прибыточный, о котором Петр Афанасьевич говорил: «Мал золотник, да дорог», — на что папаша крестный, поглаживая бороду, отвечал: «Не дороже, чай, денег». Торговля шла туго.

Петр Афанасьевич, из занятости редко с Лизой встречаясь, сделал ей строгое предупреждение: лишнего родне не говорить, о тех двух обстоятельствах помолчать.

— Да не краснейте, чего там краснеть, муж и жена — одна сатана, никаких промежду нами не может быть тайн, когда через две недели законной супругой вас назову. А с чужими и даже родней о том — тсс, молчок. Да не краснейте, я ведь вас не корю.

Он не корил, но она стыдилась. Горьким и стыдливым в Лизином прошлом было то, что ее отец, потомственный дворянин, был непробудным пьяницей, пропил и спустил все имение, остался без крыши, в полном смысле слова просил подавание и, когда удавалось что-то выклянчить у бывших знакомых или вовсе незнакомых людей, пропиывал до гроша, в пьяном виде бесчинствовал и умер в белой горячке, проклятый за нищету и позор и ненавидимый Лизиной матерью. Несчастливая Лизина мать ненадолго пережила мужа. Рыдая, целовала перед смертью Татьяне Карловне руки: «Не киньте сиротку. Проклятый, за гробовой доской не прощу, как ты нас погубил!»

О скверном и темном в своем детстве, при воспомина-

нии о чем становилось трудно дышать, никому не рассказала бы Лиза — Татьяна Карловна выдала. Хитрый Петр Афанасьевич сумел выудить — выдала.

А второе... Что в том? Она не понимала. Нет, понимала, отчего и это Петр Афанасьевич желает скрывать. Самолюбие страдало в ней, она притворялась:

— Не понимаю. Зачем? Что тут стыдного? У вас странные взгляды.

Он взял ее руку и, хозяйски поглаживая:

— А вы, душечка моя, Елизавета Юрьевна, привыкайте: взглядов моих всенепременно и обязательно надо вам слушаться.

— Вечно слушаться! Вечно только слушаться, слушаться!

Ее детскость трогала Петра Афанасьевича. Ее сердитая стыдливость и детскость умиляли его.

— Да-к ведь слушаться-то легче, принцессочка, нежели обо всем своими мозгами ворочать.

И, чмокнув ее в щечку, уколов бородой, он уходил заниматься коммерческими операциями с крестным папашей, ворочать мозгами. Лиза смотрела в окно, как он идет по двору, богатырского сложения, розовый, полнолицый, в зеленом с дымчатыми полосками галстуке. Садится в экипаж на высоких рессорах с лакированными крыльями. Прислонившись лбом к стеклу, Лиза смотрела, пока коляска не скроется.

— Невеста! Где ты, невеста? Примеривать кличут, невеста, — звала Александра.

— Не смей меня так называть! — топнула Лиза.

— А что, не правда, хи-хи? Как он тебе предложенье-то делал, с поцелуями или как? А? А? Расскажи.

Предстоящая свадьба, портнихи, разговоры и толки на Лизин счет, приготовления к празднованьям — все это вносило захватывающее содержание в пустые дни Александры. Капот даже сбросила, с утра затягивалась, шумно в корсете дышала, неотступно следила за Лизой, а сама втайне все чего-то ждала для себя, каких-то изменений

судьбы. Конечно, примерки Лизиного подвенечного платья без Александры не обходились.

— Тошная такая, кости одни, за что он тебя полюбил?

— Любовь, она привередница,— возражала старшая портниха, с булавками во рту ползая по полу, ровняя Лизе подол.— Прямей стойте, барышня, будто один бочок повыше у вас... И ваш черед настанет, Александра Кондратьевна, тогда уж царскую свадьбу сыграют папаша.

— Вовсе тела нету,— искренне дивилась Александра, оглядывая Лизу.

От ее выпытывающих жадных оглядываний Лизе становилось неловко и совестно. Хотелось спрятаться. От бесстыдных Александриних расспросов, хмурости хозяйки, огромной, толстой, с пуговичным носиком, всегда немилостивой к Лизе Агафьи Петровны, фальшивых улыбок портних и двусмысленной какой-то подмигивающей доброты Кондратия Прокофьевича. Спрятаться, убежать! Жених, Петр Афанасьевич, не замечал ничего. Не желал замечать.

— С людьми надо ладить, особливо ежели полезные люди. Вы им улыбнитесь, сердитенькая, они и пойдут.

— Он милушку-то свою начисто бросил? Справки навела? — допытывалась Александра.

— Какую милушку?

— Хи! Совсем, что ли, дурочка? Монахом жених сорок лет ее дожидался, хи-хи!

Тошно Лизе. Трудно, страшно. Написать Татьяне Карловне? Что написать? Она, Татьяна Карловна, и подтолкнула, она благословила Лизу.

«Надеяться не на что. Моего жребия хочешь?»

Жребий Татьяны Карловны — классная дама института благородных девиц, длинная, плоская старая дева с мученическим лицом. Синее платье, жиденький пучок на затылке, лорнет в морщинистой руке.

«Мадемуазель, становитесь в пары. Мадемуазель, на занятия».

«Мадемуазель, неприлично оглядываться».

«Нет, нет, нет. Не хочу»,— пугливо думала Лиза.

«Будешь дамой, богатой, нарядной дамой,— рисовала Татьяна Карловна.— Особняк, выезды, дача в Ялте, на море. Море увидишь. Узнаешь свободу. Где деньги, там и свобода».

«А он?»

«Что он? Влюбился в тебя. Глупенькая, держи его, обеими руками ухватись и держи. Красивых много. Тебе билет в лотерею достался. Послал бог счастья за материнские слезы. Вместо матери благословляю тебя. Держи свое счастье, не упускай».

Лиза шла из комнаты в комнату. Отворит дверь— пусто. Крашенные полы, пальмы в кадках, бархатные гардины, шкафчики с позолоченными инкрустациями, нитяная скатерть на комоде, семейные фотографии на стенах— смесь богатства и мещанства. Книг нет. Ни книжки во всем доме. Комнаты, комнаты. Чужой скучный дом. Пусто. Вдруг... Еще в одну комнату отворила Лиза дверь и...

Та молоденькая женщина с удивительным лицом, удивительным выражением счастья и света, которую она увидела на пристани, была здесь, в комнате. Купеческий сын, Игнатка, сидя против нее за столом, что-то писал.

«Учительница. Учит Игнатку,— не сразу сообразила Лиза.— Как странно, ведь к ней приехал муж, отчего же она ходит на уроки? У нас в Мариинском институте не было замужних учительниц. Учительницы не бывают замужние. Я ее нашла. Она здесь. Жена Владимира Ильича. Я нашла ее».

Сейчас Лизе казалось— все время она только и думала о жене Владимира Ильича, в белой кофточке, с тяжелой косой, все время искала ее.

— Вам что-нибудь нужно?— услышала Лиза.

— Можно, я здесь побуду?— несмело спросила она.

Жена Владимира Ильича удивилась, вопросительно подняла брови.

— Это наша невеста. Из Нижнего. Жениться с папашиним крестником будут,— объяснил Игнатка.

— Можно, я здесь побуду?

Игнаткина учительница, все еще удивляясь, ответила:

— Как вам угодно. Пожалуйста.

— Ее Лизой зовут,— продолжал объяснять Игнатка.

— Садитесь, Лиза, но вам скучно покажется. У нас обыкновенный диктант,— сказала учительница и продолжала диктант:— «Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие...»

«Какие странные она диктует слова,— думала Лиза.— У нас не было таких диктантов».

Что-то, должно быть, уловив в ее лице, учительница сказала:

— Тургенев. «Записки охотника». Знаете?

— Немного,— ответила Лиза.

— Почему немного? Где вы учились?

— В Мариинском институте, в Нижнем.

«Сказать ей, что я знаю Софью Невзорову? — подумала Лиза.— Почему не сказать? Что я все чего-то боюсь, опасаюсь чего-то?»

— Надежда Константиновна, в слове «речи» ять пишется? — спросил Игнатка.

«Вот как ее имя: Надежда Константиновна. Вот и узнала: Надежда Константиновна Ульянова».

— Надежда Константиновна, вы слышали про Софью Невзорову?

Надежда Константиновна в изумлении положила книжку на стол, опустила руки на книжку. «Эта барышня, купеческая невеста, знает Софью Невзорову? Впрочем, чему удивляться? Ведь она окончила Мариинский, что и сестры Невзоровы. Но почему она их связала со мной?»

— Знаю Софью Невзорову,— сдержанно ответила Надежда Константиновна и продолжала диктант из «Записок охотника».

Лиза поняла: она не стремится завязать с ней знакомство. Отчего все Ульяновы сторонятся Лизы, вежливо избегают ее? Ей стало жалко себя. Она сидела, опустив голову, покорно, безмолвно.

«Странная купеческая невеста»,— подумала Надежда Константиновна.

— Ну, дай-ка взгляну. Ошибка. Еще ошибка. Игнатка, пора бы уже тебе пограмотней стать. А теперь слушай.

Она вслух дочитала тургеневский рассказ «Два помещика».

— «Чюки-чюки-чюки! Чюки-чюк! Чюки-чюк!

— Это что такое? — спросил я с изумлением.

— А там по моему приказу шалунишку наказывают... Васю-буфетчика изволите знать?»

Надежда Константиновна дочитала, любопытствуя, глядела на Лизу. Лиза вспыхнула, догадавшись: «Она для меня прочитала». И нахмурилась:

— Гадость.

— Что — гадость?

— Взрослого человека порют. При крепостном праве было. Теперь нет. Теперь нельзя издеваться.

— Вы думаете? — усмехнулась Надежда Константиновна. — Игнатка, задаю тебе на завтрашний день...

«Задаст и уйдет»,— поняла Лиза.

— Я из Нижнего на пароходе приехала, на том, что и Владимир Ильич. Я и сестру его узнала, и мать...

И, торопясь, Лиза стала говорить, как в Казани Владимир Ильич сочувствовал забастовщикам-грузчикам, да, да, она видела! Как он любит мать, какой благородный, должно быть, человек!

— Он насовсем к вам приехал? Вы теперь, наверное, не станете уроки Игнатке давать? Вам полегче станет? Он сам, должно быть, учитель? Или чиновник? Где он будет служить?

Она сыпала вопросы, в душе прося: «Не уходите, не оставляйте меня». Надежда Константиновна молча слушала ее вопросы, не отвечая. Нетронутое что-то показалось

ей в этой Лизе, хотя она и барышня и невеста купца-миллионщика. Но Надежда Константиновна спешила домой. Владимир Ильич ждет. Ни часа, ни полчаса, ни минуты не хотела, не могла она урывать от скупого и малого срока, какой они дали себе перед долгой разлукой. Опасной разлукой.

Надежда Константиновна поднялась:

— К сожалению, я тороплюсь.

«Ты видишь, тебя избегают, Лиза. Ты далека этим людям. Ты не нужна им. Они другие. У них все другое. Им тебя не понять. Тебе их не понять».

Рассудок внушал ей: надо проститься. Уйти, забыть.

— Можно, я вас провожу?

Может быть, Надежда Константиновна отказалась бы, но не успела. Лиза стремглав выбежала из комнаты. Только не встретить бы Александру, спаси бог, не встретить бы! Вбежала к себе. Соломенная шляпка, накидка, ридикюль из белого сафьяна с бисером — подарок Петра Афанасьевича, — и через две ступеньки, рискуя сломать каблуки, — во двор, за ворота. Надежда Константиновна не ожидала Лизу, — уже за воротами, уже вдалеке по улице видна ее гибкая фигура в черной юбке и беленькой кофточке. Учительница. «Милая учительница, не убегай от меня. Научи меня, учительница!»

— Надежда Константиновна, еще я хочу вас спросить, — догнав ее, говорила Лиза, лишь бы говорить, не молчать, идти с ней, — когда я была в институте, Татьяна Карловна, наша классная дама, а мне ближе, чем классная дама... сказала, что Софью Невзорову, сестер Невзоровых посадили в тюрьму...

Надежда Константиновна резко остановилась. Оглянулась. Вокруг не видно людей.

— Об этом не говорят на улице, — сказала Надежда Константиновна строго.

Лиза послушно:

— Не буду. Если бы кто-нибудь мне объяснил, я поняла бы, — сказала Лиза.

Ни на час, ни на полчаса, ни на минуту не могла Надежда Константиновна опоздать домой. Ни минуты не могла, не хотела отнимать у отпущенного ее счастьем короткого срока! Кто эта хорошенькая девочка? Купеческая невеста?

— Кто ваш жених? — спросила Надежда Константиновна.

— У него завод и еще что-то... дела.

— А вы?

— Что — я?

— Чем вы занимались? Занимались вы чем-нибудь?

Лиза отвела лицо. Что сказать? Слишком памятен и нешуточен был запрет Петра Афанасьевича.

— Ничем, — ответила Лиза.

— Вот мы пришли, — сказала Надежда Константиновна, берясь за ручку калитки. — Прощайте, я пришла.

Она кивнула. Они остановились у невысокой загородки, за которой виднелся деревянный дом с мезонином, росли вдоль дорожки кусты сирени и жимолости и двустволая пышная, как шатер, поднималась возле дома береза, кидая на землю прохладную тень. От березы, из тени, навстречу Надежде Константиновне легкой походкой шел человек. Владимир Ильич! Быстрый, с крупным выпуклым лбом и искрящимся взглядом из-под бровей, слегка сломанных. Надежда Константиновна спешила к нему, уже не помня о Лизе, отстранив ее от себя. Обернулась и еще раз коротко:

— Прощайте, Лиза.

— Мы переживаем крайне важный момент в истории русского рабочего движения и социал-демократии. Движение широко и глубоко разлилось по всем уголкам России. Кружки рабочих и социал-демократов интеллигентов повсюду. Всюду спрос на социал-демократическую литературу. Правительство чувствует силу движения и преследует нас. Битком набиты тюрьмы, переполнены ссылки. Но

ничто не остановит движения. Оно растет, входя все глубже в рабочий класс. Но кустарно, раздробленно. Нужна новая, более высокая форма. Нужна Российская социал-демократическая партия, которая объединила бы нас. Такая партия была, был первый ее съезд весной 1898 года в Минске. Жандармерия арестовала массу людей. Партии фактически не стало. Мы должны возобновить ее. Создать заново. Как? Что для этого нужно? В первую очередь нужна общая литература партии, чтобы она обсуждала вопросы всего движения в целом, общие нужды, наши взгляды и мнения. Мы пытались создать ее еще в Петербурге. Не удалось. Аресты разгромили наш «Союз борьбы», нашу рабочую газету. Короче говоря, нам нужна наша, социал-демократическая, боевая газета. Мы не можем даже жить без газеты. В нашей газете мы будем писать о нуждах рабочих, политике, о программе и возобновлении партии, целях нашей борьбы.

Владимир Ильич говорил энергично, коротко, ясно, с полной убежденностью и знанием дела. Ни одного пустого слова. Ни одного пышного слова.

Но картина общественной жизни и положение русской социал-демократии рисовались с такою свободой, как будто этот человек не прожил около трех лет в ссылке в Сибири. Он вернулся из дальних мест, зная больше, чем собравшиеся здесь, видя глубже и шире.

Надежда Константиновна в стороне, у окна, почти спрятавшись за кадкой лимонного дерева, выращенного Инной Кадомцевой вопреки всем законам ботаники в резко континентальном уфимском климате, сама незаметная, видела всех, читала на лицах внимание, готовность соглашаться с Владимиром Ильичем, идти с ним. Она знала: всякий раз, слушая Владимира Ильича, люди испытывали душевный подъем.

Она кинула взгляд на Пискунова. За Пискуновым шла слава спорщика. Он был дотошный во всяком вопросе, особенно политическом. В нижегородскую весеннюю встречу Пискунов не соглашался с Владимиром Ильичем,

отчаянно спорил. А сейчас? Сидит, положив ногу на ногу, обхватив колено руками, взлохмаченный, с повисшим на лоб чубом,— воплощенная пристальность.

Не ему ли говорит Владимир Ильич, что газета «Искра» намерена обсуждать все оттенки наших взглядов и мнений? У Пискунова вопросительно вырвалось:

— Да?

— Да, да и да! Необходима полемика. Необходимо открыто обсуждать все разногласия, нельзя прятать. Если есть несогласия, давайте спорить, убеждать. Но не приказывать. Нельзя приказывать: думай так. Будем учиться убеждать. Наша газета «Искра» намерена это делать.

Пискунов отпустил колено, ухватил пятерней бритый подбородок. «Будем учиться убеждать. Если наша «Искра» намерена это делать...»

Как нелегко, медленно, словно одолевая ухабы и кручи, складываются у некоторых людей убеждения. Как не вдруг образуются взгляды. Зато, может быть, прочно? Может быть, такие, самостоятельные, неспешные, только после долгих размышлений принимающие позицию люди и есть самые верные?

— Разумеется, наша «Искра» намерена убеждать, разъяснять, агитировать,— быстро говорил Владимир Ильич.— Наша «Искра» намерена вовлекать в борьбу рабочий класс прежде всего! Но не только рабочих. Всех честных борцов против царизма. К какому бы классу ты ни принадлежал, если ты противник царизма, если ненавидишь насилие, эксплуатацию, политический гнет, мы зовем тебя разоблачать гнусный самодержавный политический строй. Наша газета намерена это делать.

— Правильно! — откликнулся кто-то.

«Как хорошо вы слушаете, как отзывчиво, мои дорогие товарищи»,— думала Надежда Константиновна, видя из своего уголка, из-за кадки с лимонным деревцем, и Александра Цюрупу, руководившего вместе с ней кружком в паровозоремонтных мастерских; и Кадомцеву Инну, с ду-

шой, кипящей порывами и мечтами, а внешне подтянутую; и студента Свицерского, всегда с Марксом, цитатами и необычайно глубокомысленным видом в свои двадцать два года; мужа и жену Пискуновых; и похожую на текстильщицу, простенькую и твердую, как алмаз, Ольгу Чачину; и хорошо Надежде Константиновне знакомого Ивана Якутова, в круглых очках, рабочего того типа, которых особенно ценил Владимир Ильич, полагая в них решающую силу движения.

Никто из собравшихся на уфимском совещании в июне 1900 года не мог угадать своей грядущей судьбы. Что дано каждому из них совершить? Совершить ли подвиг? Сделать что-то большое и крупное? Или скромно и честно, в отпущенную меру способностей послужить делу рабочего класса? Не знал и Иван Якутов. Знал одно, что навечно связан с социал-демократией. Что идеи и мысли, которые слышит сейчас от Владимира Ильича, будут навечно его путеводной звездой.

Наступит 1905 год. Грянет первая революция в России. В Уфе рабочие поднимут восстание. Во главе рабочего вооруженного восстания пойдет молодой, долговязый, в круглых очках, похожий на добрую птицу Иван Якутов. Поведет рабочую гвардию на штурм капитализма, и председателем небывалой в мире Уфимской республики рабочий класс изберет Ивана Якутова.

Революцию сломят. Раскидают, разрушат Уфимскую республику 1905 года, а ее председателя Ивана Якутова приговорят к повешению во дворе обнесенного крепостными стенами тюремного замка, что в конце Тюремной улицы.

Не дрогнув, будет он умирать на тюремном дворе, свято веря: вслед за 1905 годом придет другой год победы революции и рабочего класса. Да здравствует жизнь!

Он будет умирать, а вся тюрьма, прощаясь, будет петь. Во всех камерах люди будут стоять и петь революционные грозные песни и клясться: не забудем рабочего-революционера Ивана Якутова, не простим палачам...

Надежда Константиновна знала и привыкла, что Владимир Ильич во все вносит новое, яростно разрушает рутину. Привыкла и не привыкла, всегда удивляясь. И в петербургскую пору создания «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», и в Шушенском, когда созвал в селе Ермаковском семнадцать ссыльных социал-демократов, чтобы подписать протест против кредо Кусковой, против оппортунизма, политического мещанства, и сейчас, на встрече с уфимскими социал-демократами, Владимир Ильич был неожидан и нов. Уфимские социал-демократы, все люди честные и порядочные, жили до сих пор монотонно, даже вяло. Кружки (и то немного, совсем немного), книги. А дальше?

Как вольный ветер в застоявшийся воздух врывается план создания «Искры» в довольно-таки обыденное существование уфимских социал-демократов последнего времени. Большое, практическое, далеко зовущее дело открывалось перед ними! Владимир Ильич уловил отклик товарищей. Обрадовался. Стало легче, проще, ближе сделались ему эти люди.

Он говорил стоя, любил ходить, говоря. Но в тесной комнатке, битком набитой людьми, пространства для ходьбы почти не оставалось. Надежда Константиновна видела, он был возбужден и, как всегда в этом радостном возбуждении, стал еще талантливей, ярче, еще убедительней.

— Мы видим свою цель, которую и будет всячески пропагандировать «Искра», в завоевании рабочим классом политической власти. Наша цель и задача: свержение царского строя, уничтожение капитализма, устройство социалистического общества. «Искра» — первый шаг на этом пути. Путь долгий, нелегкий. Но единственный — вот что глубоко нам надо понять.

Надежда Константиновна взглянула туда, где позади всех, за спиной Ивана Якутова, стесняясь незнакомых людей, сидел Юлдашбай. Трудно жилось Юлдашбаю, работы в Уфе не находилось, изредка разве удавалось по-

таскать грузы на пристани. Жилья не было, жил у Якутова, ночевал, пока лето, в садочке в шалаше. Плохо было ему. Совсем было бы плохо, если бы не Иван Якутов и Надежда Константиновна.

Они с Якутовым позвали Юлдашбая на сегодняшнюю встречу,— это было его вступлением в уфимскую группу...

Владимир Ильич заметил его лицо, характерное башкирское, с обжигающими черными глазами. Даже сидя, стесненный чужою обстановкой, он был стремительно прям, весь напряжен и нацелен. Владимир Ильич заметил его.

— Наша цель — устройство такого общества, в котором все народы будут равны,— наверное, ему, особенно ему, говорил Владимир Ильич.— Каждый самый малый народ будет развиваться свободно. Жить, подчиняясь общим разумным законам. У каждого народа будет своя грамотность, свои книги, свои ученые, свои великие люди...

— Для нас, башкир, нет школ,— хмуря брови, перебил Юлдашбай.

— Будут. Когда мы победим и устроим социалистическое общество, обязательно будут и школы, и книги, и грамота. А великие люди есть и теперь. Салават Юлаев был великим сыном башкирского народа. Слышали о своем соотечественнике Салавате Юлаеве?

Юлдашбай молча кивнул. Черные его глаза жгли и требовали: говори.

Владимир Ильич угадал особенное что-то в этом юноше, глубоко пережитое, непокорную, гневную силу души.

— Слышали о Салавате Юлаеве? Башкир, герой крестьянской войны. Предводитель тысячных отрядов башкир. Всадник на коне...

— У меня нет коня! Башкира нет без коня! — выкрикнул Юлдашбай, резко бледнея. Приложил ладонь к груди. Худая рука поднималась на груди — там бурно крутыми толчками колотилось сердце. Владимир Ильич мгновение молчал, внимательно вглядываясь в Юлдашбая.



— У меня нет коня! Башкира нет без коня! — выкрикнул Юлдашбай, резко бледнея.

Надежда Константиновна хотела объяснить, кто он и что. Не надо. Владимир Ильич понял все сам.

— У пролетариев ничего нет. Только рабочие руки.— Владимир Ильич вытянул к Юлдашбаю обе руки.— И здесь...— Он тронул лоб.

Плоское лицо Юлдашбая дрогнуло, губы сжались, морщина перерезала лоб.

— Салават Юлаев повел башкир против баев и русских помещиков. Поразительно способным был полководцем! И поэтом...

— Его били плетьюми,— сказал Юлдашбай.

— Нас тоже сажают в тюрьмы, не церемонятся,— ответил Владимир Ильич.— Наступит время — и мы победим. Наступит время — будет власть пролетариата.

— Когда?

— Власть пролетариата сама не придет. Надо подготавливать. Всем вместе. Нельзя врозь и вразброд. Нам надо быть вместе. Твердо знать, куда мы идем.

— Мы с Надеждой-апай говорили об этом,— кивнул Юлдашбай.— Я читал. Я знаю.

— Давайте в нашу «Искру» заметки о жизни башкир, об угнетении башкир,— доверительно сказал Владимир Ильич.— Вы обязательно должны это делать, всенепременно! Это и есть подготавливание условий для революции.

— Буду,— сказал Юлдашбай.

Все слушали их диалог. Надежда Константиновна думала: «Наверное, Юлдашбай прочно войдет в наше движение. Думающий человек. А уж сколько эксплуатации и национального унижения перенес и классового угнетения... Всё за то, что Юлдашбай будет с нами».

Интересным получалось это собрание. Все были расшевелены и растревожены. И все же у некоторых Владимир Ильич заметил сомнения. Пискунов взъерошил волосы как леший. Обхватил колено, весь согнулся, весь был неспокоен. «Честный человек, нелегковерный»,— мелькнуло у Владимира Ильича.

— Ну, давайте выкладывайте.

Так и есть, Пискунов выложил кучу вопросов, за каждым стояло сомнение.

Где будет издаваться «Искра»? Когда? Кем? На какие деньги? Да разве возможно в нашей-то полицейской России?

Владимир Ильич не боялся сомнений.

Вы спрашиваете — где? «Искра» будет выходить за границей. Налажены связи с заграничным центром социал-демократов, группой «Освобождение труда». Проведена разведка, проведена подготовка.

Какими силами будет издаваться «Искра»? Нашими. Силами социал-демократов и рабочих, корреспондентов и агентов многих российских городов, с которыми вступили в отношения Владимир Ильич и другие товарищи.

На какие деньги? Деньги на первое время добыты. Есть люди, которые дают и будут давать на издание нашей противоправительственной партийной газеты.

Когда выйдет первый номер «Искры»? Скоро. В этом, тысяча девятисотом году. «Боже! — подумала Надежда Константиновна. — И все это Володя сделал, наладил за какие-нибудь четыре месяца после Шушенской ссылки!»

13

— Собrania да собрания, встречи да встречи. Вчера, третьего дня, каждый день — мало раз, по два раза на дню... Приехал муженек навестить перед заграницей жену, а жену и не видит.

— Вот уж вымысел, совершеннейший вымысел, Елизавета Васильевна, — с Надюшей мы неразлучны, — ответил Владимир Ильич.

— На народе ваша неразлучность, в рассуждениях да спорах. Нет того, чтобы, как все люди, погулять, полюбоваться окрестностями.

— А вот и не угадали: как раз сегодня собираемся, как все люди, любоваться окрестностями.

— Куда вам! Прособираетесь, кто-нибудь опять прибежит, снова до ночи конспирация.

— Нет, мамочка,— рассмеялась Надежда Константиновна.— Володя! Знаешь, куда мы с тобой сегодня закатимся?

Сегодня они собирались «закатиться» в одно восхитительное местечко. Надежду Константиновну водили туда однажды уфимцы. Идти через весь город до Белой. Между Случевской горой и крутыми склонами старой Уфы на левый берег Белой ходит паром. На берегу там, верстах в шести, есть поляна. Мощные осокори с зеленовато-серой корой стоят по краям поляны, под порывами ветра шум листьев накатывается, как волны морские. И попережку с осокориями встали древние липы, листья у них тише, спокойнее, а кора не зеленоватая, а темная, изрыта морщинами, и гуденье шмелей, тонкое жужжание пчел, запахи меда текут и не утекают под липами. Вступишь на поляну — тяжелая, разогретая солнцем трава высотой до плеч обовьет и обнимет тебя. Надо с усилием раздвигать траву, — такой непроходимой она гущины. Разведешь руками — шажок. Дальше разведешь — еще шажок. Все тяжелее идти в густой траве. В глаза тебе смотрят цветы, синие, алые, оранжевые, голубенькие, желтые, — вся трава из цветов, вся цветная, душистая, кажется, можно взять воздух в ладонь. Где ты? В каком дивном и невиданном мире? В цветном, зеленом, волнующемся океане трав.

— Что за чудо, Надюша! — воскликнул Владимир Ильич. — Сию минуту идем поглядим.

— Слишком скоры, однако, — охладила Елизавета Васильевна, — у меня обед сейчас сварится. Потолкуйте пока, а я щи подгоню.

Как быстро летит время! Как эти облака. Вон видны из окошка, светлые и легкие, с пронзенными солнцем краями. Вот и не видны уже. Улетели. Летит время, как облака. Осталась неделя до отъезда Владимира Ильича за границу. Никто не определяет им сроки. Может быть, не неделя осталась, а больше, дней десять. Как они сами ре-

шат. Если десять дней, это еще ничего, это еще порядочно. А сегодня они пойдут на тот удивительный луг, весь в цветах... Через десять дней Владимиру Ильичу уезжать. Он доволен достигнутым в России. Достигнуто многое: целую сеть искровских групп оставляет по разным городам в России. А там, за границей?.. Сначала Швейцария. В Швейцарии в эмиграции живут члены русской марксистской группы «Освобождение труда». Плеханов, Засулич, Аксельрод.

Надо с ними обсудить, как будем вместе издавать газету. Возможно, будем издавать и журнал. Как будем редактировать? Кто будет вести черновую тяжелую редакторскую работу? Как? Как будет Плеханов? Что скажет Плеханов? Как встретит? Как отнесется к их планам?

Владимир Ильич поднялся и быстро, взволнованно зашагал по диагонали в их низенькой комнатке. Тесно в комнатушке. «Уйдем, Володя, туда, на цветную поляну, обнесенную осокорями и липами, там свободнее думается. Небо над головой. Мысли какие-то торжественные толпятся в душе, а люди представляются величественными, как эти осокори...»

— Он правда величественный,— сказал Владимир Ильич о Плеханове.— Крупный. Да, да, величественный, крупный,— словно споря с кем-то, приподнято сказал Владимир Ильич.

— Наверно,— согласилась Надежда Константиновна.

Она не видала Плеханова, но знала его книги и знала влюбленность в него Владимира Ильича и расчеты на помощь в издании «Искры».

— Да, да! — с горячностью снова воскликнул Владимир Ильич.

Надежда Константиновна подумала: «Наверное, Володя оттого горячится, что гонит от себя малейшие колебания, закрывает глаза на недостатки Плеханова, будто их решительно нет. Плеханов для него с молодых лет идеал. А в глубине души опасается, вдруг при близкой встрече идеал юности поколеблется. Или несогласие раз-

делит их. Это было бы драмой, очень худо было бы для дела».

Она так подумала, и нетерпеливая нежность залила ее сердце. Захотелось охранить Владимира Ильича от разочарований, может быть, зря и вообразившихся ей, уберечь от горя и испытаний, измен, увести на тот луг, в зеленый океан трав.

Тут Елизавета Васильевна внесла щи, и они сели обедать, а затем уйдут любоваться окрестностями, «как все люди». Тем более приезжие. За обедом Надежда Константиновна решительно заявила, что, как хотите, ни за что не будем говорить о делах. И через минуту:

— Да, вчера была важная, важная встреча, верно, Володя? Все остались очень преданы «Искре». Всколыхнулись, загорелись. И заметь, Володя, Пискунов-то вовсе обратился в нашу веру. Теперь в Нижнем будет прочная база для «Искры». Пискуновы приедут из отпуска, Ольга Чачина после ссылки вернется. И рабочие в Нижнем надежные... Да что это я снова о деле? Отдых, отдых! Лучше расскажу о другом, совсем из другой оперы расскажу.

Она рассказала о Лизе. Ее тронуло, как Лиза говорила о Владимире Ильиче и во всех Ульяновых уловила особинку. Надежду Константиновну тронуло это.

— Хорошенькая девочка, но решительно неоригинальна, институточка, — ответил Владимир Ильич.

— Нет, Володя, какая-то в ней есть непосредственность.

— Допускаю. И известная доля порядочности есть. (Владимир Ильич не забыл, как на пароходе Лиза предупредила, что понимает немецкий.)

— Что ж вы хотите: и хорошенькая, и порядочная, — чего вам еще? — сказала Елизавета Васильевна.

— В самом деле, Володя, ты уж слишком к ней строг. Право, она ничего.

— Когда хорошенькая девочка продается или позволяет себя продавать...

— Она невеста,—возразила Надежда Константиновна.

— Ничего не меняется, оттого что невеста. Узаконенная форма купли-продажи. Она юна и красива, он коммерсант, делец с туго набитой мошной, вдвое старше ее, весьма поживший, потасканный жуир и пошляк, берет в жены институточку для придания дому особого шика, а она с ангельской невинностью позволяет себя покупать, облакая куплю-продажу в романтический флёр. Старая пошлая история, весьма распространенная и благословляемая буржуазной моралью.

— Ну и разделал! — удивилась Елизавета Васильевна.— Под орех разделал!

— Не прав? — быстро спросил Владимир Ильич.

— Прав-то прав, да историй этаких на каждом шагу, а как с ними поборешься?

— Только изменением всего строя, экономики, политики, законов, взглядов, морали.

— Э-э, батюшка мой, это когда-то будет...

— Можно войти? — слышалось из соседней комнаты, куда был вход снизу по узенькой лестнице.

— Полюбовались окрестностями! — с насмешкой шепнула Елизавета Васильевна.— Где уж! Политика вас разве отпустит? Входите, кто там?

Вошла барышня в сиреновом платье.

Надежда Константиновна внутренне ахнула, смешалась и, кидая растерянный взгляд на мать и Владимира Ильича:

— Это Лиза.

— Я к вам пришла...

...Был воскресный день. По воскресеньям у Кондратия Прокофьевича обед бывал ранний и долгий. Подавались заливная осетрина пудового веса, поросенок под хреном, немереными фунтами ставилась в хрустальных вазах икра, готовилась окрошка со льдом, жарились индейки и всякие другие стряпались жирные и пряные ку-

шанья, и какой-нибудь почетный гость непременно сидел за обильным столом, уставленным домашними настойками и покупными дорогими винами. В это воскресенье гостем была важная персона, зачем-то, видимо, хозяину нужная,— жандармский полковник, тучный, толстоносый, невыразительной внешности, известный на всю Уфу любитель поесть и попить. Впрочем, и хозяин с хозяйкой кушали с отменным аппетитом.

— Третьего дня проезжаю по служебным обязанностям в нужном направлении мимо вашего дома, барынька от вас из ворот выбегает. В шляпке, в кофточке беленькой, не барынька, а репетиторша, как можно по книгам понять, как я и понял, репетиторша, но что-то личность знакомая. Вглядываюсь: так и есть, под гласным надзором, ссылку у нас, в Уфе, доживает, Надежда Константиновна Ульянова-Крупская, ваша учительница...

Лиза вся обмерла. Учительница Надежда Константиновна ссыльная. Тоже ссыльная? Что это значит, что все ссыльные, кого Лиза знает, необычные люди? Сестры Невзоровы. Красивы, умны. А Надежда Константиновна? Лиза видела ее два раза. Она обаятельная. Легкая, тоненькая, с пушистой косой, с каким-то особенным, серьезным и пристальным взглядом.

— Что такое «гласный надзор»? — спросила Лиза.

Татьяна Карловна учила: любопытство есть не что иное, как невоспитанность. Надо скрывать любопытство. Если уж крайне любопытно что-то узнать, надо, если ты находишься в обществе, придать вопросу безразличный тон, сделать вид, что в общем-то тебе все равно.

— За что бывает гласный надзор? — безразличным тоном спросила Лиза.

— Гласный надзор, барышня,— запивая поросенка вишневой настойкой и все более от еды и вина краснея, охотно объяснял жандармский полковник,— гласный надзор — значит, приходи в назначенный день и час в полицейский участок, отмечайся, что я, такая-то поднадзорная личность, нахожусь, где начальство предписало мне

быть, и без позволения не имею намерений и прав в иные места отъезжать.

— Срамота-то! — дернула плечами хозяйка. Ожерелья и браслеты забренчали и зазвенели на ее обширной груди и толстых запястьях.

— За что? — безразлично спросила Лиза.

— За выступления против власти.

— А мы к Игнатке нашему ее допускаем! — испугалась хозяйка.

— Игнатку нашего политикой не завлечешь, — отмахнулся Кондратий Прокофьевич. — И не станет она на Игнатку порошу тратить. Зато науку всякую политические смыслят насквозь... — И жандарму, поблескивая ястребиными глазками: — Строже надо за ними глядеть! Вы икорки-то, икорки испробуйте.

Жандармский полковник зацепил ложкой зернистой, лакового блеска икры.

— Людишки мои донесли, к учительнице вашей супруг проездом за границу пожаловал. И он из таковых. Людишкам своим приказание дал последить.

— Срамота-то!

Лиза успешно усвоила институтские уроки Татьяны Карловны: громко удивляться и слишком открыто показывать чувства не принято в обществе. Надо быть сдержанной, неболтливой, спокойной. Лиза откушала крошки и жареной индейки, правда совсем маленькие порции.

— Талию соблюдаете? — любовно улыбнулся Пётр Афанасьевич.

Она ему нравилась. Она вся ему нравилась, с тоненькой талией, невинными голубыми глазами, всем своим поведением.

Лиза заученно ему улыбнулась.

После обеда мужчины уселись за ломберный стол играть в преферанс, а Лиза ушла к себе, заперлась, встала у окна, хрустнула пальцами и вдруг заломила руки, в таком одиночестве, безысходном одиночестве. Что делать? Куда бежать? Бежать ли к ним, этим прекрас-

ным и особенным людям, которых ссылают и назначают под гласный надзор? Бежать, предупредить, что жандармский полковник грозит, что людишки его последят... Какая в этом для Ульяновых таится опасность, Лиза не совсем понимала. Но что-то унижительное, темное было в угрозе полковника.

«Пойду и скажу: знайте, за вами собираются следить. Непременно пойду и скажу. Вдруг что плохое с ними случится? Скорее, скорее надо сказать им, что жандармский полковник...»

Она надела соломенную шляпу, перчатки и выскользнула из дома, никем не замеченная. Но на улице сомнения ее охватили. «Зачем я иду? Что с ними случится, если жандармские людишки станут за ними следить? Разве Ульяновы делают что-то против закона? Зачем я иду, ведь Ульяновы не хотят меня знать, они меня избегают...»

И может быть, она не пошла бы, если бы за воротами почти не столкнулась с высоким юношей, плоское, неподвижное, как из камня, лицо которого и черные глаза, жгучие и настойчивые, остановили ее. Она вспомнила, что уже видела юношу.

Где? Когда? Не раз она видела из окна на улице возле дома это плоское смугловато-бледное лицо, странно напряженное, с выпытывающим и ищущим взглядом. Это был он.

— Вы из этого дома? — спросил Юлдашбай.

— Да.

— Дочь хозяина?

— Нет.

— Что вы делаете в доме?

— А вам что?

— В этом доме живут подлые люди.

Он хмуро и презрительно глядел на нее.

У Лизы горько заныло сердце. Как трудно жить, как трудно. Она не знает, как разобраться ей в жизни. Нет у нее близких людей, кто помог бы. Татьяна Карловна?

Худая, постная, с вытянутым лицом и правилами на каждый жизненный случай?

Петр Афанасьевич? «Принцессочка, позвольте шейку поцеловать, украшеньице жизни моей».

Лиза хрустнула пальцами. Звук, похожий на сдавленный плач, вырвался из горла. Юлдашбай внимательно на нее поглядел.

— Вы не ихняя?

— Нет. А вы кто?

— Грузчик, — ответил Юлдашбай.

— Грузчик? — изумленно, почти в страхе спросила Лиза.

Казанские грузчики и их забастовка стояли у нее перед глазами. И чувство будто недозволенного кем-то, жуткого и дерзкого участия и интереса к ним, тем казанским бастующим грузчикам, вновь поднялось в ней.

— Ты грузчик?

— Был раньше рабочим, заводским. Буду снова рабочим. Когда-нибудь поступлю на завод. Да разве ты понимаешь?

— Понимаю, понимаю. Ты не думай. Я не богачка.

Они заговорили на «ты», и преграда между ними как будто разрушилась.

Они уже шли рядом, почти плечо к плечу, торопливо уходили от дома. Лиза хотела разузнать, кто же они, хозяйева длинного, выкрашенного под кирпичную краску многооконного дома, с кружевной резьбой деревянных наличников, с двумя фонарями возле подъезда и комнатами, где мещанские половики, позолота и богатая бронза? Кто они? Хозяйку и хозяйскую дочь она ненавидела. К Игнатке равнодушна. Жених? Он другой, он другой! Любит Лизу. Знаете ли вы, что такое любовь? Когда на всем свете у тебя никого нет, вдруг приходит любовь. Лиза выйдет замуж и будет образовывать Петра Афанасьевича, научит его слушать музыку... «Бойся моей судьбы, — говорила Татьяна Карловна. — Я тоже когда-то была молодой...»

Лиза не сказала о женихе Юлдашбаю. Почему-то не сказала.

— А хозяин? — спросил Юлдашбай.

Хозяин хороший. Он один только и добрый, он один смеется и шутит и зовет Лизу игрушечкой.

Высокий, выше Лизы на целую голову, Юлдашбай к ней нагнулся, близко заглянул в глаза и тихо, страшно:

— Хозяин — убийца.

Лиза беззвучно охнула, подняла руки к горлу. Она обыкновенная, совсем обыкновенная барышня, институтка, читала «Дворянское гнездо», а о Чернышевском даже не слышала. Отчего на нее сваливаются такие странные встречи, такие жестокие слова сваливаются на нее?

— Я видела тебя из окна. Ты все ходишь мимо дома, — сказала Лиза.

— Хочу увидеть убийцу отца, — ответил Юлдашбай. — Запомнить хочу.

— Расскажи... — робко и отчаянно попросила Лиза.

Они шагали по улицам, пока Юлдашбай не рассказал Лизе историю своей семьи и Кондратия Прокофьевича.

После этого Лиза побежала к Ульяновым.

14

Лестница была узка. Оборки платья, колыхаясь, касались перил. Двадцать пять лестничных ступенек были так круты, что Лиза задыхалась, когда взбежала наверх. От крутизны ступенек или от смущения? Ведь в тот раз, когда она проводила Надежду Константиновну до калитки, ей ясно сказали: «Прощайте, Лиза».

Она увидела низкую комнату, в одной половине стояла кровать под пикейным одеялом, в другой половине, с побеленной печью, небольшой, как все в этой квартире, была кухня, чистая, уютная кухонька. Дверь из этой комнаты вела в следующую, еще меньшую, с продолговатым столом у окна, за которым кончали обедать.

— Здравствуйте,— сказала Лиза и, увидя пожилую женщину во главе стола, сделала реверанс. И окончательно смутилась, сердитый румянец кинулся ей на щеки. Пожилая женщина, широколицая, гладко причесанная, с насмешливой добротой глядела на Лизу. «Наверное, смешливая, любит смеяться»,— подумала Лиза.

— Здравствуйте, тетка,— сказала пожилая женщина.

— Почему тетка?

— Потому что я тоже Елизавета... Васильевна.

— Откуда вы мое имя узнали?

— Да-к ведь только что Наденька Лизой вас назвала.— И Елизавета Васильевна, так и есть, рассмеялась.

Владимир Ильич поднялся предложить стул:

— Садитесь, пожалуйста.

Он был сдержан и вежлив. Надежда Константиновна была не в своей тарелке, не зная, как вести себя с Лизой. Неприятно, что они сейчас лишь о ней говорили, судили ее, а она тут как тут, и, хотя наверняка не слышала их суждений, все равно неприятно, что пришла в это именно время. Надежда Константиновна досадовала, что Лиза пришла. Кажется, в прошлый раз могла бы понять...

Надежда Константиновна собрала посуду и понесла в кухню. Пускай без нее займут эту гостью, пусть уж мама.

— А Анны Ильиничны нет,— сказала Лиза.

— Совершенно верно, согласилась Елизавета Васильевна.— Уехали домой. Погостили и уехали. В гостях хорошо, а дома лучше.

Елизавета Васильевна закурила, и это несвойственное дамам занятие удивило и неизвестно отчего еще более расположило к ней Лизу. Она тоже необычна, Елизавета Васильевна, необычна по-своему.

Такие наблюдения кружились в голове Лизы, пока она собиралась с духом сообщить о причинах своего появления здесь:

— Я пришла...

— У нас посетители не в диковинку. Владимир Ильич

с Надей люди молодые, общительные, не сидеть же кро- тами в норе.

Лиза заметила, что разговор с ней поддерживает одна Елизавета Васильевна. Надежда Константиновна, собрав со стола, даже не села, а скрестила руки на груди и стояла, прислонившись к стене у арки, должно быть, ждала поскорее избавиться от непрошеной гостьи. Владимир Ильич тоже молчал.

«Нет, эти люди мне далеки, далеки»,— подумала Лиза.

Почему-то спокойствие сошло на нее, она перестала смущаться и подробно рассказала о жандармском полковнике.

Наступила пауза. Елизавета Васильевна тихо курила папиросу и не вмешивалась. Елизавета Васильевна знала многие дела зятя и дочери, но старалась быть ненавязчивой и, когда что-то решалось, не выставляла вперед свое мнение. Если бы Лиза могла разгадать, она узнала бы, какую бурю сожалений и симпатий поднял ее рассказ в Надежде Константиновне, стоявшей все так же без движения у арки, ведущей в соседнюю спальню. «Эта девочка мне понравилась с первого взгляда. Что-то в ней наивное, светлое. Но слишком уж купеческая невеста, да еще в таком неприятном доме, потому я от нее отвернулась. Конечно, она обиделась, а вот подавила же самолюбие, пришла предупредить. Значит, первое мое впечатление от этой девушки, похожей на куклу, было верно, значит, внешность обманчива. Как приятно находить хороших людей!»

— Спасибо за предупреждение, Лиза,— ответил Владимир Ильич.— Но пусть вас не беспокоит служебное рвение жандарма. Скорее всего, усердие его от подпития, ведь жандармский-то полковник знает отлично, что за нами нет никаких оснований следить,— ответил Владимир Ильич.

Надежда Константиновна опустила глаза. Хотелось обнять, расцеловать девочку, хотелось спросить: «Да расскажите же, кто вы, откуда, что привело вас в этот

жестокий купеческий дом, представляете ли вы, какая жизнь вас ожидает?» Но Надежда Константиновна понемалу сдержанность Владимира Ильича. Нельзя рисковать. Остается десять дней. Надо вырваться Владимиру Ильичу за границу. Осторожность, осторожность. Один неверный шаг — и погублено дело. «Искра» должна выйти в этом, 1900 году. Осторожность, осторожность.

А Лиза снова задохнулась, как недавно, взбегая на лестницу. Ее вежливо поблагодарили. Теперь остается встать и услышать: «Прощайте, Лиза».

— Пожалуйста, я вас прошу... не говорите никому, что я к вам приходила. Я потихоньку от них.

Она не наклонила головы, стараясь быть светской, стараясь скрывать в обществе чувства, как учила Татьяна Карловна. Но две едкие слезы выкатились из ее бесно-голубых глаз и поползли вдоль носа к губам. И она не нашла за корсажем платка и вытерла слезы согнутым пальцем. Владимир Ильич вскочил. Не встал, а вскочил. Смятение отразилось у него на лице. Эти две горячие слезы и согнутый палец вдруг открыли ему всю Лизу. Одиночество, сиротство, душевное неустройство ее.

— У вас нет родителей?

— Нет.

— Кто-нибудь близкий у вас есть?

— Нет.

— Как — нет? А жених? Ведь тот человек, с которым вы ехали на пароходе, ваш жених?

— Да.

— Ему вы тоже не сказали, что идете к нам?

— Нет, нет, конечно, нет! Но он другой. Он не такой, как они. Он меня любит. Когда мы поженимся, я уверена, я буду на него влиять, он никогда не станет грабить и разорять людей, как Кондратий Прокофьевич, никогда, никогда. Я буду влиять на него. Ненавижу купцов!

— А идете замуж за купца.

— Он другой.

— Миленькая моя, другой или не другой, да вы-то

любите ли его? — участливо сказала Елизавета Васильевна.

С таким участием, такой прозорливостью, что Лиза почувствовала — здание, которое она строила под руководством Татьяны Карловны, прочное, как крепость, здание ее счастья заколебалось, трещины зазмеились вдоль стен.

Впрочем, не будем обсуждать Лизино счастье. Ей уже было неловко и совестно за свои две слезы.

— Я ценю его любовь, — гордо ответила Лиза. — И вообще сейчас уже поздно.

— Если поздно, нет смысла и обсуждать, — сказал Владимир Ильич.

И Лизе оставалось уйти, потому что из-за ее гордости откровенного разговора не получилось.

— А если бы не поздно? — робко промолвила она.

Владимир Ильич стоял против нее и глядел пристально, таким вглубь проникающим взглядом, что Лиза вдруг поняла: он знает о ней все. Знает то, в чем даже наедине с собой она боялась признаться.

— Если бы не поздно?..

— Тогда я ответил бы так, — сказал Владимир Ильич, проводя ладонью по своему огромному, как глыба, лбу. — Ответил бы, что грустно, очень грустно, когда женщина ищет в замужестве не любовь и основанную на взаимном уважении дружбу, а устройство, житейский комфорт. Отвратительно и еще раз отвратительно, ибо чем такой брак, основанный на расчете, прикрашенный лицемерными фразами, чем такой брак лучше...

Он не закончил фразы. Резким жестом откинул полы пиджака, сунул руки в карманы и, слегка расставив ноги, слегка наклонившись вперед, заговорил с терпеливой настойчивостью, стараясь, чтобы она поняла:

— В современном обществе, не среди рабочих, а в высших классах современного общества, все продается, все покупается, все лживо насквозь. Лжива мораль, которая, казалось бы, должна осуждать брак по расчету, а она

освящает брак по расчету. Освящает рабство женщины, продающей себя в законные жены. Вы возразите: у нее не было выхода. Да, в буржуазном обществе непросто женщине найти выход, но возможно, возможно, возможно! Если она честна.

Вот Лиза и услышала то, что до сей поры ни единый человек не сказал ей.

— Лучше знать, чем не знать. Всегда лучше глядеть правде в глаза.

— Я ведь вам сказала, что «если бы», — увернулась Лиза.

— Да, да, — ответил Владимир Ильич.

Он прекрасно понимал ее хитрость. Странное дело, эта слабенькая девчонка вызывала в нем жалость, когда, в сущности, основной поступок ее жизни, может быть, стоил презрения.

Она медлила уходить. Какую-то зацепочку, пусть махонькую, хотелось ей с собой унести, чтобы иметь предлог вернуться сюда. Она увидела за аркой возле узенькой железной кровати столик и на нем стопу книг. Она вспомнила, что давно не читает, в купеческом доме нет книг, ни одной книги, кроме Игнаткиных учебников. Любопытно узнать, что читают в доме Ульяновых, в этих крошечных комнатках, за этим продолговатым обеденным столом (другого нет), у этой стеклянной семилинейной керосиновой лампы?

— Можно вас попросить...

— Да, пожалуйста. Но что бы вам дать? Что вы любите? Что вас интересует? Да, а чем вы занимались до того... ну, пока не стали невестой?

Владимир Ильич быстро, живо кидал вопросы, а сам вытаскивал одну за другой книги из стопки на столике, выбирая Лизе для чтения, но, видимо, ожидая сначала ответа.

Чем она занималась? Отвечать на этот вопрос жених ей запретил. Петр Афанасьевич пожелал скрыть от уфимской родни, что после института Лиза была гувернанткой.

Да, гувернанткой в богатом и образованном купеческом доме. Место за столом для гувернантки в этом образованном доме было в самом конце, на углу. С ней говорили тоном приказа.

Ее спрашивали: «Как вели себя дети? Как сегодня успехи в немецком?»

Ее предупредили, беря в гувернантки: «Никаких романов и флиртов».

«Тебе хочется навсегда остаться старой девой, в подчинении, в чужом доме? — спросила Татьяна Карловна, когда однажды Лиза, стыдясь и страшась, прибежала сказать, что Петр Афанасьевич сделал ей предложение, а она не решается, не знает, как отвечать. — Тебе хочется всю жизнь служить в гувернантках?»

— Скверно, по опыту знаю, — сказала Елизавета Васильевна. — Сама была гувернанткой. Круглой сиротой в институте воспитывалась, сразу со школьной скамьи в гувернантки.

«Как я», — почему-то обрадовалась Лиза.

— В помещичьем доме служила. Культурные люди, — усмехнулась Елизавета Васильевна, — а крестьян обдирали, буквально душили. Знаю я эту публику, помещиков, смолоду насмотрелась. Не приведи бог быть гувернанткой! — Она махнула рукой.

— Конечно, должность гувернантки весьма подчиненная и даже унижительная, — заговорил Владимир Ильич.

— Куда уж унижительней! — вставила Елизавета Васильевна.

— Но можно быть учительницей в школе, — обращаясь к Лизе, мягко продолжал Владимир Ильич. — Учительница — это уже как-то шире, самостоятельнее, до некоторой степени. Правда, и учительницей нелегко устроиться...

Тут вмешалась Надежда Константиновна:

— А про устройство в учительницы — это я знаю. Когда кончила гимназию, как мечтала поступить учитель-

ницей в деревенскую школу! Нет, не удалось, не нашла места.

— Не спору, трудно доставать работу по сердцу и заработок самый скромный непросто раздобыть, особенно женщине, но чувство достоинства надо в себе сохранять. Воспитывать в себе чувство достоинства вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам нашего времени,— сказал Владимир Ильич.— Гм, что же вам дать почитать? — снова обратился он к Лизе.— Развлекательного нет. Умственное напряжение любите?.. Как ты на сей счет думаешь, Надя? — спросил Владимир Ильич, перевернув какую-то книгу и показывая раскрытую страницу.

Она взглянула:

— Боюсь, не трудновато ли будет? — но протянула Лизе: — Это книга статей Добролюбова. Есть тут статья «Когда же придет настоящий день?». Читали?

Лиза смутилась. Нет, не читала, даже не слышала.

— Не мудрено,— успокаивающе сказал Владимир Ильич.— Добролюбов высочайшим повелением для публичных библиотек запрещен. У нас не публичная библиотека, но все же лучше эту книжечку другим не показывайте. Вот между нами и тайна. Возможно, сначала нелегко будет вчитываться, но непременно вчитайтесь, непременно,— весьма много нового для себя откроете.

Видно, он загорелся убедить Лизу вчитаться, постигнуть то новое, что заключено в этой книге. Он всячески ее агитировал.

— Добролюбов — ваш земляк, тоже был нижегородцем. Могучий, прекрасный талант!

— Погиб совсем молодым,— добавила Надежда Константиновна.

Господи! У Лизы сердце заныло, так нравились ей эти люди, эти поднадзорные, на которых жандармский полковник грозился выпустить своих ищеек! У них как дома. Сердечно. Почему она не может быть всегда с ними? Какая пропасть их разделяет?

Она взглянула на раскрытую страницу, как передала Надежда Константиновна книжку. «Стучи в барабан и не бойся»,— прочитала она по-немецки эпиграф из Гейне. Какие слова! Таких слов ей еще не встречалось. Она взяла Добролюбова и ушла, пообещав в душе, что, сколь ни мудрена статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», одолеет, и тогда, может быть, перекинется через пропасть узенький мостик.

— Экая былиночка робкая, куда ветром подует, туда и согнет,— сказала после ее ухода Елизавета Васильевна.— Напрасно вы Добролюбовым да речами своими ее поманили. Ведь говорит же, что все решено. Да и купчик ее, видно, не из самых плохих, жила бы в райском неведении. А так только сомненья посеете. А зачем?

— Не узнаю вас, Елизавета Васильевна!— вскричал в изумлении Владимир Ильич.— Не узнаю, не узнаю! Да хоть неудовлетворенность посеять в сонной душе, если другого нельзя! Да хоть лучиком света осветить робкое сердце. Все, что можно мятежного и гневного разбудить, надо повсюду будить, повсюду! В каждом человеке надо будить недовольство этим подлым рабским строем, где ничего нет святого... Пусть хоть не останется безмятежно спокойной, хоть совесть проснется. А может...

— Голубчики вы мои дорогие,— вздохнула Елизавета Васильевна,— идите-ка погуляйте, идите на свой луг, днюто бегут.

А луг, оказалось, был скошен. Обнесенный живой изгородью из лип и осокорей, чистый и прибранный, луг был уставлен копнами свежего сена. Молодые глянце-вито-черные грачи ходили по лугу и при виде людей поднялись и, торопливо махая крыльями, перелетели на другой конец луга. Полная-полная тишина. Листы не шевелились. Лишь доносилось негромкое посвистывание птиц. Солнце еще не ушло за верхушки осокорей и поверх дерев слало сюда уже не горячие, спокойные под вечер лучи.

— Обманула тебя. Нет моего океана!— ахнула Надежда Константиновна.

— А сено разве плохо? Слышишь, как пахнет? Восхищенье одно!

— Полтора часа протопали, полюбоваться хотели травами, а их покосили,—сокрушалась Надежда Константиновна.

— Он и скошенный, твой луг, куда как хорош! Покос. Значит, лето на вторую половину переваливает. Вон, гляди, грачиные выводки подросли.

Владимир Ильич наслаждался. Этот скошенный луг, тишина громадных осокорей, и вечеряющее спокойное солнце, и молодые грачи, что-то хлопчущие, копающие клювами землю,—все поднимало в нем радость. А душистые копны манили кинуться в сено. Он вдыхал густой аромат сена, Надежда Константиновна подошла.

— Ты рад? Тебе нравится?

— Очень, очень и очень! Помнишь, в Шушенском ходили за речку, там вроде острова, и стога стояли, в Сибири зародами они назывались?

— Помню. Там другое. Широко! Горизонты огромные, Саяны видны...

— Славный ты здесь разузнала пейзажик, уютный. Город близко, а будто и нет. Во всем свете одни.

— Когда будешь далеко, вспомни все это, этот наш луг,—поведя вокруг рукой, сказала Надежда Константиновна.

Они сидели внизу копны, рядом.

— Не грусти, Надюша. Постарайся не очень грустить.

— Постараюсь. Дел много, некогда будет грустить,—сказала она.—Как время быстро идет... Чему я рада, это что не зря ты здесь с людьми повидался. Горячую поддержку «Искре» нашел.

— Важно, что была подготовлена почва. Это ты, твоя работа,—ласково улыбнулся Владимир Ильич.

— Почему-то Лиза не идет из головы,—сказала Надежда Константиновна.—Пропадет она в купеческом доме, а, Володя?

— Может, и приспособится,— ответил Владимир Ильич.— Так и так возмутительно безнравственная история! Но большинство привыкло к безнравственности, равнодушно проходит мимо. Даже одобряют. А ты заметила, Надя, среди наших товарищей, возьми Кржижановских, Лепешинских, Старковых, Ванеевых, Сильвиных, Невзоровых, Бабушкиных или наших новых уфимских друзей, Пискуновых, Якутовых, вспомни всех наших — какие все прочные и честные браки, чистота отношений, поэзия отношений! А ведь все люди сугубо занятые политикой. Иначе и быть нельзя. Ты можешь, Надя, представить коммунистическое общество, где бы процветала безнравственность? В нем могут сложиться новые экономические отношения, все по Марксу в области производства, новый политический строй, но если мораль осталась по-прежнему лживой, совесть продается, царит лицемерие,— разве можно такое общество называть коммунистическим обществом? Нет и нет! Что же до Лизы... Чем ей помочь? Жалко ее.

— Не знаю. Наверное, нечем, не знаю,— сказала Надежда Константиновна.— Что еще растревожило меня в Лизином приходе: едва ли напрасно грозился жандарм...

— Не так страшен черт, как его малюют,— отшутился Владимир Ильич.— Будем еще осторожнее. Знаешь, Надюша, какое событие было со мной в Петербурге?

Он не писал ей об этом.

Событие было такое... Доживались в Пскове последние дни. Заграничный паспорт в кармане. Хлопот порядочно было с добыванием паспорта. Все позади. И хлопоты, и бесконечные совещания по поводу «Искры». И денежный вопрос на первое время решен. Значительную часть денег на «Искру» дала Калмыкова. Перед отъездом Владимир Ильич зашил в жилетный кармашек больше тысячи.

Незадолго до отъезда приехал в Псков повидаться из Полтавы Юлий Мартов. Без конца бродили псковскими улицами, мимо древних церквей. Сидели на берегу Вели-

кой — плавно несущей чистые воды, обсуждали издание «Искры» и дальнейшие планы. Мартов тоже готовился уезжать за границу. И об этом говорили.

Затем обоим пришла в голову мысль: по дороге из Пскова, когда будут совсем уезжать, завернуть в Петербург. Въезд в Петербург Ульянову и Мартову после ссылки был запрещен.

Но так хорошо и удачно все шло и так полезно было бы повидаться в Петербурге с некоторыми необходимыми людьми, что Владимир Ильич раззадорился: авось и это сойдет.

Некоторые предосторожности все же предприняли. Решили ехать не на Варшавский вокзал, где легко нарваться на шпиков. Поехали из Пскова до Гатчины. Из Гатчины, на беду свою, повернули в Царское Село, не сообразив того, что там шпики больше, чем где-либо, наблюдают за каждым лицом. Там их и приметили.

Когда на следующее утро выходили из подъезда квартиры на Большом Казачьем переулке, где ночевали, два дюжих молодца выросли возле каждого. Вмиг откуда-то появились извозчики. Владимира Ильича и Мартова посадили на извозчиков. Повезли.

Все произошло так внезапно и быстро, что Владимир Ильич растерялся. Не стал спорить с жандармами. Бесцельно.

Неужели провал? Неужели все пойдет прахом?

Владимир Ильич соображал, какие при обыске в жандармском управлении могут открыться улики? Заграничный паспорт? Зашитые в жилетку деньги? Неопасно. Законно. Заграничный паспорт выдан законно. Деньгам можно найти объяснение. Получены из разных редакций. За статьи, за перевод книги Вебба. Можете справиться.

Одна была грозная улика. Не успел отослать химическое письмо Плеханову, где все, что сделано и достигнуто для издания нелегальной противоправительственной «Искры», излагалось подробно. Для конспирации Владимир Ильич написал это письмо на листке с придуман-

ным счетом, но... риск был слишком велик. Единственный выход — проглотить листок, пока не доставят в охранку. Как проглотить? Жандармы уселись в пролетке по бокам, цепко держат за локти. Не пошевеливаться, не только вытащить из кармана листок. Если в охране даже не догадаются проявить это письмо, химические чернила, случается, сами проступают от времени. Тогда...
— Надя!

Владимир Ильич взглянул на нее. Она сидела, полузакрыв глаза, с бледным лицом, прямая, лишь затылком прислонясь к сену. Что, если бы тогда, в питерской охране, проявили письмо! Что было бы? Страх ее обуял. Снова тюрьма. Снова Сибирь, какой-нибудь Енисейск или Туруханск, с лютыми стужами, надолго, на долгие годы. И все его дело отодвинулось бы надолго, на долгие годы. И сейчас его не было бы здесь, возле нее. Не было бы этого луга, тихих лучей уходящего солнца, запаха сена, этой лохматой, милой копны.

— Ах, Володя!

Он понял ее бледность. Ее любовь, запоздалый, неразумный, такой естественный страх.

— Что ты, Надюша! Что ты так взволновалась? Пронесло грозу. Десять дней продержали в камере, а там вернули и деньги, и паспорт. И письмо вернули целехоньким. Вообрази, полицейского чина приставили проводить до Подольска. Для верности, чтобы точно знать, куда вы был из столицы. Умчалась гроза, прочь, прочь морщины с чела! Что за поэт такие стихи сочинил?

— Какие же это стихи? — слабо улыбнулась она. — Это ты меня успокаиваешь.

Они долго сидели на лугу под копной. Солнце ушло за ограду деревьев. Грачи осмелели и деловито ходили совсем поблизости, копаясь в земле. Потом поднялись все разом, и черная тучка исчезла из глаз.

Они толковали о том, что через девять месяцев Надежда Константиновна приедет за границу. Может быть, через девять с половиной месяцев. Работы уйма, время

пробежит незаметно, весьма много будет работы по «Искре». А Владимиру Ильичу не стоит затягивать пребывание в Уфе. Пожалуй, через неделю пора и уезжать.

Прощай, наш луг. Неувиденный зеленый океан трав, прощай.

15

Брат и сестра разговаривали у окна, возле того лимонного дерева, где выбрала себе местечко Надежда Константиновна, когда в доме Кадомцевых происходила встреча Владимира Ильича с уфимскими рабочими и социал-демократами. Сестра сидела, облокотившись на кадку с деревцем. Брат возле стоял. Это был юноша на вид лет семнадцати, темноволосый и хмурый.

— Эразм, ты пойдешь с нами,— говорила сестра, Инна, молодая девушка, но постарше его.

— Кто еще будет?

— Не надо задавать вопросов.

— Ладно. Но о нем ты мне обещала сказать. Это не вопрос. Мне и Свицерский, Цюрупа говорили... Я хочу знать о нем самую суть.

Инна побарабанила пальцами о край цветочной кадки.

— Не надеешься на меня? — подозрительно спросил Эразм.

— Вполне надеюсь, Эразм. Подожди здесь.

Она встала и вышла.

«Не хотела говорить. Я ее вынудил», — хмуря брови, подумал Эразм.

Но она уже вышла. Из всей семьи Эразм больше всех любил сестру Инну. Она работала фельдшерницей в Златоусте, сейчас, как и он, приехала к родителям в Уфу в отпуск. Они не виделись целыми зимами, но дружба не рушилась, общие взгляды их связывали, стремление к жизни значительной. Эразм писал сестре письма на двадцати страницах — излияния ума и сердца. Встречаясь, они никогда не говорили о пустом и обыденном. Он любил в сестре ее независимый, вольный, бунтарский нрав. Сам был бунтарского нрава. В их семье вообще не было

смирных людей, хотя отец служил всего лишь писарем в казенной палате с восемнадцатирублевым месячным жалованьем. Правда, плюс к тому столярничал, делал изумительные вещи из дерева. Отец был крещеным татаринном. А прадед Кадомцевых в наполеоновскую войну командовал полком башкир и татар, со славой доведя полк до Парижа... Не от того ли далекого предка передалось Эразму влечение к военным наукам, искусству полководства? Можно ли это влечение совместить с революционными взглядами? Ибо главное в жизни Эразма, основное, важнейшее было, есть и будет — революционное дело. Вот что сближало его с сестрой Инной — революционное дело, к которому он настойчиво себя приготавливал. В родительском доме витал свободолюбивый дух. Отец и мать читали запрещенные книги. Не веровали в бога. Презирали царя. В доме постоянно бывали «политики». Все уфимские ссыльные бывали у них. Таков был дом Кадомцевых в городе Уфе на Пушкинской улице, где сейчас возле кадки с лимонным деревцем стоял в раздумье угрюмый на вид семнадцатилетний Эразм.

Сестра Инна вернулась, неся свернутую в трубку брошюру.

— Нелегальная брошюра. Если хочешь знать, кто он, прочитай для начала немного, что отчеркнуто.

Эразм впился в отчеркнутые карандашом строки.

«Пролетариат должен стремиться к основанию самостоятельных политических рабочих партий, главной целью которых должен быть захват политической власти пролетариатом для организации социалистического общества».

Кровь прилила, гулко застучала в висках. «Захват политической власти! Организация социалистического общества!» Вот цель, ради которой стоило жить. Ясно выраженная цель. Вопрос только в том: как? Но об этом ведь они и толкуют все время. Они — это Цюрупа, Свидерский, Якутов, Инна, Пискуновы и Чачина, знакомые Эразму социал-демократы. И он, приезжий, объединив-

ший вокруг себя всех, о котором все говорят, что он выдающийся марксист и практик революционной борьбы, что умеет ставить реальную цель.

«...пролетариат... должен поддерживать всякое революционное движение против существующего строя, являться защитником всякой угнетенной народности или расы...»

Разве не верно? И верно, и ясно, будто твоя собственная мысль, а он услышал твою мысль и высказал вслух.

Эразм быстро пробежал две странички. Отчеркнуто: «На своих крепких плечах русский рабочий класс должен вынести и вынесет дело завоевания политической свободы».

«Моя мечта быть военным? Как совместить? — пронеслось в уме. — А захват политической власти? Разве голыми руками можно взять власть?»

— Пока довольно, — сказала Инна, беря у него брошюру. — Некоторое представление составил, кто таков Владимир Ильич.

Эразм кивнул.

Он был неразговорчив. Скрытность его Инне известна. Можно не повторять, что брошюра нелегальная.

— Вот что, Эразм, постарайся собраться скорее. Надень кадетскую форму.

Он бросил на нее короткий взгляд. Разумеется, он не спросил, зачем надо для этой прогулки одеться кадетом. Впрочем, не таким уж был Эразм недогадливым.

Через четверть часа они вышли из дому и направились к центру. Эразм помнил, что задавать вопросы не надо. В двух кварталах от Центральной улицы возле них очутился незнакомый человек. Средних лет, ничем не заметный, с черным бантиком галстука, в шляпе и с тростью и выпущенной из нагрудного пиджачного кармашка голубой каемкой платка.

— Брат Эразм, — представила Инна.

— Кадет Оренбургского Неплюевского корпуса, — шаркнув и выпятив грудь, отрапортовал Эразм. (Раз уж

велели показываться кадетом, пожалуйста.) Инна не назвала подошедшего. Он приподнял шляпу, открывая густую шевелюру, растущую буйно и как попало.

— Идем в парк,— сказала Инна.

Они пошли в городской парк, замыкающий Центральную улицу. Дальше город кончался, крутой берег обрывался над Белой, цветистые луга раскинулись на той стороне.

— Как у вас в корпусе? — вежливо спросил незнакомец.

— Кому как,— ответил Эразм.

— А вам? — уже более любопытно спросил тот.

— Мне вот как: в первый год был подвергнут наказаниям сто восемьдесят один раз. Ставили «на стойку» против воспитательского кабинета. Навытяжку, без движения на пятнадцать минут. Без обеда. В карцер.

— Батюшки мои, за что такие немилости?

— Один воспитатель, например, наказывал за «оскорбление взглядом».

— Это что?

Эразм притворно пожал плечами: не могу знать, сами судите.

— Да вы всмотритесь в него,— усмехнулась Инна.— Всмотритесь в этого кадета. Какой у него взгляд? Разве не опасный? Можно ли не засадить в карцер юношу с таким угрюмым, непонятным, вызывающим взглядом, таким...

Она сделала неопределенный жест в воздухе, она издевалась, ненавидела их корпусные порядки, калечившие и ломавшие юношей. Правда, ее Эразм не таковский. Эразм не сломался, хотя его изо всех сил ломали. Сначала бунтовал против кадетских порядков. Потом нашел другой, единственный путь. Она, Инна, помогала ему.

— А я рабочий,— сказал незнакомец,— с Урала. Малышев.

И снова пожал руку Эразму. По-другому пожал, по-товарищески.

«Э-э! — смекнул кадет. — Значит, тросточка для отвода глаз».

Владимир Ильич и Надежда Константиновна тем временем прогуливались липовой аллеей городского парка. День был летний, яркий. В небе ходили белые облака. Ветерок шевелил ветви лип. Листья шелестели. Солнечные пятна, пробиваясь сквозь листья, качались под ногами на песчаной дорожке. Рябило в глазах от кружения солнечных пятен. Они медленно шли.

— Надо нам, Надюша, урвать свободный денек да закатиться на лодке подальше, да с удочками, да уху бы сварить на бережку где-нибудь, а, Надюша? — сказал Владимир Ильич.

— Я не прочь, не откажусь от лодки и от ухи не откажусь. Мы с тобой далеко не все окрестности, Володя, облазили. Много чего вокруг Уфы я еще не показала тебе.

— А что мне про окрестности Цюрупа сказал! Знаешь ли, Надя, есть здесь на берегу Демы, знаменитой аксаковской Демы, деревня Ка-ра-я-ку-пово. Кумысолечебница там. Пейзаж чудесный, а что важнее пейзажа, есть там один любопытный человек. Студент из учительской семинарии, башкир. Нашего лагеря. Неплохо бы повидаться. Послать бы для разведки Юлдашбая к нему?.. А их нет и нет.

Владимир Ильич с беспокойством поглядел в даль аллеи, которой они медленно шли.

— Погоди, еще три минуты осталось, Инна точна, как... — не досказала Надежда Константиновна. — А вон и они!

В конце аллеи показались брат и сестра Кадомцевы и тот человек, видеть которого Владимиру Ильичу крайне было необходимо и важно.

Со многими местностями всей России были налажены связи, а с Уралом — нет. Единственным уральцем, с которым через Инну Кадомцеву была обещана связь, был этот рабочий, социал-демократ, товарищ Малышев, оказавшийся проездом в Уфе, и его-то Владимир Ильич не-

терпеливо и заинтересованно ждал. Решили не рисковать видеться дома. Отъезд недалек. Совсем обидно было бы провалиться под самый конец. И вот в один летний день, когда в синем небе курчавились и шли облака и ветер летел, неся запахи цветущих лип, в городском уфимском парке проходила эта встреча — такая существенная для революционного рабочего движения. Довольно чинная компания — две дамы, двое мужчин и кадет — прогуливалась вдоль липовой аллеи. Кадет давно понял свою роль; выпячивал грудь и прямил плечи, на которых красовались погоны. Владимир Ильич и Малышев, едва познакомившись, немедленно вступили в разговор. Эразм шел под руку с сестрой крайний в ряду и старательно вытягивал шею, чтобы услышать, о чем они говорят, но не слышал. Доносились лишь отдельные слова: «искра», «социал-демократия».

В парке былолюдно. Они направились вглубь, в березовую аллею. Здесь от белизны берез день казался еще светлее и радостнее. В белых облаках не пряталось солнце. Солнечные узоры скользили на желтом песке.

Нашли скамейку, где поблизости не видно людей. Сели. Владимир Ильич и Малышев все говорили. Владимир Ильич вызывал глубокий интерес в Эразме Кадомцеве. Человек, призывающий к смене политического строя! Сейчас, в наше время...

Несмотря на юный возраст, Эразм имел некоторый жизненный опыт, по кадетскому корпусу знал, что это — наше время: «Кругом а-арш! В карцер, на сутки!»

Сидя на другом конце скамьи, Эразм поглядывал на Владимира Ильича. Жизнерадостен. Полон энергии. С ним нельзя быть прохладным — заражает кипеньем мысли. Вот беда, а Эразм все не может решиться, кем быть. Революционер и будущий юнкер Павловского военного училища в Санкт-Петербурге — совместимо?

А Надежда Константиновна рассказывала Инне о своей работе над брошюрой. Еще в Шушенском начала писать брошюру о женщине-работнице, теперь статья ее подходит

к концу, посмотрим, что скажет Владимир Ильич. В Шушенском, когда задумывала брошюру, Владимир Ильич одобрял.

— Как милы, как хороши наши белоствольные березки! — воскликнет вдруг Инна, обращаясь к Эразму: значит к скамейке приближается прохожий или близко прогуливается парочка.

— Ты права, березки хороши, — громко согласится Эразм.

Затем Инна и Надежда Константиновна возвращаются к своим темам. О брошюре, о рабочих кружках. Владимир Ильич и Малышев продолжают тихий разговор. Говорит больше Владимир Ильич. Малышев слушает. Лицо у него становится задумчиво-строгим, воодушевление какое-то на его малоприметном лице. И Владимир Ильич, видно, удовлетворен разговором. Вынул записную книжечку. Что-то энергично черкнул, спрятал в карман, хлопнул по карману веселым жестом.

— Основные вопросы мы с вами решили, — донеслось до Эразма.

«А я? Нет, это полная бессмыслица — колебаться в моем положении, — думал Эразм. — Но ведь вот Свидерский считает же, что марксист не может служить офицером? И многие, я знаю, так думают. Но тогда, если среди офицеров совсем не будет марксистов, кто будет вести революционную работу в армии? Или вспомним декабристов. Разве не были они военными? Нет, Свидерский не прав, и я напрасно колеблюсь. Мои колебания только доказывают мой половинчатый и нерешительный характер. Что может быть несноснее и хуже людей половинчатых?»

Так Эразм занимался самоанализом и бичевал себя за свои колебания, пока не заметил приближающуюся пару, и обернулся к сестре, готовясь услышать восхищенные березками.

Плотный господин, с розовыми полными щеками, в клетчатом жилете и розовом галстуке, вел под руку ба-

рышню. Подойдя к скамейке, барышня вся загорелась и задыхающимся, как показалось Эразму, голосом произнесла:

— Здравствуйте.

Надежда Константиновна и Владимир Ильич ответили:

— Здравствуйте.

Господин, держа ее под руку, с ледяным спокойствием не повел взглядом. Прошли.

— Разве вы не узнали... мы вместе ехали на пароходе? — отойдя на достаточное расстояние, несмело спросила Лиза.

— Мало ли кто ехал на пароходе.

— Но она, Надежда Константиновна... учит Игнатку.

— Вы даже имя поинтересовались запомнить, — неторопливо повернул к ней голову Петр Афанасьевич.

— А почему бы нет?

— Вот что, Елизавета Юрьевна. Мне наплевать, что полковник болтал на обеде. Их жандармское занятие подозревать да выслеживать — с этими, видать, попался впросак, вон с кадетом гуляют, — а только я вам скажу, что знакомства наши в дальнейшем будут с разбором. Учителя и разная студенческая публика не наша компания. Нам не подходит, по нашему положению даже и смешно. Наше общество отборное, из видных людей, и я мечтаю, что вы, моя хозяйшюка, научитесь держать тон, как надо быть. Как кому поклониться, кого как принять, кого допустить, а кому на порог показать. Гордости побольше иметь надо, волшебница моя. Больно уж просты. Привыкать надо повыше держать головеночку: не кто-нибудь я, а супруга законная Петра Афанасьевича.

Встреча в парке продолжалась два часа.

Владимир Ильич рассказал все нужное Малышеву, начал всеми необходимыми знаниями и советами по пово-

ду «Искры». Взял адреса. Теперь и к Уралу дорожка проложена.

Некоторое время после ухода Малышева они еще оставались в березовой аллее на скамье. Владимир Ильич только теперь увидел стройность березок и чистоту стволов. А какая зеленая, почти весенняя травка! А синева какая глубокая между плывущими, яркими от солнца облаками!

Эразм по-настоящему Владимир Ильич заметил тоже только теперь. На душе у Владимира Ильича было легко и спокойно, и оттого, может быть, хмурость и строгость семнадцатилетнего юноши позабавили его, а может быть, тронули.

— Итак, собираетесь стать генералом? — поглядев на погоны Эразма, сказал Владимир Ильич. И серьезно: — Революционным генералом, конечно?

По привычке, рассеянности, из смущенья, ошеломленный вопросом, Эразм вскочил, выкатил грудь колесом:

— Точно так.

Владимир Ильич потянул его за руку:

— Сядьте.

— Вы считаете, что можно быть революционным генералом? — спросил Эразм, глядя в упор и с надеждой на этого немного скуластого, чуть рыжеватого, с прищуренным смеющимся взглядом человека, который жил целью создать социалистическое общество.

— Настанет время — очень и очень нам будут нужны свои генералы, — ответил Владимир Ильич.

Он понятно и просто объяснил Эразму, почему и зачем нам будут нужны свои революционные генералы.

Потом они разошлись. И Владимир Ильич с Надеждой Константиновной пошли через весь город к себе, в мезонин купеческого дома на углу Жандармской и Тюремной улиц.

«Стучи в барабан и не бойся. Стучи в барабан и не бойся». Слова гремели в ушах, как оркестр. Как праздничный звон колоколов. Необычайно важный смысл был в этих словах, хотя не вполне ею разгаданный. Они звали ее туда, куда не всем был открыт доступ...

— Ты чего радуешься? Радуется чего-то,— сказала Александра за завтраком, видя тайную улыбку Лизы, чуть скользившую возле губ.

— Стало быть, есть причины на то,— ответил Кондратий Прокофьевич, поглаживая бороду с обычной нечистой ухмылочкой.

Лиза ушла и заперлась в своей комнате. «Если позовут, не откроюсь. Ах, надоели вы мне, до смерти надоели!»

Но сегодня было любопытно на душе. Словно в предчувствии необыкновенного чего-то.

Она подошла к пышной, из двух перин, постели и из-под верхней перины достала книжку Добролюбова со статьей «Когда же придет настоящий день?». Лиза спрятала ее потому, что, во-первых, как сказал Владимир Ильич, Добролюбов был запрещен, хотя только для публичных библиотек, но все же... Во-вторых, потому, что тогдашний ее приход к Ульяновым был тайной. И книжка была тайной, страшившей и волновавшей ее. Лиза помнила, что сказал Владимир Ильич: «Вам откроется новое». Что это новое? Какое оно? В самом названии статьи заключалось что-то заманчивое и тревожащее. «Когда же придет настоящий день?»

Первые страницы разочаровали Лизу. Вернее сказать, почти ничего не поняла. Но Владимир Ильич сказал, нужно умственное напряжение. Она читала, долбила каждую фразу, стараясь вникнуть в скрытый для нее смысл. Ум оставался холодным, воодушевление гасло. Одно Лиза поняла, что Добролюбов настроен против чувствительных барышень. Почему? Слишком трудно для Лизы разъяснял

Добролюбов свое ироничное отношение к чувствительным барышням. Она не привыкла читать такие сложные книги.

Отложила. Подошла к окну. Окно ее комнаты выходило в переулок. Пыльный пустой переулок. Лиза скучно смотрела на пыльный переулок, на дощатый забор соседнего дома. Вздохнула. Тот мир, из которого к ней пришла эта непонятная книга, слишком высок, недоступен. Что ж, сдать? Зачем-то все-таки Владимир Ильич выбрал для нее именно эту статью. Она вернулась к книге и стала читать. Со скукой. Понимая, однако, что повинна в этой скуке она, Лиза, а не Добролюбов, которого Владимир Ильич назвал могучим талантом.

Лиза все-таки хотела добраться до сути, усердно читая, как когда-то усердно учила в институте уроки... Постепенно что-то забрезжило. Словно обрызнуло росой, мысль оживилась. Она со вниманием стала следить за рассказом Добролюбова о девушке, по имени Елена, из «Накануне» Тургенева. Начала понимать: она из того мира. Такой, наверное, была в девятнадцать лет политическая ссыльная Надежда Константиновна. Задумчиво-серьезная юность, жажда деятельности, добра для других...

Лиза жадно, поспешно читала.

Хотелось подумать, но она не могла остановиться. Нет, стоп. «...То презрение или, по крайней мере, то строгое равнодушие к ненужным излишествам богатой жизни...» Стоп, стоп. Ведь и Владимир Ильич говорил об этом. «Если бы было не поздно, я ответил бы так. Грустно, когда женщина ищет в замужестве не любовь и не дружбу, а устройство, житейский комфорт». Так он ответил. Он сказал: отвратительно. Так он сказал. Не надо думать об этом. Не буду думать. Не буду.

Вдруг она всхлипнула. Громко. Она чувствительная барышня,— странные, непонятные чувства нахлынули на нее. Она читала дальше. «Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше, но чего — она не знала, а если и знала, то не умела приняться за дело», — читала Лиза. Боже мой, боже, это о ней, о Лизе, сказал Добролюбов! Боже

мой, боже мой, вот зачем Владимир Ильич дал Лизе статью Добролюбова, чтобы подсказать: ты тоже хочешь «чего-то больше, чего-то выше»... Да! Но дальше. Елена хочет счастья и добра для людей, она не может быть спокойна, когда вокруг людские несчастья и горе. «Постойте, а я? А Татьяна Карловна? А Петр Афанасьевич? Что мне Татьяна Карловна! Что мне Петр Афанасьевич! Я, я, Лиза Самсонова, кто я, какая, куда я стремлюсь, где моя цель, сколько тысяч верст отделяет меня от Елены? От сестер Невзоровых? От Ульяновых?»

Слишком возбужденная, Лиза не могла дальше читать. Оставила книгу. Прошлась по комнате, сцепив пальцы. Стала к окну. Чей-то знакомый облик, показалось ей, мелькнул у забора. Все-таки потому ее так захватила Елена, что есть какая-то, пусть смутная, схожесть между Еленой и ею. Ведь есть? Скажите, ведь есть? «Томительное ожидание чего-то». И Лиза прожила свои девятнадцать лет, ожидая. Чего?

Она снова схватилась за книгу. Не во все вникая, что-то оставалось вне ее разума, но вся душа ее была перевернута. Она не могла оторваться от строк Добролюбова, когда он рассказывал ей, Лизе, какой бывает любовь. Когда находишь в любимом свой идеал. Любишь стремления его, ясность и силу души.

Лиза, Лиза, а ты? А твоя любовь, Лиза?.. Она отодвинула книгу. Не думать. Нельзя думать. Нет, она не может не думать. Кому сказать? С кем поделиться? Лиза, с кем ты поделишься? Она снова вспоминала разговор с Владимиром Ильичем. Потому так сильно и действует на нее Добролюбов, что она помнит, что сказал Владимир Ильич. Разве он не прямо сказал? Он прямо сказал: «Если ты честна, ищи выход». Лиза, ты честна?

Она ходила по комнате, сжимая щеки ладонями, сцепляла пальцы. Все перевернулось, рухнуло, рушилось. Она думала о Елене, ее трудной судьбе. О своей судьбе думала. Спрашивала себя: «А я? Я? Я? Чего-то выше, чего-то больше».

Вот чего она всегда ожидала. «Чего-то выше, чего-то больше». «Ну, Татьяна Карловна? Что скажете, Татьяна Карловна? Молчите, не хочу слушать вас».

Машинально Лиза очутилась снова возле окошка. Прислонилась к стеклу. Лоб горит. Мозг горит. Пыльный пустой переулочек. Что это? Она отшатнулась и, прячась за занавеску, потаенно глядела. На той стороне, у дощатого забора, стоял человек. С плоским, будто высеченным из бело-желтого камня лицом и бровями черными и узкими, как ласточкины крылья. Юлдашбай. Она растворила окно. Он увидел ее и закивал. Она приложила палец к губам. Тихо закрыла окно. На цыпочках (сердце бухало) подошла к зеркальному шкафу, схватила, что попало под руку, — газовый дымчатый шарф, подарок Петра Афанасьевича, и, накинув на плечи, вышла из комнаты. Не встретить бы Александру. Господи, спаси, не встретить бы! Сердце бухало. Она юркнула из двери в другую комнату, еще в другую — и на двор. Никого. Только дворник в подоткнутом холщовом фартуке колот дрова у сарая, звонко тюкая топором по березовым поленьям. Лохматый пес сипло гавкнул у будки, громыхнув железной цепью. Она перебежала через двор, подбирая подол кисейного платья, стараясь тише стучать каблуками, не оглядываясь, боясь — вдруг окликнут, Юлдашбай, умник, ушел от дома вперед по переулку, она его догнала. Странно, она чувствовала себя с ним свободно и просто, будто с детства знала.

— Зачем ты пришел? Опять хозяина выслеживаешь? — спросила она.

— Нет. Пришел за тобой.

— Но ведь я могла не посмотреть в окно.

— Стоял бы, ждал, пока помотришь.

Она оглядела его. В синей косоворотке, перетянутой кожаными ремнями, поджарый, мускулистый. Руки железные. Черные, с влажным блеском глаза.

— Что-то произошло у тебя, Юлдашбай?

— Угадала. Радость. Великая радость. Пришел к тебе

с радостью. Кому рассказать? Тебе. Я больше не грузчик, вот что у меня.

— Так плохо быть грузчиком?

— Плохо. Нынче есть работа, завтра нет. Как милостыня. Стой, дожидайся. Беззаконие. Что приказчик назначит, получай. Нынче даст, завтра нет. Откажешься — выгонят вон. Люди пьют от обиды. Не хочу! Настоящей жизни хочу.

Господи боже! И Юлдашбай о настоящей жизни говорит. Все куда-то рвутся. Идут.

— Поступил в железнодорожные мастерские. Теперь рабочий я, поняла? Иван Якутов, друг мой, товарищ, иптэш, устроил в мастерские. Рэхмэт, спасибо Ивану Якутову. Спасибо! Знаешь, что он для меня сделал? Великое дело сделал. Теперь я не один. Работу люблю, товарищей люблю. Пришел тебе сказать. А еще... — Он без умолку говорил, возбужденный и счастливый. Черные его глаза горели. — Слышала ты такие слова? — оглянувшись, нет ли поблизости прохожих, понизив голос, говорил он. — Пролетариям нечего терять, только цепи. А приобретут целый мир. Слышала такие слова? Такие поднимающие слова?

— Нет, — поддаваясь его счастливому возбуждению, сказала Лиза. — Нет, не слыхала. Юлдашбай, откуда ты узнал?

— Есть такая книжка. Люди дали, хорошие люди... Нет, не скажу. О чем книжка? Как переделывать мир. Долой все старое. Баев — к черту! Хозяев — к черту! Богатых — к черту! Не сердись, что ругаюсь...

— Ты не ругаешься.

— И жизнью будет владеть рабочий класс. Кто не работает, тот не ест. Такая книжка, что глаза открывает. У меня всегда от таких книг — будто счастье пришло. Силы прибавилось. Весело, не страшно — вот какая книга! Не могу сказать, кто дал. Хорошие люди дали.

— Догадываюсь, Юлдашбай. Точно знаю, кто дал тебе эту книжку.

— Молчи о них. Я тогда провожал тебя до калитки. Тс, молчи, Лиза-йянем...

— Что такое «йянем»?

— Душа моя, Лиза. Радость у меня. Тебе сказать захотел.

— Спасибо, Юлдашбай. Как по-башкирски «спасибо»?

— Рэхмэт.

— Рэхмэт, Юлдашбай. У меня тоже радость сегодня. Эти люди и мне открыли глаза. А такие слова ты слышал: «Стучи в барабан и не бойся»?

Они давно миновали переулок, свернули на другую улицу, вышли на Торговую площадь к Гостиным рядам, к самому центру, кружили по переулкам и улицам. Лиза рассказывала, что испытала. Подробно, старательно, чувствуя, что даже половины того не передает, что пережила. Слова подвертывались такие обыкновенные. Даже приблизительно не могла Лиза рассказать о том, что испытала и пережила сегодняшним утром. О том, как что-то сломалось в ней, рухнуло. А новое... Где оно, новое?

— Ты не знаешь, есть, есть,— поспешно заговорил Юлдашбай.— Есть, да не всем подходит.

— Наверное, мне не подходит.

— Как сама решишь. Я решил. Пролетарию нечего терять, кроме цепей... Тебе много терять?

— Не знаю.

Она шла, кутаясь в шарф, тихая и грустная. Юлдашбай видел: вот только что улыбалась, ямочки на щеках улыбались, вся была светлая. А то словно туча напозла, похмурила.

— Ты изменчивая вся,— сказал Юлдашбай.— Из дома богатого, а на душе забота. То счастливая, а то прибитая будто...

— Как ты сказал?

— Прибитая. Йянем Лиза, если плохо тебе, через тех людей кликни, те люди меня знают. Если случится беда.

— Чудак Юлдашбай, смешной чудак, несуразности какие-то говоришь. Беда? Откуда беда?

Между тем в то время, когда они так рассуждали, беспорядочно бродя по улицам, Петр Афанасьевич, с успехом закончив на сегодняшний день коммерческие дела, в спокойном и радужном расположении духа следовал к дому крестного папаша обедать, покачиваясь на мягком сиденье рессорной коляски, держа в руке сверток — коробочку с бриллиантовым кулоном, подарок невесте.

Настроение было у него превосходное; как обычно, он был наряжен, галстук цвета яичного желтка с золотыми отливами украшал на сей раз ярко-желтый жилет; здоровый аппетит веселил, еще более веселили мысли о близкой свадьбе с игрушечкой, куколкой в кисейном платье с оборочками. Как вдруг...

Он не поверил глазам. Откинулся на спинку сиденья. Пригрезилось ему кисейное платье с оборочками? Протер глаза. Впереди коляски по деревянному тротуару шла пара. Его Петр Афанасьевич не знал. Синяя косоворотка, широкие плечи, коротко стриженные волосы. Его Петр Афанасьевич не знал. Она... Не может быть.

— Поезжай тише, Гаврила.

«Ох не надо бы, чтобы кучер увидел». Но кучер уже послушался, натянул вожжи. Холеный гнедой рысак, тонконогий, даже в упряжи гордый, пошел тихо, коляска катилась почти вровень с ними, чуть отставая. Петр Афанасьевич не слышал их разговора, но видел, угадывал: разговор шел душевный, близкий. Они почти касались плечами, и за Лизой, как облако, летел надуваемый ветром дымчатый газовый шарф. Прислонившись к спинке, несколько секунд Петр Афанасьевич сидел, сжимая футлярчик с кулоном.

— Стой! — громовым голосом внезапно приказал он.

Те услышали. Он увидел, как, застигнутая врасплох, резко обернулась Лиза, серая бледность разлилась у нее по лицу, упала рука, придерживающая шарф возле горла,

в ужасе застыли глаза, теряя яркую свою голубизну, выцветая.

— Извольте сесть в коляску, Елизавета Юрьевна,— жестко, чуть хриловато сказал Петр Афанасьевич.

И она, не простившись, не обернувшись, не взглянув на того человека, медленно, словно под гипнозом, приблизилась. Он подал ей руку. Она поднялась в коляску.

— Пошел!— приказал Петр Афанасьевич.

«Что теперь мне будет?!»— было первой Лизиной мыслью. Она не подозревала всей глубины несвободы, подчиненности и страха, какие в ней жили. Не подозревала, что способна испытать такой ужас перед гневом Петра Афанасьевича. Потом всю ее обожгло стыдом и отчаянием. Даже не оглянулась на Юлдашбая! Даже не оглянулась. После сегодняшнего утра, после всего, что пережито над книгой...

Петр Афанасьевич молчал. Лиза искоса видела его полную тяжелую щеку, клин надушенной, хорошо расчесанной, ухоженной бороды, и постепенно возмущение поднималось в ней. «В чем я виновата?»

Возмущение росло, kloкотало в ней. «В чем я виновата?» «Виновата, виновата,— отвечал голос Татьяны Карловны,— барышня, невеста накануне венца ходит по улицам с чужим молодым человеком,— разве прилично?»

— Извольте пройти в дом, Елизавета Юрьевна,— распорядился Петр Афанасьевич, сходя с коляски первым и подавая ей руку.— Извольте пройти в свою комнату.

Она шла, чувствуя за спиной слегка хриплое и дурное от табака дыхание, слыша мерные тяжелые хозяйские шаги. Она ссутулила спину. Снова ее сковывал страх.

— Кто этот молодой человек?— спросил Петр Афанасьевич, входя в Лизину комнату, повернув в двери ключ, став спиной к двери.

Она молча, беззащитно на него смотрела.

— Кто этот молодой человек?

Если бы на Лизином месте была Елена из «Накануне» Тургенева, о которой с таким восторгом она читала

в статье Добролюбова, восхищаясь ее жаждой добра, ее правдой, что ответила бы Елена? Если бы на Лизином месте была Надежда Константиновна, что ответила бы политическая ссыльная Надежда Константиновна?

Лиза ответила:

— Не знаю.

— Не знаете, с кем вы гуляли? К кому выбежали на свидание за три дня до венца?

— Не знаю, не знаю.

Оказывается, как легко ей вралось. Непринужденно и просто. Елена на ее месте или Надежда Константиновна ответили бы:

«Не скажу».

Лиза отвечала:

«Не знаю».

— Честное слово, не знаю,— глядя на жениха небесно-голубыми глазами, прижав к груди руки, уверяла она.— Вышла прогуляться. Подходит человек. Заговорил. Просто так, ни о чем. Вы видели, я даже ему не кивнула. Обрадовалась, что вы появились.

Лиза сочиняла все это, а в голове проносилось: «Стыд, ложь. Пусть, все равно. Только бы не выдать имя. Схватят, нашлют жандармских ищеек, погубят».

— Не знаю, не знаю. Вышла погулять...

— Вот что-с,— бледнея, оттягивая душный галстук на шее, тихо произнес Петр Афанасьевич,— до венца извольте-с сидеть дома. Выходить одной на прогулку не извольте-с, про-о-шу. Про-о-шу,— хрипло повторил он и вышел.

Лиза опустила на стул, закрыла ладонями лицо. Когда открыла, Александра стояла у двери. Любопытство, испуг, жалость чередовались на ее пятнистом от веснушек лице.

— Чем ты его прогневила? Дверью-то как махнул, аж дом затрясся. Что ты сотворила-то, как разошелся? Задабривать теперь тебе его надо! А?

В беленькой, как украинская хата, кухоньке с крошечной, без пятнышка печкой, посудной полочкой, задернутой полотняной занавеской,— все махонькое, словно бы игрушечное,— Елизавета Васильевна решала задачу, как поаккуратнее уложить для Владимира Ильича подорожники: собственноручно состряпанные пирожки, котлеты и прочую снедь, без которой немислимо отпустить зятя в дорогу. Кухонные заботы не очень по душе Елизавете Васильевне, да ничего не попишешь: надо. А для Владимира Ильича даже и вовсе охота Елизавете Васильевне похлопотать хотя бы и на кухне. Она укладывала пирожки в дорожную сумку и грустила, что снова зять уезжает. В Самару, в Подольск к родным, а там в неизвестный путь, за границу. И их уфимский дом опустеет. Люди, товарищи по-прежнему каждый день будут прибегать к Наде по разным партийным делам, но дом опустеет. Как полон он жизни, новых мыслей, неожиданных замыслов, ярких бесед, споров и движения, когда здесь Владимир Ильич! И его говора, неподражаемого ульяновского говора, не будет слышно. И его искрящихся глаз, никогда не тусклых, никогда не скучных, не будет.

«Да что это я расхныкалась, авось не на век расстаемся!» — мысленно прикрикнула на себя Елизавета Васильевна. А какой насмешник Владимир Ильич! Наверняка жди уморительной шуточки, как увидит ее подорожники. Какая это будет шуточка, Елизавета Васильевна вообразить не могла, но в предвкушении рассмеялась. А потом опять загрустила. А потом рассердилась, что с утра в комнаты набились провожающие и люди понять не хотят, что последние часочки остались до поезда, хочется же Наде с Владимиром Ильичем побыть напоследок вдвоем. Разговоры, разговоры. Где там! У них и в мыслях нет уходить.

Действительно, две маленькие комнатки Надежды

Константиновны, вернее, одна, разделенная аркой, была полна провожающих, и разговоры не умолкали, никто не глядел на часы.

Что касается «Искры» и дальнейшей работы уфимской социал-демократической группы, все много раз досконально было обсуждено, каждый знал, что следовало ему знать, и сейчас пора бы и расходиться, но уходить не хотелось.

Представлял ли Владимир Ильич всю силу своего обаяния, своего дара увлекать и привлекать к себе людей? Свою власть внушать беззаветную веру в революционную, поставленную им всегда конкретную цель? Свою способность вызывать в себе любовь людей?

Едва ли он думал об этом. Он сам слишком предан был делу. Сам любил людей. Сейчас, видя собравшихся в тесной комнатухе уфимцев, Владимир Ильич с радостью думал, что все они надежные искровцы, что на уфимскую группу можно рассчитывать, а ведь совсем недавно никого из них он не знал. Не знал вот этого старого народника, жизнерадостного и крепкого старика, известного уфимского врача-психиатра Аптекмана, который был близок когда-то к Плеханову, называл Плеханова Жоржем, в ссылке был с Короленко, лечил Глеба Успенского и сейчас, сидя на стуле посреди комнаты, в чесучовом костюме, навесив белую панаму на палку и опираясь на нее, язвительно рассказывал о последних городских событиях.

— Решили наши отцы города устроить для рабочих праздничный концерт с песнопениями,— похохатывал доктор.— Пока пелись духовные песни, публика мало-мальски терпела. А как чтение про Палестину началось, не выдержали, валом повалили из зала. Так забота промышленников о духовном просвещении рабочего класса ничем и не кончилась.

— Ничего себе умники, духовными песнями да Палестиной вздумали рабочих кормить!— рассмеялся Владимир Ильич.

Аптекман пришел попроситься с Владимиром Ильичем, наказывал кланяться за границей Жоржу Плеханову. Он говорил о Жорже Плеханове с уважением, но в то же время и с легкой насмешливостью.

— Небожитель. К собственной персоне столь высокого преисполнен почтения, что невольно на цыпочках вокруг него начинаешь ходить.

— Ну, ну, Плеханов действительно крупный человек и талантище,—возразил Владимир Ильич.

— Такой крупный, что, того и гляди, придавит. Впрочем, молчу. За границей поближе приглядитесь, сами увидите.

Аптекман распрощался и, постукивая палкой, ушел. Остальные не уходили. Сейчас в последние часы все особенно поняли, как привязались к Владимиру Ильичу, как не хочется, чтобы он уезжал. Но разговоры, как всегда при прощании, когда все важное уже известно и высказано, велись разбросанные — о том о сем. Заговорили о литературе. Пискунов, патриот Нижнего Новгорода, говорил о своем знаменитом земляке Максиме Горьком. Никто с ним не спорил, но Пискунову казалось, люди не вполне понимают, как велик и самобытен этот новый талант! Как необычайно и сильно выражает самосознание пробуждающегося класса наших дней! Четверть века назад Горького быть не могло. Гений приходит именно теперь, как выразитель жизнеутверждающей мощи сегодняшнего великого русского рабочего класса.

— Не правда ли? Не так ли? — обращался Пискунов за поддержкой к рабочему Ивану Якутову. Все, что Пискунов говорил о Горьком, было верно, Якутов скромно поддакивал:

— Ничего, хороший писатель, подходящий писатель.

У Пискунова были две слабости. Во-первых, неистовый его патриотизм нижегородца. Он любил Нижний, тщеславился им, знал всю его историю и все его сегодняшние события, улицы, закоулки, красоты и древности, всех более или менее известных людей. «Нижний —

сосед Москве ближний». Второй его гордостью было знакомство с писателем Горьким. Тут уже никто не мог идти с Пискуновым в спор и ни в какие сравнения. Горького читали и читали все. А знал, встречал его, разговаривал с ним один Пискунов. Было чем погордиться.

— Господа! — заговорил, прерывая Пискунова, Сви-дерский. — Разве не заметили вы, что русская литература вообще переживает подъем, и подъем, связанный именно с пробуждением рабочего класса!

Все знали, что Сви-дерский трех фраз не может сказать без цитаты из Маркса, и цитаты посыпались. Разумеется, в подтверждение своего вывода Сви-дерский заявил, что «не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание», и всячески принялся развивать эту мысль. Затем красноречиво и долго доказывал, что «рука об руку с разложением старых условий жизни идет и разложение старых идей», опять же цитируя Маркса. Затем... Но вмешался Цюрупа, высокий блондин, красивый, с прямым и настойчивым взглядом.

— Вот мы, социологи, марксисты, политики, — начал Цюрупа, — изучаем процессы общественного развития, историю классов, взаимоотношения классов, а приходит писатель... приходит Чехов, тихий, в пенсне, возможно, и Маркса не читывал, и пишет «Человек в футляре». И что же? Увиден и создан общественный тип. Таков удел гения.

— Что ты хочешь сказать? Гениям не обязательно изучать Карла Маркса? — загорячился Сви-дерский.

— Помилуй, вовсе не то... Хочу сказать о зрячести гения.

Разговор решительно принял литературное направление. Владимир Ильич поглядывал на того и другого из споривших, любясь задором и темпераментом своих новых товарищей. Но взгляд перешел на сидевшую, как обычно, не в центре, а сбоку, в сторонке, молчаливую Надю, притихшую, должно быть не слышавшую, что вокруг говорится, и сердце больно стеснилось. Уезжать

всегда лучше и легче, чем оставаться. Он уезжает, она остается. Владимир Ильич сделал полшага, еле заметно прикоснулся к ее волосам. Но все заметили. Вдруг все поняли, что совсем немного времени осталось до поезда, что давно пора уходить, что просто бессовестно они засились. Все разом поднялись с места, начались прощания, улыбки, слова, все толпились вокруг Владимира Ильича и опять не могли разойтись.

Владимир Ильич обнимал товарищей, каждому что-то на прощанье сказал.

— Рад, что мы с вами прочно стали единомышленниками, — Пискунову.

У Пискунова нервно задергалось веко, заходил на шее кадык.

— Да. Прочно. И я рад.

Якутову Владимир Ильич сказал:

— Паки и паки прошу посылать рабочие корреспонденции в «Искру»! И Юлдашбая не оставляйте, не отпускайте его от нас, — просил Владимир Ильич Якутова.

Инне Кадомцевой:

— Передайте кадету, что революционные генералы вот как нам будут нужны!

И Цюрупе и Свидерскому — всем нашел сказать что-то доброе, именно для него предназначенное. И настойчиво:

— Товарищи, помните «Искру».

Товарищи толпились вокруг, никак не могли окончательно распрощаться, пока не вошла Елизавета Васильевна.

— Не бойся гостя сидячего, бойся гостя стоячего, — довольно-таки прямо заявила Елизавета Васильевна и без церемоний выпроводила гостей.

Взглянула на дочь. Она сидела на стуле, молчаливая и тихая. Владимир Ильич стоял возле.

— Батюшки мои, подорожники вам надо собрать, — сказала Елизавета Васильевна и скорей ушла в кухню, где давно приготовленные в аккуратном пакете дожида-

лись Владимира Ильича подорожники. Елизавета Васильевна взялась помыть чашки и расколола одну. Дело не делалось. Все валилось из рук. Она закурила папиросу и вышла на балкон. «Трудное счастье твое, Надя. Все-то разлуки. То в тюрьму забрали — разлука. После Шушенского разлука. И сейчас. Все разлуки да жандармские слежки. А ведь не променяла бы ни на что свое трудное счастье? То-то и есть».

Надежда Константиновна после ухода гостей будто очнулась. Лихорадочная деятельность ее охватила.

— Володя, давай напоследок проверим еще пожитки твои. Деньги — раз. Удостоверься, зашиты надежно в кармашке; пуговицы у пиджака на месте, петли на месте, — приговаривала она, проверяя пиджак. — Записная книжка с адресами. Шифр замечательный, в случае неудачи ни за что не разберутся, такой шифр заковыристый. А чемодан? Давай-ка проверим, все ли в порядке, не забыто ли что?

Она громко хлопотала, пряча от Владимира Ильича глаза, из которых не уходила тревога. Тот петербургский арест все вспоминался ей, не давал покоя. Пока не доберется до заграницы Володя, вся душа изноет. Каждую минуту могут схватить: в Самару заявится, а там шпик стережет.

Но, понятно, от Владимира Ильича она свои опасенья скрывала. Только, пожалуй, была шумнее обычного да все отводила глаза.

— Надюша, посидим тихо, — сказал Владимир Ильич, беря ее за руку.

— Посидим.

— Не думай ты о том, — сказал Владимир Ильич.

Оказывается, он прекрасно догадывался о ее тревогах и страхах.

— Не буду думать о том, — поспешно согласилась Надежда Константиновна. — Буду ждать твоих писем оттуда. Только, пожалуйста, не коротко пиши, закрутишься там с делами, но все равно пиши длинные письма, изволь

писать длинные-предлинные письма. Немножко скучай обо мне.

— Скучать-то буду порядочно,— ответил Владимир Ильич.

Встал. В задумчивости прошелся по комнате.

— Еще две-три встречи здесь в России и...

И Надежда Константиновна вновь поняла, с какой упорной верностью он предан своему великому замыслу, как полна душа его могучих идей, как тверда и смела его душа.

— Знай же, Володя,— сказала она,— все связи по «Искре» я буду держать в руках, буду с тобой связываться, буду добывать и высылать тебе корреспонденции, буду распространять здесь «Искру»...

— Знаю, Надюша,— ответил Владимир Ильич.

Елизавета Васильевна стояла на балкончике, когда вдали зацокало по мостовой и вскоре у калитки сада остановился извозчик. Извозчика прислал Цюрупа. Время на вокзал.

— Голубчики мои, время на вокзал собираться! — крикнула Елизавета Васильевна.

Она старалась соблюдать хладнокровный вид, будто ничего не происходит особенного. Зять уезжает? Ну и что? Мало ли какие у людей бывают дела и надобности. Она увидела светлое, какое-то решительное выражение лица своей дочери. «Не поймешь их,— подумала мать,— другая бы слезы при расставании лила...»

Зятю она сказала:

— Владимир Ильич, вы теперь на холостяцкое положение переходите, так в случае не забудьте — иголки с нитками в уголке чемодана засунуты.

— Премного благодарен, Елизавета Васильевна,— раскланялся Владимир Ильич. И серьезно: — Берегите себя. И Надю мне берегите, пожалуйста... А славные нам перепали уфимские денечки, Надюша! Великолепно от-

дохнул. Пора и честь знать, за работу, милостивый государь, за работу!

Он подхватил чемодан. Елизавета Васильевна к извозчику провожать не пошла. Стояла на балкончике. Вот от калитки Владимир Ильич обернулся, махнул шляпой. Сели в пролетку. Извозчик тронул. Уехали.

Издаലെка слышно по мостовой цоканье подков. Тише. Дальше. Уехали.

Воспоминание о том, как она испугалась тогда на улице внезапного оклика Петра Афанасьевича, как ушла от Юлдашбая, не оглянувшись, бросила его — ноги отяжелели от страха, словно по пуду, как жалко она испугалась, — воспоминание об этом мучало Лизу. Трусливая, лживая! И все это после статьи Добролюбова, после того, как она собиралась пойти к Владимиру Ильичу и сказать: «Спасибо. Вы мне открыли глаза. Я тоже хочу, чтобы пришел настоящий день. Только скажите мне, какой он, как к нему приблизиться».

Разве теперь может она идти, когда так трусливо и стыдно сбежала от Юлдашбая? «Стучи в барабан и не бойся». Не для нее эти слова, эта смелость, этот порыв. Она нищая — вот кто она.

— Да стойте же, барышня, что вы беспокойная нынче какая, самый важный час наступает, лиф требуется по фигуре уладить, четверть часика, ради господа бога, постойте, не двигайтесь, — упрашивала и ворчала портниха, накалывая на Лизе булавками подвенечное шуршащее платье со шлейфом. Лиза стояла перед зеркалом в зале, с голыми плечами, уронив вдоль тела голые тонкие руки. Как подурнела! Из зеркала уныло глядит худое лицо, бледное, с синевой под глазами, с опущенным ртом. Все, даже хозяйка, Лизина посаженная мать, замечали: не на пользу пришлись невесте уфимские калачи и сдобные булки, — приехала тощей, а теперь и вовсе как прут.

— Верно говорят, не родись красивой, а родись счаст-

ливой, — рассевшись в кресле, толковала посаженная мать. — Взять хоть бы тебя, Лизавета. Какая уж такая твоя красота, где она? С лица спала — ничего и нет, не осталось. Сухая да квелая, слова ласкового не вытянешь из нее, не улыбнется, в глазах хмурость, а худа!.. Батюшки, глядеть не на что, а ведь вот полюбил! Добро бы, приданое завидное было. Так ведь нет, кому сказать, не поверят: без приданого берет, как есть без приданого, с двумя платышками вывез себе невесту из Нижнего города, изо всех выбрал краю. Я не корю, наше дело сторона, крестник поклонился, чтобы свадьбу сыграть, мы не против, отчего не уважить, я просто к слову, что, мол, привалило бесприданнице счастье, невест богатых сколько хочешь, а он, на тебе, выбрал! Вот что любовь-то делает.

— Любовь, она беспощадная, — сквозь булавки во рту процедила портниха.

— А я, Лизавета, хоть ты губы дуешь на нас ни за что ни про что, а я тебе совет дам, как дочери. Ты перед мужем аршин-то проглотив не ходи, ты пониже перед ним, поулыбчивей, а то пора пройдет — заскучает муженек с такой царевной-несмеяной, недотрогой. Тогда хватишься.

— Завлекать надо, — сказала портниха. — Да стойте, барышня, грудь у вас сильно волнуется, лиф не заколешь никак. Ах! — вскрикнула она, увидя вошедшего Петра Афанасьевича.

Лиза увидела Петра Афанасьевича в зеркало. Он вошел и остановился у двери и глядел на нее, полураздетую, каким-то незнакомым взглядом, оценивающим и тяжелым. Инстинктивно Лиза обхватила руками голые плечи.

— Уйдите, — глядя на него в зеркало, сказала она. Он стоял. Она обернулась и, не помня себя, топнула ногой: — Разве вы не видите, я раздета? Уйдите!

Он постоял секунды две, покачиваясь с носка на каблук, уступчиво усмехнулся и вышел. Лиза дрожала, у нее прыгали губы, ноги опять ослабели, противно и жалко.

— И-и, девушка,— поправляя и брэнча на запястьях браслетами, сказала посаженная мать,— он тебя бережет, другой попользовался бы в свое удовольствие,— наш-то вон какой с тобой обходительный. Чем ты его купила?

— Не я его, он меня покупает! — иступленно крикнула Лиза.

И заломила руки, закинула голову. Но опомнилась. Показывать им свое отчаяние? Им показывать? Нет!

Продолжая играть золотыми браслетами на толстых запястьях, посаженная мать сказала:

— А ты покрикивать-то погоди, сначала окрутить под венцом надо, дурочка, тогда уж характер свой и выкажывай. Да только с нашим много не накапризничаешь, не зря Кондратию Прокофьевичу, папаше крестному, племянник родной. Наш-то живо уймет.

— Стойте, барышня, горе мне с вами — три дня до свадьбы осталось, а у нас с подвенечным шитья да шитья.

Разбитая, прибрела Лиза к себе в комнату, когда ловкие пальцы портнихи кончили общупывать ее, застучала швейная машина и можно было не слушать больше наставлений посаженной матери. Уйти, запереться, скрыться от них. С некоторых пор у нее появилась привычка, войдя к себе, прислониться к стене лбом и постоять так. Глупая привычка. Как будто, если ты уперлась в стену лбом, что-то тебя озарит. «Не написать ли Татьяне Карловне?» — подумала Лиза. Зачем? Разве она поймет, что сейчас происходит в Лизе? Лиза сама не понимает. Обрывки мыслей горячечно бродят в голове, сердце томится, вся душа ноет и мечется. «Стучи в барабан и не бойся». А Лизе хочется крикнуть: «Спасите!» Она боится. Крик стоит в горле, как воткнутый кол, душит и давит. Всегда она была робка, робка. Всего боялась с детства. Отца с бычьими, налитыми кровью глазами, его пьяных речей, проклятий матери, институтских учителей, сухих и казенных, дортуара с рядами одинаковых железных кроватей. Всяких изменений боялась. Все ожидала чего-то дур-

ного, нехорошего. Татьяна Карловна сказала: «Тебе нужен муж, такой сильный и властный, чтобы всецело управлял тобою и твоей жизнью».

У нее не было подруг. Те щебечущие барышни в пелеринках, потупляющие глазки, полные секретов и сердечных тайн,— разве подруги? Неужели сестры Невзоровы вышли из нашего Мариинского института, где низкий и мрачный вестибюль, холодные классы и все пропитано казенным духом?.. А Елизавета Васильевна?.. Значит, по-разному кончают институты? Если бы у Лизы был более смелый характер! Если бы тот мир, в который случайно она заглянула, был чуточку ближе!

Она взяла Добролюбова. Книга Добролюбова — единственное, что связывало ее с тем миром. Мостик через пропасть. Разве когда-нибудь у Лизы хватит решимости перейти через пропасть? Она взяла Добролюбова и ненасытно и горестно принялась читать статью с середины, с той страницы, где начинался рассказ о Елене. Но скоро отложила. Хотелось подумать. Мысль настойчиво возвращалась к Владимиру Ильичу. Что он хотел разбудить в ней? Какой замысел был у него?

Лизе очень помнился Владимир Ильич на пароходе, оживленный, полный внутренней жизни, ласковый и дружный с матерью и сестрой. Лиза тогда уже догадалась, что они из иного мира.

Или Лиза помнила сцену в Казани, когда приказчик грозился и топал на грузчиков, а они молчаливо стояли на своем, как стена, и Лиза по лицу Владимира Ильича догадалась, что он сочувствует грузчикам, их борьбе. Одна фраза Владимира Ильича особенно врезалась в память: «Надо сохранять в себе чувство достоинства. Воспитывать в себе чувство достоинства». Что он хотел этим сказать? То и хотел, что сказал! Что подло и гадко себя продавать. Вот что он сказал, и ты все поняла. Но разве я не люблю Петра Афанасьевича? Разве...

В дверь постучали. Лиза не отозвалась. Еще постучали. Стук. Три раза. Требовательно, коротко, резко.

— Я вам заявляю, Елизавета Юрьевна, — переступив порог, сказал Петр Афанасьевич, — я вам то заявляю, что криков не люблю, а тем паче при людях. Так и знайте на будущее время. А еще в институте учились! Вас в институте учили, чтобы на мужа кричать?

— Вы мне не муж...

— Цыпочка моя, да ведь скоро...

Он к ней шагнул и с тем появившимся в последнее время взглядом, который страшил Лизу, грубо обнял ее. Она в ужасе уперлась в его грудь кулаками, вырываясь, откидывая голову, чтобы не дать ему губы.

— Не смейте, не смейте!

Несколько секунд они боролись. Он мог бы ее смять, изломать своими руками с волосатыми пальцами. Но отпустил. Поправил галстук, всегда новый, кричаще цветной, прогладил на ту и другую стороны бороду, все еще тяжело дыша, но понемногу успокаиваясь.

— Ладно — не трону. Невеста. Невеста промышленника Петра Афанасьевича чистой должна быть, как ландыш... Дворянство ваше люблю. Нищее, а дворянство. И вот эту... белизну вашу. Беленькая. Пугливая. А я и люблю, что пугливая, дикарочка ты моя нецелованная...

Он еще поправил галстук, повертел шей в тугом воротничке. И другим тоном, хозяйским и будничным:

— Что за книжка?

Лиза схватила Добролюбова, спрятала за спину.

— Читаю.

— Читайте на доброе здоровье, развлекайтесь. Хозяйство вам не вести, найдем экономку. Татьяну Карловну вашу управлять домом поставим, лакеев да горничных нагоним, кучер будет, карета, ложу в театре на зиму снимем, шейку вашу бриллиантами и жемчугами увешаем, я из вас королеву сделаю, пусть глядят... Что за книжка?

— Вам безразлично.

Он нахмурил лоб, глаза упрятались в щелки, стали крохотными, как у ежа. Он сделал к ней шаг.

— Как это так — безразлично? Показывайте.

— Нет,— сказала она, пятась от него.

Ей было страшно. Грудь ломило, бешено стучало в висках. Но что-то поднималось внутри, споря со страхом. «Стучи в барабан и не бойся».

— Знайте, у меня есть свои интересы,— сказала она, все пятась от него.

— Что-о? — удивился он, и Лиза видела: от души, натурально.— Свои интересы? Интерес ваш один, чтобы мужу нравиться больше. В том всего существования вашего смысл. Вы-то должны понимать, что полюбил я вас. Да что-то радости в лице у вас не вижу. А? Что у вас на душе? А? Ну ладно, пока отдыхайте. Вечерком прогуляемся. Три денечка девичьей вашей жизни осталось, дика-рочка...

Он повел по ней взглядом, какая-то тревога была в его беспокойно бегающем взгляде,— и оставил ее, не с маху притворив за собой дверь.

Она легла на кровать, уткнулась в подушку, подтянула ноги к подбородку и долго-долго лежала в этой неудобной позе, не двигаясь. Лицо ее, казалось, еще похудело, когда она поднялась. Еще темнее синели подглазья, небесно-голубые глаза глядели тускло, все в ней увяло и сникло, и не похожа была она сейчас на картинку из журнала мод или на фарфоровую куколку.

Проводив Владимира Ильича, Надежда Константиновна возвращалась домой. Долго шла пешком с вокзала, одна. За пять минут до отхода поезда приехал Цюрупа. Проводили, а домой она пошла одна. Обязательно надо было сейчас остаться одной! Как ни основательны были доводы разума, что дело требует, что Владимир Ильич рвется к делу, что чем скорее попадет за границу, тем лучше для «Искры», для партии, для него самого, тем безопаснее, что не вечность же остается жить ей в Уфе,— как ни убедительны были все эти доводы, сердце говори-

ло другое. И стыдливой, безумно застенчивой, сдержанной Надежде Константиновне не хотелось, чтобы люди, даже Ольга Ивановна Чачина, с которой она дружила, даже Инна Кадомцева или близкий товарищ Цюрупа видели ее душевное состояние. Походит по улицам до полной усталости, перегорит, поутихнет на сердце тоска, тогда вернется домой. Наверное, мама раскладывает пасьянс, хитря сама с собой, стараясь, чтобы карты легли удачно, предсказывая счастливый путь и исполнение желаний. А завтра вечером кружок у Ивана Якутова. И Юлдашбай будет. Юлдашбай с каждым днем вырастал в ее глазах. Как страстно и умно он прочитал «Коммунистический Манифест»! Способный парень.

Надежда Константиновна улыбнулась, вспомнив, как они пришли с Якутовым на вокзал, прибежали из мастерских на полчаса, в рабочих засаленных куртках, издали, не приближаясь к вагону, поглядеть на Владимира Ильича. Надежда Константиновна стояла с ним у подножки, заметила их в толпе, легонько подтолкнула Владимира Ильича: «Смотри-ка!» И он заметил. Глазами переговорились. «До свидания, товарищи!» — «До свидания, Владимир Ильич, никогда не забудем!» Он оставил после себя разбуженную мысль, желание действовать, программу деятельности, мечту — всех здесь расшевелил, всколыхнул. Надежда Константиновна медленно шла, вспоминая о том, как он был здесь, в Уфе, две с лишним недели.

Вечер плотнее окутывал город. На Центральной улице фонарщики зажгли фонари. Засветилась в небе неяркая сине-зеленая звездочка, тихо мерцала. Громадное облако встало на западе лиловой горой. Туда, за эту лиловую гору, уходит поезд, уезжает Владимир Ильич...

Она подошла к дому, когда совсем уже стемнело, и остановилась на минуту у калитки, чтобы передохнуть, окончательно взять себя в руки и, поднявшись по лестнице, отсчитав двадцать пять крутых ступенек, бодро сказать маме: «Мама, чайку, может, нам выпить с тобой?»

И потом рассказать все подробно, как были на вокзале, о чем говорили, какой был Владимир Ильич, как тронулся поезд и он кричал с подножки: «До свидания!», а она шла за вагоном, все ускоряя шаг, скорее, скорее, почти бегом и, наконец, отстала.

— Надежда Константиновна! — окликнули из темноты.

От неожиданности она не сразу узнала Лизу.

— Где Владимир Ильич? — спросила Лиза.

— Уехал.

— Как! — воскликнула Лиза. — Уехал! Как — уехал? Как же теперь быть? — потерянно бормотала она.

Надежда Константиновна промолчала и медленно пошла к дому. Лиза следовала за ней.

— Мне непременно надо было его увидеть, непременно! — слышала Надежда Константиновна. — Не могу забыть, что он прошлый раз говорил. Думаю, думаю... И Добролюбов добавился. Совсем я заплуталась, хотела спросить, заплуталась я...

Надежда Константиновна обернулась к Лизе и в вечерней темноте, сгущенной сумраком сада, долго всматривалась в ее осунувшееся лицо, на котором беспокойно сдвинулись высокие брови, сухим блеском блестели глаза.

— Я от них ушла, — сказала Лиза. Что-то в ней обвалилось. Она почувствовала, как ослабли ноги. Ноги у нее подгибались. — Я ушла, — повторила Лиза.

Она не думала этого, когда полчаса назад выходила из дому. Даже шарф не накинула на волосы. Вышла из дому, не зная, куда и зачем. Нет, она знала. Именно Владимиру Ильичу она шла сказать: хочу быть честной. «Чего-то выше, чего-то больше!» — кричало в душе, требовало, звало.

— Я от них ушла.

У нее сами сказались эти слова, и вдруг стало легко, бесстрашно, свободно, словно сняли с плеч невероятную тяжесть. Она вздохнула глубоко и протяжно.

А Надежда Константиновна вся заспешила, заволновалась, взяла Лизу за руку, повела за собой.

— Идемте, идемте к нам, Лиза, скорее. Как же вы ушли? Так, в одном платье? Вырвались от них, убежали. Что будем делать? Придумаем что-нибудь. У меня здесь много товарищей. Завтра переправим вас к кому-нибудь, кто не под надзором... Помогут. Уфимцы все народ порядочный. Товарищи у меня все такие хорошие.

Они поднимались узенькой лестницей, и Надежда Константиновна все оборачивалась, говорила и убеждала Лизу:

— Вы не пугайтесь, вы жизни не пугайтесь. Я так и думала, что вы от них уйдете.

Она не думала так, но сейчас ей казалось, что думала. Она слышала позади себя на лестнице шаги Лизы и все настойчивее повторяла:

— Я так и думала...

Елизавета Васильевна сидела при свете семилинейной лампочки в опустелой комнате, читала, куря папиросу. У нее скребло на сердце, уж очень сразу затихло в доме, и она обрадовалась возвращению Нади и Лизиному приходу. Воспрянула духом, пошла вздуть самовар и, узнав, что Лиза оставила жениха, не удержалась, пошутила, как ни серьезна была ситуация:

— Вот те раз! Все равно что Подколесин у Гоголя, помните?

Лиза не помнила, институтская программа воздерживалась от ознакомления барышень с комедией Гоголя.

— Ну, садитесь, садитесь к столу,— звала Надежда Константиновна.— А завтра решим, как нам быть. Только не бойтесь.

Лиза пригладила волосы, села. Огляделась. Увидела простенькую чистую комнатку, столик с книгами возле кровати, железные часы-ходики с желтыми гириями на стене, увидела выражение доброты и решимости на милом лице Надежды Константиновны и поняла: мостик перейден, пропасть позади.



Надежда Константиновна обернулась к Лизе и долго всматривалась в ее осунувшееся лицо.

«Мы сидим все как в воду опущенные, безучастно со всем соглашаясь и не будучи еще в состоянии переварить происшедшее. Мы чувствуем, что оказались в дураках, что наши замечания становятся все более робкими, что Г. В. «отодвигает» их (не опровергает, а отодвигает) все легче и все небрежнее, что «новая система» *de facto*¹ всецело равняется полнейшему господству Г. В. и что Г. В., отлично понимая это, не стесняется господствовать вовсю и не очень-то церемонится с нами. Мы сознавали, что одурачены окончательно и разбиты наголову, но еще не реализовали себе вполне своего положения. Зато, как только мы остались одни, как только мы сошли с парохода и пошли к себе на дачу,— нас обоих сразу прорвало, и мы разразились взбешенными и озлобленнейшими тирадами против Г. В.

...Нас точно прорвало, тяжелая атмосфера разразилась грозой. Мы ходили до позднего вечера из конца в конец нашей деревеньки, ночь была довольно темная, кругом ходили грозы и блистали молнии. Мы ходили и возмущались.

...Мою «влюбленность» в Плеханова тоже как рукой сняло, и мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, *vénération*, ни перед кем я не держал себя с таким «смирением» — и никогда не испытывал такого грубого «пинка». А на деле вышло именно так, что мы получили пинок: нас припугнули, как детей...

Мы сознали теперь совершенно ясно, что утреннее заявление Плеханова об отказе его от соредакторства было просто ловушкой, рассчитанным шахматным ходом...

Ну, а раз человек, с которым мы хотим вести близкое

¹ Фактически, на деле (лат).

общее дело, становясь в интимнейшие с ним отношения, раз такой человек пускает в ход по отношению к товарищам шахматный ход,— тут уже нечего сомневаться в том, что это человек нехороший, именно нехороший, что в нем сильны мотивы личного, мелкого самолюбия и тщеславия, что он — человек неискренний. Это открытие — это было для нас настоящим открытием! — поразило нас как громом потому, что мы оба были до этого момента влюблены в Плеханова... Возмущение наше было бесконечно велико: идеал был разбит...»

Так писал Владимир Ильич. Письмо назначалось в Уфу, но отправит он его или оставит дожидаться приезда Надежды Константиновны сюда, за границу, еще не известно. Он писал, воображая ее родное лицо. Если бы Надежда Константиновна была здесь, было бы легче сносить это обрушившееся на него разочарование. Он приехал в Женеву. Плеханов жил в Женеве.

Вместе со знакомым по России Потресовым Владимир Ильич поселился в деревеньке Везене, недалеко от Женевы. Ездили в Женеву встречаться с Плехановым, Аксельродом и Верой Засулич, семнадцать лет назад основавшими здесь, за границей, марксистскую русскую группу «Освобождение труда». Владимир Ильич мечтал выпускать журнал «Зарю» и газету «Искру» в тесной дружбе с группой «Освобождение труда». Был уверен: в Женеве ждет понимание и крепкая помощь. Но журналисты и социал-демократы Аксельрод и даже Вера Засулич, когда-то бесстрашно стрелявшая в петербургского градоначальника Трепова, тут держались несмело, ни на что решительно не шли без Плеханова. А Плеханов? Холоден, неоткрыт, непрямодушен. Чего он хочет? Как любил его Владимир Ильич! Как безгранично верил Плеханову долгие годы! Что стало с ним? Хитрит. По всем вопросам, связанным с печатанием «Искры», держится непрямо, уклончиво. Где выпускать «Искру»? Кто будет в редакции? Какие статьи печатать в первую голову? Кому делать редакторскую черновую работу?

Георгий Валентинович Плеханов желал одного — властвовать.

Но ведь надо дело делать! Дебаты, дебаты. Когда они кончатся? Много протекло бесполезных дней, пережито тяжких и томительных споров, пока наконец решено: издавать газету будем в Германии, соредакторов шесть, у каждого один голос, у Плеханова два.

Владимир Ильич писал: «По внешности — как будто бы ничего не произошло, вся машина должна продолжать идти, как и шла,— только внутри порвалась какая-то струна, и вместо прекрасных личных отношений наступили деловые, сухие, с постоянным расчетом по формуле: *si vis pacem, para bellum*¹».

Машина должна идти, как и шла... Машинистом в ней, кочегаром, бессменным рабочим — Владимир Ильич. Отойди, и все смолкнет.

Однако и здесь, за границей, Владимир Ильич в конце концов не оставался один.

Постепенно разыскались немецкие товарищи, социал-демократы. Горячо поддержала ульяновские планы издания «Искры» Клара Цеткин.

И однажды Потресов в приятном изумлении: «Вообразите, здесь Бауман!»

Он отбывал с Бауманом ссылку в Вятской губернии, полной лесов, потому и знал о том, что Бауман охотник, и о том, какую решающую роль для него сыграла его охотничья страсть. Перекинув через плечо ружьишко, то и дело дня на три, на четыре уходил бродить по лесам. Власти привыкли к отлучкам охотника. И на этот раз не обратили внимания, что ушел. Четыре дня. Пять дней. Шесть дней. Хватились: где Бауман? Давно пора вернуться с охоты. Поднялся переполох. Но поздно. Далеко-далеко от уездного городишка Орлова Вятской губернии административно сосланный Николай Эрнестович Бауман! В крестьянском зипуне и треухе, с котомкой,

¹ Если хочешь мира, готовься к войне (лат.).

сел на пароход, едва не последний в ту осень. По реке Вятке шло «сало», стыла вода, затягиваясь у берегов хрупким ледком, дымились туманы. Пароход тяжело уплывал, толкая и кроша носом ломкие льдины.

Неузнанный, Бауман добрался до австрийской границы. Вот уже и Австрия позади. Лазурь женевских небес. Синее озеро, голубые и лиловые горы, похожие на декорации в оперном театре. Пестро, людно. Разноязыкая речь. Здесь центр русской политической эмиграции, группа «Освобождение труда».

Владимиру Ильичу понравился дерзкий побег из вятских лесов, он с интересом шел к Бауману. Каким окажется Бауман при встрече? Вот он каким оказался — молодым, красивым! Открытое лицо, прямые черты, смеющийся взгляд. Только слишком, пожалуй, франтовато одет.

Оказались они почти земляками — Бауман был из Казани. Заговорили о Волге, Казанском университете, революционных кружках, и через десять минут Владимир Ильич уже не замечал франтоватости Баумана — скорее всего, конспирация.

Заговорили об «Искре», и через несколько часов были единомышленниками полными.

Бауман согласился и с тем, что сейчас опасно выпускать «Искру» в слишком оживленной Женеве. И с тем, что надо избежать деспотизма Плеханова. И что лучше в Германии, где сильный рабочий класс, организованная социал-демократия, искать для «Искры» пристанище.

Впервые за это смутное время Владимир Ильич облегченно вздохнул... Огляделся. Ну-те, какое оно голубое женевское небо? Но как раз в эту минуту сизо-серая туча налетела на небо, сильный порыв ветра поднял на озере рябь, крупные капли зашлепали по воде. Несколько минут дождь шумел, потом тучка умчалась, снова все прояснело. Пароходик, торопливо шлепая плицами, бежал по Женевскому озеру, увозя Владимира Ильича в его жилище в Везене. Скоро — прощай, Везена! И Женева,

нарядная, шумная, круглый год торгующая своими роскошными пейзажами, горными тропами, щедрым небом и чистенькими пансионами, прощай, Женева! Во всяком случае, пока оставляем тебя.

«Сегодня я совершенно доволен! — мысленно писал Владимир Ильич в Уфу. — Представь, Надя, какая удача! В Женеве среди чужого суетливого люда встретить человека, во-первых, русского, вполне русского, всем своим опытом и существом связанного именно с российской действительностью, во-вторых, революционера до мозга костей, революционера не книжного, а практического, то есть делающего и готового делать революционное дело».

Тут мысли Владимира Ильича невольно опять вернулись к Плеханову, но уже без прежней горькой досады. Заслуги Плеханова в распространении марксизма огромны, будем же уважать его за то, что им сделано. Аксельрод сделал меньше, неизмеримо меньше и едва ли сделает много для «Искры», хотя и входил в редакцию. Потресов? У Потресова то преимущество перед Плехановым, Аксельродом и Верой Засулич, что знает настоящую жизнь. Пока те в эмиграции занимались теорией, Потресов участвовал в русском революционном движении, прошел ссылку, нюхнул, чем дышит рабочий класс. Но... Потресов спорит с Плехановым, а через час начинает терзаться сомнениями, едва ли не готов бить отбой. Потресов поддержит Владимира Ильича, а через час... Кто же остается?

Сейчас, встретившись с Бауманом, Владимир Ильич понял: наконец судьба подослала настоящего помощника!

Пока пароходик весело шел вдоль прелестных цветистых берегов Женевского озера, Владимир Ильич все думал о Баумане.

Что-то в нем напоминало Ванеева, петербургского друга по «Союзу борьбы» и по ссылке. Что-то сближало с Бабушкиным. Что? Порывистость молодости, революционная пылкость?

Спустя некоторое время они вместе с Бауманом уехали в Мюнхен.

Но первый номер «Искры» вышел не в Мюнхене. Много новых обстоятельств и лиц вовлекалось в историю создания первого номера «Искры».

Точно в положенный час у входной двери маленькой квартирki дома на восточной окраине Лейпцига звонил колокольчик. Кто-нибудь из детей бежал отпереть отцу, и госпожа Рау, не медля ни минуты, несла из кухни фарфоровую миску с фасолевым супом. Глава семьи Герман Рау, лет тридцати пяти, аккуратно подстриженный бобриком, с пышными, слегка закрученными на кончиках усами, всегда жизнерадостный, занимал свое место за столом, усаживались дети, госпожа Рау разливала суп. Но сегодня что-то случилось — Герман Рау опоздал на четверть часа, целых четверть часа! Что с ним? Обычно за обедом разговорчив, пошутит с детьми, перекинется о хозяйстве с супругой. А сегодня? В этот не по-осеннему теплый день, когда желтые листья платанов глядели в окна, подобно сотням маленьких солнц, глава семьи до странности был молчалив. После обеда надел шляпу, взял трость и ушел.

— Папа не в типографию пошел, — посмотрев в окно, заметила старшая дочь, двенадцатилетняя Эмма.

— Мало ли какие у папы дела, — возразила мать.

Это было верно. Дело у Германа Рау было по горло. С некоторых пор он стал довольно известен, благодаря своей брошюре «Развитие гимнастики в Германии». Спорт был его увлечением. Недаром в его типографии в деревушке Пробстхейд в верстах восьми от города Лейпцига выпускалась газета рабочего спортивного союза «Арбайтер Турнцайтунг».

Но сейчас, поспешно шагая четким шагом (все было в нем четко), Герман Рау думал не о спорте. Герман Рау с молодых лет был членом социал-демократической организации. Не все знали об этом. Об этом не надо всем знать. Он был дисциплинированным и преданным социал-демократом. Если организации понадобилась помощь Германа Рау, он готов сделать все...

Вот и нужный погребок с вывеской готическим шрифтом и глубоким сводчатым входом. Осторожно — каменные ступени ведут вниз, каменные плиты пола гулко отвечают шагам, темная деревянная дверь. В погребе полумрак. В этот час почти пусто. За стойкой хозяин дымит трубкой, уткнувшись в газету.

Товарищи из Мюнхена писали, что тот человек будет ждать здесь, в погребе.

Герман Рау бегло окинул быстрым взглядом немногих посетителей. За одним столиком привстал молодой человек, высокий, красивый, с удивительно приятным и открытым лицом. Одет изящно, почти щегольски.

— Гутен таг, — на всякий случай сдержанно приветствовал молодого человека Герман Рау.

— Чрезвычайно удачное местоположение этой пивной, — отозвался тот. Это был пароль.

Герман Рау сел. Поставил в угол трость. Повесил на спинку стула шляпу.

— Хозяин, кружку пива!

Он не спеша попивал маленькими глотками холодное пиво, ожидая, пусть приезжий человек сам начнет говорить. Приезжий свободно говорил по-немецки, однако Рау довольно скоро уловил в нем не немца. Он приехал по рекомендациям и с поручением от мюнхенских социал-демократов, но дело, о котором хлопотал, не касалось германской социал-демократии. Дело связано с русскими.

Рау не удивился, он уже слышал о деле.

Приезжий назвал мюнхенских товарищей. Да, именно от них Герман Рау имел предупреждение. Да и от лейпцигских товарищей тоже.

— Можете вы взять это на себя? — тихо и решительно спросил приезжий, рассказав владельцу типографии все.

Герман Рау долго молчал. Он не из тех людей, которые бездумно бросают слова. Минут пять молча тянул пенное пиво из глиняной кружки, пока наконец:

— Подождем с ответом до завтра.

Должно быть, приезжий был нетерпеливым человеком, Герман Рау понял это по тому, как быстро он при его словах сжал кулак и разжал и на секунду нахмурился.

Затем учтиво:

— Благодарю вас, до завтра.

Приезжий не мог знать, что Рау отложил решение вопроса до завтра потому, что он, хозяин нужной русским типографии, не в состоянии был ничего решить сам, без согласия одного человека. Человек этот — всего-навсего обыкновенный типографский наборщик, но в данном случае от него зависело все. Зависело, согласится ли типография Германа Рау отпечатать листок — «Заявление редакции «Искры» о том, что в ближайшее время начнет нелегально выходить русская политическая газета, призывающая русских рабочих к борьбе с царем и капиталистами. Это заявление, написанное русскими буквами, сложенное вчетверо, лежало у Германа Рау в пиджачном кармане, жгло ему бок. До сей поры он выполнял уважаемую всеми работу, выпуская в своей типографии в деревушке Пробстхейд на Руссенштрассе, 48, спортивную газету и иногда кое-какие передовые издания. Но нелегальные?.. Но такие, за которые полиция по согласованию с русским правительством может наложить арест, погубить все предприятие?..

«Мы должны помочь русским товарищам», — сообщали социал-демократы из Мюнхена, где сейчас остановился тот русский, который и затеял все это — газету «Искра» и организацию партии для борьбы с царем и капитализмом в России. Да, но Герман Рау ничего не может один. Что скажет Вернер...

Немногие посвящены в то, что Вернер собственно не Вернер, а польский социал-демократ и эмигрант Иосиф Блуменфельд. Трудно представить более обыкновенного и приличного мужчину по внешности! Между тем внутри у него жил бесенок, постоянно толкающий на всевозможные отважные замыслы, и между тем Иосифу Блуменфельду пришлось из Польши бежать, и, наверное, нет че-

ловека, который больше ненавидел бы русский царизм, чем этот типографский наборщик.

Стемнело. Единственный ученик и помощник Рау Пауль Томас улизнул, пользуясь отсутствием хозяина. Иосиф Блуменфельд возился у наборной кассы при свете керосиновой лампы.

— Читайте,— сказал Герман Рау, вынимая сложенное вчетверо «Заявление редакции «Искры». Он хотел еще раз послушать, о чем там идет речь.

Иосиф Блуменфельд читал про себя, медленно переводил каждую фразу. Оттого что чтение шло с остановками, из осторожности шепотом, содержание казалось еще более значительным, почти таинственным.

— Будет выходить русская социалистическая газета,— сказал Иосиф Блуменфельд.

— Набирать можете только вы,— ответил Герман Рау.— Вы ведь один у нас в типографии знаете русский язык.

— Хватит меня одного.

— У нас нет русского шрифта.

В этом и заключалась загвоздка. В немецком городе достать русский шрифт не так-то легко. Но недаром островерхий каменный Лейпциг, с узкими улицами, липовыми садами и кирхами, был городом старейшего книгопечатания и книжной торговли. И недаром наборщик Вернер был Иосифом Блуменфельдом. Когда у Иосифа Блуменфельда загоралась душа, он способен был сдвинуть гору.

— Беру на себя,— сказал Иосиф Блуменфельд, и Герман Рау с облегчением и некоторой долей тревоги вздохнул.

На следующее утро приезжий явился в типографию за ответом. Теперь он показался Герману Рау еще привлекательнее. Какие открытые, словно бы источающие улыбку бывают лица у русских! При вести о том, что типография Германа Рау согласна выпустить «Заявление», а дальше печатать и саму «Искру», приезжий готов

был скакать, как мальчишка. Тряс Иосифу руку и все рвался раздобывать вместе с ним шрифт.

— Излишне,— отверг Блуменфельд,— надо поменьше шуметь.

— Тсс! — приложил приезжий палец к губам.

Между тем раздобывание русского шрифта было делом не таким простым. Был единственный путь — в Лейпциге выпускались для России русские библии, только там можно добыть русский шрифт, конечно, нелегальным путем. Не день и не два понадобилось, чтобы разузнать наборщиков библии, сблизиться, войти в доверие. Порядочно прошло дней, пока наконец Блуменфельд приехал с тележкой и стал в условленном месте, недалеко от одной типографии. Некоторое время спустя тяжелой походкой вышел знакомый наборщик с подвязанным фартуком. Много не унесешь зараз свинцового шрифта. Блуменфельд стал спиной, загораживая тележку, наборщик ссыпал шрифт из фартука в мешок на дно тележки и ушел. Блуменфельд остался ждать второй порции. Только через час снова появился наборщик с подвязанным фартуком.

— Хватит, не заметил бы мастер. Поезжай, Вернер, пока.

Блуменфельд прикрыл мешок с шрифтом стареньким пиджаком, захваченным из дому для этого случая, и повез тележку, поглядывая по сторонам с озорным бесенком в глазах, в душе хохоча.

«Кто бы подумал, что шрифт, назначенный для печатания библии, пойдет на «Искру», от которой достанется и царям, и попам!» Эта мысль всю дорогу веселила Блуменфельда.

Дорога сошла благополучно, а в типографии был посторонний. Сосед, хозяин оранжереи, поставляющий в Лейпциг круглый год цветы и свежие овощи, зашел к Герману Рау покурить и потолковать о политических новостях.

— Что-то твой Вернер привез,— увидел он в окошко тележку, которую подкатил Блуменфельд.

— Посылал за бумагой, да, видно, не достал, просто-филя,— проворчал Герман Рау и, высунувшись в окно, Блуменфельду: — Эй! Вернер, не добыл, вижу, бумаги?

— Велели в другой раз приезжать, хозяин.

Герман Рау покрутил кончики усов, довольный сообразительностью Блуменфельда, а вслух притворно сердито сказал:

— Веди дело при такой неточности, вовсе как будто несвойственной немцам!

— У вас хорошо идет дело,— возразил сосед, кивая на громоздкий печатный станок фирмы «Кениг и Бауэр», занимавший едва ли не треть всего помещения типографии Рау.

— Эге, ничего,— согласился печатник, раздумывая о том, что придется ждать вечера перетаскивать шрифт, а то как бы не собрать любопытных. Вечером они перетаскали с Блуменфельдом груз из тележки, и одна из трех наборных касс типографии Германа Рау наполнилась русским шрифтом.

Владимир Ильич приехал в Лейпциг в декабре, когда «Заявление редакции «Искры» было давно отпечатано и отослано в Россию и у Иосифа Блуменфельда был готов набор двух первых страниц газеты. Печатать газету приходилось частями. Было решено: газету откроет статья Владимира Ильича «Насущные задачи нашего движения». Остальные материалы он привез из Мюнхена, когда начальные две страницы уже печатались в Лейпциге. Он привез еще три свои статьи. И присланные из России статьи и заметки. О студенческих волнениях, о военных судах в Варшаве. Об арестах и обысках. О рабочей борьбе. Были письма с заводов и фабрик о произволе и бесчинствах хозяев. Газета обещала выйти боевой и живой.

Владимир Ильич снова — в который уж раз! — читывал материалы от первой до последней строки. Поднимался до света. Что-то толкало, торопило: скорее, скорей! Декабрьское утро серо и сыро. Зябко поживаясь после

постели, он зажигал спиртовку вскипятить чай и пил из жестяной кружки, заедая куском черствого хлеба. Спеша в типографию, он выходил из дому, когда на улицах еще не рассветало, темно от курток и кепок рабочих, торопящихся к утренней смене. Владимир Ильич любил этот строгий час в Лейпциге, как когда-то любил сливаться по утрам с рабочими толпами в Питере.

Совсем недавно Лейпциг был чужим. Сейчас за несколько дней Владимир Ильич освоился с городом. Ему нравились рабочие районы, кварталы типографий, бесчисленное число книжных лавок с разноцветными витринами, нравились его строения в готическом стиле, и старинная музыка, и ратуша с башенными часами, будто из сказки Гримма, и тот дух пролетарской солидарности, который Владимир Ильич испытал на собственном опыте с печатанием «Искры».

Подняв воротник, он торопливо шагал мимо молчаливых домов с черепичными крышами, мансардами, тюлевыми занавесками окон, мимо садов и решеток, газовых фонарей и мелочных лавочек, торгующих всем, от наперстков до рождественских открыток с зажженными елками. Навстречу ему по велосипедной дорожке, пригибаясь к рулям, ехали велосипедисты, казавшиеся в туманном сумраке утра какими-то нереальными существами. Шли пешие рабочие, вспыхивали огоньки сигарет.

Но вот рабочий район, типографии и фабрики кончились, загудели гудки, рабочие больше не встречаются. Теперь, громыхая колесами, едут в город подводы с крестьянским товаром на рынок. Было еще темно, снег еще синий, когда Владимир Ильич прошел железнодорожный мост. Лейпциг позади. Снежное поле по сторонам, чернеет лес вдалеке. Что это? Гром. Стук молотков. Голоса. Это строится памятник Битвы народов. В 1813 году здесь, на полях под Лейпцигом, несколько дней шли бои. Решалась судьба Европы. Русские, пруссаки, австрийцы и шведы вели последние сражения с Наполеоном. Барклай-де-Толли занял позицию в деревне Пробстхейд.

Удивительные совпадения иногда подстроит судьба! Сейчас именно в этой деревне, в Пробстхейде, мы печатаем «Искру». На Руссенштрассе, улице русских, названной так в память прошедших боев. Из каких рязанских и владимирских сел и деревень почти сто лет назад сошлись сюда русские сложить головы на немецкой земле?

В России деревню Пробстхейд с каменными двухэтажными домами под черепичными крышами не называли бы деревней; у нас, в России, не всякому уездному городку под силу выглядеть так солидно и чистенько; но в одном дворе, когда Владимир Ильич шагал мимо, совсем по-деревенски запел петух, в другом, третьем откликнулись, где-то замычала корова,—нет, все-таки деревня! Хотя единственным, может быть, во всем Пробстхейде деревенским домом была типография Рау. Низкая, с тремя окнами на улицу, она особенно бедно выглядела оттого, что по бокам высились крепкие, как крепости, каменные хоромы зажиточных, видно, крестьян.

Как ни спешил Владимир Ильич, окошки типографии Рау уже светились, все пришли раньше. Иосиф Blumenфельд работал у наборной кассы. Керосиновая лампа висела на железном крюке у него над головой, он сосредоточенно выбирал и вставлял в верстатку шрифт, даже не повернувшись, когда вошел Владимир Ильич. Ученик Пауль Томас затапливал круглую чугунную печь, дрова трещали, пламя плясало, качались по стенам тени от пламени, жаром тянуло из печки, в типографии было уютно, чувствовалось, что-то особенное связывает собравшихся здесь людей. Этим особенным было печатание «Искры».

— Heute ist wichtiger Tag, ein Feiertag¹,— сказал Герман Рау. Он готовил бумагу для печатания на длинном дощатом столе. Бумага была папиросная, тонкая, ровнять и резать листы требовалось с большой аккуратностью.

— Сегодня важный и торжественный день,— подтвердил Владимир Ильич.

¹ Сегодня очень важный день, праздничный день (нем.).

Скинул пальто, молча (чтобы не мешать) постоял возле Иосифа Блуменфельда.

— Теперь совсем уже скоро, — дружески кивнул наборщик.

«Хорошие люди, — мелькнуло у Владимира Ильича. — «Искру» печатают хорошие люди!»

Скоро Блуменфельд разогнулся:

— Fertig! Готово!

Тяжело поднял раму с набором и перенес к тискальному станку. Через две-три минуты Владимир Ильич нетерпеливо впился глазами в только что возникшие строчки.

— Ну? — спросил Герман Рау.

Но Владимир Ильич читал корректуру кропотливо и тщательно.

На дворе рассвело, в типографии погасили керосиновую лампу, наступил день, когда Герман Рау встал за станок печатать заключающие полосы «Искры». Повернул ручку, станок зашумел, валик обернулся вокруг оси, и готовый, еще сырой лист сполз с машины. Владимир Ильич держал в руках первый номер газеты. Самый первый. Полный первый номер «Искры». Несколько минут стоял молча. Сбывалось то, о чем он так много думал в ссылке, что готовил с таким трудом и надеждами!

— Пора думать, как будем отправлять в Россию, — сказал Блуменфельд, подходя. И подмигнул, потому что все уже было обдумано.

Первую партию «Искры», когда тираж будет отпечатан, повезет в Россию он, Блуменфельд. И, может быть, тот красивый молодой человек с открытым лицом и ослепительно белозубой улыбкой, который приезжал сюда однажды. Фамилия того человека Бауман. Сейчас он в Берлине, достает чемоданы с двойным дном.

— Наступает второй этап, не менее важный, — сказал Владимир Ильич. И представил, как Блуменфельд или Бауман привезут чемоданы с газетой в Россию. Там в городах, в заводских и фабричных центрах, ждут агенты

«Искры». В Нижнем, Пскове, Самаре, Казани, Смоленске, Москве, Петербурге... Как обрадуется Бабушкин и, насавав за пазуху газет, под носом у жандармов понесет тайно на заводы и фабрики.

В Нижнем ждут «Искру» Пискуновы. Владимир Ильич мысленно обошел все города, где перед отъездом за границу организовал и оставил агентов «Искры», и дошел до Уфы. В Уфе Надя, Свидерский, Цюрупа... Владимиру Ильичу вспомнился Юлдашбай, смуглый крепыш, с плоским лицом и диковатым огненным взглядом. «Юлдашбай наш,— уверенно подумал Владимир Ильич.— А Лиза?» Он вспомнил и Лизу, несмелую, испуганную девушку, оттого что знал из письма, что она ушла от жениха. Было ли это порывом, минутным отчаянием? Или это серьезный уход в иную жизнь? Какая иная жизнь ожидает ее? Скорее всего, станет учительницей.

В «Искре» печаталась заметка о положении народных учителей на Дальнем Востоке. О том, что учителя голодают, мерзнут в жалких конурах. И не только на Дальнем Востоке учителя голодают и мерзнут. А дальше? «Искра» писала: «Идите в ряды революционной партии! В вашем положении есть много общего с положением городского пролетариата».

Владимир Ильич подумал словами из своей искринской статьи: «Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного».

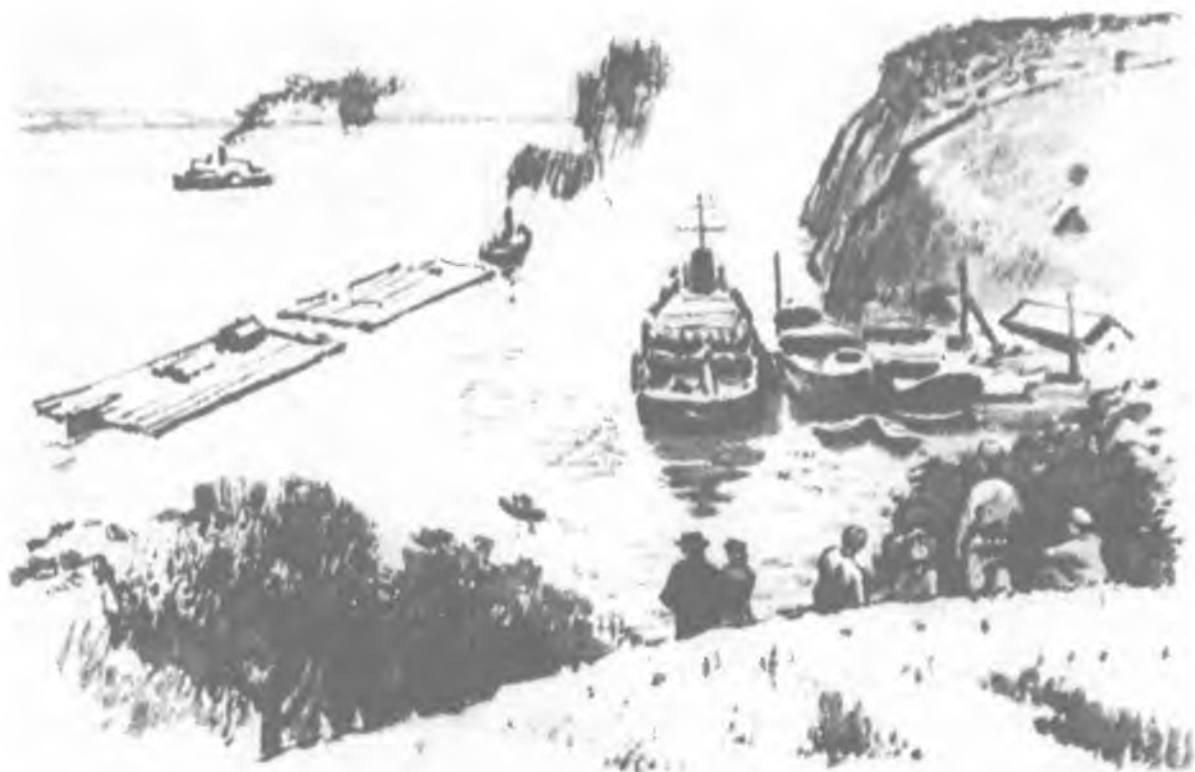
«...Все, что есть живого и честного»,— повторил Владимир Ильич.

Герман Рау крутил ручку. Станок работал, ученик Пауль Томас подхватывал тонкие листы, на которых в правом верхнем углу было напечатано крупно: «Из искры возгорится пламя».

ЖИЗНЬ ЛЕНИНА

ПОВЕСТЬ В РАССКАЗАХ

РИСУНКИ О. ВЕРЕЙСКОГО



РАДОСТЬ

Над Симбирском заливаются жаворонки. Звенят в небе над Волгой. Волга круто повернула у города, несет к югу глубокие воды. Лды недавно прошли. С высокого симбирского берега видны луга, синие дали. Плышет по Волге пароход.

«Белый пароход, куда ты плывешь?» — «Далеко, к морю Каспию».

В Симбирске весна. Слышно, как хором щебечут воробы.

Все улицы и сады полны птичьим щебетом. В Карам-

зинском сквере по черной клумбе важно расхаживает грач с большим серым клювом. Ветер треплет ветви берез. На улицах весенняя радость.

И в доме Ульяновых радость. Дом Ульяновых недалеко от Волги. Солнце горячо светит в окна. Доносятся гудки пароходов.

Мама нагнулась над колыбелью. В колыбели сын. Мама глядит на него с задумчивой лаской: «Кем ты будешь? Какая тебя ждет судьба?»

Вошел отец, Илья Николаевич Ульянов — инспектор народных училищ Симбирской губернии. У него важная работа. Хорошо ли учителя учат ребят? Илья Николаевич помогает, советует учителям, как лучше учить. Добивается, чтобы как можно больше было новых народных школ в Симбирской губернии. Заботится, чтобы вдоволь было для школьников книг и учебников. Очень полезная для народа работа у Ильи Николаевича!..

— Машенька! — позвал он, входя. — Добрый день, Маша, милая!

Вместе с отцом пришли к маме старшие дети — Анюта и Саша. Темноглазой, курчавой Анюте шесть лет. Саше — четыре.

Полные любопытства, они приблизились к колыбели.

— Дети! — сказал Илья Николаевич. — У вас родился брат. Любите его.

— Какой маленький! — удивилась Анюта.

— Подрастет, будет большим, — ответил отец.

— А как его зовут? — спросил Саша, поднимаясь на цыпочки, чтобы лучше увидеть младшего брата.

— Назовем Володей, — ответила мама.

— Хорошо, пусть будет Владимир, — согласился отец.

— Хорошо! — согласились и дети. — У нас брат Володя!

Так 22 апреля 1870 года в городе Симбирске на Волге появился на свет новый человек, Владимир Ульянов, который станет после великим Лениным.

ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

День за днем, год за годом, Володя подрос — исполнилось восемь лет. Он давно не младший в семье. Теперь Маняша лежит в плетеной колыбели. Да еще Оля и Митя родились после Володи. Анюта, Саша, Володя, Оля, Митя, Маняша. Да папа, да мама. Вот какая большая семья!

Анюта и Саша ходят в гимназии. Всегда у них новости и рассказы о товарищах и подругах, об уроках, книгах. А Володя только готовится поступать в гимназию, арифметике и грамоте его учит учитель. И мама. Много разных интересных историй знает мама. О жарких и холодных странах. Об умном псе сенбернаре, который спас путника, заблудившегося в альпийских снегах. О нашествии на Россию Наполеона и Бородинском сражении.

Не перечислить маминих рассказов зимними вечерами за обеденным столом. Горит всякая лампа под белым абажуром. Мягко падает свет. Рассказывай, мама!

А то все засядут на целый вечер за книжки.

В разгаре зимы, перед елкой, вечера особенно дружны и веселы. В столовой настоящая мастерская игрушек. Стол завален разноцветной бумагой. Дети режут и клеят из бумаги коробочки, домики, цепи для елки.

Илья Николаевич работает. Мама плотно прикрыла дверь из столовой, чтобы в папин кабинет не долетали голоса.

Шумит, извивается в руках детей длинная цепь из розовых, синих, золотых и желтых колечек. Скоро зажгутся свечи на елке. Елка уже стоит в темном зале, дожидается, когда будут ее наряжать.

— Идем посмотрим елку, — позвал Володя.

Оля мигом согласилась:

— Идем!

Маленький Митя спрыгнул со стула:

— И я.

— Возьмемся за руки, цепью, — сказала Анюта.

Неслышно шагая, они вошли в зал. Таинственно в тем-

ном зале. Сквозь ледяные узоры окон светит луна. Белые пятна лунного света лежат на полу. Высится елка. Запах хвои льется от лапчатых веток. Дети бесшумно обошли душистую елку.

— Идемте по всему дому,— позвал Володя.

Все почему-то затихли. Сегодня вечерний дом кажется новым, необычным. Дом и верно новый, они недавно сюда переехали. Вот мамина комната, отгороженная от коридорчика не стеной, а занавеской. Слабо горит ночник на комодке. В колыбели Маняша. Живая цепь тихо обогнула Маняшину колыбель. Потянулась дальше, в угловую нянину комнату. Там кровать под лоскутным одеялом, возле стены кованный железом сундук, крышка изнутри заклеена картинками и конфетными обертками. Забавный нянин сундук!

Дальше. По узенькой лестнице поднялись на антресоли, в детские комнаты. Здесь еще ярче и полнее светит луна. Снежные цветы на замороженных окнах похожи на пушистые папоротники. Не разрывая рук, дети обошли антресоли и спустились по узкой лестнице вниз.

Распахнулась дверь из кабинета отца, и он появился на пороге.

— Вот она, моя гвардия! — воскликнул отец, загребая в охапку их всех.

Но заметил: дети задумчивы. Крепко держатся за руки. Отец не знал, что Володя придумал игру: обойти цепью весь дом.

Но о чем-то отец догадался и с чувством сказал:

— Мои дорогие, дружите всегда, как сейчас.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Лето — золотая пора! Летом в Симбирске жарко, сухо. Зреют в садах яблоки. Симбирск полон садов.

Позади дома Ульяновых тоже есть сад. Небольшой, а чего только в нем нет! Серебристая аллея из тополей.



Не перечислить маминих рассказов зимними вечерами за обеденным столом.

Вязы раскинули шатры, в самый зной под ними не жарко. Разрослись акации, название у них «Желтый бор».

Семь утра. Солнце скользнуло в окно, теплый луч лег на подушку. Володя проснулся. Открыл глаза, секунда — и на ногах. Гимнастика — раз, два, три! Умылся — и вихрем в сад, под яблони. Особенное удовольствие опередить братьев и сестер, собрать упавшие за ночь яблоки и потом всех угощать. И поддразнивать:

— Сони, лежебоки, проспали!

Впрочем, в доме Ульяновых все поднимаются рано. У Саши и Володи обязанность: натаскать из колодца воды в кадки для поливки цветов. Не натаскали с вечера, давайте сейчас. Иногда поливать цветы выйдет мама. Иногда дети управятся сами.

А потом в столовой на столе кипит самовар. И мама напоминает за завтраком: сегодня французский день. Значит, за столом говорят по-французски. Завтра — по-немецки.

Конечно, легче бы каждый день говорить по-русски. Но мама хочет, чтобы дети знали иностранные языки.

— Что ты будешь делать после завтрака? — спросила Оля Володю.

— Как Саша.

— Я буду читать, — сказал Саша.

Как всегда, Саша будет читать. Он читает серьезные книги: Сашу интересуется химия, естественные науки. Саша устроил химическую лабораторию во дворе.

Завел живой уголок: там копается в листьях ежик, белка скачет по жердочкам в клетке.

Раздолье летом! С утра забирай какую пожелаешь книжку, найди в саду потенистее уголок — и всё на свете забыто. До обеда только птицы слышны в саду. Да стук маминой машинки долетает из дома: постоянно мама кому-нибудь из шестерых детей что-то шьет. И девочек научила шитью.

После обеда, вволю начитавшись, Оля зовет Володю:
— Идем играть.

— В черную палочку, палочку-застукалочку! «Черная палочка пришла, никого не нашла, кого первого найдет, того с палочкой пошлет».

Все врассыпную по саду. Кто-то водит. Неслышно крадется. Вон качается зеленый зонт лопуха...

Когда солнце уйдет со двора, на крокетной площадке крокет. Строго по правилам. Нельзя вести шар. Надо бить коротким ударом. Нельзя... Надо... Володя и папа — самые азартные спорщики. Самые хохотуны. Смеху во время игры!

Между тем солнце клонится к западу, близко вечер, спала жара.

— Сыновья, на Свяягу! — слышна команда отца.

Вся семья Ульяновых отправляется на Свяягу купаться. Мальчики с отцом, девочки с мамой.

Свяяга — тихая речка, мирно течет в зеленых берегах.

С разбегу, с мостков, бултых в воду, брызги фонтаном, и Володя наперегонки с папой и Сашей плывет.

Небо еще светлое, розовое от зари, а над горизонтом уже зажглась первая звезда.

Володя и Саша идут после купания вдвоем, впереди.

— О чем ты задумался, Саша?

— Обо всем. Видишь звезду? Откуда она? Как она началась? Как началась жизнь на Земле? Зачем мы живем? В чем наша цель?

Володя слушает. «Зачем мы живем? В чем наша цель? Интересно жить, думать, спрашивать, узнавать, что-то делать. Умный Саша. Хочу быть, как Саша».

НА ПАРОХОДЕ

Двухпалубный пароход стоял у пристани. Окна кают горели на солнце. Надраенная медь сверкала как золотая. Все было чисто, парадно. Капитан отдавал в рупор команду с капитанского мостика.

«Не опоздать бы», — в беспокойстве подумал Володя.

Но папа и мама не беспокоились, и Володя молчал. Только нетерпеливо сжимал ручку корзинки с продуктами да вертел головой, боясь пропустить что-нибудь интересное.

«Скорее бы все-таки на пароход, вдруг отчалит...»

Папа проверил билеты. Пересчитал вещи. У каждого корзинка или сверток по силам. А один узел поднял на плечо матрос и, не согнувшись, понес в каюту. Пароход прогудел басистым гудком. Закрутились колеса, забилась, зашумела вода под плицами, пароход отошел от Симбирска. Поплыли в Казань.

Каждое лето они уплывали в Казань. Оттуда сорок верст на лошадях в деревню Кокушкино. Володя с зимы начинал ждать это путешествие по Волге в Казань и Кокушкино.

Симбирск позади. Долго виднеются его красные крыши в садах на высокой горе. Волга повернула, и Симбирска больше не видно.

Стая чаек провожает пароход. Кто-то из пассажиров кормит чаек, они на лету ловят хлеб или камнем падают к воде и снова ввысь, в небо.

Володя тоже побросал чайкам крошек и побежал к машинному отделению. Паровая машина, блестя медью и маслом, дрожа от напряжения, шумно работала. Шатуны без остановки ходили, горячие струйки пара со свистом вырывались из клапанов. Голый до пояса кочегар, черный от копоти, работал у жаркой топки. Ручейки пота текли у него по спине.

— Живей поворачивайся! — подгонял машинист.

Кочегар схватил кружку, зачерпнул из ведра, жадно напился. Провел ладонью по мокрому лбу, вытер ладонь о штаны. Шлепая плицами, пароход усердно бежал вверх по Волге. На палубе гуляли пассажиры, любовались прекрасными видами. Папа вышел из каюты с шахматной доской. Шахматы удивительно были красивы, папа вырезал их из дерева, каждую фигуру сделал по-разному.

— Сразимся? — предложил отец Володе.

После папы Володя был первым шахматистом в семье.

Отец играл с ним на равных, хотя Володе всего десятый год. Впрочем, не так уж мало, в августе держать экзамены в гимназию — прощайся с волей, казак!

— Милостивый государь, не угодно ли шах? — объявил отец.

— Уважаемый противник, нам шах не угоден.

Володя живо двинул коня на защиту.

— Хитер! В таком случае идем этой пешкой.

— А мы от вашей пешки ускорим.

Володя сделал неожиданный ход.

Ветер шевелил Володины каштановые с рыжеватинкой волосы. Солнечная Волга слепила глаза.

— А в машинном отделении так жарко! — хмурясь, вспомнил Володя. — Кочегар обливается потом. Неужели как-нибудь нельзя облегчить?

Отец промолчал. Подошел Саша и, пожав плечами:

— А кто будет об этом заботиться? Хозяину парохода безразлично, тяжело кочегару или нет.

— Но ведь несправедливо! — воскликнул Володя.

— Справедливостей не так много на свете.

Оба мальчика поглядели на отца.

— Папа, ты защищаешь справедливость, мы знаем! — горячо сказал Саша.

— Каждый на своем месте должен защищать справедливость, — ответил отец.

Пароход загудел широко, на всю Волгу. Шел встречный, пароход слал приветствие встречному. Волга сильней закачалась, покатила к берегам длинные волны.

КОКУШКИНО

Сутки на пароходе, сутки в Казани, на третий день к вечеру приехали в Кокушкино. Всю дорогу Володя рассказывал Оле и Мите о жизни в Кокушкине. Оля и Митя слушали, будто никогда не видали Кокушкина, уж очень увлекательно Володя описывал. Катания по реке Ушне на

лодке. Извилистая, быстрая Ушня! Рыбы в Ушне! В круглых омутах ходят зубастые щуки. Шныряют проворные ерши. Окуни жадно хватают наживку.

— Митя! Ключуло, вытаскивай, Митя, окунь, толстенный!

Митя едва не выпрыгнул из тарантаса. Возница подхлестывал лошадь вожжами, одобрительно хмыкал:

— Расписывает-то как, ишь сказочник, а!

Сказочник, расцветая от похвалы, расписывал дальше. Кокушкинские грибные леса. Красные от земляники вырубки. Малинники в ближнем овраге. Сенокосы на лугах. Ночное, когда после вечерней зари деревенские ребята скачут верхами, гонят коней пастись до утра на лесные поляны.

В Кокушкине есть дом, оставшийся после смерти деда маме и маминым сестрам. Мама приезжает в Кокушкино пожить летом с детьми. И мамины сестры приезжают с детьми. Веселое собирается общество!

Вон и Кокушкино показалось, небольшая деревенька с соломенными крышами на крутом берегу реки Ушни. А вон, чуть поодаль, в саду, деревянный дом с колоннами и мезонином.

Здравствуй, Кокушкино! Володя первым соскочил с тарантаса, стремглав помчался обежать любимые места, оглядеть сад, поздороваться с кустами сирени, лужайками, клумбами. Оля летела за ним.

— Смотри, Оля, еще пышнее стал сад!

— А вон смотри, Володя, скамейка наша под липами, низенькая, будто в землю вросла.

— А вон спуск к реке. Спустимся?

Спустились. Узнали Ушню. Ольхой и плакучими ивами заросли берега. Из воды смотрят золотые кувшинки. Может быть, в одном таком желтом цветке жила Дюймовочка из андерсеновской сказки. Старая лодка привязана к колышку, уткнулась носом в берег. Хочется покататься. И в лес сбегать хочется.

— Пойдем, Оля, в лес.

— Сейчас? Одни? Вечер, Володя.

— Ну и что же, что вечер? Не беспокойся, ты ведь со мной.

Оля шагала рядом, хотя было немного ей страшновато. Особенно в овраге. Овраг довольно глубокий. Сюда не доходило вечернее солнце, было сыро и сумрачно.

Поднялись из оврага. Перед ними раскинулся скошенный луг, тесно уставленный копнами сена. А там, совсем близко, и лес. За зиму Володя и Оля отвыкли от леса, ветвистых берез, косматых елей, непроходимой чащобы орешника. Лес показался Володе и Оле дремучим. Солнце зашло. У Володи стало на душе беспокойно. Но отступить нельзя. Он шел впереди. Оля за ним. Темнота леса надвигалась на них. Деревья их окружили. Неба не видно, луга с копнами сена не видно. Под ногой треснул сучок.

— А вдруг разбойники на нас нападут? — спросила Оля.

Володя знал: разбойников в кокушкинских лесах не бывает. Но невольно с опаской огляделся по сторонам. Казалось, за каждым деревом кто-то притаился.

— Ты не боишься, Володя разбойников? — шепотом спросила Оля.

— Не боюсь. И ты не бойся. Здесь не водятся разбойники.

У-ух! — ухнуло из лесу. Резко, отрывисто. — Ух!

Ветер пролетел поверху, прошумел в листьях деревьев.

Оля схватилась за брата:

— Что это?

— Наверно, сова. Да, конечно, сова. Слыхала про сов? Самые умные птицы.

— Пойдем домой, Володя.

— Пойдем.

Он повел Олю, осторожно выбирая в сумраке дорогу, раздвигая кусты.

Лес был полон валежником. Они спотыкались. Володя чувствовал, рука сестренки дрожит в его руке. Вдруг ему

показалось, они заблудились. Сердце застучало как молоток. «Зачем завел Олю?»

— Завтра утром поедem, Оля, на лодке,— сказал Володя,— покажу тебе замечательное место. А еще я одну земляничную поляну помню, в десять минут целую корзину земляники с тобой наберем...

Он говорил, чтобы отогнать от себя страх и успокоить Олю. Говорил, пока не поредели деревья, стало светлее, показался скошенный луг и овраг. За оврагом деревня Кокушкино.

— Наш дом! — закричала Оля.— Володя, я почти не боялась.

Володе теперь тоже представилось, что он ничуть не боялся.

Он очень любил Олю.

Сегодня Володя узнал, как сильно любит свою дорогую сестренку.

Они весело пошагали домой. Их догоняла песня. Крестьянские девушки возвращались с поля и пели:

Зеленейся, зеленейся,
Мой зелененький садочек.
Расцветайте, расцветайте,
Мои алы цветики.

ГИМНАЗИСТ

Наступил августовский день 1879 года, когда Володя пришел в гимназию держать экзамены в первый класс. Двухэтажная каменная гимназия стояла в центре города, недалеко от Волги. Здесь Володя будет учиться восемь лет.

Но сначала экзамены. Учителя строго сидели за экзаменационным столом. Учеников вызывали по очереди. Володя смело вышел к доске. Учителя задавали вопросы. Володя отвечал без запинки. Дали задачку. Быстро решил.

— Даровитый мальчик! — говорили учителя между собой.

— Сын Ильи Николаевича Ульянова, директора народных училищ.

К тому времени Володин отец стал уже директором, учителя не только в Симбирске знали и уважали его, но и во всей Симбирской губернии.

— Способный сын у Ильи Николаевича и весьма подготовленный, — согласились гимназические учителя.

И поставили Володе по всем предметам пятерки.

— Наш Володя гимназист! — встретили дома.

Братья и сестры тормозили и поздравляли его. Мама примерила Володе гимназическую форму с блестящими пуговицами. Завтра он пойдет на уроки в первый класс. Мама смотрит в окно. Теперь у нее два гимназиста, Саша и Володя. И гимназистка Анюта. Время летит, дети растут.

Вечером в доме Ульяновых в столовой зажжена висячая лампа под белым абажуром. Дети собрались готовить уроки на завтрашний день. У пятилетнего Мити уроков нет. Высунув от усердия язык, Митя рисует пароход с дымной трубой и высокие волжские волны. Володя отделался быстро: не так много задано первоклассникам. Отточил карандаши. Он любил, чтобы было много карандашей и чтобы были тонко отточены. Карандаши — загляденье! В тетрадях ни пятнышка, учебники в чистых обложках. Уложил в ранец, все приготовил на завтра. Теперь чем заняться? С хитрым видом принялся что-то мастерить из бумаги. Смастерил кузнечика, сбегал к няне за ниткой, привязал. Скок! — кузнечик прыгнул к Анюте под нос на учебник.

— Володя, не мешай. Снова ты с шалостями.

Нитка дернулась, кузнечик убрался. Через секунду на Сашину тетрадку — скок!

— Володя, отстань.

Кузнечик не отстаёт. Скачет и скачет, никак не уймётся.

За столом смех, пока кто-нибудь не поймает кузнечика, оторвет нитку и бросит.

— Угомонись,—говорит Володе Анюта.

Володю угомон не берет. Как бы еще пошутить?

— Митя, а Митя!

Митя тихонько взвизгнул, предчувствуя что-то забавное, а может быть, страшное. Володя приставил два пальца к вискам:

— Идет коза рогатая, идет коза бодатая, кого бы ей забодать?

— Не меня, не меня!

Рога идут, приближаются к Мите, медленно, прямо к нему. Митя кубарем, с визгом и смехом, скатился со стула под стол. В дверях появился отец:

— Володя, идем ко мне.

Еще не остывший от шалостей, Володя вошел в кабинет. Здесь стоял книжный шкаф, в простенке меж окон большой письменный стол, а у другой стены овальный столик и диван для посетителей.

— Сядь,—сказал отец.— Посиди.

И углубился в работу. С малых лет Володя чувствовал уважение к кабинету отца. Папа много работал, очень много. Выезжал в губернию, в деревенские школы за сотни верст и в зимние морозы, и в осеннюю грязь. Не было, наверно, ни одной начальной школы в Симбирской губернии, куда бы Володин отец не приезжал помогать учителям. А дома надо писать отчеты, планы, педагогические статьи и заметки. Отец работал с утра до ночи.

— Володя,—позвал он через некоторое время.

Володя охотно подошел. Шалости уже вылетели у него из головы.

— На сегодня окончил работу,—сказал отец, аккуратно складывая в папку свои бумаги.— Кончил дело— гуляй смело. А другим не мешай,—несердито погрозил он Володе.— Ну, как в гимназии дела, гимназист?

Володя рассказал, как дела. Ничего дела.

Из зала донеслась негромкая музыка.

Они тихонько вошли в зал. Был полумрак. В подсвечниках рояля горели свечи. Мама играла. Что-то светлое, ясное, как летний солнечный день, играла мама. Володя с отцом сели в уголке, долго слушали музыку.

БУДЬ ТОВАРИЩЕМ

Зазвенел звонок к уроку. Второклассники с шумом занимали места. Была весна. Окна были открыты. Вдруг с улицы на подоконник вскочила кошка.

— К нам новичок! — хохоча, крикнул кто-то.

Вошел учитель. Мальчик, сидевший у окна, недолго думая схватил кошку, сунул в парту, захлопнул крышкой.

— Начнем урок, — сказал учитель, поднимаясь на кафедру и поправляя на носу пенсне.

«Мяу», — промяукала кошка.

— Что такое? — строго сдвинул брови учитель.

В классе послышались кашель и шорохи, у кого-то шлепнулись на пол книги. Гимназисты старались всячески заглушить мяуканье кошки в парте. А она все пуще: «Мяу, мяу, мяу».

Мальчик перепугался, что влетит от учителя, и выпустил кошку. Кошка как ни в чем не бывало направилась между партами к учительской кафедре. Второклассники замерли. Учитель побагровел, пенсне упало с носа, повисло на шнурке.

— Что за безобразие? Кто принес?

— Мы не приносили. Она сама вскочила в окно.

— Кто спрятал? Сейчас же сознавайтесь. Кто спрятал кошку? Назовите тотчас!

Ни звука в ответ. Никто не оглянулся к окну, где тот мальчик сидел ни жив ни мертв от грозного крика.

— Смутьяны! — сказал учитель. — Будет доложено инспектору.

Урок прошел в глубокой тишине. После звонка, когда учитель удалился, Володя вышел перед классом:

— Будем молчать!

— Верно, Ульянов! Не выдавать! Ни за что!

С последней парты поднялся один второклассник, длинный, тонкий, неслышный. Бочком незаметно ушел. «Куда он?» — удивился Володя. Но некогда было раздумывать. Обсуждали происшествие. Никто не обратил внимания на то, что Длинный ушел.

— Ребята,— сказал Володя,— молчать, как один.

— Как один! — подхватил второй класс.

Было и боязно, и дружно, и какой-то у всех был подъем.

Длинный вернулся, сел за парту.

В конце перемены появился инспектор, выпячивая грудь в зеленом мундире:

— По местам!

Вмиг второклассники были за партами. Стояли. Что будет?

Инспектор леденящим взглядом обвел второклассников и... задержался на мальчике, спрятавшем кошку.

— Вон из класса! Единица за поведение. В карцер!

Мальчик, ошеломленный, поникнув, отправился в карцер. Все были поражены. Как мог инспектор узнать? Кто-то наябедничал. Кто?

Володя оглянулся на Длинного.

У того горели уши, пугливо шныряли глаза...

Плохо стало в классе. Каждая, даже небольшая, проказа и малейшая шалость становились известны инспектору. Ежедневно кого-нибудь то в карцер, то без обеда. Мальчики стали подозрительны. Боялись дружить. У всех вертелась мысль: «Кто же, кто ябедничает инспектору?»

Однажды в перемену Володя увидел: из кабинета инспектора выскочил Длинный и, прячась, шмыгнул в ребячью толпу. «Он», — понял Володя.

— Он ябедничает, — сказал Володя товарищам.

Многие уже и сами догадывались.

— Я его изобью! — сжимая кулаки, возмущался Дима Андреев, Володин товарищ.— Ребята, подстережем его на улице, проучим.

— Лучше по-другому проучим,— сказал Володя.— Объявим бойкот.

— Что такое бойкот?

— Не разговаривать, не отвечать на вопросы, не замечать, будто его нет.

Как раз вошел Длинный. Глаза, как всегда, жалко суетились и бегали. Он заметил, все умолкли при его появлении.

— Какой сейчас у нас будет урок? — спросил Длинный.

Никто не ответил. Один мальчик подбежал к доске, написал крупно: «С ябедами не разговариваем» — и быстро стер тряпкой.

Длинный съезжился и, втянув голову в плечи, ушел за свою парту.

Володя его презирал. Когда Длинный попадался на встречу, Володя глядел мимо. И все так. Длинный остался один, совершенно один. Никто не говорил с ним ни слова. На него не глядели. Не замечали.

Шли дни. Шла неделя, другая, третья. Доносов не стало. Второклассников не сажали каждый день в карцер.

— Он перестал ябедничать, мы его проучили,— говорили между собой второклассники. Но по-прежнему не замечали его.

Раз после уроков Володя вбежал в пустой класс взять забытую книжку. Длинный сидел на последней парте и плакал. Володя подошел:

— Ты раскаялся? Ты больше не будешь?

Длинный поднял дрожащее, залитое слезами лицо. С ним говорили, он не верил ушам!

— Никогда, никогда! — залепетал он.— Я от страха. Я боялся, что инспектор прогонит меня из гимназии за то, что плохо учусь. Не могу я так жить, без товарищей!

— Будь сам товарищем, и у тебя будут товарищи,—

ответил Володя.— Ну ладно, мы верим. Уговорю ребят, что тебе можно верить.

И бойкот Длинного во втором классе кончился. Никто не поминал прошлого. Длинный получил урок на всю жизнь... И все второклассники получили урок.

ТРЕВОЖНО

Брат Саша не любил гимназический казенный дух и муштру. А учился отлично, кончил с золотой медалью. Володя тоже не любил гимназические порядки и тоже учился отлично, был выдающимся учеником с первого до последнего класса.

Когда Володя был в младших классах, отец опасался: приучится ли Володя к труду? Уж очень был он способен, легко схватывал новое. После папа убедился, как настойчиво умеет Володя работать. Да и то сказать, было у кого научиться: в доме царило глубокое уважение к труду.

Саша кончил гимназию и поступил в Петербургский университет. Перед отъездом Саши в Петербург братья пошли на Старый Венец — так назывался в Симбирске высокий берег, круто обрывавшийся к Волге. Братья с детства любили Старый Венец. Просторное небо над ним. Просторные открываются дали.

— Что тебе нравится более всего в человеке? — спросил Володя.

— Труд. Знания. Честность, — ответил Саша. И, подумав, добавил: — По-моему, такой наш отец.

Сашины слова о папе вспоминались и вспоминались Володе сейчас. У Володи выдержанный характер, но и его начинала брать тревога: папа в поездке по деревенским школам. Давно пора бы вернуться, а его нет и нет.

Володя занимался в своей маленькой комнате на антресолях. Маленькой комнатке, где всегда безупречный порядок. Не брошена на пол бумажка, не захламлен пись-

менный стол. Рядом такая же комнатка Саши. Пустая. Третий год Саша учится в Петербургском университете. И Анюта — в Петербурге на Высших женских курсах. Володя скучает по Анюте и Саше, особенно по Саше. Когда Саша жил дома, они обсуждали прочитанные книги, часами говорили о жизни.

— Однако довольно предаваться воспоминаниям, — оборвал себя Володя, — за дело!

Уроки выучены. Как в детстве, аккуратно приготовлен на завтра ранец. Весь вечер Володя читал. У него был громадный план чтения! Сюда входила история, книги об устройстве общества и жизни народа, и художественная литература — Тургенев, и Пушкин, и, конечно, Толстой.

Гимназические учителя не знали, что, кроме того, он читал книги Добролюбова, Писарева, Белинского, Герцена. Эти книги говорили о том, чего никогда Володя не слышал на уроках в гимназии. Они открывали глаза на несправедливости в обществе.

...Володя оторвался от страниц, взглянул на часы. Ух как зачитался! Надо проведать маму. Он сунул книжку в стол и побежал вниз, в столовую.

Мама была не одна. Друг отца Иван Яковлевич Яковлев по-соседски зашел на часок. Он был чувашом, служил инспектором чувашских училищ, был образованным, горячим защитником своего маленького, забитого царской властью народа.

Неторопливый, полный достоинства, Яковлев прочувствованно говорил маме:

— Наш Илья Николаевич тем удивителен, тем благороден, что в своей деятельности заботится не об угождении начальству, а о пользе народной. Множество добра сделал Илья Николаевич и нам, чувашам, и мордвинам. Сколько школ пооткрывал. Власти не дают открывать чувашские школы, а он хлопочет, из последних сил добивается.

Мама сказала:

— Долго что-то не едет. Как я за него беспокоюсь!

— А вы погодите нервничать, Мария Александровна. Илья Николаевич больно уж человек увлекающийся, задержался где-нибудь в школе. Да и дорога неблизкая.

Из зала слышалась музыка. Оля играла Чайковского. Все примолкли и слушали.

Но что это? Бубенчики. Ближе. Звонче. Сюда, к нам! Володя вскочил. И мама порывисто встала, лицо оживилось, глаза заблестели:

— Володя, дети, папа приехал!

Да, теперь слышали все, бубенчики залились под окном и остановились возле ворот. Илья Николаевич, в тупе поверх форменной шинели, вошел с ледяными сосульками в бороде, весь замороженный.

— Здоров, слава богу, здоров! — облегченно воскликнула мама.

Все помогали отцу раздеваться. Тащили домашнюю куртку и туфли. Накрывали на стол. Усаживали отца, угощали. Растроганный, согретый, отец смущенно поглаживал бороду:

— Ну-ка, ну-ка, после дорог-то, вьюжных да холодных, дома-то как хорошо!

Когда первые восклицания кончились и морозный румянец остыл на щеках Ильи Николаевича, Володе показалось, папа сильно устал. И печален. Иван Яковлевич Яковлев тоже заметил, друг вернулся из губернии невесел.

— Плохое что встретилось, Илья Николаевич?

Горькая складка прочертилась у Ильи Николаевича на выпуклом лбу.

— Представьте степное селишко, от Симбирска верст полтора, от проезжего тракта тридцать в сторону, глушь. Школа посредине стоит. Как бобыль, одинокая. Всю продувает ветрами. При школе комнатенка учительницы. Ни газеты, ни книжки. Дров нет. Мыслимое ли дело, дров не запасли на зиму школу топить! А все оттого, что богатею, старосте сельскому, не угодила



Илья Николаевич, в тулупе поверх форменной шинели, вошел с ледяными сосульками в бороде, весь замороженный.

учительница, головы не склонила. Травит, ест поедом. И заступиться некому...

— Папа, ведь ты заступился! — воскликнул Володя.

— Заступился, да уехал. А она снова одна, учительница наша, там осталась в поединке с богатеем. Богатей все село в кулак захватил. Никаких прав у крестьян. Земли мало. Вся земля у богатеев и помещиков. Беднота с половины зимы без хлеба сидит.

Илья Николаевич зашагал по комнате, расстегнул воротник, ему было душно, что-то тоскливое было в глазах.

— Голубчик мой, — с беспокойством проговорила Мария Александровна. — Устал ты, отдохнуть тебе надо.

— Эх, Машенька, где уж тут отдыхать? Школы-то меня по всей губернии ждут. Школам-то нашим больно несладко живется.

— Голубчик, тревожно мне за тебя.

— Ничего, Машенька, я еще крепок. А кругом молодые дубки поднимаются.

Он обнял Володю. Володя вытянулся. Как отец, был немного скуласт, так же огромен был лоб. Ласка отца его тронула. Но он был застенчив. И лишь молча улыбнулся в ответ.

ОТЕЦ

Зимние каникулы подходили к концу. Скоро Ане возвращаться в Петербург на Высшие женские курсы. Аня приехала домой на каникулы, а Саша нет. Саша писал реферат, по горло был занят в биологическом и литературном кружках. Да и ехать вдвоем получалось накладно. В Симбирск железная дорога не шла, ехать надо до Сызрани, от Сызрани на лошадях верст полтора ста. Путешествие слишком дорого стоило.

Соскучившись о доме, Аня радовалась каждой мелочи. Фикусам и олеандрам в столовой и зале — мама чудесно выхаживала цветы! От цветов было празднично в доме.

Радовалась пестрым половичкам на полу. Милому роялю, на котором теперь, кроме мамы, с большим искусством играла сестра Оля. Белому снегу за окнами, белому саду.

Все каникулы Володя не отходил от сестры.

— Поговорим? — звал Володя, когда смеркалось.

Они устраивались в зале, в уголке на диване, не зажигали огня. Иногда подсаживалась к ним Оля и тоже слушала Анютины рассказы о Петербурге, студентах, студенческих землячествах и сходках.

«Когда же, когда же и мы поедем учиться в Петербург?» — мечтали Володя и Оля.

В этот день, 12 января 1886 года, как обычно, пошумничали в зале. Скоро Ане уезжать. Чемодан уложен. Совсем скоро в дорогу! И жалко расставаться с домом, и тянет к оживленной питерской жизни.

— Дети, пить чай! — позвала мама.

Молодежь поднялась идти в столовую. Мимо папиного кабинета, по детской привычке, на цыпочках.

Отец очень был занят. Составлялся годовой отчет о работе школ: Илья Николаевич с утра до ночи писал. Целые дни к нему приходили инспектора и учителя обсуждать выполнение программ и успехи учащихся. Отчет директора народных училищ все рос, не видно было конца. И сейчас из папиного кабинета вышел могучий, широкоплечий Иван Яковлевич Яковлев.

— Илья Николаевич! Хоть часок отдохните, совсем ведь заработались! — сказал на прощание Иван Яковлевич. — Что это, право, не разогнете спины?

— Вот уж закончу отчет, тогда уж... кхэ, кхэ...

Иван Яковлевич покачал головой, уходя.

В раскрытую дверь Володя увидел ссутулившуюся папину спину. Он сидел у стола, подперев висок кулаком. «Поощады папа себе не дает», — подумал Володя.

Но в столовой было так тепло и уютно, на подносе тоненько посвистывал самовар: тревожные мысли рассеялись, на душе снова стало светло. Опять они заговорили

с Аней о Володиной будущей студенческой жизни. И о том, что Саша, наверно, будет ученым: у Саши способности и все задатки ученого. А Оля, может быть, станет музыкантшей — такие прекрасные успехи делает на рояле! — великолепная музыкантша выйдет из Оли при ее-то труде и упорстве! Мама отнесла папе в кабинет стакан крепкого чаю и вязала у самовара, слушая разговоры детей. Немного спустя появился из кабинета отец, остановился у порога. Обвел всех долгим, пристальным взглядом. Молча ушел.

«Папа не такой, как всегда», — кольнуло Володю.

Мама беспокойно сдвинула брови, но не бросала вязать. Разговоры продолжались. Мирно тикал маятник стенных деревянных часов.

— Пойду проведу папу, — внезапно решила Мария Александровна.

Отложила вязанье и торопливо пошла в кабинет.

— Дети! — послышался ее отчаянный крик.

Они прибежали.

Отец лежал на диване, съезжившись, с потухающим взором. Жестокий озноб бил его, тело содрогалось. Мама, упав на колени, кутала пледом ноги отца, стараясь согреть.

Побежали за доктором. Захлопали двери. Слышался чей-то плач, испуганный шепот. Отец лежал без сознания. Дети, потрясенные, стояли над ним.

Через час у детей не стало отца.

Гроб поставили в зале. Три дня мама не отходила от гроба. Стояла безмолвная. Девочки плакали. Володю душили слезы. Он крепился. Только иногда убегал в свою маленькую комнату на антресолях. «Папа, умный, любимый! Неужели тебя нет? Как нам быть без тебя?»

Множество людей приходили проститься с Ильей Николаевичем. Приходили учителя, ученики и друзья. Володя знал, отец делает важную и полезную для народа работу, но только теперь понял, как много доброго сделал отец для людей!

Хоронили Илью Николаевича в морозный, блистающий день. Пушистые от инея, недвижно стыли деревья. Красные снегири беспечными стайками перелетывали с ветки на ветку. Ветки качались, осыпая серебристые струи. Люди несли гроб. Впереди на руках учеников Ильи Николаевича плыли венки.

«Отец, прощай! — горько думал Володя. — Милый наш папа, за все спасибо тебе».

ПЕРВОЕ МАРТА

Еще при жизни отца Иван Яковлевич Яковлев привел однажды к Володе молодого чуваша, учителя из чувашской школы — Охотникова. У Охотникова не было законченного образования.

— Надо его подучить за восемь классов гимназии, — сказал Яковлев. — Потом в университет поступит. Очень нужны чувашскому народу просвещенные люди!

Володя согласился заниматься с Охотниковым. Бесплатно, потому что при большой семье жалованье у Охотникова было маленькое, едва хватало прожить. Когда Илья Николаевич умер, Володя особенно старательно стал заниматься с Охотниковым. Как бы в память отца. Отец ведь так заботливо хлопотал о чувашских школах, так много помогал.

— Большой человек. Жил для пользы народа, — вспоминал Охотников Илью Николаевича.

Все чаще Володя задумывался: как жить для пользы народа? Вот он учит крестьянского сына Охотникова. А еще? Еще Володя начал уже понимать, что настоящие защитники народа — революционеры. Но Володя не знал точно, как заниматься революционной борьбой. Он не любил гимназические суровые и злые порядки. Не верил в бога, сорвал с себя крест. Он много думал о том, как несправедливо устроено общество: богатые бездельничают, бедные не покладая рук трудятся. А все равно бед-

ны. Разве справедливо? Он не любил царя. В гимназическом зале висел огромный, от пола до потолка, портрет царя Александра III. У царя тяжелое лицо. Глаза пустые и тусклые. Царь деспот. Но как с ним бороться?

Думает ли об этом Саша там, в Петербурге? Или Саша далек от политики и занимается только наукой? Володя не знал. То, что случилось в Петербурге 1 марта 1887 года, для Володи, для мамы, даже для Ани, которая особенно с Сашей дружила, постоянно в Петербурге с ним виделась,— то, что случилось, было для всех как гром среди ясного неба.

В классе шел последний урок. Восьмиклассники слушали объяснения учителя.

Прозвенел звонок. Учитель оставил класс. Гимназисты собирали тетради и книги. Все было обычно. Но возле гимназии Володю дожидался посыльный:

— От Веры Васильевны. Велела прийти, да живее!

Вера Васильевна Кашкадамова была учительницей, давним другом отца. Володя со всех ног побежал.

У Веры Васильевны дрожали губы, глаза были красны от слез. Протянула письмо.

Писали из Петербурга. 1 марта группа студентов покушалась на жизнь царя Александра III. Покушение не удалось. Студенты арестованы. Среди них Александр Ульянов.

Долго не мог Володя выговорить слова, прочитавши письмо. Саша! Брат. Тонкий, высокий, с большими задумчивыми глазами, талантливый Саша! Что с тобой будет?

Надо подготовить маму. Как ей сказать, что Саша арестован? И Аня арестована.

Прошло немного больше года после смерти отца. Мама еще носила траур по папе. Не заплакала, не забилась от горя, только сразу осунулась. В черном платье, такая серьезная, скорбная, что у Володи больно заняла душа, мама распорядилась, что делать по дому, как жить. А сама сегодня же собралась в Петербург. Скорее найдите ло-

шадь до Сызрани! Найдите попутчика. Из Симбирска ведь часто ездят в Сызрань.

Володя обходил дом за домом, где собирались ехать в Сызрань: «Возьмите, пожалуйста, маму!»

Но весть о покушении Саши на царя и аресте уже облетела весь Симбирск. Никто не хотел брать Марию Александровну. «Нет у нас лишнего места в санях. Нет и нет». И отводили глаза. Володин ученик Охотников вместе с ним обошел домов, наверное, десять. «Пожалейте мать». Нет, не пожалел никто.

Охотников побежал к земляку-чувашу. Упросил.

Чуваш помнил Илью Николаевича, повез Марию Александровну в Сызрань.

Володя остался старшим в доме. Самой младшей, Маняше, всего восемь лет.

— Поиграй со мной, Володя,— просила Маняша.— Отчего ты совсем не смеешься, Володя?

Володя заставлял себя поиграть с маленькой сестренкой, а улыбнуться не мог. «Саша, Саша! Что с тобой делают?»

Наступил май. В гимназиях начались экзамены. Володя и Оля держали экзамены. Молчаливые, окаменелые, приходили в актовые залы. Ждали вызова. Учителя поражались ответам — брат и сестра отвечали блестяще. Отвечали блестяще... А в газете «Симбирские губернские ведомости» было уже напечатано, что сын покойного директора народных училищ Александр Ульянов...

Четвертый раз в эту последнюю гимназическую весну Володя шел на экзамен. Весенний птичий гомон полнил улицы. Две тонконогие девчонки прыгали через веревочку на деревянном тротуаре. Все было обычно, и все полно жизни, движения.

Возле фонарного столба увидел людей. Какая-то бумажка была приклеена на столбе. Люди читали. Вон папин знакомый чиновник. Заметил Володю, отвернулся и поспешно зашагал прочь от столба. Соседка тоже отвернулась. Люди разошлись. Володя медленно приблизился.

Прочитал объявление. Потемнело в глазах. Пять студентов, покушавшихся на жизнь царя Александра III, восьмого мая были казнены. Сашу казнили.

Мало, что сообщили в газетах,— по всему городу висели объявления о казни.

Тишина, полная ужаса, встретила Володю в актовом зале гимназии. Володя раньше всех решил задачи по геометрии и тригонометрии, сдал учителю тетрадь и ушел. Ушел на Старый Венец.

Весенняя полная Волга несла к морю Каспию вольные воды. Шел небольшой пароходик, тянул на буксире баржу. Все было тихо, спокойно. Что они сделали с Сашей!

Через неделю вернулась из Петербурга мама. Володя увидел, мама совсем поседела, у нее стали белые волосы.

ПРОЩАЙ, СИМБИРСК!

Почти все симбирские знакомые отвернулись от них. Избегали. Когда Мария Александровна шла по улице, встречные торопливо переходили на другую сторону, чтобы не здороваться с матерью казненного сына.

Прямая, высоко подняв голову, шла по городу мама. Не плакала, не говорила о Саше. «Сильная, гордая мама!» — с уважением думал Володя.

Как трудно и горько было им! Один Иван Яковлевич, верный товарищ Ильи Николаевича, преданный друг, не оставлял семью Ульяновых. По-прежнему навещал дом. Сядет возле мамы, опершись на толстенную сучковатую палку, и молчит. Или обсуждает с мамой, как жить Ульяновым дальше. Где жить?

Володя окончил гимназию. Учителя сомневались и спорили: возможно ли брату казненного дать золотую медаль? Но Володя так великолепно выдержал выпускные экзамены, так превосходно, что постановили: все-таки дать.

— Надо Володе поступать в университет, — делилась мама с Иваном Яковлевичем. — Но ведь в Петербурге не примут?

— Не примут. И пытаться напрасно.

А если бы даже и приняли, маме не хотелось отпускать Володю одного в Петербург.

Ехать же в столицу всей семьей невозможно — слишком дорога столичная жизнь, не под силу.

После смерти отца трудно стало Ульяновым. Дети учились, никто не зарабатывал. Маме дали пенсию за отца, но скудную: каждую копейку приходилось рассчитывать, ведь пятерых детей надо кормить, одевать, обувать.

Из Симбирска решили уехать. «Уедем от родного нашего дома, где каждый уголок напоминает бывшее счастье. От нашего сада, где любимо и дорого каждое дерево. От бывших друзей и знакомых, которые все стали чужими».

Нет, не все. Володин ученик Охотников не стал чужим. Учительница Вера Васильевна Кашкадамова не стала чужой. Напротив, в беде теснее сблизилась с мамой.

В симбирской газете появилось объявление: «По случаю отъезда продается дом с садом, рояль и мебель. Московская улица, дом Ульяновой».

Дом стал похож на проходной двор. Постоянно у подъезда звенел колокольчик. Являлись покупатели, ходили по комнатам. Высматривали, трогали, щупали вещи. Оглядывали маму, шушукались. Мама стояла у двери, бледная, с черной кружевной наколкой на белых волосах. Володе хотелось загородить маму от недобрых, щупающих взглядов.

«Мама! Не показывай им наше горе, этим равнодушным людям, они не сочувствуют, у них одно любопытство».

Володя старался быть строгим и сдержанным, как мама. Чтобы не дрогнуло лицо. Не скатилась слеза.

Стоял прямой, несгорбленный.

И думал, думал о Саше. «Саша, ты ненавидел царя.

Ты хотел убить царя. Ты надеялся, тогда порядки изменятся, людям будет лучше. Но ведь шесть лет назад, в 1881 году, также 1 марта, революционеры-народовольцы убили царя Александра II. Разве лучше стало жить людям? Нисколько. На место царя Александра II сел новый царь — Александр III. Лучше стало? Нисколько. Значит, по-другому надо бороться».

Так думал Володя.

А колокольчик у входной двери все звенел да звенел. Входили новые покупатели. Щупали, трогали, вытаскивали из дома Ульяновых вещи.

Только рояль никто не купил.

Володя погладил прохладную крышку. «Все наше детство и счастье связано было с тобой».

Рояль поехал с Ульяновыми в город Казань.

КАЗАНСКАЯ СХОДКА

Запрещается читать недозволенные книги. Запрещается состоять в кружках и обществах. Запрещается образовывать землячества. Запрещается... Запрещается... За нарушение выговор. Карцер, штраф, исключение. И даже... отдача в солдаты, в дисциплинарный батальон.

Володя Ульянов, став студентом, надеялся, что в Казанском университете порядки свободнее, чем в Симбирской мужской гимназии. Куда там! За каждым шагом и словом студентов наблюдали «педели» — так прозвали в университете надзирателей, приставленных ходить по пятам, выслеживать, нет ли чего подозрительного. Не говорит ли кто против царя и правительства? Против начальства? Против инспектора Потапова? Инспектор Потапов был грубый громоздкий мужчина, с широкой бородой, как у царя Александра III, и оловянными глазами, в которых не светилось ни искры души. «Педели» являлись к Потапову доносить на студентов. Потапов составлял списки виноватых и без пощады вышвыривал вон из

университета. Особенно бедных студентов. Бедным все труднее становилось учиться: плату за обучение увеличили в несколько раз.

Угрюмо, тягостно было в Казанском университете. Как в тюрьме.

Вся Россия была как тюрьма.

Наступило 4 декабря 1887 года. В этот день в газете напечатали сообщение о студенческих беспорядках в Москве. А казанские студенты давно были недовольны своим беспорядком. Среди казанских студентов появилось тайное воззвание: «Встаньте за свои права! Боритесь!»

Первые лекции прошли, однако, тихо. В двенадцать часов раздалось:

— Студенты! В актовЫй зал на сходку!

— На сходку! — загремело по коридорам университета.

Толпа буйно помчалась вдоль коридора, вверх по лестнице, в актовЫй зал на втором этаже. Среди первых мчался Володя Ульянов.

Двери в актовЫй зал были заперты. Студенты навалились, двери с треском распахнулись. Студенты ворвались в чинный актовЫй зал.

— Товарищи! — объявил председатель сходки. Вмиг наступила тишина. — Товарищи! Нет выше слова — товарищи! Клянемся поддерживать друг друга. Защищать свои требования. Мы требуем свободы, законности, правды...

В зале появился инспектор, бородатый, плечистый Потапов.

Студенты не любили его. Ненавидели.

— Господа! Именем закона требую, разойдитесь немедленно!

— Вон! Вон отсюда! Долой! — закричала толпа.

Свист, крики полетели со всех сторон на Потапова. Инспектор испугался, бежал из актового зала, кулачищами расчищая дорогу.

Пришел на смену ректор. Что-то он скажет?

Студенты затихли. Ректору вручили петицию.

«Русская жизнь невозможна. Студенческая жизнь невозможна!» — говорилось в петиции.

— Успокойтесь, господа, — не зная, как усмирить разгоряченное юношество, принялся уговаривать ректор.

— Значит, вы не согласны выполнять наши требования? — снова забушевали студенты. — Товарищи, в знак протеста оставляем университет. Уходим. Сдавайте билеты!

На кафедру ректора лег первый билет. Потянулись руки. Студенты швыряли студенческие входные билеты. Десять... двадцать... девяносто девять студентов не пожела-ли оставаться в университете. «У студентов нет прав. Не хотим быть бесправными».

Володя Ульянов тоже положил свой билет. В этот день к вечеру он был исключен из университета.

Ночью его арестовали. А через несколько дней исключенного студента Владимира Ульянова выслали под надзор полиции в деревню Кокушкино.

ПОДНЕВОЛЬНЫЙ В КОКУШКИНЕ

Там уже жила Аня. Ее посадили в тюрьму безо всякой вины. За то, что сестра Александра Ульянова. Без вины присудили к высылке на пять лет в Сибирь. Мама хлопотала, подавала прошения, и Анне Ульяновой разрешили отживать срок в Кокушкине.

Зима стояла студеная, вьюжная. Флигелек, где поселились высланные брат и сестра, продувало насквозь. Ночами свистело, завывало в трубе. До окон наметало сугробы. Тоскливо было в зимнем Кокушкине.

Временами наезжал урядник. Выспрашивал кокушкинских крестьян:

— Как Ульяновы?

— Ничего. Хорошие люди. Ученые люди.

Уезжал урядник ни с чем.

Всю зиму Володя читал. С утра до ночи. Любимым писателем его в эти месяцы стал Чернышевский. Самым дорогим и прекрасным писателем! Революционность Чернышевского покоряла Володю. Чернышевский объяснял устройство русского общества. Властвуют царь, чиновники, фабриканты, помещики. А крестьянам и рабочим тяжело, нестерпимо. Володя знал, как живут кокушкинские крестьяне — тяжело, бедно. Володя помнил, как, вернувшись из поездок по школам, отец рассказывал о безземелье симбирских крестьян. Прав Чернышевский! Чернышевский показывал неустроенность русской жизни. Звал бороться. Звал к революции. Книга Чернышевского «Что делать?» была запрещенной. Эти страницы читал Саша. Так же тайно, запершись на ключ, плотно завесив окошки. Дорогие страницы! Володя перечитывал их много раз.

Новое и новое открывалось ему.

Поздним вечером, начитавшись, он звал сестру Аню в сад. Они ходили взад и вперед узенькой дорожкой, протоптанной ими в снегу. Володя рассказывал Ане о прочитанных книгах. О мыслях, мечтах, цели жизни. Какая у Володи цель жизни? Революционная борьба. Всю жизнь, все силы он хочет и мечтает отдать на борьбу против царя и богатых классов. За счастье и свободу народа.

Зимняя ночь миллионами звезд глядела на соломенную деревеньку Кокушкино, на одинокий флигелек в саду, заброшенный и печальный.

Глухая деревенская тишина кругом.

Но вот пришла весна.

Тронулся лед, расковал реку Ушню.

Бурно побежали по оврагам ручьи. Глянули голубые подснежники. Жаворонки зазвенели. Светлой зеленью распушились березы.

Как дальше будет жить Володя Ульянов? Революционная борьба — его единственная, главная цель. Но надо зарабатывать деньги на жизнь. Необходимо окончить университет, получить диплом, иметь специальность.

Весной Володя подал прошение в Казанский университет. Инспектор Потапов помнил декабрьскую сходку, горящие глаза студента Ульянова. Ни за что инспектор Потапов не позволит Ульянову вернуться в университет. Володе отказали.

К концу лета Мария Александровна подала прошение министру просвещения: разрешите моему сыну поступить в университет — в Москве, или Киеве, или Харькове, все равно...

Господин министр просвещения ответил: бывшему студенту Владимиру Ульянову не разрешаю поступать в университет.

Осенью Владимир Ульянов обратился к министру внутренних дел с просьбой отпустить его за границу. Он решил учиться в заграничном университете, если здесь, дома, не дадут закончить высшее образование.

Министр внутренних дел отказал.

И еще раз Владимир Ульянов обращался с просьбой к министру. И еще раз власти отказали Ульянову.

Ну что ж, придется самому изучать университетский курс. К тому времени семья Ульяновых поселилась в Самаре. Там, в Самаре, бывший студент Владимир Ульянов за полтора года самостоятельно изучил четырехлетнюю программу юридического факультета и отправился в Петербург на экзамены.

САМАРСКИЕ ГОДЫ

— Владимир Ильич Ульянов! — вызвал председатель испытательной комиссии при Петербургском университете.

Ульянов взял билет. Вопросы достались трудные. Се- доволосые важные профессора внимательно слушали. Слегка скуластый молодой человек, с искристыми, чуть суженными глазами, знал предмет глубоко и свободно. Профессора обменялись мнениями.

— Провинциал, из Самары, а как хорошо подготовлен! — одобрил один.

— Давно не слышал таких превосходных ответов! — согласился другой.

Третий без слов поставил отметку: «Весьма удовлетворительно».

Мнение было общим: Ульянов заслуживает весьма удовлетворительной оценки. Самой высокой оценки на выпускных университетских экзаменах!

— Поздравляю, господин Ульянов! — сказал после экзаменов один профессор.

— Спасибо! — ответил Владимир Ильич.

Настроение у Владимира Ильича было превосходное. Он еще мало знал Петербург и в свободное время любил бродить с сестрой Олей по Невскому проспекту, набережным, Летнему саду, знакомиться с городом, великолепными дворцами, музеями. Оля жила этот год в Петербурге, училась на Высших женских курсах.

Сдав экзамены, Владимир Ильич направился к Оле. Хотелось поделиться радостью. Солидный профессор поздравил — по всем предметам получены высшие отметки. Не зря поработал. Скоро совсем переедет в Петербург и начнет свою самую важную работу, революционную работу.

Он весело шагал к сестре, в общежитие на Васильевском острове.

«Вытащу Олю, побродим по Неве. А там и летние каникулы недалеко, поедem вместе в Самару».

Вошел в комнату. Оля, горячая, красная, в беспамятстве металась на подушках. Волосы растрепались, пылающие губы растрескались.

Она все что-то ловила руками, о чем-то молила.

— Мама! — слышалось сквозь бессвязную речь. — Спаси меня, мамочка!

Владимир Ильич взял ее руку, она не узнавала, вырывалась. Он отвез сестру в больницу, вызвал телеграммой мать.

В Самаре не было железной дороги. Пока Мария Александровна добралась до Петербурга, Оле совсем стало плохо. Умерла она 8 мая 1891 года. Четыре года назад в этот день был казнен Саша.

Владимир Ильич вел маму под руку за гробом. Все существо протестовало против этой бессмысленной гибели. Девятнадцатилетняя девушка, прелестная, умная, так временно умерла, так обидно! Мама шла за гробом, крепко сжав губы, без слез.

Вырос на кладбище свежий холмик. Олины подруги уложили могилу цветами.

Похоронили Олю, и Владимир Ильич с матерью вернулись в Самару, домой.

Самарские годы были важным временем в жизни Владимира Ильича. Там он подготовился к университетским экзаменам. Там познакомился ближе и глубже с учением Маркса.

Великий немецкий ученый и революционер Карл Маркс написал знаменитую книгу «Капитал» и вместе со своим другом Фридрихом Энгельсом «Манифест Коммунистической партии». Карл Маркс доказывал: рабочий класс победит капиталистов, возьмет власть в свои руки и устроит на земле новое, коммунистическое общество. С необычайным волнением Владимир Ильич читал Маркса. Учение Маркса до глубины души увлекло и захватило его. Убедительно, ясно открылся путь в будущее. Выбран путь. Навсегда.

Люди, следовавшие учению Маркса, назывались марксистами. Владимир Ильич стал марксистом. Организовал и возглавил в Самаре марксистский кружок, разъяснял и пропагандировал Маркса. Конечно, пропагандировать Маркса можно было только тайно, чтобы не попасться в лапы жандармов.

После экзаменов Владимир Ильич стал помощником присяжного поверенного в самарском суде, много раз выступал в защиту крестьян и бедных людей.

Работал, учился и мечтал вырваться из Самары в

крупный промышленный город, лучше всего в Петербург. Там много заводов и фабрик. В Петербурге мощный рабочий класс. Вот куда рвался Владимир Ильич.

Давно бы уехал он в Питер, да жаль было маму. Мама тосковала об Оле. Владимир Ильич старался заботой и нежностью скрасить печальные мамины дни.

Осенью 1893 года Ульяновы уехали, наконец, из Самары. Мите пришло время поступать в университет, он выбрал московский. И Мария Александровна переехала с Митей и Маняшей в Москву.

Анна Ильинична вышла замуж. Муж, Марк Тимофеевич Елизаров, в петербургские студенческие годы был товарищем Саши. Тогда они с Анной Ильиничной крепко сдружились — сблизило горе, сроднила беда. Жили Анна Ильинична и Марк Тимофеевич с Ульяновыми общей семьей. Вместе и в Москву перебрались.

Владимир Ильич поехал в Петербург один, полный сил и революционной энергии.

ЗА НЕВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

Был вечер. На петербургских улицах тускло светились фонари. Редкие пешеходы спешили по домам.

Владимир Ильич ехал в конке. Конка дребезжала, качалась с боку на бок на рельсах. Пара гнедых лошадей, мотая головами, усердно тащила вагончик. Окна замерзли, не видно было, где едут. Ехать далеко. За Невскую заставу, на рабочий кружок.

Когда Владимир Ильич садился в конку, следом за ним вскочил на подножку маленький человечек в темных очках. Владимир Ильич заметил его на остановке. Он стоял, закрывшись газетой, будто читает, а сам подглядывал за Владимиром Ильичем. «Шпик», — понял Владимир Ильич, когда человечек проворно вскочил в конку.

Владимир Ильич сел у самого выхода, поднял воротник и стал думать, как уйти от шпика. Притворился, что

дремлет, а сам дышит на стекло, чтобы оттаял кружочек, чтобы глядеть — не пропустить остановку. Он знал одну остановку, где можно улизнуть от шпики. Скосил глаза на окно, смотрит в оттаявший кружок, не пропустить бы. Не долго осталось. Теперь и вовсе не долго. Следующая остановка.

— Кому сходить? — спросил кондуктор.

Все молчат. И Владимир Ильич молчит.

Лошади тронулись, и тогда Владимир Ильич вскочил с места и выпрыгнул из конки. И со всех ног — к проходному двору. Позади слышался суматошный звон колокола: звонил кондуктор. Конку остановили. Но Владимир Ильич уже добежал до проходного двора. Юрк в ворота. Шпик тоже соскочил с конки, да поздно. Оглянулся направо, оглянулся налево. Никого.

А Владимир Ильич через проходной двор выбрался на другую улицу и благополучно пошел на кружок.

Кружок собирался на квартире Ивана Бабушкина — слесаря с механического завода за Невской заставой. Завод по имени хозяина назывался Семянниковским. За Невской заставой было много заводов и фабрик. Утром, еще темно, на разные голоса начинали гудеть заводские гудки. По-темному шли на работу рабочие. А кончали работать ночью. Совсем солнца не видели. Беспросветная жизнь! Но ведь нельзя же, нельзя же вечно так жить!

Рабочие тайно от полиции собирались на квартире слесаря Бабушкина, обсуждали свое положение.

И в этот вечер собрались и ждали лектора Николая Петровича. На самом деле это был Владимир Ильич. Он назвался Николаем Петровичем, чтобы шпики и полицейские не узнали, кто он.

Зачем же Владимир Ильич приезжал на рабочий кружок за Невской заставой? И на другие кружки?

Затем, что хотел, чтобы все рабочие узнали учение Маркса. Маркс учил: рабочие есть та сила, которая может перестроить общество. Если рабочие захотят и сумеют восстать против фабрикантов и против царя, никто их

не сломит. Значит, надо объединяться рабочим. Надо поставить цель и идти к своей цели. Какая у рабочих может быть цель? Одна. Взять власть в свои руки. Устроить государство трудящихся. Прекрасное государство, справедливое общество! Маркс назвал это общество коммунистическим.

ПЕРВАЯ КНИГА

В то время, когда Владимир Ильич занимался в кружке слесаря Ивана Васильевича Бабушкина за Невской заставой, немало рабочих марксистских кружков собиралось в разных концах Петербурга. Когда Владимир Ильич приехал в Петербург, прежде всего начал искать связи с революционерами-марксистами.

— Товарищи! — сказал Владимир Ильич. — Надо нам всем нести учение Маркса в рабочие массы. Надо объединиться с рабочими и подготавливать революцию.

Так образовался революционный Союз, который после стал называться «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». Сначала «Союз борьбы» был только в Петербурге, а потом и в других городах.

Вот какое громадное дело поднял Владимир Ильич!

Но Владимир Ильич не только кружками руководил то за Невской, то за Нарвской заставами, то на Васильевском острове. Была у него еще одна важная работа. Лишь выпадал свободный час, Владимир Ильич занимался этой работой. Днем, поздно вечером, иногда даже ночью Владимир Ильич писал. Книга, которую писал Владимир Ильич, была страшна для капиталистов. Она рассказывала рабочим, как вернее бороться с властью капитала, как организованнее вести эту борьбу.

Скоро Владимир Ильич закончит книгу. Товарищи-марксисты тайно ее отпечатают и распространят по рабочим кружкам.

Поздно. В комнате Владимира Ильича за тюлевой за-

навеской встала черная тьма. В доме напротив окна погасли. Наступила ночь. Город спал.

Владимир Ильич отложил перо и встал из-за стола. Сделал три шага. Комната маленькая, но он любил пошагать.

— Дорога одна. Русский рабочий пойдет этой прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции, — вот о чем думал и писал Владимир Ильич. Книга его звала русских рабочих к победоносной коммунистической революции.

Еще никто никогда не обращал к русским рабочим таких смелых призывов.

А было Владимиру Ильичу в то время всего двадцать четыре года. Он был совсем молодым. Он много знал. И верил: русские рабочие совершат революцию.

БУНТ НА СЕМЯННИКОВСКОМ

На рождество Семянниковский завод, что за Невской заставой, не работал. Под праздник должны были платить рабочим получку. Протяжно, на всю заставу прогудел гудок. Станки остановились.

Иван Бабушкин прибрал инструменты.

Вошел мастер в новых скрипучих сапогах, толстощекий и сытый:

— Ребята, потерпите денег до вечера.

Из углов мастерской послышалось недовольно:

— Своего жди, как милости!

Но ничего не поделаешь, приходилось ждать. Рабочие толпились в мастерской и во дворе, топтались на морозе, дуя в кулаки. Поглядывали на проходную: не несут ли конторщики деньги из банка?

— Лучше бы работать, чем зря болтаться, все лишнее выработаешь, — ворчали рабочие.

Наконец на крыльце конторы появился управляющий в полушубке из белой овчины.

Толпа хлынула к крыльцу.

— Нынче денег нет, завтра будем платить,— объявил управляющий.

И все. Иди домой под праздник с пустыми карманами. Напрасно ждут ребятишки гостинца — баранку или пряник. А у кого и на хлеб ни копейки нет дома.

— Нам шиш, а у капиталиста за день процент на деньги вырос,— сказал Бабушкин.

О таких случаях, какой произошел с ними сегодня, говорил Владимир Ильич на кружке. Объяснял: капиталисту выгодно подольше капитал в банке держать, нарастают проценты. Капиталисту каждый день лишнюю прибыль приносит. А рабочие пускай подождут.

На другое утро вместо отдыха пришлось идти к заводу за жалованьем. Денег опять не платили. Время текло, короткий зимний день шел к концу, а конторщики с деньгами не показывались.

— Братцы, обманули нас! — раздался чей-то гневный голос. Как сигнал.

Люди закричали, кинулись с улицы к проходным.

В проходных образовалась давка. Рабочие в ярости рвали двери с петель, били стекла:

— Получку пла-а-ти!

Просвистел камень, двуглавый орел над заводскими воротами закачался. Полетели камни, палки, куски каменного угля. Разбили фонарь. Толпы рабочих бросились к хозяйской лавке возле завода. Выбили дверь. Ворвались. Топорами и кольями крушили товар.

— Жечь управляющего! — слышался зов.

Толпу понесло к флигелю управляющего.

Флигель притаился, наглухо закрыл ставни. Рабочие навалили к запертому крыльцу поленьев и щепок, плеснули керосину. Пламя вспыхнуло, вскинулся к крыше столб черного дыма и искр.

— Так его, так его, не будет обманывать! — кричали рабочие.

Но издали донесся звук медной трубы. Мчалась по-

жарная часть. Вестовой на жеребце подскакал к горящему крыльцу.

— Пшел вон! — заорал на рабочих.

Примчались пожарные. Оцепили флигель, наставили лестницу, нацелили на огонь брезентовые рукава, — скоро пожар угас.

— Расходись по домам! — распоряжался брандмейстер в пожарной каске.

Народ стоял.

Брандмейстер махнул рукавицей. Поднялся пожарный рукав и принялся стегать по толпе ледяной струей. Люди побежали. Ледяной ливень гнал их, хлестал. Одежда лубянула на морозе.

Только к вечеру привезли деньги из банка. Хозяева побоялись дольше задерживать выплату. За получкой выстроились очереди измученных, угрюмых людей. Платили до ночи. К ночи завод утих.

ЧЕТЫРЕ ЛИСТОВКИ

Жандармы ходили по квартирам, хватали бунтовщиков-семянниковцев. Выкручивали за спину руки, вели в полицейский участок.

— Лавку хозяйскую бил? Садись в тюрьму, за решетку.

— Крыльцо управляющему жег? В тюрьму, за решетку.

Бабушкин ждал: «Придут и за мной».

Поздно вечером в дверь постучали. Быстро, коротко. Сердце упало: «За мной».

Бабушкин немного помедлил и пошел открывать дверь.

Стучался Владимир Ильич. Весь белый от инея, на бровях наморозило сугробики снега. Сбросил пальто и, потирая озябшие руки, зашагал по горнице:

— Ну, говорите! Выкладывайте. Как началось? Что пережили рабочие?

Бабушкину хотелось всю душу вылить Владимиру Ильичу. В памяти стоял вчерашний бунт на заводе, разгром хозяйской лавки, костер на крыльце управляющего. За лавку да за костер жандармы и хватали сегодня рабочих.

— Нет, сознательному рабочему не кулаками надо бороться,— сказал Владимир Ильич.— Напишем об этом листовку.

Они сели рядом за стол. Шепотом, чтобы не услышала хозяйка, обсуждали, о чем будут писать в листовке. О том, что настало время борьбы. Никто не освободит от рабства рабочего. Никто. Только он сам. Не кулаками надо бороться, а организацией.

Товарищи рабочие, объединяйтесь, требуйте свои права у хозяев! — призывала листовка.

Была поздняя ночь. Опершись щекой на кулак, Бабушкин следил за быстрым пером Владимира Ильича. И вдруг клюнул носом:

— Я ничего, ничего, просто так.

— Просто так, сидя уснул! — засмеялся Владимир Ильич.— Ложитесь-ка, ведь завтра чуть свет на работу.

Бабушкин послушался, лег, а Владимир Ильич стал переписывать листовку. Надо переписывать крупными буквами, печатными буквами, чтобы рабочие могли легко разобрать. Владимир Ильич усердно выписывал каждую букву. Одна листовка, вторая, третья, четвертая.

Внезапно загудел фабричный гудок, заполнил небо, улицы и бился в замороженное оконце Бабушкина. Это Семянниковский завод звал рабочих к утренней смене. Загудели заводы и фабрики. Невская застава проснулась.

— Бабушкин, вставайте,— будил Владимир Ильич.

Бабушкин вскочил.

— Что? А? Где? Почему? — не понимал он со сна.

Тер глаза. Никак сообразить не мог: откуда в его комнатухе раным-рано Владимир Ильич? Как он здесь

очутился? Но увидел на столе переписанные печатными буквами четыре листовки и все вспомнил.

— Надо распространить их среди рабочих,— сказал Владимир Ильич.— Жалко, больше не успел переписать. А как надо бы, эх, жаль, не успели...

Они вышли из дому. В небе еще не погасли ночные звезды. Тихо мерцали голубоватыми лучиками. Белые столбы дыма поднимались из труб. Улица была залита темными толпами рабочего люда. Владимир Ильич и Бабушкин смешались с народом.

Бабушкин нащупал в кармане четыре листовки. Сейчас потихоньку раздаст их знакомым рабочим. Те прочитают и передадут дальше. И много рабочих узнают о том, как надо лучше устраивать стачки.

— Наш первый агитационный листок. В добрый час, Бабушкин! — сказал Владимир Ильич.

«МИНОГА»

Узкая длинная рыба. Непонятно, почему Надежде Константиновне Крупской, такой привлекательной девушке, дали кличку «Миного». Впрочем, членам «Союза борьбы» сплошь и рядом давали самые странные клички. Например, кличка Глеба Кржижановского — «Суслик». Чем он на суслика похож? Да ничем. Невысокий, живой, глаза яркие, черные. Он был близким другом Владимира Ильича. Учился на инженера и был хорошим марксистом. Великолепно вел кружки на рабочих окраинах. Очень его Владимир Ильич за это ценил!

А вот нижегородцев Анатолия Ванеева и Михаила Сильвина звали «Мининым» и «Пожарским». Вроде подходит. Что касается Владимира Ильича, прозвище у него было «Старик». За ум и образованность его так прозвали.

В один ноябрьский день, когда деревья Александринского сквера стояли уже по-зимнему белые, как в сказке о дед-морозе, «Миного», то есть Надежда Константинов-

на Крупская, не спеша прогуливалась по скверу против Публичной библиотеки. На ней была короткая шубка. меховая шапочка не закрывала косы. В маленькой муфте пальцы крепко сжимали тетрадку. Тетрадка содержала сведения об ужасающей жизни рабочих.

Надежда Константиновна служила в Управлении железных дорог, а еще была учительницей вечерне-воскресной школы рабочих за Невской заставой. Эту тетрадку Надежде Константиновне принес рабочий фабрики, ее ученик. Сведения были нужны для листовки.

Год прошел, как Владимир Ильич сочинял вместе с Бабушкиным первую листовку и четыре раза переписывал ночью. Теперь петербургский «Союз борьбы» выпускал сотни экземпляров листовок, тайно перепечатывал их на mimeографах и распространял по всему Петербургу.

...Вот наконец он, Владимир Ильич! Он появился в подъезде Публичной библиотеки. Надежда Константиновна, увидев его, заспешила на Невский. Они встретились на Невском и пошли вниз к Неве. Владимир Ильич взял ее под руку.

— Успешно работалось в библиотеке? — спросила Надежда Константиновна, а сама всунула в рукав ему из муфты тетрадку.

— Отлично! — ответил Владимир Ильич, глубже засовывая тетрадку в рукав. — Точные сведения?

— Да.

— Спасибо! — сказал Владимир Ильич.

Она обернула к нему розовое от мороза лицо. У нее сияли глаза. Как хорошо было Владимиру Ильичу с этой простой и серьезной девушкой! Они познакомились вскоре после приезда Владимира Ильича в Петербург. Неужели только тогда? Владимиру Ильичу казалось, он всю жизнь ее знал. Он любил делиться с ней мыслями. Она охотно и радостно помогала ему. У них были общие взгляды, общая цель, одно дело.

Вдруг Надежда Константиновна почувствовала, Владимир Ильич предостерегающе сжал ее локоть. Сзади

следовал за ними человек. Неприятнейший тип, с поднятым воротником. Плечи сгорблены, руки в карманах.

Владимир Ильич мгновенно перевел разговор. Громко стал толковать о самых житейских вопросах. О том, что на Лиговке, слышал, есть магазинчик, где дешево зимние шапки. Надо бы съездить купить...

А сам все быстрее вел Надежду Константиновну по Невскому проспекту.

Пересекли, свернули на какую-то улицу. Шпик, не отступая, шел по пятам.

— Разойдемся,— шепнул Владимир Ильич.

Они простились. Надежда Константиновна вернулась назад, на Невский, ждать конку. Владимир Ильич пошел дальше случайной улицей. Шпик увязался за ним. Несколько минут Владимир Ильич быстро шел вперед. Вдруг круто повернул в переулок. Шпик не рассчитал, проскочил дальше по улице.

А Владимир Ильич увидел в переулке роскошный подъезд богатого дома. С коврами и пальмами. И пустое кресло швейцара в подъезде. Мигом вошел, сел в кресло, схватил газету со столика, загородился.

Шпик прибежал в переулок. «Где человек, за которым шпионил? Сквозь землю, что ли, провалился?» Шпик рот от удивления разинул. Побегал по переулку и побрел во-свояси ни с чем.

Такой у него жалкий был вид, что невольно Владимир Ильич не удержался от смеха. Но скорей домой, нельзя тянуть время— как бы не явился швейцар! Владимир Ильич пощупал в рукаве тетрадку. Здесь. Опасность позади. Скорей домой, за работу.

НЕ УБЬЕШЬ НАШЕ ДЕЛО

Восьмого декабря 1895 года в квартире Надежды Константиновны Крупской было собрание членов «Союза борьбы». «Союз борьбы» решил выпускать нелегальную

газету «Рабочее Дело». И вот собрались обсудить статьи для первого номера. Четыре статьи написал Владимир Ильич. Боевые и смелые, они всем очень понравились!

Печатать газету «Рабочее Дело» решили в подпольной типографии. Была такая типография на берегу Финского залива в питерском пригороде.

— Там и будем печатать,— договорились члены «Союза борьбы».

Передали статьи Анатолию Ванееву. Анатолий Ванеев, двадцатитрехлетний студент, был стойким человеком. Всею душой предан был революционной работе. Владимир Ильич ему поручал самые ответственные и опасные дела. Завтра Анатолий Ванеев отвезет статьи в типографию, и скоро рабочие будут читать свою первую газету.

Расходились члены «Союза борьбы» с собрания поздно, довольные сделанным делом.

Владимир Ильич задержался. Они говорили с Надеждой Константиновной и не могли наговориться. О товарищах. Владимир Ильич откопает в человеке интересную черточку и пойдет хвалить — не нахвалится. Любил он людей! Надежде Константиновне очень было дорого это. Говорили о рабочих. Как рвутся рабочие к знаниям! Возьмите Бабушкина, яркий, талантливый...

— До свидания, Надя,— сказал Владимир Ильич.— Завтра прибегу к вам сломя голову...

Улицы были пусты. Горели редкие фонари. Тусклый свет фонарей не заглушал света звезд. Владимир Ильич дошел до Публичной библиотеки. Здесь тоже было пусто. Он был один. Липы Александринского сада наклонили сучья под тяжестью снега. Треснул сучок. С ветки хлынул снежный дождь. Хорошо было у Владимира Ильича на душе!

Он пришел домой на Гороховую улицу, где недавно снял комнату. Слишком уж за ним охотились шпики: из осторожности приходилось часто менять адреса.

Вошел на цыпочках, чтобы не разбудить хозяйку. Спать не хотелось. Решил почитать. Владимир Ильич

подбирал материал для своей новой будущей книги. И сейчас, только сел, зачитался, увлекся. Взглянул на часы: скоро два.

— Надо ложиться,— сказал он себе и еще зачитался.

В два часа позвонили.

Владимир Ильич не сразу понял, удивленно прислушиваясь. Звонок повторился, резко, грубо. Зашлепали в коридоре ночные туфли хозяйки.

— Кто там? Кто там? — слышен был голос хозяйки у двери.

Вошел дворник, в дубленом полушубке и фартуке. За ним бесшумно прошмыгнули в комнату Владимира Ильича двое штатских. Позади жандармский офицер.

— Предписание на арест.

Двое штатских бросились делать обыск. Рылись в книгах, ощупывали постель, осматривали печь и печную отдушину.

Владимир Ильич без слов стоял у стены.

Он думал о товарищах. Что с ними? Один он взят или товарищи тоже? А Надя? Что с Надей? Неужели наше дело пропало? «Нет. Нас уже не погубишь,— думал Владимир Ильич.— Не убьешь наше дело. Встанут новые сотни тысяч рабочих. Поднимется на Руси весь рабочий народ».

КАМЕРА № 193

Узенькое решетчатое окошко под потолком. Сквозь грязное стекло слабо льется серый свет. Железный откидной стол у стены. Железный стул. В углу прямо на пол свалены книги. Читать разрешается. Сестра Аня и Надя натаскали Владимиру Ильичу уйму нужных книг. Надю не арестовали в ту ночь. А сестра Аня с мамой приехали из Москвы, как только Владимира Ильича посадили в тюрьму.

Сегодня четверг — день свиданий. Владимир Ильич

отложил в сторону книги. Надо заняться другими делами. Пошагал для разминки и стал у стола спиной к двери. В двери круглый глазок, надзиратель поминутно глядит. Стоя спиной к глазку, Владимир Ильич скатал из хлебного мякиша катышек, продавил пальцем углубление.

Зачем? Вот зачем. Такая у Владимира Ильича из хлеба чернильница. Вместо чернил молоко. Он взял книгу и принялся выводить между строк молочными чернилами слова. Напишет слово, молоко просохнет — слова не видно. Сегодня передаст книгу домой. Надя или Аня нагреют страницу над лампой, и вот чудеса-то: медленно, постепенно слова начнут оживать, проявляться, как негатив на пластинке. Пожалуйста, читайте письмо. Владимир Ильич писал на волю не письмо, а листовку.

В ту ночь с 8 на 9 декабря вместе с ним арестовали сто шестьдесят членов «Союза борьбы». Но «Союз» не распался. Там, на воле, поднятые «Союзом», продолжались забастовки и стачки. Владимир Ильич посылал листовки для стачечников.

За дверью громыхнули ключи, взвизгнул замок. Дверь отворилась. Вошел надзиратель. Владимир Ильич вмиг схватил хлебную чернильницу с молоком. И в рот. Проглотил.

Надзиратель приблизился. Ничего не увидал подозрительного: заключенный читает. Бренча ключами на железном кольце, надзиратель удалился из камеры.

А Владимир Ильич слепил новую чернильницу и продолжал писать дальше. Потом и эту чернильницу съел. Так надзиратель и остался с носом, не узнал ничего.

Через час снова загремели ключи — Ульянова повели на свидание с невестой. Надежда Константиновна дождалась по ту сторону двойной решетки. Руки нельзя пожать. Можно только кивнуть. Улыбнуться. Надежда Константиновна улыбнулась, хотя горько ей было видеть Владимира Ильича за решеткой. Молодец он! Нисколько не падает духом. Даже в тюрьме бодрый, веселый.

Надежда Константиновна передала приветы от мамы и сестры. Здоровы. Помнят. Любят.

— Любят очень! — повторила она, и Владимир Ильич увидел: лицо ее вспыхнуло, милое, такое родное...

Потом перешли к делам. Как говорить о делах, когда жандарм разгуливает между двойной решеткой и прислушивается к каждому слову?

— Сегодня отослал Анюте прочитанные библиотечные книги, — сказал Владимир Ильич. — Да еще Маняшину книгу, — добавил он после коротенькой паузы. И очень внимательно поглядел на Надежду Константиновну.

«Маняшину, — отметила про себя Надежда Константиновна. — Он выделил: Маняшину. Что он хочет сказать? Никак не догадаюсь... А! Догадалась! Письмо или листовку надо искать в Маняшиной книге. Ему прислали какую-то Маняшину книгу, там и надо искать».

Надежда Константиновна закивала, покраснелась от радости, что поняла. А Владимир Ильич продолжал дальше загадывать ребусы.

— Номер моей камеры знаете?

— Еще бы не знать! Конечно. Сто девяносто три!

«Зачем он спрашивает? Не зря же он спрашивает. Ах вот что! — сообразила она. — Листовка на странице сто девяносто три. Ну, разумеется, он намекает на это!»

— Вы в театрах, Надюша, бываете? — вдруг спросил Владимир Ильич.

Она подумала и ответила:

— Да.

— И со знакомыми видитесь?

— Частенько, — лукаво улыбнулась она. — Со всеми знакомыми вижусь.

Ловко же они обводили вокруг пальца жандарма! Владимир Ильич получал важнейшие сведения. Надя посещает театры. Это значит, держит связи с рабочими. Со всеми знакомыми видится. Значит, «Союз борьбы» действует. Новых арестов нет.

Жандарм поглядел на стенные часы.

— Свидание окончено.

Как быстро пролетел час! Не хочется расставаться.

— Скорее расскажите что-нибудь о себе!..— торопил Владимир Ильич.

— Свидание окончено,— перебил жандарм.

— До встречи, Володя! Не скучайте. Будьте здоровы.

Владимира Ильича уводили. Он шел и оглядывался. Она стояла, пока его не увели.

Повернулся в замочной скважине ключ. Снова он в камере. Все в нем было полно впечатлением встречи. Он представил, вот Надя выходит из тюрьмы. Вот, может быть, сейчас направляется к Летнему саду.

Владимир Ильич долго шагал в полумраке и с нежностью думал о ней.

ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

Ровно год Владимир Ильич жил в далекой ссылке, в неведомом никому селе Шушенском. Да в тюрьме отсидел перед ссылкой четырнадцать месяцев. Да осталось еще ссылки почти два года.

Далеко затерялось сибирское глухое село! Шестьсот верст от железной дороги. Железную дорогу недавно провели по Сибири, ехать поездом из Москвы в Красноярск десять суток. Потом пароходом суток пять вверх по реке Енисею. Потом лошадьми. Тогда уж и Шушенское.

В этот день 7 мая 1898 года Владимир Ильич нарушил обыкновение, не сел писать книгу «Развитие капитализма в России». Книгу о том, что в русских деревнях и городах все больше силы набирают капиталисты и кулаки и все беднее и тяжелее жить под властью капитала народу.

После обеда постучал в окошко крестьянин, бедняк Сосипатыч, щуплый, проворный, в треухе и худеньком зипунишке, с ружьем через плечо:

— Слышь, Владимир Ильич, идем, однако, уток стрелять.

Сосипатыч опасался, не стал бы Владимир Ильич отказываться, а он тотчас согласился. Владимир Ильич был неспокоен. Пора Надежде Константиновне приехать из Питера, а она все не едет. Надежда Константиновна за революционную работу позднее товарищей тоже отсидела в петербургской тюрьме. После тюрьмы присудили ссылку. Выхлопотала, чтобы в Шушенское, к Владимиру Ильичу. Теперь вот добиралась, да что-то долго уж очень. Может, в Красноярске ждет парохода?..

Чтобы заглушить беспокойные мысли, Владимир Ильич снял с гвоздя берданку — и вон из избы.

— Сапоги подходящи, однако, — одобрил Сосипатыч.

Сапоги у Владимира Ильича и верно подходили для лазанья по топям за утками. Болотные сапоги, выше колен. Старенькая берданка заряжена утиной дробью. Они отправлялись верст за десять, на Перово озеро. Уток там водилась такая масса, что берега были усыпаны утиным пером. Оттого и называлось озеро Перовым.

А денек удался чудесный. Солнце грело нежарко, и каждый листик и травка насквозь светились под веселым лучом. Как умытые, свежо зеленели луга. Синие и лиловые ирисы пышно раскрылись в траве. И вдали, по всему горизонту, на голубом небе, высилось громадное, слепящее, яркое. Это были одетые снегом Саяны.

Версты три отшагали, и Владимир Ильич почувствовал бодрость и свежесть во всем теле. Хоть двадцать, хоть сорок верст готов так идти. Да слушать истории Сосипатыча. Сосипатыч знал, что Владимиру Ильичу надо. Рассказывай ему о деревне, о своей жизни бедняцкой. Описывай ему всю деревню подряд.

В том дворе такой-то хозяин. В этом такой-то. Сколько едоков? Скотины? Земли?

В том дворе, в третьем и в пятом, по всему селу Шушенскому. Да не приври ни полслова...

— Стой. Вон и озеро. Гляди не промажь, Владимир Ильич. Первый-то выстрел не промажь, постарайся, примета такая, — захлопотал Сосипатыч, когда подошли к ме-

сту охоты.— Ты уж первым-то выстрелом не подпорти, Владимир Ильич!

Владимир Ильич стал с ружьем. Удивительная радость стоять с ружьем и внимать жизни леса! Птичьему свисту и трелям. Озорному кукованию кукушки. Шелесту ветра в ветвях.

В густых камышах Перова озера что-то зашевелилось, шумнуло: большая сизо-темная кряква поднялась и тяжело пролетела в десяти шагах от Владимира Ильича. Он выстрелил. Мимо!

Засмотрелся, опоздал спустить курок.

— Эхма, Владимир Ильич, воронишь, однако! — рассердился Сосипатыч.

Впрочем, несмотря на примету, дальше охота пошла удачно. Настреляли уток. Развели костерик. Вскипятили в закопченном чайнике чай.

Сосипатыч в счастливом расположении духа принялся подзадоривать Владимира Ильича остаться на ночь. К ночи утки поднимутся из камышей на жировку, что тут будет! Тучи неоглядные!

Сильно задорил, но Владимира Ильича какое-то предчувствие звало домой.

Стемнело. Пригнали стадо в село. Во дворах доили коров, слышалось дзеньканье молока о подойник. Да журавли колодцев скрипели, поднимая воду. Где-то блеяла заблудившаяся овца.

— Гляди, Владимир Ильич, свет у тебя,— заметил Сосипатыч.

Владимир Ильич и сам видел. В его двух оконцах в избе, крайней по проулку, горел свет. Зеленый. Горячее, радостное поднялось в груди Владимира Ильича.

На крыльце, в темном платье, тоненькая и легкая, держась за перила, стояла Надежда Константиновна. Владимир Ильич взбежал на крыльцо.

— Здравствуй, Надя!

— Володя,— отозвалась она.

— Идите-ка, идите показывайтесь, какой вы здесь

стали? — весело звала из комнаты Надина мать, Елизавета Васильевна. — Невеста приехала, а он, гуляка, на охоту закатился до ночи!

В комнате горела лампа под зеленым абажуром.

— Тебе для работы. От зеленого света спокойней глазам, — сказала Надежда Константиновна.

Она везла эту лампу из Москвы десять суток в поезде. Потом на пароходе. Потом на тряской телеге. Крепко держала в руках. Боялась, не довезет зеленую лампу до Шушенского! Вот, довезла.

УВАЖЬ, ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

Надежда Константиновна приехала в Шушенское невестой Владимира Ильича. Назначили венчание, а для венчания нужны были кольца. Где их добыть? В Шушенском, кроме Владимира Ильича, жили ссыльные: поляк Ян Проминский с семьей и финн Оскар Энгберг. До ссылки Оскар работал на Путиловском заводе в Петербурге. Да еще знал ювелирное дело.

Когда Надежда Константиновна собралась в ссылку, Владимир Ильич написал в письме: привези, пожалуйста, Оскару инструменты, а то заскучал без работы парень. И на жизнь зарабатывать надо.

Надежда Константиновна привезла Оскару целую корзину инструментов. Оскар Энгберг и выковал Владимиру Ильичу с Надеждой Константиновной из медных пятакв кольца. Надежда Константиновна всю жизнь их берегла.

Зажили по-семейному. Переехали на квартиру в новый дом на самом берегу реки Шуши. Дом отличался ото всех. С высокими окнами. И особенно выделялся двумя деревянными колоннами на парадном крыльце. Откуда он такой, необычный, взялся? Вот откуда. Власти издавна ссылали в Шушенское, дальше сибирское село, политических. В сороковых годах здесь в ссылке жили два декабриста.

Один декабрист знал архитектурное дело. Он и сочинил проект дома с колоннами, в котором теперь поселились Ульяновы и Елизавета Васильевна.

Соорудили Владимиру Ильичу рабочий уголок в новой квартире. Поставили полку с книгами. И конторку. Конторка была высокая, с покатою, как у парты, крышкой и перильцами. Лампа на конторке с зеленым абажуром. Зимними вечерами рано гаснут в Шушенском окна, а зеленый огонек Владимира Ильича все горит...

Он любил писать стоя. Книгу «Развитие капитализма в России», очень большую книгу, почти всю написал, стоя у конторки. Много работал Владимир Ильич! И книга, и статьи, и переводы с английского! Переводы с английского они делали вместе с Надеждой Константиновной для заработка и отсылали в Петербург в редакцию. Надежда Константиновна была усердной помощницей Владимира Ильича. Было у нее и свое дело — писала брошюру о женщине-работнице. Ведь она хорошо знала рабочую жизнь.

Им нравилось вместе трудиться: он за конторкой, она за столом. И отдыхали неразлучно. В лесу и на Шуше или далеко уйдут к Енисею. Хоть и трудно в ссылке, а хорошо было им, молодым и влюбленным.

Полдень. Елизавета Васильевна стукнула в дверь: пришел посетитель. Очень занят Владимир Ильич, не хочется отрываться от рукописи, так уж не хочется! Но если пришел за советом бедный крестьянин — все дела в сторону! Елизавета Васильевна впустила крестьянина. Он был весь выцветший, со впалыми щеками, в морщинах, хотя и не очень глубокий старик. Поискал икону в углу, не нашел, покрестился на окно.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласил Владимир Ильич.

— С бедой я, уважь, Владимир Ильич, дай совет.

— Говорите, говорите, пожалуйста, — живо отозвался Владимир Ильич и приготовился слушать, заложив пальцы за проймы жилета.

Крестьянин был дальний, долго рассказывал, кто та-

ков да откуда, пока, наконец, добрался до беды. Вот какая случилась у него беда. От нужды послал старшую дочь в работницы к богатому мужику на год за двадцать целковых. Отработала девка одиннадцать месяцев, а тут заболела мать, да шибко, с печки от хворобы не слазит. А изба малых ребятишек полна. Пришлось старшей дочери домой ворочаться, за хворой матерью и ребятишками ходить. А хозяин за работу платить отказался, говорит, договор нарушен, месяц до года не дожила, не стану платить!

— Неужто задаром почти полный год девка работала? — сокрушался мужик. — Так и оставить?

— Нет, так оставить нельзя! — решительно воскликнул Владимир Ильич. Зашагал по комнате, быстро, гневно. — Не первый похожий случай знаю. Так оставить нельзя.

Мужик следил за ним слезящимися глазами. Вздыхал. И Надежда Константиновна, кутая плечи в платок, ждала, что решит Владимир Ильич.

— Вот что, напишем в волостное правление, потребуем закона, а кулака судом припугнем, — сказал Владимир Ильич.

Остановился у конторки, минуту подумал, и через полчаса бумага готова. Убедительная получилась бумага. Подробно объяснил Владимир Ильич мужику, куда отнести бумагу, что говорить, с кем говорить.

— Правда за вами, — втолковывал Владимир Ильич. — Не сдавайтесь. Откажут по первому прошению, еще приходите. Дальше будем писать. Правда за вами.

Мужик теребил и мял шапку в руках, качал головой, благодарил.

Ушел. Унес в сердце добрую память о политическом ссыльном Ульянове. Во многих крестьянских сердцах за свою жизнь в Шушенском оставил Владимир Ильич по себе добрую память.

ЧТО БЫЛО В МАЕ

В прошлом году Владимир Ильич встретил Первое мая без семьи. Настал новый май, теперь Надежда Константиновна с ним. Надумали шушенские ссыльные по-революционному отпраздновать Первое мая.

Утром позавтракали, принарядились — в дверь Проминский. Тоже нарядный, в галстуке.

— С Первым маем вас!

Владимир Ильич завел охотничью собаку, совсем еще молоденькую и резвую, назвал Женькой. Женька с веселым лаем кинулась навстречу Проминскому, думает, пришел звать на охоту. Все собрались. И отправились к Энгбергу. И Женьку с собой взяли.

Весна в этом году была поздняя. По реке Шуше шел лед. Лдины толкались, спешили и уходили в Енисей.

Над рекой слышалось шуршание льда. Хоть и прохладный был день, а праздничный, яркий. И настроение у всех было праздничное.

Пришли к Энгбергу, уселись на лавке, запели:

День настал веселый мая,
Прочь с дороги, горя тень!
Песнь раздайся удалая!
Забастуем в этот день!
Полицейские до пота
Правят подлую работу,
Нас хотят изловить,
За решетку посадить.
Мы плюем на это дело,
Май отпразднуем мы смело,
Вместе разом,
Гоп-га! Гоп-га!

Спели одну песню, принялись за другую. Весь этот день полон был пения.

Попраздновали у Энгберга, пошли на луг. Там, вдали от села, под синим шатром неба, загремела «Варшавянка»:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас грозно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Революционную гордую песню «Варшавянка» привез из Польши Проминский. Когда его гнали в сибирскую ссылку, попал в московской пересыльной тюрьме в одну камеру с русскими марксистами, членами «Союза борьбы». Там был Глеб Кржижановский. А Глеб Кржижановский был не только инженер и марксист. Он еще и стихи сочинял. Проминский в тюрьме тихонько пел «Варшавянку» по-польски. Глеб Кржижановский переводил на русский.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Неслись зажигающие слова над шушенским лугом в этот день Первого мая.

Счастливым был день! Вечером Владимир Ильич и Надежда Константиновна долго не могли заснуть. Говорили, мечтали о будущем. Придет ли время, когда в свободной России рабочие и весь народ свободно будут праздновать Первое мая с красными флагами?

А на завтра... Пыль по дороге столбом. Топот копыт. В Шушенское прискакали жандармы. Тарантас подкатил под окошко Владимира Ильича. Тпру-у! Лошади стали. Спрыгнули с тарантаса двое жандармов при шашках. С заднего сиденья сошел жандармский офицер, коротенький, плотный, перехваченный поясом, с револьверной кобурой.

— Обыск! — бросил офицер. И прямо в рабочую комнату Владимира Ильича, к книжному шкафу.

А там на нижней полке запрещенная литература, нелегальная переписка, химические средства для шифрованных писем. Найдут жандармы — годы ссылки набавятся. Много, может быть, лет.



Начался обыск сверху. А книг масса. Сотни книг! И научные тут были книги. И Пушкин был. И Тургенев.

— Пожалуйста! — сказал Владимир Ильич, подставляя стул к книжному шкафу.

Поразилась Надежда Константиновна его выдержке.

— Пожалуйста. Отсюда начнете?

Владимир Ильич, спрашивая, кивнул на верхнюю полку. Коротенький офицер, поддержанный жандармами под локти, пытаясь забрался на стул. Начал обыск сверху. А книг масса. Сотни книг! И научные тут были книги. И Пушкин был. И Тургенев.

Офицер полистал полчаса, час. Уморился. Велел жандармам продолжать обыск. Сам сел. Глаза скучные. Попробуй перелистай сотни страниц. Жандармскому офицеру и смотреть-то на эту уймащу книг было скучно. Медленно ползло время.

Владимир Ильич изредка давал объяснения, какие, где расположены книги. Спокойно, уверенным тоном.

И вот добрались до нижней полки. И вот судьба ссыльных Ульяновых висит на волоске.

Надежда Константиновна выступила вперед и улыбчиво:

— А здесь моя педагогическая литература о школах. Я ведь учительница.

— Довольно! — махнул рукой жандарм.

Он хотел есть. Рюмочку водки выпить хотел. Умаялся он. «Ну их, этих ссыльных! Учены уж больно».

И обыск закончился. Как раз перед нижней полкой закончился. А там нелегальная литература, химические средства...

Жандармы уехали.

Елизавета Васильевна вошла. Все время обыска она просидела в соседней комнате, нервно куря папироски, одну за другой.

— Пронесло? — спросила Елизавета Васильевна.

— Пронесло! — засмеялся Владимир Ильич и добавил сибирское словечко: — Однако...

У ПОСТЕЛИ ВАНЕЕВА

Два раза в неделю почтарь приносил почту. Иногда чуть не полмешка притащит писем и книг.

Шмякнет об пол:

— Читайте!

Писали родные, писали товарищи. На пятьдесят и сто верст в округе жили ссыльные члены «Союза борьбы». Жили и дальше, совсем далеко, в самых гиблых ледовых местах.

Один раз Владимир Ильич получил из дома пакет — от Анны Ильиничны. Секретный, это он распознал по условной крохотной метке. Значит, в пакете есть что-то важное. Так и было. Проявил тайнопись: перед ним сочинение. Сестра писала в письме: вот, мол, познакомься, какие в Питере пошли взгляды вместо марксизма.

Владимир Ильич стал читать. Сдвинул брови, нахмурился. Не понравилось ему сочинение, какое прислала Анна Ильинична. Сестра назвала его нерусским названием: «Кредо». На русский перевести — значит: верование, взгляды.

Анна Ильинична писала в письме, что собралась группа людей и стала высказываться против марксизма. Небольшая группка, а бойкая. Что же она проповедует? Вот что. Рабочим неинтересна политика. Рабочим не нужна революция. Рабочие хотят одного: чтобы повыше был заработок. А для этого надо мирно жить с хозяевами и фабрикантами.

Такие взгляды назывались «экономизмом». Владимир Ильич и его товарищи-революционеры были марксистами. А то появились «экономисты».

— Что делать? — вслух раздумывал Владимир Ильич, шагая по комнате. — Ведь они уведут рабочих от революционных задач!

Надежда Константиновна знала привычку Владимира Ильича иногда думать вслух. Не надо мешать. Сейчас он найдет решение.

И верно. Пошагал-пошагал, подумал и нашел:

— Созовем товарищей. Обсудим «Кредо». Напишем «Протест». Подпишемся под «Протестом» и разошлем тайно по заводам и фабрикам.

Тут же они с Надеждой Константиновной принялись писать письма всем ссыльным друзьям, чтобы придумали причину, отпросились бы у властей и приезжали на сбор. А где назначить сбор? Самое подходящее — в Шушенском. Но Владимир Ильич выбрал село Ермаковское, шестьдесят верст за Шушенским. Там жил в ссылке друг и помощник Владимира Ильича по «Союзу борьбы» Анатолий Ванеев. В тюрьме он тяжело заболел. Вцепилась чахотка и грызла. Грызла все злее. С постели подняться не мог.

Вот почему Владимир Ильич назначил сбор в селе Ермаковском.

Политические ссыльные собрались из разных мест.

Ванеев лежал на белых подушках. Сам белее подушки, исхудалый, с лихорадочным блеском в огромных глазах. И счастливый. Как он был рад! Он участвовал в общем деле. Хочется жить! Работать! Приносить людям пользу.

Обсудили «Кредо». Подписали «Протест». Полетит в рабочие кружки по всем городам революционный призыв из далекой Сибири:

«Товарищи, не слушайте «экономистов». У нас один путь — революция!»

После обсуждения Владимир Ильич не ушел, сел у постели Ванеева. Ванеев устал. Холодный пот крупными каплями выступил на лбу. Глаза провалились, как в ямы.

— Не уходи,— слабо выговорили бледные губы.

Владимир Ильич не уходил. Бедный Ванеев, замученный царской тюрьмой и неволей! Владимир Ильич поправил на нем одеяло, погладил плечо. И говорил, делился планами. Скоро ссылке конец. Владимир Ильич рассказывал, что будет после ссылки. Создадим рабочую марксистскую партию. Будем выпускать газету, нашу, пролетарскую газету. Будем бороться с царизмом.

Ванеев слушал жадно, восторженно. Августовский вечер за окном потемнел. Издалека долетали щемящие грустные звуки гармоники. А Ванеев шептал пересохшими от жара губами:

— Спасибо, Владимир. Ты вдохнул в меня жизнь. Я верю...

Это был последний счастливый вечер Ванеева.

Не прошло и трех недель, Владимир Ильич и Надежда Константиновна снова приехали в село Ермаковское — хоронить Анатолия.

— Прощай, Анатолий,— говорил над гробом Владимир Ильич.— Клянемся тебе, мы будем верны революционному делу.

Летели первые снежинки, падали и не таяли на мертвом лице Анатолия.

Владимир Ильич заказал чугунную плиту на могилу. «Анатолий Александрович Ванеев. Политический ссыльный. Умер 8 сентября 1899 г. 27 лет от роду. Мир праху твоему, товарищ».

НА ВОЛЮ!

Непонятное происходило в доме. Непривычное. Чемоданы, узлы, связки книг во всех комнатах. Обычный порядок был странно нарушен — Женьку с каждым часом все больше разбирало беспокойство. Она ходила по дому, открывая носом двери. Всюду сваленные на пол книги, клочки бумаг, обрывки веревок. Женька тыкалась в плечо Владимира Ильича, присевшего на корточки перед кипами книг. Владимир Ильич связывал книги, а Женька, жалобно ласкаясь, поскуливала: да объясните же, что тут у вас?

— Время пришло расставаться,— сказал Владимир Ильич. Потрепал Женьку. С каким восторгом сопровождала она его на охоту! — Настала, Женька, пора расставания. Передадим тебя в надежные руки.

Помощница Елизаветы Васильевны по хозяйству, синеглазая Паша, проливали горячие слезы, утираясь фар-

туком. Уезжают из Сибири Ульяновы, кончилась ссылка, отжили срок. Скучно будет Паше, однако, без них! А Минька, шестилетний соседский мальчонка, азартно подбирал брошенные в суматохе тетрадку, карандаш, коробку из-под монпансье и тому подобные ценности:

— Тетенька Надежда Константиновна, можно?

Пришел Оскар Энгберг. Надежда Константиновна с ним занималась — читали «Капитал» Карла Маркса. Оскар на прощание принес подарок. Из крышки часов сделал брошку в виде книжечки, старательно вырезал надпись: «Капитал» Маркса, том I — на память о наших заботах».

— До свидания, дорогой товарищ Энгберг! — простились Надежда Константиновна и Владимир Ильич. — Придется ли встретиться?

— Вот революцию сделаем... — ответил Оскар.

Двадцать девятого января до рассвета, когда в Шушенском еще сонно глядели темные окна, дымы еще не поднимались над трубами и за околицей склонилось к земле предутреннее мглистое небо, у крыльца остановились двое саней. Утирая фартуком слезы, забегала туда-сюда Паша. Владимир Ильич принялся грузить книги и вещи. Все помогали, суетились.

— Сядьте, да сядьте же, посидеть перед дорогой надо, — уговаривала Елизавета Васильевна.

Посидели молча.

— Едем! В путь! — вскочил Владимир Ильич.

Мороз стоял основательный. Владимир Ильич помог женщинам надеть в дорогу дохи. Укутал, подоткнул с боков сено, чтобы не дуло.

— Владимир Ильич, а вы-то без дохи обморозитесь! — забеспокоилась Елизавета Васильевна.

— Меня радость греет, что едем на волю, никакой мороз не прошибет, — ответил Владимир Ильич.

— Ну хоть муфту мою возьмите, руки-то спрятать! Он засмеялся, взял муфту, залез в сани. И кони рванулись.

Вот и Шушенское позади, навсегда. Вот и небо заяснелось. Вспыхнуло облачко. Полился на востоке из-за края земли розовый свет. И торжественно поднялось дневное светило.

И на душе у Владимира Ильича было торжественно. Первое утро свободы! За последние месяцы он похудел в ожидании конца ссылки, опасался все, не придрались бы власти, не прибавили бы срок.

Владимир Ильич думал, думал. Все об одном. О возобновлении партии. Когда Владимир Ильич был в ссылке, в Минске созвали I съезд, в 1898 году. Но тут же власти арестовали почти всех организаторов партии. Надо восстанавливать партию. Газета — первый для этого шаг. Нелегальная, марксистская газета. Она соберет и объединит все передовые силы России. Вот о чем думал Владимир Ильич.

А дорога бежала. Останавливались на почтовых станциях только затем, чтобы поменять лошадей да поесть. Эх, позабыли пельмени! Вкусны мороженые, стучающие в мешке, как орехи, пельмени, с луком и перцем, особенно в дальней дороге, когда надышишься досыта чистейшим воздухом, нажжет щеки колючий мороз! Досадно, забыли!

Далеко ехать до города Минусинска. Да от Минусинска больше трехсот верст до станции Ачинск. День и ночь ехали. Дни стояли яркие, солнечные, с синевой небес, разрисованными жемчужным инеем ветками, блистанием снега. Ночи лунные. Огромная луна в просторном небе плыла как корабль между редкими звездами. В ночи звонче перекликались бубенчики.

Прискакали на станцию Ачинск на пятый день, на рассвете. Станционный колокол пробил: близится поезд.

Громко дыша, черный, в саже и масле, паровоз подтащил пассажирский состав. Минута остановки. Колокол пробил отправление. Долгожданное сбывалось. Впереди новая жизнь.

ИЗ ИСКРЫ — ПЛАМЯ!

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление.

Так писал Пушкин декабристам в Нерчинские рудники.

Поэт-декабрист Одоевский ответил Пушкину:

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя!

Владимир Ильич решил дать газете название «Искра». В Шушенском он обдумал газету. Теперь надо было ее создавать. Вернувшись из Сибири, Владимир Ильич поселился в Пскове. Один. Без Надежды Константиновны. У Надежды Константиновны не кончилась ссылка — ведь она позднее попала в тюрьму и Сибирь, — поэтому теперь ей назначено было доживать срок в Уфе. А Владимиру Ильичу разрешили жить в Пскове. Трудно расставаться с Надюшей. Но даже в мыслях ни ему, ни ей не пришло, что можно бы подождать, помедлить, пока кончится срок ее ссылки. А тогда уж... Нет, Владимир Ильич не мог медлить и ждать. Революционная работа неотложна. Самое главное дело, смысл жизни. «До свиданья, Надюша. До встречи».

В Пскове Владимир Ильич развернул подготовку «Искры» вовсю. Выезжал в разные города. Всюду искал товарищей для работы в «Искре». Надо было подготовить авторов, которые писали бы в газету статьи. Надо найти агентов-распространителей. Ведь «Искру» нельзя обыкновенным способом продавать в газетных киосках. Живо засадят в тюрьму. Значит, распространять надо будет тайно. Надо раздобыть денег на выпуск газеты. И денег Владимир Ильич раздобыл.

На первое время деньги для «Искры» дала учитель-

ница вечерней рабочей школы Александра Михайловна Калмыкова. Она хоть и была владелицей петербургского книжного склада, а дружила с марксистами, особенно с Владимиром Ильичем.

Все подготовлено. За четыре месяца Владимир Ильич, как говорится, гору своротил.

Но где же выпускать «Искру»? Разве можно было в России печатать такую газету? Против царя. Против помещиков и фабрикантов. Против полицейских чиновников. Конечно, нельзя выпускать в России такую газету! Где же?

Владимир Ильич посоветовался с товарищами. Обсудили со всех сторон и решили выпускать газету за границей. Конечно, и там выпускать такую газету можно было только в глубокой тайне. Но там все же не так много было русских полицейских ищеек, не сразу угодишь за решетку.

Решено. Владимир Ильич съездил попрощаться с Надеждой Константиновной — у нее только через девять месяцев кончится ссылка, — и поезд помчал его в далекие чужие края. Надолго ли? Оказалось, надолго.

В немецком городе Лейпциге, с узкими улицами, островерхими домами и кирками, было много фабрик и еще больше типографий и всевозможных книжных лавочек. Жил в Лейпциге один немец, лет тридцати пяти, по имени Герман Рау, веселый, усатый, подстриженный бобриком. Он был хозяином маленькой типографии в деревушке Пробстхейд, неподалеку от Лейпцига. В типографии Германа Рау всего-то и стоял один-единственный станок. Правда, большущий. На этом большущем допотопном станке печаталась спортивная рабочая газета, разные объявления и брошюры.

Герман Рау был социал-демократом и состоял членом немецкой социал-демократической партии. Однажды лейпцигские социал-демократы сказали Герману Рау, что

приехал из России марксист. Приехал в Женеву. Затем поселился в Мюнхене. Задача у русских марксистов: выпускать революционную газету. С этим делом обратился приезжий к русским эмигрантам и немецким социал-демократам. Решили: первый номер «Искры» выпустить в немецком городе Лейпциге.

— Надо помочь русским товарищам,— сказали Герману Рау лейпцигские социал-демократы, когда получили из Мюнхена весть о приезде.

Герман Рау рад помочь, да вот беда: в типографии и в помине не было русского шрифта. Был немецкий шрифт, а русского не было.

Думали день, думали два, на третий надумали, вернее, договорились с надежным товарищем. В одной лейпцигской типографии печатались для России на русском языке церковные книги. К этой-то типографии и подкатил однажды наборщик, помощник Германа Рау, ручную тележку. Подкатил, стал в сторонке, закурил сигарету. Стоит. Люди мимо идут, ничего не видят особенного. Через некоторое время кто-то махнул рукой из окна. А еще погодя вышел товарищ, рабочий с подвязанным фартуком. Видно, в фартуке тяжесть. Да, там был русский шрифт, свинцовые русские букочки. Товарищ ссыпал шрифт в тележку. Наборщик прикрыл старой курткой и повез. Теперь скоро будет печататься «Искра»!

Приехал из Мюнхена Владимир Ильич. Привез статьи для газеты, свои и товарищей. Владимир Ильич снял комнату на окраине Лейпцига. Каждое утро вставал до рассвета. И нынче рано проснулся. За окном темнота. Тихо. Даже фабричных гудков еще не слышать. В комнате зябко. На улице стоял сырой холодный декабрь.

Владимир Ильич вскипятил на спиртовке чай. Выпил, обжигаясь, из жестяной кружки и, как обычно, вышел из дома. Идти далеко — до деревни Пробстхейд, до типографии Германа Рау. Наверное, километров пять-шесть надо идти. Конки туда не было, шагай на своих на двоих. Навстречу шли пешие или ехали на велосипедах рабочие. Та-

рахтели повозки: крестьяне везли продукты на рынок. Вот город кончился. Началось снежное поле. Вдалеке чернел лес. Засветились огоньки окрестных селений. И в типографии Германа Рау, в деревне Пробстхейд, светились окошки. Горела керосиновая лампа.

Вся типография состояла всего из одной большой комнаты. Половину комнаты занимал громоздкий старый станок. Были еще две наборные кассы. В чугунной печке жарко трещали дрова, качалось пламя, качались тени на стенах. В типографии были хозяин Герман Рау, да наборщик, да один ученик. И никого больше.

— Сегодня важный день,— сказал Владимиру Ильичу по-немецки Герман Рау.

Владимир Ильич кивнул. Да, сегодня был важный день. Владимир Ильич волновался. До сих пор все велась подготовка, а сегодня...

Наборщик тяжело поднял раму с набором. Перенес к станку. Герман Рау встал за станок. Взялся за ручку. Станок зашумел. Валик завертелся. И газетный лист сполз с машины, еще влажный лист! Первый номер «Искры» был напечатан.

Владимир Ильич взял газету. Как долго и страстно мечтал он об этой минуте!

«У нас есть газета, наша, рабочая, революционная газета! Лети же, наша газета, на родину. Буди мысли и сердца, зови к революции».

Владимир Ильич вслух прочитал заголовок:

— «Искра».

В правом верхнем углу было напечатано крупно:

«Из искры возгорится пламя!»

ЛЕНИН

Пассажирский поезд шел по Германии к Кенигсбергу. В вагоне третьего класса в уголке у окна сидел молодой человек. Он ехал из Мюнхена и всю дорогу дремал. Во

всяком случае, ни с кем не промолвил ни слова. Довольно большой чемодан стоял у его ног.

Приехали в Кенигсберг, старинный город, с каменной крепостью, кирками, красными черепичными крышами. Там шумливое Балтийское море и порт. В порту стояли пароходы. Среди них один под названием «Святая Маргарита». Немец из Мюнхена довольно свистнул и не стал толкаться в порту, а отправился в ближний пивной погребок. В погребок былолюдно, воздух был сизый и горький от табачного дыма. Немец из Мюнхена занял свободное место, а чемодан запихнул под столик. Спросил сосисок с капустой и стал медленно есть, запивая пивком. Очень медленно. Можно подумать, времени свободного у него было пропасть. А может быть, он кого-нибудь ждал? Да, именно так. Он ждал матроса с парохода «Святая Маргарита». Для встречи с ним немец и приехал из Мюнхена, хотя ни разу до сих пор его не видал. Когда новый посетитель входил в погребок, мюнхенец в упор глядел на него, энергично приглаживая волосы к правому уху правой рукой. Конечно, никто не обращал на это внимания. В самом деле, что такого особенного, что человек приглаживает волосы? Между тем это был условный знак.

Вот вошел матрос, крепкий, невысокий, коричневый от морского загара. С порога оглядел людей, заметил человека, приглаживающего волосы, направился прямо к нему. Сел за столик, нащупал ногой чемодан:

— Дьявольский ветер.

— Не беда, если попутный,— ответил немец из Мюнхена.

— Угадал, братишка, попутный.

Это был пароль. После пароля они сразу почувствовали друг друга товарищами. У них было общее опасное дело, для которого они сошлись в пивном погребок.

Скоро они кончили разговор, поднялись и вышли из пивной. Теперь не приезжий нес чемодан, а матрос. Никто не заметил перемены. Кому какое дело? Идут два приятеля, о чем-то толкуют. На перекрестке попроща-

лись. И немец из Мюнхена, довольный, что сделано дело, посвистывая, направился к поезду, обратно домой. А чемодан поехал через Балтийское море на пароходе «Святая Маргарита» в шведскую столицу Стокгольм.

К ночи разревелся ветер, забушевали волны, налетел страшный шторм. Буря трепала «Святую Маргариту», обшивка бортов трещала, гнулась мачта, волны окатывали палубу, темь была на море, хоть выколи глаз.

В Стокгольм опоздали на шесть часов. Наверное, финское судно «Суоми» давно на пути в Гельсингфорс. По расписанию часа уже четыре в пути. А матросу как раз «Суоми» и надо.

«Не поспел! — с досадой думал матрос. — Как теперь быть? Подвел шторм проклятый!»

Вдруг он увидел «Суоми». Финское судно стояло в стокгольмском порту и разводило пары. Должно быть, шторм его задержал, и только теперь оно собиралось отчаливать. А «Святая Маргарита» почти рядом причаливала. К счастью, наш матрос сменился с вахты. Тут же схватил чемодан — и опрометью на берег. «Суоми» близко, но «Суоми» отходит.

— Тихий вперед! — скомандовал капитан.

Закипела вода под винтом. Тронулся пароход. Поздно.

— Господин помощник капитана! — кричал матрос, таща чемодан. — Вам посылка из Кенигсберга от тетушки.

Матрос запыхался от бега. Чемодан был тяжелый. А «Суоми» уходит. Напрасны усилия.

Но нет, не напрасны. Случилось чудо. Капитан услышал и...

— Тихий задний, — раздалась на «Суоми» команда. — Стоп. Спускай трап.

— Господин помощник капитана! — во все горло кричал матрос. — Вам теплые фуфайки тетушка посылает. Да новый костюм.

В кучке людей, стоявших у причала, слышался смех. Все почему-то были довольны, что «Суоми» вернулась за посылкой для помощника капитана. А он, молодой, с розо-

выми щеками, подхватил чемодан, благодарно махнул матросу и потащил посылку в каюту. Запер каюту на ключ. Ключ спрятал в карман.

— Показывайте подарки, тетушкин баловень,— пошутил капитан, когда вышли в море.— Поглядим, какие ему наряды прислали.

— Боюсь, они старомодны, как сама моя тетушка,— отшутился помощник.

И чемодан продолжал долгий путь.

В финском городе Гельсингфорсе шел дождь. Проливной. Из водосточных труб, с крыш хлестала вода. Бурные потоки неслись вдоль тротуаров. Крупными пузырями надувались лужи, предвещая ненастье. Люди попрятались по домам. Улицы были пустынные.

Помощник капитана с парохода «Суоми», в черном плаще, торопливо шагал по направлению к конке. Он был озабочен. Что за ливень! Не промок бы чемодан под таким ливнем. Настоящий потоп. Даже для дождливой Финляндии слишком. Помощник капитана поглядывал по сторонам, ища того рабочего, который должен был встречать его у остановки. Но «Суоми» опоздала на несколько часов. И этот потоп! Улицы пусты. Неужели рабочий из Питера не дождался? Ах какая досада! Вон и конка... А питерца нет. Но в эту минуту из-под арки дома напротив вынырнул человек лет сорока, ничем не приметный. Огляделся, подошел. Это был петербуржец.

— Чертовски не повезло,— проворчал он.— Пять часов болтаюсь здесь под дождем. Весь иззяб...

— Шторм задержал. Когда едете? — спросил помощник капитана.

— Сегодня.

— Зер гут, немедля извещу телеграммой.

Рабочий кивнул, взял чемодан и взобрался на подошедшую конку.

Через несколько часов чемодан ехал поездом по Финляндской железной дороге в Петербург.

Поезд шел мимо голых весенних полей. Мимо мокрых

деревенек и нарядных, но еще необжитых, заколоченных дач. Питерец хорошо знал эти места и в окно не глядел. Читал газету, ждал Белоостров.

От станции Белоостров начиналась Россия. Там всегда бывал таможенный осмотр.

В вагоне появился чиновник:

— Пра-ашу открыть чемоданы.

Питерец не спеша открыл.

Пара белья, старенький клетчатый плед, коробка дешевых конфет. А фуфайки, о которых кричал кенигсбергский матрос? Фуфаек не было. Впрочем, чиновник о фуфайках не слышал. Постукал по стенкам чемодана, ничего не нашел подозрительного.

В тот же день рабочий был в Петербурге и поднимался по лестнице на второй этаж каменного, украшенного скульптурами дома на Васильевском острове. Над дверью медная дощечка: «Зубной врач».

Приезжий позвонил: два долгих звонка, третий короткий. Это значило: пришел свой человек.

Зубной врач открыл:

— Проходите, вас ждут.

Дело в том, что тут была явка. Так называлась квартира для тайных встреч революционеров.

В зубном кабинете рабочего дожидалась девушка.

— Давайте,— сказала она.

И взялась за чемодан. Чего только он, бедняга, не натерпелся в дороге! Были и шторм, и ливень, и обыск.

Девушка живо выкинула из чемодана клетчатый плед и другие вещички. И что это? Приезжий хитрым движением нажал на дно. Дно открылось, как крышка. Чемодан был с двойным дном. Плотноплотнотам там были набиты газеты. Девушка взяла одну. «Искра»!

Так вот что с таким трудом, в такой тайне везли из Мюнхена разные люди! Через Кенигсберг, Стокгольм, Гельсингфорс в Петербург...

Девушка принялась перекладывать газеты «Искра» из чемодана в деревянную коробку для шляп — тогда дамы

носили большие широченные шляпы. И коробка для шляп была пребольшеушей! Девушка полным-полно напихала в нее газет, перевязала ремнями. Подняла — тяжело:

— Ничего, донесу.

И понесла рабочим, в рабочие кружки, на окраины Питера. Она была агентом «Искры». Во всех больших городах России тайно работали агенты «Искры».

«Искру» везли по морям. Везли на поездах. Тайно переправляли в разных местах через границу.

«Искра» раскрывала рабочим и крестьянам глаза на их жизнь.

«Искра» учила: «Боритесь с царизмом! Боритесь с хозяевами!»

«Искра» звала к созданию партии. Звала к революции. К борьбе против царя.

Поднималось в России могучее рабочее движение, разбуженное «Искрой». Во главе всего этого большого движения, руководителем его и основным редактором «Искры» был Владимир Ильич.

Много писем получал Владимир Ильич из России от рабочих и агентов «Искры». Сотни шифрованных писем шли из России. Шли из России с заводов и фабрик статьи и заметки. Владимир Ильич печатал их в «Искре». Писал рабочим в Россию ответы. Писал статьи для «Искры». Писал книги о политике и революционной борьбе.

Свои статьи и книги с декабря 1901 года Владимир Ильич стал подписывать: Ленин. Почему Владимир Ильич взял такую фамилию? Может быть, назвался именем суровой и мощной сибирской реки? Может быть.

Появилось новое имя: Ленин. О нем узнает весь мир.

БОЛЬШЕВИКИ

В горной Швейцарии, у берегов синего-синего Женевского озера, раскинулся красивый город Женева. В предместье Женевы, неподалеку от озера, в рабочем поселке

Сешерон был один дом. Двухэтажный, но совсем небольшой. Как у всех домов, черепичная крыша. На окнах голубые ставни. Под окнами садик, крошечный, а все-таки зелень.

В домике жили «Ильичи». Так ласково называли товарищи Владимира Ильича с Надеждой Константиновой.

Сначала Ильичи жили в Мюнхене. Мюнхенская полиция пронюхала про «Искру», пришлось уезжать. Перебрались в столицу Англии — Лондон, на много верст протянувшийся город, дождливый, туманный. Целый год выпускали в Лондоне «Искру». И там стало опасно. Надо новое пристанище искать для «Искры». Так Ильичи очутились в Женеве, в рабочем поселке Сешерон.

— Отлично! — сказал Владимир Ильич, в минуту обещав двухэтажный домик: внизу довольно просторная кухня, наверху небольшие светлые комнатки. — Отлично. Тихо. Спокойно будет работать.

Работы у Владимира Ильича уйма, но тишина скоро кончилась. Жители поселка заметили: к русским и вообще-то приходило много людей, а в июле 1903 года посетителям вовсе не стало счета. Приезжали по одному, по двое, по трое. Нездешние люди — это не трудно было понять: от местных отличались и одеждой и речью. Речь была русская. Приезжали русские люди. Видно, в Женеву они попадали впервые, все было им внове. Солнечное небо им нравилось, и веселенькие ставни у окон, и цветы в палисадниках.

Может быть, жители поселка Сешерон удивлялись, что летом 1903 года так много понаехало русских в Женеву. Никто, конечно, не знал, что это из разных местностей России съезжались делегаты на II съезд партии. Все непременно заходили к Ильичам, а некоторые так прямо с поезда к ним, в Сешерон. На кухне с утра до ночи кипел и фырчал эмалированный чайник. Со стола не убиралась посуда. Каждого встречали приветом и горячим чаем с мягкой булкой. Ведь были некоторые делегаты, что в

России жили в ссылке. Смельчаки! Выбрали делегатами, так они из ссылки бежали на съезд. У иных на еду даже не было денег. Но все полны были жизни и веры. Все были веселы.

Иногда вечерами соседи Ильичей примолкали, слушая пение из домика русских, где в эти дни так много толпилось приезжих. Удивительное пение, такого еще не слыхивали в рабочем поселке Сешерон. Широкие, вольные, то заунывные, трогаящие душу печалью, то залихватские и удалые мотивы лились из окон.

— Видно, хорошие люди эти русские. Только хорошие люди могут петь так задушевно! — говорили соседи.

Делегаты приезжали к Ленину поговорить о вопросах съезда, поделиться мыслями. Делегаты знали, он больше всех подготавливал съезд. Владимира Ильича очень ценили и уважали все делегаты. Ведь это он писал в «Искру» так много статей. Это он написал замечательную книгу «Что делать?» о том, как строить партию. Подготавливал для партии Устав и боевую Программу.

«Мы хотим добиться нового, лучшего устройства общества: в этом новом, лучшем обществе не должно быть ни богатых, ни бедных, — объяснял Ленин, — все должны принимать участие в работе».

Владимир Ильич еще в ссылке обдумывал Программу, не оставляя о ней мыслей до самого съезда.

И хотел договориться на съезде, как правильнее бороться за новое общество. Как к нему скорее прийти.

Из Женевы делегаты поехали в столицу Бельгии — Брюссель. В Брюсселе открылся II съезд. Не в просторном, светлом зале проходил съезд, как теперь бывает у нас. Нет, никакого не было зала, а был огромный мучной склад, неуютный и темный. Пахло сыростью. Ночью, наверное, в темноте бегали крысы.

Склад проветрили, подмели. Сколотили деревянную трибуну. Большое окно завесили красной материей. Поставили лавки. И делегаты заняли места. На трибуну поднялся Плеханов. Плеханов был первым русским марк-

систом. Он был ученым. Еще до Ленина написал много книг, объясняющих революционное учение Маркса. Плеханов торжественно открыл II съезд партии, сказал хорошую речь.

Все слушали с замиранием сердца. Как волновался Владимир Ильич! Даже побледнел. Только ярко горели глаза. Давно мечтал он о партийном съезде, о восстановлении партии. Наконец-то сбылось!

Началась работа съезда. И почти с первых же дней началась на съезде борьба.

Что же это была за борьба? Кто против кого боролся?

Дело в том, что нашлись делегаты, которые не соглашались с боевой Программой Ленина.

Слишком она казалась им новой и смелой. Новизна их пугала. И эти делегаты стали спорить с Лениным. Но Ленин был прав и так страстно и горячо защищал свою правоту, что большинство делегатов стало на его сторону. На съезде обсуждали Программу и Устав партии. Были выборы в Центральный Комитет и редакцию газеты «Искра». И по всем вопросам разгоралась борьба. Ленин сделал на съезде доклад, очень ясный и убедительный, все слушали с необыкновенным вниманием. На съезде было тридцать семь заседаний. Ленин выступил сто двадцать раз с речами и репликами. Захватывающе он говорил! Большинство делегатов было за Ленина. Их стали называть большевиками. Кто за рабочую революцию, за счастье народа, за ленинскую Программу, за Ленина — тот большевик. А тех, кто на II съезде откололся от Ленина, называли меньшевиками, их было меньше. Меньшевики отошли от революционной борьбы. Большевики, напротив, теснее собрались вокруг Ленина.

Съезд работал, заседания шли одно за другим, а возле мучного склада стали появляться подозрительные личности. Шныряли, подсматривали. Оказывается, бельгийская полиция распознала, что съехались русские революционеры, целую толпу шпииков подослала следить. Надвигалась опасность. Пришлось всему съезду перекочевать

в новое место. Переехали в Лондон. Там продолжалась работа. Тоже тайно. Каждый день приходилось менять адрес, искать для заседаний пристанище. Вот в каких трудных и опасных условиях шел Второй съезд.

Ленин победил. Большевики были с ним, неустрашимые и пламенные соратники Ленина!

...В Лондоне часты дожди. И тут долго сеял меленький дождичек, лондонцы ходили под большими зонтами. Прямо-таки запружены были улицы зонтиками. На час прилетит ветер с Ла-Манша, разметет в небе плотные тучи, блеснет голубизна, засветит солнце. И снова дождь.

В один такой сырой день после съезда, когда сверкнул ненадолго луч солнца и скрылся за тучами, Ленин сказал:

— Товарищи! Двадцать лет назад здесь, в Лондоне, умер Карл Маркс. Поедем поклониться могиле великого Маркса.

— Поедем,— согласились большевики.

И они отправились все вместе на кладбище. Кладбище было в парке, расположенном в северной части Лондона на высоком холме. С холма далеко виден Лондон. Темные от копоти здания, темные крыши, дымные трубы заводов.

На могиле Маркса лежала плита из белого мрамора, словно в раме из ярко-зеленой травы.

Куст роз в изголовье. Лепестки печально поникли. Сеял дождь. Черные зонтики медленно двигались улицами.

— Товарищи,— негромко сказал Ленин, сняв шляпу.— Великий Маркс — наш учитель. Поклянемся над могилой Маркса, что будем верны его учению.— И добавил: — Никогда не оставим борьбы. Вперед, товарищи. Только вперед.

ЗЛОДЕЙСТВО

В Петербурге на Путиловском заводе уволили троих рабочих. Ни за что. Не понравились мастеру — и все тут, уволены. Буря поднялась на заводе.

— Нет у нас прав. Давайте нам права. Долой мастеров-живодеров! — требовали путиловцы.

Вспыхнула стачка. Все путиловцы, все до единого, отказались работать. Завод стал. В тот же день остановились еще два завода. А через день бастовало уже 360 заводов и фабрик. Затихли станки. Петербург оцепенел, притаился. Все ждали, что будет. В воскресенье 9 января 1905 года тысячи рабочих вышли на улицы.

— Идем к царю милости просить, — говорили рабочие. — Царь-батюшка, заступись за правду, не дай пропасть с голоду.

Большевики отговаривали: не ходите, не послушает вас царь.

Рабочие шли: царь не знает, как бедует народ. Узнает, так вступится. Припугнет лихих мастеров и хозяев. А то уж совсем житья не стало рабочим.

Рабочие несли царю петицию со своими просьбами. Утром в воскресенье со всех концов Петербурга двигались, двигались к Зимнему дворцу рабочие шествия. Текли вдоль улиц, выливались на площади. Качались над головами церковные хоругви, поблескивая золоченым шитьем. Плыли на вышитых полотенцах иконы. Шли и дети и женщины. С верой, мольбой.

Но что это? На перекрестках построены отряды солдат. Ружья у ноги. Офицеры перед строем в белых перчатках.

В это время на Дальнем Востоке шла война. На суше и на море были жестокие бои. Почти год назад напали на Россию японцы. Русские генералы оказались совсем не готовы. Русские войска терпели изо дня в день поражения. Тысячи солдат погибали где-то далеко...

А здесь, в Питере, царские офицеры вывели солдат

против своих безоружных рабочих. Расставили по всей столице. Зачем?

— Для порядку,— объяснял один рабочий, держа у груди икону пресвятой божьей матери.— Толчеи, стало быть, опасаются.

Рабочий этот вышел на улицы вместе с женой. Огромные глаза мрачно блестели на ее истомленном лице.

— Воротилась бы домой,— поглядев на жену, сказал рабочий.— Лица нет на тебе. Ребятишки одни остались. Не сотворили бы чего... Вернись, Татьяна, домой.

— Нет, нет!— иступленно заговорила она.— Выйдет к народу царь, кинусь в ноги. Царь-батюшка, пожалей ребятишек! Сердце-то царское и помягчает. У самого, чай, дети.

Каменная громада Зимнего дворца непреступно высилась в глубине площади. Сотни окон немо глядели. Снег перед дворцом был нетоптанный, белый. Плотная цепь солдат с угрюмыми лицами охраняла дворец. При виде толпы офицер поднял руку в перчатке. Ружья вскинулись к плечу.

— Братцы, не страшайте, солдатики! — закричали рабочие.— Свои ведь идем. С добрым словом к царю.

— Неужто он один в таком дворце громадном живет? — изумлялась Татьяна, дивясь величественному, как крепость, дворцу.

— Стой! Не ходи дальше! — прокричал офицер.— Нельзя. Не смей дальше!

Рабочие смешались. На минуту произошла заминка. Но задние, не видя солдат, напирали.

— Боже, царя храни! — разносилось по площади.

Рабочие в передних рядах подняли белые платки и махали ими.

— Мы — мирные! Царю просьбу несем! — кричали рабочие и шли с хоругвями, иконами, белыми платками.

— Пли! — приказал офицер.

Раздался треск. Непонятный, негромкий. Вспышка. Человек двадцать из толпы рабочих рухнули наземь.

Татьяна охнула, схватилась за мужа и медленно сползла к его ногам.

— Татьяна!..—не веря, крикнул он.

Она лежала на боку, уткнувшись в снег мертвым лицом.

— Пли! — повторилась команда.

— Пли! Пли! Пли!

— Убили нас! — страшно охнул рабочий. Дикими глазами он глядел на жену. Обезумел. Замахнулся иконой, швырнул в солдата, кинулся пулям навстречу: — Злодеи! Проклятые... Ребятишки-то. Трое. В каморе запертые...

Люди бежали с площади. Прятались в подъездах домов. Падали замертво. Снежная площадь перед Зимним дворцом почернела от тел убитых. Выскакал конный отряд, с шашками наголо.

— Бра-атцы! Пропали! — поднялся над толпой страшный вопль.

— Проклятые, проклятые!

— Вот он, ваш царь! — яростно агитировал молодой большевик.— Вот в кого вы верили. В зверя жестокого верили!

Рабочие поняли. Царь их расстрелял. Навсегда была расстреляна народная вера в царя. В это Кровавое воскресенье 9 января 1905 года в Петербурге было убито больше тысячи рабочих. Пять тысяч ранено.

К вечеру на петербургских улицах валялись фонарные столбы, строились баррикады. Рабочие поднимали против царской власти бои.

На окраине Женева, вблизи реки Арвы, была улица Каруж. Русские эмигранты называли ее Каружкой. На Каружке преимущественно они и селились. Здесь была столовая мужа и жены Лепешинских, товарищей Владимира Ильича по сибирской ссылке. Столовую Лепешинских знали все русские эмигранты. Просторная комната на первом этаже, две витрины вместо окон. Длинные до-

щатые столы, очень чистые. И пианино. Это была не только столовая, а вроде бы клуб большевиков. Здесь читали лекции, играли в шахматы, обсуждали политику...

Когда телеграф принес в Женеву весть о Кровавом воскресенье, все эмигранты без зова собрались в столовой Лепешинских. Говорили мало. Было тихо. Лица были серьезны и строги. Большевики понимали: в России началось большое, небывалое.

«Домой, домой, на родину!» — думал Владимир Ильич. Чей-то голос скорбно запел:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Все поднялись и подхватили:

Любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу.

У многих на глазах были слезы.

— В России революция, — сказал Владимир Ильич. Горячо прозвучало это великое слово. В тот же вечер Ленин написал призывную статью для газеты «Вперед». Это была новая газета большевиков. «Искру» захватили меньшевики. А большевики теперь выпускали газету «Вперед».

Ленин писал: «Начинается восстание. Сила против силы. Кипит уличный бой, воздвигаются баррикады, трещат залпы, и грохочут пушки. Льются ручьи крови, разгорается гражданская война за свободу...

Да здравствует революция!

Да здравствует восставший пролетариат!»

КРАСНЫЙ ФЛАГ В МОРЕ

Однажды в конце лета у двери женевской квартиры Ульяновых зазвенел колокольчик.

— Володя, к тебе, — сказала Надежда Константиновна, впуская в дом незнакомого молодого человека.

У него было круглое, открытое мальчишечье лицо. Ясные, светлые глаза любопытно и чуть удивленно глядели из-под черных бровей.

— Проходите, очень рады вам,— сказала Надежда Константиновна. «Экий славный паренек. Так на лице и написано, что прямой да хороший. Должно быть, приезжий».

В России шли непрерывные забастовки и стачки, к Владимиру Ильичу часто приезжали с родины большевики за советом.

Молодой человек вошел вслед за Надеждой Константиновной к Ленину. Вытянулся у порога, слегка выкатив грудь,— чувствовалась военная выправка.

— Откуда вы? — улыбнулся Владимир Ильич.

— Матрос Афанасий Матюшенко с броненосца «Потемкин»,— отрапортовал незнакомец. И стоял как на службе — руки по швам.

Владимир Ильич стремительно к нему шагнул. Схватил руку. Пожал.

— Руководитель команды революционного броненосца «Потемкин»! Надюша, взгляни, совсем молодой...

Через полчаса кипел на спиртовке эмалированный чайник. На столе висилась горка ломтей пышного хлеба. Аппетитно желтело свежее масло в масленке.

— Ну, рассказывайте, милый Матюшенко, пожалуйста! — нетерпеливо сказал Владимир Ильич, когда тот умял несколько ломтей хлеба с чаем.

И матрос Афанасий Матюшенко рассказал историю эскадренного броненосца «Потемкин».

Это был недавно отстроенный, самый мощный военный корабль. Он стоял в Севастополе. Какие огромные орудия были на нем! Семьсот сорок матросов составляли команду.

В России бушевали восстания. В деревне крестьяне бунтовали против помещиков. Не утихала русско-япон-

ская война. Японцы побеждали, страшные потери несли русские войска. Погибла целая наша эскадра в Цусимском проливе. Все было гнило и плохо у царских правителей. Народ презирал и ненавидел царя Николая II.

Командир броненосца, лютый и безжалостный человек, боялся, как бы революционный дух не проник на броненосец «Потемкин», и увел броненосец из Севастополя на военные учения в море. Подальше от родных берегов, от рабочих забастовок и стачек.

Рано утром в открытом море матросы поднялись по сигналу. Назначены были наряды. Большой группе матросов велели мыть палубу.

Ветер доносил какой-то противный запах с верхней палубы. Матросы-мойщики поднялись наверх. И что же? Там на крюках было подвешено мясо. Жирные белые черви ползали в нем, червей было так много, что казалось, мясо шевелится. Мерзко стало матросам от этого зрелища.

— Вот чем запасли нас кормить!

— Не будем есть червей, пусть офицеры сами лопают!

— Так офицеры и станут. У них свой харч, офицерский. Им что до нас.

Подошло время обеда. Дали сигнал. Матросы спустились в камбуз. Кок собрался раздавать борщ, а в нем черви.

— Не будем есть,— отказались матросы.

Настала тишина. Что-то страшное наступило. Кок испугался. Позвал офицера. Офицер прибежал, набросился на команду с бранью и... осекся. Увидел бледные, суровые лица. Офицер пошел к командиру с докладом. Скоро слышалась барабанная дробь—барабанщик играл сбор. Матросы сбежались на палубу, выстроились по бортам броненосца, застыли. Синее море было вокруг, лучезарное небо. Невысокие волны ходили по морю. Стая дельфинов резвилась в волнах.

— Бунтовщики!— топя сапогами, орал командир.— Черви им привиделись! Бунтовать вздумали? Я вам по-

кажу, как на военном корабле бунтовать! Говори, кто зачинщики?

Матросы молчали. Стояли как вкопанные. Офицеры вывели на палубу караул с винтовками. Выстроили против матросов.

— Кто зачинщики?

Матросы молчали.

— Принести брезент! — отдал приказание командир.

Что это значило? Это значило, командир выбрал жертвы на казнь. Ткнет пальцем: вы зачинщики. И конец.

Брезент принесли, раскатали на палубе. Сейчас им накроют матросов. Кого накроют — под расстрел без суда.

Все замерли. Сейчас, сейчас смерть... Спасения нет. А вокруг синее море, небо, полное горячего света, веет вольный ветер. Вдруг один круглолицый, ясноглазый матрос выскочил из строя:

— Братцы! Доколе будем терпеть? Издеваются над нами. К оружию, братцы!

И кинулся за ружьем в батареи. Это был Афанасий Матюшенко. Неугомонной душой называли его товарищи.

— Долой командира-дракона! — призывал Матюшенко. — Долой царя! Да здравствует свобода, товарищи!

Строй сломался, тишина сломалась. Матросы расхватили винтовки.

Старший офицер отступил за башню, в упор прицелился, спустил курок револьвера. Насмерть раненный, рухнул матрос, вожак команды, стойкий, смелый большевик, товарищ Вакулинчук.

— Вот вы как? Получайте же! — бешено закричал Матюшенко и наповал убил офицера.

Ярость обуяла команду. Еще нескольких, особенно ненавистных, офицеров застрелили и выкинули в море. Командир-дракон спрятался. Матросы нашли, выволокли из каюты — туда же, за борт.

И броненосец «Потемкин» свободен. Броненосец «Потемкин» во власти команды.

А дальше что? Кому управлять кораблем? Куда идти кораблю?

Выбрали судовую комиссию, главным Афанасия Матюшенко. Идти решили в Одессу. И на мачту, где до того дня висел царский флаг, подняли свой, революционный. Это было 14 июня 1905 года.

Броненосец «Потемкин» на всех парах шел под красным флагом в Одессу.

Флаг полоскался на ветру. Горел как огонь. Светил как маяк. Звал и вел матросов на борьбу за свободу.

Пришли к Одессе, стали на рейд. Спустилась ночь. Прожекторы броненосца щупали тьму. Слепящие пучки света обшаривали Черное море и затаившиеся ночные улицы города. Дула орудий нацелились на Одессу. А там полыхали рабочие стачки, там рабочие бастовали против хозяев. Что бы броненосцу «Потемкин» сразу, без промедлений, выступить на помощь рабочим! Открыть огонь, разбить дворцы вельмож и начальников. Но вожак команды, большевик, раненный офицером, скончался. А остальные были молоды и неопытны!

Между тем царь слал из Петербурга в Севастополь приказы командиру Черноморского флота:

«Немедля подавить восстание!»

Всю Севастопольскую эскадру двинули в Одессу против мятежного броненосца «Потемкин».

И вот на четвертый день утром часовые «Потемкина» увидели на горизонте мачты и трубы. Один корабль, второй, третий. А за ними еще корабли двигались на окружение броненосца «Потемкин». Тринадцать против одного.

На «Потемкине» сыграли боевую тревогу. Матросы заняли места на постах. Что будет?

Броненосец молча пошел навстречу эскадре. В гробовой тишине, только медленно поворачивая башни, нацеливая дула орудий. Сигнальщик, по приказу Матюшенко, сигнализировал: «Команда «Потемкина» просит комендоров не стрелять».

И вдруг тысячное «ура» разнеслось по морю со всех тринадцати кораблей, приведенных усмирять броненосец «Потемкин». С одного корабля просигналили: «Присоединяемся к вам».

И корабль понесся, как птица, на сближение с «Потемкиным».

— Ура! — гремело над морем.

Начальник эскадры испугался: вдруг взбунтуются все? И отдал приказ:

— Эскадре уходить в Севастополь.

Теперь два мятежных корабля под красными флагами стояли у тревожных берегов Одессы. Стояли и... не брали Одессу. Ждали чего-то. Колебались. Не знали, как поступить.

А на «Потемкине» шло к концу топливо. Была на исходе пресная вода. Скоро без пресной воды станут машины. Матросы волновались. Надо действовать. Как?

Соседнему кораблю ненадолго хватило мужества. Скорбно пополз вниз по мачте красный флаг революции. Корабль сдался властям.

Потемкинцы снялись с якоря и ушли из Одессы в открытое море.

А в это время посланец Ленина спешил из Женевы на помощь восставшим потемкинцам. Ленин наказывал: «Убедите матросов действовать решительно и быстро. Добейтесь, чтоб немедленно был послан десант... Город надо захватить в наши руки...»

Посланец Ленина приехал в Одессу, а красного флага на рейде нет. Красный флаг далеко.

Совсем мало на броненосце оставалось пресной воды. Скорее, скорее надо найти выход. Пришли в Феодосию:

— Дайте воды.

Власти отказали:

— Не желаем снабжать бунтовщиков.

Снова красный флаг в море. Непобежденный и бесприютный. Непокорно было на корабле, неуверенно. Дни и ночи Матюшенко не спал. Где выход?

На одиннадцатый день вечером броненосец стал на рейд в румынском порту. Чужие берега, чужие дома, чужие огни.

— Дайте воды.

Румынские власти не дали. Нет больше сил у броненосца «Потемкин». Нет воды, нет угля, нет хлеба.

Румынское правительство предложило:

— Сдавайте нам броненосец, а мы дадим вам приют. Не выдадим вас царю.

И наступила последняя ночь для матросов на броненосце «Потемкин». Свободный броненосец «Потемкин», прощай! Одиннадцать дней ты наводил трепет на генералов и офицеров, на царя и всех богачей. Ты верен был революционному знамени. Слава тебе!

ТАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ

С Николаевского вокзала из Москвы уходил в Петербург скорый поезд. До отправления оставалось четыре минуты. Пассажиры заняли места. Небольшие группки провожающих толпились у подножек вагонов. Возле последнего вагона стояли два шпики.

— Нет и нет...— со вздохом сказал один, у которого русые усики закручивались крутыми колечками.

— В последний момент, должно, прибежит, углядим,—ответил другой.

Они зорко глядели из-под низко нахлобученных шапок. На платформе появились еще пассажиры. Один, довольно коренастый, в круглых синих очках, с чемоданом и дорожной желтой коробкой—такие коробки модны были в Финляндии. Второй—щеголь, в клетчатом пальто.

— Чудесно сегодня утром пробежались на лыжах!—проходя мимо шпиков, оживленно говорил щеголь в клетчатом пальто.—Весь день силушка по жилушкам так и играет, а день-то снежный, морозный!

Пассажир в синих очках что-то ответил. Шпики не расслышали. Шпики нервничали: тот, кого они ловили, не показывался. А этот, в синих очках, кто такой? Должно, не тот, кого они поджидали, а подозрительно... не упустить бы. Шпики кинулись вслед за пассажиром в синих очках.

Но поезд тронулся. Пассажир в синих очках, с чемоданом и желтой коробкой, вскочил на подножку. Щеголь остался. Оказалось, был провожающим.

— Так и нет,— огорченно сказал один шпик.— Начальству донесли, что нынче в Петербург собирался. Ан нет. Вот его карточка, вроде никого на вокзале похожего не было.

Он вынул из кармана фотографию. Лицо, чуть скуластое, с громадным лбом и резко сломанными бровями, насмешливо щурясь, глядело с фотографии.

— Ленин-Ульянов. Из Женевы в Россию на рабочие восстания прибыл. Главнейший у них. Непременно поймать его велено. Завтра опять придется сторожить,— сказал шпик, пряча карточку.

А скорый поезд мчался сквозь звездную ночь, раскидывая по макушкам деревьев хлопья едкого дыма. Лес, заваленный снегом, безмолвный и глухой, тянулся вдоль рельсов.

Поезд мчался. Горели глаза паровоза. Громыхали на стыках колеса...

Рано утром в Петербурге человек в синих очках взял извозчика и довольно скоро был дома — на углу Бассейной и Надеждинской улиц, почти в центре столицы. Был ли это его дом? Небольшая комнатенка. Необжито, пусто. Стол дощатый, без скатерти, да табурет, как на кухне.

Человек снял очки, сунул в чемодан. Вынул из желтой коробки бумагу, без промедления сел за стол и, не поднимая головы, стал писать.

Через час за дверью что-то тихо заскреблось. Повернулся снаружи в скважине ключ. Дверь отворилась. Во-

шла Надежда Константиновна, с муфтой, в шапочке, отороченной мехом.

Владимир Ильич вскочил:

— Надюша, родная!

— Охотились в Москве за тобой? — в тревоге спросила Надежда Константиновна.

— Еще как! — усмехнулся Владимир Ильич.

Пряча беспокойство, Надежда Константиновна стала разбирать чемодан. Синие очки! Зачем?

— Маскарад! — ответил Владимир Ильич. — При помощи этих синих очков оставили господ сыщиков с носом, Надюша!

Владимир Ильич и Надежда Константиновна нелегально вернулись из Женевы на родину. Жили в Петербурге врозь, по чужим паспортам. Виделись тайно. Свидания были кратки и спешны.

Сейчас Владимир Ильич торопился рассказать о московских небывалых событиях! Он ездил в Москву обсудить их с товарищами.

События начались в октябре. Забастовал Московский железнодорожный узел. Забастовали московские фабрики. Остановились трамваи и конки. Погасло электричество. Выключили водопровод. Вся рабочая Москва бастовала. Перекинулось на другие города. Охватило деревни. Вспыхнула Всероссийская всеобщая политическая стачка.

Чтобы притушить революцию, царь выпустил манифест. Обещал в манифесте рабочим свободу. Но это было обманом. Рабочие знали: нельзя верить царю. Рабочие помнили январский расстрел у Зимнего дворца в Петербурге.

И вот 7 декабря 1905 года днем, в 12 часов, вновь объявлена была в Москве забастовка. Правительство послало войска усмирять забастовщиков. И тогда вступили в действие рабочие боевые дружины. На улицах, площадях и бульварах, у заводов и фабрик поднялись баррикады.

Главные силы восставших рабочих обосновались на Пресне. Это рабочий район. Там много фабрик и заводов.

Образовался Совет рабочих депутатов. Установилась рабочая власть.

А царское правительство спешно сгоняло к Москве пехотные, кавалерийские, артиллерийские полки и батареи, казацкие части. Царские пушки палили по Пресне. Как спичечные коробки, вспыхивали деревянные рабочие дома и бараки. Десять дней длились бои. Рабочие и большевики сражались геройски. Но царские пушки жестоко подавили восстание.

Нужно ли было братья за оружие рабочим?

— Нет! — говорили меньшевики.

— Не надо, — утверждал Плеханов.

Он был первым русским марксистом, а когда в России забушевали революционные битвы, Плеханов ушел от Ленина и все дальше уходил от большевиков.

— Нужно было восстание, — твердо заявил Ленин. — Надо было рабочим братья за оружие. Рабочий класс получил боевое крещение.

Сейчас, запершись в бедной, пустой комнатенке, Владимир Ильич шепотом рассказывал обо всем этом Надежде Константиновне. Ведь Надежда Константиновна была секретарем Центрального Комитета партии, ведала явками, партийными связями, большевистскими встречами, была самым близким помощником Ленина.

И вспомнился им, горько вспомнился дорогой их товарищ Николай Бауман. Вместе с Лениным Бауман подготавливал выпуск «Искры». Переправлял «Искру» из-за границы в Россию. Жандармы ловили его, сажали в тюрьму. Он бежал. И снова, неустрашимо и вдохновенно работал для партии. И снова его сажали в тюрьму.

В октябре 1905 года Баумана выпустили из заключения. А через несколько дней, во время демонстрации, наемный убийца обломком чугунной трубы ударил Баумана. Насмерть. Тысячи московских рабочих провожали гроб большевика. Мужественного, красивого...

— Такими людьми сильна наша партия, — сказал Владимир Ильич.

Встал, подошел к окну. Надежда Константиновна стала с ним рядом.

— Погляди, Володя.

Против окна, на той стороне улицы, виднелся человек в меховой шапке, в пестром кашне, приличный по внешности, но странно неподвижный. Другой частыми шажками ходил по тротуару. Некоторое время Владимир Ильич с Надеждой Константиновной наблюдали за ними.

— Придется менять адрес,— сказал Владимир Ильич.

Взял со стола только что написанную статью, отдал Надежде Константиновне. Она молча спрятала в сумочку. Владимир Ильич затолкнул желтую коробку под кровать.

— Унести бы ноги,— проговорила Надежда Константиновна.

Болела у нее душа за Владимира Ильича!

Каждый день, каждый час, каждую минуту подстерегала опасность. Схватят, запрут под тюремный замок. Сошлют на вечную каторгу.

Но она не сказала о своем беспокойстве ни слова, а сказала, что товарищи ждут Владимира Ильича в условленном месте. Что за этим она и пришла к нему на Басейную. И что надо отсюда поскорей уезжать, а то вон каких молодчиков выставили...

Они вышли из дома под руку и пошли не налево, как было им нужно, а в обратную сторону. Владимир Ильич с любезным видом завел разговор о концерте. Хорошо бы сегодня послушать концерт. Надежда Константиновна кивала, соглашаясь. А сама косилась: что шпики? Один, в пестром кашне, как раньше, стоял неподвижно. Другой от нетерпеливости характера бегал.

— Извозчик! — подозвал Владимир Ильич.

Проезжавший мимо извозчик остановился. В нескольких шагах от шпииков Владимир Ильич посадил в санки свою спутницу, сел сам.

— Садовая! — велел наобум. А Надежде Константиновне по-немецки вполголоса: — Желал бы я хорошего морозца этим олухам да с вьюгой, пускай бы померзли.

Не доезжая Садовой, они отпустили извозчика, нырнули в проходной двор, знакомый Владимиру Ильичу по старым питерским годам. И поехали на Васильевский остров. Если за ними следят, надо запутать следы, сбить с толку. Они ехали куда глаза глядят. Январский день, необычно для Петербурга, был ясный и солнечный. Все было бело. Искрился снег. Мороз щипал щеки.

— Соскучился я по этой снежной белизне! — с чувством вырвалось у Владимира Ильича.

— Зимушка наша. Зимушка русская! — отозвалась Надежда Константиновна.

Они были счастливы хоть нечаянно побыть немного вдвоем. А под вечер в точно назначенный час, уверившись, что шпик за ним не крадется, Владимир Ильич шагнул по указанному Надеждой Константиновной адресу. Собрались питерские большевики и передовые рабочие, дожидались выступления товарища Ленина.

СНОВА ЧУЖБИНА

Два года вспыхивали и горели по всей России костры рабочих и крестьянских восстаний. Два года царские правители душили революцию в России. И началась расправа. Аресты. Ссылки. Казни, казни...

Владимир Ильич жил недалеко от Петербурга, в Финляндии. Здесь редактировал и выпускал большевистскую нелегальную газету «Пролетарий». Отсюда держал постоянную связь с Петербургским большевистским центром. А Надежда Константиновна почти ежедневно ездила в Петербург с партийными поручениями Ленина.

Однажды вернулась из Петербурга сильно расстроенная. Уж очень злобствовали против Владимира Ильича царские власти! Одну книжку его запретили, постановили отдать Ленина за эту книжку под суд. Другую книжку конфисковали. Разослали по всем жандармским управлениям приказ:

«Разыскать большевистского вождя Ленина!»

— Доберутся они до тебя, вся полиция на ноги поставлена,— с грустью сказала Надежда Константиновна.

В те времена Финляндия была под властью русского царя, царские полицейские без препятствий шныряли по княжеству Финскому. Вот-вот выследят Ленина.

Большевистский центр постановил: Ленину надо эмигрировать за границу. Газету «Пролетарий» издавать за границей.

— До свидания, родной мой,— простилась Надежда Константиновна.— Встретимся в Швеции.

Надежда Константиновна в Стокгольм, столицу Швеции, приедет позднее. Сейчас Владимир Ильич поехал один.

Был декабрь 1907 года. Поезд шел из Гельсингфорса в портовый финляндский город Або. В купе ехали финны. Финны — народ молчаливый. Да Владимиру Ильичу и не хотелось разговаривать. Снова покидает он родину! Много пережито за два революционных года на родине. Революцию подавили. Но рабочий класс закалился, научился опыту революционной борьбы...

Занятый мыслями, Владимир Ильич не сразу заметил сквозь стеклянную дверь купе в коридорчике человека. А когда заметил, по виду и шныряющему взгляду моментально определил полицейского шпика. Владимир Ильич научился их узнавать. Шпик за ним наблюдал, и давно, — это ясно. Наверное, на вокзале в Або Владимира Ильича ожидают жандармы. Конечно, шпик известил телеграммой жандармов: мол, встречайте добычу.

Плохи дела. Последнюю остановку перед Або проехали. Больше остановок не будет. Сойти не удастся. Поезд вез Владимира Ильича прямо в лапы жандармов. Положение создавалось пренеприятное. Владимир Ильич взглянул на стеклянную дверь. Шпика не видно. Очевидно, уверен, что добыча надежно в руках. Ушел в свое купе отдохнуть. Скверны дела: через час Владимира Ильича посадят в тюрьму.

Он поднялся. Чемоданчик у него был небольшой. С чемоданчиком в руке Владимир Ильич не спеша направился в тамбур. Только бы не выскочил шпик. Упаси бог! Владимир Ильич отворил дверь из тамбура. Ледяной ветер хлестнул в лицо. Как быстро несется поезд! Вагон качает: не устоишь на ногах. Владимир Ильич несколько минут выжидал. Не решался. Слушал торопливый перестук колес. Может, ему показалось, а может, и верно поезд замедлил на повороте — все равно другого выхода не было. Владимир Ильич прыгнул. Дух захватило. Невольно он зажмурил глаза и провалился в пушистый снег.

Он упал в глубокий сугроб, удивительно удачно упал! Снег насыпался за воротник и в ботинки, залепил лицо, но кости были целы. Цел, жив! Поезд прогромыхал мимо сугроба. Помигал красный фонарь на площадке последнего вагона и исчез. Вдалеке замерли звуки. Тишина. Ночь. Мохнатые звезды в холодном небе.

Владимир Ильич выбрался из сугроба. Отряхнулся от снега. И пешком зашагал вдоль рельсов по направлению к Або. Далеко ли идти? Двенадцать верст, по чужой дороге, в зимнюю ночь, — далеко! Зато спасся от жандармов. А шпик? Владимир Ильич представил, как ошарашенно мечется перепуганный шпик, разыскивая его по вагонам, и засмеялся: «Проворонил, голубчик, намылят тебе голову!»

Теперь оставалось дошагать по рельсам до Або, сесть на шведский пароход — и опасности позади.

Но на пароход Владимир Ильич опоздал. И опасности были не позади, а рядом. И слева, и справа, и всюду. Порт набит русскими жандармами и сыщиками, туда и носу нельзя показать. Город полон жандармами. Так сказал один финский товарищ. Этому товарищу большевистский центр поручил устроить Владимиру Ильичу переезд из Або в Стокгольм. Что делать?

Уезжать из чужого города Або — вот что надо делать. И скорее, немедленно.

Финский товарищ переправил Владимира Ильича

в рыбацкий поселок на скалистом берегу моря. Здесь были шхеры, то есть сотни островов, полуостровов, бухт и заливов. Острова, большие и маленькие, далеко уходили в глубь моря, и все это было покрыто снегом и льдом. Ведь стоял декабрь, стояла зима. Двое рыбаков согласились проводить Владимира Ильича на один островок. Шведские пароходы приставали к этому острову в шхерах.

Как?! Разве пассажирские пароходы ходили по льду?

Да, ходили. Ледоколы разрезали льды, образуя фарватер. Мимо того острова, к которому рыбаки повели Владимира Ильича, как раз и был проложен фарватер.

Была темная, немного вьюжная ночь. Вышли ночью, чтобы не заметили люди. Всякому показалось бы странным, куда и зачем отправляются путники по такому ненадежному льду. Лед был ненадежен. Кое-где змеились по нему коварные трещины. Иногда поднималась поверху вода. Рыбаки знали, что русский, которого они согласились вести к пароходу по шхерам, борется против царя. Финны ненавидели царя. Если русский против царя, они сделают для него все, что надо.

Путники молча шли, нащупывая длинными шестью дорогу. Тихо шли. Шаг, еще шаг. Ветер усилился. Вздыхал тучами снег. Колючий снег резал щеки. С моря долетали гудки. Там пароходы пробивались сквозь снежную вьюгу и мглу.

«Спасибо рыбакам, в такую непогожую ночь взяли меня проводить,— думал Владимир Ильич.— Спасибо, товарищи».

Он не знал, как рискованно, почти невозможно было идти в эту непогожую ночь. Шагал, проверял на ощупь дорогу шестом, старался не упускать из виду рыбаков впереди. Вдруг... лед пошатнулся. Раздался треск, будто выстрел. Лыдина накренилась и плавно стала уходить из-под ног. Из трещины хлынула вода. Шест Владимира Ильича шарил, дна не было. Конец. Все.

Он не помнил точно, как удалось ему выбраться. Кто-то протянул руку. Он схватился, прыгнул.

Проводники хлопали его по спине, говорили по-фински.

И по-немецки:

— Геноссе, геноссе... товарищ.

Они радовались. Как они радовались, что русский геноссе, товарищ, который борется против царя за народную долю, не утонул подо льдом!

Владимир Ильич добрался до острова. Шведский пароход его захватил и доставил в Стокгольм. Там Владимир Ильич дождался Надежду Константиновну.

И вот они снова в Женеве. Снова чужбина.

Неприглядна была Женева в тот декабрьский день, когда Владимир Ильич со своим верным другом, родной и любимой Надюшей, очутились там после революционной России.

Зима, а снега нет. Только ветер, резкий и жесткий, несет вдоль тротуаров холодную пыль.

Женевцы попрятались по домам. Не видно людей на улицах. Одиноко, неприятно в Женеве.

СВИДАНИЕ В СТОКГОЛЬМЕ

Владимир Ильич вышел из библиотеки. В каких только библиотеках не приходилось ему работать! В мюнхенской, женевской, цюрихской, и лондонской, и парижской, и копенгагенской! Теперь вот в этой, стокгольмской. Шел 1910 год, и опять Владимир Ильич в столице Швеции — Стокгольме. Он жил во Франции, а сюда приехал на время. По особому, совершенно особому поводу.

Быстрый и радостный, он шагал осенними стокгольмскими улицами.

Куда же он шел? Предстояло выступить с докладом в шведском Народном доме. Он шел на доклад. Десятки раз приходилось Владимиру Ильичу делать доклады в самых различных городах перед рабочими и членами партии. Отчего же он сегодня так весел? Он кидал вокруг

дружелюбные взгляды, всматриваясь на ходу в чужую, шведскую жизнь. Негромкий, чистый и прибранный город, с кривыми узкими улицами. Королевские дворцы, мосты через каналы, скверы, клумбы, стаи галок вокруг колоколен, медлительные экипажи на площадях — все это Владимиру Ильичу давно знакомо. А сегодня вызывало улыбку.

Он увидел продавщицу цветов. Корзина красных, желтых и розовых роз стояла у ног молоденькой девушки.

— Пожалуйста, вот эти красные розы. Мерси. Благодарю вас.

Владимир Ильич шел на партийный доклад с цветами. Не странно ли?

Однако вот и Народный дом. Сегодня здесь, в одной из комнат, собрались русские большевики-эмигранты.

— Ленин! Ленин! — встретили Владимира Ильича дружные возгласы.

Его обступили, жали руку. Это были политические эмигранты из России. Все знали Ленина. По книгам и статьям. По большевистским газетам: сначала «Искра», потом «Вперед», «Новая жизнь», «Пролетарий». Знали по съездам партии.

В глубине комнаты сидели две женщины. Одна совсем пожилая. На ней было черное платье с глухим воротничком и кружевная накладка на белых, совершенно белых, как снег, волосах. Черты лица ее были тонки. Она вся помолодела и оживилась, когда раздались одобрительные возгласы:

— Ленин!

Рядом с ней молодая, темноглазая, чуть скуластая, строгая. Она тоже расцвела при появлении Ленина. Владимир Ильич к ним подошел, положил на колени старой женщины розы.

— Мама и сестра приехали из России меня навестить, — просто объяснил он окружающим.

— Спасибо, что приехали, — сказал матери один большевик. — Вы можете гордиться своим сыном.



— *Мама и сестра приехали из России меня навестить,— объяснил он окружающим.*

А Ленин стал за небольшой, вместо кафедры, столик и начал доклад. Необычный доклад. Впервые его слушала мать. Он говорил товарищам, большевикам. И матери, маме. Мать была другом своих детей. А ведь все ее дети были революционерами. Она навещала их в тюрьмах. Носила передачи. Когда в 1895 году Владимира Ильича заключили в тюрьму, мама приехала в Петербург. «Мамочка, помню, как ты глядела на меня через решетку. Губы дрожали у тебя, а ты улыбалась».

Владимир Ильич говорил в своем докладе о положении в партии. О том, что надо бороться со всеми неверными течениями. Революция 1905 года потерпела поражение, но надо не падать духом. Надо смело идти вперед. Одна у нас дорога...

Владимир Ильич говорил о дороге революционной борьбы. После доклада опять его окружили. Насилу Владимир Ильич выбрался из Народного дома.

Был вечер. Из окон домов лился мягкий свет, оранжевый и голубой от абажуров. Тянуло морской прохладой из порта. Где-то звучала музыка.

Мама и Маняша ждали Владимира Ильича на улице.

— Мама, Маняша, как я рад, что вы здесь! — воскликнул он.

Ему хотелось услышать, что думает мать о сегодняшнем вечере. Вспомнилось Владимиру Ильичу детство и мама из его счастливого детства. Она всегда была неспешна. Ровна. Справедлива. За всю жизнь Владимир Ильич не знал ни единого случая, когда в чем-нибудь не согласился бы с матерью.

— Ты знаешь, Володя, — сказала она, — я читала многие твои книги и статьи и очень ценю твой ум и твои задачи. А сегодня я убедилась, как горячо тебя любят люди.

Десять дней прожили в Стокгольме Мария Александровна и Маняша. Владимир Ильич приехал из Парижа увидеться с ними. Быстро промелькнули дни!

Русский пароход уходил из Стокгольма утром. Осень сумрачно надвинулась на город, завесила плотными тучами небо. Ветер срывал листья с деревьев. Беспорядочно гнал по заливу мелкие волны. Лодки громко плюхали днищами по воде. Было беспокойно, нерадостно.

Владимир Ильич обнял мать.

Они мало говорили. У Владимира Ильича сердце разрывалось от горечи, когда мать, обняв его еще и еще, пошла по трапу на пароход. И все оборачивалась и махала платком. Пароход довольно долго стоял, а Владимир Ильич не мог туда подняться. На пароходе — русская территория, русские законы. Только Владимир Ильич туда ступит ногой, в тот же миг его арестуют. Мама махала платком. Низкий гудок протяжно разнесся над заливом. Пронзительно прокричала чайка. Пароход отошел.

Прощай, мама!

Он больше ее не увидел...

В ДЕРЕВНЕ ЛОНЖЮМО

Тысячи русских революционеров-эмигрантов жили во Франции. Владимир Ильич тоже жил и работал в Париже. А весной 1911 года они с Надеждой Константиновной выехали на все лето в деревню Лонжюмо.

Лонжюмо недалеко от Парижа, километрах в пятнадцати. Длинная улица протянулась больше чем на километр вдоль деревни. Ночами по улице тарахтели колеса возов, крестьяне везли на парижский рынок продукты.

Дома в Лонжюмо были каменные, невзрачные, насквозь прокопченные. Копоть валила из трубы небольшого кожевенного заводика. Даже листья и трава были от копоти тусклые и скучные в этой деревне. Правда, вокруг зеленели поля. Но Владимир Ильич с Надеждой Константиновной приехали сюда не для отдыха. Напротив, для трудной работы.

Был ранний час. На дворе во все горло запел петух. Владимир Ильич проснулся. Комната была темной и сырой даже в это яркое летнее утро. Казалось, и солнце еще не взошло — так было сумрачно в комнате.

Между тем Надежда Константиновна уже несла завтрак, состряпанный на керосинке.

— Изволили проспать, милостивый государь? За поведение — кол.

Такую отметку выставил себе Владимир Ильич, живо поднимаясь с постели. И скорей помогать по хозяйству.

Чашки, тарелки на стол. Сахарница...

— Ой! — вскрикнула Надежда Константиновна.

Сахарница вырвалась у него из руки. Владимир Ильич изловчился, подхватил:

— Чем не жонглер?

— На троечку, — ответила Надежда Константиновна.

Что-то колы да тройки у них на языке! Уж не заделались ли учителями Владимир Ильич с Надеждой Константиновной?

Нестерпимая жарница стояла в то лето во Франции! С утра нещадно пекло и жгло солнце. Лохматая дворняга лежала в тени под забором на улице. Высунула язык и часто-часто дышала.

— Жарко, псина? — дружески потрепал дворнягу Владимир Ильич. — Доброе утро! — поздоровался с рабочим-кожевником.

Ильичи снимали у него две темные комнаты в сумрачном доме с черепичной крышей.

Было воскресенье. Рабочий сидел в тени забора, положив на колени жилистые руки. У него было узкое, худое лицо. Пепельного цвета усы опускались вниз. Таким усталым он казался и изможденным!

Мимо по улице проезжал экипаж на рессорах, с лакированными крыльями. Под кружевным зонтиком ехала дама с миловидными, нарядными детьми. Рабочий торопливо вскочил, низко поклонился. Дама кивнула.

— Супруга хозяина, — почтительно сказал кожевник.

— Вот у кого отдых в полное удовольствие,— с насмешкой заметил Владимир Ильич.

Рабочий помолчал, погладил опущенные усы и смиренно ответил:

— Бог создал богатых и бедных. Значит, так надо.

Через улицу, наискосок, зазвонили колокола. Отворились для воскресной службы двери костела. Рабочий перекрестился и направился в костел, бормоча:

— Господь создал мир, нам ли судить?

— Да-а...— в раздумье протянул Владимир Ильич.

— Мосье,— спросил соседский французский мальчишка,— вы, наверное, на Сену купаться?

— Нет, дружок, не купаться.

— А, знаю, знаю,— закивал французский мальчишка,— вы в свою школу. Вы и в праздники учите.

Школа Ленина на другом краю длинной улицы в Лонжюмо была необычной школой. И по виду она не походила на школу. Раньше когда-то тут был постоянный двор. В глубине двора стоял просторный сарай. На пути в Париж останавливались в нем дилижансы. Кучера отдыхали, курили. Кормили лошадей. Но это было давно...

Весной 1911 года Владимир Ильич снял сарай под школу. Ученики выгребли мусор. Сколотили из досок стол на восемнадцать человек. Раздобыли у соседей старенькие табуретки и стулья — и школа открыта.

Какие же ученики в ней учились? Учениками были русские рабочие. Тайно от царских жандармов они приехали сюда из разных городов России учиться. А учителями были Владимир Ильич, Надежда Константиновна и некоторые другие товарищи.

Ученики сидели за столом, когда Владимир Ильич пришел на урок. Честь по чести встали при входе учителя. Но вот что смешно: все босые. Жара в Лонжюмо была нестерпимая, вот они и ходили босые.

Это были молодые ребята, любопытные и способные.

Они любили уроки и лекции Владимира Ильича! Всегда он умел заинтересовать с первого слова.

— Бог создал богатых и бедных. Значит, так надо,— начал неожиданно Владимир Ильич сегодня урок.

Лукавая улыбка играла у него на губах, смеялись глаза. Все в удивлении молчали. Прямо-таки мертвая тишина воцарилась в ответ.

— Так мне сказал один французский рабочий-кожевник,— после паузы объяснил Владимир Ильич.

Ученики зашумели:

— А! Вон оно что! Э! Это какой-то слизняк проповедует, это не борец.

— Отсталый ваш француз, Владимир Ильич! Ведите его в нашу школу, живо проветрим мозги.

А один ученик поднялся и сказал:

— Я тоже рабочий-кожевник, только, думаю, божьи законы нам не подходят. Надавать надо богатеям по шее да и строить новое общество.

— Правильно! — закричали вокруг.

Шумный получился урок. Но Владимиру Ильичу это и нравилось.

— Значит, не обязательно, чтобы были богатые и бедные,— подхватил Владимир Ильич.

И незаметно и просто перешел к уроку по политической экономии. Так называется очень важная наука о развитии общественного производства.

Владимир Ильич учил рабочих марксизму. Рабочий должен быть образованным, умным и сведущим. И превосходно должен разбираться в политике.

Разве будет бороться за революцию такой человек, как тот французский кожевник, который бормочет: «Господи помилуй!» — и знать ничего больше не знает? И у нас в России немало таких отсталых рабочих. Отсталость — не подмога революционной борьбе.

— Учиться надо рабочим! — говорил Владимир Ильич.

Потому и организовал он в Лонжюмо партийную школу. Ученики проучились в ней четыре месяца и поехали

домой, понесли русскому рабочему классу свою революционную веру и знания. А французская деревня Лонжюмо, обыкновенная деревня, не очень казистая, сейчас известна стала всем людям оттого, что там была первая партийная школа Ленина.

ВОЙНА ВОЙНЕ

— Батюшки мои, не верится, что из такой беды страшной вырвались!

Надежда Константиновна глядела на Владимира Ильича. Здесь, с ней, не в тюрьме! Живой, в глазах искры, морщинки смеха у губ. Беда миновала, а в глубине души было ей все еще страшно.

— Дурное сновидение. Вон из головы! — ответил Владимир Ильич.— Полюбуйся, Надюша, на осенний Берн.

И распахнул окно. Оранжевый свет осенних листьев полился в окно. Они были в столице Швейцарии Берне. На свободе. А совсем недавно Владимир Ильич сидел за тюремной решеткой. Случилось это в Поронине.

Поронин, польский городок или, скорее, поселок, находился в то время под властью австрийцев. 1 августа 1914 года Германия объявила России войну. И ее союзница Австро-Венгрия объявила России войну. А Франция и Англия объявили войну Австро-Венгрии и Германии.

Началась мировая война.

Тысячи женщин — русских, немецких, французских, английских, австрийских, венгерских — с плачем обнимали сыновей и мужей. В последний, может быть, раз. По железным дорогам России везли орудия и мужиков из Рязанской, Тульской, Ярославской губерний. На позиции, в бой. Зачем, для чего эта война? Никому не известно. Известно правителям. Но сынков правителей не гнали в теплушках на убой, как скотину. Гнали крестьян и рабочих.

В первые же дни войны австрийские жандармы в Поронине арестовали Ленина. Русский. Все что-то пишет. Что-то посылает в Россию. Значит, шпион. Доказательства? Какие там доказательства! Жандармы постановили — значит, шпион.

За это грозила смертная казнь. Сколько мѹки, отчаяния пережила Надежда Константиновна! Был Владимир Ильич две недели на волосок от смерти. Нашлись товарищи. Хлопотали, боролись за Ленина. Удалось вырвать из тюрьмы. Надежда Константиновна, словно не веря, что он на свободе, трогала его плечи и грудь. Пронесло напасть.

— И забудем,— сказал Владимир Ильич. И отрезал рукой.

Всего лишь вчера они приехали из Поронина в Берн, столицу нейтральной Швейцарии. Швейцария не воевала. Здесь шла обычная жизнь. Не плакали матери, не ломали в ужасе рук.

— Быстрее, Надюша, дружок! — торопил утром Владимир Ильич.

Они наспех позавтракали, убрали посуду и вышли из дому. В кирках еще служили обедню, когда они вышли. Колокольный звон мелодично разносился над Берном. Берн — просторный, неторопливый город, с древними зданиями, мостами через реку Аару и памятниками. На гербе Берна изображен медведь. И на многих домах нарисован добродушный коричневый зверь, вставший на задние лапы. Мало того — в Берне есть ров, так там и вовсе живые медведи. Вечно там толпится народ.

В Берне Владимир Ильич и Надежда Константиновна поселились, как всегда, на самой окраинной, короткой и узкой улочке под названием Дистельвег. Что значит по-русски: дорога в чертополохе. Ясно, не роскошная улица.

Минут десять Владимир Ильич и Надежда Константиновна прошагали по улице Дистельвег, и город окончился. И начался лес, золотистый и пестрый, сентябрьский лес, сразу за городом. Привольно шагать извилистой горной

тропой среди могучих буков и лиственниц, с холма на холм, все выше и круче.

Стоп. Владимир Ильич остановился.

— Здесь, Надюша? — спросил он, узнавая приметы, по которым в этом месте нужно было с тропки свернуть. Перепрыгнуть канавку. Еще два десятка шагов. Развести рукой кусты — и перед глазами поляна. Несколько человек расположились на поляне, подстелив пиджаки и плащи.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Владимир Ильич.

Позади треснул сучок. Закачались еловые ветви. Выснулась голова. Из чащи вышел человек, с плетеной корзиночкой, в каких бернцы носят завтраки, идя на пикник.

Может, эти люди собрались на пикник? День чудесен. Ясное небо нежарко. Лес так покоен и тих!

Но на поляне был не пикник. Вчера, приехав в Берн, прямо с поезда, Владимир Ильич дал весть знакомому русскому большевику-эмигранту. Тот сообщил другому. В один вечер передалось по цепочке:

— Товарищи, завтра утром в Бернском лесу.

Большевики сошлись точно в назначенный час. Все хотели слышать, что скажет Ленин.

— На русский народ и на другие народы обрушилась война, — сказал Владимир Ильич. — Кому выгодна война? Капиталистам. Капиталисты наживаются на войне миллиарды. Рвутся захватить все новые рынки, чтобы больше и больше получать прибылей. А солдат и рабочих обманывают: мол, защищайте отечество. На самом деле это не защита отечества, а защита капиталистической выгоды. Надо объяснить солдатам, рабочим, крестьянам: к вам в руки попало оружие. Солдаты и пролетарии всех стран, обратите оружие против своих царей и капиталистов. Делайте революцию. Долой несправедливую войну. Война войне!

Вот о чем говорил Ленин в Бернском лесу. И писал об этом статьи и заметки. И посылал их в Россию, боль-

шевикам. А большевики тайно распространяли на фронте среди солдат и рабочих. Война войне.

Солдаты читали, задумывались: «А не пальнуть ли из этих винтовок по своим фабрикантам да помещикам? Сбросить царя. Да и начать жить по-новому».

ДОМОЙ НАВСЕГДА

В Берне Ленин писал книгу об империализме. О том, что капиталисты не могут жить без грабительских войн. Захватывают чужие страны. Превращают в колонии. Все больше за чужой счет богатеют. И уже не могут остановиться. Рвутся весь мир разделить меж собой. Отхватить покрупнее кусок. Чем дальше, тем больше будет таких захватнических войн. Тем хуже будет при империализме народу. Но силы и разум рабочего класса растут. Время социалистической революции близится.

Надо знать всю жизнь, всю историю, чтобы написать эту книгу. Владимиру Ильичу много приходилось читать.

И они поехали с Надеждой Константиновной в город Цюрих. Думали недельки две пожить в Цюрихе, а задержались на целый год. Работа задержала Владимира Ильича. Библиотеки для работы были там богатейшие. Да и город неплох. Большой, оживленный. Много заводов, рабочих.

Ильичи сняли комнатенку у одного сапожника. Окошко выходило во двор, там была колбасная фабрика. Тяжелый, жирный запах стоял во дворе, приходилось весь день держать окошко закрытым. Но Владимиру Ильичу нравилось жить у сапожника. Сапожник был революционно настроен и вообще хороший был человек.

Владимир Ильич до вечера пропадал в библиотеке. Прибежит домой пообедать — и снова за работу.

Узкий тротуар под каштанами вел к библиотеке. Круглый год четыре раза в день шагал Владимир Ильич под каштанами, мимо ратуши с башенкой, древнего собора,

старых домов. На стенах домов нарисованы изображения разных ремесел: часовщик чинит часы величиною с колесо или башмачник шьет башмаки по ноге великану.

А недалеко прелестное переменчивое Цюрихское озеро. Разбушуются сердитые волны, озеро с громом бьется о набережную, тогда не подступись. Утихнет, засинеет, засияет на солнце — и не оторвешь глаз, не нагладишься! Владимир Ильич восхищался швейцарской природой. Но как тосковал он о родине! Все сильнее тосковал о России.

Однажды после обеда Владимир Ильич только собрался в обычный путь — в библиотеку, в дверь застучали. Громко, резко. Вошел знакомый эмигрант. Не вошел, а ворвался. На лице и испуг и восторг:

— Слышали? Нет? Не слышали? В России революция.

Владимир Ильич схватил шляпу. Надежда Константиновна пальто надевала на ходу. Помчались к озеру. Озеро все серебрилось и сияло на солнце. Белые лебеди, горделиво выгнув шеи, плавно плыли по озеру.

Владимир Ильич подбежал к навесу. Здесь, на берегу озера, под навесом, всегда вывешивались свежие газеты.

Владимир Ильич жадно читал телеграммы в газетах. 1917 год. Февраль. В России революция.

— Наконец! — воскликнул Владимир Ильич.

Он был тесно связан с Россией, руководил нарастающей революционной борьбой, знал, что революция близка. И все же весть, прилетевшая с родины, взволновала необычайно.

Нет сомнений: дома совершается что-то огромное. Скорее на родину! Нельзя дольше здесь оставаться. Скорее в Россию! Вся его жизнь была отдана тому, что там сейчас совершается. Весь его труд! «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», газета «Искра», партия — все звало к свержению царизма.

Но как уехать? Продолжалась война. Английские и французские власти не желали кончать войну. А больше-

вики агитировали против войны. Все пути из Швейцарии в Россию были в руках английских и французских властей. Разве они пропустят большевиков в Россию?

Владимир Ильич потерял покой. Перестал спать. Похудел. Глаза ввалились, горели упрямым огнем.

Наконец после долгих хлопот и тревог пришло разрешение. Швейцарские товарищи выхлопотали для русских революционеров-эмигрантов пропуска домой.

Поезд отходил через два часа. Ни одной лишней минуты не хотел жить Владимир Ильич на чужбине. За два часа собраться? Уложить вещи, сдать в библиотеку книги, расплатиться с хозяевами? Бегом, бегом. Успели. Через два часа выезжали из Цюриха в Берн. Из Берна домой. Тридцать русских эмигрантов вместе с Лениным возвращались в Россию.

«Спасибо за доброту и приют!» — послал Ленин прощальное письмо швейцарским товарищам.

А поезд шел. Гроыхали колеса. Мчались мимо ослепительные озера и величественные горы Швейцарии. Потом потянулись аккуратные немецкие города и поля.

Пересекли Германию, глазам открылось Балтийское море. По усеянному минами Балтийскому морю на грузовом пароходе добирались до Швеции. Оттуда в Финляндию. Долгая, опасная дорога! Но вот скоро и Петроград.

В окно виднелся низкорослый лесок из тонкоствольных сосенок и елей. Белел недотаявший снег. Черными лужами разлились торфяные болота, уставленные мшистыми кочками. Был поздний вечер, наступала ночь.

— Ночью в Петроград приедем, спят, наверное, все, — сказала Надежда Константиновна.

В тусклом свете фонарей неясно выступили громады каменных зданий. Склады, депо... Поезд замедлил ход, приближаясь к Финляндскому вокзалу. Мощный паровозный гудок разорвал ночное безмолвие. Поезд подходил к перрону. Шумно дышал паровоз... Но что это? На перроне играли «Марсельезу».

— На караул! — донеслась команда.

Перрон был битком набит народом. Рабочие. Отряды Красной гвардии. Как вылитые из бронзы, плечом к плечу, кронштадтские матросы.

— На караул!

Все замерло, стихло. Красногвардейцы, матросы взяли на караул.

Ленин вышел на площадку вагона. Он был потрясен этой встречей.

— Товарищи!..

— Да здравствует Ленин! Долой войну! Да здравствует революция! — загремело в ответ.

Там, за вокзалом, на площади тысячи голосов подхватили. Море людей на площади. Как языки пламени, пылали освещенные прожекторами знамена. Человек кинулся к Ленину. Ученик из школы Лонжюмо. Через шесть лет повстречались на родине.

— Владимир Ильич, приветствую вас от имени большевиков Петрограда.

У вокзала стоял броневик. Башня была неподвижна, пулеметы молчали. Броневик тоже встречал вождя партии и рабочего класса. Рабочие и солдаты подняли Ленина на броневик. Руки дружески тянулись к нему. Улыбались глаза. Светились истомленные лица.

Ленину хотелось обнять их всех, родных рабочих людей, измученных войной и разрухой.

— Товарищи! — сказал Ленин. — Вы сделали революцию, свергли царя. Но власть захватили капиталисты и хотят править нами. А нам нужна власть трудящихся. Восьмичасовой рабочий день нужен нам. Земля крестьянам. Хлеб голодным. Мир народу. Социалистическая революция нам нужна!

— Ура! Да здравствует Ленин! — кричала площадь.

Как будто не ночь была, а радостное, весеннее утро.

Броневик тронулся. Торжественно тронулся броневик. Ленин возвратился домой навсегда.

РАССТАННАЯ УЛИЦА

Владимир Ильич приподнял голову от подушки. Огляделся с улыбкой. Чистенькая скромная комната со светлыми обоями.

Небольшой письменный стол. На столе газеты. Цветочный горшок на окне. В углу кресло, обитое темно-красным вышитым шелком.

«Где я? Снится мне?»

Нет, Владимиру Ильичу не снилось. Он был у сестры Анны Ильиничны и ее мужа Марка Тимофеевича Елизарова, на их петроградской квартире.

В памяти вспыхнул весь вчерашний день, полный счастья и удивительных встреч! С вокзала броневик повез Владимира Ильича в бывший дворец балерины Кшесинской, фаворитки царя Николая II. Теперь там располагались Центральный Комитет и городской комитет партии большевиков.

Медленно двигался броневик прямыми, стройными петроградскими улицами.

Была поздняя ночь, но во многих окнах горел свет. На улицах толпился народ.

— Ленин! — кричали люди.

Броневик останавливался. Владимир Ильич видел, как народ ждет его слов.

Он старался просто и ясно говорить о социалистической революции, нашей, рабочей. Сердце его полно было пламенных слов.

А рабочие все прибывали.

Сотни людей окружили дворец Кшесинской, недалеко от Невы и Петропавловской крепости.

— Пусть Ленин выйдет! Пусть Ленин скажет! Да здравствует Ленин!

Владимир Ильич несколько раз выходил на балкон. Если бы не ночь, с балкона был бы виден позолоченный шпиль Петропавловской крепости и тяжелые неприступные стены. Много лучших светлых людей загублено в ее

казематах, сырых и ледяных, как колодцы! Ты не страшна нам больше, проклятая крепость. Не грозись, не пугай.

«Старое не вернется,—говорил Владимир Ильич.— Вперед, товарищи! Да здравствует социалистическая революция!»

Во дворце собрались большевики со всего Петрограда. Не расходились. Не отпускали Ленина. Необыкновенная была эта ночь!

Только утром, в пять часов, Владимир Ильич с Надеждой Константиновной, усталые и счастливые, добрались домой. Наконец-то на родине. Сколько всего пережито! Великий в жизни России произошел перелом...

От волнений, переживаний Владимир Ильич почти не спал. Может, какой-нибудь час. Чуть задремал, открылись глаза.

Тихо в квартире, ни звука.

Квартира похожа на плывущий корабль. Так подумал Владимир Ильич, бесшумно идя вдоль коридора. По сторонам комнаты, будто каюты. В конце треугольная столовая и треугольник балкончика, как нос корабля. В столовой пианино. Во всех квартирах Ульяновых всегда бывало пианино, всегда была музыка.

Владимир Ильич взял ноты. Мамины ноты. Семь месяцев не дожила мама до этого дня. И Надина мама не дожила.

Владимир Ильич с грустью оглядывал комнату, похожую на нос корабля. В этой качалке мама сидела с книжкой, куталась в шаль. Старенькая, было ей зябко, и вечно болела душа за детей. Кто-то в ссылке. Кто-то в тюрьме. Мамочка! В какие только тюрьмы не носила ты передачи! Петербургскую, московскую, киевскую, саратовскую... По каким городам не мотала тебя судьба! Митя выслан в Подольск. Ты в Подольске. Маняшу выслали в Вологду. Без жалобы, без слова упрека, немедленно начинаешь собирать чемодан, и поезд увозит тебя в незнакомую Вологду. А дальше где будет твой дом? Где надо детям.

Владимир Ильич положил ноты на пианино и тихо

вернулся в комнату, в которой сестра поселила их с Надей. Раньше здесь жила мама. Последнее мамино жилье. Мамино темно-красное кресло. Вышила своими руками: разбросала по шелку цветы... Мама! Хоть на мгновение увидеть бы тебя, поцеловать твои нежные, терпеливые, твои материнские руки!

Скоро в доме проснулись. Но сегодняшнее утро было не то, что вчера. Вчера были все радостны, оживлены. Сегодня говорили негромко.

Сестра Анюта спросила:

— Сразу поедem туда?

Всю дорогу Владимир Ильич молчал.

От Лиговки к Волкову кладбищу вела Расстанная улица. Скорбная улица. Последний путь. Расстаемся.

На кладбище еще лежал снег. Там и тут между могилами белели сугробы. Сосновая ветка на могиле у мамы. Рядом холмик поменьше, Олин холмик. Понуро свесили неодетые ветви осины.

Ленин снял шапку. Низко опустил голову. Долго стоял над могилой.

Картины детства пронеслись перед глазами. Симбирский дом. Уютная лампа зажжена в столовой. Дети уселись за стол. Мама раскрыла книгу. Что-то интересное, необыкновенное ожидает детей. Какой хороший у мамы голос, звучный и легкий!

Или вот совсем другое. Громыхает на двери камеры тюремный замок:

«Заключенный Ульянов, на свидание с матерью!»

Он спешит тюремным коридором, боясь упустить хоть одну минуту свидания. Сумрачное помещение с низкими сводами. Двойная решетка.

К решетке прильнуло мамино светлое от ласки лицо. «Здоров ли? Володя! Молока тебе принесла, гостинцы. Книжки, какие просил...»

Милая мама! Не дожила ты до нашей новой жизни, не увидишь. Как горько, как больно! Мама, родная, не забуду твой ум, твою доброту.

ВЛАСТЬ СОВЕТАМ

Ленин поклонился могиле матери и с Волкова кладбища поехал на собрание большевиков делать доклад. Было 4 апреля 1917 года, поэтому доклад Ленина после называли «Апрельские тезисы». Он писал их в вагоне, когда возвращался на родину. Кратко нарисовал точный план, как после свержения царя действовать в России большевикам и народу.

Временное правительство взяло власть. А кто во Временное правительство входит? Помещики да капиталисты, богач к богачу. Охота ли богачам заботиться о рабочих и крестьянах? Совсем неохота. Они о своих богатствах заботятся. Для чего же тогда большевикам поддерживать Временное правительство? Не будем. Будем Советы поддерживать. Советы рабочих и крестьянских депутатов в ту пору уже создались, да не очень еще были сильны. Много меньшевиков в них засело и других несогласных с большевиками людей.

— Усиливать надо Советы! — говорил Ленин.

Что это значит? Значит, сделать их большевистскими. И тогда с помощью Советов отобрать у помещиков землю, у капиталистов заводы. Земли и заводы станут народными. И кончим войну.

Вот к чему звал Ленин большевиков и рабочих.

Он был тверд. Великая задача была перед ним. Ленин был верен великой задаче.

Рабочие понимали, что путь их с большевиками. Но не все. И крестьяне не все понимали. Меньшевики и буржуи всячески сбивали крестьян и рабочих. Писали в своих газетах разные небылицы про большевиков. Агитировали за войну. За буржуйскую власть. А у большевиков была своя газета под названием «Правда». Помещалась она в одном большом доме на набережной реки Мойки, занимала три комнаты. Газета действительно открывала народу правду.

Ленин сразу приехал в свою большевистскую газету.

Написал статью. На другой день еще. Каждый день одну или две, даже три статьи писал в «Правду». Выступал на заводах и фабриках по всему Петрограду. И так понятно объяснял народу борьбу большевиков за счастье трудящихся, что все больше и больше склонялось рабочих и крестьян на сторону Ленина.

Солдаты писали с фронта: «Товарищ, друг Ленин. Помни, что мы, солдаты... все, как один, готовы идти за тобой».

Только три месяца, как Ленин приехал в Россию и как все переменялось. Ленин был не один. У него были товарищи. Вместе добивались нового. Солдаты не хотят воевать. Рабочие не хотят работать на капиталистов. Крестьяне требуют землю.

В один летний день рабочие и солдаты Петрограда вышли сами на улицы. Слишком тяжело им было. Большевики не призывали их к этому, но, уж раз так случилось, возглавили демонстрацию и старались, чтобы она была мирной. Шли по городу с лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой министров-капиталистов!», «Хлеба, мира, свободы!».

Шли уверенно, строго — могучие силы чувствовались в этом народном движении.

И министры Временного правительства струсили. Что делать? Как остановить демонстрацию? Хоть называли они себя революционным правительством, а поступили подло, как царь. Открыли по демонстрантам огонь. Приказали войскам стрелять в безоружных людей.

Это было 4 июля 1917 года.

На другой день утром Владимир Ильич поехал на набережную реки Мойки в редакцию «Правды». Проверить, как идет выпуск газеты, дать советы товарищам. Владимир Ильич понимал: наступает опасное время.

...Военный автомобиль с визгом затормозил у здания «Правды». Послышался топот сапог. Рывком распахнулась дверь. Несколько юнкеров со штыками наперевес ворвались в редакцию «Правды»:

— Где Ленин?

К счастью, Ленина не было. Владимир Ильич в это время благополучно возвращался из «Правды» домой. Надежда Константиновна и сестра дожидались его в коридоре, прислушивались у двери, безмолвные и застывшие. Надежда Константиновна, несмотря на жару, нервно кутала плечи шарфом.

— Володя! Временное правительство объявило тебя вне закона.

И тут зазвенел длинный звонок. Все вздрогнули, затаили дыхание.

— Неужели за тобой? — шепотом спросила Надежда Константиновна.

Владимир Ильич неслышно шагнул к своей комнате. Порвать адреса и документы. Быстро! Не дать сыщикам в руки.

— Откройте! — раздался за дверью приглушенный голос.

— Свердлов! — узнала Анна Ильинична. — Да это Свердлов!

Отлегло от сердца: не арестовывать пришли, не с обыском. Все обнимать готовы были Свердлова.

— Яков Михайлович, голубчик, входите! — наперебой звали сестра и Надежда Константиновна худощавого, темногоглазого человека в пенсне.

Он был совсем еще молодой. С юных лет вся его жизнь отдана была партии. Царское правительство сослало революционера Свердлова в далекий Нарымский край. Четыре раза Свердлов пытался бежать, и все неудачно. И снова бежал...

Но недолго побыл на воле. Опять схватили жандармы. Теперь ссылку назначили в дикие, гибельные места Туруханского края. Зимами там выше крыш наметает сугробы. Беснуются вьюги. Мчатся снежные вихри вдоль Енисея. Долгие месяцы не видно румяных утренних зорь. Дня нет. Полярная ночь.

Только революция освободила из тяжелой ссылки

Свердлова. Умный, талантливый, он был страстным большевиком и помощником Ленина.

Вот какой человек утром 5 июля пришел к Елизаровым.

— Юнкера разгромили редакцию «Правды». Выбили стекла. Все искололи штыками. По городу аресты, обыски. Юнкера бесчинствуют. С минуты на минуту могут нагрянуть сюда. Надо уходить, Владимир Ильич!

Владимир Ильич в раздумье молчал. Снова охота за революционерами. Слежка, тюрьмы. Снова скрываться. Как при царизме.

Владимир Ильич колебался. Но слишком серьезна угроза. Человека, объявленного вне закона, может всякий убить без суда. Временное правительство решило его уничтожить.

— Надо уходить, Владимир Ильич! — твердо повторил Свердлов.

Снял пальто, накинул Владимиру Ильичу на плечи:

— Наденьте. В чужом не сразу узнают. Поднимите воротник.

Владимир Ильич поднял воротник. Обнял сестру и жену. Прощальным взглядом окинул свой трехмесячный приют, квартиру сестры, похожую на плывущий корабль.

И ушел неизвестно куда. У революционеров называлось это: в подполье.

ЛЕСНОЙ КАБИНЕТ

Под Петроградом, недалеко от финской границы, в поселке Сестрорецке был большой оружейный завод. Рабочий Николай Александрович Емельянов работал на Сестрорецком заводе лет тридцать. А жил на станции Разлив, оттуда до завода пешком всего полчаса. Станция называлась по озеру Разливом. Озеро здесь начиналось и тянулось верст семь; в солнечные дни голубое, как небо. По берегам чернотвольная ольха, да кусты, да болота.

Однажды к Емельянову приехал человек. Емельянов его знал: это был доверенный ЦК. По важному делу приехал доверенный. Центральный Комитет партии большевиков постановил: скорее укрыть вождя партии Ленина от преследований контрреволюционного Временного правительства.

— Поручено тебе, товарищ Емельянов. Сумеешь ли?

— Затем я и большевик, чтоб суметь,— ответил Емельянов.

На первое время он решил спрятать Владимира Ильича на сеновале у себя во дворе.

Но скоро понял: нет, не годится, опасно. Кругом соседи. Чужие ребята забегают во двор. У Емельянова своих детей семеро— по товарищу на каждого, считайте, малая ли команда составитя? Нет, другое надо искать убежище.

Ранним утром Емельянов разбудил Владимира Ильича. Солнце еще не взошло. Над прудом висел сизый тонкий туман. Пруд был сразу за домом. Емельянов отвязал лодку. Тихо плеснулась вода под веслом. Сонные дома бесшумно стояли вдоль пруда. Мимо сонных домов вывел Емельянов лодку по пруду в озеро Разлив. Озеро светлое, большое, безлюдное. Ночь только ушла. Люди спят. Птицы спят. Чуть заалела заря на востоке.

Емельянов торопился переправить Ленина на другой берег Разлива. Версты четыре туда. Волновался: не увидел бы кто из соседей, что раным-рано везет чужого человека неизвестно куда, неизвестно зачем. Во всех газетах было напечатано, что власти ищут Ленина. Разные люди встречаются... Поэтому Емельянов спешил.

Владимир Ильич сидел за рулем. Утренний ветерок налетел, и седые туманы тронулись над Разливом. Яснее стали видны берега. Розового света зари прибывало.

В этот тихий час вспомнились Владимиру Ильичу давние годы, дорогие друзья. Вспомнился питерский рабочий Бабушкин. Вместе с Бабушкиным написал Владимир Ильич первую листовку «Союза борьбы». Твердым рево-

люционером и большевиком стал питерский пролетарий Иван Васильевич Бабушкин. Власти казнили его без суда в 1906 году.

И матрос Афанасий Матюшенко с броненосца «Потемкин», который приезжал к Владимиру Ильичу в Женеву рассказать о восстании! После вернулся на родину, власти казнили его.

Еще один товарищ вспомнился Владимиру Ильичу — молодой уфимский рабочий Иван Якутов. В революцию 1905 года Иван Якутов образовал в Уфе рабочую республику. Революцию подавили, Ивана Якутова казнили на тюремном дворе. Тысячи павших за революцию рабочих бойцов! Вечная память вам.

Владимир Ильич подумал, что сестрорецкий рабочий Емельянов тоже сильно рискует, укрывая его от буржуазных властей. Попадется — не помилуют. А ведь семеро ребятишек останутся.

— Спасибо, Николай Александрович, — сказал Владимир Ильич.

Емельянов быстро взглянул на него, понял:

— Чего там, Владимир Ильич! Это честь для меня.

И повел лодку к берегу. В осоку. Осока шуршала, раздвигаясь под лодкой.

Прямо у берега стоял лес. Не лес, а лесок из голенастых осинок, ольхи, тонкоствольных берез. Невысокий, частый лесок.

Разгрузили лодку, оттащили провизию да одеяла с подушками в глубь леска, с полверсты. Да еще Владимир Ильич нес под мышкой кипу бумаг и синюю тетрадь.

Почти год работал в Цюрихе, в библиотеке, делал разные необходимые записи. Сейчас была кладом для Владимира Ильича эта синяя тетрадь с записями.

Однако куда же Емельянов ведет? А вот куда. Прошагали леском, и открылась поляна. Большая зеленая поляна. На поляне шалаш. Возле шалаша врыты колышки в землю, подвешен на колышках котелок. Понимайте, что кухня.

— Ба! — воскликнул Владимир Ильич. — Знатное жильё! Лучше и вообразить невозможно.

— Это видали? — спросил Емельянов.

И показал косу, приставленную к шалашу. И брусок — косу точить.

— Владимир Ильич, я в косцы вас нанял. Поляну эту заарендовал, скосить, стало быть, надо. В случае, если ягодники или грибники на шалаш набредут, вы, Владимир Ильич, ни полслова. Финна я в косцы подыскал. Ничегошеньки по-русски финн не кумекает. Ни словечка не смыслит.

— А похож я на финна? — спросил Владимир Ильич.

Емельянов внимательно, в который уж раз, Владимира Ильича с ног до головы оглядел. Владимир Ильич бороду сбрил, подстриг усы. В косоворотке, поношенном пиджачке — рабочий, да и только.

— Здорово на финна-рабочего смахиваете, — одобрил Емельянов. И дальше: — Провизию будем возить на заре или ночью.

— Непременно газеты, все, какие выходят! — сказал Владимир Ильич.

— Будет исполнено. Мальчишек своих мобилизую. Одного-то нельзя. Заметят, что больно много один газет набирает. Распределю, какие кому доставать. Да на лодку. Да к вам.

Солнце поднялось. На траве засверкала роса. Казалось, вся поляна обрызгнута была драгоценными камушками.

— Вот что еще, — сказал Владимир Ильич. — Косцу вашему необходимо много писать. Где бы пристроиться?

— Гляньте, — с удовольствием заявил Емельянов.

Раздвинул вблизи шалаша густые кусты, развел в стороны ветви, и Владимир Ильич увидел вырубленную в кустах уютную площадку. И два чурбана. Один пониже, другой повыше. Пониже табурет, а этот будет стол.

— Лесной кабинет ваш, — сказал Емельянов. — И не видно. И тишь, чтобы мысли не спугивать.

Через некоторое время, наладив в шалаше порядок, Емельянов уехал. Владимир Ильич пошел к озеру проводить. Постоял, пока лодка скрылась в голубом просторе Разлива. Где-то вдали запоздалая кукушка вздохнула: «ку-ку». Смолкла. Лето шло к середине, птицы не пели — кормили птенцов.

Владимир Ильич помахал невидной уже лодке и быстрым шагом направился в свой «кабинет». Раскрыл синюю тетрадь. Он писал книгу о том, как надо рабочим бороться за диктатуру пролетариата — как строить свое государство.

КОЧЕГАР ПАРОВОЗА № 293

Хорошо, что Центральный Комитет партии постановил укрыть Ленина. На другой день, как он ушел из дому, прискакали юнкера с обыском. Перерыли все вещи. Штыками шарили под кроватями. Искали Ленина.

А Ленин жил в шалаше у Разлива. Ничего бы, да комары не давали покоя. Тучи комаров. День и ночь грызли.

— От Временного правительства спасся, а от комаров спасения нет, — говорил, весь искусанный, Владимир Ильич.

Или припустят дожди. Тогда сиди в шалаше. Костер зальет — не разожжешь, и чаю вскипятить негде, не погреешься горяченьким. Трудновато приходилось. Но Владимир Ильич голову не вешал. Работы у Владимира Ильича было без края. Писал статьи, обдумывал книгу. Руководил съездом большевиков. В Петрограде собрался VI съезд большевистской партии. К Владимиру Ильичу тайно приезжали товарищи. С ними Владимир Ильич посылал свои советы и указания съезду.

Владимир Ильич говорил: надо готовить вооруженное восстание и пролетариату с беднейшим крестьянством брать власть. Вот какую грандиозную задачу поставил

Владимир Ильич перед съездом! Съезд согласился с Лениным и принял решение готовить восстание.

«В эту схватку наша партия идет с развернутыми знаменами... настает смертный час старого мира» — так было написано в воззвании съезда.

Буржуазное Временное правительство боялось и ненавидело Ленина. Оно понимало, что вождь партии — Ленин. Это Ленин ведет так смело и решительно партию. В погоне за Лениным буржуазное правительство поставило на ноги сотни сыщиков. Была у полиции знаменитая собака-ищейка по имени Треф, так и ее пустили по следу за Лениным.

Стало рискованно жить в шалаше. Да и лето шло к осени. Ночи стали студеные, длинные. Зарядили дожди. Угрюмо супился насквозь вымокший лес.

И ЦК партии постановил перевести Ленина из шалаша в другое, более отдаленное место. Во что бы то ни стало уберечь вождя партии!

...Однажды Емельянов чуть свет явился на Оружейный завод. Прямо к начальству. Но разве сыщется такое начальство, чтобы с зарей поднялось на работу? Конечно, и в помине начальника не было. Емельянову того и надо. Знакомый караульный разрешил войти в кабинет. Для караульного Емельянов придумал причину, на самом же деле ему нужно было раздобыть пропуск для перехода границы Финляндии. Некоторые заводские рабочие жили тогда в финских местностях, так им начальник выдавал такие пропуска на проезд. Пропуска у него на столе валялись кое-как, в беспорядке. Емельянов, что под руку попало, загреб — и в карман. И к Ленину в шалаш. Превратился Владимир Ильич в Константина Петровича Иванова. Начисто обриты усы и бородка, подрисованы брови. Надет парик. Из-под надвинутой кепки упали на лоб пряди волнистых волос. Совершенно на себя не похож сделался Ленин, — Надежда Константиновна и та не сразу узнала бы.

Поздним вечером оставили шалаш у Разлива и отпра-

вились в путь, через лес, к железной дороге. Вели Владимира Ильича Емельянов да двое финских товарищей. Вначале шли благополучно, только уж очень было темно, по-осеннему. Шли гуськом узкой тропкой. Ветви бьют по лицу. Вдруг стали спотыкаться о кочки. Тропка исчезла. Деревья поредели. А кустарник разросся чаще, непроходимее. И что это? Что это?.. Потянуло дымом. Костер или где-то пожар? С каждым шагом дым ядовитее. Трудно стало дышать. Слепли глаза. Владимир Ильич остановился, взялся за грудь. Грудь разрывалась от кашля. Идти невозможно.

— Свернем,— сказал Емельянов.— Горит торф на болоте.

Ничего нет страшнее и коварнее торфяного пожара! Огонь тлеет под землей, раскаляется, ползет дальше. И вдруг взвывается ввысь бушующий столб, все сжигая и уничтожая кругом.

«Что наделал! На пожар завел Ленина. Неужто погубим?» — думал Емельянов.

— Владимир Ильич, за мной! Товарищи...

Они задыхались. Брели в клубах белого дыма. Как слепые. На ощупь. Спотыкались. Падали. Поднимались, снова брели.

Но вот дым стал редеть. Дым оставался в стороне, позади. Под ногами не шатались больше зыбкие болотные кочки. Вырвались из горящего торфяного болота! Вырвались наконец. Убежали от пожара. Спаслись.

Измученные, они сели на землю отдохнуть. Дрожали ноги от слабости. Емельянов мучительно себя корил. Страшно подумать, что могло быть...

А назавтра ночью, в час пятнадцать минут, к станции Удельной из Петрограда подошел дачный поезд. Поезд направлялся в Финляндию. Машинистом был финн Гуго Ялава. Он был большевиком, жил в Петрограде. Он любил свой испытанный паровоз № 293, с черной, расширенной кверху трубой и круглыми горячими боками. На Удельной Гуго Ялава остановил паровоз у переезда. Вы-

глянул на волю. Так и есть. Возле переезда стоял человек, курил; вспыхивал светляком в темноте огонек папиросы. Другой читал у фонаря газету. Так было условлено. Провожающие — один курит, другой читает. Значит, все в порядке. Сейчас покажется Ленин. «Где же он?» — забеспокоился Гуго Ялава.

В эту секунду к паровозу быстрой походкой подошел невысокий коренастый рабочий. В кепке. Каштановая прядь упала из-под кепки на лоб. Взялся за поручни, подтянулся, залез на паровоз:

— Здравствуйте. Я Константин Петрович Иванов. К вам в кочегары.

— Здравствуйте, товарищ кочегар, — приветствовал Гуго Ялава.

Владимир Ильич, а это был он, сбросил пальто и, как заправский кочегар, принялся укладывать возле топки в клетку дрова. Паровоз коротко свистнул, заработали шатуны. Побежал мимо лес.

До станции Белоостров доехали без забот. Станция Белоостров была пограничной. Едва поезд остановился, по вагонам началась проверка у пассажиров документов. Заверещали свистки. Вдоль поезда торопился кондуктор, раскачивая в темноте фонарем. Слышались крики, брань.

— Как бы к нам на паровоз не пожаловали, — с опаской сказал Гуго Ялава. — Хоть и с пропуском, а все от сыщиков лучше подальше.

— Какой же выход? — спросил Ленин.

— Найдем, — сказал машинист.

Спрыгнул на рельсы, живо отцепил паровоз и погнал на всех парах к водоразборной колонке. Будто надо воды набирать.

Первый звонок. Сыщики из пограничной охраны все шныряли по вагонам. Кого-то искали. Кого-то куда-то вели. Вся станция была в возбуждении.

Второй звонок. Паровоз у колонки не тронулся. Только за минуту до отправления Гуго Ялава подвел свой 293-й к вагонам. Прицепил. Третий звонок. Паровоз озор-

но засвистел. «Остались с носом, голубчики!» — дразнил сыщиков машинист Гуго Ялава.

И поезд помчался дальше. Ночь летела навстречу. Летело звездное августовское небо. Владимир Ильич высунулся из паровозной будки. Свежий ветер ударил в лицо.

Скоро они были в Финляндии.

СТРАННЫЙ ПРИЮТ

Финские товарищи устроили Владимира Ильича в глухой деревеньке Ялкале. В стороне от деревни у самого леса стоял небольшой финский дом. Из окон виднелись темные сосны на взгорьях. Да огромные серые валуны на лужайке обступили незатейливое жилище, где поселился Владимир Ильич. Хозяин, бывший рабочий, заботился, чтобы Ленину у него спокойно жилось и работалось. Но остановка в Ялкале получилась недолгой. Деревенька была от станции верстах в десяти, газеты прибывали с большим запозданием, а то и вовсе нет. А Владимиру Ильичу без газет все равно что без воздуха. И товарищи нашли для него новый приют.

В главном финском городе Гельсингфорсе начальником полиции был в то время молодой еще человек по имени Густав Семенович Ровио. Однажды Ровио вызвали к генерал-губернатору. Генерал-губернатор был русский. Петроградские власти назначили его наблюдать за финскими порядками. У финнов было свое управление, но приходилось петроградского начальника слушать, поскольку Финляндия входила тогда в состав Русского государства.

— Господин полицмейстер, все ли спокойно в городе Гельсингфорсе? — строго спросил генерал-губернатор.

Густаву Ровио было едва тридцать лет, но, несмотря на молодость, он, как все финны, был нетороплив и расудителен.

— Господин генерал-губернатор, в таком большом городе иной раз без происшествия не обойдется,— рассудительно отвечал Густав Ровио.

— Что-нибудь политическое?

— Нет, всего лишь мелкая кража, господин генерал-губернатор.

Генерал-губернатор, прямой как доска, еще прямее расправил плечи и устрашающе тихо сказал:

— Из Петрограда получен секретный приказ.

— Слушаю,— ответил Густав Ровио.

— Знаете, кто такой Ленин?— спросил генерал-губернатор.

Ровио немного помешкал, пощупал бритый подбородок, потом ответил, что знает, да, знает, конечно! Ведь во всех газетах напечатано, что Временное правительство хочет Ленина арестовать, но никак не разыщет.

— Есть подозрение...— начал генерал-губернатор и с опаской огляделся, хотя в кабинете они были вдвоем,— ...есть подозрение, что Ленин может скрываться здесь, в Гельсингфорсе.

Ровио молчал и в упор, со вниманием глядел на генерал-губернатора, ожидая, что последует дальше.

— Вы должны принять самые срочные меры.

— Непременно, господин генерал-губернатор!

— Если Ленин попадется вам в руки...

— Если Ленин ко мне попадет, будет сделано все необходимое, господин генерал-губернатор!

— Имейте в виду: за поимку Ленина назначена большая награда,— милостиво поощрил генерал-губернатор.— Поняли? Можете идти. И старайтесь.

Густав Ровио поклонился и оставил губернаторский кабинет. Капли пота крупно выступили у него на висках. Большим клетчатый платком Ровио вытер виски. Затем потрогал карман и как бы с облегчением вздохнул.

От генерал-губернатора он пошел не на службу, а на вокзал. Почтовый поезд Гельсингфорс—Петроград отходил не скоро, но состав был готов, и на перроне Густава

Ровио дожидался поездной почтальон, безразличный и сонный на вид. Казалось, ничего на свете не может его удивить. Они не спеша прошли вдоль перрона. Улучив минуту, Ровио вынул из кармана пакет и передал почтальону. Почтальон с неожиданной быстротой в мгновение ока сунул его за пазуху.

— От того человека в прежний адрес, — сказал Ровио.

— Ясно, — ответил почтальон и передал Густаву другой пакет, который тот так же живо спрятал. После этого они разошлись.

Но и теперь начальник полиции направился не на службу.

— Имею я право использовать обеденный час? — спросил себя Ровио. — Имею.

И пошагал в бакалейную лавочку. Купил десяток яиц, четверть фунта масла и булку.

«Теперь курс на дом», — мысленно скомандовал Ровио. Он избегал центральных улиц, шагал переулками и делал довольно порядочный крюк. Вообще, если бы внимательно за ним понаблюдать, непонятными показались бы его некоторые действия. Но кто станет наблюдать за начальником полиции? Это его дело смотреть, чтобы в городе все шло по порядку.

«Секретный приказ, а? Скажите пожалуйста!» — вспомнил он недавний разговор, поднимаясь на пятый этаж большого дома на Хагнесской площади, где была его однокомнатная, с кухней, квартира и где сейчас сидел за столом — если бы знал генерал-губернатор! — Владимир Ильич и писал книгу «Государство и революция» — о том, как строить первую в мире страну рабочих и крестьян. И синяя тетрадь с цюрихскими выписками перекочевала сюда из шалаша. Лежала перед Владимиром Ильичем на столе. Он так был занят работой, что не сразу услышал приход Ровио.

Ровио осторожно кашлянул. Владимир Ильич вскочил:

— Почта есть?

— Почта-то есть, да сначала пообедать надо бы, Владимир Ильич.

— Нет, сначала посмотрим почту. Давайте, давайте. Владимир Ильич потирал от нетерпения руки, пока Ровио доставал из нагрудного кармана пакет.

— В обмен на ваш получайте, Владимир Ильич.

В пакете было несколько писем. Владимир Ильич одно пробежал. Другое. А это химическое. Зажгли лампу. Исписанную страницу нагрел над лампой. Выступили между строчками буквы. Он стал читать, приговаривая:

— Так. Так. Так. Интересные новости.

Новости были о том, что в Петрограде и Москве большевики все сильнее оказывают влияние на Советы. Советы стали большевистскими, нашими. Народ потерял веру в буржуазную власть. Народ все больше верит нам, писали из Питера.

Вот какие были новости, и Владимир Ильич, то хмуря брови, то светлея лицом, прохаживался по комнате, где у стен благопристойно выстроилась обитая зеленым бархатом мебель, высокое зеркало украшало пузатый комод, а в углу ютился небольшой книжный шкафчик.

Полицмейстер снял визитку, в которую обычно наряжался, идя к генерал-губернатору, засучил рукава и принялся готовить на кухне яичницу.

Странно все же: почему этот полицмейстер был в компании не с генерал-губернатором, а с Лениным?

Потому он был с Лениным, что происходил из потомственной пролетарской семьи, работал токарем и с восемнадцати лет стал участвовать в революционном движении. Это только после свержения царя рабочие выбрали Ровио начальником гельсингфорсской милиции.

По-старому должность его называлась: полицмейстер. Так именовал Густава Ровио генерал-губернатор да и многие другие, туго привыкшие к новому.

Состряпав яичницу, Ровио снова облачился в визитку с манишкой и черным, вместо галстука, бантиком и пригласил Владимира Ильича пообедать.

У Владимира Ильича от полученных новостей было отличное настроение. Скоро вернется в Россию! Партия большевиков поднимет рабочий класс на восстание. Рабочие свергнут Временное правительство. Будет рабочая власть. Об этом Ленин писал в статьях, которые секретно посылал в Петроград. Писал в своей книге.

А Ровио уплетал яичницу и рассказывал о генерал-губернаторе. Ленин выслушал, лукаво сощурился:

— Бывают несуразности в жизни: хозяин к генерал-губернатору ходит с докладами, а кого у себя принимает?

— Как — кого? — хладнокровно возразил хозяин. — Почтенного финского пастора.

Ах и расхохотался же Владимир Ильич! Верно, он приехал в Гельсингфорс под видом пастора. В деревеньку, где Владимир Ильич жил после шалаша, финские товарищи прислали любителей-актеров. Актеры были рабочими, социал-демократами. Ловко они его загримировали. Привезли из города длинный пасторский сюртук, высокую шляпу, как полагается. Приклеили пышные брови, надели парик, нарядили и... хоть сейчас в кирку обедню служить! Богобоязненные финки при встрече с Владимиром Ильичем смиренно отвешивали низкие, в пояс, поклоны. Так прибыл он в Гельсингфорс. А теперь скоро о новом парике надо заботиться.

Да, скоро. В один прекрасный день Густав Ровио повел Владимира Ильича к парикмахеру. Парикмахер родом был петербуржец, маленький, шустрый, как обезьянка. Он был старым театральным парикмахером и знал в столице множество графов и князей. Графам и князьям хотелось быть изящными кавалерами, он их всех подмалживал, красил бороды, мастерил парики.

— А вы и без парика довольно еще молодой, — успокаивающе сказал Владимиру Ильичу парикмахер.

— Вот хочу постареть, — ответил Владимир Ильич.

— Да зачем? Для чего? — изумился парикмахер, всплеснув коротенькими морщинистыми ручками.

— Солиднее как-то, внушительнее, — с улыбкой ска-

зал Владимир Ильич.—Сделайте меня с сединой, лет эдак под шестьдесят.

— Под шестьдесят? С сединой? Никогда!

— Почему?

— Чтобы я довольно молодого еще человека раньше времени превращал в старика?! Ни за что! — кипятился маленький парикмахер, размахивая ручками.— Мое призвание — возвращать людям молодость.

— Благородное призвание, но сделайте для меня исключение,— с улыбкой настаивал Владимир Ильич.

Парикмахер ахал и охал. Владимир Ильич сквозь смех его убеждал, а Густав Ровио думал:

«Долго ли еще Владимир Ильич будет менять парики и одежду? Долго ли будет скитаться?»

ЕЩЕ ОДНО ПОДПОЛЬЕ

Студеный осенний ветер насквозь продувал старинные Выборгские улицы.

В один такой холодный день осени из Питера в Выборг приехал Эйно Рахья.

Когда в конце лета сестрорецкий оружейник Емельянов и двое финнов выводили Владимира Ильича от озера Разлив через лес, один из тех финнов и был Эйно Рахья. Высокий, большелобый, весь веселый какой-то, он бесстрашным был человеком.

В опасные случалось попадать ему переделки! Летом 1917 года однажды стало известно: тюремные надзиратели собираются выпустить арестованных генералов, жандармов и всякую, как тогда называли в народе, «старорежимную контру».

Эйно Рахья командовал в это время петроградским отрядом финнов-красногвардейцев. Собрал отряд, нагрянул в тюрьму.

— Если хоть одного жандарма отпустите!..— револьвером пригрозил надзирателям.

Временное правительство в ответ приказало разогнать отряд финнов-красногвардейцев, арестовать Эйно Рахью. Не тут-то было! Эйно Рахьи и след простыл.

А работал он на аэропланном заводе. И большевиком стал в 1903 году, когда II съезд утвердил Устав и Программу партии. Вот этого смельчака, никогда не унывающего Эйно Рахью, ЦК партии прикрепил теперь связным к Ленину.

Рахья прибыл в Выборг за Лениным. Владимир Ильич перебрался сюда из Гельсингфорса, поближе к России. Он стремился в Россию. И вот настал этот день. Владимир Ильич был неспокоен. А Рахья хоть бы что!

— На вокзал двинем, Владимир Ильич?

И знай себе отмеривает по аршину, благо длинные ноги. Впрочем, нет, Эйно волновался. Только не показывал виду. Владимир Ильич тоже, конечно, скрывал беспокойство. Они сели в поезд и молча доехали до одной финской станции. В вагоне были все финны, а Владимир Ильич не знал финский язык, так что уж лучше помалкивать, чтобы не привлекать внимания.

Время от времени Владимир Ильич проверял, цел ли в кармане ключ. Цел, куда ему деться! Этот ключ Надежда Константиновна привезла Владимиру Ильичу еще в Гельсингфорс. Емельянов достал Надежде Константиновне пропуск в Финляндию. Оделась работницей, нахлобучила на брови темный платок, навела под глазами морщины. А глаза молодые. Умные, внимательные Надюшины глаза!

Ключ был от конспиративной квартиры на рабочей окраине Питера, на Сердобольской улице, недалеко от Финляндской железной дороги.

И план, как квартиру найти, Надежда Константиновна привезла. Владимир Ильич план заучил и порвал. А ключ спрятал и теперь ехал с ним в Петроград.

Поезд приближался к станции. Рахья быстро встал, пошел из вагона. Владимир Ильич за ним. На станции слезли, и у Владимира Ильича сердце так и подпрыг-

нуло. На путях стоял дачный питерский поезд, а у поезда паровоз № 293. «Здравствуй, старый приятель! Выручил меня раз. Еще выручай».

Из паровозного окошка выглядывал машинист Гуго Ялава. Серьезный-пресерьезный, но при виде Рахьи и знакомого кочегара заулыбался: «Что-то поседел наш кочегар!»

Словом, Владимир Ильич возвращался из Финляндии в Петроград на том же паровозе, на ту же станцию Удельная. Эйно Рахья доехал пассажиром в вагоне.

От станции Удельная до Сердобольской улицы верст пять пустырем. В тот студеный октябрьский вечер и во все было на улицах пусто. Только ветер гулял да свистел.

Но Надежда Константиновна дожидалась в условленном месте. В драповом полупальто, круглой фетровой шапочке. Владимир Ильич взял ее изящную руку. Без перчатки. Никогда не умела она о себе позаботиться! Работа, работа, работа для революции. Где велит партия, куда пошлет партия.

На углу Сердобольской улицы и Большого Сампсоньевского проспекта высился кирпичный некрашенный дом, мрачноватый на вид. Четырехэтажный, он казался громадным посреди ветхих деревянных домишек.

Владимир Ильич решительно направился к подъезду, будто всю жизнь здесь ходил. Эйно Рахья свернул на Сампсоньевский (сегодняшняя его задача исполнена), а Владимир Ильич впереди Надежды Константиновны поднялся на четвертый этаж. Открыл дверь ключом. От двери пойдет коридорчик. Его комната в конце коридорчика. Налево последняя. Владимир Ильич твердо все это усвоил из плана. В квартире не должно быть никого, кроме хозяйки, Надюшиной подруги, Маргариты Васильевны Фофановой.

Но что такое? Владимир Ильич отпер дверь: голоса. Из одной двери в коридор широко падал свет. Ярко горела над обеденным столом висячая лампа. За столом несколько женщин — по всему видно, учительницы.

— Наша педагогическая цель, дорогие друзья...— услышал Владимир Ильич.

Невероятно, но в квартире собрание! В конспиративной квартире. Именно в этот вечер приезда! Ни на миг не смешавшись, Владимир Ильич торопливо прошел в конец коридора. Немного ссутулился. Он был в седом парике. Он был старичком, быстрым и легким.

— Батюшки мои!— охнула Надежда Константиновна, когда они очутились одни в чистой, поразительно аккуратной комнате, где теперь Владимир Ильич будет жить.— Батюшки мои, как мы с Маргаритой опростоволазились-то!

— Да,— сказал Владимир Ильич.

Он не стал успокаивать Надежду Константиновну, что, мол, ничего, обойдется. Наверное, обойдется, но нельзя так рисковать в такое опасное время!

— Почти три недели ждали тебя!— сокрушалась Надежда Константиновна.— Все не едешь... А сегодня как раз я и не предупредила Маргариту.

— Последнее подполье, надеюсь,— сказал Владимир Ильич.

Открыл окно. Внизу шумел ветер в деревьях. «Должно быть, там сад».

— И птичий питомник,— сказала Надежда Константиновна, всегда угадывая его мысли.

— Смешное соседство!— улыбнулся Владимир Ильич.

Из коридора донеслись обрывки фраз.

— До свидания!— слышен был голос Фофановой: она выпроваживала учительниц.

— Последнее подполье, надеюсь,— повторил Владимир Ильич.

— Очень опасное, очень!— вырвалось у Надежды Константиновны.

Владимир Ильич увидел нескрытую тревогу у нее в глазах. Да, здесь, на Сердобольской улице, было опаснее, чем в шалаше или в Гельсингфорсе. Сыщики Временного правительства за каждым углом, на каждом шагу.

Здесь так было опасно, что никто, даже члены ЦК партии не знали, где поселился вернувшийся из Финляндии Ленин.

Знали только Надежда Константиновна и связной Эйно Рахья.

НАКАНУНЕ

Через несколько дней Эйно Рахья пришел проводить Владимира Ильича на одно тайное собрание. Был поздний вечер. Магазины закрылись. Неподалеку от дома вывеска с позолоченным кренделем указывала булочную. Дверь на замке. Ставни на запоре. Но длинный хвост, главным образом женщин, протянулся у булочной с запертыми наглухо ставнями. Кутаясь в платки, женщины терпеливо стояли, ежась от холода. У другой булочной тоже. И у третьей. Вечерний Петроград был полон унылыми, безмолвными очередями. Давно уже хлеб продавали по карточкам. Полфунта, а то и четверть фунта в день. Надо успеть захватить. Опоздал — и ни за какие деньги куска хлеба не купишь. Женщины становились в хвост у булочных на ночь. Тяжко им было! Мужья на фронте. Война с немцами все тянулась. Мужья и сыновья мучились на фронтах, ни за что пропадали.

— И дома хорошего мало, — сказал Эйно Рахья. — Хозяева закрывают заводы. Заводы стоят. Безработица.

Положение в стране было бедственное. Поезда ходили кое-как. Расписание сломалось. Поезда не везли уголь и сырье на заводы. Не везли хлеб в города.

— Чего ждать? — сказал Эйно Рахья.

— Большевик должен знать чего, — резко ответил Владимир Ильич. — Надо не ждать, а делать рабочую революцию.

С самого начала Февральской революции Ленин убеждал: необходимо добиваться, чтобы Советы стали большевистскими. Тогда рабочий класс сможет взять власть мирным путем. Но меньшевики не соглашались, мешали.

Теперь все изменилось. Мирным путем победы не добьешься. Пришло время брать власть вооруженным восстанием. Не медлить!

В тот октябрьский вечер на тайное собрание пришли члены Центрального Комитета партии. Все знали, что будет Ленин. Они давно не видели его и теперь ожидали с надеждой. Он был неузнаваем в своем седом парике. Но голос, но мысли, но призывы и воля были ленинские.

Готовить вооруженное восстание! Привлекать на сторону рабочих войска. Направить сильнейших большевиков в различные области и по другим городам. Крепче вооружить отряды Красной гвардии на заводах и фабриках. Назначить умных командиров в отряды. Распределить точно, куда двинутся отряды Красной гвардии, когда час пробьет.

Руководить восстанием должен Военно-революционный комитет.

Вот какой план намечен был Лениным. ЦК обсудил. Хороший план. Все правильно, ясно. Все согласились.

Но нашлись двое членов ЦК. Напрасно называли они себя большевиками. Яростно спорили против восстания пролетариата, не соглашались с великим замыслом Ленина, партии. Кто же они, эти предатели? Зиновьев и Каменев.

Зиновьев и Каменев умели рассуждать. Ораторами были отличными. А когда дело дошло до восстания, трусили.

— Разве способен рабочий класс управлять государством? — не верили Зиновьев и Каменев.

И вот теперь, в решающее время, они выступили против восстания. Мало того, в одной меньшевистской газете рассказали о том, что большевики готовят восстание. Где, как, когда — все выболтали Зиновьев и Каменев. Все выложили Временному правительству. А о себе: мы против восстания.

Выдали капиталистам товарищей. Нет, они не товарищи!

«Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю...— гневно писал Владимир Ильич.—...Трудное время. Тяжелая задача. Тяжелая измена».

Но Ленин не дрогнул. Восстание будет. ЦК вплотную приступил к подготовке восстания.

В СМОЛЬНЫЙ

На берегу реки Невы, где, круто повернув течение, она устремляет путь к Финскому заливу, в давние времена был в Петербурге Смоляной двор. В огромных чанах варили смолу. Тут и хранили ее для судостроения. А судостроительные верфи расположились через Неву на той стороне.

Потом на месте Смоляного двора построили монастырь, а затем институт для благородных девиц, то есть дворянских дочерей. Вытянутое почти на четверть версты, трехэтажное строгое здание, с колоннами, мраморной лестницей и просторным входом под арками. От Смоляного двора институту пошло название Смольный.

В семнадцатом году после свержения царя институток распустили по домам, а в Смольном разместился Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. И Военно-революционный комитет тоже был в Смольном.

Военно-революционный комитет держал связи со всеми заводами. Организовал на заводах красногвардейские боевые отряды. Двадцать тысяч петроградских рабочих были вооружены и только ждали призыва начинать восстание! Военно-революционный комитет посылал большевистских комиссаров к матросам Балтийского флота агитировать против буржуазного правительства и господ морских офицеров. Матросы рвались в бой. Целые полки солдат переходили на сторону большевиков и Военно-революционного комитета.

А Временное правительство что? Временное правительство боялось большевиков и рабочих.

«Запрещается рабочим носить оружие! — издало Временное правительство строгий приказ.— Арестовать всех членов Комитета! Найти Ленина, заточить в каземат».

И конечно, Временное правительство не сидело сложа руки, а всячески старалось собрать силы против большевиков и рабочих, стягивало свои войска к Петрограду, окружало кольцом.

Ленин написал товарищам в ЦК, что нельзя откладывать дальше восстание! Настал час!

Двадцать четвертого октября Владимир Ильич снова послал записку в ЦК. Фофанова сходила в ЦК, принесла ответ. Ленину пока не разрешали выходить из подполья. Любой офицер мог застрелить или зарубить его шашкой, если увидит на улице.

Центральный Комитет партии под руководством Владимира Ильича вел последнее приготовление к решительной схватке. Но точный срок восстания еще не был назначен.

Завтра, 25 октября, в Смольном открывается II съезд Советов. Делегаты съехались в Петроград из разных городов и сел.

«Необходимо начать восстание сегодня, до открытия съезда,— думал Владимир Ильич.— Свергнуть Временное правительство и завтра передать власть Советам».

Так Ленин думал. Но шли часы. Послал еще записку в ЦК. Беспокойно было у Владимира Ильича на душе. В этой беленькой квартирке на Сердобольской улице сейчас особенно было ему тяжело. Даже пошагать свободно нельзя: через стену услышат. Скажут: кто там у Фофановой ходит?

К вечеру Фофанова вернулась со службы. Владимир Ильич взволнованно встретил ее.

— Пожалуйста, отнесите еще письмо. Сейчас же, сразу, не раздевайтесь, пожалуйста. Я сейчас...

И он быстро ушел к себе. И написал членам ЦК:

«Товарищи!

Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя

критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно».

И дальше он писал, что надо выступить нынче же, свергнуть Временное правительство, взять власть. История не простит нам, если мы не решимся сегодня. Завтра может быть уже поздно. Сегодня последний и окончательный срок.

— Скорее несите письмо! — торопил Ленин Фофанову.

И остался один. Как беспокойно! Сел, к чему-то прислушиваясь. Чего-то будто ждал.

И вдруг и верно у входной двери раздался звонок. Пришел связной Эйно Рахья:

— Что в городе делается, Владимир Ильич!

Вот что было в городе. Был сырой, неприятный вечер. Резкий ветер рывками налетал с Невы. Тяжелый туман окутывал улицы. Падал мокрыми хлопьями снег. Или принимался сеять меленький дождь. И сеял, и сеял... Но люди группками собирались то здесь, то там под воротами. Пронесется грузовик, полный солдат или рабочих с ружьями. Где-то трахнет выстрел. Застрочит пулемет. Снова тихо, тревожно.

Возле мостов горели костры, красногвардейцы несли караул. Днем Временное правительство распорядилось разводить мосты над Невой. Прискакали юнкера, согнали пешеходов, остановили движение. Но только один Николаевский мост развели. Подоспели наши. Прогнали юнкеров.

Если бы юнкерам удалось развести мосты, была бы беда: все районы оказались бы друг от друга отрезанными. Тут поодиночке юнкера и разбили бы революционных рабочих.

Вот что рассказал Владимиру Ильичу связной Эйно Рахья.

Владимир Ильич выслушал. Помолчал и стремительно поднялся со стула. Не говоря ни слова, вытащил из комода свой старый парик. «Что это он?» — встревожился

Рахья. Партия поручила ему охранять Ленина, ему, рабочему-большевику Эйно Рахье.

— Куда вы, Владимир Ильич?

— Немедленно в Смольный! — твердо ответил Владимир Ильич.

— Да ведь убьют вас. На юнкеров нарвемся — застрелят!

Владимир Ильич не спорил. Знай себе налаживал перед зеркалом парик. Надел старый пиджачишко, пальто. И Рахья понял, что напрасно отговаривать, и стал сам собираться.

Придумали они еще завязать Владимиру Ильичу щеку, будто болят зубы, тогда уж и вовсе трудно будет узнать.

И вышли из дому. Владимир Ильич пошел в Смольный.

НАЧАЛОСЬ

Легко сказать — пошел. Десять верст от Сердобольской до Смольного! Трамваев не видать, не слышать. Люди попрятались. Темь непроглядная. Под ногами чавкала грязь и растаявший снег. Ветер резал лицо.

Владимир Ильич шел, слегка нагнув голову, выставив грудь навстречу ветру. Эйно Рахья на своих длинных ногах едва за ним поспевал.

— Стой, стой! — во все горло закричал Эйно Рахья, увидев приближающийся к остановке трамвай.

Трамвай и сам стал. Вскочили на подножку. Трамвай, почти пустой, следовал в парк. Повезло. Хоть полдороги доехать.

Владимир Ильич зорко вглядывался в темноту, в глухую осеннюю ночь. Грузовик, полный вооруженных солдат, поравнялся с трамваем и умчался вперед. Еще грузовик обогнал.

— Лихо нынче буржуям придется, — сказал кто-то.

— Сворачиваем в парк, вылезайте,— объявила кондукторша.

Снова Владимир Ильич и Эйно Рахья шагали ночными пустынными улицами. На юнкеров не нарваться бы!

И вот как раз послышался цокот копыт по булыжнику. Два юнкера верхами:

— Пропуск!

Один туго натянул поводья. Конь, заломив шею, вздыбился.

— Пропуск! — требовал юнкер, тесня конем Эйно Рахью.

На старика юнкера не обратили внимания. Чего с деда взять? Держась за подвязанную щеку, дед просеменил мимо вздыбленной лошади.

— Какой такой пропуск? — притворяясь простачком, отговаривался Эйно Рахья, стараясь выиграть время, пока Ленин уйдет. — Знать не знаю, где и добывать-то его. Да зачем? Без пропуска человека рабочего видно.

Юнкер с ругательством занес над головой Рахьи нагайку.

— Брось ты его, — кинул другой.

Они ускакали. Эйно Рахья бегом поспешил догонять Владимира Ильича. Он уж револьвер в кармане нащупывал. Не снес бы нагайки.

— Спасибо, — коротко сказал Владимир Ильич.

Огромное поле перед Смольным, перерезанное мостовой, поросшее тощими деревцами и редким кустарником, былолюдно и шумно. Горели костры. Стреляли в небо пучками огненных искр. Солдаты топтались у костров, грелись. Один за другим подъезжали грузовики. Соскакивали с грузовиков вооруженные матросы и рабочие. Валом валяли в Смольный. Господских пальто и фетровых котелков не видно. Все простой люд.

Доносилась с поля команда:

— Отряд, стро-ойсь!

Слышались зовы:

— Путиловцы где? Откликнитесь, путиловцы!

— Братцы, семянниковцев не видели?

Толпа гудела. Все поле было в движении. Возле Смольного стояли орудия. Часовые караулили входы. Окна всех трех этажей длинного здания Смольного ярко светились. Величественно было это зрелище освещенного Смольного и возбужденных, с горящими глазами, людей. За спинами щетинились дула винтовок.

У Владимира Ильича сильно билось сердце. Настал день, ради которого он жил.

Их пропустили в Смольный. Для входа в Смольный у Эйно Рахьи нашлись пропуска. Ленин в распахнутом пальто, руки в карманы, забыв о дедовском парике, стремительно прошел коридором, людным и тесным от ящиков с патронами и штабелей винтовок. Взбежал на третий этаж, в комнату Военно-революционного комитета.

Члены комитета все были в сборе. Шло заседание. Кто стоял, кто сидел. Секретарь писал протокол. Вот уже полсутака шло заседание. Обсуждали план выступления.

Непрерывно вбегали связные Красной гвардии, воинских частей и заводов.

Ленин вошел. Снял кепку. Вместе с кепкой снялся парик. Навсегда. Отслужил службу.

— Ленин! — узнали все.

Председатель Военно-революционного комитета Николай Ильич Подвойский, исхудалый, с воспаленными от недосыпаний глазами, кинулся к Ленину:

— Владимир Ильич!

Как он обрадовался приходу Владимира Ильича! Будто силы и смелости прибыло с Лениным. Подвойский нетерпеливо ждал, что он скажет.

— Промедление смерти подобно! — быстро, решительно сказал Владимир Ильич. — Надо захватить телеграф, телефонную станцию, вокзалы, мосты. Без промедления. Сейчас. В эту ночь.

Связные вбегали в комнату, где помещался Военно-революционный комитет, штаб революции, куда пришел Ленин.

— Ленин пришел! Ленин! — полетело по Смольному. Связные входили и получали приказы. Военно-революционный комитет приказывает: занять телеграф, телефонную станцию, вокзалы, мосты. Занять все правительственные учреждения.

— Красная гвардия, строить-ся! — гремело на поле перед Смольным.

Горели костры. Грузовики, полные вооруженных рабочих, уезжали в мрак и ненастье октябрьской ночи. Уходили солдаты и матросы.

В ночь с 24 на 25 октября вооруженный пролетариат и революционные войска взяли в свои руки Петроград, столицу России.

Великая Октябрьская социалистическая революция совершилась.

ЗИМНИЙ ВЗЯТ

А Временное правительство со своими защитниками засело в Зимнем дворце. Зимний дворец одним фасадом выходит на Неву. Другой фасад смотрит на громадную Дворцовую площадь. Белые колонны и статуи украшают дворец. По карнизам высятся колоссальные фигуры и вазы. Золоченый орел распахнул крылья над башней, а раньше еще развевался на мачте императорский штандарт. Раньше в Зимнем дворце жили цари.

Ленин сказал председателю Военно-революционного комитета Подвойскому:

— Весь Петроград в наших руках, а Зимний не взят. Немедленно надо захватить Зимний и арестовать Временное правительство.

— К штурму готовы! — ответил Подвойский.

25 октября, в первое утро Октябрьской революции, люди читали обращение Ленина «К гражданам России!».

Ленин писал, что Временное правительство свергнуто, власть перешла в руки Советов. Революция победила.

Верно, все так и было. Никакой у Временного прави-

тельства власти не оставалось, но министры его заперлись и сидели в Зимнем дворце.

— Что же это получается? — строго сказал Ленин Подвойскому.

— Сегодня Зимний будет наш! — ответил председатель Военно-революционного комитета. Выбежал из Смольного и поехал на автомобиле проверять, как выполняется план взятия Зимнего.

Красногвардейским отрядам и революционным полкам отдан приказ: окружить Зимний дворец!

Рабочие и солдаты захватили возле Зимнего все проспекты и улицы. Брали Зимний в кольцо. Громыхали колесами пушки, занимая позиции. Медленно входили в Неву миноносцы. Двигались к Зимнему. Развернувшись, вставали на якорь.

И трехтрубный крейсер «Аврора», с белыми бортами, обшитый медью, целил на Зимний жерло орудия. Зимний в осаде. Было это в ночь на 26 октября 1917 года.

А люди помнили Кровавое воскресенье 1905 года. Здесь, перед этим дворцом, на Дворцовой, обширной и праздничной, площади сошлись толпы рабочих. Со всех питерских заводов и фабрик. Мирно шли к царю. С иконами. «Батюшка-царь, помоги, сил не стало терпеть, с голоду пухнем».

Тысячи рабочих были убиты и ранены в то воскресенье на Дворцовой площади перед Зимним дворцом.

Настал октябрь 1917 года. Теперь рабочие пришли сюда не с иконами.

— Страшись, Зимний дворец!

— Долго ли будем тянуть? — волновались и ругались солдаты. — Кто нами командует?

Комиссары и члены Военно-революционного комитета на машинах и горячих конях объезжали солдатские цепи.

— Товарищи, потерпите, вот сил побольше подтянем, чтоб наверняка бить буржуев, без промаха. Товарищ Ленин восстанием командует.

— Ленин! — летело по солдатским и рабочим цепям. — Братцы, товарищ Ленин восстанием командует.

Ленину в Смольный непрерывно слали донесения, как идет окружение Зимнего. Ленин с карандашом наклонялся над планом. В этих улицах размещены такие-то части. Такой-то полк здесь... Сюда надо добавить людей. Прибыли матросы из Кронштадта. Крейсер «Аврора» в готовности.

— Товарищи, время. Начинайте штурм! — сказал Ленин.

Холодный ветреный вечер опустился на город. Дома притаились с запертыми подъездами. Чуждо глядели темные окна домов. На улицах зажигали костры. Ветер нес едкий дым. Гнал тяжелые тучи над Питером.

А Зимний тоже не спал. Также готовился к схватке. Юнкера и офицеры сложили из дров баррикады. Загородили дворцовые входы и выходы. Расставили между баррикад пулеметы. Зловещая тишина была вокруг Зимнего.

Из Смольного прикатил самокатчик на мотоцикле. Снова Военно-революционному комитету посыльный от Ленина.

— Немедля идите на штурм. Кончайте с Зимним. Пора.

И вот во мраке, в ночной тишине ухнуло над Невой, разорвалось, прокатилось, сотрясая воздух от земли до небес. И долго эхо повторяло: тра-ах, тра-ах...

Это дала сигнальный выстрел «Аврора». Условный знак к штурму.

Словно подхваченные волной, солдаты и красногвардейцы поднялись, кинулись к Зимнему. Цепь за цепью катились лавины бойцов. Из ближних улиц открыла стрельбу артиллерия. Трещали пулеметы. С ревом выехал на Дворцовую площадь броневик, поливая огнем деревянные баррикады, заградившие Зимний. И юнкера побросали оружие и побежали во дворец.

— Ура! — кричали, преследуя юнкеров и офицеров, красногвардейцы и солдаты.

— Ура! — Они расшвыривали поленья, карабкались на баррикады, соскакивали на ту сторону.

— Ура! Да здравствует рабочая революция!

Красные отряды ворвались во дворец. И... зарябило в глазах. Роскошь-то, богатство-то, золото, блеск! Коридоры, коридоры, комнаты.

Сотни комнат и залов. Хрустальные люстры, бархат и шелк, картины и статуи, драгоценная мебель, зеркала.

Какой-то красногвардеец пырнул штыком зеркало в золоченой оправе. С хрустом брызнули осколки стекла.

— Сдурел?! — закричали на красногвардейца. — Нынче это не царское добро. Наше, народное.

— Товарищи, соблюдайте революционный порядок! — забравшись на бархатный стул, агитировал командир отряда.

Красногвардейцы и солдаты катились дальше, дальше, из комнаты в комнату, из зала в зал. Винтовка наперевес, рука на затворе. Самые смелые и руководители впереди: Антонов-Овсеенко, Еремеев, Подвойский... Дворцовые служители, в синих ливреях с позументами, в ужасе пятились. Министры Временного правительства сбились в одном зале. Юнкера защищали их.

— Юнкера, офицеры, сдать оружие. Господа министры, вы арестованы.

Была глубокая ночь, но в Смольном ярко сверкали огнями все окна. Люди толпились на лестницах, и в коридорах, и в комнатах. Все были возбуждены. Нетерпеливо ждали вестей. Что на Дворцовой площади? Как идет бой?

И Ленин, полный ожиданий, был в Смольном. По виду спокойный, проводил совещание.

Громко стуча каблуками, вошел председатель Военно-революционного комитета Подвойский. Лицо залубенело от октябрьской стужи и ветра. Откозырял по-военному:

— Товарищ Ленин! Докладываю, Зимний взят.

Ленин вскочил. Подошел. Обнял Подвойского крепко-крепко.

ПЕРВЫЙ ДЕКРЕТ

Вторые сутки члены Военно-революционного комитета работали без отдыха. Антонов-Овсеенко, Бубнов, Дзержинский, Подвойский, Свердлов, Сталин и много других большевиков. Вторую ночь Владимир Ильич не сомкнул глаз. Надежда Константиновна поглядела на его радостное и живое, но сильно осунувшееся лицо и вздохнула.

— Отдохнуть Владимиру Ильичу надо бы, а дома-то у нас нет. К нашим далеко. Ума не приложу, где его устроить, — сказала Бонч-Бруевичу.

Бонч-Бруевич был товарищем и помощником Ильича с женевских времен. Писал в газету «Искра». Переправлял из-за границы партийную литературу русским рабочим, а в 1905 году — оружие.

— А моя квартира на что? — воскликнул Бонч-Бруевич. — И недалеко и спокойно.

И сейчас же потащил Владимира Ильича с Надеждой Константиновной к машине, которая стояла у Смольного.

Владимир Ильич как сел на заднее сиденье, так и уснул. А когда приехали через четверть часа, проснулся будто ни в чем не бывало.

— Поужинаем чем бог послал, — сказал Бонч-Бруевич.

Тихонько, чтобы никого в квартире не разбудить, они собрали на стол. Хлеба нашлось, кусочек сыра да молоко.

— Великолепный ужин! — похвалил Владимир Ильич. — А есть как хочется!

И они стали ужинать и все вспоминали, что произошло за эти дни, какие события. Рабочая социалистическая революция свершилась. Теперь навеки ей будет наименование: Великая Октябрьская социалистическая революция!

Они размечтались о будущей жизни и опять забыли про сон. Хозяин наконец воспротивился:

— Ложитесь, а то ведь свалитесь, Владимир Ильич! А вам сейчас болеть воспрещается.

И он проводил Владимира Ильича в свою комнату, где

у окошка стоял письменный стол. Владимиру Ильичу без письменного стола да без пера невозможно. Надежду Константиновну положили спать у хозяйки на диване.

Владимир Ильич погасил электричество. Но уснуть не мог. Совершенно не мог! Мысли теснились в голове. С завтрашнего дня надо строить новое государство. Будет первое в мире рабоче-крестьянское государство. Не бывавшее никогда, во всем свете, нигде.

Планы один за другим, один другого значительнее являлись Владимиру Ильичу. Он знал учение Маркса. Идеи Маркса вели Ленина в революционной борьбе. Маркс всегда приходил на помощь. А создавать рабоче-крестьянское Советское государство надо самим, своим трудом, своим разумением.

Владимир Ильич прислушался. Тишина в доме. Всех сморил сон. И неугомонный Бонч-Бруевич уgomонился, должно быть. Владимир Ильич зажег свет и сел за письменный стол. В окно глядела черная ночь. Минуту Владимир Ильич сидел без движения, слегка склонив голову, словно вслушиваясь в свои мысли. Он был очень серьезен и задумчив в эту глухую, темную ночь.

Взял перо и быстро начал писать.

Ленин писал, что помещичьи, церковные, монастырские земли и земли всех богатеев переходят бесплатно крестьянам. Кто не работает на земле, тому земли нет. Кто работает на земле, тому землей и владеть.

Ленин писал о том, что было вековой мечтой и надеждой народа. Новая жизнь в Советском государстве начиналась с мечты, которая становится былью.

Как легко дышалось Владимиру Ильичу, как хорошо! А над Петроградом, после волнений, залпов и штурмов, бесшумно шла ночь. В темной улице одно светилось окно. Так и в Шушенском было. Все село спит. Только у ссыльного Ульянова горит зеленая лампа.

Владимир Ильич положил перо. В небе чуть заяснело. Близилось утро.

«Часа два успею соснуть», — подумал Владимир Ильич

и лег. И только опустил голову на подушку, в ту же секунду уснул крепким сном.

На столе лежал исписанный лист.

За окном набирало силу утро. Небо белело. Вот из мутных облаков вырвалось солнце, забежало в комнату, где спал Владимир Ильич. Скользнуло по листу. И осветило торжественный на листе заголовок «ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ».

БЕЛЫЙ ЗАЛ С КОЛОННАМИ

Раньше здесь устраивались празднества. Бывали балы. Играла музыка. Скользили по навощенному паркету атласные башмачки институток. Сама государыня императрица, в сопровождении фрейлин, приезжала иной раз на бал. Обмахиваясь веером, милостиво наблюдала за танцами.

Да разве снилось солдату, бедняку с Орловщины, что когда-нибудь придется вступить в этот белый с колоннами зал? Его и близко-то не подпустили бы к Смольному: «Ступай прочь, деревенщина, неумытое рыло!»

А сейчас... делегатом на II съезд Советов приехал солдат.

Белый зал Смольного был полон народом. И делегаты тут собрались и недеlegates. Матросы в тельняшках и бушлатах, с ручными гранатами за поясом. Красногвардейцы с винтовками, вчера бравшие штурмом Зимний дворец. Бородатые мужики — эти из дальних мест, делегаты сельских Советов. А то рабочие с заводов и фабрик — по косовороткам узнаешь.

Стулья и скамейки были сплошь заняты. Люди сидели на подоконниках, на полу. Стояли. У всех приколоты красные ленточки. Цветисто от красного. Дымно от табака, шумно.

— Наша взяла. Долой буржуев! Вся власть Советам!

Солдат с Орловщины озирался по сторонам и все примечал.

И высокие потолки этого важного зала. И мраморные колонны. И на передней стене золоченую раму в человеческий рост. Портрет царя скинули, а пустая рама осталась.

Всю эту необычайную обстановку солдат удивленно оглядывал, а сам с нетерпением ждал, когда выйдет Ленин и станет говорить народу речь. Все ждали.

Немало здесь было делегатов I съезда. Тогда в июне, на I съезде, товарищ Ленин тоже говорил речь и призывал Советы брать власть.

«Башковитый, как ладно удумал,— рассуждал про себя орловский солдат.— Добились, стряхнули буржуйскую власть, а дальше как станем жить?»

Тут вокруг зашумели:

— Ленин! Ленин!

Многие повставали с мест, чтобы лучше увидеть, как выходят члены президиума.

И солдат вскочил и глядел во все глаза.

Вышли члены президиума. Сели за стол. Один в черной кожаной куртке, стеклышки со шнурком на глазах. Вроде военный, а вроде и нет. По виду решительный.

— Свердлов,— объяснили солдату.

И Феликса Эдмундовича Дзержинского, боевого большевика, показали — высокий, худощавый. И председателя Военно-революционного комитета Николая Ильича Подвойского — лицо приятно, взгляд открытый, прямой.

Но вот председатель объявил, что заседание съезда открыто, и дал слово товарищу Ленину.

Солдат в нитку вытянулся, чтоб хорошенько разглядеть, какой такой Ленин. А он коренастый, роста не высоко. Брови, чуть будто надломленные, разбежались к вискам. А глаза так в душу и смотрят...

Ленин быстро поднялся на трибуну. И весь зал поднялся. Встал как один человек.

— Да здравствует Ленин! — кричали люди.

Не хотели умолкнуть. Летели вверх матросские бескозырки и шапки.

— Да здравствует Ленин!

Ленин стоял на трибуне. И видел в зале, перед собой, счастливые лица. Видел людей в простой, бедной одежде. Тут не было господ в сюртуках и белых манишках и дам в модных костюмах. Тут были рабочие, крестьянские и солдатские делегаты. Трудовой народ. Перед этим народом Ленин чувствовал себя в ответе за его долю и счастье.

Он поднял руку. Он просил слова. И зал постепенно утих. Но люди не садились, слушали Ленина стоя. И орловский солдат, крепко сжимая винтовку, весь обратился в слух, ловил каждое слово.

Ленин сказал речь о мире. Рабочим и крестьянам война не нужна. Советскому государству война не нужна. Кончать надо с войной. Рабочие люди хотят мирной жизни. И Ленин прочитал Декрет о мире. Он написал этот декрет нынче утром, когда пришел от Бонч-Бруевича в Смольный.

С каким вниманием и волнением делегаты слушали Ленина!

Четвертый год шла война с немцами. Народ замучился от этой войны, исстрадался.

«Так вот какая она, наша Советская власть, справедливая власть, о народе заботится!» — думал орловский солдат.

Загремело «ура». Мраморные колонны Белого зала не слыхивали такого громового «ура»! Такого могучего и грозного пения.

Вставай, проклятьем заклеянный,
Весь мир голодных и рабов,—

воодушевленно пели сотни людей.

Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!

Потом Ленин прочитал Декрет о земле, который написал ночью в квартире Бонч-Бруевича. И снова делегаты, особенно крестьянские, одобрили ленинский декрет.

II съезд Советов, собиравшийся 25 и 26 октября 1917 года в Белом зале Смольного, был знаменитый, замечательный съезд. На этом съезде Ленин объявил Советскую власть.

На этом съезде Ленин прочитал делегатам Декреты о мире и земле, и съезд их утвердил.

Еще съезд утвердил народных комиссаров. И назначил Председателем Совета Народных Комиссаров Владимира Ильича Ленина.

Так составилось первое Советское правительство.

Съезд работал всю ночь, только под утро закрылся.

Делегаты сразу начали разъезжаться по домам — в Орловскую, Казанскую, Ярославскую и все другие губернии. В города. В воинские части и флот.

— Скорее, товарищи, поезжайте домой, — торопил делегатов Владимир Ильич. — Рассказывайте о нашей победе. Рабочая революция победила. У нас теперь Советская власть. Укрепляйте повсюду, по всей России Советскую власть.

ТАК ОНИ ЖИЛИ

Надежда Константиновна шла длинным, широким коридором Смольного. Был вечер. Надежда Константиновна возвращалась с работы. Денек выпал нелегкий. С учителями провела совещание. С рабочими. Надо организовать школы, библиотеки, детские дома, рабочие клубы. По-новому надо налаживать просвещение, для пользы трудящихся.

Она устала и с удовольствием после трудового дня возвращалась домой.

Дом их был в Смольном. Поселились Ильичи в комнате, где раньше жила классная дама. Высоченная, длинная комната с одним окошком во двор. Низкой перегородкой отгорожена спальня. Там две железные кровати поставлены, покрытые одеялами из солдатского, грубой шерсти, сукна. Печка еще была в спальне.

«Догадался бы Желтышев печь истопить,— подумала Надежда Константиновна.— Вот было бы здорово».

Желтышев был пулеметчиком. Со своим полком боролся в Октябре за Советскую власть. Теперь этот пулеметный полк нес в Смольном охрану. А Желтышева к Председателю Совета Народных Комиссаров приставили.

Только Надежда Константиновна о нем вспомнила, а он тут как тут.

— В столовку откомандировался за ужином,— объявил Желтышев. Махнул свободной рукой: — Гляньте, Надежда Константиновна, затихает помаленьку.

По обеим сторонам в коридор выходили двери, двери. Из некоторых еще доносились голоса, телефонные звонки и стук машинок. Но больше в такой поздний час было комнат за дверями утихших.

— А Владимир Ильич все не идет,— вздохнул Желтышев. И как бы самому себе разъяснил: — Обо всем народе заботиться надо. А народ-то разбуженный, бо-ольшущего ума требует.

Он заметил утомленность Надежды Константиновны: — Иззябли, чай? Холодюга на дворе, зима заступила. Погрейтесь ступайте.

Значит, вытопил печь. Умница Желтышев, молодец! Вправду на дворе холодно.

Надежда Константиновна поспешила к себе. Вход в комнату вел через умывальную. Кранов, наверное, двадцать насчитает по стенам. Раньше здесь умывались институтки. «Теперь все двадцать для нас»,— подшучивала Надежда Константиновна. Другого богатства, кроме казенных умывальников, у них с Владимиром Ильичем не было. Мебель в комнате стояла самая простецкая. Шкаф, да буфетик, да маленький письменный стол.

Да напротив диван и два кресла в полотняных чехлах и круглый столик. За ним и обедали, а иногда и серьезные государственные вопросы обсуждали.

Надежда Константиновна сняла шубу и стала у печи.

У печки тепло. А Владимира Ильича нет и нет. Он потому и выбрал в Смольном жилье, что от работы близко. На лифтике поднялся на третий этаж, и сразу Предсовнаркома рабочий кабинет и приемная. В кабинете Предсовнаркома решалось все строительство новой, социалистической жизни. Отсюда выходили декреты о том, что больше навеки нет в России дворянских и купеческих званий, что железные дороги, морской и речной флот, банки — все принадлежит государству. И заводы и фабрики перейдут государству, и рабочий класс сам будет управлять производством.

Все было ново, необыкновенно. Все создавалось впервые, только в нашей, Советской стране.

А в приемную к Ленину с утра до ночи шли рабочие, крестьяне, солдаты, матросы. Советоваться, как строить эту новую рабоче-крестьянскую жизнь.

«Должно быть, не выберет время поужинать», — подумала Надежда Константиновна об Ильиче.

Шаги. Не он ли? Так и есть! Его шаги, быстрые, легкие. Дверь из умывальной открылась, и появился Владимир Ильич.

— Перерыв решил сделать, — с веселым блеском в глазах заговорил Владимир Ильич. Взглянул в окно — зима на дворе. — Прогуляемся, Надюша, по молодому снежку, а? Как ты смотришь?

— Я так смотрю, что в девять вечера пора бы работу до завтра вовсе кончать, — резонно ответила Надежда Константиновна.

— Вот к товарищу Желтышеву это прямо относится! — сказал Владимир Ильич, видя входящего в эту минуту Желтышева. — Товарищ Желтышев, извольте тотчас отпрапляться на отдых. Извольте, извольте! — решительно повторил Владимир Ильич.

Желтышеву ничуть не хотелось отпрапляться на отдых. Ему нравилось заботиться о Владимире Ильиче. Принести на ужин пшеничную кашу. Ходить в киоск за газетами. Протапливать печь.

А сегодня у Желтышева была особая причина не спешить уходить.

У него был для Надежды Константиновны сюрприз. Вытащил из кармана малюсенькое круглое зеркальце.

— Институтская ученица оставила. А я подобрал. Надежда Константиновна, может, когда промеж работы причесаться или что другое занадобится, для такой причины в самый раз подходяще.— И он протянул подарок и оглянулся: одобряет ли Владимир Ильич?

Должно быть, Владимир Ильич ото всей души одобрял, потому что раскатился своим заразительным смехом. Потом потер лысину и сказал:

— Эх я, недогадливый! Ни разу не догадался, Надюша, купить тебе зеркальце.

— Где уж тебе догадаться! — посмеялась Надежда Константиновна.

А Желтышев весь расцвел и отправился, довольный, на отдых.

— Что за люди, чистое золото! — бормотал он, покачивая головой и широко улыбаясь.

А Надежда Константиновна с Владимиром Ильичем поужинали пшенной кашей, скупой политой подсолнечным маслом. И Владимир Ильич снова позвал Надежду Константиновну подышать выпавшим снегом. Уж очень любил он первые зимние дни! Чистоту, белизну пушистого снега. Надежда Константиновна надела меховую шапку, погляделась в подаренное зеркальце.

— Постарела я, Володя, — вдруг сказала она.

— Нет, нисколько! — живо ответил Владимир Ильич.

Ее прямые чудесные волосы начинали седеть. Тонкие морщинки прочертили лоб. Но Владимиру Ильичу она казалась прежней, какой он ее помнил. Он помнил ее в шушенский вечер, когда она приехала в ссылку и привезла ему зеленую лампу. Почти всю дорогу держала лампу в руках.

— Ты очень устаешь на работе? — тревожно спросил Владимир Ильич.

— Не очень,— ответила она.

Она никогда не жаловалась.

— Сердце только иной раз примется бежать вскачь,— сказала Надежда Константиновна.

И заторопила Владимира Ильича на прогулку. Она ведь знала, что это лишь перерыв. Что после прогулки Владимир Ильич поднимется на лифте на третий этаж и до глубокой ночи в кабинете Предсовнаркома не будет работе конца. Работе и мыслям. О том, как строить государство, первое в мире. Государство крестьян и рабочих.

НЕ УМЕЕМ — НАУЧИМСЯ

На посту у входа в Смольный стоял солдат:

— Пропуск!

И загородил винтовкой троим рабочим дорогу. Двое постарше, с бородами. Третий довольно еще молодой. Молодого звали Романом.

— Где у вас тут пропуска-то дают? — поинтересовался один, спокойно отстраняя винтовку.

— Но-но... не балуй! — прикрикнул солдат. — Комендатура пропусками заведует.

В это время как раз сам комендант Смольного, бывший матрос товарищ Мальков, появился в подъезде. Бушлат распахнулся, под бушлатом тельняшка.

— Кого вам, ребята?

— Ленина надобно. Причина есть важная,— ответил Роман.

— Безотлагательно,— добавил другой.

— Ишь какие,— протянул, оглядывая рабочих, Мальков.— А в Октябрьские дни где были?

— Зимний брали. Где же еще?

Через четверть часа все трое входили в приемную Совнаркома. Большая комната. Обставлена бедно. Два деревянных дивана перегородили на две половины приемную. И там стол и здесь стол да стулья — вот и вся обстановка.

Рабочие перекинулись взглядом: просто, по-нашенски. Намотали на ус.

Секретарша проверила пропуска, пропустила. Дальше шла канцелярия. Там тоже столы. На одном — пишущая машинка. Два шкафа, телефоны с деревянными ручками. И еще вешалка у двери. Дверь вела в рабочий кабинет Ленина.

Рабочие сняли ватные куртки, повесили. Ушанки втиснули в рукава. Одернули косоворотки.

Секретарша отворила дверь в кабинет:

— Проходите, пожалуйста. Товарищ Ленин вас ждет.

— Не осерчал бы? — шепнул Роман спутникам.

Но было уже поздно — они перешагнули порог в рабочий кабинет Предсовнаркома. И он сам, товарищ Ленин, поднявшись из-за стола, встречал их, невысокий, подвижный, с искрой в живых коричневатых глазах:

— Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста!

Усадил. И сам сел. Не через стол от рабочих, а рядом. В руке карандаш, он им помахивал и быстро-быстро кидал вопросы:

— С какого завода? Какой специальности? Как дела на заводе? Есть ли сырье? Действует ли рабочий контроль?

Владимир Ильич заметил, рабочие мнутя, медлят с ответами. Владимир Ильич положил карандаш, всунул пальцы за проймы жилета, откинулся на спинку стула и ждал.

— Докладывай ты, — подтолкнул пожилой молодого.

И другой локтем в бок:

— Роман, излагай.

У Романа горло осипло. В Октябрьские дни, с винтовкой наперевес, перемахивая через три ступеньки, взбегал роскошной мраморной лестницей в Зимний дворец. Юнкера отстреливались из-за углов. Но Роману было не страшно. Будто крылья несли его.

Товарищ Роман, что же сейчас-то ты заробел? Ведь Ленин с тобой говорит. Ленин все понимает. Он наш.

— Владимир Ильич, с поклоном мы к вам...

— Нет, нет! Поклонов не надо,— строго отрезал Владимир Ильич.— Что за дело у вас? Давайте откровенно, по-дружески.

И улыбнулся. Так хорошо улыбнулся.

И от ленинской улыбки Роман осмелел и без утайки рассказал, какая важная причина привела их к Председателю Совета Народных Комиссаров. Хотелось бы Роману с товарищами рассказать Владимиру Ильичу про завод, да не работают больше они на заводе. Из рабочего класса откомандировали их в народный комиссариат, или, короче сказать, наркомат. Царские чиновники разбежались, не пожелали с Советской властью сотрудничать. Кто не убежал, волюнку вместо работы волюнит. Прислали рабочих...

— Советской власти на подмогу прислали? — живо перебил Владимир Ильич.

— Вроде так.

— И что же?

Владимир Ильич сощурился и не сводил с Романа испытующих глаз. Роман в замешательстве пригладил русые волосы. Как на горячих углях сидел.

— Не получается, Владимир Ильич.

Стыдно признаваться. А зачем и пришел? Затем, чтобы прямо сказать: «Не выходит. Не умеем. Не можем».

— Товарищ Ленин, Владимир Ильич,— вставил рабочий постарше,— прикажите обратно в рабочий класс нас вернуть. Трудно нам.

Третий подхватил:

— На заводе с пользой работали. А в наркомате тычемся, ровно слепые.

Они просили так убедительно! Наверно, Владимир Ильич согласится, и рабочие с чистой совестью вернутся к станкам.

Он все молчал. И они замолчали.

— Вы думаете, мне легко управлять государством? — вместо ответа спросил Владимир Ильич.— Вы думаете,

у меня опыт есть? Ведь я никогда не был Председателем Совнаркома. И другие наши наркомы никогда не были прежде наркомами.

Один рабочий нерешительно покачал головой:

— Больно уж внове все.

— Так старое-то мы с вами сломали! Кто вместо нас станет устраивать новое?

И Ленин повеселел, ближе придвинулся со стулом к рабочим и стал уговаривать, объяснять. Конечно, трудно рабочим в наркоматах без знаний. Зато есть пролетарское чутье. Надо нашу, партийную, советскую линию проводить в наркоматах. Кроме рабочих, кто будет ее проводить? Всюду рабочий глаз нужен, рабочий контроль.

— А ну как ошибемся, Владимир Ильич?

— Ошибемся — поправимся. Не умеем — научимся. Итак, товарищи рабочие, — вставая, твердо сказал Владимир Ильич, — партия послала вас, выполняйте долг. — И с ободряющей и доброй улыбкой повторил: — Не умеем — научимся.

После такого разговора с Лениным у рабочих робость пропала. Владимир Ильич заразил их уверенностью: силы будто втрое прибавилось. Теперь с утра до ночи не будут вылезать из наркомата, пока не поймут всю механику.

— Обещаем, товарищ Ленин, долг выполним, — сказали рабочие.

И все трое вышли из кабинета Председателя Совнаркома уверенные. И говорили между собой, что правильно Владимир Ильич рассудил: наше рабоче-крестьянское государство, нам и в ответе быть за него.

ТЯЖЕЛЫЙ УРОК

Четырехлетняя война разорила страну. В Петрограде все лютее был голод. По карточкам давали четверть фунта хлеба, и все. А это кусочек величиной с пол-ладони. Будешь ли сыт таким кусочком? На завтрак не хватит, не

то что на целый день. Да варили на обед селедочный суп. Так в рабочих семьях, так в Совнаркоме. И Владимир Ильич так же жил и получал такой же скудный паек.

Ленин собирал Совнарком ежедневно — уж очень дел было много. Все неотложные. Как бороться с голодом — первое неотложное дело. Не один Питер, все города голодали. А хлеб был в России. В Сибири был и в Поволжье. Надо из деревень раздобыть хлеб и по голодающим городам развезти — кажется, просто? Ох, не просто! Железнодорожный транспорт расстроен. Значит, надо в первую очередь налаживать транспорт. Ведь и топиться городам нечем: дров нет, угля нет. Так давайте скорее налаживать транспорт! Не тут-то было! Всюду полно саботажников, спекулянтов. Спекулянты на народном бедствии хотели нажиться, саботажники — подорвать революцию. За ними буржуазия стояла. Буржуазия ненавидела Советскую власть. Буржуи, царские чиновники, спекулянты портили, вредили, мешали. Буржуи надеялись: вот придут немцы, свергнут Советы, тогда заживем. Только и мечтали о немецкой победе.

Было о чем задуматься Ленину!

У немцев сохранилась еще сильная армия. А у нас старая, царская, разваливалась. Офицеры бросали позиции, уходили. Солдаты рвались домой. Страшная опасность нависла над родиной.

«Что делать?» — думал Ленин. Днем и ночью собирались члены ЦК партии, народные комиссары. Обсуждали, решали, как быть.

— Товарищи! Мы подписали Декрет о мире, надо кончать войну с немцами, — говорил Ленин.

И Совнарком послал немецкому командованию предложение о мире. Немецкие власти согласились. Условие немецкое было: все земли, которые немцы захватили у нас во время войны, переходят к ним.

— Примем условия, другого выхода нет, — сказал Владимир Ильич.

Другого выхода не было. Народ был измучен войной.

Измучен разрухой. Народ хотел мирно жить, трудиться, накапливать силы.

На заседаниях Центрального Комитета партии много раз обсуждался вопрос о заключении мира с Германией. Ленин доказывал: надо непременно закончить войну. И скорее, скорее. Пусть на тяжелых условиях. На всякие жертвы надо пойти во имя спасения Советской Республики. Надо укреплять Советскую власть, создавать новую рабоче-крестьянскую армию, восстанавливать хозяйство.

Если бы все поддержали Владимира Ильича! Нет. Острые разногласия начались. Нетвердые, нестойкие люди спорили с Лениным, высказывались против заключения мира. «Грабительский мир. Не хотим подписывать грабительский мир»,— говорили они. Не понимали, какая страшная беда подкрадывается к Советской России.

А Ленин понимал. Тяжело ему было.

— Товарищи! У нас разруха и голод. Нет у нас сил. Хоть на время надо получить передышку, чтобы сохранить Республику Советов.

Так убеждал Владимир Ильич. Он был твердо уверен в своей правоте. И потому непоколебимо, горячо убеждал товарищей. И убедил.

Советское правительство вновь направило к немецким генералам делегацию. Главой делегации был Троцкий. Он был наркомом. Что же он сделал?

Предательски нарушил указания Ленина. Центральный Комитет партии и Советское правительство вынесли решение подписать с германским командованием мир. Империалисты рвутся задушить Советскую страну. Необходимо сорвать вражеские планы. Любой ценой— мир!

А Троцкий? Мира не подписал, а войну объявил прекращенной. Солдаты наши хлынули по домам, бросили фронт. Фронта не стало.

И немецкие генералы без препятствий двинули свои армии по русским дорогам. Глубже, глубже в Россию. Ближе, ближе к столице. Совсем близко. Петроград под

угрозой. Неужели немецкие генералы захватят столицу? Неужели конец революции?

Буржуи, спекулянты, торговцы притаились и ждали. И уже готовили черные списки, с кем расправляться. Готовили списки большевиков и рабочих.

На руку немецким империалистам и буржуазии было поведение Троцкого. Троцкий и раньше не раз мешал создавать в России боевую партию коммунистов. Не раз сколачивал всякие группировки против Коммунистической партии, против Ленина.

Снова непрестанно собирался ЦК, Совнарком. В Смольном не было дров. Печи не топились. Холодно. Члены ЦК и наркомы сидели за длинным столом в пальто и шубах, подняв воротники. Лица были суровы. Февральская метель свистела и кружила за окнами.

— Горький, обидный, тяжелый урок! — сказал Ленин.

Теперь все знали и видели, как Ленин был прав. Зачем сразу не послушали Ленина?

«Социалистическое Отечество в опасности!» — выпустил воззвание Совет Народных Комиссаров.

«Рабочие, крестьяне, товарищи! Вставайте на защиту Отечества!» — призывало воззвание.

Тысячи добровольцев в городах, деревнях и рабочих поселках откликнулись на воззвание Совнаркома и Ленина. И создалась новая армия.

Красная Армия. Советская Армия. Вступила против немецких захватчиков в бой. Не пустила их дальше.

Это было в феврале 1918 года. С тех пор каждый год мы празднуем 23 февраля день рождения нашей Советской Армии. Она не раз защищала нас от врагов. И всегда защитит.

Немецкие генералы, когда Красная Армия против них выступила, решили согласиться на мир. Теперь это был договор еще более грабительский. Еще больше земель отхватили у нас немецкие генералы. Конtribusiю наложили на нас. Конtribusiя — значит: платите победителям деньги. А еще и хлеб, мясо и другие продукты давайте.

Советское правительство вынуждено было на это пойти.

«Этот зверь прыгает хорошо... Он прыгнет еще раз... Поэтому надо быть готовым... брать даже один день передышки» — так Ленин сказал на VII экстренном съезде партии.

VII съезд выслушал доклад Председателя Совнаркома о войне и мире и признал политику Ленина верной.

А через несколько месяцев в Германии произошла революция. И грабительский договор стал недействителен.

— Далеко наш Ильич смотрит! — одобрительно говорили рабочие.

МОСКВА, МОСКВА...

Был поздний мартовский вечер. На платформе под названием Цветочная площадка по Николаевской железной дороге на окраине Питера стоял состав с темными окнами. Платформу охранял караул. Вдоль всего поезда виднелись винтовки латышских стрелков. Пулемет глядел черным дулом в сумрак ночи с паровозного тендера. Какие-то люди перебежали по платформе, прикрывая тусклый свет ручных фонарей. Кого-то пропускали в вагоны. Паровоз разводил пары. Поезд с темными окнами ждал отправления. Куда?

Не очень высокий человек, в пенсне, в кожаной куртке, тихо разговаривал у вагона с другим, худощавым, прямым, в длинной шинели.

— Вы уверены, что контрреволюция не знает о сегодняшнем поезде? — спрашивал Дзержинского Яков Михайлович Свердлов.

— Возможно, знает, скорее всего — да. Но откуда отправление, не знает.

— Ловко придумано, что не с главного вокзала, а с тихонькой Цветочной площадки, — сказал Свердлов.

— Контрреволюция готовила взрыв. Каждый день открываем диверсии, — ответил Дзержинский.

Дзержинский, как и Свердлов, много раз при царской власти бывал в тюрьмах, в ссылках, на каторге.

А в 1917 году вместе с Лениным и другими членами ЦК партии руководил Октябрьским восстанием. После революции Владимир Ильич предложил назначить Дзержинского Председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией.

Все знали нежное сердце Дзержинского. Но к врагам революции он был беспощаден. И заботлив и ласков с детьми. И верил пламенно, что Советская власть построит для народа счастливую жизнь. Дзержинский работал без отдыха, дни и ночи, иногда круглые сутки, работал, работал.

Для революции. Для народа. Для партии.

Между тем на платформе показалась группа людей. Владимир Ильич быстро шагал впереди. Надежда Константиновна поспевала за ним, перевесив через руку клетчатый плед. Кто-то хотел взять у Надежды Константиновны плед.

— Спасибо, я сама,— отказалась она.

Все поднялись в вагон. Зажгли свечку в купе. Плотно завесили окно.

Послышался свисток. Латышские стрелки вспрыгнули на подножки вагонов. Паровоз тронулся. Поезд с погашенными огнями отошел от платформы.

Владимир Ильич пристроился к откидному столику у окна, вытащил из портфеля бумаги.

— Побойтесь бога, Владимир Ильич, хоть в дороге отдохните! — воскликнул Свердлов.

— Если бы мы бога боялись, не бывать бы на матушке-Руси революции,— усмехнулся Владимир Ильич.

И принялся перечитывать и править только что написанную статью. Владимир Ильич писал, что мы сделаем нашу революционную Русь могучей, обильной.

Россию окружали враги. Контрреволюция готовила заговоры. А Ленин верил: мы сделаем великой нашу социалистическую Родину. Силы революции растут. И победят.

Весь поезд спал. Только машинист, зорко вглядываясь в ночную весеннюю темень, осторожно вел паровоз. Только красные латышские стрелки на площадках вагонов несли караул. Да Владимир Ильич при неровном свете свечи дописывал для завтрашней газеты статью.

Напротив, на нижней полке, неслышно спала Надежда Константиновна, подложив под щеку ладонь. Владимир Ильич осторожно накрыл ее клетчатым пледом. Этот плед подарила мама, когда приезжала с Маняшей в Стокгольм. Мамина память, клетчатый плед...

Вечером 11 марта 1918 года специальный поезд с Советским правительством благополучно прибыл в Москву. Не удалось контрреволюционерам устроить диверсию. Ленин, ВЦИК, Совнарком переехали из Петрограда. Теперь столицей нашей Родины будет Москва. Москва — центр страны. И от границ дальше.

Сначала Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной поселились в гостинице «Националь», против Кремля. Скоро весь Совнарком будет жить и работать в Кремле. На другой день после приезда Владимир Ильич с Надеждой Константиновной решили прогуляться по Москве, поглядеть Кремль. Поехал с ними старый друг Бонч-Бруевич. Он был управляющим делами Совнаркома, заботился, как в Кремле разместить Совнарком.

В Октябрьские дни в Кремле засели юнкера, забаррикадировались, стреляли из пушек. Завязались сильные бои, но революционные отряды вышибли белогвардейцев и царских прислужников из древних кремлевских стен.

Запущенным был Кремль весной 1918 года. Многие здания стояли разбитые, черные от пожаров. Кучи битого кирпича и стекла навалены всюду. Площади залиты грязными лужами талой воды. Раскиданы бревна — тут возводили юнкера баррикады. Всюду мусор и хлам...

Владимир Ильич и Надежда Константиновна пере-

секли площадь. Вот знаменитый Царь-колокол, стоит как гора. В давние-давние времена рабочие умелые руки отлили эту красу, медный колокол. И Царь-пушку отлили рабочие мастеровитые руки! А древние зубчатые кремлевские стены! А кремлевские башни! Каждая на свой лад, своя кладка, свой рисунок у каждой. Отовсюду веет стариной и историей.

Владимир Ильич задумчиво глядел вдаль. Широко, вольно выделась Москва с кремлевского холма.

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе! —

прочитала Пушкина Надежда Константиновна.

Владимир Ильич улыбнулся:

— Ну вот и здравствуй, Москва.

ШАГИ РЕВОЛЮЦИИ

VII съезд партии большевиков принял решение о мире с Германией. Тогда, на VII съезде, Ленин поставил еще вопрос: предложил назвать партию большевиков Коммунистической. Наша цель — строить коммунизм. Значит, и название дадим нашей партии: Коммунистическая.

Все большевики согласились.

На многих встречах с рабочими и в своем кремлевском кабинете Ленин решал и обдумывал, как строить новое общество. Первые шаги труднее всего! Самые начальные, первые, важные. Ленин думал, думал об этом. Советовался, обсуждал с членами правительства.

Часто Владимир Ильич встречался с Яковом Михайловичем Свердловым. Свердлов был Председателем ВЦИК — Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. Ленин советовался с ним, они дружно решали государственные дела и вопросы.

Ленин хотел за то время, пока Советская власть добилась передышки в войне, прочнее наладить новую жизнь.

В первую очередь он искал помощи у рабочего класса. «Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата», — написал Владимир Ильич в знаменитой статье «Очередные задачи Советской власти». ЦК партии одобрил мысли и планы Ленина. Статью напечатали в газетах «Правда», «Известия». Огромные цели открывались народу. Коммунисты, рабочие, крестьяне шли за Лениным, верили Ленину.

В ленинском кабинете в Кремле у письменного стола стояло кресло с плетеным сиденьем и спинкой. Владимир Ильич любил это простое кресло. Может быть, потому, что в давние детские годы в симбирском доме Ульяновых были похожие плетеные стулья. Владимир Ильич помнил зимние вечера в уютной столовой под висячей лампой с белым абажуром. И чудесные книги. Счастливое детство!

Ленин хотел, чтобы у всех рабочих и крестьянских детей в Советской стране было тоже счастливое и доброе детство.

При царе детям рабочих и крестьян трудно было учиться. Редко кому удавалось кончить гимназию. А институт и того реже. Теперь для детей трудящихся были открыты все школы, все институты. Учитесь! Читайте книги — библиотеки для вас!

Война разорила Россию — голодно, холодно! — но лучшие пайки, лучшее питание, дети, для вас! Никогда, ни в одном буржуазном государстве не было такой любовной заботы о детях трудящихся. Такой заботы о людях труда.

При царе и буржуях рабочие работали двенадцать часов в сутки, а то и пятнадцать! Пришла Советская власть. Председатель Совнаркома Ленин подписал декрет: рабочий день для всех восемь часов.

Раньше лучшая земля была у кулаков и помещиков. Заводы и фабрики, железные дороги, шахты и копи, неф-

тяные промыслы, банки — все переходит государству. Все народное, все советское, все государственное. А помещиков и буржуев долой! Хотите — работайте. Кто не работает, тот не ест.

Вот какой небывалый переворот произошел в нашей стране! Смело шагала революция дальше и дальше. И во главе всего нового, небывалого стоял Владимир Ильич, стояла партия коммунистов.

ПО ДЕРЕВНЯМ И СЕЛАМ

Когда задолго до революции Владимир Ильич вместе с другими товарищами жил эмигрантом в Женеве, однажды приехала из России молодая революционерка Лидия Александровна Фотиева. И сразу стала горячей помощницей Ленина. Всю душу отдавала революционной работе, все время. Только одна была у нее страсть, кроме революционного дела: она была музыкантша. Иногда свободным вечером большевики собирались в столовой Лепешинских, где был у них вроде клуб. Лидия Александровна садилась за пианино. Если приходил Владимир Ильич, Лидия Александровна играла «Патетическую сонату» Бетховена. Владимир Ильич любил эту сонату. Как необыкновенно он слушал, с какой нежностью и глубокой задумчивостью!

После революции Лидия Александровна Фотиева стала секретарем Совнаркома. Работа заполнила все. Она и жила в Кремле, чтобы поближе быть к Совнаркому.

Утром, перед тем как идти в Совнарком, Лидия Александровна непременно присаживалась к пианино. Весной и летом, когда окна открыты, в кремлевском, еще пустом и безлюдном дворе лились звуки «Патетической сонаты» Бетховена, полные могучей силы, могучего чувства.

Потом Лидия Александровна Фотиева шла в Совнарком. Она знала все дневное расписание Ленина, все, что требовалось ему для работы.

К Председателю Совнаркома постоянно шли посетители. Она знала, кого сразу к Ленину надо пустить, а кто и повременить может.

— Владимир Ильич, ходоки из дальней деревни,— сказала в этот день Фотиева.

— Зовите, зовите! — ответил Владимир Ильич.

Он слышал утреннюю музыку. Ему нравилось, как начинала свой день секретарь Совнаркома Лидия Александровна Фотиева.

— Зовите, пожалуйста,— повторил Владимир Ильич.

Бородатые, до черноты обожженные солнцем и ветром крестьяне садились за длинный стол под зеленым сукном. Сначала смущались. Но Ленин был прост, и ходоки незаметно смелели.

От ленинской простоты мужикам будто смекалки и ума прибывало. А Ленину это и надо. Ленину важно, чтобы каждый свои мысли и мнения без страха, напрямик говорил.

— Товарищ Владимир Ильич, ты над нами большой,— говорили ходоки,— знаний у тебя хошь отбавляй...

— Отбавлять, пожалуй, ни к чему,— возразил с улыбкой Владимир Ильич.— А насчет деревни так и вовсе знаний нехватка.

— Мы тебе про деревню всю как есть правду доложим.

— Ну-ка, ну-ка давайте!

— Перво-наперво Советская власть по сердцу пришла к крестьянскому миру, что помещиков с земли согнала,— начал самый старый ходок, у которого борода закрыла полгруды и над выцветшими глазами нависли дремучие брови.

— Дальше,— говорит Владимир Ильич,— давайте выкладывайте.

— Дальше о кулаке речь пойдет. Задушит кулак новую жизнь. Не даст ходу. На бедноту надейся, Владимир Ильич. А кулак Советской власти не друг. Кулак супротивник...

Это Ленин знал. Но слушал. Внимательно слушал ходоков-бедняков. Проверял свои знания. Выводы делал. И появлялся потом новый декрет, новый советский закон.

Так, летом 1918 года Ленин подписал декрет Совнаркома о комитетах бедноты в деревнях. Стали они называться комбедами. Комбеды — опора Советской власти в борьбе против кулачества.

Кто же такие были кулаки? Сейчас в нашей Советской стране кулаков давным-давно нет. И слыхом про них не слыхать. Кулаки были крестьяне. Да только зажиточные, иной раз очень даже богатые. В старые времена правдой богатство мужику не нажить. Кулаки богатели неправдами, спекуляцией, чужим трудом богатели. Разживутся, земель накупят. Нагонят пахать батраков из бедноты деревенской. До весны хлеба у бедняка не хватало. Просит бедняк в долг у кулака ржи пудишко. За этот пудишко кулаку поле вспаши. Да осенью вместо одного два пуда отдай. Выхода нет. Идет бедняк в кабалу. Голодный. От ветерочка, словно пустой колос, качается. А кулацкие амбары, полные пшеницы и ржи, стоят под замками, как крепость. Рассчитывает кулак: вот еще вздорожает хлеб, вот еще... Кулак из-за прибыли горло соседу готов перегрызть.

А голод в городах все страшней, все безысходней! Что делать? Чем кормить рабочих и служащих, ребятишек, Красную Армию? Как хлеб раздобыть?

Ведь есть же, есть хлеб в деревнях! От ходоков знал Владимир Ильич, что есть. Только кулаки отдавать не хотят, прячут, в землю закапывают.

Несправедливо! Нельзя допустить, чтобы люди в городах погибали от голода, а у кулаков амбары хлебом набиты. Батраки кулацкий хлеб вырастили. Не кулацкий он, а народный.

Ленин так рассудил и позвал рабочих.

— Товарищи рабочие,— сказал Владимир Ильич,— составляйте на заводах и фабриках продовольственные отряды и разъезжайтесь по деревням. Там комбеды. Ком-

беды за нас. И середняк на нашу сторону клонится. Вы им подскажите, как укреплять в деревнях Советскую власть. А они вам подскажут, где кулаки прячут хлеб от голодных.

И Ленин подготовил декрет о том, что кулаки обязаны весь лишний хлеб сдавать комбедам и продовольственным рабочим отрядам.

Совнарком декрет утвердил. Так в первые годы революции Ленин и Советская власть спасали от голода рабочий народ.

НАШЕСТВИЕ

На берегу Баренцева моря, за Полярным кругом, в 1915 году поднялся город Мурманск. Самый молодой в те времена. Небольшой, а важный наш порт на Северном морском пути.

Однажды, весной 1918 года, на рассвете, когда серый туман клубился над морем, бесшумно возникли из тумана черные очертания военного судна. Чужой флаг, обвисший от сырости, надвигался на Мурманск. Целились дула орудий. Английский крейсер вошел в Мурманский порт.

Вскоре, так же внезапно, появился еще крейсер, стал рядом. Французский. За ним американский.

На советский берег высадились чужие войска.

Их прислала Антанта. Антантой назывался тогда военный союз Англии, Франции и Америки. Союз капиталистов, буржуазных правительств. Антанта хотела свергнуть в России революционную Советскую власть. Антанта боялась, как бы рабочие других государств не задумали по примеру русских сделать у себя революцию.

Грозная весна 1918 года! Грозное лето!

В разгаре лета целая эскадра Антанты вступила в Белое море.

Спешит, торопится к Белому морю суровая Северная Двина.

Верстах в полсотне от устья, вдоль забитой плотами и судами многоводной реки, вытянулся узкий город с деревянными тротуарами, верфями, лесопильными заводами, складами леса. Бескрайняя мшистая тундра подошла к городу с другой стороны. Наш военный и торговый порт, наша северная крепость — Архангельск.

Антанта захватила Архангельск. Белогвардейцы с ликованием встретили наступление Антанты. Одна мечта была у белогвардейцев: свалить Советскую власть. В Архангельске поднялся белогвардейский мятеж. Сотни рабочих, красноармейцев, советских матросов пали в неравном бою.

И ожили притаившиеся торговцы, буржуи. Царские офицеры снова нацепили золотые погоны. Затрезвонили колокола: в церквях кадили ладаном, служили молебны попы.

Контрреволюция наступала на Севере.

Контрреволюция бушевала на Дальнем Востоке. В Сибири. На Урале. Подступала к Поволжью. Вражеские крейсера высадили войска во Владивостокском порту.

В сибирских деревнях бунтовали кулаки. Громили комитеты бедноты, нещадно казнили коммунистов. Рекой лилась кровь.

Кровь лилась в донских и кубанских городах и станицах. Белые генералы захватили Дон и Кубань. На Украине хозяйничали немцы.

Все теснее сжималось вражеское кольцо вокруг Советской России.

Было раннее утро. Солнце еще не взошло, только слабо желтела полоска зари.

Владимир Ильич вышел из своей квартиры в Кремле. Всего несколько шагов отделяло квартиру от рабочего кабинета Предсовнаркома. Ближе, чем в Смольном.

В конце коридора, у входа в кабинет, стоял часовой.
— Здравствуйте! — приветливо сказал Владимир Ильич.

Возможно, это было не совсем по уставу, но Владимир Ильич всегда приветствовал часовых. Часовой вытянулся при виде Ленина и с удивлением подумал: «Когда же он спит?»

Совсем недавно, почти на рассвете, Председатель Совнаркома ушел с работы домой. Солнце не поднялось, Ленин опять на работу. Часового даже не успели сменить. «Ведь эдак и с ног, того гляди, свалится», — в беспокойстве подумал о Владимире Ильиче часовой.

Большая карта России висела в кабинете, в простенке между окнами.

Владимир Ильич долго стоял у карты, заложив руки за спину, вглядываясь в линии фронта. Владимир Ильич знал все города и пункты, где сейчас шли бои. Знал командиров и комиссаров. Многих по именам и в лицо. Старался узнать характеры, подготовку, способности. От характеров и способностей командиров зависело, как пойдут наши дела на фронтах.

Много талантливых полководцев поднялось из народа, когда на советские земли ворвались враги.

Василий Иванович Чапаев! Настоящий народный герой. Об отваге и военной смекалке Чапаева уже ходили легенды. И Клима Ворошилова имя славным становилось в народе.

Скоро запоется по всей стране боевая, зовущая песня:

Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер,
Сумеем кровь пролить за СССР...

И с великим уважением, с великим доверием Ленин подумал о Фрунзе. В декабре 1905 года большевик Михаил Васильевич Фрунзе привел отряд иваново-вознесенских рабочих на помощь восставшей Пресне в Москве, а теперь командовал армией на очень тяжелом участке.

Владимир Ильич мысленно обошел все фронты. Ворошилов, Буденный, Блюхер, Лазо, Котовский, Щорс, Тухачевский...

Северный фронт. Южный. Восточный.

На востоке Сибирь, Урал, Волга. На востоке хлеб. С помощью Антанты белогвардейцы и кулачье захватили восточные хлебные области. Задушить голодом рабоче-крестьянское государство — вот к чему стремилась Антанта.

«На Восточный фронт и надо направить главный удар Красной Армии, — обдумывал Владимир Ильич. — Прогнать из Поволжья и Сибири белогвардейцев, сломить кулачье».

Владимир Ильич сел за стол и снова внимательно прочитал вчерашние донесения с фронтов. Вчера с Дзержинским, Свердловым, Чичериным и другими товарищами до поздней ночи обсуждали положение на фронтах. Решения приняты. Теперь нужно было написать ответы командирам, распоряжения и приказы на фронт. Владимир Ильич работал, пока желтизна зари посветлела и рассеялась в небе, выкатилось из-за крыш домов летнее солнце и Лидия Александровна Фотиева, постучав в дверь, сообщила, что явились посетители. Владимир Ильич взглянул на часы. Посетители явились, как назначено, в срок. «Сразу видно, военные», — заметил Владимир Ильич. Вложил в папку бумаги и письма. Передал Фотиевой.

— Прошу вас, срочно!

И провел рукой по лицу. Будто смысл тревогу и морщины с лица. Чтоб не видели, как встревожен, как озабочен. Вошли военные. Это были красные командиры, хорошо известные Ленину. И один бывший генерал царской армии.

— Ну, докладывайте наш план наступления, — обратился к нему Владимир Ильич.

Удивительно: Владимир Ильич советовался с царским генералом! Ведь Ленин подписал декрет о том, что служба в Красной Армии — честь. Что эта честь дается беднякам, рабочим, всем трудящимся и их сыновьям. Что кулацких и дворянских сынков нельзя пускать в Красную Армию. Что командирами и военкомами в Красную Армию нужно посылать коммунистов.

И вдруг царский генерал! Может ли быть? Но это был опытный, образованный генерал, превосходно знающий военное дело. Он был честный. Душа его оскорбилась нашествием на Россию Антанты. И он поверил делу Ленина. Таких знающих и честных военных специалистов, которые верили нашему делу, Ленин звал помогать Красной Армии.

Генерал водил длинной указкой по карте и докладывал Владимиру Ильичу план наступления.

— Да, да,— кивал Владимир Ильич.

Владимир Ильич соглашался. Владимир Ильич одобрял суждения генерала, потому что вчера, позавчера, один и с товарищами, и сегодня на заре обдумывал и взвешивал такой именно план. И сейчас себя проверял.

— Красивая должна получиться операция,— заключил генерал, удовлетворенно опуская указку.

— Красивая или нет, не имеет значения,— сказал Владимир Ильич.— Важно победить... Ваше мнение, товарищи!— обратился он к красным командирам.

Они долго и тщательно обсуждали все подробности наступления.

И решение было общим и твердым.

— Трудное положение,— сказал Владимир Ильич.— Но Красная Армия должна победить.

ТРИ ПОДЛЫЕ ПУЛИ

Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной завтракали в кухне. У них была и столовая, в их небольшой кремлевской квартирке. Но там они собирались, когда кто-нибудь зайдет выпить чаю и поговорить о делах. А одни, когда чужих нет, обходились незатейливым столиком в кухне. Просто. Рядом плита. Протяни руку — чайник горячий.

Была пятница. В Москве был заведен порядок, что по пятницам члены ЦК и народные комиссары выступали на

рабочих собраниях. Владимиру Ильичу Московский комитет партии прислал заранее путевку.

Вдруг из Петрограда телеграмма. Правительственный телеграф в коридоре Совнаркома работал круглые сутки, так что телеграмму Владимиру Ильичу доставили в ту же минуту.

Из Петрограда сообщали, что убит председатель Петроградской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией товарищ Урицкий. Через некоторое время из Московского комитета телефонный звонок:

— Товарищ Владимир Ильич, МК не советует сегодня вам выступать.

— Что еще за новости? — нахмурился Владимир Ильич.

— Опасно, товарищ Ленин. Обнаглела контрреволюция.

— Э, батеньки мои, волков бояться — в лес не ходить. И повесил телефонную трубку.

Надежда Константиновна переглянулась с Марией Ильиничной.

— Володя, не ездь сегодня. Поберегись, пожалуйста!

— Там поглядим, — уклончиво ответил Владимир Ильич и заторопился в свой рабочий кабинет.

Урицкий убит. Еще раньше был убит другой видный большевик, Володарский. Контрреволюция выслеживала членов Центрального Комитета и правительства.

Но разве мог Владимир Ильич не ехать к рабочим? Рабочие ждут.

В назначенный час пришла машина. Шофер Степан Казимирович Гиль всегда возил Ленина и сегодня повез. Сегодня у Владимира Ильича было два выступления в разных районах. А вечером заседание Совнаркома.

— Перед рабочими выступаю, успею и на Совнарком, — сказал Владимир Ильич.

Гиль только головой покачал:

— И откуда у вас силушки берутся, Владимир Ильич? Он привез Ленина на Большую Серпуховскую улицу,

на бывший завод Михельсона. Владимир Ильич бывал здесь и раньше.

Рабочие собрались в гранатном цехе, большом деревянном, недавно построенном здании. Люди сидели, стояли у станков и в проходах. Лица были строгие. Строгое внимание в глазах.

Ленин говорил о гражданской войне. О борьбе с белогвардейскими бандами.

А рабочие этого цеха готовили против белогвардейцев гранаты. Надо будет, и воевать пойдут.

Ленин видел: нет, ни за что рабочие не уступят свои заводы, свою власть буржуйам.

Вот откуда, товарищ Гиль, силушки наши берутся. Рабочий класс, как аккумулятор, заряжает энергией.

...Митинг окончился. Окруженный рабочими, Ленин вышел из цеха. Гиль мигом завел машину, поставил на скорость. Шофер Гиль был осторожен. Вон какая уймища народу! Неспokoйное время. Шофер Гиль знал про убийство Урицкого. Уж садился бы скорее в машину Владимира Ильич... Его не отпускали. Вопросы сыпались со всех сторон... Помолодевший, живой, Владимир Ильич говорил, говорил с рабочими. Вдруг... Что это? Выстрел? Владимир Ильич не сразу понял. Толкнуло в левую руку. Он покачнулся. Еще выстрел. Резкая боль рванула шею. Владимир Ильич начал валиться на бок. Третья пуля чиркнула по пальто на спине.

Ленин упал.

— Ленина убили! — отчаянно закричали в толпе.

Узколицая женщина, с темным взглядом, бросила на землю браунинг, кинулась со двора. Люди побежали ловить контрреволюционерку-убийцу.

— Владимир Ильич! — звал Гиль. — Товарищ Ленин!

— Домой, — белыми губами выговорил Владимир Ильич.

Рабочие подняли его, помогли сесть в машину. Мертвая тишина наступила в толпе. Кажется, всем слышно было прерывистое дыхание Ленина.

Гиль на полной скорости мчал машину к Кремлю.
— Владимир Ильич, мы вас внесем,— просил Гиль, когда подъехали к дому.

Владимир Ильич не хотел. Мучила боль, рубашка взмокла от крови. Но пошел сам, опираясь на Гиля и провожавших рабочих. Медленно, медленно, молча. На третий этаж. Какая длинная трудная лестница! Крутые ступени...

В ужасе бежала навстречу Мария Ильинична:

— Володя! Володя!

— Немного ранен... пройдет,— с трудом сказал Владимир Ильич.— Успокойся, Маняша. Не пугайте Надю.

Надежды Константиновны не было дома. Она была на работе.

А в Совнаркоме все собрались. Ведь Владимир Ильич назначил заседание на девять часов. Все знали— Ленин требовал точности. Первый раз, единственный раз Председатель Совнаркома опаздывал...

Осторожно подвели Ленина к постели, покрытой клетчатым пледом. Надежда Константиновна берегла этот плед... Владимира Ильича положили. Он слабел. Желтизна поползла по лицу.

Двери в квартиру были распахнуты. В смятении и страхе толпились товарищи.

Приехали врачи.

— Что? — спрашивали с надеждой товарищи.— Не тяжело ранен Владимир Ильич? Не очень опасно?

Тяжело ранен. Очень опасно...

Томительно тянулись минуты. Вот вернулась с работы Надежда Константиновна. Отчего открыты двери? Отчего так много в доме людей?

Кто-то бережно погладил ее по плечу. Она поняла. Спросила коротко:

— Жив?

Стон донесся из комнаты Ленина. Она выпрямилась, подтянулась и с сухими глазами, без слез, вошла к Владимиру Ильичу. Он увидел ее, улыбнулся через силу:

— Ничего, Надя, с революционером это всегда может случиться. Пустяковая рана, поправлюсь...

И закрыл глаза. У него падал пульс. Ему было хуже и хуже.

Неужели Ленин умрет?

В ЭТИ ТРУДНЫЕ ГОДЫ

В коридоре Совнаркома стрекотали телеграфные аппараты: та-та, та-та, та-та... Передача — прием, передача — прием... Один телеграфист в солдатской шинели принял бегущую ленту. Вчитался. С какой-то особой поспешностью расшифровал и бегом понес в конец коридора, на квартиру Ленина. Дверь открыла Надежда Константиновна. Он протянул телеграмму.

— Скорей передайте Владимиру Ильичу,— сказала она.

«Володе будет приятно, что именно этот солдат принесет такое известие»,— подумала Надежда Константиновна.

Они его знали со Смольного. В Октябрьские дни Советскому правительству понадобились свои верные телеграфисты. Солдат выучился телеграфному делу. Из Петрограда с правительством переехал в Москву.

— Несите,— торопила Надежда Константиновна, и телеграфист, обрадованный таким поручением, вошел в маленькую комнату.

Там стояла узкая кровать, покрытая клетчатым пледом. Рядом с кроватью у окна письменный стол. Владимир Ильич читал за столом. Левая рука его висела на перемычке. Он похудел и осунулся, а в остальном был прежним. Так же остры глаза, так же быстры движения.

Телеграмму прислали бойцы Красной Армии.

«Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара!»

— Ну молодцы! — воскликнул Владимир Ильич. — Ну, спасибо, спасибо! — растроганно повторял он. И снова перечитывал вслух телеграмму. — «Взятие Вашего родного города...» Наши взяли Симбирск, слышите, товарищ телеграфист? Замечательная победа, слышишь, Надюша?

Владимир Ильич тут же написал ответную телеграмму. Поздравлял красноармейцев с победой, благодарил. Писал, что взятие Симбирска — самая целебная на его раны повязка.

— Нет лучше для меня лекарства, чем эта весть! Теперь живо пойдет на поправку, — сказал Владимир Ильич.

И верно, через несколько дней в «Правде» был напечатан врачебный бюллетень о том, что здоровье Владимира Ильича поправилось.

Врачи позволили Ленину вернуться к работе.

Времена наступали тяжелые. Антанта поняла, что с Красной Армией шутки плохи, и двинула на нас еще больше сил. Четырнадцать государств вторглись на советские земли. Белогвардейцы и кулаки хлебом-солью встречали чужие войска. Вступали под чужое командование. Белогвардейские составляли полки. И шли на советскую власть. Страна наша стала осажденной крепостью.

— В осажденной крепости вся жизнь должна идти по-военному, — сказал Ленин.

Постоянно к Ленину приезжали военные специалисты и красные командиры докладывать о положении на фронтах и советоваться.

Ленин сказал:

— Во время гражданской войны нужны особенные порядки.

И предложил ввести всеобщую трудовую повинность. Советские люди все-все-все должны работать на заводах и фабриках, в учреждениях, на полях, на железных дорогах. Помогайте Красной Армии, советские люди!

Красной Армии нужно оружие. Товарищи рабочие, изготавливайте оружие. Больше оружия!

Красную Армию нужно обувать, одевать. Товарищи рабочие, больше шейте сапог, гимнастерок, шинелей.

Фабрики не успевали шить сколько надо. Не хватало кожи для сапог. Не хватало материи. Как быть? Как одеть народ и Красную Армию?

Правительство и партия объявили сбор у населения теплых вещей. Люди несли на сборные пункты полушубки, фуфайки, шерстяные шарфы и носки.

А буржуи не хотели расставаться со своими богатствами. Красная Армия была буржуям чужой. Им не жалко красноармейцев, не жалко детишек. Пусть мерзнут.

— Надо отобрать у буржуазии лишние теплые вещи. Хватит им по одному пальто,— сказал Ленин Дзержинскому.— Трудящиеся последнее отдают. И богатые пусть поделятся.

Дзержинский был Председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, или, как тогда называли, ЧК. Дзержинский послал чекистов в дома богачей. Собирали чекисты одежду и обувь. Потом раздетым, разутым рабочим по ордерам раздавали без денег. И Красной Армии посылали на фронт.

Но голод был самой страшной бедой. Давно продукты в городах выдавали по карточкам. Помалу, впроголодь.

Советское правительство издало новый строжайший закон. Назывался новый закон продразверсткой. Это значит, крестьяне обязаны были весь лишний хлеб и продукты сдавать государству. Муку, крупу, мясо, масло, картофель — все отдавали для Красной Армии, для рабочих и служащих. Тяжело крестьянам, но другого выхода не было.

Такой порядок, когда в Советской стране была продразверстка и всеобщая трудовая повинность, когда весь народ работал для фронта, когда продукты распределялись по карточкам, а одежду выдавали по ордерам, потому что продуктов и одежды было так мало, когда полуразрушенный транспорт был занят перевозкой орудий

и войск для защиты страны и ехать в поезде можно было только по пропуску, — такой порядок Ленин назвал военным коммунизмом.

Трудные годы!

Счастье, что в эти трудные годы был у нас Ленин.

СЛУЧАЙ В СОКОЛЬНИКАХ

Во время болезни Владимира Ильича, когда несколько дней он был при смерти, Надежда Константиновна скрывала страх и тоску, держалась как каменная, стойкости ее все удивлялись.

А когда Владимир Ильич поднялся, сама заболела. Да сильно! От душевного потрясения вспыхнула старая болезнь. Ныло сердце, не могла ходить, не спала, задыхалась. Врачи сказали, только чистый воздух может помочь.

Санаториев в ту тяжелую пору было у нас очень мало. Но для слабых детей в Сокольниках под Москвой открыли Лесную школу. Стояла школа посреди парка, воздуха чистого — океан!

Надежду Константиновну уговорили здесь пожить.

Когда Ленин приехал поглядеть Лесную школу, где придется Надежде Константиновне жить, навстречу выбежала ватага ребят. Впереди, задрвав хвост крючком, неслась собачонка.

— А позвольте познакомиться, как вас зовут? — спросил Владимир Ильич.

— Ее Бобкой зовут! — в восторге закричали ребята.

— Господин Бобчинский, — сказал Владимир Ильич.

И протянул Бобке руку, а она лапку дала. Ну уж тут ребята вовсе пришли в восхищение. Не знали, чем еще Владимира Ильича удивить. Другую свою любимицу, кошку Муську, притащили показывать. И Ленин решил, что Надежде Константиновне хорошо будет среди этой веселой и живой ребятни. Проводил Надежду Константиновну в Лесную школу. Страшно занят был Ленин. Каж-

дый день до поздней ночи занят был решением государственных дел. Все в государстве строилось заново, а ведь Ленин был главой государства.

А вечером все-таки выберет час, скажет Гилью:

— Поедем навестим Надежду Константиновну, а?

Настала зима. Навалило снегу. Москву замело, занесло. Ломовики не успевали вывозить из города снег, так и стояли сугробы по улицам, вышиной чуть не в два этажа.

В один такой снежный январский день 1919 года в Лесной школе была назначена елка. Владимир Ильич обещал приехать на елку. Собрались под вечер с Марией Ильиничной, взяли для Надежды Константиновны бидончик молока и поехали.

Машину, как всегда, вел шофер Гиль. Да еще поехал товарищ из охраны, Чебанов.

Был воскресный день, народу на улицах множество. Заваленные сугробами улицы были узки, словно траншеи, в иных местах не проедешь. Но шофер Гиль ловко маневрировал между людьми и горами снега, машина шла без задержки.

Вдруг, при въезде в Сокольники, у железнодорожного моста, где не видно было людей, трое человек загородили дорогу:

— Стой. Будем стрелять!

Гиль хотел проскочить, но Владимир Ильич велел остановиться. Владимир Ильич подумал, что это милиционеры. Время военное, милиционеры обязаны следить, кто выезжает на машине за город. А что не по форме одежды, так тогда милицейской формы еще не водилось.

Автомобиль стал. Трое здоровенных мужчин окружили машину. Распахнули дверцы. Нацелили револьверные дула:

— Вылезайте!

Все вышли.

— Я Ленин,— сказал Владимир Ильич.

Он все еще думал, что это милиционеры. Но что та-

кое? В одну секунду двое приставили к вискам Владимира Ильича револьверы. Он чувствовал их холодную сталь. Третий, в папаше, с наглым лицом, живо обшарил карманы. Забрал кремлевский пропуск и маленький ленинский браунинг.

— Какое вы имеете право? — возмущенно воскликнула Мария Ильинична. — Показывайте ваши мандаты.

— Нам мандаты не требуются. У нас на все право есть.

И бандиты вскочили в автомобиль и погнали прочь, издали грозясь револьверами. Автомобиль скрылся из виду. Все это случилось так быстро, никто не успел и опомниться.

Несколько мгновений Владимир Ильич в негодовании молчал. Потом с упреком:

— Позор! Столько нас народу, дали машину угнать.

— Владимир Ильич! Я в них оттого не стрелял, что боялся, вас не убили бы! — горячо сказал Гиль.

— Да, пожалуй, бессмысленно было лезть в драку, силы уж очень неравные, — согласился Владимир Ильич.

Кинул на товарища Чебанова взгляд и расхохотался. Да как! Заразительно, как только он умел хохотать. Невольно и Мария Ильинична с Гилем рассмеялись. Один Чебанов без смеха стоял... держал в руке бидон с молоком.

— Единственное, что спасли от грабителей! — смеясь, воскликнул Владимир Ильич.

Чебанов прямо-таки онемел от стыда. А Владимир Ильич не унимался:

— Спасибо, хоть молоко сберегли. И бидон как-никак тоже необходимая вещь.

И, подшучивая над чекистом Чебановым, который с каким-то ошарашенным видом одной рукой щупал в кармане оружие, а в другой нес злополучный бидон, все пошли в Сокольнический райсовет, недалеко от железнодорожного моста. В райсовете Владимиру Ильичу раздобыли машину и повезли его с Марией Ильиничной в Лесную

школу. И тут же сообщили о нападении Дзержинскому. Получив приказ, чекисты рассыпались по Москве в погоне за грабителями. И скоро поймали.

Надежда Константиновна бродила как тень от окна к окну. Вглядывалась в зимний сад, утонувший в глубоком снегу. Отчего опаздывает Владимир Ильич? Неужто снова беда?

Тревога передалась ребятам. Охватила всю школу. Медленно-медленно двигалась стрелка часов.

Наконец чей-то счастливый голос разнесся по дому:

— Приехали!

И Владимир Ильич вбежал со двора. Пальто нараспашку, борода и брови заиндевели, щеки разругались.

— Дед-Мороз! — закричали ребята. Облепили, повисли.

— Здравствуй, милый, хороший Дед-Мороз, ты нам праздник привез!

Насилу Владимир Ильич сквозь ребячью толпу добрался до Надежды Константиновны. Сначала не хотел о бандитах рассказывать, но она вглядывалась в него с таким беспокойством, сердцем чуяла что-то неладное.

— Пустяки, Надюша, сущие пустяки.

Она побледнела, услышав про грабителей. Ничего не сказала. Только тихо:

— Спасибо, обошлось.

И началось веселье. Красавица елка, убранная самодельными флажками, золоченой звездой и игрушками, высилась до потолка в школьном зале. Чудесно пахло зимним лесом и хвоей. Ребята повели хоровод вокруг елки. И Владимир Ильич пошел в хороводе. Ребята пели, и Владимир Ильич пел. Затеяли игру в кошки-мышки. В жмурки играли. В прятки играли. Веселились до упаду. Вот был праздник так праздник!

А Надежда Константиновна, которая одна знала, что два часа назад Владимир Ильич стоял под дулами бан-

дитских револьверов, от смерти на шаг, глядела на него, любовалась и думала с гордостью: «Ты бесстрашный человек. Оттого и веселый».

ГОРЬКИЕ ПОТЕРИ

Снова поезд шел из Петрограда в Москву. Снова в поезде Владимир Ильич. И сестра Анна Ильинична. Был март 1919 года. Ночь. Тусклым светом горела керосиновая лампочка. Вагон шатало. Тоскливо стучали колеса.

Анна Ильинична съежилась в уголке, сгорбила плечи. Они ездили хоронить Марка Тимофеевича, мужа Анны Ильиничны.

Новая напасть навалилась на нашу страну. Смертоносная болезнь ходила по городам и селам, железным дорогам и станциям — всюду, куда заползала сыпнотифозная вошь. Люди умирали от сыпного тифа. Больниц было мало, докторов мало, лекарств мало.

Марк Тимофеевич Елизаров приехал в Петроград в командировку и умер от тифа-сыпняка в несколько дней. К двум родным могилам под белостолой березой на Волковом кладбище прибавилась третья. Анна Ильинична горбила плечи, куталась в шаль. Владимир Ильич ласково провел ладонью по ее седеющим уже волосам.

...Много светлых и горестных лет связано с Марком. В юности Марк был товарищем Саши. Сашу казнили. Марк вошел в их семью. Умный, душевный, он стал близок и нужен всем в доме, родной человек!

— Он и революции очень был нужен, настоящий был коммунист! — сказал Владимир Ильич.

Анна Ильинична оцепенела от горя, но повторила с любовью и гордостью:

— Марк настоящий был коммунист.

Поезд мчался сквозь темную ночь. Черным забором тянулся вдоль полотна железной дороги неодетый мартовский лес. Соломенные деревни летели навстречу. Глухо

и немо высились фабричные трубы. Не дымя. Все меньше работало заводов и фабрик. Сырья не хватало. Топлива нет. Фабрики останавливались. Разруха.

«Тяжко, особенно тяжело в такое суровое время терять верных друзей», — думал Владимир Ильич.

А в Москве ждало новое горе. Председателя ВЦИК Якова Михайловича Свердлова свалила испанка. Откуда-то, из Испании, принеслась небывалая болезнь, налетела как вихрь. Без пощады сжигала, тысячами косила людей. Тысячами косил сыпной тиф. Голод, гражданская война. Бедствия, бедствия. В заграничных буржуазных газетах злорадно писали: Советской власти скоро конец.

Владимир Ильич стиснул ладонями голову. Трудно.

Выжил бы только Свердлов! Как согласно они работали вместе!

«Надо, Яков Михайлович, сделать...» — скажет о чем-нибудь Владимир Ильич.

В ответ спокойно:

«Уже».

«Что уже?»

«Сделано, Владимир Ильич».

«Когда вы успели, Яков Михайлович? Мы с вами почти и не говорили об этом».

«Почти...» — смеется Свердлов.

Он понимал с полуслова. Ленин любил деловитость Свердлова, революционность, государственный ум.

Врачи не пускали Владимира Ильича навестить больного. Испанка — прилипчивая болезнь.

Владимир Ильич не послушал. Пришел к товарищу. И ужаснулся.

Неужели это Свердлов? Этот истаявший человек на белых подушках, недвижимый, с заострившимся носом. Борода отросла, лицо казалось старым, чужим. Глаза провалились. Он был без памяти.

Владимир Ильич сел у кровати. «Товарищ, надежный, талантливый, не уходи!» — думал Владимир Ильич.

Образ его, молодого и здорового — ведь всего трид-

цать три года было Свердлову! — стоял в памяти Ленина. Всегда энергичный, находчивый. Владимир Ильич представить даже не мог, чтобы Свердлов убоился самой страшной опасности. А как хорошо умел он говорить с народом, вдохновенно звать к революционной работе!

Ресницы дрогнули, Свердлов открыл глаза. Издалека, в полусознании глядел на Ленина. Узнавал. Улыбка, какая-то жалобная и страдальческая, тронула губы. Владимир Ильич взял его плоскую, как щепка, руку. Пожал.

И, низко опустив голову, вышел. Через несколько минут Свердлова не стало. Очнулся на миг из забытья перед кончиной, словно затем, чтобы увидеть Ленина. Сказал взглядом: прощай. И ушел навсегда. Никогда не забудет Владимир Ильич о своем неутомимом помощнике самых первых, тяжелых месяцев жизни и строительства советского общества.

...Жизнь продолжалась. Надо оборонять, укреплять советское общество.

На место Свердлова Ленин предложил Председателем ВЦИК Михаила Ивановича Калинина.

Калинин — крестьянский сын из Тверской губернии, рабочий питерских заводов. Ленин знал, кого выдвигать. Михаил Иванович Калинин был хороший коммунист и человек хороший и умный: люди любили его.

«Я, СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА...»

Больше миллиона отлично вооруженных белогвардейцев и интервентов подступали к сердцу России — Москве. Шесть вражеских фронтов железным кольцом окружали нашу Советскую Родину. Никогда не было так зловеще и грозно.

В один майский день Москва охвачена была необычайным движением. С рассвета тревожно толпились женщи-

ны у ворот заводов и фабрик. Ждали чего-то. Ребятишки цеплялись за материнские юбки. Московские дети рабочих окраин, с бумажно-белыми личиками, голодным блеском в глазах. Распахивались заводские ворота. Рабочие, кто в шинелях, кто в ватных куртках, кто в чем, с вещевыми мешками и винтовками на плечах, выходили из заводского двора.

— Равняйся!— летела команда.

Красноармейцы равнялись. Совсем недавно они прошли наскоро красноармейскую науку. Равнение не очень складно у них получалось. Зато научились стрелять.

— На Красную площадь шагом марш!— слышно было команду.

Из всех районов и заводов Москвы шагали, шагали к кремлевским стенам отряды. Женщины, в белых и красных косынках, с узелками шли по бокам. Спотыкались, спешили, заглядывали в лица бойцов, совали узелки.

Черная от горя, старая мать криком кричала:

— Ва-а-ся, сыночек! Господи, сохрани сыночка родимого от пули буржуйской...

Красноармеец хмурился, не знал, куда деться от стыда.

— Позоришь меня перед народом, мамаша. Бога вспомнила! Где твое пролетарское сознание?

И, словно в поддержку, озорно взвилась лихая комсомольская песня, сложенная рабочим поэтом:

Долой, долой монахов!
Долой, долой попов!
Мы на небо залезем,
Разгоним всех богов.

Босоногие ребятишки шныряли между красноармейскими отрядами, взახлеб хвалились друг перед дружкой:

— У нашего тятеньки во винтовка!

— Эка невидаль, винтовка! У моего-то лента пулеметная. Как из пулемета по буржуям пальнет!

— А мой папанька, гляньте, гранатами весь пояс увешал. Погодь, наши заводские белым гадам покажут...

...«Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии...»

Гордые, большие слова! Сердце бьется сильнее от этих слов. Так гулко и жарко билось сердце у Ленина, когда год назад Председатель Совнаркома сам принимал присягу на верную службу Советскому государству. Это было на заводе Михельсона. Вместе с молодыми рабочими, бойцами красногвардейских отрядов, говорил Ленин клятву: «Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского Правительства выступить на защиту Советской Республики».

Владимир Ильич шел с товарищами на Красную площадь.

Красная площадь была запружена людьми. Качалась, шумела строгим, сдержанным шумом. Владимир Ильич увидел лес вскинутых кверху штыков. Жестко и остро сверкала на солнце сталь. Женщины не отходили от сыновей и мужей.

Владимир Ильич видел: многие красноармейцы обнимали жен, прощались. Целовали детишек.

На Красной площади собрались красноармейские отряды и отряды всеобуча.

Что такое всеобуч? Ленин подписал в прошлом году декрет Совнаркома о том, что все рабочие и трудящиеся должны обучаться военному делу. Родина в опасности. Рабочие, все-все, учитесь стрелять, готовьтесь оборонять Советскую Родину!

Трибуны не было. Стоял старенький грузовик, забрызганный грязью. Один борт обтянули кумачом. Укрепили у борта доску на шесте. На доске крупными буквами лозунг: «Разобьем злодейскую банду помещиков и капиталистов!»

Владимир Ильич с командирами Красной Армии обошел войска и по приставленной лесенке поднялся на грузовик.

Перед глазами раскинулось море людей. Тысячи рабочих с винтовками.

У каждого печали и радости, надежды, любовь. Каждый по первому зову Рабочего и Крестьянского Правительства оставлял все и уходил на гражданскую войну против белых.

Владимир Ильич заговорил.

Стало тихо на площади.

Ленин говорил о том, что раньше солдат учили защищать царя и буржуев. А теперь красноармейцы себя защищают, свои дома и детей. От помещиков и буржуев защищают свое государство. Ленин говорил душевно и просто. Как раз о том, о чем думали тысячи красноармейцев возле кремлевской стены. Думали красноармейские жены. Жены не плакали. Лишь туже стягивали ситцевые кофтенки у горла. Да бледнели лицом. И старая Васина мать не кричала больше.

После митинга красноармейские отряды прямо с Красной площади пошли на вокзалы. И поезда повезли красноармейцев на фронт.

Ленин стоял на грузовике. Смотрел вслед уходящим. Сверкали на солнце штыки.

«Я, сын трудового народа...» — торжественно повторялась в душе Владимира Ильича красноармейская клятва.

КАЗЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

Сотрудников в Совнаркоме было немного. Вдоволь каждому хватало работы. Но дело свое каждый любил, работали с радостью.

Владимир Ильич уважал небольшой коллектив совнаркомовских работников.

— Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан, — шутил Владимир Ильич.

Служащим нравилась его пословица.

— Мы маленькая рыбка, — смеялись они.

— Да удаленькая,— хвалил Владимир Ильич.

На заседание Совнаркома Ленин пришел за пять минут до начала. Он всегда приходил заранее. Кипа разных сообщений и телеграмм ожидала его. Пока собирались наркомы, усаживались за длинный стол, покрытый зеленым сукном, Ленин кое-что прочитал. Часть бумаг отложил. Другие подписал. Некоторые вернул секретарю. И объявил заседание Совнаркома открытым.

Опоздавших не было. Все точно пришли к началу. Никому не хочется попадать в протокол. Или, хуже того, схватить выговор. Ленин за опоздания не миловал.

— Начинаем,— сказал Владимир Ильич.

Один товарищ стал сообщать, как обстоят дела с продовольствием. Он был членом продовольственной комиссии. У продовольственной комиссии все продуктовые запасы были безошибочно подсчитаны, до фунтика учтены, до полуфунта! Товарищ сообщил, по скольку можно в этом месяце выдавать трудящимся хлеба, соли и масла.

Скупое получалось. Детям побольше. Но все равно скупое.

— Стариков одиноких не забудьте,— вставил Владимир Ильич.

Докладчик продолжал сообщение. Владимир Ильич, чуть склонив голову, слушал, чертил на листе квадратик и косые линейки.

Видно, туго, очень туго у нас с продуктами запасами, если докладчик на предложение Председателя Совнаркома ничего не ответил.

— Одиноких стариков нельзя забывать,— снова вставил Владимир Ильич.— Кто о них позаботится, если не Советская власть? Да, да! Мы бедны, но извольте найти выход,— и вопросительно взглянул в сторону наркома продовольствия: что скажет Александр Дмитриевич?

Александра Дмитриевича Цюрупу Ленин знал давно, с той поры, когда вернулся из ссылки. Владимиру Ильичу тогда Цюрупа сразу очень понравился. Веселый. Голубоглазый, с копной вьющихся светлых волос.

Но, конечно, не во внешности дело: Александр Дмитриевич Цюрупа был замечательным революционером — вот в чем суть. И самоотверженным работником был, превосходным наркомом! С такими наркомами хорошо Ленину было работать.

Но что с ним? Ленин сдвинул брови, внимательно взгляделся в Цюрупу. Как исхудал! Ни кровинки в лице. Под глазами черные ямы.

«От голода. Изголодался Цюрупа!» — понял Владимир Ильич.

Вырвал из блокнота листок и, продолжая слушать докладчика, написал строгую записку Цюрупе, что надо заботиться о казенном имуществе, надо беречь, нельзя так запускать, неразумно.

Цюрупа прочитал, улыбнулся. Казенным имуществом Владимир Ильич называл здоровье особенно много работающих для государства людей. Цюрупа хотел ответить Владимиру Ильичу, что не один он голоден, все не досыта едят, как-нибудь дотянем до хороших времен, тогда уж наедемся.

Но товарищ из продовольственной комиссии кончил докладывать, и Цюрупа не стал писать ответную записку Владимиру Ильичу, а протянул руку, прося слово. Слишком важный обсуждался вопрос. Цюрупа должен высказать свои советы и мысли. Встал. И вдруг пошатнулся и рухнул без сознания на пол. Ленин вскочил, подбежал:

— Александр Дмитриевич, голубчик, что с вами?

Цюрупа лежал на спине, раскинув руки, с мертвенно-серым лицом. Его окружили. Кто-то вызвал по телефону врача.

— Воды, скорее воды!

Кто-то обрызгал из графина Цюрупе лицо. Он пошевелился. Глубокий вздох поднял грудь. Он приходил в себя. Его посадили на стул. Он вытер платком лицо, вид у него был виноватый, смущенный.

— Наделал хлопот, сорвал заседание!

— Нарком продовольствия падает от голода в обмо-

рок,— покачал головой Владимир Ильич.— Тяжело мы живем. А все-таки казенное имущество необходимо беречь,— сказал он Цюрупе.— Товарищи, сие казенное имущество уж очень в плохое пришло состояние. Предлагаю немедленно отправить в капитальный ремонт.

«ДЕНЬ НАСТАЛ ВЕСЕЛЫЙ МАЯ...»

Владимир Ильич поднялся рано и тихонько, чтобы не разбудить Надежду Константиновну с Марией Ильиничной, прошел в кухню. Костюм сегодня на нем был надет затрапезный, штиблеты поношенные. И галстук не повязан.

На кухне всюду кипел чайник, в кастрюльке дышала горячим паром картошка. Хозяйство Ульяновых в кремлевской квартире вела Саня, двоюродная сестра рабочего Ивана Васильевича Бабушкина, которого царские жандармы расстреляли в 1906 году.

— Владимир Ильич, неужто и вправду собрались? — удивилась Саня.

— А это что? — спросил Владимир Ильич с лукавыми огоньками в глазах. Показал чайник на плите и кастрюлю.— Это что? Кто завтрак мне пораньше приготовил сегодня? Спасибо, Саня. Садитесь, вместе позавтракаем.

И с аппетитом принялся завтракать, а Саня, наливая в стакан ему крепкого чаю, все дивилась:

— Вроде дело-то не по вас, Владимир Ильич. Ваша забота умом раскидывать.

— А если Советскому государству надо, чтобы и руками денек поработать? — весело улыбнулся Владимир Ильич.

Живо покончил с завтраком и вышел из дому. Утро было свежее, чистое. Легкий ветерок шевелил ярко-зеленые листья деревьев. Белые облачка бродили в голубом небе.

В Кремле было не по-обычному оживленно илюдно.

На обширной кремлевской площади строились отряды курсантов — они жили и учились в Кремле. Были тут и сотрудники Совнаркома и ВЦИКа.

Было Первое мая.

Партия обратилась к народу с призывом организовать сегодня вместо праздничных демонстраций субботник.

Год назад рабочие Московско-Казанской железной дороги в субботу, после рабочего дня, не ушли домой. Остались в мастерских. Отремонтировали четыре паровоза и шестнадцать вагонов бесплатно. Ленин написал о первом рабочем субботнике статью под названием «Великий почин». Ленин назвал коммунистической эту бесплатную, по доброй воле, работу.

И вот в праздничный день Первого мая 1920 года был объявлен Всероссийский субботник. Во всех уголках нашей огромной России люди выходили на улицы или в цеха на заводах и сообща делали для общей пользы что-нибудь важное.

Кремлевские курсанты выстроились недалеко от казармы, у древней Царь-пушки. Бронзовая Царь-пушка стоит на чугунном лафете. Возле сложены чугунные ядра. Из Царь-пушки никогда не стреляли, старинные мастера-оружейники отлили ее всем на удивление, а врагам на страх. И поставили навечно в Кремле.

Курсанты выстроились, и начальник курсов объяснил, что надо делать. Очистить кремлевскую площадь от бревен, досок и всякого хлама. Привести Кремль в образцовый порядок.

— Есть привести Кремль в образцовый порядок! — согласно отозвались курсанты.

В это время подошел Владимир Ильич. Подошел своей быстрой походкой, в стареньком пиджаке и кепке, серьезный и весь в каком-то подъеме, с радостным блеском в глазах.

— Поступаю в ваше распоряжение, — вытянувшись по военному, отрапортовал Владимир Ильич командиру. — Прошу принять меня в расчет для участия в субботнике.

— Займите место на правом фланге,— сказал командир.

Часы на кремлевской башне отзвонили время серебряным звоном. Грянули медные трубы оркестра.

— Приступить к работе! — раздалась команда. Повторилась по отрядам.

Весело приступили люди к работе. Музыка веселила, солнечный день. И что Ленин вместе с ними работает, очень было курсантам приятно.

Бревна были тяжелые. Таскали одно бревно вшестером. Скоро курсанты заметили: Владимир Ильич все старается с толстого конца бревно захватить.

— Не годится так,— решили курсанты.— Надорвется Владимир Ильич.

— Товарищ Ленин,— сказал один,— не можем мы, товарищ Ленин, чтобы вы тяжести такие таскали!

— Вы же таскаете. А мне отчего нельзя? — возразил Владимир Ильич.

И спокойно к следующему бревну пошагал.

— Ступайте лучше, Владимир Ильич. Мы без вас здесь управимся,— поспевая за ним, уговаривал курсант.

— Нет уж, нет уж, не выпроваживайте. Все равно не уйду.

— Да ведь вам пятьдесят годиков стукнуло, Владимир Ильич!

Выпалил такое курсант и смутился. Уж очень попросту они держатся с Лениным, будто с ровесником, своим братом, рабочим парнем.

Владимир Ильич обернулся, погрозил пальцем, смеясь:

— Если я вас старше, молодой человек, так извольте со мной не спорить.

Вспомнился Владимиру Ильичу другой май, когда они с Надеждой Константиновной были в Шушенской ссылке. Еще были там ссыльные — финн Оскар Энгберг и поляк Ян Проминский. Втайне от урядников соорудили они красный флажок и Первого мая собрались на лугу. Пели:

День настал веселый мая,
Прочь с дороги, горя тень!
Песнь раздайся удалая!
Забастуем в этот день!

И мечтали там, в ссылке, о будущем...

Вот оно, будущее. Народ свободный, трудится для себя. Красная Армия на фронтах перешла в наступление. Скоро разобьем интервентов и контрреволюцию, вышвырнем вон навсегда.

...Владимир Ильич вернулся с субботника в мокрой от пота рубашке. У одного штиблета оторвалась подошва.

— На тебя обуви не напасешься,— сказала Надежда Константиновна.

И пошла доставать Владимиру Ильичу свежее белье. А он, усталый и довольный, мылся в кухне под краном, отфыркивался, мотал головой, брызги летели в стороны.

Потом Надежда Константиновна приколола Владимиру Ильичу к пиджаку красную ленточку, и он поехал на Театральную площадь на закладку памятника Карлу Марксу и сказал там революционную речь. И еще в этот день закладывали памятник «Освобожденному труду», Владимир Ильич и там речь говорил. А вечером выступил на митингах в одном, втором, третьем районе. И поехал в рабочий дворец. В этот день Первого мая 1920 года в Москве открывался рабочий дворец.

Владимир Ильич радовался сегодняшней согласной работе на Всероссийском субботнике. Новым памятникам радовался. Новой культуре. Руки и ноги гудели у Владимира Ильича от усталости. И было хорошо-хорошо.

КОМСОМОЛИЯ

Всем известно, что комсомольцы— смелые ребята, передовые ребята. Надо партии для пользы народа послать на опасное дело бесстрашных людей— кто впереди? Всегда комсомольцы.

Небывалые дороги надо прокладывать — кто откликнется по первому зову? Комсомольцы. Война — комсомольцы не дрогнут. Тысячи подвигов совершили комсомольцы на гражданской войне. Тысячи поросших травой и цветами комсомольских могил в сибирских землях, на Украине, в Крыму и Поволжье, под Курском и Питером. Тысячи комсомольских героев...

Владимир Ильич отложил карандаш. Листок бумаги на столе исписан тонким высоким почерком. Ленин набрасывал план выступления.

Сегодня он выступает на III съезде комсомола. А всего Российскому комсомолу от роду два года. Интересно было Владимиру Ильичу думать о комсомольцах. Задиристые, упорные! Дети рабочего класса и бедных крестьян. Мы сделали революцию, думал Владимир Ильич, а построить коммунистическое общество как надо едва ли успеем. Молодое поколение будет достраивать. Вы, комсомольцы, в первую очередь!

Тем временем комсомольские делегаты собирались на съезд. Прямо с субботника. Все утро разгружали на вокзалах товарные платформы, складывали в поленицы на складах дрова, наводили порядок на улицах. Прихорашивали Москву.

Был холодный день 2 октября 1920 года. Небо серое. Вдруг налетит ветер, и туча желтых листьев взвоется с ветвей на бульваре, покружит в воздухе и опадет на землю шуршащим дождем.

Комсомольцы радовались свежести утра, и сухому шороху листьев, и общей работе, от которой горели ладони. А главное, сейчас на съезде выступит Ленин!

Понятно, комсомольские делегаты со всех ног спешили к назначенному часу в дом № 6 на Малой Дмитровке. Теперь в этом доме Театр имени Ленинского комсомола. Тогда театра не было. Сцены не было. Вместо сцены некрашенные подмостки без занавеса. Длинный стол на подмостках и кафедра. Да плакаты и лозунги на красных полотнищах.

«Ты записался добровольцем? — спрашивал с одного плаката красноармеец в буденовке и властно указывал пальцем: — Ты?»

А многие комсомольцы как раз приехали с фронта. Ведь эти комсомольские делегаты из разных городов и деревень были не школьники. Кто грамоту знал, а кто и нет, кто и книжки ни разу в руках не держал. Зато они беспощадно громили на фронтах белогвардейские банды. Зато без страха отбирали у кулаков припрятанный хлеб. Зато готовы были в огонь и в воду за Советскую власть.

И сердца комсомольские с волнением выстукивали: сейчас будет Ленин. Услышим Ленина!

В ожидании они тесно сидели на скамьях, плечом к плечу, в шинелях и кожанках. Комсомольцам двадцатых годов особенно нравились черные кожанки, как у Свердлова. Шинель — тоже неплохая одежда, пропахшая потом и порохом боевая шинель. И папаха или буденовка с красной звездой.

«Что Ленин скажет?» — гадали делегаты. И ждали: скажет о войне. В бой позовет, к героизму и подвигам. Красная Армия гнала беляков. Но еще не кончилась гражданская война.

Смело мы в бой пойдем,—

поднялось в одном конце зала. И загремело мощно и гулко:

За власть Советов.
И, как один, умрем
В борьбе за это!

Но вот все примолкло. Начались выборы президиума, как всегда на собраниях. Стол для президиума был покрыт красным сукном. Товарищи заняли места. Два портрета висели на стене. Маркс и Энгельс внимательно и с приятною глядели на комсомолию.

Вдруг раздалось восторженно:

— Ленин!

Комсомольцы вскочили, захлопали в ладоши. Ленина комсомольцы любили, гордились им.

Ленин снял пальто с черным бархатным воротничком и аккуратно положил на стул. Поздоровался за руку с товарищами, которые сидели в президиуме. И все его жесты, улыбка и все, что он делал и как делал, — все его поведение до того комсомольцам понравилось, так был он дорог и мил, что у многих этих боевых комсомольских ребят слезы стояли в глазах от любви и какого-то необыкновенного счастья.

Ленин подошел к краю подмостков, вынул из жилетного кармашка часы на цепочке, без крышки. Показал: кончайте, мол, хлопать, будем работать.

И еще больше комсомольцам понравился.

И если бы он сказал: «Ребята! Все до единого, не медля ни минуты, на фронт!» — все, как один человек, ушли бы на фронт. Но Ленин сказал другое. Сначала комсомольцев взяло смущение. Сначала не поняли.

Ленин не стоя говорил, а прохаживался по краю подмостков. Было тесно. Кто постарше из президиума, заняли места за столом. Стульев не хватало, члены президиума комсомольцы недолго думая уселись прямо на подмости. Ленин осторожно шагал мимо них. И говорил.

О чем же? О том, что сейчас задача комсомольцев — учиться.

Поразились комсомольцы. Владимир Ильич видел удивление, растерянность на молодых, жадно внимающих лицах и старался как можно понятнее объяснить свою мысль. Скоро мы кончим гражданскую войну. Прогоним врага. А дальше? Начинать надо строить. Заводы, фабрики, тракторы, самолеты, машины. Электрифицировать надо страну. А что такое электричество, товарищи комсомольцы, вы знаете?

Надо знать, много знать!

Владимир Ильич толково и просто доказал комсомольцам, что без знаний невозможно построить коммунистическое общество.

Надо знать и трудиться. «Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами». Владимир Ильич говорил, что учиться коммунизму — это значит каждый шаг своей жизни связывать с борьбой пролетариев против старого общества. И строить новое, коммунистическое.

МЕЧТЫ И ДЕЛА

В кабинете Владимира Ильича сидел знаменитый английский писатель Герберт Уэллс. Наверное, нет ни одного школьника, кто не читал бы книги Уэллса «Борьба миров», «Машина времени», «Человек-неведимка». Во всем мире прославились полные удивительной фантазии книги Уэллса!

Уэллс критиковал недостатки капиталистической жизни, увлекался наукой и техникой, и Владимиру Ильичу интересно было с ним познакомиться. Смеющимся взглядом Владимир Ильич поглядывал на довольно крупного и плечистого английского джентльмена с ровным пробором и короткими усиками. На нем был прекрасный костюм. Тугой воротничок ослепительно белой сорочки подпирал круглый бритый подбородок. Видно было, прославленный писатель не знал, что такое нужда.

А советские люди жили голодно, холодно. Рубашки негде купить. Магазины пустые.

Герберт Уэллс рассказывал Владимиру Ильичу о своих впечатлениях. Он приехал из Англии две недели назад и без устали ходил петроградскими и московскими улицами. Приезжал на заводы. Больше половины заводов стояло. Молчали станки. Уэллс ехал в школы. Школьникам выдавали по ломтику хлеба на завтрак. А учебников не хватало. Учились по одной книжке втроем, вчетвером.

Уэллс наблюдал, расспрашивал, слушал. И был потрясен. Невыносимо тяжело Советской стране! Разруха, голод. Нет топлива. Нет освещения. Россия во мгле.

Так говорил Ленину Герберт Уэллс.

На лице Ленина постепенно угасала улыбка. Нет, он не сердился на знаменитого английского писателя. Ленин любил откровенный разговор. Что думаешь — выкладывай прямо. Уэллс говорил правду: в России разруха. Уэллс справедливо рассуждал: не большевики довели страну до разрухи, а царское правительство, капиталисты, свои и чужие. Это они обрушили на Россию войну. Но Уэллс не верил, что большевики возродят Россию, вытянут из нищеты и войны.

Тут Ленин нагнулся через стол ближе к Уэллсу и с вспыхнувшим в глазах смешком задал вопрос:

— А вы представляете, что делают большевики для возрождения России? Хотите узнать?

Уэллс был фантаст и ученый. Оттого Ленин и решил поделиться с ним планом. План был великий, громадный! Ленин давно его задумал.

С молодых лет был у Владимира Ильича близкий товарищ Глеб Максимилианович Кржижановский, коммунист и талантливый инженер. Он был и поэтом. Еще в царское время перевел на русский язык революционные польские песни. И раньше их пели, а теперь вся страна распевала:

Но мы подыдем
Гордо и смело
Знамя борьбы
За рабочее дело...

Много вечеров Ленин обсуждал с инженером Кржижановским свой план. Двести ученых, самых крупных и опытных, позвал Ленин для составления и рассмотрения плана.

И вот теперь делился с Уэллсом. Уэллс по-русски не знал. Но Владимир Ильич как заправский англичанин говорил по-английски. Уэллс восхитился — так свободно, богато лилась его английская речь! А мысли! Мысли были ярки, как молнии. Смелее самой смелой фантазии. Уэллса ошеломил ленинский план. Электрифицировать

Россию! Бескрайние равнины, леса. Деревни при свете жалкой лучины. Запущенные города. Заводы умолкли. Торговля заглохла. Железные дороги разбиты...

— И в таких ужасных условиях вы мечтаете по всей вашей огромной стране зажечь электричество?

— Да. Мы построим электростанции. Дадим заводам энергию. Пустим электрические поезда.

«Изумительный человек! — слушая Ленина, думал Уэллс. — Но... кремлевский мечтатель». Писателю-фантасту план Ленина казался несбыточной сказкой.

Через два месяца в Большом театре открылся VIII Всероссийский съезд Советов. Это было в декабре 1920 года.

На бархатных креслах сидели люди в косovorотках и гимнастерках, изношенных пиджаках и валенках, сидели люди с решительными, непреклонными лицами — сидела Советская власть. Они собрались здесь утверждать новые законы и план жизни и хозяйства на будущее.

На сцене установили огромную карту электрификации нашей страны. Владимир Ильич много раз звонил Кржижановскому, торопил художника и монтеров изготовить карту к сроку. Хотелось Владимиру Ильичу, чтобы депутаты Советов наглядно увидели: вот наш план электрификации, вот так мы преобразим Россию. Через десять лет приезжайте, Уэллс, поглядеть...

Невысокий черноглазый инженер Кржижановский стоял на сцене. Энергичный и быстрый, сейчас он был тих. Волновался.

Вчера здесь, на этой сцене, Ленин сказал: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». А сегодня инженеру Кржижановскому надо рассказать, как все это будет. Он волновался. Деревянная указка в его руке чуть подрагивала. Вот он поднял указку, притронулся к карте. Свет в зале погас. А на карте от прикосновения указки зажегся огонек. Один огонек. Вторым, третьим. Кржижановский говорил, где мы будем строить электростанции, как будем строить, как поднимется

наша промышленность, оживут наши поля. И огоньки все зажигались, обозначая места электростанций, и карта расцветала чудесно, волшебю. И окрепшим, сильным голосом говорил Кржижановский.

Владимир Ильич видел вдохновенное лицо друга, глубокое, безграничное внимание зала, огни карты — зарю будущего. И знал: теперь этот план, которому он отдал душу, станет мечтой и делом всех депутатов. Мечтой и делом народа. Он не один. С ним советский народ и товарищи.

ЖЕСТОКИЙ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

В декабре двадцатого года в газете «Правда» появилась наконец последняя сводка Революционного военного совета: «На фронтах спокойно». Красная Армия выгнала интервентов. Разбила белые банды. Только до Дальнего Востока не дошла пока Советская власть. Погодите, дойдет.

Почти во всей стране война кончилась. Военный коммунизм не годился больше для жизни. Ленин обдумывал новую политику, подходящую для мирного времени.

Но подкрадывалось ужасное бедствие к Советской стране.

Зима стояла без снега. Не выли вьюги, не наметали сугробы. Морозы вымораживали голую землю. Были чахлы весенние всходы. Тощие росточки жадно ждали дождей. Напрасно. Всю весну и все лето раскаленный шар солнца вставал с востока в душном небе без облачка. Вечерами зловеще пламенел багровый закат. Жаркий ветер высушивал в бедных всходах последние соки. Земля каменела от зноя. В Поволжье погибли поля. Засуха настигла Крым и Южный Урал.

Голодная смерть поглядела в глаза миллионам людей.

Владимир Ильич приходил в Совнарком. Заседание начиналось в назначенный час. На повестке дня вопрос

о помощи голодающим. Владимир Ильич направлял, руководил, требовал действий, неотложных, решительных. Как во время войны.

Советское правительство обратилось к народу. Во все области и города полетели телефонограммы: «Товарищи, делитесь чем можете!»

Председатель ЧК Дзержинский поехал в Сибирь собирать хлеб для Поволжья.

На Украине был хороший урожай. Ленин написал письмо украинцам.

«Помощь нужна быстрая. Помощь нужна обильная»,— писал Владимир Ильич.

Послал обращение заграничным рабочим. Помогите!

Советское правительство образовало Помгол, то есть Комиссию помощи голодающим. Помголом ведал Калинин. На Михаила Ивановича Ленин надеялся. На его крестьянскую смекалку и пролетарское чутье.

В специальном поезде, под названием «Октябрьская революция», Михаил Иванович поехал в Поволжье.

— О детях позаботиться надо. О детях особенно,— сказал Владимир Ильич. И добавил: — Пожалуйста!

И такую заботу, такое горе услышал Калинин в голосе Ленина! Будто миллионы ребятишек на Волге с усохшими личиками были Председателю Совнаркома родными детьми. Михаил Иванович кашлянул, пряча смятение. Тронул бородку:

— Все силы приложим. Все возможное сделаем.

— Выше возможного! — сказал Владимир Ильич.

Был поздний вечер. В кабинете Предсовнаркома светилась неяркая лампочка. Владимир Ильич отложил кипу подписанных и решенных бумаг.

Болела голова. Невыносимо болела. Владимир Ильич перемогался. Нельзя хворать, некогда. Но сейчас никто его не видел, и он устало оперся лбом на ладонь. Мысль о голоде сверлила мозг.

«Выше возможного!» — думал Владимир Ильич.

Советское правительство делало выше возможного. Мало золота в советских банках. Но Ленин подписал приказ о выдаче двенадцати миллионов золотых рублей на закупку за границей семян для сожженных полей.

Рабочие писали в Совнарком:

«Товарищ Ленин! На нашей матушке-Руси тысячи тысяч церквей. Золотые кресты в церквах, ценная утварь. Отобрать бы да пустить голодным на хлеб».

Молодцы рабочие! Ленин ухватился за подсказку рабочих. Надо подготовить декрет об изъятии церковных ценностей. Что еще?

Зазвонил телефон. Говорил из Поволжья Калинин. Ленин тревожно принял ухом к трубке:

— Как, Михаил Иванович?

— Плохо, Владимир Ильич.

Мертвые поля. Мглистым маревом окутаны деревни и села. Не слышно мычания коров. Скотину прирезали, или от бескормицы пала. Даже грибов и ягод не родила земля в это окаянное лето. Люди варили похлебку из листьев и трав. Валились с ног от слабости. Целые семьи вымирали, будто в чуму. Волки хищно рыскали из деревни в деревню...

Долго после звонка сидел Ленин, откинувшись на спинку стула, не двигаясь. Непривычно это для Ленина.

Очень правильно, что Помгол организовал вывоз детей из голодных губерний. И жутко было: так тихи полные ребятишек вагоны, так тихи...

В разные города из голодных губерний шли поезда. А Москва взяла чувашских детей. В бывших барских и буржуйских хоромах пооткрывали детские дома для маленьких осиротевших чувашей.

Была совсем уже ночь. Владимир Ильич бесшумно вошел в дом. Все спали. Но нет, Маняша не спала, дожидаясь. Позвала на кухню.

— Не жалеешь ты себя, Володя. Хоть чаю горячего выпей. А Надя вернулась с работы без ног, прилегла.

Владимир Ильич увидел на столе зашитую в мешковину посылку. Крестьяне из Тамбовщины писали, что посылают окорок да сальца: «Отведайте нашего деревенского продукта, Владимир Ильич, подкрепите силы».

— Володя, ты никогда не принимаешь посылок, — говорила Мария Ильинична, — и мы с Надей совершенно согласны. Но, Володя... У тебя такой утомленный вид...

Владимир Ильич улыбнулся. Милая Маняша! Он любил ее. Она была малышом, когда в 1887 году казнили брата Александра. Весь город отвернулся от дома Ульяновых. А чуваш Иван Яковлевич Яковлев, товарищ отца, не ушел, не оставил. И чуваш Охотников не бросил в беде. Спасибо им.

— Знаешь, что мы с этой штуковиной сделаем? — сказал Владимир Ильич, похлопывая по зашитой в мешковину посылке. — К нам в Москву привезли чувашскую ребятню. отошлем в детский дом, в чувашский. Согласна, Маняша?

Мария Ильинична пристально поглядела на брата. Истомленный, под глазами тени. Устал. У нее сердце тоскливо сжималось.

— Попросим, чтобы самым слабым раздали, самым слабеньким, — сказал Владимир Ильич.

Она кивнула.

У Владимира Ильича по-прежнему болела голова. Но он повеселел. Капля в море тамбовская посылка. А приятно все же, что завтра каким-то маленьким, изголодавшимся детишкам отрежут к обеду по куску вкусного розового тамбовского окорока.

ЧТО ТАКОЕ НЭП

И рабочие приходили в кабинет Ленина рассказывать, как живут и работают. И командиры Красной Армии приходили обсуждать военные действия. И ученые. Со всеми Ленин советовался, каждого внимательно слушал.

А потом на Совнаркомѣ обсуждались подсказанные народом вопросы, и правительство принимало законы, нужные для Советской страны.

Приходили крестьяне. В первые месяцы у крестьян основной вопрос был насчет помещичьих и кулацких земель. Как их между бедняками и середняками распределить, как полезней использовать?

Потом началась гражданская война.

Тогда Советское правительство установило для крестьян продразверстку. Это значит: убрали рожь — на семена отложи, на еду себе отложи, да небогато, а в самый обрез. Остальное подчистую отдай государству. Не отдашь — кто накормит Красную Армию? Кто рабочих накормит?

Тяжелы для крестьян были те времена. А что делать? Всем тяжело.

Но вот кончилась война. И к Ленину стали приходить из деревень ходоки. С Тамбовщины, из Владимирской и Орловской губерний, из Сибири. Идут и идут. Бородастые, не верхогляды, с опытом жизни. Ленин был рад. Расспрашивал: какое у вас о будущем мнение?

Крестьяне говорили: надо отменить продразверстку. Устанавливайте вместо разверстки налог.

А это что значит? Значит, не всю рожь, что посеял да сжал, отдавай. Кто больше нажал, тому больше осталось. Интерес у крестьянина. И засеять побольше захочется. И поглубже вспахать. Потому что отвезет государству налог, сколько положено, а все в амбаре для себя кое-что осталось. Остаток продаст. Что для дома и хозяйства понадобится, в городе купит. Мыла, керосину, материи. Косы и плуги, жнейки — рожь жать. Плуги и жнейки в поле не вырастишь. Значит, надо в городах на полный ход пускать фабрики и заводы. Чтобы всего было вдоволь.

Неужели не сумеет трудящийся народ своими руками добиться безбедной жизни? Капиталистов прогнали, белые армии выгнали — сами свою долю будем устраивать.

Из таких разговоров с крестьянами, из советов с това-

рищами и собственных мыслей родился у Ленина план. Новой экономической политикой назвал Ленин этот план.

После революции вошло у нас в моду длинные названия сокращать. Так и здесь сократили, и получилось название — нэп.

Советская власть позволила открыть частную торговлю. Но очень немного. Не опасно для Советской страны. Ведь власть была рабоче-крестьянская. Рабоче-крестьянская власть зорко следила за главным: крепила и развивала промышленность, железные дороги, морской и речной транспорт — все это было народное, собственность государства.

Во время гражданской войны Советское правительство ввело суровые и крутые порядки. Так было нужно. В мирное время порядки надо было менять.

Все, что Ленин делал, чего добивался, — все для пользы, выгоды, счастья народа. Теперь, после войны, Ленин добивался развития хозяйства, торговли, промышленности, электрификации, машиностроения и крепкой дружбы между деревней и городом.

Вот для этого строительства и нужен был нэп. X съезд партии утвердил ленинский план нэпа.

Нелегко добивался Ленин перестройки жизни по-новому. Были преграды. Были споры, нападки. Казалось, о чем спорить? А вот Троцкий спорил. Как всегда, выдвигал неверное, вредное мнение. Он был против Брестского мира. Много он принес зла советскому народу.

И сейчас выступил против Ленина. По разным вопросам он с Лениным и партией спорил. Не согласен был с планами Ленина. Привлекал на свою сторону нестойких партийцев. Сколачивал против Ленина группы. И другие противники были у Ленина.

Надо бы вместе, дружно, согласно налаживать мирную жизнь. Так мечтал Ленин, — чтобы партия всегда шла согласно!

Но находились люди, мешали строить новую жизнь. Ленин беспощадно против них боролся.

Большинство коммунистов стояло за Ленина. И они побеждали и вели партию и советский народ к коммунизму.

КОГДА ПОЕТ ЛЕД

— Едем! — сказала Надежда Константиновна.

— Непременно, Володя! — подхватила Мария Ильинична, в душе опасаясь, что он будет противиться.

Но Владимир Ильич не противился, хотя и соблазнительно было посидеть над статьей в уединенном по случаю воскресного дня кабинете. И письма важные написать было надо...

Но октябрьское ясное утро манило на волю. Хорошо в такой погожий денек прокатиться за город, позабыть до завтра дела! В календаре красное число как-никак. И они уселись в большую черную машину английской марки «роллс-ройс», и товарищ Гиль повез Владимира Ильича с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной в Горки.

Выехали из Москвы. Владимир Ильич полной грудью вдыхал свежий воздух. Утренняя розовая зорька была так мила! Солнце медленно всплывало, озаряя тихим светом блекло-голубой небосвод. Дорогу подморозило, на кочках и колдобинах машину трясло. Гиль вел не спеша, осторожно. А Владимир Ильич любил быструю езду. Чтобы ветром резало щеки, кружилось весело сердце!

— Вы, товарищ Гиль, машину ведете, будто каждой курице реверанс делаете, — сказал Владимир Ильич.

Шутки Владимира Ильича веселили товарища Гиля. Но скорости он не прибавил. Нет уж, будем лучше реверансы курицам делать, проезжая деревни, а растрясти Владимира Ильича по избитой дороге шофер Гиль себе не позволит.

Горки — старинная усадьба. Прекрасный парк окружал особняк с белыми колоннами и два флигеля. Тенисты

аллеи из раскидистых лип и могучих дубов. Привольны лужайки. Есть там удивительные уголки — видно оттуда далеко-далеко, видно даже Подольск.

Владимир Ильич любил вглядываться в зеленоватую даль и угадывать город за лесами и резвой речкой Пахрой. Владимир Ильич приезжал в Подольск молодым, когда вернулся из ссылки. В 1900 году это было, вот когда. Там жила в это время Мария Александровна с высланным из Москвы сыном Митей. И сестры Владимира Ильича там жили, когда Владимир Ильич приехал повидаться с родными перед отъездом в Швейцарию. Владимир Ильич подготавливал тогда выпуск за границей «Искры» — рабочей революционной газеты...

Машина въехала в парк и мягко, без толчков, подкатила к северному флигелю. У Владимира Ильича не лежала душа к большому дому. Предпочитал северный флигель, где маленькие комнатки, невысокие потолки, небольшие окошки. При господах здесь, должно быть, были помещения для служащих. После Октябрьской революции господа удрали за границу, а Советское правительство позднее открыло в Горках дом отдыха. И Председателю Совнаркома определили здесь место для отдыха, когда после ранения врачи строго-настрого предписали ему чистый воздух.

Верно. Едва Владимир Ильич вырывался из духоты заседаний и московского шума в горкинский парк — голова почти переставала болеть.

— Деревенского воздуха глоток глотнул, сразу щеки и порозовели, — довольно заметила Надежда Константиновна.

— Милостивые государыни, следуем в дальнее странствие, — заявил Владимир Ильич.

Было сухо и холодно. Каменно стучала под ногами земля. Листья с деревьев опали. Весь парк гляделся насквозь, и только сирень скучно стояла в сумрачной зелени пожухлой листвы. Да встретится рябина с отяжелевшими от красных гроздьев ветвями.

Стая желтогрудых синиц шумно перепархивала с куста на куст.

— Эй вы, жилетники! — крикнул Владимир Ильич.

— Что это? — не поняла Надежда Константиновна.

— Погляди, будто жилетики желтые надеты на них, — сказал Владимир Ильич.

Как любила Надежда Константиновна его любовь, его восхищение природой! В эмиграции в свободные часы они лазали по горам. Или укатят на велосипедах бог знает куда. Чем глуше лес, круче, нелюдимей тропки, тем сильнее Владимира Ильича брал задор.

— Махнем, Надюша, туда, там скала нависла над озером...

Величавы, роскошны швейцарские озера и горы. А русская, скромная природа ближе. Роднее.

— Смотрите, Малый пруд! — сказал Владимир Ильич.

— Вон в какое мы славное местечко притопали! — обрадовалась Мария Ильинична.

Пруд застыл. Синевато-сизый, прозрачный ледок сковал Малый пруд. Как бы стеклом его затянуло, и сквозь стекло отражались в пруду опрокинутые стволы и голые сучья деревьев, путаница кустарника на плоских берегах. Темные водоросли видны были под крышей ледка.

Вдруг звенящий мелодический звук разнесся по пруду. Словно на каком-то странном инструменте тронули струну, и она прозвучала нежно и длинно.

Брошенный кем-то комок смерзшейся земли проскользнул по льду от берега до середины. Лед отозвался.

— Чудеса! — тихонько ахнул Владимир Ильич.

Тут они увидели отделенных от них кустарником мальчишку и девчонку, лет по восьми. Это мальчишка запустил на лед комок.

— Как поет! По всему пруду звон, — сказала девочка.

— Поймать надо день, когда его впервой ледком схватит, — ответил мальчишка. — А то покрепчает или снегом закроет, тут он петь перестанет.

— Давай еще, — попросила девочка.



— Мы местные. Недалече, из Горок.

Снова заскользил по пруду комок, лед зазвенел.

— Ой! — вскрикнула девочка.

Ребята увидели взрослых. Мальчишка снял шапку:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — ответил Владимир Ильич, приближаясь. — Откуда вы?

— Мы местные. Недалече, из Горок. — Мальчишка махнул рукой в сторону деревни Горки, видной от пруда. — А вы, чай, московские?

— Угадал, — засмеялся Владимир Ильич. — Хорошо у вас лед поет.

— А как же! В самый раз надо его уловить, не всякий сумеет, — хвастливо ответил мальчишка. — А вы начальство небось?

— У нас «лампочка Ильича» загорелась, — сказала девочка.

— Электричество. Не хуже Москвы. Как вечер, деревня вся так и засветится, — хвастал мальчишка.

— Значит, довольны? — спросил Владимир Ильич полусуто, полувсерьез.

— А что? Дальше-то лучше, чай, будет!

И они переглянулись, и мальчишка стащил с головы шапчонку, сказал: «До свидания», — и они побежали куда-то, может, домой, а может, еще подсматривать чудеса и загадки осеннего леса.

А Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной пошли глубже, глубже в парк, потому что Малый пруд от дома не так далеко, а ведь Владимир Ильич позвал их сегодня в дальнее странствие.

МАЯК

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов:
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.

Гимн гремел. Бился в окна двусветного зала в Большом Кремлевском дворце. Летел к лепным потолкам.

Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем.

Несколько сот человек стояли в кремлевском зале и на пятидесяти языках пели гимн. На французском, немецком, итальянском, турецком, японском, английском, норвежском, эстонском, латышском... русском, конечно.

Ленин тоже пел. Владимира Ильича всегда волновал международный рабочий гимн. А сейчас, когда сотни коммунистов разных стран собрались на IV конгресс Коминтерна у нас, в Советской стране, и в бывшем царском дворце пели вольно, свободно,—сейчас душа его полна была счастья.

Это есть наш последний
И решительный бой;
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

Много иностранных революционеров знал Владимир Ильич, когда был в эмиграции. Знал талантливого французского социалиста Жана Жореса, который создал «Юманите», знаменитую революционную газету во Франции.

А немецкие марксисты! Клара Цеткин, Роза Люксембург, Карл Либкнехт! А сколько финских революционных рабочих знал Владимир Ильич! А гельсингфорский социал-демократ Ровио, скрывавший Владимира Ильича от преследований Временного правительства! А швейцарец Фриц Платтен, который помог Владимиру Ильичу с товарищами вернуться на родину, когда в России началась революция! И еще много было иностранных революционеров, рабочих и нерабочих, с которыми встречался и дружил Владимир Ильич.

Теперь, когда рабочая Октябрьская революция победила в России, марксисты-революционеры тоже образовали в своих странах коммунистические партии.

— Объединимся в единый союз,— сказал Владимир Ильич.

Коммунистические партии объединились. Дали союзу название — Коммунистический Интернационал, Коминтерн.

Владимир Ильич поднялся на кафедру. Сотни глаз были устремлены на него. Владимир Ильич видел интерес и ожидание в глазах. О чем рассказать коммунистам разных стран?

Наверно, важнее всего им услышать о жизни советского общества. О новом.

И Владимир Ильич стал рассказывать, как идет у нас хозяйство в Советской стране: чего добились за пять лет, а чего не добились. Войну победили, голод победили. С разрухой справляемся. Лучше стало жить крестьянам. И рабочим получше. Торговать учимся. А машины делаем пока еще плохо, мало. Больше надо машин. Без машин не построишь коммунизма. А перед нами цель — коммунизм. И перед вами, иностранные товарищи, цель — революция.

Вот о чем говорил Владимир Ильич. Он говорил по-немецки. Русский язык в то время мало кто знал за границей, а немецкий многие понимали.

«Хорошо говорит по-немецки», — хвалили про себя немецкие коммунисты.

Доклад кончен.

Все встали, огромная армия коммунистов.

— Ура, Ленин! Да здравствует Ленин!

Буря бушевала в двусветном зале, настоящая буря!

Понятно, Владимира Ильича трогало это море любви. Но овации, такие громкие, его смущали. Он думал, как бы выбраться скорее из зала. Куда там! Толпа плотно обступила. Каждый хотел что-то сказать. О чем-то спросить. Или хотя бы поздороваться.

— Здравствуйте, товарищ Ленин! — протискавшись ближе, громко говорил по-французски кудрявый человек. У него блестели черносливины глаз, он весь сиял и без

конца дружелюбно твердил: — Здравствуйте, товарищ Ленин! Камрад, камрад...— И по-русски с трудом, по слогам: — Ле-нин вождь!

Ленин улыбнулся:

— Вы, товарищ, из каких местностей Франции?

— Я итальянец. Но вы не знаете наш итальянский...

— Немного,— возразил по-итальянски Владимир Ильич.

— О! Товарищ Ленин все знает! — воскликнул кудрявый итальянец.

И на итальянском, немецком, французском, английском со всех концов неслоь:

— Ленин — друг! Ленин — вождь коммунистических партий! Учитель — Ленин!

А один иностранный шахтер, в белоснежном воротничке, с лицом, усеянным темными точечками угольной пыли, приставил ладони ко рту и, как в рупор, с воодушевлением кричал:

— Советская страна — наш маяк! Держим курс на маяк.

ВЕЧЕРОМ ПОД НОВЫЙ ГОД

Владимир Ильич заболел. Тяжело заболел. Очень опасно.

Некоторые думали, болезнь настигла внезапно. Нет, давно подкрадывался коварный недуг. Бессонница. Иногда до утра не удавалось сомкнуть глаз. Мучительно длилась бесконечная ночь. Почти постоянно болела голова. Пришел лихой час, Владимир Ильич слег.

Он лежал в своей комнатке в кремлевской квартире.

— Слишком много работал Владимир Ильич, свыше человеческих сил, слишком много! — сказали врачи. — Необходимо абсолютный покой.

Но Владимир Ильич не мог не работать. Болезнь опасна. Надо спешить высказать необходимые мысли.

Владимир Ильич лежал с вытянутой поверх одеяла неподвижной рукой. Компресс охлаждал воспаленную голову.

Был вечер. На столе слабо горел ночничок. Предписано Владимиру Ильичу отдыхать после обеда. Он не спал.

Вчера открылся в Москве I съезд Советов СССР. Вчера 30 декабря 1922 года на съезде был утвержден договор о создании Союза Советских Социалистических Республик. Владимир Ильич долго подготавливал этот значительный день.

Не все сразу поняли, почему важно, чтобы был именно Советский Союз. Почему с такой страстью, так упорно Владимир Ильич этого добивался.

Ленин добивался, чтобы СССР был совершенно новым государством, совершенно отличным от царской России. Ведь при царе было так. Была Россия. А Украины вроде вовсе и не было. И Белоруссии не было. И Армения, и Азербайджан, и Грузия считались всего лишь частью России. Окраинами. Никакой самостоятельности не давали народам. В школах не позволяли учить детей на родном языке. У многих народов даже своего алфавита и грамоты не было. Малым народам не давали расти. Унижали. Ленин ненавидел это неравенство...

Как глубоко он задумался! Надежда Константиновна остановилась у двери, прислушалась: спит?

— Не сплю, Надюша. Готовлюсь к работе.

Она бесшумно вошла. Погасила ночник. Зажгла лампу. Комната осветилась. Осветилось любимое лицо на подушке.

— Неугомонный мой! — сказала Надежда Константиновна.

Стенные часы в столовой гулко пробили шесть раз. С шестым ударом появилась стенографистка Мария Акимовна Володичева. Хрупкая, лет тридцати, умно-внимательная. Пристроилась у столика вблизи кровати. Карандаш наготове.

— Итак... — сказал Владимир Ильич.

Сегодня врачи позволили диктовать сорок минут.

Уйма времени — сорок минут! Тем более, статья в голове вся написана. Если бы Владимир Ильич был на съезде, он сказал бы то, что сейчас диктовал. Это был наказ товарищам. Товарищи послушают Ленина, примут его наказ, как строить и крепить СССР. Нельзя ни в чем обездолить малые народности. Народы нельзя обижать! Советские республики должны быть равны. Дружны. И СССР станет справедливым и несокрушимым государством. И во всем мире пробудятся угнетенные империализмом народы...

Надежда Константиновна в соседней столовой слушала родной голос. Оперлась подбородком на сплетенные пальцы. Исхудавшее лицо светилось тревожной любовью.

Но диктовка кончилась, стенографистка Володичева ушла. Надежда Константиновна сменила ее у постели больного. И улыбка ее была ясной. Ни горя, ни страха не увидел в ее взгляде Владимир Ильич. Спокойствие Надежды Константиновны Владимира Ильича успокаивало.

— Что мне вспомнилось, Надюша, — сказал Владимир Ильич. — Помню, отец бился, открывая школы в Симбирской губернии. Для чувашей, мордвинов, татар устраивал школы. До отца не было этого в Симбирской губернии.

— Редкий он был человек, — ответила Надежда Константиновна. — С малого начинал. Зато у нас теперь революция дороги открыла большие.

Она видела, Владимир Ильич доволен сегодня работой. Даже глаза разблестелись, как прежде. Компресс снял, значит, легче голове. Может, и поднимется скоро?

«Может? Что это я? — испугалась Надежда Константиновна. — Не может, а непременно! Полгода назад было похожее с ним, отболел и поднялся. Так и теперь».

Она заботливо поправила на Владимире Ильиче одеяло.

— А ведь нынче новогодний вечер, Володя, — вспомнила Надежда Константиновна. — Не зря у тебя настроение хорошее. — Нагнулась к нему, поцеловала: — С новым годом, Володя.

ВСЕГДА В БОРЬБЕ

Врачи опасались, не повредило бы Владимиру Ильичу диктование статей. Владимир Ильич, дайте отдохнуть голове! Не думайте о государственных делах. Оставьте деловые статьи.

Ни за что!

Но переспорить докторов не так-то легко. Пришлось Владимиру Ильичу пуститься на хитрости.

— Буду диктовать не статьи, а дневник.

Провел докторов. Уступили: диктуйте. Впрочем, наверное, доктора понимали: не про погоду будет этот дневник. Разве запретишь Ленину заботиться о судьбе созданного им государства? Владимир Ильич нервничал, совсем не мог уснуть, когда ему не разрешали диктовать. Доктора разрешили. Только осторожно. Полчаса, сорок минут в день. Не больше.

И в назначенный час приходила стенографистка Володичева. Записывала иногда страничку в день, а то две или три. В этих страничках был заключен мудрый план дальнейшего устройства нашего общества. Владимир Ильич критиковал недостатки. Советовал, как лучше наладить государственный аппарат. Как сохранить в Коммунистической партии единство и дружбу. Больше всего боялся Ленин, чтобы в партии не вышло разлада.

В постели, больной, долгие часы обдумывал Владимир Ильич каждую мысль для своих статей. Каждое слово.

Статьи Ленина печатались в «Правде». Рабочие люди читали, делились между собою:

— Правильно Ильич про нашу жизнь понимает. Чего мы и не видим, все увидал!

И радовались:

— Видно, здоровье у нашего Ильича идет на поправку.

Вдруг... Был мартовский день. Весело светило весеннее солнце. Вовсю чирикали воробьи на бульварах и в скверах. Пенистые ручьи шумно бежали вдоль мостовой.

Все в природе говорило о жизни и радости. Но люди, открывая в это утро, 14 марта, газету, становились хмуры и пасмурны. Люди толпились на улицах возле щитов и витрин для газет. Всюду наклеены были листы. «Правительственное сообщение».

Если правительственное, значит, что-то серьезное. Не случилось ли несчастья какого?

«Бюллетень о состоянии здоровья Владимира Ильича. За последние дни в состоянии здоровья Владимира Ильича произошло значительное ухудшение...»

Черные буквы кричали: случилось, несчастье случилось... «Значительное ухудшение». Страшно читать. Люди отходили понуриив головы.

Сумрачно было в этот день в рабочих цехах.

— Ильич-то наш, эх! — вздохнет старый рабочий.

Молодые не верили, что надвигается грозное.

— Нет, не станут зря бюллетень выпускать, — сокрушались старики. — Эх, Ильич!

А Владимиру Ильичу было плохо. Беспощадно наступала болезнь. Владимир Ильич потерял речь. Что может быть горше! Ленин умолк. Не слышно стало живого, немного картавого, быстрого говора.

Круглые сутки дежурили в квартире Владимира Ильича доктора. Наука, талант, искусство медиков вступили в сражение за его жизнь. Вся страна с надеждой следила. Утром люди спешили к газете, прочитать бюллетень.

Вечер. Весенний ветер колышет красный флаг над зданием Совнаркома. Что там, в кремлевской квартире?

Вечер. Кончились дневные труды и хлопоты. Тысячи людей с беспокойством ищут в вечерних газетах: что в кремлевской квартире?

Тихо в комнате Владимира Ильича. Из столовой доносится мерный стук маятника. Там дежурная медицинская сестра. А возле постели Надежда Константиновна.

Владимир Ильич поднял тяжелые веки. «Ты здесь, Надя?»

Надежда Константиновна понимала все, что он хотел сказать и спросить. Говорила с ним, будто слыша ответ.

— Тебе лучше сегодня,— уверенно сказала она.

И Владимиру Ильичу показалось, что и правда лучше. И глаза его ответили: «Да».

— Ты вылечишься. Доктора говорят, всю волю надо на помощь позвать. Собери всю волю, Володя.

«Собираю»,— ответил глазами Владимир Ильич.

— Ты всю жизнь боролся за счастье народа. Поборись теперь за себя. Для народа же, для революции. Из всех сил поборись!

Снова Владимир Ильич ответил понятно для Надежды Константиновны: «Да».

Нестерпимая жалость ее пронзила. Слезы больно подкатили к горлу. На секунду она обессилела. Справилась. И заботливо, с лаской:

— А сейчас пора отдохнуть. Поспи, чтобы силы набраться. Все будет хорошо. Усни. Я не уйду. Я буду рядом сидеть.

ОСЕНЬ

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО

В апреле открылся XII съезд Российской Коммунистической партии. Съезд послал приветствие Владимиру Ильичу.

«От глубины сердца партии, пролетариата, всех трудящихся съезд посылает своему вождю, гению пролетарской мысли и революционного действия, привет и слова горячей любви Ильичу...»

Более чем когда-либо партия сознает свою ответственность перед пролетариатом и историей. Более чем когда-либо она хочет быть и будет достойной своего знамени и своего вождя...»

Надежда Константиновна прочитала приветствие. Глубоким взглядом, полным чувства, ответил Владимир Ильич.

Владимир Ильич не сдавался болезни. В середине мая его перевезли в Горки, в Большой дом. Самую маленькую комнату выбрал для себя Председатель Совнаркома в Большом доме. Угловую, с высокими окнами. Из окон виден сад. В яркой зелени, полный птичьего свиста и гама. Орали грачи. С каждой ветки несло ликование. Весь воздух звенел.

А ночью пели соловьи. Глядели в окна звезды.

Владимир Ильич вдыхал чистый воздух. Понемногу здоровье его улучшалось. Спасибо Горкам! Владимир Ильич стал спать. Захотелось на деревенском воздухе есть. Прибавилось силы.

Медленно двигалась поправка. Владимир Ильич начал ходить, опираясь левой рукой на палку. Учился писать левой рукой. Упражнялся в восстановлении речи.

Учительницей была Надежда Константиновна. Дверь в комнату закрывалась во время урока. Они были вдвоем. Никто не слышал, как вела Надежда Константиновна урок.

В доме немного повеселело. А как были счастливы все, когда раздавался смех Владимира Ильича! Ведь он был жизнерадостный человек. И смешливый. А теперь, когда здоровье прибывало, Владимир Ильич и вовсе радовался каждой шутке, умному слову, и приезду друзей из Москвы, и новой книге, и рыжим листьям в осеннем саду. Наступила осень тысяча девятьсот двадцать третьего года.

В октябре однажды Владимир Ильич пришел, опираясь на палку, в горкинский небольшой гараж и дал понять, что желает ехать в Москву. Выводите машину. Едем. Надежда Константиновна с Марией Ильиничной ужасно разволновались.

— Да разве можно? Да чем это кончиться может?!

И доктора были против.

Но Владимир Ильич был человеком настойчивым. Что решил, то решил.

Черный «роллс-ройс» выехал из усыпанного оранже-

выми листьями парка и покатыл в Москву. Не очень быстро покатыл, остерегаясь ухабов. Завиднелась Москва. Золоченые главы, белокаменные стены, дымы над фабричными трубами. Владимир Ильич при виде Москвы снял кепку, замахал над головой. Москва! Скорее в Кремль!

Сердце часто и сильно толкалось в груди, когда он перешагнул порог зала заседаний Совнаркома. Все было дорого здесь Владимиру Ильичу. Длинный стол под зеленым сукном. Плетеное кресло во главе стола. Каждый час в этом зале был памятен!

Нечаянно взгляд упал на печку в углу, и Владимир Ильич улыбнулся. Вспомнил, как прятались за печкой курильщики. Курили, а дымок пускали в отдушину. Владимир Ильич решительно запрещал на заседаниях Совнаркома курить. Вот иному наркому станет невтерпеж, и улизнет за печку и наслаждается там, пока председатель не застучит по столу карандашом.

Что-то строгое и нежное поднялось в душе Владимира Ильича. Он любил товарищей.

Владимир Ильич постоял, повспоминал и пошел в свой кабинет. И кабинет оглядел. При виде географических карт, портрета Маркса, телефонов на столе, книжных полок снова нахлынули мысли о недавнем.

Но Владимир Ильич не прощался. Нет. Он хотел жить и вернуться сюда.

Постоял. Поглядел. И приблизился к пальме. Большая тенистая пальма росла в кадке возле окна. Ветви у нее были похожи на раскидистые зонтики в жарких краях. Ее берегли. Владимир Ильич просил беречь эту пальму.

В детстве в симбирском их доме было много цветов. Такая же пышная, раскидистая пальма стояла в столовой. Точно такая, с вечнозелеными листьями.

Потом проехали, поглядели Москву. Поехали на Сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку. Первая советская выставка! Владимир Ильич непременно хотел ее посмотреть.

Выставку сделали на берегу Москвы-реки, у Нескучного сада. Раньше там были мусорные свалки. Свалки убрали. Разбили на месте их цветники. Построили павильоны. Вырос хорошенький деревянный городок.

Слишком еще помнили люди войну, голод и холод. Слишком все это было недавно.

Оттого удивительны были деревянные павильоны с узорами, прямо не верилось!

А в павильонах — россыпи золотой пшеницы и ржи, пирамиды толстенных капустных кочанов, горы розового скороспелого картофеля, арбузы и дыни — плоды полей и садов.

Видно было, оживает деревня.

И фабрики и заводы прислали свои изделия на выставку. Видно было, что город оправляется от нищеты и разрухи.

Вспомнилось Надежде Константиновне выступление Ленина в Большом театре 20 ноября 1922 года. Это было последнее выступление его перед болезнью.

Ленин сказал: «...из России нэповской будет Россия социалистическая».

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Сани неслись. Снег брызгал из-под копыт. Полозья визжали по скользкому следу. Солнце только зашло. В полгоризонта полыхала заря. Но сумерки быстро надвигались, гуще разливалась синева по снежному полю, темнее вдали высился лес. И вот одна во все небо зажглась спокойная, высокая звезда.

Владимир Ильич возвращался с охоты. Ружье он держать еще не мог, лишь наблюдал, как другие охотятся. Но и это доставляло радость. Он любил охоту и все, что с охотой связано. Бродить по лесу и вдруг увидеть: из-под увялой прошлогодней листвы топорщатся, тянутся вверх весенние молодые росточки. Или, закинув голову,

долго следить, как мягко перелетывает белка с ветки на ветку. Или заметить на снегу путаный заячий след... Все это Владимир Ильич любил. И из ружья любил по-палить.

Но бывали случаи, когда другой охотник непременно бы выстрелил, а Владимир Ильич нет. Один раз охотились с флажками на лисицу. Охотники обнесли значительную часть леса цепью из красных флажков. Там лисица. Она пугается красных флажков, ищет выхода.

А выход оставлен, охотники шумом и криками гонят лисицу к выходу.

Владимир Ильич стоял с ружьем. «Эх, кабы повезло, подстрелить бы!» Вдруг — просто чудо! — из-за елей прямо на него вышла лисица. Владимир Ильич замер. Она была так красива, ярко-рыжая на белом снегу, с острой мордочкой, великолепным пушистым хвостом! Шла прямо на ружье, все ближе. Ближе. Но Владимир Ильич не выстрелил. Уж очень была она хороша! И день был хорош, как сегодня, снежный, яркий.

Владимир Ильич улыбнулся, вспомнив тот случай с лисой.

Как весело звенят полозья саней! Тихо приближается вечер. Заря медленно остывает, а над лесом, против зари, нарисовался светленький серпик.

Этот светленький серпик увидела и Надежда Константиновна из окна и сказала Марии Ильиничне:

— Сегодня будто праздник. Взгляни, и луна-то нынче особенная.

— У нас оттого легко на душе, что Володе лучше. Подумай, даже на охоту поехал, совсем замечательно! — ответила Мария Ильинична.

— А помнишь, как он на елке смеялся, почти как в прежние времена?

И они начали вспоминать недавнюю елку, которую зажигали в большом горкинском доме для детей совхозных рабочих и служащих, и Владимира Ильича у елки, его смех и доброту с ребятами. И игру Марии Ильи-

ничны на пианино, и с каким удовольствием Владимир Ильич слушал.

Только приятное и отрадное хотелось им вспоминать в этот день.

Владимир Ильич возвратился из зимнего леса с румянцем во всю щеку. Морозный воздух, охота, езда на санях освежили и взбудрили его. Но полагается отдых. Таков был режим. Доктора глаз с Владимира Ильича не спускали. Пришлось лечь на часик в постель.

Пока Владимир Ильич отдыхал, Надежда Константиновна с Марией Ильиничной не переговаривались, а только остерегали одна другую, приложив палец к губам: тс-с. Не разбудить бы.

И на душе у обеих была еще робкая, еще несмелая радость. Они с надеждой глядели на будущее.

Доктора обнадеживали.

Один недавно сказал:

— Наверняка к весне вылечим.

А вечером Надежда Константиновна читала Владимиру Ильичу. Когда он стал поправляться, она каждый день читала ему «Правду». А сейчас читала рассказ Джека Лондона.

Владимир Ильич сидел в кресле, задумчиво, чуть сощуренным взглядом глядел в окно. Там в глубоком снегу стоял старый парк. Парка не видно. Мороз заледенил стекла окон. Белые ветви папоротников причудливо распустились на окнах. Волшебные, как в детстве, ледяные цветы.

Рассказ назывался «Любовь к жизни». Через снежную пустыню пробирался человек, умирающий с голоду. Человек ослабел и уже не мог идти и полз по снежной пустыне. Рядом полз больной, тоже умирающий волк. Между волком и человеком завязалась борьба. Кто победит? Неужели волк? Нет. Победил человек. Жажда жизни влила в него силы. У человека была цель — корабль, видный уже, на краю пустыни у берега моря. Там жизнь. И он полз, полз...

Владимиру Ильичу очень понравился этот рассказ. Надежда Константиновна понимала, что так его увлекло. Мужество. Упорство. Воля человека к жизни. Нельзя сдаваться.

Владимир Ильич не сдавался. Надежда Константиновна понимала его мысли и чувства, навеянные сегодняшним чтением. Мысли о возвращении к жизни. К труду.

Разве могла она в тот январский вечер подумать, что совсем мало осталось Владимиру Ильичу жить?

Новый приступ болезни сразил внезапно. И навсегда.

Ленин умер 21 января 1924 года в шесть часов пятьдесят минут вечера в Горках.

ВСТАНЬТЕ, ТОВАРИЩИ!

Много красноармейцев и партизан во время гражданской войны знало паровоз «У-127». Всю войну он возил на фронт бойцов и орудия. А с фронта раненых в тыл. Трудился без усталости. Белогвардейские гранаты и пули нещадно хлестали его и калечили. К концу войны паровоз совсем был разбит, вышел из строя.

Вспомнили о нем, когда советский народ начал восстанавливать в стране хозяйство. Тогда рабочие нашли на паровозном кладбище паровоз «У-127» и решили: давайте-ка, братцы, подлечим его.

Хорошо подлечили. Паровоз «У-127» вышел из ремонта как новый. Рабочие-ремонтники были беспартийные, а новый свой паровоз, сработанный в неурочное время, отдали в дар коммунистам. И избрали Владимира Ильича почетным машинистом. Выписали Ленину расчетную книжку.

В скорбные дни, когда Ленин умер, этому паровозу было назначено везти из Горок в Москву траурный поезд.

Всю ночь и весь день и еще ночь из ближних и дальних деревенок и сел шли в Горки крестьяне прощаться с вождем.

Был жестокий мороз. Порывами налетал острый, режущий ветер. В горкинском парке стеклянно стучали, качаясь от ветра, ветви деревьев. Черные с красным полотнища обвили белые колонны Большого дома. Дороги устали еловые ветви. На снегу печально лежали цветы.

Четыре версты от дома до станции несли гроб на руках рабочие, крестьяне, коммунисты, товарищи, члены правительства. И паровоз «У-127» повез горестный поезд в Москву.

Машинист Матвей Кузьмич Лучин двадцать один год водил поезда. Теперь он вел паровоз «У-127». Без остановок шел поезд. Ровно в час надо привезти в Москву гроб с телом Ленина. По сторонам вдоль всей железной дороги стояли крестьяне.

Паровоз приближался с протяжным, тревожным гудком. Люди не трогались. Стояли без движения на рельсах. Плечом к плечу. Молча. Паровоз не дошел до станции, остановился, тяжело задышал. Машинист вышел из паровоза на лесенку.

— Товарищи! — сказал машинист. — На этом паровозе Владимир Ильич был почетным машинистом, моим напарником. Слово я дал Владимиру Ильичу никогда не опаздывать. Нынче приказано ровно в час быть в Москве. Помогите слово сдержать. Ильичу дано слово...

И заплакал. И люди заплакали. Расступились, открыли поезду путь.

Москва. Снова товарищи взяли на руки гроб с дорогим Ильичем. Из улицы в улицу медленным шагом сквозь тысячи безмолвных людей несли к Дому Союзов.

Вдруг где-то над крышами возник глухой шум. Заполнил небо. Низко пронеслись самолеты. И, словно белые голуби, полетели листки. Люди ловили. Читали о Ленине.

И еще поставлены были на площадях деревянные щиты с биографией Ленина. Ведь Ленин очень был скромный. Ни за что не позволял писать о себе.

И вот его нет, и народ толпился у деревянных щитов и читал короткий рассказ о великой жизни Ленина.

Холодно. На московских улицах горели костры. Бесконечными вереницами двигались люди к Дому Союзов. День и ночь. Отогревались у костров. Снова шли. Или топтались на месте, чтобы не обморозить ноги, пока на шагок двинется очередь.

Москвичи и приезжие из всех концов Советской страны. Русские и украинцы, армяне и казахи, белорусы, грузины... Иностранцы коммунисты и рабочие.

В Доме Союзов, утонув в цветах, стоял гроб. Тихо звучала музыка. Тихо шли люди.

Похоронили Владимира Ильича в воскресенье 27 января в четыре часа по московскому времени.

На Красной площади построили Мавзолей. Трое суток строили его в лютую стужу. Долбили, взрывали, оттаивали мерзлую землю кострами, копали котлован. И выросло строгое здание. Тогда было оно деревянным. Позже на месте его воздвигнут величественный Мавзолей из гранита и мрамора.

Утром 27 января сходились и съезжались на Красную площадь делегации от заводов и фабрик, из разных городов и Советских республик, от иностранных коммунистических партий. С утра под январским студеным небом стоял на высоком помосте покрытый красными знаменами гроб Ильича.

Замер почетный караул. Замерла Красная площадь. И вот кавалерийский эскорт пронесся карьером мимо гроба полководца первой в мире социалистической революции. И вот артиллерийские запряжки прошли крупной рысью, отдавая последние воинские почести Ленину.

И потянулись рабочие колонны и, приближаясь к помосту, приспускали до самой земли траурные флаги.

Ровно в четыре часа в городах и поселках, где было радио, раздались слова:

«Встаньте, товарищи! Ильича опускают в могилу».

Остановились станки. Стали машины. Стояли, склонив

головы, люди. За границей рабочие прервали работу. Пять минут было молчание. А трубы заводов и фабрик гудели, гудели. Стали на всех путях поезда и гудели. Остановились в морях наши пароходы. Долгий, неутешный несся голос скорби над полями, и селами, и городами, и всей нашей Родиной.

Ледяной ветер метался по Красной площади. Плескал траурные полотнища и красные стяги. Морозил слезы на лицах.

Прогремел прощальный салют.

Гроб с телом Ленина опустили навсегда в Мавзолей.

Смеркалось. Близилась ночь. Людские колонны все шли через Красную площадь мимо Мавзолея, все шли...

ВИШНИ ЦВЕТУТ

Наступила весна. В горкинский парк прилетели грачи. Прилетели на родину и захлопотали над гнездами, устраивая жизнь, оглушая окрестности радостным гамом. И жаворонки прилетели. Высоко в бездонной голубизне неба лилась, не смолкая, песнь жаворонков. Над Малым прудом плясали в лучах солнца стрекозы с прозрачными крылышками.

Надежда Константиновна постояла у пруда. Она знала в горкинском парке все любимые места и дорожки Владимира Ильича.

Но был один уголок, который Владимир Ильич не успел увидеть, а Надежда Константиновна любила сюда приходить. Пришла и сейчас. Села на скамейку. Задумалась, положив на колени руки в морщинах, с набухшими жилками.

Здесь цвели вишни. Юные, тонкие вишенки с темно-красными, словно облитыми лаком, гибкими ветками.

Вишни цвели в первый раз. Владимир Ильич не успел увидеть их цвета.

В последнюю осень приехали к Владимиру Ильичу

в Горки рабочие с Глуховской мануфактуры. Привезли Владимиру Ильичу письмо от фабрики и подарок — вишневые саженцы из фабричного сада.

Как обрадовался Владимир Ильич встрече с рабочими! Счастливым светом загорелись глаза!..

На прощание один старый рабочий сказал:

— Я рабочий-кузнец, Владимир Ильич. Я кузнец. Мы скуем все, намеченное тобой.

И крепко обнял Владимира Ильича. Постояли обнявшись. Через этого старого кузнеца Владимир Ильич как бы всему рабочему классу горячий привет посылал. А рабочий дал обещание Ленину.

«Обещаем, Ильич, дорогой наш Ильич!» — повторяла Надежда Константиновна рабочую клятву.

Жужжали пчелы над вишнями...

Много весен миновало с тех пор, много лет.

Вишни в горкинском саду разрослись.

Выросло, возмужало созданное Лениным государство. Выросла созданная Лениным партия.

Бывали трудные времена, лихие и тяжелые годы. Вынесла все испытания Родина. Крепче, сильнее, краше становится Советский Союз. В самых дальних краях нашей Родины горят «лампочки Ильича». Электростанции, заводы и фабрики, космодромы, колхозы, совхозы, новые города, школы, клубы, театры...

Если бы мог увидеть Владимир Ильич!

Но, наверное, Ленин сказал бы:

«Не останавливайтесь. Не все достигнуто. Ведь наша цель — коммунизм».

Коммунизм — это справедливость и правда. Это общий труд на общее благо. Это бесстрашные дороги вперед и вперед, в поисках нового. Это наша мечта о счастье и жизни красивой и благородной.

Ленин показал нам к ней путь.

СОДЕРЖАНИЕ

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОД. Повесть	
<i>Рисунки О. Богаевской</i>	11
ТРИ НЕДЕЛИ ПОКОЯ. Повесть	
<i>Рисунки О. Богаевской</i>	233
ЖИЗНЬ ЛЕНИНА. Повесть в рассказах	
<i>Рисунки О. Верейского</i>	405

*На фронтиспise
рисунок О. Верейского*

Жизнь Ленина

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ
ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ

Том 6

ИБ № 6728

Ответственные редакторы

И. И. ПРУСАКОВ и Т. Н. ТЕРЕХОВА

Художественный редактор

С. И. НИЖНЯЯ

Технические редакторы

В. К. ЕГОРОВА и А. П. КОСТИКОВА

Корректоры

А. А. ГУСЕЛЬНИКОВА и А. Г. ПЕТРОЧЕНКО

Сдано в набор 15.07.83. Подписано к печати 18.05.84. Формат 70×90¹/₁₆. А 02927. Бум. офсетная № 1. Шрифт академический. Печать офсетная. Усл. печ. л. 46,8. Усл. кр.-отт. 48,56. Уч.-изд. л. 30,72. Тираж 250 000 экз. Заказ № 2311. Цена 1 р. 70 к. Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр. М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавополиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Ж71 Жизнь Ленина: Избранные страницы прозы и поэзии в 10-ти томах/Ред. совет: С. В. Михалков (председатель), А. А. Виноградов, Б. А. Дехтерев, Н. В. Свиридов; Оформл. Б. А. Дехтерева.— М.: Дет. лит., 1981.— (Библиотека школьника).— Т. 6. М. Прилежаева «Удивительный год», «Три недели покоя», «Жизнь Ленина», 1984.— 639 с., ил.

В пер.: 1 р. 70 к.

В этот том входят произведения известной писательницы Марии Павловны Прилежаевой «Удивительный год», «Три недели покоя», «Жизнь Ленина».

Ж 4803010102—359 Подп. изд.
М101(03)84

ББК 13.5
ЗК26